

Е. Р. Дашкова

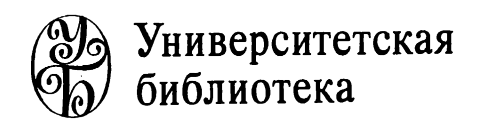
ЗАПИСКИ

ПИСЬМА СЕСТЕР М. и К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ

Е. Р. Дашкова ЗАПИСКИ
ПИСЬМА СЕСТЕР М. и К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ




МГУ



Издательство Московского университета
1987

Е. Р. Дашкова

ЗАПИСКИ

ПИСЬМА СЕСТЕР М. и К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ

Под общей редакцией *С. С. Дмитриева*

Составитель *Г. А. Веселая*

Издательство Московского университета
1987

В книге представлены новый перевод «Записок» Е. Р. Дашковой, осуществленный по французскому оригиналу из «Архива кн. Воронцова», и впервые публикуемые на русском языке дневники и письма сестер-ирландок М. и К. Вильмот, значительно дополняющие «Записки»; книга содержит интересные сведения о событиях истории, общественной и культурной жизни России с середины XVIII века и до начала XIX столетия.

Рецензенты:

кандидат исторических наук
Л. Г. Кислягина,

кандидат исторических наук
У. М. Полякова

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

$Д \frac{4700000000-050}{077(02)-87} 180-87$

ЗАПИСКИ КНЯГИНИ ДАШКОВОЙ И ПИСЬМА СЕСТЕР ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ

> В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторной жизни из-под плесени московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное, петровское, ломоносовское...
>
> А. И. Герцен

О Екатерине Романовне Дашковой — личности крупной и сложной современники судили по-разному, с восхищением и не без зависти, порою в откровенно враждебном тоне. Одним она представлялась прежде всего женщиной честолюбивой, которая «добивалась первого места при государыне, даже желала заседать в Совете» (Г. Р. Державин), другие со всей искренностью полагали, что «она была бы на своем месте во главе государства, или занимая пост генералиссимуса или министра сельского хозяйства» (Кэтрин Вильмот).

Ныне можно определенно сказать, что в истории России второй половины XVIII века княгиня Е. Р. Дашкова — явление уникальное.

В течение одиннадцати лет она возглавляла два основных в то время научных учреждения страны — Академию наук и Российскую Академию и, заметим, осталась единственной женщиной в русской истории, занимавшей такие посты.

Отдавая дань уважения заслугам М. В. Ломоносова и понимая огромное значение произведений и трудов великого ученого для отечественной литературы и науки, Дашкова одним из первых своих распоряжений в должности директора Академии наук постановила издать полное собрание его сочинений.

По замыслу Е. Р. Дашковой и при ее деятельном участии издан был шеститомный Словарь Академии Российской, первый толковый словарь русского языка, над созданием которого трудились многие русские писатели и ученые.

Под наблюдением Дашковой Российской Академией в течение нескольких лет выпущены были 43 сборника «Российский Феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений». Издание это состояло из 173 пьес, и в нем были напечатаны драматические сочинения Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Аблесимова, Княжнина и других авторов.

Лучших писателей своего времени привлекла Дашкова к сотрудничеству в основанных ею литературно-общественных журналах.

Она способствовала распространению идей французских просветителей и сама выполнила первый перевод отрывков из философского трактата Гельвеция «Об уме», познакомила русских читателей с литературно-эстетическими взглядами Вольтера, переведя его «Опыт об эпической поэзии».

Известна Дашкова и как оригинальная писательница: в отечественных журналах печатались ее прозаические и стихотворные сочинения и пьесы. Но для современного читателя наибольшее значение имеют ее «Записки» — замечательный памятник истории русской культуры, в котором отразилась не только многогранная деятельность выдающейся женщины, но и ее полная драматизма судьба.

* * *

В «Записках» Дашкова лишь вскользь упомянула о матери и совсем ничего не сказала о ее родителях. Между тем история их интересна и в какой-то мере характерна для своего времени.

Дед Дашковой по материнской линии, Иван Михайлович Сурмин, костромич, вел успешную торговлю в разных русских городах, разбогател. В 1715 г. по ложному доносу завистника его арестовали, а имущество его забрали в казну. На допросах он виновным себя не признал и в конце концов был освобожден. Позднее он очутился в Сибири, где, видимо, продолжал торговать. Его дочь Марфу, которая считалась богатой невестой, выдали замуж за князя Георгия Долгорукова. Когда все семейство Долгоруковых при Анне Иоанновне подверглось опале и молодой княгине грозила ссылка, ее мать вымолила у императрицы разрешение на развод дочери; через некоторое время Марфа Ивановна вышла замуж за Романа Илларионовича Воронцова.

Древний дворянский род Воронцовых, известный еще со времен Ивана Грозного, к XVIII веку пришел в «оскудение». У деда Е. Р. Дашковой Иллариона Воронцова было всего 200 душ крепостных. При Елизавете Петровне началось возвышение семейства. Михаил Илларионович Воронцов, дядя Дашковой, был деятельным участником дворцового переворота, возведшего на престол «дщерь Петрову». Двоюродная сестра императрицы Елизаветы стала его женой. На Воронцовых посыпались милости: земельные пожалования, денежные награды, чины. Михаил Илларионович — доверенное лицо императрицы, с 1754 г.— вице-канцлер, с 1758 г.— канцлер. От германского императора он получает титул графа Римской империи и, не имея сыновей, в 1760 г. добивается разрешения распространить этот титул на родных братьев — Романа и Ивана. Отец Дашковой Роман Илларионович также занимает видные должности — он генерал-аншеф, сама императрица Елизавета Петровна дружна с его женой, матерью Дашковой.

Екатерина Романовна Воронцова была четвертым ребенком в семье. В два года она лишилась матери и с четырех лет воспитывалась в доме дяди — канцлера Михаила Илларионовича Ворон-

цова. По представлениям того времени, она получила хорошее воспитание. Но девочка, рано начавшая самостоятельно и критически мыслить, была не удовлетворена им, «страстно желала образовать себя». Екатерина Воронцова много и увлеченно читала и уже в 13 лет размышляла над книгами Вольтера, Дидро, Руссо, Гельвеция и других французских просветителей.

«В 15 лет я полюбила и вышла замуж,— вспоминала Екатерина Романовна (ставшая по мужу княгиней Дашковой),— потом началась семейная жизнь, дети, болезни...»[1]. Но по складу характера, по темпераменту и уму, в силу своих представлений о жизни Дашкова не могла довольствоваться только ролью жены и матери. Ее активная натура стремилась к деятельности за пределами жизни «семейной». Видя, как и многие другие, неспособность Петра III быть главою огромной империи, сталкиваясь с его презрением ко всему русскому, она убедилась в том, что «Петр III ведет страну если не к гибели, то к падению национального достоинства и государственного престижа»[2]. Дашкова решила принять участие в дворцовом перевороте и возвести на престол жену Петра III, умную, просвещенную Екатерину, которую она «обожала».

Посчитав выгодным иметь на своей стороне представительницу старинной аристократической семьи, тем более что остальные члены этой фамилии были сторонниками Петра III, имея в виду широкие связи мужа Екатерины Романовны — князя Михаила Дашкова, который служил в лейб-кирасирском полку, Екатерина расчетливо использовала энтузиазм и преданность 19-летней Дашковой. Не посвящая ее в свои замыслы и тайно держа в руках нити будущего переворота, она предоставила юной княгине действовать на свой страх и риск.

Историки, писавшие о дворцовом перевороте 28 июня 1762 г., довольно единодушны во мнении, что сама Дашкова «чрезмерно преувеличивает свою роль и значение в нем»[3]. С. М. Соловьев считает, что и «иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой...»[4]. Л. Я. Лозинская точно оценивает суть дела, полагая, что «роль, которую Екатерина предоставляет играть Дашковой в июньских событиях... скорее эффектная, чем значительная»[5]. Обманывала ли Дашкова своих друзей, утверждая через несколько десятилетий, что была «главным орудием революции» и что именно она свергла с трона своего крестного

---

[1] Memoirs of the Princess Dashkow, lady of honour to Catharine II, written by herself, comprizing letters of the empress and other correspondance. Edited by W. Bradford. 2 v. London, 1840, v. 2, p. 151. (В дальнейшем Memoirs.., 1840).

[2] Краснобаев Б. И. Глава двух академий.— Вопросы истории, 1971, № 12, с. 87.

[3] См. статью о Дашковой Н. Д. Чечулина в Русском биографическом словаре, его же вступительную статью к «Запискам» Дашковой, изд. 1907 г.; а также: Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 2. Берлин, 1900. (Далее: Бильбасов...).

[4] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. М., 1965, с. 88 (В дальнейшем: Соловьев С. М. История России...).

[5] Лозинская Л. Я. Во главе двух академий. Изд. 2. М., 1983, с. 19.

отца? Очевидно, нет. Она действительно так думала и потому, видимо, не могла поверить, что Екатерина II уверяла польского короля, будто ее участие в событиях было ничтожно. Дашкову поразило, как Екатерина могла так говорить о ней, видя ее безграничную преданность и зная, что она «рисковала окончить жизнь на эшафоте».

Но что бы ни говорила Екатерина II потом, сразу после переворота она «необыкновенное усердие и самопожертвование» Дашковой явно отличила, наградила ее, приблизила к себе. Однако недолго продолжалась дружба двух Екатерин — Великой и Малой (как называла себя Дашкова). Раздражение императрицы намерением княгини и дальше участвовать в государственных делах, ее возмущение откровенно презрительным отношением Дашковой к братьям Орловым и другим участникам переворота (особо приближенным Екатериной); а позднее — подозрение, будто Дашкова причастна к «умыслу» устранить фаворита — Г. Г. Орлова и к попытке возвести на престол Ивана Антоновича, правнука царя Ивана Алексеевича (дело Хитрово и заговор Мировича),— все это привело к опале княгини. Хотя имя Дашковой стояло на пятом месте в «сервизном» списке (по случаю 3-летней годовщины восшествия на престол Екатерина II составила список на 33 персоны, для которых были специально изготовлены серебряные сервизы), это ничего не меняло. В 1765 г. Екатерина Романовна, оставив Петербург, переезжает в Москву. «Все довольны, что она уехала,— писал по этому поводу английский посланник Маккартни,— она — женщина необычайной силы ума, обладающая мужской отвагой и силой духа, способной преодолевать трудности, кажущиеся почти непреодолимыми, характер слишком опасный в этой стране...»[6].

Овдовев в 20 лет (Михаил Дашков умер в 1764 г.), крайне стесненная в средствах, по сути, отринутая родными, которые не простили ей участия в свержении Петра III, Дашкова действительно проявила удивительную способность противостоять бедам. Почти на пять лет удалилась она в свое калужское имение Троицкое, где, отказывая себе во всем, кроме самого необходимого, принялась хозяйствовать и копить деньги, необходимые для оплаты огромных долгов ее покойного мужа. «Если бы до моего замужества мне сказали, что, воспитанная в роскоши и расточительстве, в свои 20 лет я буду отказывать себе во всем, кроме самой простой одежды, я бы не поверила» («Записки»).

Расплатившись с долгами, Дашкова в конце 1769 г., с трудом получив на то разрешение императрицы, вместе с дочерью и сыном выехала в Европу.

Противница «развлекательных» путешествий, Дашкова поставила себе целью познакомиться с разными городами и странами и выбрать наиболее подходящее учебное заведение для образования детей. Чтобы соблюсти строгую экономию и не представляться

---

[6] Цит. по книге: Hyde H. M. The Empress Catherine and Princess Dashkov. London, 1935, p. 105.

иностранным дворам как статс-дама, в свое первое заграничное путешествие Дашкова ехала под именем госпожи Михалковой («по названию небольшого имения под Москвой, принадлежавшего моим детям»,— объясняла она происхождение псевдонима в «Записках»). Однако ей не удалось сохранить инкогнито: уже в Берлине Фридрих II и весь прусский двор настоятельно желают принять княгиню Дашкову «под тем именем, каким она назовется».

На модном европейском курорте Спа Дашкова познакомилась и подружилась с двумя дамами из Ирландии — госпожами Морган и Гамильтон; родственнице Гамильтон Марте Вильмот[7] будет суждено впоследствии сыграть значительную роль в жизни Дашковой.

Приехав в Англию, Дашкова прежде всего уделила время осмотру достопримечательностей столицы и окрестностей. Три дня знакомилась она с Оксфордом. Ее принимал глава одной из университетских коллегий. Русской путешественнице показали библиотеки, нумизматический кабинет, музей, учебные здания, ботанический сад, типографию. В Публичной библиотеке («оная библиотека, после Ватикана в Риме, считается теперь первая в свете»,— напишет Дашкова позже о своих впечатлениях)[8] среди прочих книжных сокровищ ее заинтересовали русские манускрипты, в том числе русско-греческий словарь. В Оксфорде Дашкова встретилась с русскими студентами, молодыми людьми, посланными Екатериной II на обучение в английский университет. Дашкова расспрашивала их о студенческой жизни, присматривалась к университетским порядкам, имея в виду дальнейшее образование сына.

После Лондона — Париж. Здесь Дашкова пробыла всего 17 дней, но они были наполнены до предела: она посещала музеи и храмы, «заходила в мастерские самых знаменитых художников, побывала на спектаклях» («Записки»), но главное впечатление от Парижа — встречи и разговоры с Дидро.

Исследователи давно заметили расхождение между теми страницами «Записок» Дашковой, где рассказывается о замечательном философе, и свидетельством самого Дидро о знакомстве с княгиней — она, например, утверждала, что они встречались ежедневно, Дидро говорит, что всего четыре вечера. Следует согласиться с Л. Я. Лозинской, что дело не в количестве проведенных вместе часов, важнее — содержание, насыщенность их продолжительных разговоров. Среди многих тем, затронутых в беседах, главной была — «рабство русских крестьян».

Дидро и Дашкова обсуждали различные формы правления. Дашкова превозносила английскую конституционную монархию, и Дидро не без иронии отметил ее «пристрастие» к Англии. В целом у Дидро сложилось впечатление, что «она горячо ненавидит деспотизм и любые проявления тирании»[9].

---

[7] Хотя существует написание «Уильмот», мы транскрибируем фамилию «Вильмот», следуя за академиком М. П. Алексеевым. (См. Литературное наследство, т. 91. М., 1982, с. 171.)

[8] Опыт трудов Вольного Российского собрания, ч. II, М., 1775, с. 138.

[9] Лозинская. Указ. соч., с. 45.

В 1772 г. Е. Р. Дашкова возвратилась в Петербург. Императрица приняла ее милостиво, прислала «на первые нужды» 10 тысяч рублей, затем еще 60 тысяч. «Я была крайне удивлена этим поступком, который вовсе не походил на обращение императрицы со мной в течение последних десяти лет, прошедших со времени ее восшествия на престол»,— отметила Дашкова в «Записках», высказав, может быть, невольно свое огорчение тем, что не стала ни другом, ни советчиком Екатерины II.

Дашкова пробыла в столице недолго и осенью 1773 г. уехала в Москву. Этот отъезд исследователи расценивают как вынужденный; историки связывают его с попыткой Н. И. Панина и Д. И. Фонвизина добиться перемены формы правления — установления конституционной монархии[10].

Еще в 1762 г., участвуя в заговоре в пользу Екатерины, Панин надеялся, что, став императрицей в результате переворота, она согласится разделить власть с представителями высшего дворянства. Потерпев неудачу в попытке учредить имперский Совет, орган, ограничивающий власть монарха, Н. И. Панин решил сделать ставку на наследника, воспитателем которого он был. В 1772 г., когда великий князь Павел достиг совершеннолетия, группа оппозиционно настроенных вельмож и передовых общественных деятелей замыслила отстранить от власти Екатерину II, веря в то, «что воспитанник Панина заменит безграничное самодержавие конституционным правлением»[11].

Судя по всему Дашкова была посвящена в эти замыслы, и они были ей достаточно близки.

О том, что Дашкова вообще являлась сторонницей ограничения самодержавия, свидетельствуют ее замечания на книгу К. Рюльера «История, или Анекдоты о революции в России в 1762 г.». В них она, например, выразила неудовольствие тем, что автор не упомянул о ее «желании видеть в Екатерине регентшу, а не самодержицу»[12].

По доносу одного из секретарей Панина Екатерина узнала об этих замыслах, Павел во всем признался. «Из заговорщиков никто, однако, не погиб. Граф Панин был удален от Павла с благотворительным рескриптом с пожалованием ему за воспитание цесаревича 5000 душ и остался канцлером; брат его фельдмаршал и княгиня Дашкова оставили двор и переселились в Москву...»[13].

В 1773 г. в Петербург по приглашению Екатерины II приехал Д. Дидро, но встретиться с Дашковой ему не удалось. Можно предположить, что без разрешения императрицы Дашковой нельзя было приехать в столицу.

В 1774 г. Е. Р. Дашкова участвует в учреждении Вольного Российского собрания при Московском университете. В списке действительных членов этого общества ее имя стоит сразу после

---

[10] См.: Эйдельман Н. Я. Грань веков. М., 1982, с. 32 и далее.

[11] Лотман Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг.— В кн.: XVIII век. Сборник 13. Л., 1981, с. 130.

[12] См.: Архив кн. Воронцова, кн. 7. М., 1875, с. 654—655.

[13] Фонвизин М. А. Сочинения и письма. Т. 2. Иркутск, 1982, с. 129.

председателя и его «наместника». В это время Дашкова много писала и печаталась, чаще всего под псевдонимом «Россиянка» или «Благородная Россиянка».

События Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева, потрясшие всю Россию, объявление в августе 1774 г. близких к имению Дашковой Серпуховского и Тарусского уездов на военном положении никак не отразятся в ее «Записках». Но имя Пугачева все же появится на страницах письма Дашковой к брату А. Р. Воронцову. В отличие от большинства жаждущего крови и мщения дворянства, Дашкова, видя в Пугачеве «преступника и злодея», жалеет его как человека, осужденного на казнь. «...Ты спрашиваешь, мой друг, — пишет она брату 8 января 1775 г., — имела ли я, как многие другие, любопытство видеть Пугачева, из чего я заключаю, что ты худо еще меня, батюшка, знаешь. Сколь ни отвратителен он по злодеяниям своим и сколь возмездия по оным ни справедливы будут, но окованный человек и осужденный к смерти мне не иначе, как жалостным предметом представляется. Я его не видела и видеть не хочу»[14].

Летом 1775 г. Екатерина II приехала в Москву на торжества, связанные с окончанием русско-турецкой войны, которые проходили с «большим великолепием». Дашкова не принимала участия в развлечениях, не сопровождала императрицу в Калугу и другие поездки и, как только представился случай, снова попросила позволение уехать за границу, «чтобы завершить воспитание сына». Разрешение было дано «невероятно холодно» («Записки»).

8 декабря 1776 г. Дашкова с сыном и дочерью прибыла в Шотландию и поселилась в аристократическом районе Эдинбурга Джонстрит.

К этому времени Эдинбургский университет, во многом благодаря тому, что его ректором был выдающийся английский историк В. Робертсон, стал одним из знаменитых в Европе. Его называли «Вторыми или Северными Афинами». Ведущими профессорами университета были философ А. Фергюсон, химик Д. Блэк, профессор риторики и словесности Х. Блэр, наконец Адам Смит, автор только что появившейся, впоследствии широко известной книги «Исследование о природе и причинах богатства народов».

В пространном письме к В. Робертсону Дашкова изложила свои взгляды на образование и привела составленную ею программу обучения сына. Пытаясь, согласно идеям просветителей, осуществить план воспитания человека «новой породы», она включила в свою программу почти все науки — от философии до химии.

Павел Дашков усердно учился в Эдинбургском университете. Университетские профессора были частыми гостями в доме Дашковой, и позднее она с большим уважением отзывается о них в своих «Записках». В конце третьего года обучения 6 апреля 1779 г. Дашков получил степень магистра искусств.

Перед отъездом из Эдинбурга Е. Р. Дашкова в знак благодарности и уважения подарила университету прекрасную

[14] Архив кн. Воронцова, кн. 5, М., 1872, с. 183.

коллекцию русских медалей, выпущенных с конца XVII века до 1777 г.

Следуя традиции богатых англичан завершать образование своих сыновей путешествием, Дашкова решилась на длительную поездку по европейским странам. Она написала для сына наставление, в котором отмечала, что путешественник должен стремиться понять, каковы в чужих странах «...форма правления, законы, нравы... торговля... иностранная и внутренняя политика... подати, пошлины и различные условия разных сословий»[15]. Все эти знания, по ее мнению, были необходимы для превращения юноши в полезного члена общества.

Надо сказать, что подобные философски-назидательные «наставления» детям были довольно популярны в конце XVIII века. Писатель А. И. Кутузов опубликовал «Наставление отца сыну»; в Европе и в России были широко известны письма сыну видного английского политического деятеля Ф. Честерфилда. В журнале, издававшемся при Академии наук, печаталось «Письмо отца к сыну о пьянстве», в котором анонимный автор предостерегал сына от пагубной привычки[16]. «Наставление» Дашковой может быть по-настоящему понято и оценено в свете ее общей концепции воспитания.

Проблема воспитания всегда волновала Дашкову. Она не раз выступала против модного в ту пору «французского воспитания», которое, по ее мнению, «не только полезным, но и вредным назваться может...»[17]. Она призывала прививать детям из общества «любовь к правде и к отечеству, почтение к законам церковным и гражданским, почтение и доверенность к родителям»[18]. Старшее же поколение должно показывать молодым людям пример любви к родине.

В 1806 г. Дашкова публикует свое письмо к К. Вильмот, в котором вновь возвращается к вопросам воспитания[19].

Представления Дашковой о месте образования и воспитания в жизни общества, бесспорно, несут на себе печать идей Просвещения, с характерным для него стремлением путем воспитания «создать» нового человека. Однако ее личный опыт терпит неудачу: сын не стал, как она хотела, «другом и благодетелем общества», не сделал блестящей военной карьеры, о чем мечтала мать, не вышел в крупные политические деятели. Более того, нравственный облик и сына и дочери Дашковой, строго говоря, оставлял желать лучшего.

В конце жизни, осмысливая свой педагогический опыт, Дашкова должна была не без горечи признать, что вопрос воспитания как очень сложный «не может быть объят умом одного человека» («Записки»). Но это именно итоговое размышление. А тогда, в 1779 г., убежденная в справедливости своих принципов, не лишенная честолюбивых надежд в отношении сына, Дашкова с детьми отправ-

---

[15] Memoirs.., 1840, v. 2, p. 126.

[16] Новые ежемесячные сочинения, 1792, ч. 78, с. 88—89.

[17] Дашкова Е. Р. О смысле слова воспитание.— Собеседник любителей российского слова, 1783, ч. 2, с. 16.

[18] Там же, с. 24.

[19] Друг просвещения, 1806, ч. 12, с. 193.

ляется в путешествие по Европе. Маршрут странствий включил (кроме Англии) Ирландию, Голландию, Францию, Италию, Австрию, Германию. Летом 1782 г. Дашкова возвращается в Россию.

* * *

В заграничных путешествиях ярко проявились духовные, и в частности научные, интересы Дашковой. На страницах «Записок», посвященных знакомству с Европой, она довольно часто упоминает о посещении музеев, картинных галерей, мастерских известных художников. Даже самые беглые заметки такого рода позволяют судить о ней как о знатоке и ценителе искусства, о том же смогли бы сказать ее покупки картин и гравюр. Особенное пристрастие, по ее собственным словам, она имела к архитектуре.

Во время заграничных поездок Дашкова пополнила свою замечательную коллекцию минералов, которая к концу ее жизни оценивалась в 50 000 рублей и которую она в 1808 г. подарила Московскому университету.

Имя Дашковой встречается среди подписчиков на изданную в Лондоне в 1777 г. книгу В. Бейли «Развитие искусств, промышленности и торговли...»[20].

Из «Записок» нельзя узнать о содержании бесед Дашковой с учеными и писателями разных стран (Дидро — исключение), а между тем она выказала самый живой интерес к открытиям ученых и научным учреждениям. По-дилетантски увлекаясь астрономией, она в 1775 г. осматривает Варшавскую обсерваторию. В сентябре 1781 г. пишет академику Т. Бугге в Копенгаген, что заинтересовалась созданными им географическими картами, и обещает представить Петербургской академии наук результаты его астрономических исследований (в то время она была еще частным лицом в русском академич ском мире). На обеде, данном в ее честь французским историком Г. Рейналем, Дашкова познакомилась со многими парижскими академиками и с видным шведским астрономом А. Лекселем.

Ранее завязавшиеся отношения Дашковой с некоторыми европейскими учеными сохранились и после ее возвращения в Россию. Встречи и знакомства Дашковой с учеными сыграли немалую роль в развитии международных связей русской науки, особенно после того, как в январе 1783 г. Е. Р. Дашкова была назначена директором Петербургской академии наук.

О деятельности Дашковой на посту директора Академии наук следует сказать особо. Президентом Академии наук с 1746 г. по 1798 г. был К. Г. Разумовский, делами он не интересовался, ни во что не вмешивался, и поэтому фактическим главой Академии являлся ее директор. Беспрецедентное назначение на этот пост (женщины!) оказалось очень удачным. Непосредственное знакомство с европейскими научными учреждениями, продолжительное общение с круп-

---

[20] Cross A. «By the Banks of the Thames». Russians in eighteenth century Britain. Newtonville, Mass, 1980, p. 83.

ными английскими учеными помогли ей быстро разобраться в делах, понять, в чем состоят первоочередные задачи Академии, способствовать организации научных экспедиций и улучшить условия труда ученых. Добрую службу сослужили ей жизненный опыт и практицизм, когда она взялась приводить в порядок хозяйство Академии, оставленное ее предшественником С. Г. Домашневым в плачевном виде.

По распоряжению Дашковой была приведена в надлежащее состояние библиотека, академикам выплачено задержанное жалование, перестроена и улучшена работа типографии, упорядочена отчетность. Энергии и организаторских способностей Дашковой хватало не только на администраторские обязанности. Была налажена учебная и научно-просветительская деятельность Академии: Дашкова добилась, чтобы при Академии были открыты публичные чтения общедоступных курсов: видные ученые читали лекции по основным отраслям естественных и точных наук.

Заботясь о приоритете отечественной науки, Дашкова распорядилась, чтобы академики не сообщали, как раньше, за границу о своих новых открытиях и наблюдениях, пока Академия их не опубликует и тем самым не приобретет славу, а государство не использует эти открытия в практических целях.

Заметный след в истории русской журналистики и литературы оставили основанные Дашковой издания, которые печатала Академия. С мая 1783 г. по сентябрь 1784 г. выходил журнал «Собеседник любителей российского слова», к участию в котором были привлечены Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист и др. Журнал пользовался большим успехом, о чем говорит его небывало высокий по тем временам тираж — 1850 экз. Н. А. Добролюбов в статье «Собеседник любителей российского слова» отмечал, что и журнал и Академия (здесь уже имеется в виду Российская Академия) «имели одну и ту же цель, явились вследствие одного и того же просвещенного стремления — распространять просвещение в обществе и возвысить значение отечественной литературы»[21]. По почину Дашковой и при ее участии издавался самый «долговременный» русский журнал XVIII века — «Новые ежемесячные сочинения» (1786—1796 гг.). Было продолжено начатое Н. И. Новиковым издание письменных памятников по истории России «Продолжение Древней Российской Вивлиофики» (20 частей), вышло 43 части сборника «Российский Феатр» (1786—1791, 1793—1794 гг.).

Многотрудную деятельность в должности директора Академии наук Е. Р. Дашкова чуть позднее «совместила» с ответственным постом президента Российской Академии, которая была учреждена по ее представлению и на основе разработанного ею Устава, или «Краткого начертания».

На торжественном открытии Российской Академии 21 октября 1783 г. Дашкова произнесла речь, в которой сказала, что главной

[21] Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 1. М., 1961, с. 193.

задачей новой Академии будет обогащение и очищение русского языка. Этой цели и служила работа видных русских ученых и литераторов над созданием первого русского толкового словаря — «Словаря Академии Российской», первый том которого вышел в 1789 г., а последний — шестой — в 1794 г. Завершение такой огромной работы (было собрано 43 257 слов) в неслыханно короткий срок поразило современников, и недаром через три десятилетия А. С. Пушкин присоединится к мнению Н. М. Карамзина: «Карамзин справедливо удивляется таковому подвигу. «Полный Словарь, изданный Академиею,— говорит он,— принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями»[22]. Дашкова была не только организатором работы над словарем, но и принимала непосредственное участие в его составлении как автор словника и статей.

Заботы по управлению двумя академиями не мешали, а скорее способствовали литературным занятиям Дашковой.

Ее первое выступление в печати относится еще к 1763 г., когда она опубликовала перевод фрагментов из философского трактата Гельвеция «Об уме», отобрав главы из «Рассуждения III»: «О происхождении страстей», «О скупости», «О честолюбии», «Почему удовольствие так часто ускользает от честолюбца...» и «О гордости».

В 1770-е годы Дашкова сотрудничает в журналах Н. И. Новикова. Представляется достаточно убедительным предположение В. П. Семенникова, что в 1-й части «Живописца» статья под № 9 принадлежала Дашковой[23]. Нравоучительные афоризмы «Имей к людям уважение, если уважаем быть хочешь», «Не толкуй сыну о роде его; говори ему о добродетелях, без коих унизит он свое рождение»[24] и другие напоминают и по мыслям, и по стилю статьи и сочинения Дашковой. Не разделяя антикрепостнических взглядов Новикова, Дашкова присоединяется к его критике французомании светского общества. Дашкова нередко выступала в печати по морально-этическим проблемам. Не только борьба с французским влиянием в воспитании и моде, но и критика угодничества, приспособленчества — вот темы ее статей. «Служить обществу, а не выслуживаться при дворе или у вельмож...» — писала она в одной из статей, подписываясь одним из своих псевдонимов «Россиянка»[25]. В уже упоминавшейся статье Н. А. Добролюбов с похвалой отзывался об этих выступлениях. «Эти статьи сильно вооружаются против... двоедушия, ласкательства, ханжества, суетности, фанфаронства, обмана, презрения к человечеству. Эти статьи отрадно читать и

---

[22] Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 6. М., 1976, с. 98.

[23] Семенников В. П. Русские сатирические журналы 1769—1774 гг. Спб., 1914, с. 53.

[24] Живописец, 1772, ч.1, лист IX, с. 70, 71.

[25] Друг просвещения, 1806, ч. 12, с. 200.

ныне... Видно, что эта сатира бескорыстная, не руководившаяся ничем, кроме желания добра»[26].

В журналах того времени часто публиковались краткие изречения нравоучительного и назидательного характера. Образцом этого жанра в читательском сознании, в какой-то мере и снискавшим ему популярность, явились знаменитые «Максимы» Ф. Ларошфуко, который в форме афоризмов представил свои наблюдения над нравами французской аристократии. «Максимы» были переведены на русский язык А. Ф. Малиновским. Дашкова использует это литературное оружие — нравоучительный афоризм — в таких, например, сочинениях, как «Истины, которые знать и помнить надобно, дабы следуя оным, избежать несчастий», «Сокращение катехизиса честного человека». Вот некоторые из этих высказываний: «Отечество мое да будет мне всегда драгоценно», «Да возлюбит душа моя истину паче всего...», «Совесть моя да пребудет всегда в чистоте»[27].

Обращалась Дашкова и к драматическому жанру. Ей приписывается пьеса «Народное игрище», напечатанная в журнале Н. И. Новикова «Кошелек» в 1774 г.[28]. Возможно, она была соавтором Екатерины II в написании пьесы «Госпожа Вестникова с семьей»[29]. История создания в 1786 г. комедии «Тоисиоков, или Человек бесхарактерный» рассказана ею в «Записках» (в пьесе изображаются придворный, никогда не имевший своего мнения, и его столкновение с героиней Решимовой, в которой угадываются черты автора).

Навестив в 1799 г. брата А. Р. Воронцова в его имении Андреевском и посмотрев на сцене крепостного театра драму А. Коцебу «Бедность и благородство души», Дашкова нашла, что жадность у автора наказана недостаточно и написала пьесу «Свадьба Фабиана, или Алчность к богатству наказанная». Пьеса ее была сыграна на театре Воронцова, но в печать не попала. В автобиографической заметке для «Нового опыта исторического словаря о российских писателях» Дашкова написала, что «скоротечному перу ее» понадобилось всего 2 часа 20 минут «для окончания сего творения»[30].

Обращение Дашковой к драматургии естественно. В течение всей жизни она увлекалась театром: постоянно посещала спектакли и в России и во время заграничных поездок, иногда самостоятельно занималась составлением того или иного очередного тома «Российского Феатра». Логическим воплощением этого интереса стало и создание крепостного театра в Троицком.

Отдельные замечания в письмах сестер Вильмот и обнаруженные нами архивные материалы дают возможность представить особенности театра Дашковой, о котором до сих пор почти ничего не было известно.

---

[26] Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 1, с. 222.
[27] Собеседник любителей российского слова, 1783, ч. I, с. 34.
[28] История русского драматического театра в 7-ми т. Т. 1. М., 1977, с. 177.
[29] Репертуар, 1844, № 1, с. 179.
[30] Друг просвещения, 1803, ч. 1, с. 272—273.

Театр в Троицком был небольшой, каменной постройки. Особой труппы не было, играли дворовые люди, которые после спектакля возвращались к исполнению обязанностей лакеев, горничных и пр. Имелся неплохой оркестр. Редкий документ — воспоминания бывшего крепостного Дашковой Венедикта Малышева — рассказывает о том, как проходило обучение крепостных музыкантов. С 1798 по 1803 г., например, по желанию княгини двое ее крепостных были направлены в оркестр А. Б. Куракина обучаться игре на скрипке. «В 1803 году,— пишет в воспоминаниях В. Малышев,— [...] княгиня Екатерина Романовна Дашкова прибыла в Санкт-Петербург [...] слушала нас двоих, и по выслушании нашей игры на скрипках, каковою игрою осталась довольна, и заблагорассудив, взяла от учения [...] купила скрипку [за] 50 рублей, нам же велела быть при ней, служа у стола и прочее. И еще были музыканты прежде нас учились на духовой, на кларнете, флейте и фаготе...»[31].

Хотя самой Дашковой «не пришлось заниматься ни с учителем музыки, ни с учителем пения», она чувствовала и понимала музыку и, по ее словам, могла «судить о ее достоинствах не хуже профессионала»[32]. В течение всей жизни она много времени посвящала музыке и, по сути, была композитором, владевшим искусством писать с «патетической простотой» (из письма известного английского актера Д. Гаррика Е. Р. Дашковой), пела и играла на фортепьяно. Сохранились свидетельства о том, что Дашкова выступала в любительских концертах и как певица, и как пианистка. Особенно любила Дашкова петь и слушать народные песни и часто предоставляла возможность насладиться русской музыкой гостившим у нее сестрам Вильмот. О музыкальных способностях и вкусах Дашковой можно судить по ее «Музыкальному альбому», в котором записано тридцать восемь музыкальных произведений, либо сочиненных, либо переложенных для фортепьяно владелицей альбома[33]. Занятия музыкой не были в жизни Дашковой просто данью аристократической моде или традиционной манерой светского времяпрепровождения. Любовь к музыке, как и литературное творчество, была для нее неотъемлемой частью духовной жизни и убежищем, куда можно было, хотя бы на время, уйти от тревог и опасностей придворной жизни, семейных неурядиц, несчастий, обид. А их в жизни Дашковой было немало...

Если столкновения Дашковой с придворным кругом происходили чаще всего на этической, нравственной почве, то в основе раздоров с императрицей лежали в значительной мере мотивы политические.

В 1791 г. в связи с осуждением А. Н. Радищева вышел в отставку покровительствовавший ему по службе брат Дашковой А. Р. Воронцов. Не сочувствуя революционным взглядам Радищева, Дашкова, однако, не могла, по образному выражению А. И. Герцена, «руко-

---

[31] ОР ГБЛ, ф. 178, «Книга Малышева», муз. собр. № 7557, лл. 4 об.— 5.
[32] Memoirs.., 1840, v. 2, p. 150.
[33] См.: Пряшникова М. П. Музыкальный альбом Е. Р. Дашковой.— В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1982. Л., 1984, с. 184.

плескать наказаниям за мысль»[34]. «Я была опечалена судьбой Радищева»,— кратко отметит она в «Записках».

В ноябре 1793 г. в Петербурге заговорили о трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский», о том, что в ней много есть стихов в опровержение самодержавию. Пьеса была дважды отпечатана в типографии Академии наук: отдельной книгой и в 39-й части «Российского Феатра». Такое издание в разгар французской революции было явно «не ко времени». Возмущенная тираноборческими монологами героя, Екатерина заявила директору Академии: «Я прикажу сжечь эту трагедию рукой палача».

Прямых указаний на то, что отставка Дашковой (официально — двухгодичный отпуск с 12 августа 1794 г.) непосредственно связана с этим конфликтом, нет. Но ведь недаром до сведения Дашковой в тот момент услужливо довели, что императрица припомнила старые слухи о том, что Дашкова и А. Р. Воронцов были «побудителями сочинения Радищева», и «назвала трагедию Княжнина уже вторым произведением опасного направления». И сама Екатерина уже прямо к Дашковой обратила гневный упрек за распространение высказываний, опасных для ее власти.

Л. Я. Лозинская, вслед за П. И. Бартеневым, который ссылался на свидетельство сына драматурга, считает, что Дашкова напечатала «Вадима», отчетливо понимая его опасное содержание[35]. Утверждение это представляется вполне вероятным. Видимо, все-таки можно говорить об определенных политических взглядах Дашковой: неизменной ее приверженности идее ограничения самодержавной власти. Тут уместно вспомнить, что, живя в Англии, Дашкова ходила слушать ораторов в английском парламенте и что английское конституционно-монархическое правление ей «более других государств понравилось», в чем она в свое время призналась открыто в печати[36]. Припомним также, что однажды Дашкова даже поплатилась за сочувственное отношение к намерению Панина — страстного поклонника «шведской конституции» — ограничить власть самодержицы.

К началу 90-х годов отношения Дашковой с Екатериной настолько осложнились, что директор Академии стала думать о том, чтобы «... полностью отойти от службы, от столичного шума» («Записки»). Близкий ко двору П. В. Завадовский, сообщая А. Р. Воронцову о намерении Дашковой уехать из столицы, заметил: «... отнюдь ею не дорожат, потому и разумно располагается...»[37]. Получив отпуск «для поправления здоровья», Дашкова уезжает в Москву.

Последние пятнадцать лет жизни Дашковой означены крутыми переломами судьбы. Два года она, как говорится, не у дел. После смерти Екатерины II ее настигает месть Павла за участие в перевороте 1762 г.— ссылка в далекую деревню Новгородской губернии

---

[34] Герцен А. И. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. XII. М., 1957, с. 406.
[35] Лозинская Л. Я. Указ. соч., с. 101.
[36] Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям.— Опыт трудов вольного российского собрания, ч. II, 1775, с. 106.
[37] Архив кн. Воронцова, кн. 12. М., 1877, с. 152.

и угроза дальнейших притеснений. Однако вскоре удачное стечение обстоятельств определило новый поворот в жизни Дашковой. Ее пощадили, вернули из ссылки и даже разрешили бывать в столицах, когда там отсутствует двор. Русская княгиня, заговорщица 1762 года, натура, полная нерастраченных сил, действительно оказалась на покое, которого она, может быть, вовсе и не желала.

Впрочем, слово «покой» и для этого времени трудно применимо к Дашковой. Оставался прежний гражданский пафос, активное, пристрастное отношение ко всему происходящему. Не забывая о своем придворном чине первой статс-дамы, Дашкова считала себя вправе вершить над всем и всеми нелицеприятный суд. Она высказывала свои суждения и оценки открыто, часто нарочито прямолинейно, с безусловным расчетом, чтобы ее слова дошли до тех, кого они касались.

В эти годы, вдали от двора и большой политики, Дашкова создает свои «Записки», пишет полемические заметки к сочинениям французских авторов о царствовании Екатерины II, статьи для московских периодических изданий — «Русского вестника» С. Н. Глинки и журнала «Друг просвещения».

Примечательно, что «Записки» Дашковой пишутся практически одновременно с публицистическими и мемуарными произведениями ее братьев — А. Р. и С. Р. Воронцовых. К 1796—1797 гг. относится «Автобиографическая записка» С. Р. Воронцова, к первым годам XIX века — «Записка о своем времени» А. Р. Воронцова. К этим запискам мемуарного характера примыкают сочинения братьев Воронцовых на исторические и правовые темы: «Записка о русском войске», «Записка о внутреннем управлении России» С. Р. Воронцова, «Примечания на некоторые статьи, касающиеся до России», «Примечания о правах и преимуществах Сената» А. Р. Воронцова.

Но, конечно, собственные дашковские сочинения перекликаются не только с мемуарами и другими литературными трудами братьев Воронцовых, но, что несравнимо более важно, вписываются в духовную атмосферу эпохи.

«Записки» Дашковой, шаг за шагом восстанавливая подробную событийную сторону ее жизни, вместе с тем открывают сложный и во многом противоречивый мир ее идей, мир социального сознания.

На протяжении многих и многих десятилетий основной вопрос русской общественной мысли — это отношение к деспотизму, крепостному рабству, вольности. Взгляды Дашковой, нашедшие отражение в «Записках», вполне социально обусловлены.

Вернемся к тем парижским вечерам, не без тщательности воспроизведенным в «Записках», когда путешествующая под псевдонимом русская княгиня беседовала с Дени Дидро и эти беседы превращались в горячие споры. Дашкова старалась доказать, что русские крестьяне счастливы и богаты, что помещики заботятся о них, защищая от «лихоимства губернаторов и чиновников», а помещичий деспотизм при Екатерине II ограничен законодательством. При просвещенном монархе и просвещенных помещиках, пекущихся

о крестьянах, к чему отменять крепостное право? «Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения производит только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников станут просвещенными, тогда они будут достойны свободы...» («Записки»). Как видим, Дашкова отстаивала распространенное мнение — «сначала просвещение, потом — освобождение», и освобождение сверху, по закону. Тем самым она выражала взгляды тех дворян, которые принимали идеи просветителей без их радикальных социально-политических выводов, считая крепостное право незыблемым.

Откровенно враждебную позицию заняла Дашкова по отношению к буржуазной революции конца XVIII века во Франции. В «Записках» и на страницах журналов она выступает против революционных действий, в защиту «закона», решительно осуждает французский народ, «который к бесчеловечным, содрогающим душу действиям присоединил дерзость и закон отвергать»[38]. Существующие порядки представляются ей непреложными: «Всякий человек должен повиноваться состоянию, в коем находится, и выполнять с терпением должность и обязанность, с оным состоянием сопряженные. Главные же из них суть: повиновение и верность к государю, к помещику, к начальнику»[39]. И в то же время с этой мыслью связано у Дашковой убеждение в том, что сами представители власти должны следовать идеалам разума и просвещения, исключающим проявления деспотизма и произвола.

Несмотря на свою «просвещенность», Дашкова не забывала о преимуществах аристократического рождения. Не раз в «Записках» она подчеркивает древность рода Воронцовых. Но все же едва ли не более своей родовитости гордится она тем, что — русская, гордится Россией, ее культурой и историей. Это патриотическое чувство Дашкова выразила, пожалуй, как немногие из ее современников. «Науки из Греции перешли в Киев,— заявляет она в «Записках»,— гораздо раньше, чем появились у некоторых европейских народов, которые так охотно награждают русских именем варваров. Киевские школяры изучали философию Ньютона, в то время как во Франции она была запрещена католическим духовенством».

Именно это чувство национальной гордости и является одной из причин негативного отношения Дашковой к Петру I. Полемизируя с австрийским государственным канцлером Кауницем, утверждавшим, что Петр I чуть ли не единолично вообще «создал Россию и русских», Дашкова напоминает ему, что уже за несколько сотен лет до Петра Россия росла и ширилась, освободилась от чужеземного ига и имела богатую культуру. Подчеркивая (и не раз), что она не имеет предубеждения против Петра I, Дашкова настойчиво низводит его с пьедестала Великого. Она уверена, что Петр слишком высоко ставил иностранцев, чересчур круто ломал сложившиеся устои и самобытный характер предков и что он «уничтожил почти

[38] Новые ежемесячные сочинения, 1792, ч. 78, с. 4.
[39] Новые ежемесячные сочинения, 1795, ч. 114, с. 5.

полностью свободы и привилегии как дворян, так и крепостных». Особой остроты и силы обличения Дашковой достигают тогда, когда речь заходит о деспотизме Петра I, грубом обращении царя с подданными, представителями старинных дворянских родов.

Проблема «царь-деспот» и «просвещенный монарх» волновала Дашкову на протяжении всей жизни. В 1805 г., заканчивая свои «Записки», Дашкова сообщает о новом замысле (впоследствии, правда, неосуществленном): «Если я проживу еще некоторое время, то опишу разные случаи времен царствования Екатерины, справедливо именуемой Великой. Я изложу суть полезных деяний знаменитой государыни и проведу параллель между нею и Петром I, которого ошибочно считают достойным сравнения с этой необыкновенной личностью, стоявшей много выше него...».

Идеализируя Екатерину II, продолжая в ней видеть несмотря ни на что просвещенную государыню, Дашкова противопоставляла ее не только Петру I, но, по сути, и другим самодержцам. На некоторых страницах «Записок» говорится о жестокости и самодурстве Петра III и Павла I. Об этом Дашкова зачастую рассказывала гостившим у нее сестрам Вильмот, о чем свидетельствуют их письма...

Сестрам М. и К. Вильмот Дашкова представлялась самой историей, так переплетена была ее судьба с событиями века. «Записки» Дашковой — один из тех литературных и исторических памятников, благодаря которым эта живая история дошла до потомков, до сегодняшнего читателя.

До сих пор из-за отсутствия данных исследователи весьма приблизительно и по-разному определяли время создания «Записок». Теперь, опираясь на дневник М. Вильмот, можно установить, что Дашкова «начала записывать историю своей жизни» 10 февраля 1804 г. (с. 246 наст. изд.), а 27 октября 1805 г. была дописана последняя страница мемуаров («Mon histoir» во французском оригинале), и княгиня прочла М. Вильмот свое изящное и теплое посвящение.

Хронологически «Записки» княгини Дашковой охватывают более полстолетия: они начинаются с событий 40-х годов XVIII века и завершаются 1803 годом.

Сочные и живые зарисовки быта двора во время краткого пребывания на престоле Петра III, остро-психологический портрет «прусского капрала» на русском троне — свидетельство наблюдательности автора — могут быть сочтены вполне достоверным историческим материалом. Более осторожно следует оценивать те страницы «Записок», где дана история подготовки дворцового переворота 1762 г., совершенного гвардией в пользу Екатерины II. Тут Дашкова находится в плену иллюзий, преувеличивает, как уже отмечалось ранее, свое значение в его организации. Тем не менее как одно из свидетельств о подготовке и ходе дворцового переворота, оставленное непосредственным его участником, «Записки» имеют немалое значение.

Особого внимания заслуживает тот фактический материал, который позволяет представить, чем в действительности был так называе-

мый просвещенный абсолютизм в конкретных исторических условиях Российской дворянской империи XVIII века с его публичным провозглашением просветительских идей и одновременно практикой самодержавного правления, отмеченной самовластными решениями и беззакониями фаворитизма. Увиденная с близкого расстояния, Екатерина, которую Дашкова называет истинно просвещенной государыней, выступает самой настоящей самодержицей, гонительницей свободы.

Судьба Дашковой в пору ее опалы и ссылки, атмосфера преследований и всеобщего страха при Павле I, отраженные в «Записках», характеризуют положение страны в последние годы XVIII века.

В немногих, но ярких замечаниях автора «Записок» выражено недовольство старой знати робкими либеральными нововведениями Александра I и настороженное отношение ее к тем новым государственным людям, на которых опирался царь, так называемым молодым друзьям — их представители старшего поколения считали чуть ли не «якобинцами». Но недовольство Дашковой носило и иной оттенок. Видимо, она чувствовала, что русское самодержавие и в начале «дней александровых» далеко от истинного идеала просвещенной монархии.

«Записки» содержат ценные сведения о социально-экономической политике в России во второй половине XVIII века, характеризуют отношение абсолютизма к высшему дворянству, своей опоре. Тут и земельные пожалования и награды за участие в перевороте, и экономическая поддержка уплатой из государственной казны долгов знатных вельмож, и выдача крупных сумм на приобретение домов-дворцов, на заграничные путешествия. В известной мере по «Запискам» прослеживаются хозяйственная деятельность дворянства в условиях развития товарно-денежных отношений, стремление части помещиков вести рациональное хозяйство, их заботы об улучшении земель и усилия, прилагаемые к добыче денежных доходов от своих поместий.

Рассматривая «Записки» с точки зрения последовательности, полноты охвата в них событийной стороны описываемой эпохи, нужно отметить следующее. Дашковой, видимо, важнее было представить сущность происходящего, нежели сохранить все события до малейших деталей. Наверное, отсюда местами в «Записках» ощущаются хронологическая сбивчивость и даже явные сдвиги в хронологии, встречаются и прямые неточности. Автор далеко не всегда указывает конкретную дату событий, чаще говорится весьма неопределенно: «на другой год», «спустя год», «через некоторое время». Характерна для «Записок» и неравномерность в освещении истории. Наиболее подробно отражены переворот 1762 г. и заграничные путешествия. В то же время некоторые важнейшие явления и события в политической и общественно-культурной жизни в мемуарах даже не упоминаются (Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева, просветительская деятельность Н. И. Новикова, отношение русского общества к Французской революции и др.).

О жизни Дашковой после возвращения из ссылки в 1798 г. в «Записках» сказано скороговоркой: «Обойду молчанием несколько последующих лет, потому что они не представляют для читателя никакого интереса». Об этих годах, опущенных в мемуарах Дашковой, мы узнаем из дневниковых отрывков и писем сестер Вильмот, живших у Дашковой в первые годы XIX века. Им посвящен второй раздел настоящего издания.

* * *

...Сестры Кэтрин и Марта Вильмот родились в англо-ирландской семье. Их прадед Дж. Эрдли Вильмот оставил по себе память в анналах ирландского правосудия как справедливый и опытный судья. Его брат Роберт Вильмот в 1736—1738 гг. занимал должность первого секретаря вице-короля Ирландии.

Отец сестер Эдвард Вильмот был военным. В 1771 г. он женился на дочери приходского священника Марте Мур, происходившей из старинной английской семьи. Вскоре после женитьбы Э. Вильмот вышел в отставку и получил должность портового инспектора сначала в Дроэде, портовом городе на берегу Ирландского моря, а затем в Корке, крупном порту на юге Ирландии. Большое семейство Вильмотов (у Марты и Эдварда было три сына и шесть дочерей) поселилось вблизи Корка в живописной долине Глэнмайр.

Детство и юность сестер Вильмот прошли безмятежно, они получили хорошее воспитание и образование, жили в атмосфере любви и уважения.

В конце 1801 г. Кэтрин — старшая из сестер — отправилась путешествовать по Европе в компании со своими дальними родственниками — семейством лорда Кашел. Дневник, который вела Кэтрин в это время, свидетельствует о ее незаурядных литературных способностях.

Вскоре после отъезда Кэтрин семью Вильмот постигло большое горе: младший сын Чарльз умер в Вест-Индии от желтой лихорадки. Смерть любимого брата стала для впечатлительной Марты крушением счастливого домашнего мирка. По ее собственным словам, она потеряла всякий интерес к жизни настолько, что ее здоровье стало вызывать опасения родных. Встревоженная настроениями сестры, Кэтрин писала из Франции, чтобы Марту отправили за границу ради перемены обстановки...

За два с лишним десятилетия до этих событий близкая родственница Э. Вильмота Кэтрин Гамильтон познакомилась и подружилась с путешествовавшей тогда по Европе Дашковой и позже по ее приглашению даже посетила Россию. Марта часто слышала рассказы о знаменитой русской княгине и от К. Гамильтон, и от отца, который познакомился с Дашковой в доме своих родственников, в имении Лота, когда русская путешественница жила в Ирландии в 1779—1780 гг. (впоследствии Дашкова с удовольствием вспоминала о своем пребывании в этом поместье и о знакомстве с его обитателями). Теперь, после обмена письмами между Гамильтон и

Дашковой, Марта решилась на поездку в Россию, приняв совет родственницы год-два провести у княгини.

В первых числах июня 1803 г., невзирая на начавшуюся в мае англо-французскую войну, М. Вильмот покинула Англию и благополучно приплыла в Кронштадт. Рекомендательное письмо русского посла в Лондоне С. Р. Воронцова к начальнику Кронштадтского порта адмиралу П. И. Ханыкову обеспечило англичанке радушный прием и незамедлительную отправку в Петербург, где ее уже ждали в доме родного племянника Дашковой А. А. Полянского. Дашкова заранее написала его жене: «Очень прошу, дорогая Лизонька, взять под свое покровительство мисс Вильмот, которая прибудет с первым кораблем...»[40]. Полянские познакомили Марту со своими родственниками и знакомыми. Надо сказать, что петербургский высший свет не любил княгиню Дашкову. Ее представили М. Вильмот тиранкой, сумасбродкой, человеком без принципов. Девушка, напуганная перспективой жить в доме такого чудовища, чуть было не вернулась в Англию. Только получив от английского посланника в Петербурге Д. Уоррена заверения, что в случае необходимости ей будет обеспечена защита, Марта отправилась в Москву, а оттуда в имение Дашковой Троицкое. Понадобился всего один день, чтобы Марта поняла беспочвенность своих опасений. Между ней и Екатериной Романовной родилась, а со временем возросла и окрепла глубокая взаимная привязанность, благодаря которой Марта Вильмот оставалась в России целых пять лет.

Где бы ни жила Марта — в московском дворце княгини на Никитской, в селе Троицком или в белорусском имении, она пользовалась любой оказией, чтобы отправить в Ирландию письма с подробным описанием совместного с Дашковой времяпрепровождения, своих впечатлений и наблюдений; записями такого же рода заполнялся ее дневник.

С сентября 1805 по июль 1807 г. у Дашковой гостила Кэтрин Вильмот, и количество писем, посылаемых в Ирландию из России, возросло. Кэтрин, человек более зрелый и опытный, была определеннее, порой резче в своих суждениях, иногда глубже в оценке людей и событий. В целом же письма сестер удачно дополняют друг друга.

В конце 1806 г. сестры Вильмот собрались уезжать домой, но скоропостижная смерть сына княгини, тяжелое моральное и физическое состояние Е. Р. Дашковой не позволили Марте покинуть свою «русскую мать», как обычно называла она своего старшего друга. Кэтрин уехала одна и увезла с собой копию «Записок», сделанную Мартой Вильмот под наблюдением Дашковой.

Заключение Тильзитского мира в июне 1807 г. и разрыв отношений между Россией и Англией побудили Марту решиться на отъезд.

Попытка попасть на английский корабль оказалась неудачной, и М. Вильмот, покинув столицу, вернулась в Москву. «Возвращение

[40] ОР ГБЛ, ф. 432, Воронцовы. К. № 1, ед. 27, л. 4 (пер. с фр.).

моего обожаемого друга вернуло мне жизнь...» — писала об этом Дашкова своей племяннице[41].

Только через полгода вновь представился случай уехать в Англию. Оставив Дашкову, «чтобы никогда более не увидеть ее в этом мире»[42], Марта Вильмот добралась до Петербурга, с большими трудностями оформила паспорт и, найдя, наконец, нужный корабль, готова была отплыть в Кронштадт, когда неожиданно получила предупреждение от знакомого англичанина о том, что правительству стало известно, будто она вывозит секретные бумаги, и имеется распоряжение ее задержать и обыскать. Действительно, в багаже у Марты были спрятаны подлинная рукопись «Записок» Дашковой, владелицей которых она стала по желанию княгини, копии писем Екатерины II и некоторые другие документы.

Доверенное лицо Александра I, М. С. Кайсаров, имевший поручение осмотреть все, что везет заподозренная англичанка, сорвал таможенные печати с ее багажа, распорядился все тщательно осмотреть и наложил арест на корабль, на котором М. Вильмот собиралась плыть в Англию. Отобрав у Марты множество бумаг — дневники, ноты (а вдруг шифр!) и даже учебные тетради, Кайсаров изучал их несколько дней. Сначала М. Вильмот надеялась, что ей удастся спасти рукопись «Записок» Дашковой, но после угрозы вторичного и даже личного обыска она убедилась в невозможности их уберечь и решила сжечь подлинную рукопись «Записок», зная, что Кэтрин благополучно доставила в Англию их копию.

Наконец, М. Вильмот удалось доказать высокопоставленному чиновнику неосновательность его подозрений, и она получила разрешение отплыть на родину.

Путешествие, опасное из-за осенне-зимних штормов, едва не окончилось трагически: корабль сел на мель и пассажиры чудом избежали гибели. Только через два месяца после отплытия из Кронштадта — 26 декабря 1808 г.— М. Вильмот высадилась на английском берегу.

Годы жизни в России оказали большое влияние на духовное и нравственное развитие Марты Вильмот. Ежедневное тесное общение с Дашковой, знакомство со многими образованными русскими людьми, соприкосновение с различными социальными слоями (крепостные, купцы, поместное и высшее дворянство) расширили кругозор умной и наблюдательной девушки.

В 1812 г. Марта вышла замуж за Вильяма Брэдфорда. Воспитанник Оксфордского университета, он решил стать священником и успел уже как капеллан принять участие в походах с солдатами британского корпуса, сражавшимися против войск Наполеона в Испании.

Брэдфорды поселились в графстве Суссекс в Сторрингтоне, где муж Марты получил приход.

[41] ОР ГБЛ, ф. 432, № 1, ед. 27, л. 5 (пер. с фр.).
[42] Memoirs.., 1840, v. 2, p. 275.

...4 января 1810 г. в Москве скончалась Екатерина Романовна Дашкова. По завещанию ее похоронили в церкви села Троицкого[43]. Описание ее скромных похорон оставил бывший крепостной Дашковой В. Малышев, который «был при гробе во всю дорогу из Москвы и до Троицкого неотлучно»[44].

После того как (с большим опозданием) известие о кончине Дашковой достигло Англии, Марта Брэдфорд начала готовить «Записки» к изданию, точно следуя воле покойной — печатать мемуары только после смерти их автора. Друзья, которым она показывала рукопись, единодушно сочли, что ее должно опубликовать как можно скорее. В. Брэдфорд написал небольшой очерк, посвященный «Запискам» Дашковой[45]. Лорд Гленберви, давний друг Марты, прочтя «Записки», написал ей 27.X 1812 г.: «Думаю, что мемуары княгини Дашковой вызовут всеобщий большой интерес»[46]. Помимо всего прочего, у М. Брэдфорд была еще одна причина торопиться с печатанием дашковских мемуаров. «Г-жа Брэдфорд спешила изданием в свет Записок, чтобы весь сбор от продажи его пожертвовать в пользу лиц, пострадавших от наполеоновского нашествия в Россию»[47]. Однако неожиданно возникли серьезные препятствия.

В феврале 1813 г. М. Брэдфорд встретилась с С. Р. Воронцовым, которому ранее давала читать копию «Записок». Бывший русский посол в Англии, с 1806 г. живший там как частное лицо, С. Р. Воронцов высказался против публикации «Записок». Из дальнейшей переписки с ним М. Брэдфорд видно, что он выразил недоверие к подлинности копии и даже обвинил Марту в подлоге, заявив, что, поскольку подлинник был уничтожен, «Записки» написаны Мартой «по памяти». Критикуя «Записки» за то, что в них много «не только ложного, но и невероятного», Воронцов не привел никаких конкретных возражений, не указал, в чем именно он не согласен с мемуаристкой. Легко предположить, что брат Дашковой был недоволен теми страницами воспоминаний, на которых давались характеристики членам семейства Воронцовых, крайне отрицательно изображался Петр III, приверженцем которого в свое время был Семен Романович, неумеренно восхвалялась Екатерина II, к которой он одно время находился в оппозиции[48].

Не желая вызывать никаких кривотолков вокруг имени Дашковой,— а С. Р. Воронцов предупредил, что выступит против издания «Записок» в печати,— М. Брэдфорд отложила их издание, но подтвердила свое решение рано или поздно рукопись напечатать.

---

[43] О могиле Дашковой, ее утрате и нахождении см.: Веселая Г. А. Е. Р. Дашкова в селе Троицком.— Труды ГИМ. Вып. 58. М., 1984, с. 88.

[44] ОР ГБЛ, ф. 178, муз. собр. № 7557, л. 7 об.

[45] Этот очерк хранится в архиве семьи Вильмот в Королевской Ирландской академии.

[46] More letters of Martha Wilmot impression from Vienna. 1819—1829. Ed. H. M. Hyde. London, 1935, p. XLII. Эти письма изданы как дополнение к ранее опубликованным письмам из России 1803—1808 гг.

[47] Шугуров М. Ф. Подлинные Записки княгини Дашковой.— Русский Архив, 1880, III, с. 188.

[48] XVIII век. Сборник 13. Л., 1981, с. 129—131.

В 1819 г. Марта с семьей переехала в Вену, где ее муж получил место священника при британском посольстве. Из австрийской столицы она часто писала в Англию. Ее письма содержат меткие характеристики видных политических деятелей того времени и членов дипломатического корпуса. В одном из писем Марта, вспоминая, как естественно держалась Е. Р. Дашкова, сравнивала ее манеры с чопорностью и снобизмом жены британского посла...

В 1829 г. Брэдфорды покинули Вену и вернулись в Сторрингтон.

К концу 1830-х годов М. Брэдфорд завершила подготовку к изданию «Записок» Дашковой. Они вышли в свет на английском языке в Лондоне в 1840 г. в издательстве Г. Колберна.

В 1857 г. после смерти мужа М. Брэдфорд переехала к старшей дочери Катерине, которая жила с семьей близ Дублина. Умерла Марта Брэдфорд 18 декабря 1873 г. в возрасте 99 лет, до последнего часа сохранив ясный ум.

По завещанию архив Марты Брэдфорд перешел к дочери, которая в память о «русской матери» Марты получила имя Катерина-Анна-Дашкова. В конце 1880 г. русский посол в Англии, собиратель старинных бумаг, «генеалог» А. Б. Лобанов-Ростовский получил разрешение от дочери М. Брэдфорд познакомиться с копией «Записок» Дашковой, которая хранилась в семье как реликвия. Сличив эту копию с английским текстом первого издания, он пришел к выводу, что перевод на английский делался именно с этой копии, носящей следы правки самой Дашковой (Русский Архив, 1881, I, с. 369 и далее).

После смерти в 1882 г. Катерины-Анны-Дашковой часть архива Брэдфордов была передана в библиотеку Британского музея. В настоящее время копия «Записок» Дашковой, некогда принадлежавшая Марте, хранится там под шифром «Additional, MSS, № 31911».

Другая авторизованная копия «Записок», находившаяся в прошлом в архиве Воронцова, теперь принадлежит Ленинградскому отделению Института истории Академии наук СССР (ф. 36, № 750—752). История ее такова. В 1810 г., разбирая бумаги покойной княгини Дашковой, ее душеприказчики и родственники Ю. А. Нелединский-Мелецкий и П. Л. Санти обнаружили копию «Записок», писанную рукой М. Вильмот, с очевидными знаками авторской правки. Нелединский взял рукопись и держал два года у себя, а затем в 1812 г. передал ее П. Л. Санти, который, в свою очередь, переслал копию «Записок» племяннику Дашковой, ее наследнику М. С. Воронцову. Эта рукопись и была издана в 21-й книге «Архива кн. Воронцова» в 1881 г. Видимо, прав М. Ф. Шугуров, предположивший, что Марта сделала две копии — одну для Дашковой, другую для себя[49].

Из дневниковых записей Марты Вильмот мы узнаем еще об одном любопытном обстоятельстве, не отмеченном в литературе. 29.IV 1806 г. М. Вильмот записала в дневнике: «Я переписываю Историю

[49] См.: Шугуров М. Ф. Подлинные Записки княгини Дашковой.— Русский Архив, 1880, III, с. 196.

княгини, Китти переводит» (с. 335 наст. изд.). 9.IX 1806 г. следует важная запись: «Начала переписывать Киттин перевод «Записок» после того, как сделала их копию по-французски» (с. 338 наст. изд.). Можно предположить, что Кэтрин Вильмот увезла в Англию не только копию «Записок» на французском языке, но и два экземпляра английского перевода (свой подлинник и копию с него, сделанную Мартой). К сожалению, сведений о дальнейшей судьбе и возможном сегодняшнем местонахождении этих английских текстов нет.

Задолго до выхода «Записок» в 1840 г. в Англии в России ограниченному кругу лиц они были известны в списках; из дневника М. Вильмот явствует, что «Записки» читались еще и при жизни Дашковой.

В этом аспекте кроме копий, о которых упоминает Л. Я. Лозинская[50], стоит, например, вспомнить список на французском языке в коллекции П. П. Свиньина[51], а также упоминание известного археографа и историка А. Ф. Малиновского, женившегося в 1812 г. на племяннице Дашковой Анне Петровне Исленьевой, что «Записки» существовали «на русском и французском языках»[52], тем более что это единственное упоминание о русском варианте «Записок».

Что представляет собой первое издание «Записок» 1840 г.? Оно состоит из двух томов. В 1-м томе, который начинается с «Посвятительного письма княгини Дашковой мисс Вильмот», помещено 25 глав текста «Записок». Во 2-м томе — 4 главы текста и «Приложения», в которые М. Брэдфорд включила разные биографические и автобиографические материалы; речь, произнесенную Дашковой при открытии Российской Академии, письма Екатерины II и переписку Дашковой с замечательными людьми своего времени, статью Д. Дидро о Дашковой и др. Кроме того, М. Брэдфорд посчитала необходимым довести до сведения читателей саму историю создания «Записок» и объяснить, почему ей выпала честь быть их издательницей, а также причину выхода их в свет только через 30 лет после смерти автора. Для этого М. Брэдфорд пришлось кратко изложить и обстоятельства своей жизни с 1802 по 1808 г., что было сделано в форме письма лорду Гленберви, также помещенного во 2-м томе издания. В «Приложениях» были напечатаны и некоторые письма из России Кэтрин Вильмот (в то время Кэтрин уже не было в живых — она умерла в 1824 г. в Париже).

Достоверно неизвестно, стала ли Марта для издания делать новый перевод, с французского на английский, или использовала перевод своей сестры. Во всяком случае, современный английский издатель «Записок» считает этот перевод удачным[53].

Что же касается общей оценки самого издания в целом, то М. Брэдфорд можно предъявить ряд претензий. Во-первых, разбив «Записки» на 29 глав, в то время как сама Дашкова разделила

---

[50] См.: Лозинская Л. Я. Указ. соч., с. 123.

[51] Памятники культуры. Новые открытия... Л., 1984, с. 120.

[52] ОПИ ГИМ, ф. 450, ед. 804, л. 90.

[53] The Memoirs of Princess Dashkov. Ed. K. Fitzlyon. London, 1958, p. 21.

весь текст на две части («Partie premiere» и «Partie 2» во французском оригинале), издательница тем самым нарушила авторское деление текста и непрерывность изложения, характерную для стиля Дашковой. Во-вторых, подстрочные примечания Дашковой М. Брэдфорд внесла в основной текст, нигде этого не оговорив. Не отметила она также, какие вставки и дополнения были сделаны Дашковой в конце каждой части текста «Записок». (Количество и краткое содержание этих авторских дополнений, внесенных в копии, отметил А. Б. Лобанов-Ростовский.)

Указанные недочеты издания побудили некоторых исследователей критически отнестись к издательскому труду М. Брэдфорд.

Но как бы то ни было издание 1840 г. явилось источником, по сути, для всех последующих иноязычных переводов «Записок».

В 1857 г. в Гамбурге «Записки» были изданы по-немецки с предисловием А. И. Герцена. Книга имела подзаголовок «К истории императрицы Екатерины II». На выход этой книги Герцен откликнулся статьей «Воспоминания княгини Дашковой», которую он писал «с величайшим удовольствием»[54]. В 1858 г., соединив эту статью и свое предисловие к немецкому изданию «Записок», Герцен напечатал в 3-й книге «Полярной Звезды» большой очерк «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова». Интерес читателей к «Запискам», вызванный этой публикацией, навел Герцена на мысль издать их русский перевод, который и вышел с введением А. И. Герцена (Лондон, 1859 г.).

В том же году «Записки княгини Дашковой» были изданы на французском языке в Париже.

Русские читатели могли знакомиться с небольшими отрывками из «Записок» Дашковой по публикациям в журналах: в «Москвитянине» — в 1842 г., «Современнике» — в 1845 г., «Русской Старине» — в 1873 г. В 1874 г. журнал «Русская Старина», выразив неудовлетворение качеством русского перевода 1859 г. (перевод Г. Благосветлова), предложил новый перевод «Записок», выполненный Д. Л. Михайловским с английского издания[55].

В конце 80-х годов XIX века была задумана новая публикация «Записок» с авторизованной копии, которая хранилась в архиве Воронцовых. Но это намерение, видимо, встретило какие-то цензурные препятствия. Нами обнаружено письмо М. Ф. Шугурова Я. К. Гроту от 12 декабря 1880 г., в котором он писал: «Записки» Дашковой будут напечатаны г. Бартеневым с его примечаниями. Не знаю только, удастся ли им увидеть свет в своем полном виде»[56]. В 1881 г. в 21-й книге «Архива князя Воронцова» «Записки» Дашковой впервые были изданы с оригинальной авторизованной копии, но предполагавшиеся П. И. Бартеневым примечания к тексту отсутствовали.

В 1906 г. «Записки» были напечатаны по-русски в переводе с издания 1840 г. В 1907 г. под редакцией Н. Д. Чечулина был

[54] Герцен А. И. Полн. собр. соч., в 30-ти т. Т. XII, М., 1957, с. 559.
[55] Русская Старина, 1874, т. IX.
[56] ГИМ-МФ/2 № 105738. Д-21, т. 2, л. 62-а.

осуществлен перевод на русский с текста «Архива князя Воронцова». Переиздание этого перевода вышло в 1985 г. в Ленинградском отделении издательства «Наука». В нашем издании предлагается новый перевод.

«Записки» Дашковой составляют примерно половину данного тома, вторая его часть посвящена выдержкам из дневника и письмам Марты и Кэтрин Вильмот. Несколько слов об этих дневниковых фрагментах и письмах. Выше уже отмечалось, что эти письма и страницы дневника Марты Вильмот служат важным дополнением «Записок», повествуя о тех годах жизни Дашковой, которые не отразились в дашковских мемуарах. Но вместе с тем эти письма и дневник обладают самостоятельным значением.

В описании России иностранцами обычны восхищение колоритными сценами русской жизни, любование народными костюмами и пр. И в письмах сестер Вильмот описанию народного искусства и обрядов уделено значительное место. Но наряду с этим они часто касаются «запретных» сюжетов, пишут о деспотизме и беззакониях русских самодержцев — Ивана Грозного, Петра I, Павла I.

Считая Дашкову доброй помещицей, т. е. явлением исключительным, они решительно осуждают крепостничество в целом, самодурство и жестокость русских помещиков.

Некоторые социально-политические характеристики в эпистолярном творчестве М. и К. Вильмот отличаются особой проницательностью и тонкостью. Так, например, о «Наказе» Екатерины II говорится: «... Это было щекотливое предприятие — создать законы и сохранить неограниченную власть» (с. 360 наст. изд.).

Возмущаясь галломанией, угодничеством и интригами представителей высшего света, Вильмот противопоставляют им доброту, простодушие и талантливость людей из народа.

Написанные без предвзятости, письма сестер Вильмот дают ценный и интересный материал о жизни российского общества, содержат живые портреты людей того времени.

Творческий дар сестер Вильмот снискал достаточно единодушное признание. Приведем несколько суждений на этот счет.

Биограф и издатель писем сестер Вильмот английский историк Х. М. Хайд считает их эпистолярное наследие прекрасным образцом жанра, столь богато представленного в литературе второй половины XVIII — начала XIX в. Другой английский историк, А. Г. Кросс, плодотворно разрабатывающий тему англо-русских культурных связей, дает письмам К. и М. Вильмот высокую оценку, полагая, что они являются важным вкладом в англоязычное описание России начала XIX века[57].

Наконец, крупнейший советский специалист по изучению русско-английских связей академик М. П. Алексеев утверждает, что письма сестер Вильмот «заключают в себе много данных об англо-русских культурных и общественных связях конца XVIII — начала XIX в.»[58].

---

[57] Cross A. Russia under Western eyes. 1517—1825. London, 1971, p. 33.

[58] Литературное наследство, т. 91, М., 1982, с. 171.

«Есть удивительная книга...— писал А. И. Герцен в «Былом и думах»,— это «Записки» княгини Дашковой, напечатанные лет двадцать тому назад в Лондоне. К этой книге приложены письма двух сестер Вильмот... Обе — ирландки, очень образованные и одаренные большим талантом наблюдения. Мне чрезвычайно хотелось бы, чтобы их письма и «Записки» были известны у нас»[59].

В настоящем издании эти «Записки» и «Письма» предстают перед читателями, обретая в рамках одного тома внутреннее единство и смысл.

* * *

В нашей книге перевод «Записок» княгини Дашковой выполнен по опубликованной в 21-й книге «Архива князя Воронцова» авторизованной копии на французском языке, являющейся, на наш взгляд, наиболее достоверной.

«Посвящение» «Записок» взято из 1-го тома английского издания 1840 г.

Текст «Записок» Дашковой дается полностью вместе с подстрочными примечаниями, которые принадлежат самой Дашковой.

Перевод писем Марты и Кэтрин Вильмот из России осуществлен по книге: «The Russian Journals of Martha and Catherin Wilmot» (Edited by Marchioness of Londonderry and H. M. Hyde. London, 1934).

Часть писем Кэтрин Вильмот, включенных как «Приложение» в первое издание «Записок», публиковалась в русском издании 1859 г. и была напечатана позднее «Русским Архивом» (1873, кн. X). В нашем издании перевод прежде опубликованных писем К. Вильмот сделан заново.

Письма и дневники Марты Вильмот, а также некоторые письма Кэтрин Вильмот на русском языке издаются впервые.

В письмах Марты и Кэтрин Вильмот из России в отдельных случаях исключены те места, которые не представляют общего познавательного интереса.

Под строку вынесен перевод иноязычных слов и выражений, снабженный пометой «Пер.».

На титульных листах, открывающих разделы нашей книги, репродуцируются четыре портрета. О них необходимо сказать несколько слов. «Записки» Е. Р. Дашковой предваряются двумя ее изображениями. Первое изображение, воспроизведенное с портрета Д. Г. Левицкого, написанного в 80-е годы XVIII века (о судьбе этого портрета см. далее, в нашем комментарии), представляет нам Дашкову, о которой мы читаем в «Записках», участницу бурных политических событий XVIII века, женщину, с достоинством и блеском исполнившую роль главы двух русских Академий.

Источником для второго изображения послужила гравюра неизвестного художника начала XIX века (по некоторым сведениям,

[59] Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1956, с. 71.

сделанная с портрета работы С. Тончи). Здесь мы видим ту Дашкову, которая на склоне лет создавала «Записки»...

Титульный лист второго раздела книги «Письма сестер М. и К. Вильмот из России» знакомит читателя с авторами «Писем». Эти портреты были написаны неизвестным художником по заказу Дашковой во время пребывания Марты и Кэтрин Вильмот в России.

С. С. Дмитриев
Г. А. Веселая

Е.Р.Дашкова
ЗАПИСКИ



Е.Р. ДАШКОВА
С портрета 1780-х годов



Е.Р. ДАШКОВА
С гравюры начала XIX века

ПОСВЯЩЕНИЕ

МАРТЕ ВИЛЬМОТ

Выполняя Ваше желание, мой милый юный друг, я описала свою бурную и тревожную, или вернее сказать горестную, жизнь, на протяжении которой мне пришлось таить от мира страдания сердца; остроту этой боли не может притупить гордость и побороть сила духа. Обо мне можно сказать, что я была мученицей — и я не побоюсь этого слова, ибо скрывать свои чувства или представляться в ложном свете всегда претило моему характеру.

Долгие годы родственники и друзья побуждали меня написать воспоминания, о том же теперь просите и Вы. Я отклоняла все их просьбы, но не в силах отказать Вам. Итак, вручаю Вам историю своей несчастной жизни, которая могла бы послужить сюжетом для трогательного романа. Свое сочинение я посвящаю Вам. Я не обрабатывала свои записки, а как бы говорила с Вами с откровенностью, которую не поколебали даже горькие уроки опыта.

Правда, я обошла молчанием либо лишь слегка затронула некоторые события, причинившие мне душевные страдания и происшедшие из-за неблагодарности тех, кого я должна оправдывать, если это возможно, даже ценою жизни. Только в этих случаях перо мое останавливалось: пробудившиеся воспоминания еще и поныне приводят меня в трепет.

Из моего повествования будет видно, что плыть на одном корабле с великими мира сего — предприятие, изобилующее опасностями, и что придворная атмосфера губительна для честных людей; однако свободная от укоров совесть может дать нам достаточно сил, чтобы твердостию духа обезоружить злобу тирана и помочь тем, кто чист душой, перенести самые несправедливые гонения. Вы найдете здесь примеры тому, как славе сопутствуют зависть и ее верная подруга — клевета.

Когда я уже прожила на свете шестьдесят лет, перенесла много несчастий, болезней, жестокое изгнание и, посвятив себя заботам о благосостоянии своих крестьян, жила в уединении, я впервые обратила внимание на все хитросплетения лжи и гнусные измышления, возведенные на Екатерину Великую некоторыми французскими писателями[1]. Эти авторы, следуя низменным целям и вдохновляясь распущенностью нынешнего времени, решили заодно очернить и оклеветать ее безвинного друга — Екатерину Малую. Из их писа-

ний следует, что Ваша Дашкова обладает именно теми пороками, какие ей совершенно чужды: она и грубая развратница, и женщина самого преступного честолюбия. Отсюда легко можно заключить, что строго нравственная жизнь, проведенная вдали от света, которую лишь немногие могут понять, а еще меньше чем понять — позавидовать ей, беззащитна пред ядовитым пером завистника-клеветника, удовлетворяющего свое низкое чувство беспочвенной злости. Зная, что Екатерина II пыталась найти средство против зла, какое *иллюминаты*[2] и самозванные философы причинили несчастной Франции, эти люди, опасаясь могущества истинно великой и замечательной личности, дабы отомстить ей, напали на женщину, не имевшую влияния ни на дела государственные, ни на правительство, стремясь отнять у нее самое дорогое — безупречную репутацию. Таков был мой горький жребий. По воле Неба мы лишились нашей матери — великой и просвещенной императрицы. Теперь, когда я не могу более радоваться проявлениям ее доброты ко мне, а также восторгаться теми благодеяниями, какими она осчастливила отечество, враги ее принесли меня в жертву грязной клевете.

Конечно, зло это, как и все сущее в мире, пройдет.

Поэтому разрешите, мой дорогой юный друг, сказать о том, что намного ближе,— о нашей взаимной, нежной дружбе, позвольте сказать, насколько это в моих силах, с какой благодарностью и как глубоко чувствую я Ваше доверие ко мне. Вы не могли бы лучше и трогательнее доказать его, нежели покинув семью, родину и приехав сюда, дабы скрасить на закате дней жизнь женщины, которая по праву может поставить себе в заслугу лишь одно: ни дня не жила она только для себя.

Нужно ли говорить, сколь дорого для меня Ваше общество и о том, что Ваши таланты, скромность, веселость духа, совокупно с чистыми жизненными принципами, которыми Вы руководствуетесь во всех своих поступках, завоевали мое уважение и восхищение? Надо ли говорить, как Вы успокоили и сделали радостным мое существование? И где взять слова, которые смогут верно выразить эти движения души? Не буду стремиться к многословию, а просто уверю Вас, что люблю, уважаю, восхищаюсь Вами всею силою любящего сердца, которое Вы так хорошо понимаете, и что чувства эти исчезнут лишь с последним вздохом Вашего искреннего друга,

княгини Дашковой.

Троицкое.

27-го октября, 1805 года.

Часть I

Я родилась в С.-Петербурге в 1744 году[3]. Императрица Елизавета как раз вернулась из Москвы после коронации[4]. Она воспринимала меня от купели, а крестным отцом был великий князь, будущий император Петр III. Этой честью, оказанной мне императрицею, я была обязана не столько родству ее с моим дядей вице-канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни[5], сколько дружбе Елизаветы с моей матерью. В царствование Анны[6] матушка моя с величайшей деликатностью, готовностью и, осмелюсь сказать, великодушием снабжала деньгами Елизавету, в ту пору еще великую княгиню, когда ей, стесненной в средствах, не хватало на содержание дома и на украшения, которые она очень любила.

Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии от людей, хорошо ее знавших, и друзей, вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, узнала, сколь была она добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это горе, я жила в одном из прекрасных имений своей бабки с материнской стороны и оставалась у нее до четырехлетнего возраста. Затем мою любящую старенькую бабушку убедили привезти меня в С.-Петербург, дабы у меня была возможность получить надлежащее воспитание.

Спустя несколько месяцев вице-канцлер, старший брат моего отца, забрал меня из-под опеки доброй, снисходительной старушки и стал воспитывать вместе со своей единственной дочерью (в замужестве графиней Строгановой). Общая спальня, одни и те же учителя, даже платья из одной штуки материи — все, казалось, должно было бы сделать нас совершенно одинаковыми, между тем в жизни не было женщин более непохожих, нежели мы. (Обращаю на это внимание тех, кто мнит себя знатоком в вопросах воспитания и создает теории, согласно своим взглядам на этот предмет, столь важный, столь решающий для благополучия человечества и вместе с тем столь плохо познанный, ибо со всеми своими многочисленными разветвлениями и во всей совокупности он не может быть объят умом одного человека.)

Не буду распространяться о своем роде: его древность и различные блистательные заслуги моих предков так прославили имя графов

Воронцовых, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение происхождению.

Мой отец, граф Роман[7], младший брат канцлера, в молодости любил жизненные удовольствия, а стало быть, мало занимался своими детьми; он был чрезвычайно рад, когда дядя из чувства благодарности к моей покойной матушке, а также из дружбы к нему взялся за мое воспитание. Две мои сестры* находились под покровительством императрицы и, назначенные фрейлинами еще в детском возрасте, жили при дворе. В родительском доме оставался один мой старший брат Александр[8]. Мы часто виделись, я с детства привязалась к нему, испытывая безграничное доверие; мы никогда не изменяли нашей дружбе. Младший брат[9] жил у дедушки в деревне, но даже, когда он переехал в город, с ним, как и с сестрами, я виделась очень редко. Останавливаюсь на этих обстоятельствах потому, что они повлияли на мой характер.

Дядя не жалел средств, чтобы дать своей дочери и мне лучших учителей и, согласно взглядам того времени, мы получили прекрасное образование; знали четыре языка[10], особенно хорошо французский, некий статский советник учил нас итальянскому; когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами стал заниматься Бехтеев[11]. Мы прекрасно танцевали, немного рисовали, к тому же обе обладали приятной наружностью, изысканными и любезными манерами, неудивительно, что нас считали хорошо воспитанными девицами. Но что же было сделано для развития нашего ума и воспитания сердца? Ничего. У дяди не было времени, а у тетки ни способностей, ни желания; в ее характере гордость причудливо смешалась с необыкновенной чувствительностью и нежностью.

Завершила мое воспитание и сделала меня тем человеком, каким я стала впоследствии, лишь случайность: то, что я заболела корью. С самого детства я жаждала быть любимой и хотела заинтересовать собой всех, кого любила; когда же в возрасте тринадцати лет мне показалось, что я не вызываю таких чувств, я сочла себя отринутым существом.

Тогда был издан указ, которым запрещались всякие сношения с двором тем семьям, где случились такие болезни, как оспа, корь и прочее, из опасения, что великий князь (впоследствии Павел I) может заразиться.

При первых же признаках кори меня отправили в деревню за 17 верст от Петербурга. Помимо горничных меня сопровождали немка и жена некоего майора; но этого было мало для моих чувств, для моего жаждущего любви сердца (ибо этих дам я не любила), а также не отвечало моему понятию о счастье, которое я связывала с жизнью в окружении нежных родных и друзей. Болезнь поразила главным образом глаза, из-за чего мне нельзя было читать, между

---

* Старшая сестра Мария, в замужестве графиня Бутурлина, другая — Елизавета, впоследствии Полянская (примечание Е. Р. Дашковой; в дальнейшем они не оговариваются.— *Пер.*).

тем, я пристрастилась к книгам. Глубокая грусть, размышления над собой и людьми того круга, к которому я принадлежала, изменили мой живой, веселый и насмешливый характер. Я стала серьезной, прилежной, говорила мало и лишь о том, что достаточно знала; как только стало возможно, вся отдалась чтению. Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало[12]. Я поняла, что одиночество не всегда бывает тягостным, и стремилась найти опору в мужестве, твердости и душевном спокойствии. Брат Александр уехал в Париж[13] еще до моего возвращения в город. У меня не осталось никого, чья нежность могла бы смягчить боль сердца, уязвленного равнодушием, окружавшим меня, как мне казалось.

Когда я погружалась в чтение, то была довольна и спокойна, занятия музыкой доставляли наслаждение и развлекали меня, но за пределами своей комнаты я тосковала. Из-за бессонных ночей, проведенных над книгами, и настроения, в котором я пребывала, у меня сделался болезненный вид, что встревожило и моего почтенного дядюшку, и даже императрицу. Елизавета приказала своему лейб-медику Бургаву[14] позаботиться о моем здоровье, и тот проявлял неизменное усердие. Предполагалось, что меня истощает общий упадок сил. После внимательного осмотра и обследования врач объявил, что мое физическое состояние столь безупречно, как только можно пожелать, но, очевидно, меня гложет какое-то душевное страдание и это отражается на внешнем виде. Поэтому меня забросали тысячью вопросов, большинство их, однако, не было порождено ни любовью, ни сочувствием, которых я жаждала. А стало быть, никто не добился от меня искреннего признания, да и вряд ли я сама могла понять свое состояние, вызванное моей гордостью, оскорбленной чувствительностью и самонадеянным решением добиться всего собственными силами, обойдясь без посторонней помощи; сделай я такое признание, его, пожалуй, сочли бы за упрек. Поэтому я решила не признаваться в том, что целиком меня захватило. Свой болезненный вид я объяснила единственной причиной: расстроенными нервами и головными болями.

Между тем мой ум созревал. Спустя год я перечла «Об уме» Гельвеция, и мне подумалось, что во втором томе этой книги автор развивает теорию, которая более соответствует принятым мнениям и существующему порядку вещей. Между тем мысли, изложенные в первом томе, способны внести в общество смуту и разорвать звенья цепи, скрепляющей части (пусть даже разнородные), из которых состоит государство[15]. Привожу здесь это соображение, ибо впоследствии оно доставило мне истинное удовольствие.

Фаворит императрицы Елизаветы Шувалов[16], считая себя меценатом, выписывал из Франции все издаваемые там книги. Ради создания себе репутации он привечал иностранцев; от них-то ему стало известно о моем страстном увлечении чтением. Передали ему также некоторые мои высказывания и рассуждения, после чего он предложил быть моим библиотекарем и снабжать всеми лите-

ратурными новинками. Эту любезность я особенно оценила позже, когда вышла замуж и мы переехали в Москву, где в то время книгопродавцы предлагали только уже известные мне книги, к тому же большинство из них имелось и в моей библиотеке, которая насчитывала 900 томов. В этом году я приобрела Энциклопедию и словарь Морери[17]. Никогда самые изящные драгоценности не доставляли мне такого удовольствия, как книги; на покупку их я тратила почти все свои карманные деньги. У дяди в Петербурге постоянно бывали иностранцы — художники и писатели, послы различных дворов, все они платили дань моей беспредельной любознательности. Я расспрашивала о разных странах, тамошних законах, правительствах и, сравнивая с моей страной, возымела горячее желание путешествовать. Однако я не думала, что у меня когда-либо достанет на это мужества; я полагала, что заявят о себе моя восприимчивость и болезненная возбудимость нервов и они не выдержат впечатлений, оскорбляющих самолюбие и причиняющих боль сердцу, любящему родину.

Мне казалось, я уже все испытала, и если бы кто-нибудь тогда сказал, какие мне предстоят страдания, я бы покончила с собой. У меня возникло предчувствие, что на этом свете я буду несчастна.

Нежность, которую я испытывала к брату Александру, сделала из меня аккуратную корреспондентку. Я писала ему два раза в месяц и сообщала все городские, дворцовые и армейские новости. Эта переписка выработала мой лаконичный и страстный стиль. Мне хотелось вызвать его интерес, доставить ему удовольствие, и хорошо или дурно пишу я с той поры — слогом своим я обязана письмам к горячо любимому брату.

Той же зимой великий князь (в будущем Петр III) и великая княгиня, потом справедливо названная Великой, приехали к нам провести вечер и поужинать. Иностранцы обрисовали меня Екатерине пристрастной кистью, и у нее возникла уверенность, что я все время провожу в занятиях и чтении. Это сразу вызвало ее благосклонность и впоследствии повлияло на всю мою жизнь, вознеся на пьедестал, который никогда бы не был мне доступен. Я могла бы добавить, что кроме меня и великой княгини не было в то время женщин, занимавшихся серьезным чтением[18]. Мы почувствовали взаимную симпатию; обаяние же, исходящее от Екатерины, особенно, если ей хотелось кого-либо покорить, было слишком сильным, чтобы наивное существо, которому не исполнилось и пятнадцати лет, не отдало ей навек своего сердца. (Однако у нее был могущественный соперник — князь Дашков[19], с которым я была помолвлена; но вскоре он проникся моими мыслями, и для соперничества между ними не осталось места.)

Великая княгиня осыпала меня любезностями и очаровала своей беседой. Возвышенность мыслей, знания, которыми, как я заметила, она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и воображении, и я привязалась к ней, видя в ней натуру, богато одаренную природой. Мне не показался долгим вечер: ведь она разговаривала

лишь со мной. Эта встреча стала причиной многих событий, о которых я скажу впоследствии.

В моем повествовании следует возвратиться к июлю и августу, которые предшествовали тому знаменательному вечеру. Мой дядя с женой и дочерью жили в Петергофе или в Царском Селе при императрице; недомогание, любовь к уединению и чтению удержали меня в городе. Я выезжала изредка в итальянскую оперу, не бывая более нигде, кроме двух домов: у княгини Голицыной, которая, так же как ее муж, очень остроумный 65-летний человек, меня нежно любила, и у госпожи Самариной, чей муж был связан с семьей моего дяди и буквально ежедневно бывал у нас. Как-то госпожа Самарина заболела, и я приехала провести вечер и поужинать у нее.

Свою карету я отослала, распорядившись, чтобы она вместе с горничной заехала за мной к 11 часам. Был чудесный вечер, и после ужина сестра госпожи Самариной предложила мне отправить приехавшую карету вперед и для моциона пройтись с ней до конца малолюдной улицы. Я согласилась. Не успели мы сделать несколько шагов, как навстречу нам из боковой улицы вышел мужчина, который показался мне великаном. Когда он был в двух шагах от нас, я, удивленная, спросила свою спутницу, кто это. Она назвала князя Дашкова. Прежде мы не встречались. Будучи знаком с Самариными, он завязал разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с робкой учтивостью, что мне очень понравилось. Впоследствии я охотно приписывала благоприятное впечатление, которое мы произвели друг на друга при этой встрече (от чего мы оба не отпирались), божьему промыслу, которого нам нельзя было избежать.

В нашем доме князя Дашкова не принимали и имя его никогда не произносилось, а то бы я услышала неблагоприятные для него вещи и узнала подробности некоего романа, что уничтожило бы всякую мысль о возможности союза между нами. Я не знала, что ему было известно обо мне до нашей встречи, но несомненно, что связь его с одной близкой нашей родственницей, которую я не могу назвать, его явная вина перед ней должны были бы отнять у него всякую надежду на то, что мы можем принадлежать друг другу. Словом, мы не были знакомы и, казалось, нашему союзу никогда не бывать, но Небеса распорядились иначе. Ничто не могло помешать нам бесповоротно отдать сердца друг другу. Моя семья не чинила никаких препятствий нашему браку, и его мать-княгиня[20], которая страстно желала видеть сына женатым и постоянно настойчиво, но тщетно склоняла его к супружеству, узнав, что он готов жениться, была вне себя от счастья. Хоть он и отверг ту женщину, которую мать предназначала для него, она одобрила выбор сына и от души дала согласие; она была довольна, что их семья породнится с нашей.

Когда князь понял, что он может быть счастлив только в браке со мной, он, получив от меня разрешение поговорить с моими родными, поручил князю Голицыну в первую же поездку

в Петергоф просить моей руки у отца и дяди, уговорив их хранить сделанное предложение в тайне до тех пор, пока он съездит в Москву, чтобы испросить у своей матери согласие и благословение на свадьбу.

Однажды, еще до отъезда князя в Москву, императрица поехала в итальянскую оперу; ее сопровождали Шувалов и мой дядя, который пригласил Елизавету поужинать у него после спектакля; чтобы подготовить прием, я осталась дома, князь Дашков был у нас. Как настоящая крестная мать, императрица с большой добротой отнеслась ко мне и к моему жениху. Позвав нас обоих в отдельную комнату, она промолвила, что знает нашу тайну, очень похвалила князя за внимание к матери и сыновнее повиновение; она пожелала нам всевозможного счастья, заверив, что не перестанет принимать самое горячее участие в нашей судьбе. Наконец, Елизавета сказала князю, что распорядится, чтобы фельдмаршал граф Бутурлин[21] предоставил ему полугодичный отпуск для поездки в Москву. Сердечность, очаровательная нежность ее величества, какую она соблаговолила нам выказать, меня совершенно растрогали; чувства мои были слишком явны и слишком сильны, волнение могло принести мне вред. Императрица тихонько похлопала меня по плечу, поцеловала в щеку и сказала:

— Успокойтесь, дитя мое, а то подумают, что я вас бранила.

Никогда не забуду я эту сцену, которая еще сильнее привязала меня к государыне, имеющей такое доброе сердце.

Когда князь возвратился из Москвы, он представился моей семье, и только из-за очень серьезной и опасной болезни жены вице-канцлера наша свадьба была отложена до февраля. Но поскольку и в назначенный срок тетушка еще не поправилась, венчание прошло без лишнего шума. Только в начале мая, когда здоровье больной перестало вызывать беспокойство семьи, мы смогли уехать в Москву.

Для меня открылся новый мир, новая жизнь, перед которой я робела тем больше, что не находила в ней никакого сходства с тем, к чему привыкла. Большим затруднением для меня явилось и то, что я довольно плохо говорила по-русски, а моя свекровь не знала никакого иностранного языка. Родственники ее, в большинстве люди преклонного возраста, хотя и были очень снисходительны ко мне (поскольку все они нежно любили моего мужа и горячо желали, чтобы он женился, ибо князь был последним в роду Дашковых), однако было ясно, что они хотели бы видеть во мне москвичку, между тем как я казалась им чужестранкой.

Решив заняться русским языком, я вскоре в этом весьма преуспела и получила одобрение со стороны новых родственников; по отношению к ним в течение всей их жизни я продолжала сохранять уважение и оказывать им нежную заботу (хотя любая другая женщина двадцати лет посчитала бы наши родственные узы расторгнутыми[22]). Они платили мне искренней и настоящей дружбой, сохранившейся даже после смерти моего мужа.

21 февраля следующего года я родила дочь, а в мае мы со свекровью отправились в Троицкое[23]. В обществе моего клавесина и моей библиотеки время пролетело, как на крыльях. В июле мы с мужем побывали в его орловских имениях. Я снова забеременела, но князь предпринял так много мер предосторожности, что дорога мне не была в тягость. Отпуск мужа подходил к концу, и, вернувшись в Москву, мы написали моему отцу в Петербург, прося добиться продления отпуска, чтобы дать мне время оправиться после родов. Императрица Елизавета была слаба и больна, придворные начали угождать наследнику; это, я думаю, доставило великому князю непосредственное командование гвардейским Преображенским полком, где он был тогда подполковником (а мой муж — штабс-капитаном). Просить отсрочку еще на пять месяцев следовало у великого князя. Он, верно, думал сделать любезность и заявил, что откажет в отпуске, если князь Дашков не приедет в Петербург на две недели. Мой отец верил в дружеское отношение Петра и настаивал, чтобы муж предпринял эту непродолжительную поездку. Я была безутешна, мысль о разлуке с мужем настолько меня опечалила, что я, предвосхищая боль расставания, не могла наслаждаться счастьем, пока он еще был со мной. Возможно, здоровье мое от того пострадало.

Наконец, когда 8 января муж уехал, мною овладело такое горе, что начались лихорадка и бред. Но мне кажется, болезнь больше гнездилась в нервах и мозгу, чем в крови, и, видимо, упрямством, с каким я постоянно отказывалась принимать что-либо из лекарств, прописанных врачами, можно объяснить, что через несколько дней все прошло и остался лишь упадок сил. Я много плакала, и это приносило облегчение стесненному сердцу и нервам; из-за слабости и благодаря заботам младшей золовки пришлось отложить перо, которым день и ночь собиралась писать мужу. Надо помнить, что мне было всего шестнадцать лет, и я страстно любила мужа.

Их высочества проявили много доброты к князю и пригласили его принять участие в катании на санях, происходившем в Ораниенбауме, из-за чего он, к несчастью, сильно простудился. Однако зная, что, если он не вернется в назначенный срок, его жена и мать не вынесут тревоги за него, князь с больным горлом покинул Петербург. В течение всего пути он выходил из кареты только, чтобы промочить горло чаем.

Прибыв на московскую заставу, он почувствовал, что потерял голос и не может сказать ни слова. Он понимал, что его появление дома в таком виде будет пагубным для матери и жены, которые теряли голову при малейшем его недомогании. Князь знаками объяснил лакею, что хочет остановиться в доме сестры его матери, госпожи Новосильцевой, где прополощет горло, чтобы, явившись к нам, иметь возможность произнести несколько слов.

Тетушка, увидев состояние князя, заставила его лечь в постель и послала за доктором. Дабы не вызвать у нас ни малейшего подозрения, они решили задержать почтовых лошадей, чтобы назавтра утром он приехал к нам якобы прямо из Петербурга. Врач

нашел, что больной начал потеть, и потребовал, чтобы он остался в постели до утра. Было первое февраля, и хотя морозило умеренно, казалось весьма благоразумным не подвергать князя опасности усиления простуды. Однако то, что произошло вскоре после приезда князя, могло бы привести к роковым последствиям.

Моя горничная, существо крайне легкомысленное, была не старше меня. Она знала, что у меня начались схватки; свекровь со своей сестрой княгиней Гагариной, которая присутствовала и при моих первых родах, уже в течение нескольких часов находились вместе с повитухой в моей комнате. Девушка, воспользовавшись тем, что я на минуту вышла в кабинет, сообщила мне о приезде князя. Я вскрикнула, но, по счастию, свекровь, которая была в соседней комнате, ничего не услыхала. Горничная заклинала меня молчать, потому что князь запретил говорить, что он в Москве, но не может приехать домой, а остановился у своей тетки.

Нужно представить себе семнадцатилетнюю без памяти влюбленную женщину, с горячей головой, живым воображением, не ведавшую другого счастья, как любить и быть любимой, считавшую богатство и почести бременем, совершенно ненужным для счастия и спокойствия, чтобы вообразить, какое действие произвело на меня неосторожное признание моей горничной. Собрав все силы, я вернулась к себе и с самым спокойным видом сказала княгине-матери, что больше не чувствую болей и что, наверное, желудочную колику я приняла за схватки, а роды, видимо, как и первые, продлятся более двадцати часов. Я умоляла свою дорогую свекровь и дорогую тетушку пойти к себе отдохнуть, пообещав, что, когда начнутся настоящие схватки, позову их и тогда непременно попрошу присутствовать при родах.

Когда они меня оставили, я осведомилась у акушерки, желает ли она меня сопровождать. Та широко раскрыла глаза и, решив, что перед ней сумасшедшая, заявила на своем силезском наречии, что не намерена поощрять сумасбродства и отвечать перед богом за смерть невинного младенца — ибо была убеждена, что роды начнутся в самом скором времени. В отчаянии от ее отказа, я взволнованно объяснила ей, что хочу только повидать мужа, который находится в двух шагах, больной или раненый, потому что не может явиться домой, и что если она откажется меня сопровождать, я пойду пешком одна.

— Бог мой! — воскликнула она.— Это еще хуже.

— Иначе невозможно,— ответила я,— потому что окна свекрови выходят во двор и, когда будут запрягать лошадей и вывозить сани, она услышит шум, а я ни за что на свете не хочу напугать ее до смерти, если вдруг она обнаружит, что я ушла, да к тому же она может меня задержать.

Наконец, повитуха сжалилась и согласилась идти со мной; вместе со старым слугой, который обычно читал свекрови вслух молитвы, они повели меня, поддерживая под руки. Едва я спустилась на две или три ступеньки, начались схватки; акушерка хотела заставить меня вернуться и тащила вверх по лестнице, но я, вытянув ноги

и налегаясь на нее всем телом, старалась соскользнуть вниз. В конце концов с остановками мы спустились с лестницы, пересекли улицу (по дороге к тетушкиному дому у меня было не меньше пяти схваток). Не понимаю, как поднялась я по высокой лестнице,— видно, небу было угодно, чтобы я это перенесла.

Войдя в комнату, где лежал муж, и увидев, какой он бледный, я потеряла сознание. Меня вынесли и уложили на постель, разложенную прямо в санях (ее принесли из нашего дома); свекровь ничего не слыхала.

Акушерка, добрый старик и трое тетушкиных слуг подняли меня из саней и внесли в мою комнату, где я очнулась из-за сильных схваток. Я послала за свекровью, поскольку она приказала ее разбудить, когда начнутся роды. В 11 часов ночи мать-княгиня с сестрой пришли ко мне. Не прошло и часа, как у меня родился сын, названный Михаилом. Воспользовавшись минуткой, когда свекровь вышла, я велела горничной послать доброго старика объявить мужу, что счастливо разрешилась сыном.

Впоследствии, содрогаясь от страха, я слушала рассказ князя о том, как с повитухой и стариком я появилась у его кровати и упала в обморок; как он разгневался оттого, что не сохранили его тайну (ведь он обольщался мыслью, что никто в нашем доме не узнает о его приезде); какой ужас объял его при известии, что у меня начались схватки; как в комнату, ломая руки, вбежала тетушка; как вскочил он с постели, чтобы меня проводить, а тетка убеждала его лечь, уверяя, что княгиня-мать ничего не знает и спит. Наконец, как в тот миг, когда пришел старик, князь почти без памяти поднялся с кровати, как безмерна была его радость: он расцеловал старого слугу, отдал ему свой кошелек и больше не пожелал ложиться. Он велел позвать священника, чтобы отслужить благодарственный молебен за благополучное разрешение. Вот так из-за моего безрассудного поступка тетушка и весь дом целую ночь не сомкнули глаз.

В 6 часов утра, когда мать его обычно отправлялась к ранней обедне, князь приказал заложить почтовых лошадей в свою дорожную карету и подъехал к дому. Свекровь, увидя, что экипаж въезжает во двор, вышла встретить сына на лестницу, но, испугавшись его бледного лица и заметив горло, перевязанное платками, и саше[24], бросилась вниз, и, если бы у него недостало ловкости и силы подхватить ее, произошел бы трагический случай. Одним словом, чрезмерная любовь матери и жены порядком измучила его на этот раз.

Он внес мать в наши апартаменты, а не к ней, и потому смог побыть возле меня. Радость, усиленная пережитыми страхами, прибавила нам силы. Свекровь, дабы сохранить приличия*, распорядилась поместить кровать князя в его туалетной, смежной с моей спальней, и мы с мужем испытывали муки Тантала: не могли ни видеться, ни разговаривать. Я понимала, что мужу было удобнее в отдельной комнате, но, поскольку у меня не было сил подняться и сходить к нему хоть на минутку повидаться, мне оставалось только

* По обычаю, родственники и друзья приходили к роженице с визитами.

плакать. Вскоре мы кое-что придумали. Свекровь приставила ко мне на ночное дежурство добрую старую служанку, которая стала нашим Меркурием[25]; когда княгиня покидала сына и шла отдыхать, мы писали друг другу нежные записки, а старушка их передавала. Ночью, когда муж спал, я писала ему, чтобы утром, проснувшись, он получил мое послание от нашего услужливого Меркурия. От постоянных слез и поздних писаний, внушенных нам безмерной нежностью, что люди холодные, возможно, назовут ребячеством (а я их, в свою очередь, назову бессердечными и бесчувственными), у меня заболели глаза. И вот теперь, когда минуло сорок печальных лет с тех пор, как я потеряла моего обожаемого мужа, видит бог, я вовсе не считаю, что нам не следовало предаваться «ребячеству». На третий день, верно, пожалев мои глаза, старушка выдала меня свекрови, которая, беспокоясь о моем здоровье, сделала мне выговор. И даже, уже смягчившись, она пригрозила, что отберет бумагу и перо. К счастью для нас всех, нарыв в горле князя прорвался, лихорадка прекратилась и он смог время от времени находиться возле меня. Выздоровление мое затянулось, но все же постепенно силы стали возвращаться, а семнадцать лет сделали свое дело — здоровье мое поправилось.

В деревню мы не поехали, потому что должны были отправиться в С.-Петербург; я была рада повидаться с родными и не чувствовать себя постоянно сбитой с толку теми обычаями, с какими мне приходилось сталкиваться при разных обстоятельствах во многих домах. Уклад московской жизни был совершенно не похож на тот, к какому я с детства привыкла в доме дяди, каковой с полным основанием можно назвать княжеским дворцом, отмеченным самым изысканным и современным европейским вкусом[26].

День отъезда был назначен на 10 июня, но различные помехи и настоятельные просьбы свекрови побыть у нее подольше задержали нас, и мы приехали в Петербург только 28 июня. День этот год спустя стал самым памятным и славным днем для моей родины[27]. И тогда он был для меня радостным и счастливым; с живостью выглядывала я в окно кареты. Петербург показался мне таким прекрасным; в любую минуту ожидала я встретить на улице кого-нибудь из родных. Когда мы прибыли в дом, нанятый мужем, я была как в лихорадке.

Устроив дочь в смежной с моей комнате, я отправилась к отцу и дяде, но ни того, ни другого не было в городе.

На следующий день отец сообщил мне, что по приказу императрицы те из офицеров Преображенского полка, кто получил приглашение их высочеств, должны вместе с женами прибыть в Ораниенбаум[28] и что мы с мужем были среди тех, кого великий князь пригласил. Меня это опечалило по двум причинам: не привлекала зависимость от придворной жизни и не хотелось расставаться с дочерью. Отец мой был настолько любезен, что предложил нам поселиться в его доме, расположенном между Петербургом и Ораниенбаумом, и мое беспокойство рассеялось.

Вскоре мы переехали в отцовский дом и на следующий день отправились на поклон к их высочествам.

Великий князь сказал мне:

— Хотя вы и не хотите здесь жить, все же приезжать должны ежедневно, и я желаю, чтобы вы больше бывали у меня, чем у великой княгини.

Ничего не ответив, я твердо решила под разными предлогами не ездить каждый день в Ораниенбаум, а, бывая там, проводить время, сколько удастся, в обществе великой княгини, которая оказывала мне такое внимание, каким она не удостаивала ни одну из обитательниц Ораниенбаума.

Вскоре великий князь заметил дружбу его супруги со мной и то удовольствие, какое доставляет мне ее общество. Однажды, отведя меня в сторону, он сказал очень странную фразу, которая, однако, показывает его простоту и добродушие:

— Дочь моя*, помните, что разумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умниками, которые выбрасывают лимон, выжав из него сок**.

Я ответила, что не понимаю значение сказанных им слов, но что его высочество, должно быть, помнит, что императрица, его августейшая тетка[29], приказала нам являться также и ко двору великой княгини.

Должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете: она никоим образом меня не стесняла и никогда не требовала, чтобы я находилась в ее обществе[30].

После разговора со мной великий князь, как я заметила, заключил, что я просто дурочка.

Однако мне не часто удавалось уклониться от праздников, которые великий князь задавал в лагерях, где его высочество и его генералы*** непрерывно курили свои трубки, но тут хоть клубы дыма нас не так беспокоили, их из палаток выдувало ветром. Празднества обычно заканчивались балом и ужином в grün**** зале, стены которой были сплошь покрыты сосновыми и еловыми ветвями.

В лагере и на пиршествах у великого князя говорили главным образом по-немецки, и те, кто не владел языком, должны были по крайней мере знать имена и некоторые общеупотребительные выражения, дабы не стать предметом насмешек. Если праздник проходил в имении великого князя, где у него был совсем простой дом и он собирал не такое многочисленное общество, то после чая и пунша играли в кампи, игру глупую, но очень любимую его императорским высочеством. Какая значительная разница в препровож-

---

* Он был моим крестным отцом.

** Я часто вспоминала эти слова и позже случайно узнала, из какого источника они исходили и кто их подсказал моему крестному.

*** Эти голштинские генералы были из прусских унтер-офицеров либо из сыновей голштинских и немецких сапожников, покинувших родительские дома. Кажется, за исключением гатчинских генералов Павла I, в русской армии никогда не бывало людей, менее достойных своего чина.

**** Зеленый (*нем*).— *Пер*.

дении времени здесь и у великой княгини! Там господствовали ум, тонкий вкус и приличия.

Казалось, ее императорское высочество относилась ко мне со все возрастающим дружеским чувством, и мы с мужем с каждым днем все сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по уму, по знаниям, по величию и смелости мыслей. Императрица в это время жила в Петергофе, и у великой княгини было разрешение раз в неделю ездить туда повидаться с сыном, великим князем Павлом*. Если Екатерина знала, что я не в Ораниенбауме, она на обратном пути останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету, и остаток вечера мы проводили у нее. Когда великая княгиня не ездила в Ораниенбаум, то писала мне; между нами установилась переписка и возникло доверие, составляющее счастье моей жизни; я была так привязана к великой княгине, что пожертвовала бы ей всем, за исключением мужа.

По возвращении в город наступил новый распорядок придворной жизни. Я больше не виделась с Екатериной, но переписывались мы довольно часто.

На одном из торжеств, происходившем во дворце, давался обед на 80 персон. За столом великий князь в присутствии своей супруги стал обсуждать связь конногвардейца Челищева с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы[31]. С чисто прусской грубостью и под влиянием выпитого вина великий князь заявил, что Челищев заслуживает, чтобы ему отрубили голову, дабы другие офицеры не смели ухаживать за фрейлинами и родственницами государыни. Голштинские мошенники согласно кивали и восклицаниями выражали свое одобрение.

— Ваше императорское высочество,— возразила я,— я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и ужасное наказание, как смерть возлюбленного.

— Вы ребенок,— ответил он,— и не понимаете, что если проявить слабость и не наказывать смертью тех, кто этого заслуживает, могут иметь место всякого рода беспорядки и неповиновение.

— Но, ваше императорское высочество,— продолжала я,— вы говорите о предмете, внушающем неимоверный ужас всем присутствующим, ибо, за исключением ваших уважаемых генералов, большинство тех, кто имеет честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уже не применялась[32].

— Это-то и скверно,— возразил великий князь,— отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает субординацию и дисциплину.

(Все кругом молчали, разговор шел только между нами.)

— Говорю вам,— добавил он,— что вы ребенок и не понимаете подобных вещей.

— Признаюсь, что я действительно ничего в этом не понимаю, но зато я знаю, что императрица, ваша августейшая тетушка, еще жива и что ваше высочество об этом забыли.

---

* Великий князь Петр совершенно не заботился о сыне и никогда его не навещал.

Взоры всех присутствующих устремились на меня. В ответ великий князь показал мне язык (как делал он даже в церкви, дразня священников), чему я была очень рада, потому что эта выходка показывала, что он на меня не сердится, и, кроме того, избавляла от дальнейшего спора. Поскольку среди приглашенных было много гвардейцев и офицеров из кадетского корпуса, в котором великий князь считался главноначальствующим, то разговор этот вскоре стал известен всему Петербургу, снискал мне доверие и вызвал похвалы.

На следующий день великая княгиня отозвалась обо мне самым лестным образом. Что до меня, то я не придала спору с Петром особого значения, потому что, из-за неопытности в светской и особенно в придворной жизни, не понимала, насколько опасно, тем более при дворе, делать то, что почитается долгом каждого честного человека: всегда говорить правду. Не знала я и того, что если вас может простить сам государь, то его приближенные не простят никогда.

Благодаря этому незначительному случаю и нескольким другим в таком же роде я приобрела славу патриотки и искреннего, твердого человека и то доверие, которым меня жаловали некоторые офицеры, связанные с моим мужем.

Состояние здоровья императрицы Елизаветы с каждым днем ухудшалось. Вся моя семья (и особенно дядя — вице-канцлер) была погружена в глубокую скорбь, которую я искренне разделяла, потому что нежно любила свою крестную мать. Кроме того, пребывание в Ораниенбауме открыло мне глаза на то, что ждет мою родину, если престол займет необразованный, ограниченный наследник, не любящий русский народ и ставящий себе в заслугу подчинение прусскому королю[33], которого он в кругу друзей называл «король, мой повелитель»!

В середине декабря я заболела, и несколько дней пролежала в постели, но, узнав, что государыне жить осталось недолго, надела теплые сапоги, закуталась в шубу и, выйдя из кареты недалеко от деревянного дворца на Мойке, где тогда обитали императрица и императорская семья, пошла пешком во дворец, несмотря на недомогание.

По маленькой лестнице, о которой я знала от людей их высочеств, я незаметно проникла в покои великой княгини в столь неурочный час (была полночь, 20-е декабря). По счастливой случайности, в передней мне встретилась первая камеристка ее высочества — Екатерина Ивановна, которая спасла меня от серьезных неприятностей: ведь, не зная расположения комнат, я вполне могла попасть в лакейскую Петра, а не в апартаменты его супруги. Назвав себя, я объявила, что мне нужно говорить с великой княгиней.

— Она в постели,— сказала камеристка.

— Все равно,— ответила я,— мне необходимо ее видеть.

Мне удалось завоевать расположение и доверие женщины, которая, впустив меня в комнату, пошла доложить. Ее высочество была чрезвычайно удивлена и не хотела верить Екатерине Ивановне: зная о моей болезни, она не могла представить, как в жестокий

мороз я рискнула прийти пешком, не побоялась, что все входы и выходы охраняются гвардейцами.

— Ради бога, пусть она войдет,— вскричала Екатерина.

Я вошла; великая княгиня, действительно, была в постели; она усадила меня на кровать и не позволила говорить, пока не согрею ноги. Увидев, что я немного пришла в себя и отогрелась, она спросила:

— Что привело вас, дорогая княгиня, ко мне в такой поздний час и побудило рисковать здоровьем, столь драгоценным для вашего супруга и для меня?

— Ваше высочество, я не могда долее противиться желанию узнать, что можно сделать, чтобы развеять тучи над вашей головой[34]. Доверьтесь мне, ради бога, я заслуживаю вашего доверия и надеюсь и в дальнейшем его заслужить. Скажите, каковы ваши намерения? Что вы думаете предпринять ради своей безопасности? Императрице остается жить несколько дней, может быть, несколько часов. Могу ли я быть вам чем-нибудь полезной? Приказывайте, повелевайте мною.

Великая княгиня залилась слезами; взяв мою руку и прижав ее к сердцу, она ответила:

— Я вам невыразимо признательна, дорогая княгиня, и поверьте, что со всей искренностью и полным доверием к вам я говорю, что у меня нет никакого плана[35]; я не могу ничего предпринять, а должна и хочу мужественно встретить то, что должно случиться; единственная надежда моя на бога, и я предаю себя в его руки.

— Ну что ж, ваше высочество,— сказала я,— в таком случае за вас должны действовать ваши друзья. И я не уступлю другим в рвении к жертвам, которые готова принести ради вас.

— Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте несчастий, о которых я буду вечно сожалеть. Да и возможно ли что-нибудь предпринять?

— Теперь я могу сказать вам только одно,— ответила я.— Не будет сделано ничего, что могло бы вас скомпрометировать; если я пострадаю, то одна, и у вас никогда не будет оснований, вспоминая о моей преданности, связывать ее с личным огорчением или несчастьем.

Великая княгиня хотела говорить еще, предостеречь меня от рвения, энтузиазма и, может быть, неосмотрительности, связанной с неопытностью, присущей семнадцати годам[36], но я прервала ее и, поцеловав руку, сказала:

— Мне нельзя долее оставаться у вас, не подвергая нас обеих опасности.

Она бросилась в мои объятия, и несколько минут мы сидели, прижавшись друг к другу. Наконец, я встала с постели и, оставив взволнованную Екатерину в большом смятении, вернулась к карете, совершенно обессиленная.

Каково было удивление моего мужа, когда, придя домой, он не застал больной жены! Однако он беспокоился недолго: я приехала вскоре после его возвращения. Я ему объяснила причину, побудив-

шую меня выйти из дома, и поведала о твердо принятом решении послужить родине и спасти великую княгиню; князь, хотя и боялся, что тайный ночной визит повредит моему здоровью, все одобрил и хвалил меня гораздо больше, чем я того заслуживала.

Рассказ мужа о посещении моего отца и беседе с ним вознаградил меня за усталость, беспокойство и опасность, которой я подвергалась. Разговор, происшедший между ними, не оставлял никакого сомнения в том, что (хотя отец прямо и не сказал этого) о возможных последствиях смены государя после смерти Елизаветы он думает почти так же, как и мы, и разделяет тревогу всех истинных патриотов[37].

На рождество, 25 декабря, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету.

Я видела собственными глазами, что, когда гвардейцы шли во дворец присягать новому императору (мимо моих окон проходили Семеновский и Измайловский полки), солдаты выглядели грустными и подавленными, а вовсе не такими радостными, как это изображают в своих мемуарах о России некоторые писатели, желающие уверить нас в том, что соответствует их домыслам[38]. Солдаты говорили приглушенными голосами и все разом, и это невнятное бормотание было таким тревожным, таким мрачным, что я хотела бы находиться за сто верст от дома, лишь бы его не слышать. Муж в это время был на другом конце города, в своем Преображенском полку. Я еще ничего не знала о случившемся, но марш этих двух полков ясно сказал мне, что Елизавета скончалась.

День рождества Христова народ всегда встречал радостно, почитая одним из самых больших праздников; на этот раз он стал днем скорби, у людей были мрачные лица.

Я была нездорова и не видела никого из своих. Лежавший больным вице-канцлер был удивлен, когда император посетил его на третий день по воцарении. Ко мне был прислан паж с приглашением на вечер. Я отговорилась нездоровьем, так и в другой раз, но через несколько дней сестра написала мне, что император недоволен тем, что я не появляюсь при дворе, и не верит в мою болезнь. Чтобы избежать неприятного объяснения императора с мужем, я после обеда, навестив отца и дядю, поехала во дворец. Императрицу я не видела: она выходила от себя только затем, чтобы поклониться телу тетушки и понаблюдать, все ли делается, что обычно полагается в подобных случаях. Она непрестанно плакала (сведения о ней я получила от камердинера).

Как только я вошла, Петр III сказал мне нечто, касающееся моей сестры, но это было столь абсурдным, что я не хочу повторять[39]. Сделав вид, что не поняла сказанного, я поспешила принять участие в кампи.

Я находила эту игру несколько дорогой, поскольку ставка составляла 10 империалов (то есть 100 рублей), а выигрывал же всегда император. Он не брал фишек, а когда проигрывал, расплачивался, вынимая из кармана империал, и поскольку их у него было, видимо, много, то он держался дольше всех и неизменно срывал банк.

Пулька закончилась очень скоро, и его величество предложил сыграть еще; я попросила разрешение не играть, однако он настаивал и наконец даже предложил мне войти с ним в половинную долю. Тогда я с видом глупого ребенка возразила, что не столь богата, чтобы так легко попадаться на удочку; если бы его величество клал деньги на стол, как все остальные, у нас был бы еще какой-то шанс на выигрыш, но император, держа деньги в кармане, лишает нас возможности видеть, много ли их у него осталось, поэтому всегда за ним остается последнее слово и он забирает наши ставки.

Признаю, что говорила я немного дерзко, но если вообразить, с одной стороны, какое отвращение внушало мне ничтожество государя, а с другой — ужас при одной мысли увеличить денежные затруднения мужа (унаследовав после отца все имения, князь как почтительный и беспредельно любящий сын предоставил матери распоряжаться доходами с них, а сам довольствовался той незначительной суммой, какую она положила на наше содержание; кроме того, у него имелись долги), если, повторяю, все это представить, то мои слова можно извинить.

Император вовсе не обиделся, он воображал, будто я все еще ребенок, которого он недавно воспринимал от купели, к тому же упрямый и, может быть, глупый ребенок, поэтому, ответив мне несколькими плоскими шутками, он разрешил не принимать участия в игре.

Общество государя, как в этот, так и почти все последующие вечера, составляли: два брата Нарышкиных с женами, Измайлов с женой, графиня Елизавета, Мельгунов, Гудович, его адъютант Унгерн, графиня Брюс[40] и еще два-три человека, которых не помню. Все посмотрели на меня с удивлением, и я услышала, как они говорили друг другу: «*Вот смелая женщина*» (эти же слова произносили по-немецки голштинские генералы, думая, что я не знаю языка).

Проходя через зал, где находились прочие гости, я решила, что попала на маскарад. Все сменили мундиры, и даже старик князь Трубецкой[41] был в сапогах со шпорами и затянут в мундир. Этот старый царедворец, никогда не быв военным, захотел стать им в 70 лет. До самой смерти императрицы он лежал дома с неимоверно распухшими ногами, а уже вечером побежал отдавать приказания офицерам Измайловского полка, в который недавно был назначен полковником.

Гвардейцы при дворе играли особую роль: составляя привилегированные полки, они не принимали участия в войне. Князь Трубецкой, занимая одновременно и гражданскую должность, не выполнял обязанности командира полка. Меня даже уверяли, будто он знал секрет нищих, как по желанию вызвать опухоль и пр.

Все придворные дамы и жены знати, согласно рангу их мужей, по очереди дежурили в траурной зале, где стоял амвон с гробом. Священники по церковному уставу читали Евангелие в течение шести недель*. Вокруг катафалка горело множество канделябров с воско-

* Обычно над усопшими читают псалмы, у гроба коронованных особ и епископов читается Евангелие.

выми свечами, комната была затянута в черное — все придавало ей чрезвычайно величественный, торжественный и скорбный вид. Императрица почти ежедневно приходила оплакивать прах своей дорогой тетки и благодетельницы. Горе ее привлекало внимание всех присутствующих. Петр III, напротив, появлялся у гроба редко и лишь затем, чтобы пошутить с придворными дамами, поиздеваться над духовными лицами[42] и выбранить офицеров и унтер-офицеров за локоны, галстуки и мундиры[43].

За исключением прусского посланника, уважением императора пользовался один лишь английский посланник Кейт[44]. Этот почтенный старик любил меня как дочь. Княгиня Голицына (о ней я уже упоминала) и мы с мужем обычно обедали у него каждую неделю. Крестное имя Кейта, как и моего отца, было Роман, поэтому, когда не было посторонних, он называл меня дочкой. С грустью глядя на меня, он говорил в нашей дружеской компании, что создается впечатление, будто император намеренно старается вызвать всеобщее осуждение, а может быть, даже и презрение. Его величество дурно обращается с посланниками, а они, без сомнения, не заслуживают подобного обхождения со стороны императора.

Однажды утром император прислал к вице-канцлеру сказать, что приедет ужинать. В тот день дядюшка не вставал с постели, и ужин не мог доставить ему никакого удовольствия. Дядя послал за моей сестрой — графиней Бутурлиной и за мною с мужем. Государь приехал в 7 часов и пробыл у больного до самого ужина, от присутствия на котором дядюшка был избавлен. Графиня Строганова, графиня Бутурлина и я воспользовались отсутствием хозяина дома, не сели ужинать, а под предлогом оказания внимания гостям все время ходили кругом стола. Это было даже во вкусе его величества, который ненавидел всяческие церемонии и этикет.

Я стояла как раз позади кресла императора, когда он, обращаясь к австрийскому послу графу де Мерси[45] и к прусскому посланнику[46], стал рассказывать историю о том, как в бытность свою в Киле в Голштинии он получил приказание отца выгнать из города богемцев; взяв эскадрон конницы и роту пехоты, он прогнал их в мгновение ока. Я заметила, что графа Мерси бросает то в жар, то в холод: он не мог понять, кого имеет в виду император — то ли бродячих цыган и гадалок-цыганок, то ли богемцев, подданных императрицы, королевы Венгрии и Богемии[47]. Австрийский посол и так был как на иголках, поскольку стало известно, что нашим войскам послан приказ отделиться от австрийской армии[48]. Находясь в тот момент за спиной императора, я, наклонясь, тихо сказала по-русски, что не следует рассказывать подобные истории иностранным посланникам и что если в Киле и находились нищие и цыгане-мошенники, то, чтобы их прогнать, несомненно, довольно было бы послать нескольких полицейских, а вовсе не его, тогда еще дитя. (Нужно помнить, что я всегда разговаривала с Петром III тоном глупого упрямого ребенка и называла его «папа».)

— Вы — маленькая дурочка,— сказал он,— и всегда со мной спорите.

Он был уже сильно пьян, и я не сомневалась, что наутро он и не вспомнит об этом разговоре. Как ни в чем не бывало я отошла от его кресла.

Однажды, когда я была у императора, он, сев на любимого конька, завел речь о прусском короле и, к удивлению всех присутствующих, напомнил Волкову (который в предыдущее царствование был первым и единственным секретарем Совета[49]), как часто они вместе смеялись над теми секретными решениями и приказами, которые посылались в действующую армию и не приносили успеха из-за того, что о них заранее сообщалось королю. Волков краснел и бледнел. Петр III, ничего не замечая, продолжал похваляться дружескими услугами, которые он оказывал прусскому королю, передавая сведения о мерах, принимаемых Советом, полученные от Волкова[50].

Обычно император приходил в придворную церковь только к концу службы; он гримасничал, паясничал и передразнивал пожилых дам, которым сам приказал делать реверансы по французской моде, а не кланяться, как было принято у нас прежде. Несчастные престарелые дамы, приседая в реверансе, с трудом удерживались на ногах, и я припоминаю, как свекровь моей старшей сестры, графиня Бутурлина, едва не упала, выполняя реверанс; к счастью, несколько человек, находившиеся рядом, ее поддержали.

К великому князю Павлу Петр III выказывал полное равнодушие. Он никогда с ним не виделся. Напротив, с матерью молодой наследник встречался ежедневно.

Воспитателем Павла был старший из братьев Паниных[51]; на эту должность его определила покойная императрица. Когда в Петербург приехал принц Георгий Голштейн-Готторпский[52] (он приходился дядей императору и императрице, так как был братом ее матери принцессы Ангальт-Цербской), Панин добился через Салдерна[53] (который впоследствии играл большую роль и был русским послом в Польше), находившегося при принце Георгии кем-то вроде наставника, чтобы принц Голштейн-Готторпский и принц Голштинский[54], также дальний родственник их величеств, уговорили императора присутствовать на экзамене, который устраивался великому князю. Только после их повторных просьб он дал согласие.

— Все равно, я в этом ничего не понимаю,— заметил Петр III.

По окончании экзамена он громко сказал дядьям:

— Право, думаю, этот плут знает больше нас с вами.

Он хотел наградить наследника чином гвардейского унтер-офицера, и Панину с трудом удалось отклонить эту честь под предлогом, что великий князь вообразит себя взрослым, станет кичиться чином и это отвлечет его от занятий.

Петр III чистосердечно поверил доводам воспитателя, не догадываясь, что Панин над ним смеется.

Император думал также, что вполне вознаградит Панина, произведя его в генералы, о чем ему и было объявлено на следующий же день через Мельгунова. Чтобы понять, насколько это было Панину неприятно, следует знать, что этот сорокавосьмилетний человек,

всю жизнь проведший при дворе или в должности посланника, немного старомодный, одевавшийся изысканно и носивший парик à trois marteaux*, всем обликом походивший на придворного Людовика XIV, был слабого здоровья и очень ценил покой. Он ненавидел военщину и весь стиль поведения гвардейцев. Панин сказал Мельгунову, что ему трудно поверить в то, что именно его государь удостоил этого звания, которое ему вовсе не подходит, и в случае, если будет невозможно избежать подобной милости, ему останется удалиться в Швецию.

Император не мог понять, как кто-либо может отказываться от генеральского чина.

— Меня уверяли, что Панин — умный человек,— сказал он.— Как я могу теперь этому верить?

Его величество вынужден был довольствоваться тем, что пожаловал ему соответствующий гражданский чин[55].

Тут уместно будет сказать о родственных связях моего мужа с Паниными. Братья Панины приходились кузенами моей свекрови: их матери, урожденные Еверлаковы, были сестрами; одна вышла замуж за Леонтьева, другая — за Панина. Сыновья ее доводились моему мужу дядьями. Младший Панин[56] — генерал — находился в армии во время войны с Пруссией[57]. Старший был назначен посланником, когда я была еще младенцем; впервые я увидела его в сентябре после нашего возращения из Ораниенбаума. Встречались с ним мы очень редко до поры, пока окончательно не созрел заговор против Петра III. Старший Панин был очень дружен с моим мужем и с благодарностью вспоминал о доброте, какую выказывал им отец князя, когда братья были молоды.

После революции[58] я стала мишенью для клеветы завистников, и тогда ни родственные связи между нами, ни моя любовь к мужу не помешали одним называть этого уважаемого человека моим любовником, другим — моим отцом и утверждать, что он был возлюбленным моей матушки. Если бы не серьезные услуги, которые он оказал моему мужу, и если бы он не был благодетелем моих детей, я бы возненавидела его за то, что по его милости порочилась моя репутация.

Скажу откровенно, я больше уважала брата-генерала за его солдатскую прямоту и твердость, что соответствовало моему характеру, и, когда была жива его первая жена (которую я чтила и любила от всего сердца), я чаще навещала семью генерала, нежели посланника.

Но довольно о сем предмете, вспоминать об этом мне тяжело даже теперь.

Во вторую неделю января, когда гвардейцы утром шли ко дворцу на вахт-парад и смену караула, императору показалось, что рота, которой командовал мой муж, построилась не по правилам. Как истинный капрал Петр III подбежал к нему и сказал, что фронт выстроен не так как полагается. Вначале князь возражал достаточно спокойно, но, когда его величество стал выговаривать ему снова, князь

* Парик в три локона (*фр.*).— *Пер.*

Дашков, который выходил из себя, когда ему казалось, что затронута его честь, вспылил и отвечал весьма решительно. Император, смотревший на дуэль глазами прусского офицера, посчитал себя в опасности, поворотился и поспешно отошел.

Когда мы с родственниками узнали о происшедшей сцене, то решили, что император не всегда будет отступать перед возражениями моего мужа: найдутся люди, которые объяснят его величеству, что это он должен заставить князя отступить. Мы сошлись на том, что лучше всего будет удалить князя на некоторое время. Я в особенности защищала эту мысль, словно по наитию веря, что император будет свергнут с престола, и твердо решив принять в этом участие.

Мне страстно хотелось, чтобы муж уехал за границу, дабы, если со мной случится несчастье, он не разделил моей участи. С извещением о воцарении Петра III к иностранным дворам были отправлены еще не все послы, поэтому я поехала к дядюшке — вице-канцлеру — с просьбой подыскать мужу такое место. Он обещал и на следующее утро уведомил князя о назначении его посланником на единственное вакантное место — в Константинополь[59]. Мне не хотелось, чтобы муж отправлялся именно туда, но из двух зол выбирают меньшее, и я предпочитала знать, что он в Константинополе, чем видеть его в Петербурге, с его горячностью при защите своей чести, где ему грозила бы опасность в случае провала планов, которые занимали мой ум и сердце, приносили бессонницу и вызывали какой-то странный упадок сил, от чего я худела и слабела.

У мужа было разрещение выбирать себе членов посольства; все они, как и он, перед отъездом из Петербурга получили деньги на дорогу и жалованье за полгода. В феврале князь уехал.

Я осталась одна, больная и печальная; силы мне придавали лишь размышления над проектами, которые рождались в моей голове и тут же мною отвергались, но тем не менее занимали меня настолько, что я довольно сносно переносила боль, вызванную разлукой с любимым и уважаемым супругом.

Князь двигался не спеша, надолго остановился в Москве, откуда с матерью отправился в свое имение Троицкое, расположенное по дороге в Киев, и пробыл там почти до начала июля.

Через два дня после отъезда мужа со мной случилась неприятность. Прислуги я держала немного. Этим воспользовались матросы, работавшие в Адмиралтействе: они разбили окно в комнату, где горничная, которой я безусловно доверяла, хранила мое белье, платье и даже деньги. Украли белье, которое там было, все деньги и салоп, покрытый серебряной парчой. Именно по салопу и нашли воров; но я между тем осталась без денег и без белья, сохранилось лишь то, что находилось в стирке. Моя сестра графиня Елизавета прислала мне штуку прекрасного голландского полотна. Я просила ей передать, что больше нуждаюсь в паре рубашек, покуда мои собственные не вернулись от прачки. Щедрая сестра тотчас же прислала рубашки. Я упоминаю о таком мелком злоключении потому, что оно явилось первым уроком нужды и бедности, которую мне пришлось

испытать в жизни. Кроме того, меня огорчила необходимость занять деньги и тем увеличить долги мужа.

Император вел прежний образ жизни. Заключив мир с прусским королем[60], он выказывал просто неприличную радость и решил отпраздновать это событие большим торжественным обедом, на который были приглашены лица первых трех классов[61] и иностранные посланники.

Императрица заняла свое место в середине стола, но Петр III сел на противоположном конце рядом с прусским послом. Император предложил три тоста: за здоровье императорской семьи, за здоровье его величества прусского короля и за счастливое заключение мира. Когда под залпы крепостных пушек императрица подняла бокал и выпила первый тост, Петр III послал к ней стоявшего позади его стула генерал-адъютанта Гудовича спросить, почему она не встала, когда пили здоровье императорской семьи. Императрица ответила, что, поскольку императорская семья состоит из его величества, их сына и ее самой, она не думала, что император потребует от нее встать. Когда Гудович передал ответ, император приказал ему сказать Екатерине, что она folle* и должна знать, что в императорскую семью входят также два голштинских принца, их дядья; однако, сомневаясь, точно ли Гудович передаст его слова, Петр III произнес их во всеуслышание. Императрица залилась слезами, но, не желая вызывать жалость и чтобы отвлечься, она попросила моего кузена, камергера графа Строганова[62], который как дежурный стоял позади ее стула, занять ее беседой и своими милыми шутками, в чем он был большой искусник. Граф поспешил подавить негодование и огорчение, испытанные от происшедшей сцены, и стал болтать, стараясь развеселить Екатерину, к которой был очень привязан (чем уронил себя в глазах ее супруга, тем более что жена графа, бывшая очень дружной с моей сестрой и Петром III, мужа не выносила). По окончании обеда Строганову приказали отправиться на свою дачу на Каменном острове и не выезжать оттуда до нового распоряжения.

Происшествие этого дня произвело большое впечатление в городе. Сочувствие к императрице возрастало в той же мере, как презрение к ее супругу. Своим поведением он сам как бы облегчил нашу задачу — свергнуть его с престола. Пример Петра III должен послужить уроком великим мира сего, показав, что не только тирания является причиной ниспровержения властелина, но этому может способствовать и презрение к суверену и его правительству, что неизбежно порождает беспорядки в управлении и недоверие к судебным властям, вызывая всеобщее желание перемен.

Все здравомыслящие люди, понимая, сколь велика опасность смуты, когда власть находится у народа, в руках которого она то слишком медлительна, то слишком тороплива, те, кто представляет, до какой степени поверхностно и изменчиво народное мнение, посто-

---

* Глупая, дура (*фр.*).— *Пер.*

По-русски слово «дура» звучит более оскорбительно.

янно раздираемое разногласиями, не могут желать иного правления, кроме ограниченной монархии. Возглавлять правительство должен государь, которого все чтут как отца, а злонамеренные люди боятся, государь, который сам подчиняется справедливым законам и уважает и ценит своих подданных[63].

Император еще раз посетил моего дядю вице-канцлера; его сопровождали два голштинских принца и обычная свита. (Императрица никогда не бывала в этом обществе, выезжая из дворца только чтобы подышать воздухом.) Я была не совсем здорова и этим отговорилась от чести участвовать в приеме императора, что, по правде говоря, меня вовсе не занимало. Каково же было мое удивление, когда на следующий день стало известно, что император и его дядя принц Георгий, ведя разговор, в котором каждый отстаивал свое мнение, вдруг обнажили шпаги и встали в боевую позицию, как бравые прусские офицеры. Барон Корф[64], жена которого была сестрой супруги канцлера, бросился между ними на колени и, рыдая, как старая женщина, заявил, что, пока жив, не допустит дуэли и что прежде пусть они заколют его. Его величество и принц Голштейн-Готторпский, любившие Корфа, человека простосердечного, прекратили эту глупую сцену. Мой дядя при сем не присутствовал, поскольку был болен и лежал, но его жена, выбежав из комнаты в начале ссоры, все ему рассказала, предполагая самое худшее. Потом другие сообщили дядюшке о подвиге Корфа, восстановившего мир.

Эта нелепая история не была последней в ряду множества других, в ином духе, но столь же выразительных, которые произошли до отъезда его величества в Ораниенбаум и в Кронштадт, куда он направлялся на смотр флота перед началом готовящейся войны с Данией[65]. Война эта была коньком Петра III, несмотря на то что многие его предостерегали и даже Фридрих Великий в одном из писем императору употребил все свое красноречие, чтобы уговорить его отказаться от войны[66].

Между тем я не упускала удобного случая, чтобы ободрить и укрепить дух друзей моего мужа, среди которых были: капитан Преображенского полка Пассек, Бредихин (этот приходился нам родственником по жене, урожденной княгине Голицыной), майор Измайловского полка Рославлев, его брат, капитан того же полка[67], и другие. С этими офицерами я встречалась случайно и редко до апреля, до того момента, когда посчитала, что мне необходимо знать настроения армии и петербургского общества.

Я часто посещала родных и мистера Кейта, одним словом, старалась вести обычный образ жизни и бывать там, где меня привыкли видеть. И только дома, когда я оставалась одна, во мне можно было видеть человека, строящего непосильные для себя планы.

Среди иностранцев, приехавших искать счастья в России, был некий Одар[68] из Пьемонта, которому покровительствовал мой дядя вице-канцлер. Он доставил ему место советника в Коммерц-коллегии. Я с ним познакомилась; это был человек слабого здоровья, уже в годах, очень умный, живой и хитрый. В скором времени Одар

почувствовал, что занимаемая должность ему не подходит: он не знал ни русского языка, ни наших товаров, ни путей сообщения и так далее. Он попросил меня похлопотать перед императрицей, чтобы она приняла его на службу; я поговорила с ее величеством, которая не знала Одара и никогда его не видела. Я полагала, что его можно взять секретарем, однако императрица возразила, что секретарь ей не нужен, поскольку она переписывается только с родственниками; к тому же принять на подобную должность иностранца — значило бы породить различные догадки и вызвать подозрение. Однако я добилась, что она взяла Одара на службу, поручив привести в лучшее состояние те скверные земли, что недавно ей отдал Петр III, и устроить на них фабрики*.

Одар никогда не был ни моим советчиком, ни наперсником, как то утверждали писатели, подкупленные французами, взбешенными тем, что для восстановления порядка во Франции, и тем самым во всей Европе, Екатерина Великая имела Суворова и таких солдат и подданных, как русские[69]. Писатели эти, громоздившие одну клевету на другую, не оставили в покое и меня, полагая, что им не удастся достаточно очернить Великую Екатерину, не исказив облик Екатерины Малой (мы — тезки).

Император очень дружески относился к фельдмаршалу Разумовскому[70], но даже и он, человек крайне беззаботный, видел неспособность Петра III управлять империей и те беды, в которые была бы ввергнута страна. Граф Разумовский любил свою родину, насколько позволяли его лень и безразличие. Он командовал Измайловским полком, где пользовался большой любовью.

Было крайне важно, чтобы он был с нами заодно, но, думаю, никто не верил в возможность вовлечения его в нашу партию. Необычайно богатый, имеющий все чины, все ордена, он ненавидел деятельность и должен был бы содрогнуться, узнав, что существует заговор, в котором ему предстояло играть роль одного из вождей революции. Я не отступила перед трудностями и придумала, каким образом привлечь Разумовского на нашу сторону.

Два брата Рославлевых, один — майор, другой — капитан Измайловского полка, и капитан того же полка Ласунский были для Разумовского людьми весьма авторитетными. Они были с ним на короткой ноге и встречались ежедневно, но даже у них не было надежды, что им удастся склонить графа к участию в нашем деле. Я посоветовала почаще рассказывать графу сначала туманно, затем

* Из некоторых писем Екатерины видно, что Одара ей рекомендовала именно я; когда граф Строганов был сослан в свое поместье, я посоветовала Одару для поправки здоровья поехать с ним. (Одар не был ни близким мне человеком, ни наставником, мы даже редко виделись с ним.) За три последние недели до переворота, когда все уже было готово для осуществления нашего замысла, мы с ним не встречались ни разу. Просто мне хотелось дать ему заработок и удовлетворительное положение. Никогда я не просила у него никаких советов и никогда бы ему не удалось уговорить меня целиком положиться на дядю, графа Панина, как позволили себе об этом говорить, сочинители бессмысленных и лживых пасквилей, написанных по образцу язвительных памфлетов против Екатерины Великой.

все более определенно о слухах про крупный заговор, про переворот. Донос, конечно, не в характере графа; когда же наш план созреет окончательно, пусть они ему откроются и дадут понять, будто видят в нем сообщника и ему невозможно дольше устраняться, поскольку другим заговорщикам известно, что граф не порицал разговоры, какие велись между ними; наконец, что ему грозит одинаковая с ними опасность и он проиграет меньше, если будет нам содействовать, встав во главе своего полка.

Все было сделано по моему наставлению и удалось прекрасно[71].

Как обычно, я посещала английского посланника Кейта. В одну из встреч он сказал мне, что в городе ходят слухи, будто бы гвардия собирается взбунтоваться и главная причина тому — война с Данией. Я поинтересовалась, не называют ли руководителей заговора.

— Нет,— отвечал он,— думаю, их нет вовсе. Офицеры и генералы не станут выступать против войны, на которой они смогут отличиться. Потому и толки эти, и пустые разговоры приведут лишь к нескольким казням, ссылке в Сибирь, да иных солдат прогонят сквозь строй.

Нельзя было оставаться спокойной при том, что слухи распространились так широко; ничего не оставалось делать как поспешить с развязкой.

Между тем жизнь, которую я вела, должна была повредить моему здоровью. У родных я бывала, как обычно, часто. В почтовые дни[72] я писала пространные письма мужу, обливая их слезами. Остальное время, кроме нескольких часов, отдаваемых сну, поглощали размышления над нашими планами и чтение сочинений, в которых говорилось о революциях, происшедших в различных частях земного шара. Поскольку я не отличалась слишком крепким здоровьем, то заметно похудела и побледнела, а схваченная простуда едва не уморила меня вконец.

Между Петербургом и Красным Кабаком[73] на расстоянии 10 верст протянулись болота и густые леса. Кто-то посоветовал Петру III раздать эти земли. Многие богатые вельможи осушили полученные участки, превратив их в прелестные дачи; один из наделов был отдан некоему ораниенбаумскому голштинцу*, который, испугавшись предстоящих расходов и трудов, предоставил правительству отдать его любому желающему.

Отец захотел, чтобы я непременно взяла эту землю. Напрасно доказывала я ему, что, не имея средств, не могу этого сделать, он решительно настаивал на своем, пообещав построить мне небольшой деревянный дом. Я подчинилась желанию отца, однако твердо решила не делать никаких затрат, которые могли бы обременить мужа. Я вообще тратила очень мало: только на содержание очень умеренного стола для себя, дочери и прислуги, платья же носила, полученные еще в приданое.

* Голштинцы эти в большинстве были подмастерьями, бежавшими от своих хозяев; имелись среди них солдаты и унтер-офицеры, дезертировавшие из армий мелких немецких княжеств; их очень хорошо принимали в Ораниенбауме, зачисляли на службу в войска Петра III, тогда еще великого князя, и они быстро продвигались в чинах.

В это время в Петербурге находилась добрая сотня крестьян моего мужа, которые вообще ежегодно приходили в столицу на заработки и получали большие деньги. В благодарность за свое благосостояние и из чувства преданности они предложили поработать у меня четыре дня и выкопать канавы, а затем поочередно продолжать работу в праздничные дни. Они трудились с таким усердием, что вскоре наиболее высокий участок был осушен и стал готов под застройку дома, служб и двора.

Мне пришла мысль пока не называть дачу, а в будущем дать своему первому владению имя того святого, в день которого произойдет революция.

Однажды мы с кузеном графом Строгановым отправились на дачу верхом. Мне захотелось прогуляться по участку, который, как мне показалось, уже просох, но я тут же увязла в болоте по колена и промочила ноги. Возвратясь домой, я почувствовала сильную лихорадку.

Узнав о моей болезни, императрица написала мне дружеское письмо, тревожась о моем здоровье и выражая недовольство графом Строгановым (в своих письмах она обычно называла его *«мартышка»*; это прозвище ему, действительно, подходило из-за некрасивой внешности и склонности к чудачествам), обвиняя моего спутника в том, что он не позаботился обо мне и не уберег от простуды.

Письмо императрицы пришло в самый разгар болезни, голова моя пылала, поэтому ответ, как и мысли мои, был довольно бессвязным. Потом я вспоминала только, что писала то по-русски, то по-французски, перемежая стихи и прозу. Когда мне стало лучше, императрица в одной из своих записок спросила меня, с каких пор я стала пророчествовать. Она писала, что поняла и оценила русские стихи, которые были подсказаны моим к ней пристрастием, но, кроме слов, выразивших горячую и нежную дружбу, которую, как она знает, я к ней питаю, она ничего не разобрала в моем письме; и уж совершенно не могла постичь, что я говорила о некоем дне, который придет и даст имя моему первому земельному владению.

Когда графу Панину позволяли обязанности воспитателя наследника, он, как и другие родственники, меня навещал. Было очень существенно, чтобы человек такого склада примкнул к нам; я рискнула несколько раз заговорить с ним о предполагаемом свержении Петра III и спросила, какие последствия можно ожидать от переворота — кто и как будет управлять страной. Мой дядюшка высказался в том смысле, что станет править его воспитанник по законам и образцу шведской монархии[74].

Забыла упомянуть об одном обстоятельстве, из-за которого Панин удостоил меня своим особым доверием.

У графа был племянник — князь Репнин[75], которого он очень любил и ценил. Репнины снимали квартиру у княгини Куракиной, там я часто встречала князя Репнина (его жена была сестрой князя Куракина и доводилась кузиной моему мужу). Хорошо узнав меня, князь увидел, что мои строгие принципы, вкупе с восторженной

любовью к отечеству, исключают личную заинтересованность и заботу о возвышении моей семьи.

Надо сказать, что обед по случаю заключения мира с королем Пруссии показался Петру III недостаточно торжественным и он решил устроить ужин в Летнем дворце[76]. Там со своими приближенными, несколькими дамами, офицерами, любимыми генералами и прусским послом он веселился по своему обыкновению и напился так, что не мог сам идти; в 4 часа утра его вынесли из-за стола, усадили в карету и отвезли во дворец. Но еще до отъезда из Летнего дворца Петр III наградил мою сестру Елизавету орденом св. Екатерины*, а князю Репнину объявил, что отправляет его резидентом[77] в Берлин, дабы он исполнял все приказы и пожелания прусского короля.

Прямо из Летнего дворца в пятом часу утра князь Репнин приехал ко мне. Я спала, но он настоял, чтобы мне о нем доложили. Лакей постучал в дверь туалетной, смежной с моей спальней, и я проснулась. Пришлось разбудить и старушку, которая всегда спала возле моей кровати, и та очень сердито доложила, что приехал мой кузен князь Репнин. Я быстро оделась. Меня до крайности удивил неурочный час его визита и совершенно изумил глубоко огорченный вид.

— Все пропало, уважаемая кузина,— сказал он без предисловий.— Вашей сестре пожалован орден св. Екатерины, а меня посылают адъютантом к прусскому королю.

Как ни сильно поразили меня новости, мне не хотелось затягивать пребывание князя. Заметив ему, что при таком складе ума, как у Петра III, невозможно предвидеть последствия, к каким приведет тот или иной его поступок, а посему не следует их опасаться заранее, я посоветовала князю поехать отдохнуть, а утром уведомить графа Панина обо всем, что произошло.

После ухода князя я больше не ложилась, а принялась обдумывать различные планы, которые, скорее, можно назвать эскизами проекта, предлагаемыми нашими заговорщиками для свершения революции. Это были лишь домыслы, беспочвенные разговоры, а вовсе не определенные, единодушно принятые планы действия, хотя все сошлись на том, что удар следует нанести, когда его величество и армия будут готовы к отправке в Данию.

Я решила при первой же встрече полностью открыться Панину.

Панин, как всегда, стоял за соблюдение законности и за совместные действия с Сенатом.

— Это было бы счастьем, будь у нас время,— сказала я.— Согласна с вами, что Екатерина не имеет права на трон и по требованиям закона императором должен быть провозглашен ее сын, а ей до его совершеннолетия следует быть регентшей. Но вы должны

* По уставу этот орден дается только членам императорской фамилии и иностранным принцессам. Исключение может быть сделано для какого-либо частного лица, спасшего жизнь государю или оказавшего выдающуюся услугу родине. Поэтому в предыдущие царствования не было пожалований этого ордена.

принять во внимание, что девяносто девять человек из ста понимают низложение монарха как полный переворот.

Я назвала ему главных заговорщиков: братьев Рославлевых, Ласунского, Пассека, Бредихина, Баскакова, князя Барятинского, Хитрово и других, а также братьев Орловых, привлеченных ими[78].

Узнав, как далеко я зашла, не ставя в известность императрицу (из опасения ее скомпрометировать), Панин был удивлен и встревожен. Я поняла, что ему не хватает не столько смелости, сколько решительности, и, не продолжая ненужный спор, заметила ему, как нам полезно иметь на своей стороне Теплова*, а поскольку я вижу последнего крайне редко, то никто кроме его самого не сможет привлечь Теплова к заговору, впрочем, как и графа Разумовского, на которого он имеет огромное влияние. Я взяла с Панина обещание никому не говорить о плане провозглашения императором великого князя, потому что мысль эта, будучи высказана его наставником, может вызвать недоверие. В свою очередь, я обещала обсудить с заговорщиками этот проект и постараться их убедить, не вызвав излишних подозрений, так как всем известна моя преданность императрице.

Разговор такой действительно произошел, но успеха он не принес — видимо, провидению не было угодно, чтобы осуществился наиболее разумный из наших планов**.

Архиепископ Новгородский[81] был человеком очень образованным, он пользовался всеобщим уважением и любовью духовенства. Своим просвещенным умом он ясно понимал, что при таком царе, как Петр III, церковь неизбежно потеряет влияние, и не скрывал в связи с этим огорчения; насколько позволяла должность пастыря, он готов был оказывать нам содействие. Это было очень важно, ибо, кроме других достоинств, он обладал даром трогательного и мужественного красноречия и умел воодушевить своих слушателей.

Но тут дело приостановилось.

В течение десяти дней число заговорщиков увеличилось, однако здравый, окончательный план еще не вызрел. При встрече с дядей моего мужа, князем Волконским[82], только что вернувшимся с войны, я с удовлетворением услыхала, что войска недовольны: для армии, которая в течение нескольких лет сражалась против прусского короля в пользу Марии-Терезии[83], было противоестественно повернуть оружие против нее. Ропот был всеобщим, и я видела, что князь готов склониться на нашу сторону. Я переговорила с графом Паниным, и нам было нетрудно убедить Волконского принять участие в заговоре или по крайней мере появиться при развязке.

---

*Теплов[79] недавно вышел из крепости, куда был заключен Петром III. Он очень легко и красноречиво писал, и я думала определить его секретарем императрицы, во всяком случае на первых порах, когда будет надобность быстро издавать и рассылать манифесты.

** Заговор был раскрыт из-за невольной измены одного солдата: посчитав, что капитан Измайлов из наших, он передал ему все, что слышал от капитана Пассека, которого сразу же арестовали[80]; мне пришлось ускорить развязку и вызвать императрицу в Петербург.

Постоянно раз в два дня я ездила к себе в имение, или, лучше сказать, на свое маленькое болото, дабы побыть там одной и записать некоторые мысли, которые казались мне недостаточно ясными. Эти частые поездки убедили всех, что единственное мое занятие — улучшение и украшение своих земель.

Довольно часто я получала известия от императрицы. Она была здорова и, казалось, не испытывала никакой тревоги. В самом деле, ей и не о чем было беспокоиться, поскольку она, как и мы, не знала, что дело идет к концу.

Отвращение, которое вызывал Петр III, усиливалось тем более, что он возбуждал всеобщее презрение и как нарушитель законов.

При Елизавете те из сербов, кто нашел убежище во владениях Австрийского дома, а также венгры и другие народы, исповедующие православную веру, направили к русской императрице депутатов с просьбой пожаловать им земли в России, где бы они могли поселиться, ибо дольше не в силах были сносить притеснения католического духовенства, чрезвычайно могущественного при Марии-Терезии. Хотя Елизавета была другом германской императрицы, она, вдохновясь сочувствием к преследуемым единоверцам, взяла их под свое покровительство. Депутатов хорошо приняли, переселенцам отвели земли на юге России, ссудили деньгами на покрытие расходов, связанных с переездом, и разрешили сформировать несколько гусарских полков.

Один из депутатов, некто Хорват, тонкий интриган, раболепствуя, втерся в доверие к властям. Ему доверили деньги. Несколько тысяч сербов прибыли на предназначенные им места, получившие название «*Новая Сербия*»[84]. Хорват удержал у себя деньги, назначенные переселенцам, и стал обходиться со своими земляками, как с крепостными. Эти несчастные со своими сетованиями дошли до императрицы; расследовать их жалобы на месте был послан генерал князь Мещерский[85]. Однако болезнь Елизаветы, другие неотложные дела и, наконец, смерть государыни были причиной того, что по этому делу Сенат так и не вынес окончательного решения.

После смерти Елизаветы Хорват приехал в Петербург и подарил по две тысячи червонцев каждому из трех наиболее влиятельных, по его мнению, вельмож, а именно: Льву Нарышкину, чей случай основывался на шутовстве, генералу Мельгунову и генерал-прокурору Глебову[86]. Последние двое доложили об этом императору.

— Вы — честные люди,— сказал им Петр III.

Он похвалил их за то, что они не скрыли от него полученную взятку, и, забрав себе половину, пообещал пойти в Сенат и потребовать решение в пользу Хорвата. На другой же день он так и сделал. Россия, таким образом, потеряла много подданных из тех, кто готов был переселиться, уверься они, что их соотечественники довольны жизнью на новом месте.

Узнав, что Лев Нарышкин тоже получил деньги от Хорвата, Петр III отобрал у него всю сумму, не оставив даже половины, как двум другим, да еще несколько дней издевался над ним, спрашивая, куда тот потратил деньги, полученные в подарок.

Подобные своекорыстные действия унижают даже частное лицо. Насколько же этот поступок, ставший известным всему Петербургу, увеличил всеобщее презрение к монарху! Все смеялись над Петром III и его глупым шутом Львом Нарышкиным.

Спустя некоторое время царь позволил себе немыслимую выходку перед всем Измайловским полком. Его шеф, граф маршал Разумовский, хотя никогда не был строевиком, получил приказ наравне с другими развернуть свой полк и провести учения в присутствии императора. Петр III остался доволен выправкой войск. Все были в хорошем настроении, и обед обещал пройти очень весело. Вдруг Петр III заметил, что невдалеке его арап с кем-то дерется. Это его позабавило, но, узнав, что арап подрался с *профосом*[87], император пришел в растерянность.

— Нарцисс потерян для нас! — вскричал он.

Из этого восклицания никто ничего не понял. Граф Разумовский попросил объяснений:

— Разве вы не знаете, что ни один порядочный человек не может больше находиться в его обществе: раз его коснулся *профос*, он запятнан позором!

Сделав вид, что разделяет предрассудки императора, граф Разумовский предложил покрыть арапа знаменем и тем самым спасти от позора. Петр III расцеловал графа и поблагодарил за удачную мысль. Хорошее настроение вернулось к нему, и он приказал позвать арапа.

— Ты был обесчещен прикосновением профоса,— сказал ему Петр III,— и потому потерян для нашего общества.

Нарцисс (кажется, так его звали) не мог понять эту галиматью и утверждал, что, напротив, храбро защищался и хорошо поколотил негодяя, который его ударил. Он возмутился еще больше, увидев, что его собираются накрывать штандартом. Четверым пришлось держать арапа, когда исполнялся обряд очищения. Однако император этим не ограничился, он пожелал, чтобы «опозоренный» смыл пятно бесчестия своею кровью. Нарцисса укололи навершием знамени, чтобы показалось несколько капель крови. Все офицеры, слыша крики и брань арапа, испытывали настоящие мучения: они не смели смеяться, поскольку император рассматривал всю эту глупость как торжественное действо.

Легко представить, какое складывалось мнение о государе после подобных выходок.

Мой отец не имел никакого влияния при дворе; дяде, великому канцлеру, император хотя и выказывал знаки уважения, но не желал руководствоваться ни его советами, которых он вовсе не слушал, ни требованиями разумной политики.

Являться утром на вахт-парад главным капралом, хорошо пообедать, выпить доброго бургундского, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами, исполнять приказания прусского короля — вот что составляло счастье Петра III.

Подобный образ жизни, конечно, не внушал уважения.

Горя нетерпением отвоевать у датского короля клочок земли, который, как он считал, принадлежал ему, Петр III не хотел отсрочить начало войны хотя бы до своей коронации.

После отъезда двора в Петергоф и Ораниенбаум у меня появилось больше досуга. Я уже больше не проводила вечера у императора и была совершенно счастлива, что осталась в Петербурге. Казалось, все было спокойно, лишь некоторые солдаты-гвардейцы не хотели мириться с бездействием. Опасаясь, что их неожиданно посадят на суда и отправят на войну с Данией, они передавали друг другу ими же выдуманные слухи насчет императрицы. Офицеры нашей партии наблюдали за ними и с великим трудом удерживали. Я поручила некоторым офицерам сказать солдатам, что ежедневно получаю сведения о ее величестве и извещу их, когда придет время действовать.

В таком положении дела оставались до 27 июня (по старому стилю), дня, навечно памятного для России, дня трепета и счастья для заговорщиков, словом, дня, который разрешил и осуществил их чаяния. За несколько часов до события никто из нас не знал, когда и чем оно закончится; в этот день был разрублен гордиев узел, завязанный невежеством, различием мнений, разнообразием взглядов на основные условия готовящегося великого свершения. Все произошло по мановению руки Провидения, исполнившего расплывчатый план людей, мало связанных между собой, не понимающих друг друга, объединенных лишь одним желанием, выражавшим желание всего общества. Вернее сказать, они только мечтали, боясь углубиться в собственные мысли и тщательно все обдумать, потому и не выработали никакого определенного плана переворота. Если бы все главные участники событий захотели сознаться в том, какую роль в успехе заговора сыграла случайность, им бы пришлось спуститься с высоких подмостков. Что до меня (признаюсь совершенно искренне), то, догадавшись, может быть, первой о возможности свергнуть монарха, не способного править, я стала много размышлять об этом (насколько способна к размышлению восемнадцатилетняя голова), но, говорю откровенно, ни чтение книг о переворотах, ни мое воображение, ни все мои догадки никогда бы не дали такого результата, к какому привел арест Пассека.

В полдень 27 июня Григорий Орлов[88] привез мне известие об аресте капитана Пассека. Еще накануне вечером Пассек с Бредихиным были у меня и сообщили, что гренадеры с нетерпением ждут свержения Петра III и стоит только повести их в Ораниенбаум против голштинцев, как все будет кончено, что слухи о беде, грозящей императрице, взбудоражили солдат и долго удерживать их в казармах будет трудно, а их возмущение представляет для нас страшную угрозу, так как может провалить весь заговор. Я поняла, что эти господа весьма напуганы, и, чтобы показать им, что не побоюсь разделить с ними опасность, я попросила от моего имени передать солдатам: мною только что получены вести от императрицы, спокойно живущей в Петергофе, и им следует успокоиться — время действовать еще не пришло.

Пассек и Бредихин в тот же день передали мои слова солдатам, но разговор этот чуть было не стал для нас гибельным, ибо понудил майора гвардейского Преображенского полка Воейкова арестовать капитана Пассека.

Когда Орлов пришел известить меня о неприятной новости (не зная ни причины, ни малейших подробностей ареста), у меня был мой дядя Панин. Как человек по природе холодный и ленивый, он отнесся спокойно к моему сообщению, хотя, возможно, он просто хотел скрыть от меня размеры опасности. Он невозмутимо стал уверять меня, будто арест Пассека мог явиться наказанием за какое-либо упущение по службе. Отчетливо осознав, что настал решительный миг, что надо действовать и нельзя терять время на уговоры Панина, я согласилась, что Орлову следует отправиться в полк и узнать причину, по которой Пассек взят под стражу; нам надлежало знать, лишился ли он свободы как совершивший проступок офицер или как заговорщик. Затем Орлов должен был известить меня, и если положение окажется тревожным, один из братьев придет к Панину со всеми подробностями.

После отъезда Орлова я извинилась перед дядей и под предлогом отдыха попросила меня оставить. Дядя тотчас же уехал, а я, не теряя времени, надела мужской суконный плащ и отправилась пешком в дом Рославлевых*.

Пройдя совсем немного, я увидела всадника, скачущего галопом. Почему, по какому наитию я догадалась, что это один из братьев Орловых? Ведь, кроме Григория, я никого из них не знала. У меня не было другого способа остановить стремительную скачку, как окликнуть наездника по фамилии, я рискнула (будучи бог знает почему уверена, что не ошибусь):

— Орлов![89]

Он остановился и спросил:

— Кто меня зовет?

Приблизившись к всаднику, я назвалась и спросила, куда он направляется и нет ли у него какого-либо сообщения для меня.

— Княгиня, я ехал к вам, чтобы известить, что Пассек арестован как государственный преступник; четверо часовых стоят у его две-

---

* Надобно знать, что накануне солдаты, получив, не знаю уж от кого, ложные сведения, будто императрицу собираются похитить и удалить в ссылку, решили выступить за ее освобождение, офицеры с большим трудом их удержали; возможно, им это и не удалось бы, если бы я не поручила успокоить их, объявив, что как раз получила сведения, что императрице не угрожает никакая опасность, и что я дам знать, когда нужно выступать. Однако, не полагаясь на то, что офицерам удастся удержать солдат, я написала госпоже Шкуриной, жене камердинера Екатерины, чтобы она немедля отправила к своему мужу в Петергоф наемную карету четверней и уведомила его, что я прошу держать эту карету запряженной на случай крайней необходимости — когда императрице понадобится использовать ее для приезда в Петербург, потому что потребовать дворцовую карету она не сможет.

Панин, считавший, что если что-то и произойдет, то лишь в отдаленном будущем, расценил мою предусмотрительность как напрасную. Но не будь этой кареты, бог знает исполнились бы наши желания или нет. Управляющий двором и комендант Петергофа Измайлов[90] вовсе не был расположен к императрице и помешал бы ее бегству, спроси она у него экипаж.

рей и по двое у каждого окна. Брат помчался уведомить графа Панина, и я уже был у Рославлева.

— И что, Рославлев показался вам очень встревоженным?

— Немного,— ответил он.— Но что же вы здесь стоите? Позвольте, княгиня, проводить вас домой.

— На улице никого нет,— возразила я,— и, кроме того, было бы некстати, если бы вас увидели мои слуги. Впрочем, наш разговор не будет долгим. Ступайте и скажите Рославлеву, Ласунскому, Черткову[91] и Бредихину, пусть они, не теряя времени, отправляются в свой полк и находятся там, готовясь встретить императрицу (Измайловский полк был первым на ее пути). Затем вы, либо кто-то из ваших братьев, должны молнией мчаться в Петергоф и от моего имени сказать ее величеству, чтобы она не мешкая садилась в присланную за ней наемную карету и ехала в Измайловский полк, где ее тотчас провозгласят государыней. Передайте ей: нужно спешить, опасно потерять даже минуту, я не пишу ей, дабы вас не задерживать. Скажите также, что мы разговаривали на улице и я умоляла вас ускорить ее приезд, тогда императрица поймет всю важность прибытия сюда без промедления. Прощайте. Возможно, этой ночью я выеду ей навстречу.

Вернувшись домой, встревоженная до глубины души, я не помышляла о сне. Горничная доложила, что портной еще не принес мне мужское платье. Это обстоятельство совершенно расстроило мои планы; но, чтобы успокоить слуг, я легла и отправила их отдыхать.

Не прошло и часа, как раздался стук в ворота. Я вскочила с кровати, вышла в соседнюю комнату и велела впустить пришельца.

Передо мной стоял незнакомый приятный молодой человек, который оказался четвертым братом Орловых[92]. Он пришел спросить, действительно ли нужно спешить с прибытием императрицы в Петербург и не напугаем ли мы ее понапрасну. Услыхав эти слова, я потеряла самообладание от гнева и тревоги; думаю, мои выражения были слишком оскорбительны для высокомерных братьев. Я требовала объяснить, почему они медлят с исполнением моего приказания Алексею Орлову.

— Теперь речь идет не о том, можно ли обеспокоить императрицу,— сказала я.— Лучше привезти ее сюда без чувств, чем рисковать, что, оставшись в Петергофе, она всю жизнь будет несчастной или вместе с нами взойдет на эшафот. Скажите вашему брату, чтобы он не медля скакал в Петергоф и привез императрицу прежде, чем Петр III последует чьему-нибудь разумному совету и пришлет ее сюда либо приедет в Петербург сам и разрушит то, что было угодно свершить Провидению (а вовсе не нам) для спасения России и императрицы.

Убежденный моими доводами, младший Орлов перед тем, как уйти, поручился, что брат исполнит мои пожелания[93].

После его ухода я погрузилась в довольно грустные размышления, и воображение рисовало мне самые зловещие картины.

В 6 часов утра я приказала горничной приготовить мне парадное платье.

Узнав, что ее величество приехала в Измайловский полк, где была единодушно провозглашена государыней, а оттуда направилась в Казанский собор и там армия и другие гвардейские полки ей дружно присягнули, я поспешила в Зимний дворец, куда, как мне было известно, она должна прибыть.

Не сумею описать, как добралась я до императрицы. Все войска, находившиеся в Петербурге, присоединились к гвардейцам и, запрудив большую площадь и улицы, окружили дворец. Выйдя из кареты, я хотела пересечь площадь, но некоторые офицеры и солдаты меня узнали, подняли и понесли над толпой. Мне говорили самые лестные и трогательные слова, желали счастья и благословляли. Меня несли на руках до самых покоев ее величества.

Мое помятое платье и растрепанная прическа представлялись моему воображению как дань победе. Приводить себя в порядок не было времени, и в таком виде я предстала перед императрицей.

— Слава богу! Слава богу! — вот и все, что мы обе могли произнести, бросившись друг другу в объятья.

Екатерина рассказала мне, как она бежала из Петергофа, а я — обо всем, что знала, и объясняла, что, несмотря на горячее желание выехать ей навстречу, не смогла этого сделать, поскольку портной задержал мой мужской костюм.

Тут я заметила, что императрица все еще носит ленту св. Екатерины и на ней нет голубой ленты ордена св. Андрея*. Я попросила графа Панина снять с себя орден, а затем положила его на плечо императрицы. Оттого, что при ней не было горничной, она попросила меня спрятать орден св. Екатерины к себе в карман.

После легкого обеда мы во главе войска отправились в Петергоф. Императрица позаимствовала мундир у капитана Талызина[94], я взяла для себя у поручика Пушкина — оба эти офицера-гвардейца были приблизительно нашего роста. Я поспешила домой, чтобы переодеться.

Я вернулась во дворец, когда Екатерина совещалась с сенаторами относительно манифестов, которые следовало издать в первую очередь; должность секретаря исполнял Теплов.

Представлялось весьма вероятным, что Петр III уже узнал о бегстве Екатерины и о событиях в городе. Мне пришла мысль, что кто-нибудь из окружения Петра может дать ему смелый совет — приехать в Петербург. Это предположение меня поразило, и я не стала ждать конца совещания, невзирая на то что не имела права войти в высокое собрание. Два унтер-офицера дежурившие у двери, то ли были уверены, что ко мне не относится имевшийся у них приказ никого не пускать, то ли не знали, что мне вовсе не следует туда входить, и отворили передо мной двери. Приблизившись к креслу ее величества, я прошептала ей на ухо о своих опасениях,

* Екатерина не носила голубую ленту, ибо имела только орден св. Екатерины (он был учрежден Петром I для своей жены). Орден св. Андрея своей супруге впервые пожаловал Павел I, император Александр I последовал его примеру и дал голубую ленту императрице Елизавете.

добавив, что, если она еще не приняла меры, чтобы этому помешать, ей не следует терять времени. Екатерина тут же подозвала Теплова и приказала заготовить указ с предписанием двум офицерам занять посты в устьях тех рек, по которым можно попасть в столицу, и с указаниями, как им следует поступать.

Императрица, заметив, что сенаторы меня не узнали, объяснила им, кто я такая, прибавив, что моя дружба к ней заставила меня позаботиться о том, о чем она сама забыла. Тогда почтенные отцы отечества встали со своих мест и приветствовали меня*.

Заседание вскоре окончилось. Императрица отдала все распоряжения, необходимые для безопасности города. Мы сели на лошадей и двинулись со свитой в двенадцать тысяч войск, не считая добровольцев, число которых с каждой минутой возрастало.

Солдаты были на ногах уже более 12 часов, поэтому в десяти верстах от города, в Красном Кабаке, был сделан привал. Мы сами нуждались в отдыхе.

В скверном доме, который действительно был не чем иным, как жалким кабаком, имелась единственная широкая кровать. Ее величество решила, что нам обеим можно на ней отдохнуть не раздеваясь. Последние две недели я почти не спала и, хотя мне не хотелось заснуть в такое время, с наслаждением воспользовалась предложением и легла: все тело просило отдыха. Но прежде, увидав, сколь грязна постель, я попросила у полковника Кара его широкий плащ, которым мы застелили кровать.

Мне сразу бросилось в глаза, что рядом с нашим изголовьем находится маленькая дверь. Меня это встревожило, и я попросила позволения позаботиться о безопасности императрицы. Оказалось, что дверца ведет в небольшой темный коридор, имеющий выход во двор. Распорядившись поставить снаружи двух караульных гвардейцев и приказав им ни в коем случае не покидать пост без моего разрешения и не подпускать никого к двери, я вернулась на свое место в постели.

Мы с императрицей не могли заснуть, и она стала читать мне разные указы, которые собиралась обнародовать по возвращении в столицу; говорили мы также и о том, что надежды наши возросли, а тревоги — уменьшились.

Действительно, Петр III не мог ни на что решиться и пренебрег советами бывшего при нем Миниха[95]. Он отправился в Петергоф, вернулся в Ораниенбаум и, наконец, побуждаемый некоторыми приближенными, отважился идти на Кронштадт, чтобы завладеть крепостью и флотом. Однако он прибыл туда, когда адмирал Талы-

* В мундире я имела вид пятнадцатилетнего мальчика, и им должно было показаться странным, что такой молодой гвардейский офицер, которого они прежде не знали и не видели, посмел войти в это святилище и что-то шептать на ухо ее величеству. Замечу, кстати, что на мне был прежний мундир Преображенского полка, который носили со времен Петра I и который Петром III был изменен на форму прусского образца. Но что удивительно, с того момента, как императрица прибыла в Петербург, солдаты поснимали свои новые прусские мундиры и надели старую форму, добытую бог знает откуда и как.

зин[96], посланный Екатериной, уже принял командование флотом. Адмирал не разрешил Петру III высадиться на берег, и тот вынужден был возвратиться в Ораниенбаум. Оттуда император послал генерала Измайлова[97] с изъявлениями покорности и обещаниями сложить корону. Измайлов держал перед нами совсем другие речи, нежели мой дядюшка[98]. Когда мы выступали из столицы, вице-канцлер, видя, что ему не удается переубедить императрицу, отказался принести присягу Екатерине, правда, заверив, что ни словом, ни делом не предпримет против нее ничего, добавив, что не изменит данной Петру III присяге, пока тот жив[99].

Дядюшка просил императрицу приставить офицера для наблюдения за тем, что происходит в доме, и величественно, со спокойной душой удалился во дворец Воронцова.

Меня восхитило поведение дяди, достойное уважения тем более, что я знала, сколь мало ценил он императора и как, будучи истинным патриотом, скорбел, видя неспособность государя управлять страной и те плачевные последствия, к каким это может привести.

Меж тем императрица отправила Измайлова к Петру III, заклиная убедить его в необходимости сдачи, дабы избежать многочисленных несчастий, предотвратить которые, в случае отказа, будет невозможно. Императрица уверяла, что считает своим долгом сделать жизнь Петра приятной в любом удаленном от Петербурга, им самим выбранном дворце и что, насколько будет в ее власти, она исполнит все его пожелания.

Недалеко от Троицкого монастыря императрицу встретил вице-канцлер князь Голицын с письмом от императора.

С каждой минутой наша свита увеличивалась за счет тех, кто добровольно покидал Петра.

Ораниенбаум находится всего в девяти верстах от Петергофа, и вскоре после того, как мы туда прибыли, в сопровождении генерала Измайлова и адъютанта Гудовича приехал Петр III. Императора проводили в отдаленное помещение, так что его почти никто не видел, ему подали обед, а затем отвезли во дворец в Ропше, который он предпочел другим резиденциям и который принадлежал ему, когда он был еще великим князем[100].

Охранять и сопровождать Петра III императрица доверила Алексею Орлову, у которого под началом были капитан Пассек, князь Федор Барятинский и поручик гвардейского Преображенского полка Баскаков.

Сама я не видела Петра III, хотя могла бы, но мне рассказывали, что обедал он с аппетитом и, как обычно, пил свое любимое бургундское.

Он написал два или три письма своей августейшей супруге. В одном из них в очень ясных и точных выражениях содержался отказ от прав на корону. Петр III просил императрицу назначить для пребывания с ним нескольких названных им человек[101]; не забыл он упомянуть перечень нужных ему припасов, и в первую очередь бургундское, трубки и табак.

Но довольно об этом несчастном императоре, который вознесся на пьедестал не по своим возможностям. Он не был злым; но его ограниченность, недостаток воспитания, интересы и природные склонности свидетельствуют о том, что из него вышел бы хороший прусский капрал, но никак не государь великой империи.

С предыдущего дня мне пришлось все время быть на ногах, но усталость я ощущала только, когда стояла или садилась, а не тогда, когда бегала из одного конца дворца в другой или спускалась вниз к гвардейцам, охранявшим входы или выходы,— настолько мои душевные силы брали верх над физическим состоянием.

Поговорив с принцессой Голштинской, родственницей императрицы, я пошла к ее величеству спросить, примет ли она принцессу. Каково же было мое удивление, когда в одной из комнат я увидела Григория Орлова, растянувшегося на канапе (он ушиб ногу) и вскрывающего большие пакеты, присланные из Совета (я узнала их, потому что часто видела у дядюшки во время царствования Елизаветы). Я спросила Орлова, что он делает.

— Императрица приказала мне их вскрыть.

— Не думаю,— заметила я,— потому что они еще несколько дней должны храниться нераспечатанными, покуда императрица не назначит соответствующих людей на эту должность, но ни вы, ни я для нее не подходим.

Затем я вынуждена была пойти к солдатам, которые, изнуренные жаждой и усталостью, захватили винный погреб и, наполнив кивера венгерским, жадно его пили, приняв за легкий медовый напиток. Мне удалось убедить солдат: они вылили вино из киверов, вкатили бочонки обратно в погреб и послали за водой. Это проявление их доверия и привязанности ко мне было тем более удивительно, что офицерам прежде не удалось их уговорить.

Я отдала солдатам все деньги, какие у меня оставались*, и, вывернув карман, показала, что не даю им больше, потому что нет. Всего у меня было 16 золотых империалов, что составляло 160 рублей; я пообещала солдатам, что, вернувшись в город, они получат выпивку за счет казны и все кабаки будут открыты.

Пройдя остальные посты и караульни, я отдала солдатам червонцы, оказавшиеся в другом кармане. Тут мои доводы также возымели желаемое действие.

Вернувшись во дворец, я обратила внимание на то, что в комнате, где на канапе лежал Григорий Орлов, был накрыт стол на три куверта. Я прошла, не показав вида, что заметила это. Вскоре ее величеству доложили, что обед подан. Она пригласила меня, и с большим огорчением я увидела, что стол подвинут к тому самому канапе.

Мой грустный вид или неудовольствие (а скорее всего и то и другое, ведь я искренне любила императрицу), вероятно, ясно

---

* Я не просила и не получала денег от императрицы; и уж совсем бы не взяла их от французского посланника, как говорят некоторые сочинители. Правда, мне их предлагали и предоставляли огромные кредиты, но я отвечала, что для успеха переворота никогда с моего ведома и согласия не будут использованы деньги какого-либо иностранного двора.

отразились на моем лице, и она меня спросила, что со мной.

— Ничего. Просто я не спала две недели и очень устала.

Затем императрица попросила меня поддержать ее против Орлова, который настаивает на увольнении от службы.

— Посудите, сколь бы неблагодарной я выглядела, если бы согласилась на его отставку.

Мой ответ был совершенно не в том смысле, какого она ожидала. Я заметила, что с той поры, как она стала государыней, у нее имеется множество способов вознаградить его таким образом, что имя его может далеко прогреметь. Было очевидно, что Орлов — ее любовник, и я пришла в отчаяние, предвидя, что скрыть этого она не сумеет.

После обеда и отъезда Петра III мы покинули Петергоф, остановившись по дороге в загородном доме князя Куракина. Императрица и я отдыхали на единственной имевшейся там кровати. Следующая остановка была в Екатерингофе, где нас встречала многочисленная толпа. Народ там собрался, чтобы встать на сторону императрицы в случае, если произойдет стычка между нашими войсками и голштинцами, которых все ненавидели.

Наше вступление в Петербург не поддается описанию. Улицы были заполнены народом, который благословлял нас и бурно выражал радость. Звон колоколов, священник у врат каждой церкви, звуки полковой музыки — все производило впечатление, которое невозможно передать.

Счастье от сознания, что революция свершилась без единой капли крови, желание увидеть отца, дядю и дочь, множество чувств, обуревавших меня, восемнадцатилетнюю, неимоверная усталость, которую я ощущала при моем хрупком сложении, и чрезмерная чувствительность нервов — все это вызвало лихорадку; я ничего не видела, не слышала и тем более не могла наблюдать.

Когда мы приехали в Летний дворец, даже не дав императрице войти в апартаменты, я прямо в галерее испросила у нее разрешение взять ее дорожную карету, которая следовала за нами, и поехать навестить родных и дочь. Ее величество разрешила и любезно просила возвращаться как можно скорее.

Дворец дяди был совсем близко, и я прежде всего отправилась к нему.

Он выглядел здоровым, совершенно спокойным и о низложении Петра III говорил как о событии, которого ожидал. Затем он стал рассуждать о *дружбе с государями*, не отличающейся, как правило, с их стороны ни постоянством, ни искренностью. Этому у него были доказательства. Действительно, в царствование Елизаветы, которая дарила его дружбой и к которой он был привязан с молодости, искренность и чистота его поступков и намерений не спасли его от ядовитых стрел сплетен и зависти.

От дяди я отправилась к отцу и увидела, что он не в своей тарелке. Этому способствовало прежде всего то, что офицер, приставленный к нему для охраны на случай, если в тех двух гвардейских полках, что стояли в доме напротив, среди пьяных солдат

возникнут беспорядки, офицер тот, по фамилии Какавинский (позже стало известно, что он помешанный*), под предлогом, что у отца большое количество слуг, поместил у него в доме на отдых много солдат (в Петербурге оставалось столько солдат, сколько было необходимо для смены караула возле дворца и охраны великого князя Павла, оставшегося в городе со своим гувернером).

Входя в отцовский двор, я узнала унтер-офицера, ординарца подполковника Вадковского, который командовал всеми гвардейцами, оставшимися на время нашего отсутствия в столице. Ординарец пришел потребовать 30 солдат, бесполезных в доме отца, но необходимых для смены тех, кто стоял на посту уже по две очереди. Я сказала Какавинскому, что он должен немедля исполнить приказание его превосходительства Вадковского и нет никакой нужды держать тут сотню солдат. Войдя в комнаты и увидев у каждой двери по часовому, я заметила офицеру, что он плохо понял желание императрицы, приказавшей поставить солдат для охраны дома, а не для того, чтобы моего отца содержали как мятежника. Солдатам же я сказала, что их потревожили напрасно и до нового приказа здесь должны оставаться всего десять или двенадцать человек.

При встрече со мной отец не выразил ни малейшего гнева, он только выразил свое негодование по поводу того, что 24 часа его охраняли, как преступника, и сетовал на то, что моя сестра Елизавета находится в его доме.

Объяснив причину его расстройства глупостью Какавинского, я пообещала, что еще до ночи в доме не останется ни одного солдата. Что же касается другого огорчения, то я умоляла отца принять во внимание положение моей сестры и понять: его дом для нее — единственное приличное и естественное убежище, но со временем, несомненно, явится способ (соблюдая приличия) исполнить их обоюдное желание не жить под одной крышей.

Отец не хотел меня отпускать, но я его убедила, что мне необходимо навестить сестру, затем съездить домой повидаться с дочерью и сменить военный мундир, добавив, что императрица просила меня вернуться во дворец как можно скорее.

Мне было нелегко получить разрешение пойти к сестре: отец никогда не испытывал к ней особенной нежности, а то невнимание, которое она проявляла к нему, когда была в фаворе (при Петре III он ничего из себя не представлял — не имел ни влияния, ни уважения), конечно, не улучшило отношения отца с дочерью.

Мне пришлось выслушать длинную речь сестры, которая от всего отрекалась. В конце концов она убедилась в моем участии и нежности.

— Я еще не разговаривала относительно вас с императрицей, но только потому, что уверена: она не может иметь в отношении вас иных намерений, кроме великодушных и благожелательных, и, думаю, для вас будет сделано все возможное.

---

* Во время нашего пребывания в Москве он позволил себе публично отречься от православной религии и перейти в католичество.

Действительно, в дальнейшем императрица потребовала только, чтобы она не присутствовала на коронационных торжествах. Ее величество несколько раз посылала к сестре сказать, что та может быть уверена в ее покровительстве[102].

Вскоре сестра уехала в отцовскую подмосковную. Позже, когда двор покинул Москву, она поселилась там и никуда не выезжала до выхода замуж за господина Полянского, после чего стала жить в столице, где у ее мужа имелся дом, а под Петербургом — имения. Государыня была восприемницей ее сына. Вернувшись из-за границы, я добилась, чтобы императрица назначила ее дочь фрейлиной.

Оставив сестру, я отправилась домой поцеловать маленькую Настеньку. Эти три визита заняли много времени, стало темнеть, и мне некогда было переодеваться: я спешила во дворец.

Горничная доложила мне, что в кармане моего парадного платья нашла орден. Это был бриллиантовый орден св. Екатерины, принадлежавший императрице, и я взяла его с собой.

Войдя в комнату, смежную с покоями императрицы, я увидела Григория Орлова с Какавинским и приближающуюся ко мне государыню. Теперь сомнений не было: Орлов мой враг — ведь никто, кроме него, не мог привести к Екатерине Какавинского. Ее величество упрекнула меня в том, что в присутствии солдат я говорила с офицером по-французски и у них могло родиться подозрение, будто я хотела, чтобы он их отослал. Я отвечала сухо, и, как потом говорили, на моем лице выразилось явное презрение:

— Ваше величество, еще слишком мало времени прошло с тех пор, как вы вступили на трон, чтобы ваши солдаты, которые только что выказывали мне знаки слепого повиновения, стали бы тревожиться о том, на каком языке я говорю,— и, дабы прекратить этот разговор, я протянула ей орден св. Екатерины.

— Успокойтесь,— сказала императрица.— Признайтесь, однако, вы были неправы, отослав солдат.

— В самом деле, ваше величество,— подхватила я.— Вопреки требованию господина Вадковского мне следовало бы предоставить свободу действий этому глупцу Какавинскому и лишить вас солдат, которые смогли бы сменить караул, охраняющий ваш дворец и пекущийся о вашей безопасности.

— Полноте! Полноте! Оставим этот разговор, он был вызван вашей горячностью. А это — за ваши заслуги,— и она хотела возложить мне на плечо возвращенный мною орден.

Но вместо того чтобы преклонить колена и принять награду, я произнесла:

— Извините меня, ваше величество, за то, что я вам сейчас скажу. Вы вступаете в пору жизни, когда правда, вопреки вашему желанию, не будет достигать ваших ушей. Умоляю, не жалуйте мне этот орден, ведь как украшением я им не дорожу, и вы это знаете; а что до моих заслуг, то, как ни малы кажутся они некоторым людям, по моему мнению, их ничем нельзя вознаградить, ибо меня никогда нельзя было и впредь нельзя будет купить никакой ценой.

Ее величество обняла меня и сказала:

— Доставьте мне, по крайней мере, удовольствие и позвольте выразить свою дружбу.

Я поцеловала ей руку.

И вот, похожая на четырнадцатилетнего мальчика, я стою в офицерском мундире, с лентой на плече[103], в одной шпоре (!).

Тогда ее величество сообщила, что уже отправлен поручик вернуть моего мужа с дороги. Радостная новость заставила меня в тот же миг забыть свою справедливую досаду.

Примерно час провели мы с императрицей. Она объявила, что с завтрашнего дня для меня будет приготовлена квартира во дворце. Я попросила разрешения остаться у себя до приезда мужа, а затем переселиться вместе с ним*.

Гетман граф Разумовский и Панин вышли от императрицы вместе со мной. Я им рассказала о виденном в Петергофе, о разговоре с ее величеством во время обеда и высказала полную уверенность в том, что Орлов ее любовник.

---

* Забыла сказать, что при нашем возвращении в Петербург, когда мы — императрица, я, граф Разумовский и князь Волконский — сели в карету, чтобы немного отдохнуть, то по пути ее величество спросила, чем она может хоть как-то отблагодарить меня.

— Сделайте мою родину счастливой и сохраните ваши чувства ко мне, большего счастья мне не нужно,— ответила я.

— Но ведь это мой долг,— возразила она.— А мне хочется облегчить бремя, какое я ощущаю.

— Не думала,— заметила я,— что дружеские услуги для вас тяжки.

— Одним словом,— сказала императрица,— просите у меня все, что хотите; право, мне будет не по себе, если вы сейчас же не скажете, что я могу сделать, чтобы доставить вам удовольствие.

— Хорошо,— ответила я,— тогда оживите моего дядюшку, который не умер.

— Это загадка.

— Князь Волконский вам ее разъяснит. Хотя я домогаюсь милости не для себя, просить мне нелегко.

Князь Волконский рассказал ее величеству, что генерал Леонтьев, родной дядя моего мужа, отличившийся в войне с Пруссией, происками своей жены был лишен седьмой части имений и четвертой части движимости и капитала, что, по российским законам, она должна была бы получить только после его смерти. По своей неприязни ко всем генералам, которые успешно сражались против Фридриха, Петр III охотно согласился на эту несправедливость.

Императрица обещала, что одним из первых указов, которые она подпишет, будут восстановлены права моего родственника.

— Благодарю, ваше величество, этим я буду вполне вознаграждена, потому что генерал Леонтьев — единственный и очень любимый брат моей свекрови.

Я была довольна тем, что смогу доказать матери мужа привязанность к их семье, в то же время меня радовала возможность уклониться от благодарности императрицы, получить которую значило бы поступиться своими принципами.

На следующий день Панин получил графское звание и 5 тысяч рублей пенсии, такими же пенсиями были пожалованы граф Разумовский и князь Волконский. Остальным заговорщикам из числа главных было назначено по 2 тысячи рублей пенсии и по 600 душ крестьян (или взамен по 24 тысячи рублей). К моему удивлению, я была причислена к этой группе[104]. Я не воспользовалась правом взять землю и не хотела брать эти 24 тысячи. Однако некоторые из участников переворота порицали мое бескорыстие; для прекращения молвы и дабы не настраивать против себя императрицу, я затребовала списки долгов мужа и назначила причитающуюся мне сумму на выкуп его долговых обязательств, что и было исполнено Кабинетом ее величества.

Панин возразил:

— Ваше воображение подстрекают восемнадцать лет и двухнедельная бессонница.

— Допустим,— согласилась я.— Но позвольте мне, когда вы убедитесь в моей правоте, сказать вам, что со своим умом и рассудительностью вы оба — глупцы.

Соглашение было заключено, и я поспешила домой, чтобы броситься в постель. Мой ужин составило крылышко цыпленка, оставшееся после обеда моей дочки; торопясь насладиться благодеяниями Морфея, я быстро легла. Однако кровь моя была так взволнована, возбуждение — столь сильно, что я ежеминутно просыпалась от сотрясавших тело судорог.

На следующий день в соборе служили обедню, и мы увидели Григория Орлова при ордене св. Александра.

После службы, подойдя к дяде и графу Разумовскому и напомнив вчерашний разговор, я сказала:

— Должна заметить, при всем уважении к вам, что вы глупцы.

На четвертый день после восшествия Екатерины на престол Бецкой попросил и получил аудиенцию у ее величества. Мы с ней были вдвоем. Каково же было наше удивление, когда он, бросившись на колени, попросил сказать, кто, по ее мнению, возвел ее на трон.

Императрица ответила:

— Своим возвышением я обязана богу и моим преданным и добрым подданным.

— Тогда,— произнес Бецкой,— мне более не следует носить этот орден,— и он хотел снять свой орден св. Александра.

Императрица остановила его и потребовала объяснений.

— Я самый несчастный из людей: вы не знаете того, что мне удалось с помощью раздачи денег подготовить гвардейцев.

Мы решили, не без основания, что он сошел с ума. Ее величество от него удачно отделалась, поручив надзор за ювелирами, которые ко дню коронации делали большую бриллиантовую корону, и заверив, что ей известны все его заслуги. Бецкой в восторге поднялся и, совершенно удовлетворенный, тотчас ушел, очевидно, спеша сообщить о великой радости своим друзьям.

Мы с императрицей смеялись от всего сердца, а я была в восхищении от изобретательности ее величества, так ловко освободившейся от докучливого безумца[105].

Петербургский двор в это время был весьма интересен. Почти каждый день появлялись новые лица: те, кто получил должности после переворота, и люди, возвращенные из ссылки, куда они попали еще при императрице Анне, со времени правления Бирона[106], или в царствование Елизаветы. Этих опальных вызвал Петр III, и они постепенно прибывали из различных мест, где жили в изгнании. Это были живые картины прошедших времен, интересные пережитыми несчастьями и тем, что, превосходно зная тайны кабинетов и дворов, могли порассказать много любопытного.

Наконец, вернулся бывший великий канцлер, знаменитый граф Бестужев[107]. Сама императрица представила нас друг другу,

причем у нее вырвалась фраза, которую Орловы, если бы это было возможно, охотно бы заглушили:

— Это княгиня Дашкова! Можно ли было представить, что короной я буду обязана юной дочери Романа Воронцова?

Современные французские писатели, лишающие нас утешения и пользы, которую доставляет изучение истории, тем, что немилосердно нагромождают одну ложь на другую, утверждают, что я интриговала против Петра III вместе с графом Бестужевым; между тем его сослали, когда мне не было и четырнадцати лет[108]. Он был врагом моего дяди, и до опалы графа я видела его всего один раз, да и то издали. Меня поразило фальшивое выражение его умного лица, и, спросив, кто это такой, я впервые услыхала его имя.

Фельдмаршал Миних и господин Лесток[109] (последнего я в детстве часто встречала в доме дяди, к которому он был очень близок) казались мне ожившими мемуарами, откуда можно было черпать самые верные знания людских сердец, рисовавшихся мне все еще в розовом свете.

Мы подружились с почтенным Минихом, старцем, у которого внучки — дочери сына — были старше меня. Обширные познания, твердость характера, галантность старинных вельмож, резко отличавшиеся от поведения некоторых из наших заговорщиков, делали для меня разговор с ним чрезвычайно интересным.

Эта живая картина, с быстрым выдвижением новых лиц и исчезновением других, заставила меня много размышлять, я стала умнее.

Вскоре появился человек, который, может быть, невольно и сам того не ведая, стал источником первых испытанных мною мучительных переживаний, против которых женского мужества недостаточно. Речь идет о первой камеристке императрицы в бытность ее великой княгиней.

Эта женщина, происходившая из дворянской семьи, как говорят, была достаточно дружна с моей матерью. Она обладала природным умом.

Она была выслана в то же время, что и граф Бестужев. Ее именем воспользовались, чтобы оклеветать меня перед моим отцом; однако об этом после*.

---

* Когда пришло известие о смерти Петра III, меня оно чрезвычайно поразило, сердце отказывалось верить, что императрица — соучастница преступления Алексея Орлова. Только через день я смогла себя пересилить и поехать к ней. Она выглядела печальной и расстроенной и сказала (это ее собственные слова):

— *Как меня взволновала, даже поразила эта смерть.*

— Она случилась слишком рано и для вашей, и для моей славы,— ответила я.

Вечером в апартаментах императрицы я высказалась весьма неосторожно, выразив надежду, что Алексей Орлов теперь, наконец, поймет: отныне мы не можем иметь ничего общего и он никогда не посмеет со мной заговорить. Все братья Орловы стали моими непримиримыми врагами, и Алексей после возвращения из Ропши, несмотря на свою наглость, ни разу в течение двадцати лет не дерзнул обратиться ко мне хотя бы с одним словом.

Тем, кто посмел подозревать императрицу в том, что она приказала убить супруга или была причастна к его смерти[110], я представлю здесь доказательство противного: известно письмо Алексея Орлова, которое ее величество тщательно берегла в своей шкатулке, вскрытой Павлом после смерти матери. Павел приказал князю Безбо-

приезд мужа и кровопускание, которое мне пришлось сделать, вскоре успокоили мои нервы и кровь.

Мы заняли апартаменты, приготовленные для нас во дворце. Императрица приглашала нас обедать, а поскольку она не ужинала, стол накрывали у нас, и к ужину всегда бывало человек десять — двенадцать.

Муж получил под команду кирасирский полк, в котором полковником числилась сама императрица. При Елизавете, а также при Петре III в этом лейб-гвардии полку было полно немецких офицеров, и ее величество пожелала, чтобы командовал им русский дворянин в звании вице-полковника. Назначение доставило князю Дашкову большую радость; он тут же ввел в полк молодых русских дворян и вскоре стал кумиром офицеров и солдат. Князь не жалел никаких расходов на лошадей и прочее, лишь бы его полк стал лучшим во всей кавалерии.

В одном полку с моим мужем служил гвардии поручик Михаил Пушкин. Он был очень умен. Его утонченная, остроумная беседа пользовалась большим успехом у молодых людей. Между ним и князем Дашковым установились столь привычные и непринужденные отношения, что их можно было принять за дружбу. Однажды по просьбе князя я спасла поручика от беды.

Французский купец Гейнбер возбудил против Пушкина дело, поддержанное письмом французского посла при нашем дворе маркиза Лопиталя[113]. Дело было весьма серьезно: вместо того чтобы уплатить долг купцу, поручик выгнал его из дома. Мне удалось добиться, чтобы посол приостановил дело. В то время я была еще только невестой князя Дашкова. Маркиз ежедневно бывал в нашем доме, то есть в доме моего дяди великого канцлера. После моих настойчивых просьб посол написал записку командиру полка майору Меншикову, что, поскольку поручик Пушкин расплатился с купцом Гейнбером, он, французский посол, не имеет никаких претензий и просит князя Меншикова более Пушкина не беспокоить.

Я привожу этот небольшой анекдот по двум причинам. Во-первых, хочу показать облик человека, ставшего причиной пустяшной ссоры между императрицей и мною (в своих записках я не хочу

родко[111] прочесть бумаги, в ней содержащиеся, и, когда князь приступил к чтению вышеназванного письма, перекрестился и сказал:

— Слава богу, малейшие сомнения, какие у меня могли бы быть, исчезли благодаря этому глупому письму.

Письмо было написано собственноручно Алексеем Орловым. Писал он, как грузчик; вульгарность выражений, бессвязность мыслей совершенно пьяного человека, мольбы о прощении и какое-то недоумение перед случившимся — все делает этот документ чрезвычайно интересным для тех, кто хотел бы разоблачить ужасную клевету, широко распространяемую против Екатерины, которая, если и имела слабости, была неспособна на преступление. Смертельно пьяный, не помня себя от ужаса, Алексей отправил императрице свое послание спустя несколько минут после того, как Петра III не стало.

Когда после смерти Павла I стало известно, что письмо не было уничтожено и что Павел велел читать его вслух в присутствии своей супруги и госпожи Нелидовой, показал письмо великим князьям и графу Ростопчину, я была так счастлива, так весела, как редко в жизни[112].

ничего скрывать и потому не стану таить те небольшие размолвки, которые случались между нами, но я никогда не впадала в немилость, как это утверждают некоторые писатели, и если императрица не делала для меня больше, так это оттого, что знала: корысть не владеет моей душой). Во-вторых, без ложной скромности раскрою свое сердце, столь наивное и не искушенное в придворной жизни, что я прощала врагам и неблагодарным,— увы, мои могущественные недруги сумели настроить против меня тех, кому я оказывала важные услуги. И все же это не помешало мне в течение сорока двух лет делать добро, какое было в моих силах, часто при этом стесняя себя и без того в весьма скромных денежных средствах.

По своей щедрости муж мой часто выручал Пушкина и его брата из затруднений (у них были весьма скверные денежные дела из-за того, что отец сыновьям ничего не давал, ибо в последние годы царствования Елизаветы он потерял место и был отдан под суд за лихоимство).

Еще при Петре III Панин задумал окружить своего воспитанника образованными молодыми людьми, знающими иностранную литературу. Однажды императрица заговорила об этом со мной, и я указала ей на Михаила Пушкина как на человека в высшей степени одаренного. Через несколько недель после нашего разговора Пушкин оказался замешанным в чрезвычайно скандальном деле.

Желая удружить мужу (мне самой Пушкин вовсе не нравился), я обратилась к императрице, мы вместе придумали, как выручить его из беды, и нам это удалось. Так мы с мужем оказывали благодеяния человеку, который вскоре подвел меня самым недостойным образом.

После восшествия императрицы на престол, когда мы стали жить во дворце, Пушкин как-то пришел ко мне с печальным видом обиженного человека. Я поинтересовалась, в чем дело, и он стал жаловаться на свою несчастную судьбу, которой не суждено перемениться, ибо, несмотря на мое обещание определить его к месту при великом князе, его надежда не сбылась. Вообразив, по своей наивности, что, когда утешают, это вызывает только признательность, я сказала ему, что если та случившаяся злосчастная история служит препятствием назначению его к особе великого князя, то она не помешает получить другое весьма выгодное место, где он сможет проявить свои познания и таланты.

Надо сказать, что за несколько недель до воцарения Екатерины Панин со своим учеником находился у нее, там была и я. Разговор зашел о воспитании молодого великого князя, и Панин объяснил некоторую застенчивость и нелюдимость своего воспитанника именно тем, что он мало кого видит, и посоветовал определить к нему нескольких образованных молодых людей. Среди других он назвал Михаила Пушкина (перед отъездом в Константинополь мой муж за него просил, горячо рекомендуя своему дяде). При имени Пушкина его величество промолвила:

— Охотно верю, что вся эта скверная история, о которой говорят, всего лишь клевета, но она получила огласку, и одно лишь подозрение не позволит ему находиться при моем сыне.

Я не удержалась и напомнила императрице, что предлагала Пушкина на это место задолго до распространения сплетни, и Панин вспомнил, как князь Дашков просил за товарища еще до своего отъезда, то есть четыре месяца назад. Искренне разделяя мнение императрицы, я выразила сожаление, что, хотя слух может оказаться лишь наветом, небогатый молодой человек, таланты которого могли бы принести пользу родине, станет прозябать в забвении. Ее величество и дядя со мной согласились.

Позже, разговаривая с Пушкиным (о чем я упомянула выше), я дала ему понять, что добиваться места при великом князе не следует, так как даже при расположении к нему императрицы это не сочтут приличным.

Читатель видит, сколь этот человек был обязан нам с мужем.

Что же он сделал? Выйдя от меня, не пройдя и пятидесяти шагов от порога моей квартиры и встретив Зиновьева[114], поведал ему свои печали с таким же убитым видом, добавив, что считает себя несчастнейшим из людей, ибо от меня ему стало известно суждение императрицы о той скандальной истории. Зиновьев, бывший на короткой ноге с Григорием Орловым, представил Пушкина фавориту и просил оказать тому покровительство. Орлов поинтересовался, о чем идет речь. Поручик употребил все свое красноречие, имевшее тем больший успех, что Орлов искал случай мне навредить. Временщик уверил просителя, что императрица думает об этой истории совсем иначе, и обещал в тот же вечер поговорить о нем с государыней.

Вечером, когда мы собирались отойти ко сну, камердинер мужа передал ему письмо. К нашему великому изумлению, оно оказалось от Пушкина и содержало нечто вроде оправдания. Он утверждал, что к Орлову его увлек Зиновьев и что, почти не помня своих слов, он чувствует, будто они могут навлечь на меня какие-то неприятности; благодарность за многочисленные услуги, которые мы ему оказывали, а также чувство справедливости заставляют его письменно опровергнуть сказанное у Орлова. Пушкин предлагал князю прислать утром своего слугу, которому будет передано письменное опровержение.

Я посоветовала не посылать к Пушкину за письмом, но муж полагал, что это будет черствый поступок и нельзя отказывать человеку в желании признать себя виновным и оправдаться.

На следующее утро, когда я, как обычно, зашла к императрице, она спросила, зачем я заставляю волноваться ее подданных, внушая им, будто она о них скверного мнения — ведь Пушкин в отчаянии от моих заверений, будто она плохо о нем думает.

Уязвленная таким началом разговора, я все же сдержала свою горячность и лишь сказала ее величеству, что ей известно о давних связях моего мужа с Пушкиным (чем, между прочим, мне кажется, князь вовсе не гордится) и о том, что я старалась устроить его судьбу, потому предоставляю ей самой судить о его поведении в отношении меня. Я спросила, может ли она со своим просвещенным умом и чувствительным сердцем осуждать слова, сказанные

из жалости и дружеского участия; впрочем, я ведь вовсе не утверждала, что ее величество верит в историю, слухи о которой, возможно, напрасно ходят в обществе, а только уверила Пушкина, что, если он и не получит места при великом князе, ее величество доставит ему выгодную должность, где его способности будут полезны правительству.

Я ушла от императрицы огорченная этим разговором. Муж встретил меня словами, которые не были неожиданностью:

— Ты судила о Пушкине вернее меня: этот мерзавец сказал лакею, что не может дать документа, обещанного накануне.

— Забудем, мой друг, этого человека,— сказала я.— Он даже в детстве был недостоин считаться твоим товарищем.

Благодаря покровительству Орловых Пушкин впоследствии стал во главе мануфактур-коллегии, но худо использовал это доверие и свою власть: он приказал делать за границей фальшивые банковские билеты, за что был сослан в Сибирь и пробыл там до конца жизни[115].

В сентябре ее величество отправилась в Москву на коронацию. Я ехала в ее карете, муж также был в свите.

По пути население в городах и деревнях устраивало восторженные встречи, чем императрица должна была быть довольна.

Не доезжая Москвы, ее величество остановилась в загородном доме графа Разумовского, где собралось множество народа: прибыли все должностные лица города.

Мой муж отправился повидаться с матерью и наутро возвратился. Я сказала Екатерине, что мне нужно съездить в Москву, а к вечеру я вернусь. Ссылаясь на утомительную дорогу, императрица хотела отговорить меня от поездки, но ей удалось задержать меня лишь до полудня — таково было мое нетерпение обнять моего Мишеньку, который жил у бабушки. После обеда государыня позвала меня с мужем в комнату, где никого не было, и здесь, попытавшись еще раз понудить меня отказаться от мысли поехать в Москву, осторожно подготовила к сообщению, что мой сын, мой Мишенька, умер.

Известие это меня глубоко поразило, но не изменило решения повидаться со свекровью, которая также скорбела о потери дитяти, со дня рождения бывшего на ее попечении.

Больше в Петровское я не вернулась, императрица же в имении Разумовского оставалась до своего торжественного въезда в Москву. Таким образом, мне удалось уклониться и от участия в этой церемонии, и от переезда в апартаменты, приготовленные для меня во дворце.

Ее величество прибыла в Москву за несколько дней до коронации. Мы с ней виделись ежедневно.

Орловы, думая меня унизить, убедили церемониймейстера, что орден св. Екатерины, который я имела, не дает права на особое место во время коронации. Действительно, он не предоставлял никакого почетного первенства, но уже пятьдесят лет считался высшим отличием.

Чтобы привлечь дворянство к службе, особенно военной, Петр I установил немецкий этикет, по которому в торжественные дни и на церемониях приглашенные размещались согласно чинам: жены — по чинам мужей, девицы — по чинам отцов, и потому утром на церемонии коронации мне следовало занять место жены полковника.

Все в мире относительно; поскольку в собор допускались лица в звании не ниже полковника, места для их жен оказались последними, или, лучше сказать, самыми высокими скамейками, вроде подмостков, специально сооруженных для зрителей.

Мои друзья решили, что мне нанесено оскорбление. Одни даже заводили со мною утешительные разговоры, другие советовали вовсе не ходить.

— Нет, пойду,— отвечала я, смеясь.— Мне хочется посмотреть коронование, которое никогда не видела и не хотела бы более никогда увидеть; что до места, на котором мне придется стоять, это совершенно безразлично; я так горда, что полагаю: занятое мною, оно станет равным первому и сделается самым почетным. Не меня ведь будут порицать за это, и не мне, стало быть, придется краснеть. Но я настолько человеколюбива, что не желаю, чтобы из-за меня осуждали других.

22 сентября в день коронации я с утра пошла к императрице, только гораздо раньше обычного. Когда она выходила из своих внутренних апартаментов, мне пришлось идти сразу за ней (великий князь был нездоров, а из императорской семьи никого не было). Прибыв в собор[116], я, весело улыбаясь, заняла свое скромное место[117], в котором не видела другого неудобства, кроме того, что мне были незнакомы дамы, занявшие места рядом со мной.

Я говорила себе: если бы давали оперу, которую мне хотелось увидеть, и не было бы других мест, кроме как в райке, то, страстно любя музыку, я бы скорее согласилась смотреть оттуда, нежели вообще пропустить спектакль. Тут было почти то же самое.

Те, кто согласны со мной, что унижают нас только наши собственные поступки, не удивятся подобным мыслям.

Выйдя из собора, ее величество села на трон под балдахином; среди первых назначений я была пожалована статс-дамой*. Было много повышений. Мой муж был произведен в камер-юнкеры в чине бригадира, за ним был также оставлен его кирасирский полк.

В течение нескольких недель шли непрерывные торжества. Вся Москва была довольна; до конца зимы время в развлечениях и всеобщем веселье пролетело быстро.

В это время граф Бестужев, о котором я уже упоминала, и еще несколько человек написали прошение императрице, в котором, ссылаясь на слабое здоровье великого князя, покорно и настоятельно просили ее величество выбрать себе мужа. Прошение подписали несколько сенаторов, но, когда с этим сочинением Бестужев пришел к великому канцлеру, моему дяде, безумная и опасная идея была

* Это высший чин при петербургском дворе, и потому статс-дама занимает место сразу за императорской фамилией.

отвергнута. Прервав чтение, дядя попросил не нарушать его покой, необходимый ему вследствие болезни, и не волновать его такими немыслимыми и бессвязными проектами, грозящими спокойствию страны, заявил, что вообще не желает слушать об этой странной выдумке, и, повернувшись спиной, вышел из комнаты.

Бестужев решил, что твердость поведения дяди вызвана поддержкой могущественной партии. На самом деле, из-за болезни дядя никого не принимал, ни с кем не говорил и не виделся; между тем почти весь город называл Бестужева орудием честолюбия Григория Орлова[118].

Как только Бестужев ушел, дядя, хотя и был болен, велел заложить карету и отправился просить аудиенцию у императрицы, которая его сразу же приняла. Канцлер пересказал странное предложение графа Бестужева, представил ее величеству, какие бы возникли трудности, если бы у нее появился муж-властелин, и высказал убеждение, что маловероятно, чтобы народ захотел видеть Орлова ее супругом. Императрица уверила его, что никогда не возлагала на старого интригана подобного поручения, добавила, что тронута дядиным чистосердечием и преданностью, рассматривает его приход как выражение дружеских чувств, и обещала на всю жизнь сохранить к нему благодарность. Это были ее собственные слова. Дядя ответил, что лишь выполнял свой долг, а уж императрица сама рассудит, какое нежелательное впечатление могут произвести разговоры по этому поводу.

Поведение канцлера завоевало ему всеобщее уважение[119].

Тем временем заболела младшая сестра моего мужа княжна Анастасия. Она погибла из-за невежества врача, но ее необычайно крепкий организм боролся со смертью больше месяца, который она прожила в сердечной тоске, страданиях и муках; я не отходила от нее ни днем, ни ночью, потому что только мне удавалось поддержать ее душевные силы; поскольку я была беременна и до того сама болела, то просила мужа не принимать ни моих, ни своих визитеров. Мы не принимали никого, кроме самых близких родственников, и потому не знали о том, что по Москве носится множество слухов.

Князь очень жалел и свою безутешную мать, и умирающую сестру, которую нежно любил.

Анастасия умерла в апреле. Свекровь на некоторое время уехала из дома и стала жить у своего брата, генерала Леонтьева. Я же, опечаленная смертью молодой, очень симпатичной золовки, изнуренная беременностью, бессонными ночами, проведенными подле нее, и скорбными хлопотами с похоронами, вскоре слегла в постель.

Болезнь и смерть золовки избавили меня от визитов Хитрово, который приходил несколько раз, желая посоветоваться, что следует предпринять, дабы помешать браку императрицы с Григорием Орловым, считавшемуся уже делом решенным. Германский император пожаловал Орлову титул князя империи.

Хитрово был одним из самых бескорыстных заговорщиков; его честность, красивая внешность, учтивые и благородные манеры, видимо, и вызвали ревность Орловых.

В заговоре против Петра III участвовал один из кузенов Хитрово — Ржевский. Он сообщил Алексею Орлову о замысле своего кузена: все, кто подготавливал возведение на престол Екатерины, должны были объединиться и просить ее не принимать проекта Бестужева; если же императрица признает за благо выйти замуж, то их долг пожертвовать собой и покончить с Григорием Орловым.

Хитрово был арестован[120] и допрошен Алексеем Орловым, который, как говорили, грубо с ним обошелся. Хитрово ничего не отрицал и даже с гордостью заявил, что первый бы вонзил шпагу в грудь Григория и готов скорее сам пойти на смерть, чем жить с унизительной мыслью, что революция послужила лишь опасному для родины возвышению Григория Орлова.

При формальном допросе, которому его подверг Суворов[121] (отец знаменитого фельдмаршала), ему был задан вопрос, не сообщал ли он мне о своих замыслах и не знает ли, что я думаю об этом деле.

Хитрово ответил:

— Трижды я заходил к княгине, чтобы просить совета и даже приказаний, но меня ни разу не приняли. Потом стало известно, что она вообще никого не принимала; но, если бы мне выпала честь с ней увидеться и осведомить о своих мыслях на этот счет, уверен, я услыхал бы от нее ответ, продиктованный патриотизмом и душевным благородством.

Не знаю, чему приписать поступок Суворова, только на следующий день, встретив во дворце князя Дашкова, он сказал, что в благодарность за услуги, оказанные ему покойным отцом князя, сообщит под секретом содержание допроса Хитрово.

12 мая старого стиля я родила сына, а 13-го муж заболел жабой, которая случалась у него почти каждый год. Через три дня первый секретарь ее величества Теплов привез князю, лежавшему в жестокой лихорадке, письмо от императрицы. Либо он имел приказ вручить письмо без свидетелей, либо потому, что не хотел встречаться у нас с Паниным, но Теплов передал, чтобы князь вышел из дома, уверяя, что у него имеются основания причинить это небольшое беспокойство.

Муж, находившийся в комнате, смежной с моей, тихо оделся и вышел к Теплову на улицу. В письме, которое вызвало сильное раздражение князя, императрица выражала надежду, что ее не принудят выбросить из памяти все, чем она мне обязана, и затем просила князя внушить своей жене, чтобы она не забывалась: ее величеству стало известно, что княгиня Дашкова осмелилась ей угрожать.

Ничего не зная о послании императрицы, я вечером обратила внимание на то, что кто-то разговаривает приглушенными голосами, как бы опасаясь быть услышанными. Моя золовка Александрина вышла из комнаты брата, и я спросила у нее, кто приехал к князю. Она отрицала присутствие кого бы то ни было. Это меня встревожило. Решив, что муж очень болен, я хотела вскочить с постели и идти к нему. Княжна клятвенно уверяла, что сегодня князю лучше, и, дабы меня остановить, призналась: с братом о чем-то разговари-

вают Панины. Я попросила передать дядьям о своем желании с ними увидеться.

Панины вскоре пришли и рассказали о записке, принесенной Тепловым. Больше, нежели несправедливость императрицы, меня рассердило то, что Теплов заставил встать с кровати и выйти на улицу больного человека; самому же письму я не удивилась: имея врагами Орловых, можно было ожидать что-нибудь в этом роде. Мне хотелось прочесть послание, но генерал Панин сказал:

— Князь сделал, что, по-моему, следовало: отвечал достойно и твердо, а письмо разорвал.

Сказать по правде, история эта взволновала меня меньше, чем могла взволновать. Я попросила Панина-воспитателя узнать у ее величества, прикажет ли она принести моего сына во дворец, поскольку сама предложила быть крестной матерью новорожденного.

— Уверена, она не посмеет отказать,— сказала я.

Граф пообещал поговорить на другой же день и сразу передать ответ.

Когда Панины ушли, муж встал и, пока ему перестилали постель, пришел ко мне; не верилось, что ему лучше: так он был бледен. Я не позволила мужу задержаться подольше и упросила выпить бульона. Вид его меня очень опечалил, и мне не удалось заснуть в обычное время.

Едва я задремала, меня разбудили пьяные песни, или, лучше сказать, крики.

Орловы, имевшие собственный дом (во дворце жил только Григорий Орлов), любили вызывать к себе ткачей, которые развлекали хозяев танцами и песнями. Затем ткачей поили и выпроваживали. Теперь рабочие возвращались домой; к несчастью, окна моей спальни выходили на улицу. Внезапно пробудившись, я сразу почувствовала слабость, какое-то беспокойство и тут же заметила, что у меня отнялась рука и нога. Послав старушку, всегда спавшую возле меня, за полковым хирургом, который жил у нас в доме, я приказала ввести его не через комнату мужа, а в другую дверь.

Увидев мое состояние, хирург растерялся, хотел вызвать моего врача и разбудить князя. Я не позволила ни того, ни другого. В 6 часов утра мне стало хуже, и, думая, что нахожусь при смерти, я велела разбудить мужа.

Мой доктор, бывший также придворным врачом, проживал во дворце, далеко от нас, и смог приехать только после девяти. Он меня спас.

Выздоровление шло медленно.

В назначенный день графиня Панина повезла моего сына во дворец. Государыня и великий князь были восприемниками младенца, однако императрица не справилась о моем здоровье.

Вскоре двор отъехал в Петербург. Я осталась в Москве и, хотя ежедневно принимала ванны, все еще была слаба.

В июле муж уехал в Петербург, затем в Дерпт, где стоял его полк. Тогда я поселилась в нашем имении, всего в семи верстах

от Москвы[122]. Девица Каменская с сестрой приехали разделить мое уединение.

Целебный деревенский воздух, холодные ванны и размеренный образ жизни благотворно повлияли на мое здоровье. В декабре, не совсем еще окрепшая, я уехала в Петербург. Муж нанял просторный и заново отделанный дом Одара[123].

По смерти короля Августа[124] польский престол оказался свободным; открылось широкое поле деятельности для политических интриг. Саксонская династия хотела сохранить польскую корону за собой[125]. Прусский король был против. Та часть польских магнатов, чьи должности зависели от щедрости саксонских курфюрстов, склонилась в их пользу. Другие, настроенные более патриотично, видели в этом нарушение принципов польской конституции и опасались, что, в случае избрания короля из саксонского дома, польский престол может стать наследственным в этой династии; они хотели выбрать кого-нибудь из пястов[126].

Венский двор, озабоченный завоеванием дружбы и доверия петербургского двора, без колебаний высказался за пяста, возможно, имея в виду одного из Чарторыйских[127].

Екатерина II, еще не объявляя о своем желании возвести на польский трон Понятовского[128], высказалась за выборы одного из пястов с соблюдением конституции. Когда же на Совете она огласила имя Понятовского, князь Орлов заявил, что имеются очень веские основания против его избрания. Военный министр Захар Чернышев и его брат Иван[129], видя, какую власть над императрицей имеет Орлов, встали (правда, не совсем открыто) на сторону фаворита. В Польшу были отправлены войска и сделано все возможное, чтобы, не проявляя явного неповиновения, воспрепятствовать осуществлению замысла императрицы[130].

Приближалось время сбора сейма. Екатерина II решила послать части под командованием человека, который с усердием к службе соединяет независимость от авторитета Орлова. Ее выбор пал на моего мужа. Она переговорила с ним совершенно секретно, и он уехал из Петербурга прежде, чем стало известно о его назначении.

Князю Дашкову польстило доверие императрицы. Он тотчас приступил к делу и сумел одолеть все препятствия, которые ему создавали. Главнокомандующий войсками, отправленными в Польшу для поддержки конституционных прав, князь Волконский получил приказ остановиться в Смоленске. Под командой мужа была необходимая для похода военная сила. Данные ему полномочия устраняли все трудности, возникшие из-за того, что у него, младшего по чину, под началом оказались генералы и бригадиры. До прибытия в Варшаву князь не должен был ни перед кем отчитываться, кроме императрицы и министра графа Панина, своего дяди.

Отъезд мужа и болезнь дочери настолько меня расстроили, что я посчитала необходимым переменить обстановку. Не желая удаляться от Петербурга, дабы иметь возможность без промедления получать известия от мужа, я попросила разрешение у своего кузена князя Куракина[131] поселиться в его гатчинском имении, которое

ныне превратилось в такую великолепную, красивую царскую резиденцию. В то время до нее от Петербурга было 60 верст: туда еще не было сократившей путь дороги, проведенной, когда после смерти Куракина императрица купила Гатчину.

До самого возвращения императрицы из Риги я жила там с детьми и девицею Каменской в полном уединении. Иногда выезжала верхом на прогулку по окрестностям.

За несколько месяцев до этого генерал Панин был назначен сенатором и членом Совета. У него не было своего дома, а мой был очень просторным. Я предложила дядюшке его занять, и, не собираясь устраивать приемы, дабы не тратиться в отсутствие мужа, сама с детьми переселилась во флигель, где даже имелась совершенно необходимая нам баня. Входы и выходы у нас с дядей были в противоположных концах дома.

Генерал Панин жил в моем доме до отъезда императрицы в Ригу, куда он ее сопровождал.

Как сенатор генерал Панин почти ежедневно принимал большое число посетителей и челобитчиков на судей, но, поскольку прием происходил в ранние часы, я не видела его посетителей и не знала, кто они такие.

В числе визитеров был Мирович, знаменитый своим преступным и нелепым замыслом вернуть престол заключенному в Шлиссельбургской крепости Иоанну[132]; это прибавило мне огорчений, вызвав несправедливые подозрения, к которым я вовсе не подавала повода. Однако о моих принципах судили неверно, а тревоги и неприятности — неизбежные спутники высокого положения при дворе. Я слишком много делала для императрицы наперекор собственной выгоде, чтобы не быть мишенью для злобы и клеветы.

Двор возвратился в Петербург, я приехала несколькими днями позже. Мой дядя генерал Панин уже жил в своем доме, к нему из Москвы переехала жена. Эта почтенная женщина, в лице которой я имела искреннего друга, кроме всех качеств, присущих слабому полу, отличалась необыкновенной добротой и приветливостью. У нее были больные легкие, и со времени нашего отъезда из Москвы болезнь сильно развилась. Генерал часто отлучался из дома, ибо обязан был почти постоянно находиться при дворе; я много времени проводила у его жены, которую от души любила.

Как-то раз дядя рассказал мне, что первым известием о смерти Иоанна, полученным ее величеством в Риге, было письмо от Алексея Орлова[133], которое ее чрезвычайно встревожило и которое императрица передала своему первому секретарю Елагину[134]. В письме имелась приписка, что Мировича видели несколько раз выходящим из моего дома рано утром. Елагин стал уверять ее величество, что это не что иное, как ошибка: невероятно, говорил он, чтобы княгиня Дашкова, которая ни с кем не виделась и никого не принимала, допустила бы к себе незнакомого и, видимо, не совсем нормального человека. Елагин не ограничился честным и справедливым душевным порывом, с которым он убеждал императрицу, а, выйдя от нее, все рассказал генералу Панину.

Панин просил Елагина передать государыне, что Мировича действительно могли видеть выходящим из дома княгини, но офицер приходил к нему из-за дела в Сенате; к тому же Мирович в Семилетнюю войну служил адъютантом в полку, которым командовал Панин. Генерал сказал Елагину, что, если императрица пожелает, он лучше, чем кто-либо, может дать сведения о Мировиче.

Елагин пошел к ее величеству и объявил, что она может удовлетворить свое любопытство насчет Мировича, поскольку генерал Панин его знал.

Императрица послала за генералом, тот рассказал все; и если, с одной стороны, он избавил ее от малейшего подозрения насчет связи между мной и этим несчастным[135], то, с другой, думаю, Панин не доставил ей ни малейшего удовольствия, описав Мировича как человека, полностью схожего с Григорием Орловым: таким же предприимчивым и самонадеянным невеждой. Своим скудным умом Мирович не мог понять ни обширности, ни сложности того замысла, который, по его мнению, было легко привести в исполнение.

Все случившееся меня очень огорчило, ибо стало ясно: мой дом, или дом Панина, был осажден шпионами Орловых, и было жаль императрицу, доведенную до того, что она стала подозревать даже людей, горячо любящих родину.

После того как казнили Мировича (со дня моего появления на свет это был первый человек, которого покарали смертью), я только была довольна, что никогда его не видела, иначе под впечатлением казни мне во сне могло бы представляться его лицо.

Эта несчастная история не имела, правда, никаких последствий; публичный суд над Мировичем (допрос и весь процесс происходили не только при полном составе Сената, но в присутствии президентов, вице-президентов всех коллегий и даже генералов петербургского гарнизона) ни у кого в России не оставил ни малейшего сомнения в истинном существе дела: все ясно увидели, что кажущаяся легкость свержения Петра III вселила в помутившийся мозг Мировича мысль, что он сможет совершить то же в пользу Иоанна.

За границей думали, или притворялись, что думают так, будто тут была жестокая интрига императрицы, которая обещаниями склонила Мировича к действию, а затем предала его[136].

Во время своего первого вояжа за границу в 1770 году мне с большим трудом удалось снять с императрицы подозрение в подобной двойной измене. Все иностранные кабинеты, особенно в Париже, завидуя возвышению России при просвещенной и деятельной государыне, выискивали любой повод, который дал бы им возможность ее оклеветать. Еще до приезда в Спа я говорила господину и госпоже Неккер[137], а затем то же повторяла в Париже, что именно французам, имевшим министром кардинала Мазарини, совсем не следовало бы полагать, будто у монархов и министров нет другого средства избавиться от неугодных лиц; очевидно, всем известно, что некоторое количество какого-либо питья кончает дело и быстрее, и без огласки[138].

Единственным иностранцем, с которым я виделась, был польский посланник граф Ржевуский, потому что только он мог сообщить известия о моем муже. Граф уверял меня, что благодаря деятельному характеру князя план императрицы, несомненно, осуществится и что войска Дашкова дисциплиной и порядком снискали себе общую любовь; говорил посланник также о том, сколь граф Понятовский обязан моему мужу и что императрица с похвалой отзывалась о князе Дашкове, называя его *своим маленьким фельдмаршалом*. Однако богу было неугодно, чтобы он воспользовался плодами своих трудов и благородного бескорыстия.

В сентябре вслед за посланцем, прибывшим с сообщением о выборе королем Понятовского, курьер от русского посла в Варшаве графа Кейзерлинга[139] и от князя Репнина привез известие о том, что князь Дашков, не заботясь об отдыхе, совершая усиленные переходы, несмотря на лихорадку, занемог и пал жертвой усердия, с которым исполнял волю императрицы.

Однажды утром ко мне заехала моя тетушка графиня Панина, бледная, удрученная, и предложила прокатиться в карете, а затем пообедать у нее. Мне показалось, она нездорова, и я совсем не помышляла о том, что сама заслуживаю жалости. Приехав к Паниным, я увидела обоих дядей; их растерянный и подавленный вид стал внушать мне неясные опасения. После обеда, несмотря на все тонкие приготовления, придуманные братьями для сообщения мне о страшном несчастье, я догадалась о смерти мужа.

Состояние мое поистине было достойно сожаления. Левая рука и нога, которые однажды уже были парализованы, не двигались и висели, как плети. Меня уложили в постель, привели детей. Две недели я находилась между жизнью и смертью.

Добрая тетушка, несмотря на недомогание, и девица Каменская ухаживали за мной день и ночь. Мой врач, добрый господин Крузе[140], своими заботами и искусством спас мне жизнь.

Детей с их прислугой и всем необходимым перевезли в дом Паниных. Меня поместили в тетушкиных покоях (я этого не знала, так как была без сознания), себе она оставила только небольшой кабинет.

Через некоторое время ей стало совсем плохо, она почти не вставала. По моей просьбе меня ежедневно относили повидаться с ней. Через две недели я имела несчастье потерять этого нежного друга.

На другой день после смерти тетушки меня отнесли в карету и отвезли домой.

Довольно долго я пребывала в неведении относительно расстроенного финансового положения, в котором покойный муж оставил меня и детей. Чтобы армия не притесняла население поборами он щедро ссужал деньгами бедных офицеров, служивших под его командой, из-за этого ему приходилось брать взаймы. В конце концов мне назвали сумму долгов, какую следовало уплатить.

Покинутая своей семьей*[141], я ни от кого, кроме дядей, графов Паниных, не имела помощи. Умирая, муж собственноручно написал графу (воспитателю наследника) письмо, в котором просил его позаботиться о приведении в мало-мальский порядок его дел, в расстройстве которых он себя винил, заклинал не оставлять меня и детей, постараться заплатить кредиторам, не лишая нас некоторой материальной независимости, и назначал его опекуном над детьми и имениями.

К совместному опекунству граф пригласил своего брата-генерала. Они показали мне письмо мужа и убедили в совершенной необходимости принять участие в опеке, поскольку сами по службе обязаны жить в Петербурге, а у меня есть возможность ездить в Москву и в имения, за всем присматривать, чего они, при всем желании, делать не смогут.

Старший Панин, подумав, что ее величество, узнав о стесненном положении, в котором я осталась с детьми, поспешит мне помочь, испросил у нее указ, разрешающий опекунам продать имения для уплаты долгов князя Дашкова. Меня это крайне раздосадовало, и, когда принесли указ, я заявила, что никогда не воспользуюсь этой милостью и лучше буду есть сухой хлеб, но не продам ни одно из родовых поместий моих детей.

Едва я ненадолго стала подниматься с постели, как у сына в горле образовался нарыв. Операция была болезненная и очень опасная, но благодаря заботам доктора Крузе и искусству хирурга Кельхена[143] жизнь сына была спасена. Его болезнь отсрочила мое выздоровление, поэтому нам удалось покинуть Петербург только в начале марта 1765 года, тогда уже началась оттепель и переправы через реки стали небезопасны.

Перед отъездом я отдала трем основным кредиторам мужа часть своих драгоценностей и почти все столовое серебро, оставив себе лишь вилки и ложки на четыре куверта. Я уезжала в Москву с твердым намерением оплатить долги князя, не прибегая к помощи казны и не продавая имений.

Приехав в Москву, я решила поселиться в деревне, но оказалось, что там негде жить. Из развалившегося строения я велела выбрать самые крепкие балки и из них соорудить маленький дом; весной следующего года я в нем поселилась на восемь месяцев. На себя с детьми я положила всего 500 рублей в год.

Благодаря бережливости, продаже драгоценностей и столового серебра все долги мужа, к моему великому удовольствию, оказались уплаченными в течение пяти лет.

Если бы до моего замужества мне сказали, что, воспитанная в роскоши и расточительстве, в свои 20 лет я буду отказывать себе во всем, кроме самой простой одежды, я бы не поверила. Но подобно тому как мне приходилось быть гувернанткой и сиделкой

---

* Моего брата, графа Александра, который никогда не изменял нашей дружбе[142], в это время не было в России: он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Голландии.

моих детей, я хотела стать хорошей управительницей их имений, а потому никакие лишения не были в тягость.

Случилась еще одна неприятность, принесшая мне огорчение. Свекровь, решив, что она может распоряжаться нашим московским домом, приобретенным ее покойным мужем, по своему усмотрению (пользуясь ошибкой в купчей на домовладение), отдала его своей внучке Глебовой[144], и я оказалась в Москве без пристанища. Я не выразила никакого неудовольствия, только решила при свекрови не произносить слово «дом», так тонко отомстив ей за ущерб, причиненный моим детям.

На той же улице я купила участок со старым каменным зданием, которое грозило рухнуть. На краю усадьбы я велела построить деревянный дом, где могла бы жить до поры, пока не буду в состоянии возвести каменный.

(Три года спустя свекрови из-за небольших переделок в ее покоях пришлось на время покинуть монастырь, куда она удалилась по смерти сына. Когда зять Глебов не пустил ее жить к себе, она поселилась в доме, прилегающем к моему, который я очень выгодно купила в предыдущем году.)

У детей оказался рахит; надеясь, что перемена климата и путешествия будут благоприятны для их здоровья, я в 1768 году стала домогаться разрешения поехать за границу. Напрасно, мои письма остались без ответа.

Тогда я отправилась в Киев, проделав в оба конца около двух тысяч верст, часто сворачивая в сторону, чтобы осмотреть разные города и необычайно меня интересовавшие поселения немецких колонистов[145], основанные императрицей.

Пребывание в Киеве оказалось для меня очень приятным. Киевский губернатор генерал Воейков[146], родственник моего мужа, был человек весьма образованный; в молодости он служил в Коллегии иностранных дел, на него возлагались различные трудные переговоры с иностранными дворами, он много путешествовал, повидал немало людей. До почтенного возраста он сохранил живой характер, что делало его общество милым и привлекательным, тем более что разговоры его были поучительны. Мы проводили с ним целые дни, он даже сопровождал меня в утомительной, но любопытной поездке в пещеры.

В горе, на которой построена часть города, было вырублено множество гротов или ниш. В некоторых из них можно видеть хорошо сохранившиеся останки живших там святых отшельников. Собор Печерского монастыря[147] замечателен старой мозаикой, покрывающей стены. Одна из церквей расписана фресками, изображающими все церковные соборы, происходившие до отделения восточной церкви[148]. Фрески необычайно красивы и, должно быть, созданы великим художником.

В Киеве с давних пор существовали Академия и университет[149], где бесплатно обучалось несколько сотен студентов. До сегодняшнего дня там сохранился обычай петь духовные песни и славословия

под окнами обывателей; слушатели щедро одаривают студентов, а те полученные деньги отдают своим наставникам.

Науки из Греции перешли в Киев гораздо раньше, чем появились у некоторых европейских народов, которые так охотно награждают русских именем варваров. Киевские школяры изучали философию Ньютона, в то время как во Франции она была запрещена католическим духовенством.

Древности многих киевских монастырей и церквей вполне заслуживают осмотра.

Вся поездка заняла у меня около трех месяцев, и я с удовольствием увидела, что она оказалась полезной для здоровья детей и к тому же не была разорительной, поскольку всю дорогу мы ехали на собственных лошадях.

На другой год я отправилась в Петербург, твердо решив добиться разрешения на заграничный вояж. Как у каждой дворянки, у меня было право ехать, не спрашивая позволения, но статс-дамам следовало получить согласие императрицы. Разговор об этом я отложила до годовщины восшествия на престол, которую праздновали в Петергофе.

Между тем всем подряд я говорила, что хочу съездить за границу, а когда кто-нибудь интересовался, есть ли у меня на то разрешение, отвечала, что я его еще не испрашивала, но, думаю, императрица не откажет, ибо я не совершила ничего, что лишало бы меня права всех дворян странствовать по свету.

На балу в день празднества я как бы невзначай подошла к дипломатам и перебросилась с ними парой слов. Наконец, императрица приблизилась к нам, поговорила с посланниками и обратилась ко мне. Ответив на ее вопрос, я, боясь упустить удобный случай, одним духом попросила ее величество о разрешении уехать на два года за границу для поправки здоровья детей. Она не унизилась до отказа и сказала:

— Мне жаль, княгиня, что путешествовать вас заставляет такая причина. Но, безусловно, вы вольны ехать, когда пожелаете.

Едва императрица отошла, я попросила камергера Талызина* передать моему дяде министру графу Панину, что мною только что получено разрешение императрицы на поездку за границу и чтобы он распорядился приготовить мне паспорт.

План мой удался. Вскоре я уехала из Петербурга в Москву и Троицкое, чтобы уладить свои дела и выехать по санному пути.

Когда Панин и лица, принимавшие во мне участие, спрашивали, достанет ли у меня средств на путешествие, я отвечала, что буду разъезжать под чужим именем и тратиться только на лошадей и стол.

В декабре я возвратилась из Москвы в Петербург и поспешно уехала в Ригу.

---

* У его жены была любовная связь с моим дядей. Это не мешало моим врагам называть меня то дочерью, то любовницей Панина.

За несколько дней до отъезда помощник секретаря Кабинета вместе с письменным распоряжением ее величества принес мне 4 тысячи рублей. Сумма была смехотворной[150], но, не желая вызвать недовольство императрицы отказом принять деньги, я, показав посланцу счета от шорника и ювелира, который сделал мне несколько дорожных серебряных кастрюль, сказала:

— Видите эти счета, они еще не оплачены. Прошу, положите на стол, сколько следует на их погашение, а остальное возьмите себе.

Наконец мы уехали. Главная цель моего путешествия за границу состояла в том, чтобы ознакомиться с различными городами и выбрать наиболее подходящий для получения образования моим детям. Я великолепно сознавала, что у нас нечасто можно встретить людей, способных хорошо учить детей, к тому же лесть слуг и баловство родственников помешали бы такому воспитанию, к которому я стремилась.

До Риги ехали на почтовых, пробыли в этом городе несколько дней, и я взяла лошадей до Берлина. В Кенигсберге мы встретились с графиней Кейзерлинг[151], которая уговорила меня задержаться на неделю. Тут полозья пришлось оставить, ибо по глубоким пескам Пруссии даже колеса катились с трудом.

В Данциге я поселилась в лучшей гостинице «Россия», где всегда останавливались все знатные русские путешественники. Я почувствовала себя оскорбленной, увидев в гостиной две картины, изображающие битвы, проигранные русскими войсками: на них были представлены наголову разбитые, умирающие русские и раненые, униженно стоящие на коленях перед победоносными пруссаками.

Я спросила нашего поверенного в делах Ребиндера[152], как он такое терпит. Он объяснил это своим нежеланием вмешиваться, добавив, что граф Алексей Орлов, проезжавший через Данциг и останавливавшийся в этой гостинице, очень рассердился, увидев картины.

— И он их не купил и не бросил в огонь? — воскликнула я.— По сравнению с ним я очень бедна и не в состоянии делать подобные покупки: ведь на путешествие, совершаемое мною ради здоровья детей, ни моих, ни их доходов недостаточно, и я оставила доверенность на продажу дома в Петербурге; и все же я знаю, что нужно предпринять!

Когда наш резидент уехал, я под большим секретом поручила секретарю нашей миссии Волчкову и советнику Штелину[153] (моему попутчику до Берлина, где он служил атташе при посольстве) купить голубой, зеленой, красной и белой масляной краски. После ужина мы втроем (они оба владели кистью), хорошенько заперев комнату, чтобы нас не застигли за нашим занятием, перекрасили форму войск, и пруссаки, изображенные победителями, превратились в побежденных. За работой мы провели почти целую ночь. Не знаю, что подумали хозяин и мои слуги о том, почему я при зажженных свечах заперлась с двумя господами, но я была совершенно счастлива своей хитрой выдумкой и только опасалась, как бы нам не помешали

закончить нашу работу, как ребенок боится, что вернутся родители и застанут его за недозволенным занятием.

На следующий день я велела распаковать свои сундуки в этой комнате и под сим предлогом не впускала ни хозяина, ни слуг. Через день я покинула Данциг, но перед отъездом показала нашему резиденту чудесное превращение. Не знаю, что сказал хозяин гостиницы, увидев, что пруссаки проиграли обе битвы, которые художник заставил их выиграть, но я была чрезвычайно довольна своей дерзкой выходкой.

Со мной, кроме детей, путешествовали девица Каменская и мой кузен Воронцов[154], бывший нашим посланником в Гааге.

В Берлине я пробыла два месяца. Князь Долгоруков[155], живший там, пользовался всеобщей любовью и уважением и был того вполне достоин. Он осыпал нас любезностями и деятельно оказывал знаки дружеского внимания, что было в его характере.

Не знаю почему, но королева, принцессы, принц Генрих и его почтенная супруга осаждали князя Долгорукова просьбами, чтобы он убедил меня приехать ко двору (возможно, им действительно хотелось увидеть «медведя», как я часто себя называла, дразня друзей). Мне было известно, что по этикету берлинского двора частным лицам запрещалось представляться под вымышленными именами. Я же путешествовала под именем Михалковой — по названию небольшого имения под Москвой, принадлежавшего моим детям. У меня вовсе не было желания ездить к какому-либо двору и не хотелось нести лишние расходы. Я объявила Долгорукову, что не могу представляться под именем Михалковой, а если на время это имя отбросить, а затем взять его снова, то можно стать похожей на настоящего ловкого пройдоху. Королева и принцессы поговорили с министром иностранных дел графом Финкенштейном[156], который обратился к королю. Фридрих Великий, бывший в это время в Сан-Суси[157], ответил:

— Этикет — глупость. Княгиню Дашкову следует принять под тем именем, каким она назовется.

На следующий день на обеде у английского посланника мистера Митчела граф Финкенштейн уведомил меня о желании королевской семьи со мной познакомиться и о решении короля. Предлог для того, чтобы отклонить приглашение, был устранен. Пришлось потратиться на новое черное платье (следуя старинному обычаю, я как вдова всегда носила траур).

Королева приняла меня самым уважительным образом и просила остаться ужинать. Принцы и принцессы также старались оказать мне лестные знаки почтения и внимания. Вскоре я не могла отвечать на приглашения частных лиц и посланников, поскольку меня постоянно звали то к одному, то к другому двору.

В глазах королевы и ее сестры* самой большой моей заслугой явилось то, что их косноязычие и заикание не мешали мне понимать

* Вдовы принца и матери принцессы Оранской и принца[158], ставшего королем по смерти Фридриха, поистине великого государя, то есть наиболее достойного быть им по природным дарованиям и постоянной заботе о счастье своих подданных (никакая страсть не отвлекала его от этой главной задачи властелина).

все, о чем они говорили, и камергеру, который всегда находился возле иностранцев, чтобы разъяснять высказывания принцесс, не было необходимости делать для меня этот своеобразный перевод. Я все понимала и тут же им отвечала. Потому королева и ее сестра чувствовали себя со мной непринужденно. О Берлине, который я покинула с сожалением, и о доброте, проявленной там ко мне, я всегда вспоминаю с удовольствием и признательностью.

Мы поспешили в Ахен и Спа[159] к началу курортного сезона.

Когда мы ехали по Вестфалии, она мне не показалась такой грязной, как об этом писал автор путевых заметок барон Бар.

В Ганновере мы остановились только на время, потребное на починку экипажа. Узнав, что в этот день давали оперу, мы с мадемуазель Каменской отправились в театр. Воронцов был нездоров и остался дома. Единственным нашим сопровождающим был слуга, который не знал никакого языка, кроме русского, и потому не мог проговориться, кто мы такие. Эти меры предосторожности я предприняла из-за того, что герцог Эрнст Мекленбургский сказал, что его старший брат, курфюрст Ганноверский, желал знать, когда я приеду в Ганновер, а мне не хотелось быть узнанной.

Мы взяли оставшиеся места в ложу, где находились еще две дамы, весьма любезно потеснившиеся, чтобы дать нам побольше места. Перед вторым действием из ложи курфюрста вышел молодой офицер и, обратясь не к нашим соседкам, а к нам, спросил:

— Сударыни, вы иностранки?

— Да, сударь.

— Его высочество желал бы знать, с кем я имею честь разговаривать.

— Наши имена,— отвечала я,— слишком мало значат и для его высочества, и для вас, а как женщины мы могли бы не называть себя, даже входя в крепость. Надеюсь, вы нам позволите не представляться.

Он казался смущенным и поспешил откланяться.

Дамы посмотрели на нас с изумлением. Во время последнего антракта я по-русски попросила Каменскую не удивляться тому, что она сейчас услышит, и сказала дамам, что, отказавшись открыть адъютанту принца, кто мы такие, я не хочу скрывать это от них — ведь они выказали нам столько доброты: я — певица, моя подруга — танцовщица, и мы приехали искать выгодный ангажемент. Моя спутница, ошеломленная, широко раскрыла глаза, а учтивость и любезность обеих дам тут же исчезли, и, насколько это позволяла теснота ложи, они отодвинулись и повернулись к нам спиной.

Наше пребывание в Ганновере было слишком кратким, и мне ничего не удалось повидать. И все же я заметила, что у здешних крестьян лошади были породистыми, а земли хорошо обработаны. Этим ограничу свои заметки о Ганноверском курфюршестве.

Прибыв в Ахен, я наняла дом прямо против помещения ванн.

У нас ежедневно бывали два ирландца, служившие в Голландии,— господин Коллинз и полковник Нюжен, отец венского послан-

ника в Берлине. Веселые характеры и хорошее воспитание делали их общество очень приятным.

В Спа я подружилась с госпожой Гамильтон, дочерью туанского архиепископа, и госпожой Морган, дочерью господина Тисдейл — королевского генерал-прокурора в Ирландии, где он пользовался большим уважением. С этого времени, то есть с 1770 года, наши отношения в глазах всех, кто нас знал, являли образец неизменной дружбы.

В Спа я познакомилась также с супругами Неккер, но по-настоящему дружила только с английскими семьями. Каждый день мы встречались с лордом и леди Суссекс[160], и через три недели с помощью французского и немецкого я стала понимать по-английски все, что читала, даже Шекспира.

По утрам обе мои приятельницы-ирландки приходили читать со мной по очереди какую-нибудь английскую книгу и поправляли мое произношение; других учителей английского языка у меня не было, но вскоре я стала им владеть достаточно свободно.

Я решила хотя бы на несколько недель съездить в Англию с семейством Тисдейл, пообещав госпоже Гамильтон, что зиму проведу с ней в Экс-ан-Прованс[161], где, по предписанию докторов, должен был жить ее отец.

Мы пересекли Па-де-Кале на морском почтовом судне. Я плыла по морю впервые и ужасно страдала, моя очаровательная подруга за мной самоотверженно ухаживала.

Прибыв в Лондон, я узнала, что наш посланник Пушкин[162] уже приготовил для меня дом по соседству с собой. Его супруга (то была его первая жена) оказалась чрезвычайно милой и почтенной дамой, мы с ней подружились. Все время, пока семья Тисдейл находилась в Лондоне, я встречалась с моими друзьями — госпожами Морган и Пушкиной. После отъезда госпожи Морган с отцом в Дублин я совершила поездку в Бат, Бристоль и Оксфорд[163], осмотрев по пути все окрестности*.

Возвратившись в Лондон, я пробыла там не более десяти дней. Я не поехала ко двору, а употребила время на осмотр достопримечательностей столицы. Меня познакомили с герцогом и герцогиней Нотумберленд.

Наше плаванье из Дувра в Кале было не слишком удачным: пришлось бороться с ужасным ветром, который был бы попутным лишь для кораблей, плывущих в Индию. Нам угрожала серьезная опасность: волны почти заливали каюту, пришлось ее наглухо закрыть; только через 26 часов мы высадились в Кале[164].

* Поездка заняла всего тринадцать дней. Сына я оставила в Лондоне на попечение нашего посла. Графиня Пушкина была совершенно достойна доверия. Каждые два дня от нее приходили известия с приложением записок от сыночка, в которых он хвастался тем или иным подарком. Чтобы утешить его в мое отсутствие — ведь мы разлучались впервые,— графиня возила его на скачки и с визитом к герцогине Куинсбери. В своем последнем письмеце сын подробно и очень мило для семилетнего ребенка описал этот маленький вояж.

Сделав краткие остановки в Брюсселе и Антверпене, я приехала в Париж, где поселилась очень скромно. Кузен, не заезжая в Париж, поехал в Экс-ан-Прованс, чтобы приготовить для меня квартиру.

В Париже я пробыла всего семнадцать дней. Я посещала монастыри, церкви, где можно было посмотреть статуи, картины и памятники, заходила в мастерские самых знаменитых художников, побывала на спектаклях, где сидела в райке с последним разрядом зрителей. Простое черное платье, такая же косынка на шее, скромная прическа горожанки скрывали меня от любопытных глаз.

Мне никого не хотелось видеть, кроме Дидро. Однажды, когда мы с ним были вдвоем, доложили о приезде госпожи Неккер и госпожи Жоффрен[165]. Дидро с живостью приказал слуге сказать этим дамам, что я не принимаю.

— Но я знакома с мадам Неккер еще по Спа,— возразила я.— А другая — в переписке с русской императрицей[166], потому знакомство с ней не может мне повредить.

— Позвольте заметить, что в Париже вы пробудете еще дней восемь или девять, следовательно, повидаться с ними вы сможете всего два-три раза; они вас сразу не поймут, а мне придется страдать оттого, что поносят мой кумир. Если бы вы прожили здесь еще месяца два, я бы первый познакомил вас с мадам Жоффрен, это добрейшая женщина, но она — одна из парижских кумушек, и мне не хочется, чтобы ваше знакомство состоялось на скорую руку.

Я велела сказать прибывшим дамам, что не могу их принять; к тому же у меня, действительно, был приступ лихорадки.

На следующий день я получила от госпожи Неккер записку, в которой она писала: госпожа Жоффрен не допускает мысли, что, живя в одном городе, нам не удастся познакомиться, и она так высоко меня ценит, что будет в отчаянии, если встреча не произойдет. Я ответила госпоже Неккер, что, желая сохранить их доброе о себе суждение, столь же лестное, сколь и незаслуженное, я не могу с ними встретиться в том болезненном состоянии, в каком сейчас нахожусь, ибо не сумею оправдать их представление о себе, и потому вынуждена отказаться от удовольствия с ними увидеться и прошу принять мои извинения. В этот день я осталась дома.

Обычно моя утренняя прогулка начиналась в 8 часов и длилась до 3-х часов пополудни, заканчиваясь остановкой возле дома Дидро. Он садился в мою карету, ехал ко мне обедать, и часто наши разговоры с ним продолжались до двух-трех часов ночи[167].

Однажды он заговорил со мной о рабстве, в котором, по его мнению, находятся наши крестьяне.

Я ответила ему:

— Поскольку душа у меня не деспотична, я заслуживаю ваше доверие. В моем орловском имении мною установлено такое управление, которое, думаю, может сделать крестьян более свободными и счастливыми и в то же время оградить их от притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличивает и наши доходы; помещик должен быть совершенно безмозглым, чтобы самому иссушать источник собственного богатства. Дворянство —

так считают и крестьяне — служит посредником между ними и государством, потому в интересах самих помещиков защищать крестьян от лихоимства губернаторов и их чиновников.

— Однако, княгиня, вы не можете не признать, что, будучи свободными, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче.

— Если бы государь,— отвечала я,— разбивая несколько звеньев цепи, привязывающей крестьян к дворянам, разбил бы одновременно несколько звеньев, которыми прикованы дворяне к воле самодержавных государей, я бы с радостью своею кровью, вместо чернил, подписалась бы под этим установлением. Впрочем, извините меня, если я скажу, что следствие вы приняли за причину. Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения производит только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников станут просвещенными, тогда они будут достойны свободы, поскольку не смогут использовать ее во вред своим согражданам, не вознамерятся разрушить порядок и отказаться от повиновения, необходимого при любом правлении.

— Вы прекрасно владеете искусством доказательства, дорогая княгиня, но вы меня не убедили.

— В основании наших законов,— продолжала я,— имеется противоядие против тирании помещиков; хотя Петр I и уничтожил некоторые из законов и даже тот порядок судопроизводства, при котором крепостные могли подать в суд челобитную на своих господ, если терпели от них большие обиды, в настоящее царствование губернатор вместе с предводителем дворянства и депутатами своей губернии может избавить крестьян от бесчеловечных притеснений помещика и передать их вместе с поместьем под особую опеку, состоящую из выбранных дворян[168]. Боюсь, не сумею ясно выразить свою мысль, но я много размышляла о сем предмете, и мне представляется слепой от рождения, которого поместили на неприступную скалу, окруженную бездонной пропастью. Слепец не подозревал об опасности своего положения, не знал страха, был весел, спокойно ел и пил, наслаждался пением птиц, а порой пел и сам. Но вот приходит злополучный глазной врач и, не имея возможности вывести слепца из ужасного положения, возвращает ему зрение. Мой бедный прозревший безмерно несчастлив, он больше не поет, не ест и не спит; окружающая бездна, неведомые прежде пространства, о которых он не подозревал,— все пугает его, и он умирает в расцвете сил от страха и безнадежности.

Представив нарисованную мною картину, Дидро вскочил со стула будто подброшенный неведомой силой. Он зашагал большими шагами и, плюнув в сердцах, проговорил одним духом:

— Какая вы удивительная женщина! Вы перевернули представления, которые я вынашивал в течение двадцати лет и которыми так дорожил.

Все восхищало меня в Дидро, даже эта горячность, проистекающая от пылкости чувств и живости восприятия. Его искренность, дружелюбие, прозорливый и глубокий ум привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакивала его смерть и до последнего дыха-

ния не перестану жалеть о нем. Этот необыкновенный ум был мало оценен. Живость характера приводила иногда к ошибкам, но он был искренен и сам первый страдал от своих промахов. Но не мне воздавать достойную его хвалу, другие писатели, гораздо значительнее меня, не забудут это сделать.

В другой раз, когда Дидро вечером был у меня, доложили о Рюльере, бывшем атташе в Петербурге при французском после бароне Бретейль[169]. Довольно часто Рюльер бывал у меня в доме, но чаще я виделась с ним в Москве у Каменской. Я не знала, что, вернувшись в Париж, он написал записки о революции 1762 года в России и читал их в широких кругах общества.

Я велела слуге ввести его. Дидро мне помешал; взяв меня за руку и крепко сжав ее, он сказал:

— Одну минуту, княгиня. Возвратитесь ли вы в Россию по окончании путешествия?

— Что за вопрос! — изумилась я.— Разве у меня есть право лишать детей их родины?

— Тогда прикажите сказать Рюльеру, что в настоящее время вы его принять не можете, а я вам объясню причину.

Его лицо выражало живое участие. Мое доверие к душевной чистоте Дидро было таково, что я не впустила в дом старинного знакомого, ум и образованность которого делали его общество столь приятным.

— Известно ли вам,— спросил Дидро,— что Рюльер — автор записок о восшествии на престол императрицы?

— Нет, но поэтому у меня должно быть еще больше оснований желать с ним увидеться.

— Я вам перескажу их содержание. О вас он отзывается наилучшим образом, находя, что вы обладаете всеми лучшими чертами вашего пола и всеми талантами и добродетелями нашего. Однако об императрице он пишет вовсе не так благожелательно. Очень дурно характеризует Рюльер и польского короля, подробно описывая его связь с императрицей, тогда еще великой княгиней[170]. Через Бецкого и вашего поверенного в делах князя Голицына императрица предложила Рюльеру продать свое произведение. Но переговоры велись столь неловко, что Рюльер успел сделать со своих записок три копии. Одну из них он отдал на хранение в министерство иностранных дел, другую оставил в руках госпожи де Граммон[171] и третью передал парижскому архиепископу. После того как получить рукопись не удалось, ее величество дала мне поручение поговорить с господином Рюльером, но я смог добиться от него лишь обещания не публиковать записки при жизни Екатерины. Как вы понимаете, принимая Рюльера, вы тем самым как бы признаете сочинение, которое очень беспокоит императрицу. Записки эти широко известны, потому что читались в салоне мадам Жоффрен, где собирается лучшее общество, все иностранцы и знатные путешественники. И притом эта душевная женщина похваляется дружбой с Понятовским, которого в своих письмах она называет сыном (король в письмах к мадам Жоффрен называет себя так же)[172].

— Но как такое можно увязать? — прервала я его.

— Мы ведь все легкомысленны,— ответил Дидро,— что шестьдесят, что восемьдесят лет не меняют нас в этом отношении.

Я выразила Дидро свою признательность за доказательство дружбы, которое он только что выказал, помешав мне, хотя и безвинно, навлечь на себя неприятности.

Рюльер еще два раза заходил ко мне, но не был принят.

Когда пятнадцать месяцев спустя я вернулась в Петербург, у меня появилась еще большая возможность оценить поступок Дидро.

От одного человека, который пользовался доверием Федора Орлова[173] и которому я некогда имела счастье оказать некоторые услуги, мне стало известно, что после моего отъезда из Парижа Дидро написал императрице письмо, где много говорил обо мне, о моей к ней привязанности. От утверждал, что из-за моего отказа принять Рюльера общество усомнилось в достоверности его записок, чего не смогли бы добиться десять Вольтеров и пятнадцать жалких Дидро.

Сам Дидро ничего не говорил мне о намерении писать императрице, и, поставив мне в заслугу поведение в отношении Рюльера, он не упомянул, что я лишь следовала его совету. Его деликатность и горячее участие в друзьях, среди которых, надеюсь, он числил и меня, делают его память дорогой для меня, покуда я жива...

Мне захотелось осмотреть Версаль, но без какой-либо огласки. Наш поверенный в делах Хотинский уверял меня в невозможности этого, ибо за каждым передвижением любого иностранца наблюдала полиция, и за мной, должно думать,— в особенности. Однако я была уверена, что с успехом исполню свое намерение. К Хотинскому я обратилась за помощью только в одном: попросила, не доезжая заставы, дорога от которой ведет в Версаль, держать наготове пару лошадей. Своему наемному слуге я дала множество поручений, чтобы он был занят несколько часов, а с собой взяла лакея, говорившего только по-русски. Сев в карету вместе с детьми и стариком-майором Францем, который знал меня с детства (он жил в доме двоюродной сестры моей тетки госпожи Чоглоковой и теперь случайно находился в Париже), я приказала кучеру ехать за город в ту сторону, где, прогуливаясь, нас ждал господин Хотинский. Его лошадей припрягли к нашим, он сел в мою карету, и мы велели ехать к любым воротам Версальского парка. Погуляв по парку, мы в обеденный час короля, когда во дворец впускают всех зевак, вошли в комнату, которая показалась мне весьма грязной и слишком бедной.

Мы оказались в толпе, которая, конечно, не принадлежала к светскому обществу. Я видела, как вошел Людовик XV, дофин, его супруга, принцессы Аделаида и Виктория[174], как они сели за стол и стали есть с большим аппетитом.

Увидя, что принцесса Аделаида пьет бульон из чашки, я высказала удивление.

— А разве ваш король и принцессы делают иначе? — спросила одна из дам, окружавших меня.

— У меня нет ни короля, ни принцесс,— отвечала я.

— Стало быть, вы голландка?[175]

— Возможно.

Наконец, обед закончился; мы быстро сели в карету и вернулись в Париж. Никто не узнал о нашей поездке, и когда впоследствии я вспоминала о ней, то развлекалась мыслью, как обманула бдительность знаменитой полиции.

Герцог Шуазель[176], тогдашний премьер-министр — враг нашего двора, не упускавший случая опорочить императрицу (ее величество его очень не любила), не хотел верить, что я была в Версале. Его посланец сообщил мне множество сплетен про нашего поверенного и передал приглашение герцога, который намеревался устроить для меня блестящий праздник. Я просила благодарить герцога и сказать, что госпожа Михалкова не принимает сама и не может присутствовать на празднестве и что ее желания в настоящий момент ограничиваются намерением осмотреть достопримечательности, а не знакомиться с высокопоставленными лицами, которых она, безусловно, ценит и уважает.

Из семнадцати дней, проведенных в Париже, последние десять или двенадцать мы почти все время проводили с Дидро. Утренние часы я посвящала осмотру тех достопримечательностей, которые достойны любопытства путешественников.

Затем я уехала в Экс-ан-Прованс. Для меня был приготовлен дворец маркиза Гидона, выходивший на площадь с фонтанами. Я была очень довольна жильем, но более всего радовалась тому, что в Эксе уже жила мой друг госпожа Гамильтон со своим отцом, архиепископом, теткой леди Рейдер и ее братом. Кроме того, там были леди Карлейль с дочерью, леди Оксфорд и другие английские семьи. Поскольку парламент был отсюда выслан[177], нам достались лучшие дворцы; мы проводили время весьма приятно.

Я совершенствовалась в английском; вместе с моим другом госпожой Гамильтон я ездила в Монпелье, Марсель, Гиер и плавала по Королевскому каналу.

Я регулярно получала письма, даже из Парижа, несмотря на подозрительное отношение к переписке парижан с жителями столицы Прованса, бывшей местом пребывания парламента. Не хочу обойти молчанием те знаки внимания, которые оказывал мне в письмах Дидро. Одно, которое я получила вскоре после прибытия в Экс, особенно заслуживает, чтобы о нем сказать, поскольку, будучи воистину пророческим, оно показывает глубину и живость его ума. Письмо было написано в эпоху роспуска парламентов.

Дидро показал силы, участвующие в событии, и его неминуемые последствия, а также описал, что испытывали при всем этом честные умы. Он предсказал то, что произошло впоследствии, не скажу — свершившуюся во Франции революцию, но результаты ряда конвульсий, представлявших из себя несколько следующих одна за другой революций, которые расшатали страну и основные принципы, оставив после себя разброд в мыслях, существующий и поныне.

Весной нам захотелось поехать в Швейцарию, но мы не смогли заполучить нужного количества лошадей. Хозяин почтовой станции

предлагал купить или нанять лошадей при условии, что будет оплачено число лошадей, указанное в подорожной, а не действительное. Хозяин оправдывался тем, что ему приказали поставить лошадей при проезде принцессы Пьемонтской, невесты графа д'Артуа[178]. А поскольку за свое место он много платил королю, то считал себя вправе не терять барыши, которые доставляли ему путешественники. Для нас самих и для слуг, бывших при мне, нам следовало получить 16 лошадей. В Эксе почта была королевской, из-за чего мили оплачивались вдвойне. Кроме того, мне нужно было платить и за нанятых лошадей; тут было о чем подумать, особенно, если принять во внимание, что решение почтмейстера было самовольным и затрагивало нас, как будто мы были французские подданные.

Госпожа Гамильтон и ее тетушка леди Рейдер хотели ехать вместе со мной, и потому они отсрочили на несколько дней отъезд; за это время мы уговорили хозяина почты дать мне четырех волов и пять лошадей с тем, что оплачена будет стоимость шестнадцати. На тех же условиях поехали отец и тетка моей приятельницы.

Леди Рейдер спешила в Лион, чтобы успеть на празднество, устраиваемое там в честь проезжающей принцессы. Меня это не особенно прельщало, но я не хотела отказать себе в удовольствии попутешествовать по Швейцарии с моей подругой и согласилась с предложениями ее тетушки (ей было больше 60 лет, она всем интересовалась, соединяла незаурядный ум с удивительно хорошим характером и обладала всеми добродетелями, достойными уважения).

Не буду говорить о дороге до Лиона, она того не заслуживает. Зато Лион показал все самые лучшие произведения своих фабрик, часть из которых была приготовлена в подарок принцессе, а часть выставлена на продажу. Капитан гвардии, герцог+++, посланный Людовиком XV, был уже на месте. Узнав о моем приезде, он запретил отбирать для размещения свиты приготовленный для меня дом.

Как только я приехала, герцог нанес мне визит и предложил ложу на все спектакли, которые будут даны для именитой путешественницы; он был чрезвычайно любезен, и я упрекаю себя за то, что забыла его имя.

Наконец, принцесса прибыла. Все хлопотали о представлении ей, желая полюбоваться той, кто вступает в семью Людовика, прозванного «возлюбленным» и которого впоследствии глупые шутники прозвали «неудачно нареченным»; большинство нации почитало за долг обожать своих королей, и мысль о том, что можно гильотинировать одного из них, не приходила им даже во сне.

Леди Рейдер, госпожа Гамильтон, мадемуазель Каменская и я отправились на первый же спектакль. Каково же было мое удивление, когда, придя в назначенную нам ложу, мы увидели, что ее заняли четыре дурно воспитанные лионские жительницы, которые на заявление нашего провожатого, что эта ложа отдана герцогом знатным иностранкам, не двинулись с места и ничего не отвечали, изображая глухих и немых. Я попросила провожатого не беспо-

коиться, сказав, что спектакль не представляет для меня большого интереса и я ухожу. Леди Рейдер и мадемуазель Каменская остались стоять позади этих наглых женщин, а мы с госпожой Гамильтон покинули ложу.

В вестибюле нас ожидала другая неприятность, вернее сказать, опасность. Лейб-гвардейцы прикладами ружей удерживали толпу, которая пыталась силой проникнуть внутрь, чуть ли не выламывая дверь в зал (спектакль был бесплатный). Охрана то ли от усердия, то ли глумясь била прикладами и тех, кто хотел войти, и тех, кто выходил; мне тоже достался удар. Может быть, дело кончилось бы плохо, если бы я не назвала свой титул и имя. Видно, и вправду, пресловутая вежливость французов не исходит от души. Жандарм принес мне глупые извинения, оправдываясь тем, что не знал моего титула. Я сказала, что мою безопасность должен был обеспечить не титул, а женское платье, и что я хотела не войти в театр, а выйти. Испугавшись, что я пожалуюсь герцогу, он наговорил множество слов, добиваясь прощения, и сопровождал нас до соседней улицы, пока мы не миновали ряды карет. Тут я его отослала и, простив, посоветовала впредь женщин не бить; его отсутствие на посту спасло по крайней мере нескольких женщин от ударов, поскольку, пока он меня провожал, в вестибюле одним грубияном было меньше.

Нам удалось уговорить леди Рейдер поехать в Швейцарию. Не стану описывать эту страну: писатели, лучше меня владеющие пером, позаботились об этом. Ограничусь тем, что назову людей, с которыми я имела удовольствие там познакомиться.

По прибытии в Женеву я послала к Вольтеру испросить позволения посетить его на следующий день, а также разрешение прийти моим друзьям. Он плохо себя чувствовал, однако велел передать, что рад возможности встретиться со мной и что я вольна привести к нему, кого захочу.

В первые же дни пребывания в Женеве я познакомилась со всеми наиболее замечательными людьми, и среди них с господином Гюбером[179], прозванным Птицеловом. Этот чрезвычайно умный, хорошо воспитанный человек имел самые разнообразные дарования, был музыкантом, художником, поэтом, и все это вместе с необычайной впечатлительностью и веселым характером. Вольтер боялся Гюбера, поскольку тот, зная все его маленькие слабости, рисовал портрет, выявляющий некоторые уязвимые места великого писателя. Птицелов также часто сердил Вольтера, обыгрывая его в шахматы. У Гюбера была собака, которой он клал в пасть кусок сухого сыра и, поворачивая со стороны на сторону, вынимал забавную статуэтку Вольтера, которая, как говорили, была уменьшенной копией работы знаменитого скульптора Пигаля[180].

В назначенный день после обеда в сопровождении госпожи Гамильтон, леди Рейдер, мадемуазель Каменской, моего кузена Воронцова и мистера Кэмпбелл-Шауфилда я пошла к Вольтеру. Прошедшей ночью он потерял больше фунта крови, но запретил об этом говорить, опасаясь, что, узнав, я не приду. Слабый, стра-

дающий, он лежал на шезлонге*. Войдя в комнату и увидя его, я выразила сожаление, что обеспокоила его в таком состоянии, добавив, что если бы он перенес мой визит на завтра или послезавтра, то только доказал бы мне свое уважение, посчитав способной понять и оценить, сколь драгоценны его здоровье и жизнь.

Он поднял обе руки, как делают на театре, сопровождая жестом возглас удивления, и произнес:

— До чего же ангельский голос!

Это привело меня в замешательство: ведь я хотела слушать его, восхищаться им и вовсе не думала выслушивать похвалы своему голосу. Я это высказала; после нескольких пустяшных комплиментов Вольтер заговорил об императрице. Часа через полтора-два я хотела уйти, но он не отпустил меня и попросил перейти в апартаменты своей племянницы, мадам Дени[181], и пригласил отужинать в его замке, который, как он заметил, с настоящего вечера вполне заслуживает это название. Он обещал вскоре присоединиться к нам, попросив разрешения стоять на коленях в кресле возле меня.

У мадам Дени (в скобках скажу, для племянницы гения ум ее был слишком неповоротлив) я пробыла недолго, скоро с помощью лакея вошел Вольтер и расположился против меня, стоя на коленях в кресле, спинка которого была повернута в мою сторону: в таком положении он оставался в продолжение всего ужина**.

Вся обстановка, присутствие за столом двух богатых парижских откупщиков, которые, как я заметила, являлись оригиналами портретов, висящих в гостиной мадам Дени, и за которыми ухаживали не только племянница, но и дядюшка, помешали мне насладиться беседой и обрести ту радость, какую рисовало воображение в ожидании этого визита. Когда я собиралась уезжать, Вольтер спросил, будет ли он иметь удовольствие увидеть меня еще. Я попросила разрешения приходить по утрам, чтобы побыть с ним наедине. Он согласился, и я пользовалась его позволением все время, пока была в Женеве. Когда мы с ним бывали вдвоем в кабинете или в саду, я видела Вольтера таким, каким представляла, читая его произведения.

Днем мы всем обществом катались по прекрасному Женевскому озеру. Гюбер оказал мне любезность: на самой большой лодке он укрепил русский флаг (по описанию и с помощью моего кузена Воронцова).

Слушая, как мы с мадемуазель Каменской поем, Гюбер увлекся русской музыкой и, обладая прекрасным слухом, выучил несколько песен и самостоятельно их исполнял.

С большим сожалением покидали мы Женеву, оставляя там друзей. Среди них была русская семья господина Веселовского[182]. В свое время, не желая подвергать себя необузданному гневу

* Предупреждаю читателей, что мои записки, если они вообще увидят свет, будут изданы только после моей смерти, поэтому прошу разрешения, не навлекая обвинения в тщеславии,— передать здесь события так, как они действительно происходили, и речи, как они были произнесены.

** Он страдал геморроем.

Петра I, приказавшего ему покинуть Вену, куда он был направлен, Веселовский скрылся в Голландии, там женился и, отказавшись от родины, поселился в Женеве. Его старшая дочь была замужем за Крамером[183], известным своей типографией, а еще больше дружбой и ссорами с Вольтером.

Покинув Швейцарию, мы спустились по Рейну на двух больших барках; на одной разместились наши экипажи и кухня, а на другой плыли мы сами, сделав дощатые перегородки и оклеив их красивой бумагой. Мужчины отправлялись ночевать в прибрежные селения, а нас охраняли двое лодочников и мои слуги. Когда нам хотелось осмотреть поселки и города, которые того заслуживали, мы выходили на берег.

Мадемуазель Каменская и я были одеты в черные платья и соломенные шляпы; нас сопровождал русский лакей, не знавший никакого языка, кроме родного, так нам удавалось сохранить инкогнито. Иногда, ради развлечения, мы сами покупали провизию, из которой нам на судне готовили обед. Мистер Кэмпбелл отваживался объясняться по-немецки; я стеснялась, полагая, что забыла язык, но, услыхав, как он до неузнаваемости коверкает слова, набралась смелости и до конца путешествия была толмачом.

Мы наняли местные экипажи и почтовых лошадей, чтобы осмотреть знаменитый Карлсруэ[184]. Едва мы перешагнули порог гостиницы, как явился обер-гофмейстер его высочества маркграфа Баденского, чтобы приветствовать меня от имени их светлостей и пригласить пожаловать в замок. Я извинилась тем, что у нас нет других платьев, кроме дорожных, и что мы остановились всего на несколько часов, чтобы полюбоваться парком и садом.

Часа через полтора после его ухода мы увидели, как в великолепной коляске, запряженной шестериком, прибыл обер-шталмейстер их высочеств, и он объявил, что маркграфиня знает, что госпожа Михалкова есть на самом деле княгиня Дашкова, и желает с ней познакомиться, а поскольку маркграфиня также награждена русским орденом св. Екатерины, то ей кажется, что орденское братство между нами побудит меня ее посетить; если же я решительно не хочу приехать в замок, маркграфиня просит воспользоваться присланной коляской (ведь парк очень велик), а он, обер-шталмейстер, покажет нам все достойное внимания.

Я не смогла отказаться от такого изъявления благосклонности и приняла последнее предложение. Мы поехали в роскошном экипаже, и по пути я пыталась втолковать шталмейстеру, как меня тронула любезность маркграфини, столь известной своим умом и просвещенностью*.

Не успели мы миновать первую аллею парка, как такая же карета преградила нам путь: обе коляски остановились. В подъехавшем экипаже сидели их светлости, наследный принц и несколько придворных. С присущей ей изяществом маркграфиня сказала:

* Ее высочество маркграфиня была в научной переписке с учеными разных стран, и все они ею восхищались.

— Доставьте, княгиня, нам удовольствие и разрешите, по крайней мере, показать вам некоторые красоты этого парка, которым мы гордимся.

Я вышла из коляски, и мы с принцем поменялись местами. В очаровательном парке мы провели более часа. Во время прогулки я не могла вдоволь нарадоваться необыкновенным дарованиям ее высочества. В завершение прогулки мы подъехали к замку, и мне было уже невозможно отказаться войти в него; обычно мне это не доставляет удовольствия, но их светлости были со мной чрезвычайно любезны. Вечер прошел так приятно, как я и не ожидала: был дан прекрасный концерт, за которым последовал превосходный ужин, но особенное удовольствие мы получили от беседы с нашими именитыми хозяевами. Их приветливость шла от души.

Когда я хотела откланяться, маркграфиня сказала, что наши люди уже в замке и она не допустит, чтобы мы ночевали в скверной гостинице. А поскольку, как ей известно, я очень спешу, она согласна, чтобы утром мы выехали, когда пожелаем, и даже не простившись, надо только указать время отъезда, чтобы нам приготовили завтрак и накормили почтовых лошадей. И мои друзья, и я были размещены удобно и с роскошью.

Утром мы уехали так рано, что, думаю, весь двор находился еще в объятиях Морфея.

Ничего не стану говорить о привлекательности прекрасной страны, различными пейзажами которой мы любовались, спускаясь по Рейну; красота ее описана пером сильнейшим, нежели мое.

В Дюссельдорфе я восхищалась прекрасной картинной галереей и не удержалась, чтобы не заметить директору, что прекрасная работа Рафаэля «Иоанн Креститель» помещена между окон потому, что ее не признали творением великого мастера, ибо написана она была им в последние годы[185].

В мои намерения не входит оставить записки путешественника, и я опущу рассказ о городах и т. д. и т. д. Во Франкфурте я с удовольствием встретилась с госпожой Вейнахт, вдовой негоцианта, более двадцати лет жившего в России. Я знала ее еще в детстве и, чтобы побыть с ней, задержалась на сутки: ведь в детстве я жила более счастливо, а для нашего воображения естественно мысленно останавливаться на временах безоблачных.

Я познакомилась также с младшим Орловым — графом Владимиром. Человек он был недалекий и, обучаясь в Германии, усвоил только самоуверенный тон и совершенно ни на чем не основанную убежденность в своей учености[186]. Он вступал со мною в споры, вынуждая к ним вообще всех, с кем разговаривал. Софизмы Ж.-Ж. Руссо он считал силлогизмами, безусловно принимая всю декламацию этого красноречивого, но опасного писателя[187]. Тогда я была далека от предвидения, что граф Владимир будет возглавлять Академию Наук в Петербурге, что после него это место займет креатура Орловых — господин Домашнев[188], человек совсем неподходящий, и что эту должность наследую я сама.

В Спа я познакомилась с принцем Эрнстом Мекленбург-Стрелицким и шведским принцем Карлом, впоследствии герцогом Зюдерманландским[189], который занимал в нанятом мною доме в Ахене четыре свободные комнаты. В Спа он приехал лечиться от мучившего его ревматизма. Гувернером у него был господин де Шверин; капитан Гамильтон и один младший офицер составляли всю его свиту. Шверин не разрешал принцу никаких расходов; думаю, сумма, которой он располагал для путешествия, была весьма незначительна. Все дни мы проводили вместе, и я его основательно узнала. Он не любил ни свою мать-королеву, ни старшего брата[190] и любил повторять, что у него есть надежда стать королем, потому что (как он думал) его брат не может иметь детей.

Когда шведский король объявил нам войну[191], в которой герцог Зюдерманландский командовал шведским флотом, я обрисовала императрице характер принца, и она смогла обратить герцога против его брата.

Приближалось время моим друзьям покинуть Спа, а мне — возвращаться в Россию; все очень сожалели о разлуке. Однажды вечером мы гуляли по улице Промнад де сэтор, говорили о расставании и оттого грустили. Тут мы увидели фундамент строящегося дома, довольно больших размеров.

— Обещаю вам,— сказала я своему другу госпоже Гамильтон,— не пройдет и пяти лет, как мы встретимся, я приеду сюда, найму этот дом, где удобно смогут разместиться две наши семьи. Если же вы приедете раньше, наймите его для нас обеих.

Я сдержала слово: минуло менее пяти лет, я вернулась в Спа, приехав раньше нее, и мой банкир нанял для меня намеченный дом...

Из Спа я поехала в Дрезден, где прожила всего несколько дней, проведя их почти целиком в прекрасной картинной галерее, которую я тщательно осматривала, не переставая восхищаться ее шедеврами[192].

Осмотр сокровищ курфюрста много времени не занял, поскольку большая часть их была отправлена в Голландию для покрытия государственных долгов и расходов курфюршеского двора.

В Берлине меня принимали так же любезно, как в первый раз. Наш посланник князь Долгоруков был ко мне очень привязан, а его добросердечие и учтивость, в соединении с просвещенным умом, делали его общество очень приятным.

Затем я без остановок доехала до Риги и тут прочла ошеломившие меня письма от брата Александра. Он писал, что покинул Москву из-за объявившейся там чумы и уехал в Андреевское (прекрасное имение моей матери в 140 верстах от Москвы). Опасность, которой он избежал, была велика: мой управляющий сообщал, что в моем доме умерло 45 слуг и он не сможет ничего выслать в Петербург к моему приезду, потому что слуг и багаж задержат в карантине на шесть недель[193].

От полученных ужасных известий и беспокойства за брата я заболела и на три недели задержалась в Риге. Только придя в себя

через десять дней, я осознала, что у меня нет ни пристанища, ни обстановки. Я написала своей сестре Полянской, прося приюта для себя и слуг, пока я не найму дома*.

Наконец, мы прибыли в Петербург. Я поселилась у своей сестры, мадемуазель Каменская — у своей. Ее величество была так добра, что послала узнать о моем здоровье и передала 10 тысяч рублей на первые нужды.

Большим утешением для меня была встреча с отцом; хотя он ничем не помог, он сделал то, что было мне гораздо дороже: отнесся ко мне с уважением и добротой, которых я была прежде лишена из-за наговоров недоброжелателей.

Я уже говорила в своих Записках о госпоже N, которая, вернувшись из ссылки, оказала, возможно неумышленно, влияние на мою жизнь[194]. Уверяли, будто она утверждала, что у графа Панина до его отъезда за границу, куда его назначили посланником, была связь с моей матерью и я — дочь Панина. Мне хочется верить в то, что это неправда, чтобы не утратить благоговения перед памятью матушки, хоть я и не имела счастья ее знать (мне было всего два года, когда она умерла). Орловы, которые одно время были связаны с моим отцом, через общих знакомых-сплетников внушили ему, будто я горжусь своим незаконным происхождением; с другой стороны, они старались всех уверить, что между мной и тем же графом Паниным любовная интрига, и это несмотря на то, что по возрасту он годился в отцы не только мне, но и моим старшим сестрам, так как был на несколько лет старше нашего батюшки.

Думаю, в глубине души отец не считал меня способной на безнравственные поступки и не верил наветам, тем не менее он отказывался меня видеть, невзирая на мои многочисленные попытки выразить ему почтение и повиновение. Но не хочу более распространяться об этом и благодарю бога, что впоследствии пользовалась уважением и доверием своего отца, одобрение которого было бы для меня важно даже, если бы нас и не связывали кровные узы: у него был выдающийся и просвещенный ум, великодушная и добрая душа, чуждая всякой мелочности и чванства[195], этих свойств, присущих, на мой взгляд, низким людям.

Хочу забыть все остальное и обращусь к возвращению в Петербург. Я была очень слаба и не выезжала, но у меня появилась надежда на лучшее будущее: ведь князь Орлов более не был фаворитом[196]. Когда я приехала ко двору, ее величество приняла меня милостиво.

Еще в течение нескольких месяцев мне и думать нельзя было о поездке в Москву, поскольку многие из моих дворовых умерли от чумы.

* Мой дом был продан в мое отсутствие по доверенности, которую я оставила графу Панину, надеясь, что денег за него будет достаточно на покрытие путевых расходов (ни моих доходов, ни доходов с имений детей не хватало), но госпожа Талызина, тогдашняя фаворитка дяди, уговорила его продать дом за полцены одному из ее друзей.

По приезде в Петербург я наняла небольшой дом, несколько слуг, пришлось купить мебель, белье, кухонную посуду и т. д., но не могу сказать, что жилье было удобным и приятным для меня.

Вскоре императрица прислала мне 60 тысяч рублей на покупку земли. Возможно, либо ей прежде было неизвестно, что, кроме болота под Петербургом и деревянного дома в Москве, у меня не было никакой собственности, либо теперь, когда она больше не находилась под влиянием Орловых, ей захотелось увеличить мое состояние. Я была крайне удивлена этим поступком, который вовсе не походил на обращение императрицы со мной в течение десяти лет, прошедших со времени ее восшествия на престол. Я была рада возможности вывести из затруднения отца, дав ему 23 тысячи рублей, недостающие для уплаты в казну.

Весной я поселилась в своем маленьком загородном доме; но вскоре заболел сын, что меня смертельно напугало; у него была горячка, сопровождающая молочницу. К несчастью, докторов Крузе и Кельхен, пользовавших его с самого детства, в городе не было, они последовали за двором в Царское Село. Думала, от отчаяния сойду с ума, но приехавшая навестить меня жена адмирала Нольса, увидев мое беспокойство, посоветовала пригласить молодого врача Роджерсона[197], недавно приехавшего из Шотландии, и сразу же отправилась за ним.

Роджерсон приехал в 12 часов ночи и, хотя не стал преуменьшать опасность, грозившую моему сыну, убедил меня, что не нужно отчаиваться, надо верить в его исцеление. Я провела у постели больного без еды почти семнадцать дней, но бог сжалился надо мной, а врачебное искусство Роджерсона вернуло мне сына. С того времени этот достойный человек стал моим искренним другом, и наши дружеские отношения, основанные на уважении, продолжаются и поныне.

После того как сын выздоровел, природа взяла свое: от усталости, беспокойства и бессонных ночей я слегла сама.

Тем временем генерал-майор князь Потемкин прибыл из армии с сообщением о полной победе, одержанной над турками, и об их согласии заключить мир на предложенных условиях[198]. Из-за болезни я не могла лично поздравить императрицу с блестящими победами русского оружия, но написала ей и послала великолепную картину Анжелики Кауфман[199], изображающую прекрасную гречанку. (В письме я намекнула на себя и на освобождение, или по крайней мере на улучшение положения греков[200].) Работы этой замечательной художницы и очаровательной женщины еще не были известны в России. Картина доставила ее величеству большое удовольствие.

К осени следующего года я уехала в Москву, где нашла свою свекровь удивительно бодрой для ее возраста.

Деньги, полученные от императрицы, я передала в верные руки, предназначив их для дочери, дабы имущество мужа целиком перешло к моему сыну.

После некоторых приготовлений я отправилась в Троицкое, откуда каждые две недели возила детей к свекрови, чтобы

она не могла пожаловаться, будто я препятствую ей видеться с ними.

Вернувшись из Троицкого в Москву, я познакомилась у своего дяди генерала Еропкина[201] с генералом Потемкиным*, которого позже германский император пожаловал князем и который, будучи не только фаворитом, но и другом Екатерины, стал в России таким могущественным человеком.

Граф Румянцев[203] получил полномочия составить условия мирного договора, и в течение следующего года императрица пребывала в Москве, где с большим великолепием и фантазией праздновалась победа.

Награждения фельдмаршалу Румянцеву, другим генералам и всей армии в целом были беспримерно щедрыми. Мой брат граф Семен получил повышение[204], а его полк удостоился чести быть причисленным к лейб-гренадерам.

Императрица много ездила, побывала она и в Калуге, останавливалась в прекрасном имении моего дяди, графа Ивана Воронцова. Я не участвовала в поездке потому, что очень серьезно болела моя свекровь. Она хворала три недели, в течение которых я, сама страдая нервической и спазматической лихорадкой, большую часть дня проводила у ее постели. Свекровь выказывала мне уважение и дружеские чувства, полностью одобряя все, что мною делалось для воспитания детей, и то, как я распоряжалась имуществом.

Свекровь умерла у меня на руках, завещав похоронить ее в Ново-Спасском монастыре, где были похоронены ее муж и предки князей Дашковых. По новому распоряжению императрицы похороны в черте города были запрещены; для погребения людей богатых и набожных, которые не хотели покидать Москву и после смерти, назначался тот или иной из московских монастырей, соблюдавших очередность ради справедливого распределения доходов между обителями. В тот год в Ново-Спасском монастыре не хоронили, и я тщетно пыталась добиться разрешения.

Не имея возможности исполнить последнюю волю свекрови, я решила, несмотря на болезнь, сама проводить ее тело и предать земле в монастыре, в 70 верстах от Москвы, где также покоились предки семьи Дашковых. Взяв за правило (и никогда от него не отступая) относиться к родственникам мужа так, как, мне казалось, он сам вел бы себя с ними, я считала себя обязанной делать то, что и он сделал бы для них. Потому для меня не была в тягость эта печальная поездка.

По возвращении ее величества в Москву я испросила позволение уехать за границу, чтобы завершить воспитание сына и дать ему классическое образование. Разрешение было дано невероятно

---

* Знакомство наше было весьма поверхностным; от присутствовавшего на обеде Левашова[202], который был мне очень обязан, я узнала под секретом, что Потемкин скоро возвращается в Петербург, ибо спешит занять место фаворита. Я дала Левашову один совет, и последуй он ему, не было бы сцен, которые позже великий князь Павел, к большому возмущению публики, не преминул устроить, чтобы повредить Потемкину и огорчить свою мать.

холодно, поскольку императрице не нравилось, что я уезжаю из России.

Узнав, что я не была допущена проститься с государыней отдельно, а наравне с другими получила доступ в аудиенц-залу, полную людей, пришедших поцеловать руку ее величеству (через несколько дней она уезжала в Петербург), принц Ангальт-Бернбургский заметил, что она по крайней мере была последовательна и на этот раз не разыгрывала комедии, но заверил меня в том, что отношение ко мне изменится и в будущем мне будет воздано должное.

Я вернулась в Троицкое и выдала дочь за бригадира Щербинина. Под влиянием плохого обращения с ним родителей у него сложился меланхолический характер, но человек он был добрый, и я надеялась, что у моей дочери будет тихая и безмятежная жизнь. Физически она была развита плохо, в ее сложении имелся недостаток, и я не льстила себя надеждой, что более молодой жизнерадостный человек будет любить ее и заботиться о ней. Я склонилась к этому замужеству еще и потому, что ради образования сына собиралась лет девять, а может быть и десять, прожить за границей. Конечно, Щербинин не был таким мужем, какого я желала бы для своей дочери, но этот брак давал то неоспоримое преимущество, что дочь оставалась при мне и я могла за ней присматривать.

Отец Щербинина легко согласился на поездку сына за границу, тем более что я его уверила: ему не придется нести никаких расходов, ибо процентов с капитала, данного мною за дочерью, хватит на их содержание при совместной со мной жизни.

Осуждение, пересуды по поводу этого брака, к которым я относилась с презрением, сознавая чистоту побудительных причин и будучи убежденной в том, что я — хорошая мать, не были, к несчастью, единственными огорчениями, которые принесло мне замужество дочери. Но я прерываю беглое упоминание о самой мучительной душевной боли, какую мне пришлось претерпеть в жизни, и продолжаю повествование.

Мы отправились по псковской дороге, намереваясь некоторое время провести в прекрасном имении Щербинина-отца, находившемся в этой губернии.

В пути у нас произошел несчастный случай, который доставил мне много беспокойства. Лакей господина Танеева, ехавший со мной, упал, и его переехали два экипажа. На ближайшей почтовой станции хирурга не нашлось, на другой — тоже. Переломов у пострадавшего не было, поскольку легкие экипажи были на полозьях, но левая рука и весь бок оказались сильно повреждены и так распухли, что рубашку удалось снять, только разрезав рукав сверху донизу; он неминуемо погиб бы, не вынеся остатка пути. Вспомнив, что у сына в портфеле, приобретенном в Англии, имеется ланцет, я стала просить, умолять слуг пустить несчастному кровь. Напрасно. Никто не решался; пришлось мне проделать это самой. Я благополучно отворила ему вену, но после того у меня сделались

жестокие судороги, однако я не жалела о сделанном, так как спасла жизнь человеку.

В имении Щербининых в обществе родителей зятя мне было невыносимо скучно, поэтому я сократила наше пребывание там и продолжила путешествие.

Мы не доехали до Гродно, как сын заболел корью, чем смертельно меня напугал. В этом почти диком краю неоткуда было ждать никакой помощи, тут царствовали грязь и нищета, а здешние крестьяне не обладали ни чувствами, ни гостеприимством русских.

По дорогам, которые были проезжими исключительно для местных бричек, наши экипажи могли продвигаться только при деятельной помощи тридцати казаков: они опережали нас на полдня, рубили и валили деревья, расширяя дорогу в бескрайних лесах.

Приехав в Гродно, я имела счастье найти там прекрасного врача из Брюсселя, вызванного королем для основанного им кадетского корпуса[205].

В Гродно мы задержались на пять недель, поскольку дочь, не отходившая от постели больного брата, заразилась корью.

Затем мы отправились в Вильну и Варшаву. Это был юбилейный год, и, хотя мы не застали блестящих празднеств, я имела удовольствие часто наслаждаться приятной и поучительной беседой с польским королем[206].

Его величество два-три раза в неделю приезжал ко мне, и мы несколько часов беседовали вдвоем. Племянник короля, князь Станислав[207], очень любезный и образованный молодой человек, генерал Комаржевский и остальная свита находились в другой комнате с моими детьми; я же, разговаривая с королем, вновь и вновь убеждалась в его высоких достоинствах. У него было благородное и сострадательное сердце, просвещенный ум, он любил и прекрасно знал искусство — все придавало его словам большой интерес и разнообразие. Те дарования, которыми природа наделила этого необыкновенного человека, он усовершенствовал образованием. Он заслуживал счастья, но польская корона была для него скорее наказанием, чем радостью. Как частное лицо, он пользовался бы почетом и всеобщей любовью, но, став королем беспокойного народа, из среды которого выходили самые противоречивые характеры, он не снискал его любви и не был оценен по достоинству. Будучи соседом двух великих держав, он часто вынужден был поступать против собственных принципов и желаний, а из-за интриг польских магнатов ему приписывались ошибки, каких он в действительности не совершал.

Я покидала Варшаву с сожалением. Меня привязывали к этому городу король, его племянник Станислав и всеобщее глубокое уважение к памяти князя Дашкова.

В Берлине меня приняли столь же любезно, как и в первый мой приезд. Я заранее написала своему банкиру, и в Спа был нанят новый дом, выходивший на Промнад де сэтор. Я приехала раньше своего друга госпожи Гамильтон, и когда она поселилась в этом доме

(он был нанят целиком), то увидела, что я во всем сдержала слово, данное несколько лет назад.

В Спа господин Щербинин получил письма от родителей с требованием безотлагательного возвращения в Россию; он был опечален, колебался, но все же покинул нас. Моя дочь не захотела последовать за мужем и осталась со мной.

Я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета[208], что хотела бы этой осенью поселиться в городе на все время занятий в университете моего тринадцатилетнего сына, и о моем желании, чтобы он, Робертсон, руководил его обучением в течение нескольких лет, просила уведомить меня обо всем, что он сочтет нужным.

В ответе Робертсона содержался совет повременить несколько лет с обучением сына в университете, так как этому должна предшествовать соответствующая подготовка. Мне как матери было приятно уверить Робертсона, что сын — мальчик способный и вполне может быть студентом: он уже прекрасно знает латынь, математику, историю, географию, французский и немецкий языки, а английским владеет достаточно, чтобы все понимать, хотя, может быть, не говорит еще достаточно бегло.

После окончания сезона в Спа я отправилась в Англию и, остановившись ненадолго в Лондоне, поехала в Шотландию, где посетила лорда и леди Суссекс в их имении. Там мы пробыли несколько дней, и я имела удовольствие познакомиться с мистером Вильмотом[209], отцом моего юного друга, из любви к которому я поборола отвращение к писанию мемуаров. Мистер Вильмот, родственник Суссексов, все время находился с нами.

Оттуда я уехала в Эдинбург, где прожила несколько лет, поселившись в старинном королевском замке Голирудхауз. Нередко думала я о неблагоразумной, несчастной королеве Марии[210]. Небольшой коридор, идущий от моих апартаментов, примыкал к ее кабинету и лестнице, с которой был сброшен ее фаворит-итальянец[211].

Мистер Робертсон нашел, к моему удовольствию, что сын вполне подготовлен для поступления в университет и с успехом сможет заниматься по классической программе.

Я познакомилась с профессорами, достойными уважения за ум, просвещенность и нравственность. Им были чужды самомнение и зависть — удел мелких душ, они жили между собой, как любящие и уважающие друг друга братья, и было приятно находиться в обществе этих глубоко образованных людей, во всем согласных между собой; разговоры с ними являлись неисчерпаемым источником знаний.

Во время летних каникул, когда занятия прекратились и сын смог отлучиться из университета, мы совершили путешествие в Шотландские горы. Не буду их описывать, так как в конце моих записок будет приложено описание этой небольшой поездки, сделанное мною для моего друга госпожи Морган, приславшей мне впоследствии копию с него, которую она собственноручно переписала для меня[212].

Два раза в неделю незабвенный Робертсон, Блэр, Смит и Фергюсон[213] приходили ко мне обедать и провести время. Герцогиня Буклей, леди Френсис Скотт, леди Лотиан и леди Мэри Ирвин присоединялись к нашему обществу, составляя радость моей жизни,— и это было самым спокойным, самым счастливым временем, выпавшим мне на долю в этом мире.

Вскоре приехала мой друг госпожа Гамильтон, присутствие которой еще более возвысило мое счастье, и даже жестокий ревматизм, подхваченный в горах, не мог уменьшить моей радости (ведь я была привычна к физической боли, и, живя не для себя, а для других и еще любовью к своим детям, я была способна смеяться и шутить в момент острых приступов боли).

На следующий год знаменитый врач Куллен прописал мне ванны и воды Букстона и Матлона, а затем морские купания в Скарборо[214]. Этот курс лечения я провела во время каникул. Меня сопровождала мой друг госпожа Гамильтон, и, когда я при смерти лежала в Скарборо, ее нежные и неутомимые заботы спасли мне жизнь.

Леди Малгрейв, жившая после смерти мужа в отдаленном имении одной из своих подруг, узнав, что я опасно больна, невзирая на то что сама страдала подагрой и была подавлена своим горем, приехала в Скарборо и пробыла там до тех пор, пока не убедилась, что опасность миновала. Она взяла с меня слово несколько дней погостить у ее подруги, завернув в имение по дороге в Эдинбург. Я обещала, и как только позволили силы, поехала навестить леди Малгрейв. Они с подругой уговорили меня отдохнуть пару дней; от них я по большой шотландской дороге, не теряя времени, поехала в Эдинбург, успев к началу занятий сына.

Хотя меня мучили ревматизм и боли в желудке, я с радостью принялась за обязанности матери и наставницы, занимаясь этим постоянно. Мое веселое кроткое и спокойное настроение удивляло всех, кто меня посещал.

Два раза в неделю к обеду приходили профессора. Чтобы у сына был некоторый отдых от занятий и практика в танцах, еженедельно я давала балы. Кроме того, по моему настоянию он ходил в манеж поупражняться в верховой езде и раз в три дня брал уроки фехтования у превосходного учителя, случайно оказавшегося в Эдинбурге. Благодаря подобному распорядку я не просто сохранила здоровье сына: он стал бодрым и приобрел удивительную силу.

Сама я испытывала всевозможные лишения, но они были мне безразличны, ибо меня полностью захватили материнская любовь и родительские обязанности. Желание дать сыну самое лучшее образование поглощало меня целиком; незначительность средств детей и собственная бедность меня не огорчали, а поскольку в Шотландии жизнь не слишком дорога, то, соблюдая порядок и экономию, я была в состоянии справиться с домашними расходами. Однако для путешествия в Ирландию по окончании сыном университета мне пришлось воспользоваться коротким знакомством с банкирами шевалье Форбсом и мистером Гунтером и прибегнуть к небольшому

займу. 2 тысячи фунтов, которые они предложили мне ко времени отъезда, я выслала им из Голландии спустя несколько месяцев. Но, вернув денежный долг, я никогда не смогу вознаградить их дружбу, усердие и заботы обо мне.

В мае 1779 года сын выдержал публичный экзамен в университете. Стечение слушателей было огромным; его ответы по всем отраслям изученных наук оказались столь успешны, что вызвали аплодисменты (хотя это запрещено). Сыну присвоили степень магистра искусств; как я радовалась его успехам, может представить только мать.

Моя миссия была окончена, и в начале июня мы отправились в Ирландию. При высадке в Донгаде нас встретила моя приятельница миссис Морган. Мы поехали в Колерэн и посетили Дорогу великанов[215], которую стоит посмотреть.

В Дублине для нас уже был приготовлен хорошенький, очень удобный дом. Пребывание в Дублине мне и поныне представляется счастливым сном, длившимся целый год. Благодаря заботам моих нежных друзей миссис Гамильтон и миссис Морган, вниманию и уважению их родных дни мои протекали в довольстве и покое. В городе нашелся прекрасный учитель танцев, недавно вернувшийся из Парижа, который приходил два раза в неделю давать уроки сыну. Кроме того, сын учил итальянский, а с мистером Гринфельдом каждое утро повторял предметы, которые проходил в Эдинбурге, и читал с ним греческих и латинских классиков. Все дни проходили в полезных занятиях. Вечерами мы ходили в гости или в театр, каждую неделю я давала бал, чем доставляла моим детям большое удовольствие.

Мне выпало счастье подружиться с леди Арабеллой Денни[216], женщиной светской и достойной глубокого уважения. Однажды парламент даже направил к ней депутацию, чтобы поблагодарить за различные благодеяния и учреждение благотворительных заведений, о которых она, несмотря на преклонный возраст, постоянно заботилась. Мы часто ездили к ней на чай. Ее здравый смысл, спокойствие, приветливость привлекали всех, кто имел счастье ее хорошо узнать.

Леди Денни особенно интересовалась приютом Магдалины[217], который благодаря ее попечительству, действительно, сделался нужным и полезным. Она несколько раз водила меня туда и, судя слишком благосклонно о моих скромных дарованиях, попросила написать музыку на слова ее любимого гимна, который она часто просила петь в приюте. Я не могла отказать, поскольку ее желания были для меня законом, и написала музыку на четыре голоса. Получив ноты[218], леди Арабелла Денни велела их разучить; спустя две недели гимн был исполнен в церкви в присутствии большого собрания верующих, которым любопытно было послушать, что сочинил русский медведь.

Сбор пожертвований был весьма значительным. Этим вечером я видела леди Арабеллу в самом веселом расположении духа. Она назвала мне сумму, полученную приютом благодаря моей

музыке (на что она и рассчитывала), и в заключение дала мне нежное материнское благословение.

Я часто ездила в парламент, чтобы послушать лучших ораторов, среди которых блистал мистер Граттан[219].

Концерты, постоянные чтения с моими приятельницами заполняли время, так что год для меня пролетел как один очаровательный миг.

Неохотно и с грустью покидала я Дублин; прежде чем представить сына императрице, нам предстояло совершить путешествие. Мы посетили Килкенни, Килларни с его прекрасным озером, Корк и его красивый рейд, Лимерик и несколько других мест[220].

В начале 1780 года мы покинули Ирландию и высадились в Холихэде. Вся дорога до Лондона очень интересна, в Уэльсе виды — самые романтические.

Как только я прибыла в Лондон, меня представили их величествам[221], которые приняли меня со свойственной им добротой и любезностью. Я сказала, что в их владениях наслаждалась спокойствием и всем довольна; что мой сын извлек большую пользу из пребывания в университете; что в моем сердце на всю жизнь сохранится благодарность, понятная лишь матери, и что, говоря все это, я надеюсь выразить и глубокое уважение, и искреннюю признательность их величествам.

Королева сказала:

— Я уже знала, что вы мать каких мало, а сейчас вы доказали это еще убедительней.

Я возразила, что считаю таковой не себя, а ее величество, и что как нежная мать она вполне вознаграждена своей прекрасной семьей. Королева стала говорить о своих детях и, перечислив сколько их, заметила, что вряд ли я знаю всех. После утвердительного ответа и высказанного мною желания их увидеть королева любезно прибавила, что велит нарочно привезти их ради меня. Она приказала леди Холдернис доставить детей к завтраку из Кью[222] в Лондон и уведомить меня о прибытии. Как могла я высказала благодарность за ее доброту, которая меня очень тронула. Я видела королевских детей, это настоящие ангелочки.

Мы совершили поездку в Бат и Бристоль, посетили все королевские дворцы, а после прощальной аудиенции у их величеств уехали в Маргет, а оттуда — в Остенде[223].

Затем мы отправились в Брюссель, где пробыли несколько дней. Оставив там экипажи и некоторых из моих людей, мы отбыли через Антверпен в Голландию и объехали ее всю целиком: осмотрели Роттердам, Дельфт, Гаагу, Лейден, Утрехт и поселение братьев-гернгутеров[224] — Гарлем.

В Амстердаме от нашего посланника в Гааге князя Голицына я получила письмо, над которым мы долго смеялись. Князь с большим юмором описывал, как удалась моя мистификация голландского купца.

Дело было так: в тот момент, когда собирался отчалить трешкоут*, на котором я наняла комнату (вернее — каюту на палубе), появился человек, явно спешащий уехать. Свободные места остались только на крыше, его это озадачило. Предложение зайти в мою каюту им было принято с видимым удовольствием. Мешая голландский со скверным немецким, он объяснил, что дела требуют его присутствия в Гааге в определенный день. Тогда мне пришла мысль, скрыв свое имя, попросить купца сходить к нашему посланнику, с которым, как уверял голландец, они были знакомы, и от имени русской женщины, пользующейся его покровительством, засвидетельствовать ее почтение и просить писать в Амстердам.

Зайдя к князю, купец передал ему низкий поклон от русской женщины, которая путешествует благодаря покровительству и щедротам его светлости. Князь долго не мог понять, о чем толкует этот добрый голландец, и сначала решил, что тот не в своем уме. Однако расспросив, где он встретил русскую и кто с ней был, он понял, что это — я, и, назвав мое имя, очень смутил бедного купца.

Продолжать путь трешкоут должен был по другому каналу на противоположном конце города, куда следовало идти пешком; до отхода барки оставалось еще часа два, и я спросила купца, как и где обычно проводят пассажиры это время.

— У едущих по делам местных жителей имеются свои дома, либо они заходят к знакомым,— ответил он.— Но поскольку вы иностранки, я поведу вас в кабачок недалеко отсюда.

Мы согласились и едва не расхохотались, когда он там предложил нам по кружке пива, немного хлеба и сыра.

В Гааге я снова увиделась с принцессой Оранской, которую любила и искренне уважала. Оба раза, когда я была в Гааге, она настаивала, чтобы я ее посетила. Отказываясь от первого приглашения, я извинилась тем, что у меня не было другого платья, кроме дорожного. Тогда она прислала ко мне свою гувернантку мадам Дункельман, которой принцесса наследница-мать[225] полностью доверила воспитание принцессы Оранской. Не перечисляя всех достоинств этой дамы, заслуживающей всяческих похвал, скажу только, что она вела переписку с прусским королем Фридрихом Великим, дядей принцессы Оранской. По ее настоянию я принудила себя пренебречь внешними приличиями в отношении костюма и, забрав дочь и сына, села в карету мадам Дункельман.

Все те немногие дни, что мы пробыли в Гааге, и в первое мое посещение, и во второй приезд мы ужинали у принцессы. Принц Оранский[226] ужинал с нами. Обычно его высочество засыпал за столом, как бы ни было рано, но на сей раз, сидя рядом со мной, он даже

* Трешкоут — большая барка, которую тянут одна или две лошади. Для людей состоятельных, способных заплатить, на палубе имеется одна небольшая, но очень чистая комнатка; кроме того, там есть одна большая общая комната, за которую с каждого взимается умеренная плата, и, наконец, по цене совсем низкой предлагаются места, как на империале почтовых карет в некоторых странах. Эти барки отправляются ежедневно в определенный час и в обусловленное время прибывают в назначенное место.

не дремал. Принц оказал мне честь, признавшись, что любит поспать за ужином, и поблагодарил за доброту, побудившую меня отогнать Морфея от его глаз. Я выразила сожаление по поводу жертвы, которую он принес. Когда принцесса поинтересовалась, о чем мы беседовали с принцем, я оказалась в затруднительном положении: не решаясь повторить его остроумное высказывание, я удовольствовалась заверением, что ее супруг просто сказал мне любезность.

(Забыла упомянуть, что, собираясь пробыть в Лейдене только два дня, чтобы за это время встретиться с некоторыми друзьями, приобретенными во время первого путешествия, я приняла предложение своего родственника князя Шаховского поселиться в его апартаментах.)

После завтрака я отправилась к знаменитому врачу Гобеусу, которого бесконечно уважала. На мой стук дверь отворила старая служанка и объявила, что хозяина нет дома. Поскольку мне было известно, что он вовсе не выходит, я ей сказала:

— Но ведь доктор у себя, и, думаю, он будет раздосадован, если мы с ним не увидимся. Прошу вас пойти сказать ему, что княгиня Дашкова пришла с ним проститься.

Услышав из соседней комнаты мой голос, доктор Гобеус вышел из кабинета. Когда дверь приотворилась, я увидела там князя и княгиню Орловых[227], видимо, пришедших на консультацию. Увидев их, я очень удивилась, поскольку не знала об их отъезде из России. По моей просьбе мои немногочисленные русские корреспонденты писали только о себе, родных и друзьях. Убежденная, что при Екатерине II России суждено процветание, и будучи сама целиком поглощена единственной целью, единственным желанием — дать образование сыну, я просила не писать мне о посторонних новостях.

Встреча с Гобеусом доставила удовольствие нам обоим, но, не желая прерывать его занятий, я не захотела войти в комнаты и, сократив визит, пешком прошлась по городу и вернулась домой.

Не успели мы сесть за стол, как явился князь Орлов. По моему лицу, на котором всегда — мне во вред — отражаются все мысли и чувства, князь Орлов должен был понять, что его визит столь же неожидан, сколь и малоприятен. По своему обыкновению, он произнес первую подвернувшуюся на язык фразу:

— Я пришел не с войной, а как друг.

Ответом ему было общее молчание.

Он взглянул на моего сына, и, может быть, проснувшаяся совесть напомнила ему о всех причиненных мне неприятностях.

Орлов продолжал:

— По мундиру вашего сына я вижу, что он все еще в кирасирском полку; я путешествую ради поправки здоровья жены, но состою на службе и числюсь командиром конно-гвардейского полка. Если вы желаете, княгиня, то я напишу императрице и попрошу ее перевести вашего сына в мой полк, что сразу повысит его на два чина.

Поблагодарив князя, я сказала, что на сей счет нам следует поговорить особо, поднялась из-за стола и, попросив остальных заканчивать обед без меня, пригласила Орлова пройти ко мне в комнату.

Мне было известно, что князья Орлов и Потемкин были в плохих отношениях, и я посчитала необходимым уведомить Орлова о предпринятых мною шагах. Не знаю, понял ли он деликатность моего поведения. Поблагодарив его еще раз за добрые намерения в отношении сына, я попросила временно отложить попечение, поскольку мне уже пришлось обратиться к президенту Военной коллегии князю Потемкину[228] с вопросом, на что можно надеяться для моего сына. Я предназначала его к военной службе и дала ему образование, необходимое, чтобы в ней преуспеть, но своей волею не могу переводить сына из одного полка в другой, предоставляя это решать ее величеству, его крестной матери. Своей поспешностью я могу рассердить Потемкина, проявив по отношению к нему неучтивость. Орлов возразил, что не понимает, каким образом я могу проявить неуважение к Потемкину. Увидев, что, пытаясь объяснить свои побуждения, только теряю время, я, завершая разговор, попросила сообщить мне, куда можно написать ему, чтобы уведомить об ответе из Петербурга, и просила сохранить его доброе отношение к моему сыну, которым, возможно, у меня будет случай воспользоваться.

Орлов ответил:

— Обещаю вам это. Нельзя себе представить более красивого юноши, чем князь Дашков.

В дальнейшем это представление о красоте сына испортило мне немало крови и причинило много волнений.

С князем Орловым мы снова встретились в Брюсселе, где он остановился перед отъездом в Париж и Швейцарию, куда его жену направили на лечение к Тиссо[229]. Его сопровождали господин Мелиссино[230], куратор Московского университета, с женой и племянником, фрейлина Протасова[231] и мадемуазель Каменская. Все это общество заполнило мою комнату, а я до того и не знала, что они в Брюсселе. По-настоящему я была рада видеть одного лишь старика Мелиссино, человека очень образованного, всегда любезного в обхождении, с чудесным характером; в течение нескольких лет он раз в два дня бывал у меня. Теперь мне приходилось делить свое внимание между всеми визитерами.

Неожиданно князь Орлов привел меня в неизъяснимое замешательство. Устремив глаза на сына (мне припомнился разговор в Гааге), он сказал:

— Жаль, князь Дашков, что меня, верно, не будет в Петербурге, когда вы туда приедете. Не сомневаюсь, вы возьмете верх над фаворитом[232], а поскольку в течение некоторого времени я имел поручение вести переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я бы сделал это с большим удовольствием, если бы свое место он уступил именно вам.

Услышав эти странные слова, я пожалела, что сын здесь находился, и, прежде, чем он придумал, как ответить, поспешила отправить его из комнаты (поручив срочно написать записку доктору Бюртену и напомнить об обещании прийти к 9 часам утра, чтобы вместе осмотреть близлежащие холмы со множеством окаменелостей). Когда сын вышел, я сказала Орлову, что не понимаю, как

он мог обратиться с подобными речами к семнадцатилетнему мальчику и бросить тень на свою государыню, добавив, что никогда не знала ее фаворитов, а если кто-либо из генерал-адъютантов и жил во дворце, то, полагаю, причиной тому были их служебные обязанности и доверие, питаемое к ним императрицей. Я попросила Орлова никогда впредь не говорить подобным образом в моем присутствии, а тем более с моим сыном, который воспитан в духе глубокого уважения и преклонения перед императрицей, его крестной матерью, и выразила надежду, что слово «фаворит» не будет иметь касательства к моему сыну в ином значении, нежели «любимец порядочных людей».

Орлов отвечал в своем обычном стиле, и потому слова его недостойны повторения.

Через несколько дней, к моему удовольствию, Орлов уехал в Париж. Я осталась в Брюсселе еще на некоторое время, так как для присылки денег назначила этот город.

Каждое утро мы с доктором Бюртеном собирали травы в окрестностях города, и мне посчастливилось найти несколько растений, неизвестных у нас.

Когда прибыли деньги, мы уехали в Париж. По дороге на два дня остановились в Лилле, затем сели в большой дилижанс, отправлявшийся в Париж, где для меня был снят отель «Де-ла-шин». Я с удовлетворением узнала, что избавилась от встречи с малоприятной компанией, так как Орлов со свитой уже отбыл из города. Зато, к моему большому удовольствию, оказалось, что добрый старый господин Мелиссино с супругой остался в Париже.

С непередаваемой радостью встретилась я с моим другом Дидро, который расцеловал меня с той сердечностью, с какой он относился ко всем друзьям. Господин Мальзерб[233], его сестра, госпожа Неккер и некоторые другие старые знакомые отнеслись ко мне с таким же доброжелательством, как и в первый мой приезд.

В Париже в это время было много русских, и среди них — граф Салтыков[234] (впоследствии фельдмаршал и генерал-губернатор Москвы), его супруга, генерал Самойлов (племянник Потемкина) и граф Андрей Шувалов[235] с женой. Последний уже два года жил в Париже, но не снискал тут особого уважения. Поскольку он имел прямое отношение к слухам, доставившим мне (правда, ненадолго) несказанную тревогу, я хочу дать его портрет. Человек очень умный, образованный, в совершенстве владеющий французским языком, с удивительной легкостью писавший стихи, прекрасно знавший произведения французских поэтов, он был полон самомнения. Высокомерный, грубый с низшими по положению и трепещущий перед лицами влиятельными (человек *в случае* — его кумир), своенравный, легковесный в своих взглядах, он часто бывал далек от истины: его уму не хватало той основательности, на которую опираются справедливые и здравые суждения. В конце жизни он помешался, и никто не пожалел о смерти безумца, даже его семья.

Меня посещали многие знакомые, и, следовательно, приходилось отдавать визиты, было жаль драгоценного времени, поскольку в мои намерения не входило оставаться в Париже надолго.

Мне дали понять, что следует съездить в Версаль. Я ответила, что всегда чувствую себя при дворе неловко, хотя по рождению — графиня, а по мужу — княгиня. Наконец, с полной определенностью было высказано, что королева[236] желает со мной познакомиться. Я так же определенно ответила, что лично для меня хорошо любое место, лишь бы оно не было слишком неудобным, но, хотя мало придаю значения знатности рождения (мне с полным равнодушием случалось видеть, как французская герцогиня, дочь богатого откупщика, сидела на почетном месте, то есть на табурете, который почитается таковым местом при дворе в Версале), как статс-дама русской императрицы не могу позволить унижать достоинство, связанное с моим рангом[237].

Несколько дней спустя мадам де Сабран, с которой я завтракала у аббата Рейналя[238], передала мне, что ее величество пожелала, чтобы я приехала в Версаль к мадам де Полиньяк[239], куда придет и она, так что в этикете не будет необходимости и мы обе сможем чувствовать себя непринужденно.

Я часто завтракала с аббатом Рейналем. Дидро, хотя и был нездоров, приходил ко мне почти каждый день. Когда вечером мне доводилось оставаться дома, у меня собиралось общество, а по утрам я посещала мастерские лучших художников, кроме тех дней, когда Гардель[240]давал уроки танцев моим детям и один из учеников д'Аламбера[241] повторял с сыном математику и геометрию. Много времени отнимал Гудон[242], ваявший, по желанию моей дочери, мой бронзовый бюст в натуральную величину.

Увидев завершенную работу Гудона, я не удержалась и сказала, что французские художники обладают слишком хорошим вкусом, чтобы добиваться сходства с натурой, и потому скульптор не позволил себе изобразить меня такой, какой создал бог, а изваял французскую герцогиню декольте вместо простой и скромной Ninette[243].

У мадам Неккер я познакомилась с архиепископом Отенским и с Гибером, автором столь нашумевшей «Тактики»[244]. У нее же мы встретились с господином Рюльером, знакомым мне еще по Петербургу (он находился там в то время, когда Екатерина II взошла на престол). Было заметно, что он смущен, видимо, тем, что не был принят в мой первый приезд в Париж. Подойдя к нему, я сказала, что слишком хорошего мнения о нем и слишком горда, чтобы предположить, будто люди, бывшие моими друзьями в 1762 году, перестали таковыми быть, и заверила его, что рада встрече и очень ценю его общество. Если госпожа Михалкова, под именем которой я путешествовала в первый раз, не хотела никого видеть и потому лишилась удовольствия беседовать с ним, то у княгини Дашковой таких причин нет и она будет рада видеть его у себя в любое время. Однако я предупредила, что не хочу знать содержание его книги, несмотря на то, что по многим причинам она представляла бы для меня интерес. Рюльер, казалось, был доволен моими словами и побывал у меня несколько раз.

Господин Мальзерб, его сестра и еще несколько человек, в особенности Дидро, который по своей природной искренности и горячей дружбе ко мне заслуживал доверия, уверяли, что Рюльер в своих записках отзывается обо мне весьма уважительно, однако на счет императрицы там имелось несколько выражений, которые я не должна распространять. Двадцать лет спустя в период, когда во Франции все перевернулось и клевета, непристойность и злоба — плоды распрей и партийного пристрастия — привели к тому, что печатали и делали все, что диктует ненависть, я увидела книгу Рюльера, изданную под названием «Записки о революции 1762 года». Велико было мое изумление, когда я в этой брошюре прочла, будто я была любовницей графа Панина, дяди моего мужа, который и ему и мне годился в отцы, будто в то время я была беременна (выходит, я носила сына одиннадцать с половиной месяцев, так как он родился 12 мая старого стиля). Там было написано и много других выдумок.

Размышляя о книге Рюльера, я подумала, что с его умом и знаниями, прослужив несколько лет в Коллегии иностранных дел, он не стал бы утверждать, что в брачном контракте Петра III с принцессой Цербской (будущей Екатериной II) было записано: в случае его смерти престол переходит к ней (ведь самый невежественный новичок в дипломатии не мог не понимать, что это противоречит истине). Тогда я успокоилась и простила человека, который, бывая у меня в то время почти каждый день, должен был знать и мою привязанность к супругу, и вообще мои моральные устои. У меня не осталось сомнений: это произведение, приписываемое Рюльеру, является апокрифом...[245].

В назначенный день мы с детьми отправились в Версаль. Королева ждала меня в апартаментах Жюля Полиньяка. Она пошла мне навстречу, и ее слова, в которых было столько доброты и изящества, глубоко меня взволновали. Я села рядом с ней на софу, дети — по другую сторону маленького круглого стола, и мы непринужденно болтали. Королева говорила с детьми о танцах, в которых, как она знала, они были весьма искусны, добавив, что, к ее великому сожалению, она вскоре лишится этого развлечения, которое очень любит.

— Но почему, ваше величество? — спросила я.

— Потому,— отвечала она,— что во Франции после 25 лет не танцуют.

Я как настоящая Ninette, совершенно не подумав о том, что королева, как говорили, имела пристрастие к игре, возразила ей, что танцевать нужно, пока не отказывают ноги, и что развлечение это гораздо полезнее картежной страсти. Ее величество согласилась с моим мнением, и когда позже я старалась припомнить, не была ли королева раздосадована моими словами, должна сказать по правде, что не могла заметить проявления какого-либо недовольства с ее стороны.

На другой день я узнала, что слова, сорвавшиеся у меня с языка, повторяет весь Париж. Это внимание публики мне совершенно

не льстило; меня беспокоило то, что могли подумать, будто я хотела дать урок королеве. Ее величество была ко мне по-прежнему благосклонна, и позже, благодаря ей, я получила разрешение взять сына осмотреть Сен-Сир[246], куда мужчинам вообще не было доступа. Дворцовые кареты доставили нас туда из Версаля.

Госпожи де Полиньяк и де Сабран в каждый свой приезд в Париж передавали мне любезные слова королевы.

Узнав от Дидро, что Фальконе и его ученица мадемуазель Колло[247] в Париже, я попросила передать им, что они доставят мне большое удовольствие, если зайдут на чашку чая. Они пришли, и Колло рассказала, что накануне у одной своей приятельницы встретила бывшую гувернантку детей графа А. Шувалова, получавшую от него небольшую пенсию и часто бывавшую в его доме. У Колло с ней вышел жаркий спор обо мне и моем сыне. Будучи незнакома с этой женщиной, которая никогда не имела со мной никаких дел, я, удивленная, полюбопытствовала узнать, что она могла о нас говорить, и попросила мадемуазель Колло передать суть спора.

Из ее рассказа я поняла, что гувернантка излагала мысль, родившуюся в озлобленном уме графа Шувалова. Она утверждала, будто, внушая сыну честолюбивые замыслы, я вынашиваю план представить его императрице с целью сделать фаворитом, и высказала уверенность в том, что стоит предать огласке подобный проект, чтобы он никогда не осуществился.

Колло, прожив довольно долго в России, могла верно судить обо мне (мы постоянно виделись во время ее пребывания в Петербурге и в мастерской Фальконе, и у меня в доме). Она знала, что мои принципы не позволят мне как человеку, чуждому дворцовых интриг, и особенно как матери, подставлять князя Дашкова на место фаворита. Я всегда избегала любимцев Екатерины Великой и к чести ее скажу: в некоторых случаях она стесняла себя ради меня. Когда мы бывали втроем (императрица, я и фаворит), она в моем присутствии обращалась к нему только как к придворному, который пользуется ее уважением и доверием.

Слова мадемуазель Колло невыразимо меня взволновали. Разумеется, я беспокоилась не о том, что сын не станет фаворитом, а опасалась фаворита, который из ревности будет мешать ему продвигаться по службе или вовсе отдалит от императрицы под предлогом, будто мать его вынашивает оскорбительный для ее величества замысел. Эта мысль приводила меня в душевное смятение: мне уже приходилось видеть, какова власть этих временщиков, прятавших свое честолюбие под личиной любви. Мадемуазель Колло была удивлена, заметив мое сильное беспокойство. Когда же я объяснила ей причину, она нашла его вполне естественным и искренне разделила мои опасения. Тревога моя возросла еще и оттого, что князь Потемкин не отвечал на мое письмо. Сознаюсь, я была настолько тщеславна, что полагала: несмотря на свою небрежность, Потемкин не посмел бы так поступить со мной, если бы не был уверен в том, что императрица ко мне безразлична и не станет его упрекать из-за меня.

Едва Колло ушла, я послала к господину Мелиссино сказать, что прошу его прийти вечером. Я рассказала ему о причине своей тревоги, и он сумел меня утешить.

— Напрасно, княгиня, вы тревожитесь сплетней, происхождение которой известно,— сказал он.— Я могу засвидетельствовать, с каким негодованием отвергли вы эту выдумку, исходившую от князя Орлова еще в Брюсселе. К тому же вы тотчас же можете опровергнуть слова Андрея Шувалова, которые он повторяет за Орловым,— ведь они были произнесены в моем присутствии у Шувалова за обедом. Он доверительно говорил господину Самойлову[248] о своей готовности держать пари, ставя десять против одного, что князь Дашков станет фаворитом. Самойлов собирается к вам завтра, о чем сегодня мне сообщил. Если вы прикажете, я тоже приду, и, когда вы заговорите об этой сплетне, я, не подавая виду, что вы мне о ней говорили, совершенно естественно скажу все, что знаю как очевидец, а также о том, как князь Орлов неоднократно ее повторял и как вы резко ответили на его выдумку.

Последовав совету господина Мелиссино, я на следующий день рассказала господину Самойлову, как была оскорблена накануне, узнав, что нелепую идею князя Орлова повторяют, и добавила, что, если ей поверят, это может помешать моему сыну продвигаться по службе. Господин Самойлов уверил меня, что князь Орлов так же, как и граф Шувалов (несмотря на его поэтический талант) известны как люди, часто говорящие несуразные вещи, к которым почти никто не прислушивается.

— Однако,— сказала я,— как сделать, чтобы в обществе узнали, что эта выдумка родилась в голове Орлова и, к несчастию, попала на опасный язык Шувалова? Как, не прибегая к пересудам, недостойным императрицы и, смею сказать, и меня, объяснить, что я далека от подобной мысли и она приводит меня в отчаяние?

— Императрица вас знает слишком хорошо, княгиня,— отвечал Самойлов,— чтобы поверить в это; к тому же я приеду в Петербург за год до вашего возвращения и, если вы разрешите, в точности передам все, о чем мы говорили, своему дядюшке князю Потемкину, поручившись, что это ложь, и тем буду счастлив засвидетельствовать вам свое уважение и признательность.

Поблагодарив его за участие, я согласилась на высказанное им предложение, но все же прибавила, что не привыкла к тому, чтобы на мои письма не отвечали, и даже коронованные особы, как ему известно, обращались со мной иначе. Самойлов с живостью возразил, что дядя не мог мне не ответить и, видимо, письмо затерялось.

Самойлов хотел осмотреть образцы и планы укреплений, которые нельзя было видеть без разрешения двора (Шувалов дурачил его уже восемь месяцев, обещая достать разрешение). Я сказала Самойлову, что уже получила такое дозволение для сына, и предложила ему пойти вместе с ним на другой день, предупредив, что они могут не спешить с осмотром: я буду ждать их с обедом, а затем, если у него будет желание, он может поехать со мной в оперу.

В моем распоряжении была ложа маршала Бирона в Опере, так же, как в Театр Франсэ[249]. Бирон[250] являл собой тип старинного придворного и был необычайно любезен. Он очень привязался к моей дочери и делал для нее все, что она желала; бывая у нас, он нередко танцевал один под собственное пение: «*Когда Бирон хотел танцевать, когда Бирон*», и так далее.

В начале марта я покинула Париж. Через Верден, Мец, Нанси, Безансон мы отправились в Швейцарию. По дороге я останавливалась во всех городах, имевших военное значение, дабы сын мог ознакомиться с французским военным искусством. По разрешению двора нам всюду предоставляли возможность свободно осматривать все, что нас интересовало, а в Люневилле нарочно для нас были устроены военные маневры, что никогда не делалось для частных лиц.

В Берне я встретила некоторых прежних знакомых, а в Женеве — семью Крамеров и господина Гюбера, прозванного из-за его любви к соколиной охоте и совершенного знания жизни птиц Птицеловом. Этот человек выдающихся способностей и дарований был со мной по-настоящему дружен; он подарил мне нарисованный им портрет Вольтера, и мы расстались с самыми теплыми чувствами.

Остервальд (знаменитый своим процессом против Фридриха Великого, в котором, отстаивая свои права, связанные со званием знаменного рыцаря, он защищал и некоторые права народа) сопровождал меня из Невшателя в глубь страны ради осмотра интересных деревень Локль и Шо-де-Фон с их романтическими окрестностями[251]. Для этого мы взяли местные экипажи, так как дороги там узкие. Здравый смысл, познания и добродушие почтенного старца сделали для нас это небольшое путешествие очень приятным. Дочь Остервальда помогала ему в хлопотах по управлению типографией. Я купила у него несколько книг и, заплатив за них вперед, попросила переслать в Амстердам моим банкирам Паю, Рику и Вилькисону.

С удовольствием и некоторой грустью я снова увидела Женеву и Лозанну, эти города, где я была так счастлива в обществе мадам Гамильтон, наслаждаясь ее искренней дружбой.

В Турин мы поехали через Савойю и Мон-Сенис. В это время при туринском дворе не было русского посланника, и меня представлял английский посол, сын лорда Бюта и племянник министра Маккензи, с последним я была весьма дружна в Лондоне. Их величества и вся королевская семья приняла меня очень любезно. По приказу короля[252] нам показали военную школу и все, чем мы интересовались.

Молодой барон Эльмпт, лифляндец по происхождению, подданный императрицы, сын барона (затем графа) генерала Эльмпта, учился в королевской военной академии. Он дурно вел себя, наделал глупостей, это могло бы окончиться его исключением и бесчестием. Безжалостно его разбранив, я просила за него и добилась прощения. Я уговорила британского посла мистера Стюарта взять юношу под свое покровительство до поры, пока его отец, которому я напишу (он пользовался в России большим уважением), не вызовет сына к себе.

Король Сардинии очень гордился укреплениями, построенными в Алессандрии[253], и ревниво следил, чтобы без особого разрешения в них не допускались иностранцы. Его величество был так добр, что приказал при нашем проезде через Алессандрию показать моему сыну не только интерьер, но все укрепления целиком.

Через Нови мы поехали в Геную, где пробыли недолго, потому что нам хотелось иметь больше времени для осмотра Милана и его окрестностей. Граф Фирмиан, министр императора, управлявший королевством[254], был человек просвещенный и добродетельный, вся страна его обожала. Я много бывала в его обществе. Он оказал нам существенную помощь при поездке на озера Маджоре и Лугано, а также в знакомстве с Борромейскими островами[255]. По здешним дорогам не было почтовых станций и негде было достать лошадей; граф приказал поставить сменных лошадей, и мы без каких-либо неудобств и задержек совершили замечательное путешествие. В восторге от красот природы мы с сожалением покинули эти места, показавшиеся нам земным раем. Мы видели апельсиновые и лимонные рощи, растущие так же свободно, как у нас березы и липы, одни деревья были в цвету, на других висели спелые плоды. Огромное здание, начатое одним из Борромеев, было построено только наполовину, но даже для монарха загородный дворец был слишком велик, и все это можно объяснить, или извинить, лишь тем, что он принадлежал племяннику папы, который в те давние времена мог позволить себе любое расточительство.

В Парме мы пробыли два дня, столько же в Плезансе и Модене, а затем сделали остановку во Флоренции.

Более недели наслаждались мы осмотром достопримечательностей Флоренции — знаменитой картинной галереи, храмов, в которых находятся такие великолепные произведения искусства, библиотек и кабинета естественной истории, принадлежавшего герцогу. Его королевское высочество приказал, чтобы из коллекции мне выдали все дублетные экземпляры по моему выбору, поэтому мне достались не только замечательные образцы окаменелостей собственно итальянских, но и из других частей земного шара, собранные великим Комо[256], благодаря которому в Италии возродилась и расцвела наука.

Потом мы поехали в Пизу. Этот красивый город с пятнадцатитысячным населением считается вторым в Тоскане. Страбон говорит, что его основали аркадиняне, возвращаясь после Троянской войны[257]. Другие уверяют, что он возник значительно раньше, и приписывают его создание Пелопсу, сыну фригийского царя Тантала[258]. Как бы то ни было, Пиза входила в число двенадцати главных городов Этрурии[259]. После упадка империи в одиннадцатом веке она стала господствовать на море. Пиза перестала быть республикой в 1509 году, и Медичи, чтобы обезопасить себя от пизанцев, проявивших в 1609 году стремление к независимости, постоянно старались ее ослабить[260]. Пиза — большой город, с красивыми постройками, но кажется несколько пустынным из-за малочисленности населения по сравнению с его величиной. В городе нет никаких промыслов,

хотя река Арно, протекающая через него, могла бы способствовать их развитию. Тут существует всего один плохо оборудованный завод, производящий стальные изделия. Наиболее замечательная постройка — собор одиннадцатого века, украшенный трофеями, взятыми пизанцами у сарацин[261]. Его гордостью являются три бронзовые двери с изображением ста страстей господних работы Джованни да Болонья[262]. Здание построено из мрамора и декорировано 74 колоннами, среди которых — 62 из восточного гранита, 2 из порфира. В интерьере четыре картины Андреа дель Сарто[263]. Натуралист заметил бы, что одна из маленьких порфировых колонн, поддерживающих кафедру проповедника, составлена из нескольких кусков различных пород порфира, связанных затем пастой из простого порфира.

Комиссар дал в честь меня роскошный обед, а затем повел нас в усадьбу госпожи Розальмины посмотреть *il jocco del ponte**, устроенные специально для меня. Две партии, носящие имена своих приходских церквей *Santa Maria i Santo Antonio***, сражаются на большом мосту. На противниках шлемы и латы, поверх доспехов — длинные плащи. Единственным их оружием являются палицы с двумя рукоятками, служащие для защиты и для нападения. Пизанцы так привержены к этим сражениям, что часто в них принимают участие вельможи. Игры происходят каждые пять лет, но, видимо, их собираются прекратить, так как великий герцог, не запрещая их совсем, чинит различные препятствия. Так, он потребовал, чтобы 48 представителей от каждой партии несли ответственность за последствия: оплачивали убытки, содержали семьи убитых во время игр, и не только своих земляков, но и тех, кто прибыл из Флоренции и Ливорно, чтобы принять участие в играх, которые, кстати, часто приводят к спорам и дуэлям не только в Пизе, но и в этих двух городах. Вся знать сочувствует играм, дамы в дни турниров носят цвета своих партий. Матери ссорятся с дочерьми, сестры — между собой, если их мужья оказываются противниками.

Сезон сильной жары и малярии, когда путешествие становится опасным, мы провели на пизанских морских купаниях. В Пизе я жила у нашего поверенного графа Моцениго[264], у которого был свой дом, где мы разместились очень удобно. Этот славный честный человек жил с семьей, как в добрые старые времена. Сам он с женой и дочерью занимал одну комнату; в отдельной комнате жил сын; кроме того, у хозяина дома имелся кабинет. Все остальные апартаменты были в моем распоряжении.

На пизанском курорте я наняла лучший из домов. Кроме публичной библиотеки, к нашим услугам были библиотеки герцога и различных монастырей, где я брала нужные книги согласно составленной мною программе чтения — в хронологической последовательности и по отраслям знаний.

---

* Правильно: il giuoco del ponte — игра на мосту (*ит.*).— *Пер.*

** Санта Мария и Санто Антонио (*ит.*).— *Пер.*

В 8 часов утра после легкого завтрака мы с детьми шли заниматься в самую просторную комнату, выходящую окнами на север. В 11 часов мы закрывали ставни и при свечах читали по очереди до 4-х часов пополудни. Потом мы переодевались и в 5 часов обедали. После обеда еще час отводился на чтение; затем открывали окна, уже не опасаясь жары, а позже шли прогуляться по берегу канала. Это было единственное место, где можно было дышать свежим воздухом, но и здесь все было запущено и завалено разной дрянью. Я приказала расчистить за свой счет, засыпать дорожку гравием и поставить скамейки. Мы задыхались от жары и от недостатка воздуха. Я писала одной из своих подруг, что, хотя ночью нас не сжигает солнце, мне кажется, какой-то злой дух выкачивает пневматической машиной весь воздух, имеющийся в Пизе.

И все же, несмотря на трудности, я всегда с удовольствием вспоминаю пребывание на этом курорте, так как, смею думать, совместные чтения с сыном в течение девяти недель принесли ему большую пользу и он успел прочесть все, на что молодому человеку понадобился бы год, и проявил значительные успехи в изучении наук.

28 июня по старому стилю, в день восшествия на престол императрицы, я дала большой бал в общественном зале, на котором присутствовала вся знать Пизы, Лукки и Ливорно. Всего было 460 приглашенных, но расходы оказались незначительными, поскольку понадобились только плошки с маслом, свечи и прохладительные напитки. Исключая этот день, осмотр поразившей нас иллюминации собора и поездку на лодочные гонки на реке Арно*, жизнь на водах протекала совершенно однообразно.

Мы побывали в городах Лукке** и Ливорно. Второй хотя и невелик, но весьма многолюден — в нем насчитывают 43 тысячи жителей.

---

* Наградой победителям служила темно-красная дама[265] стоимостью около 50 червонцев, которую выдавали с соответствующей церемонией. Судьи занимали места у начала гонок и на финише. К нашему великому негодованию, гребцы были без рубашек и кроме штанов на них ничего не было.

** В Лукке мы прежде всего пошли в собор, снаружи он некрасив, но внутри — превосходная готика. Над куполом работали художники — уроженцы Лукки, Коли и Санкасиани[266]. В соборе посредине левого придела стоит небольшая часовня в форме ротонды. В ней хранится чудотворное распятие Вольто-Санто. Прежде оно находилось в церкви Сан-Фредианно, откуда само собой перенеслось на то место, где помещается теперь. Вольто-Санто открывают всего три раза в год, если не появится чрезвычайная надобность или угроза государству. В Санта Мария Корте Ландини можно видеть картину Гвидотти «Рождество Христово» и две работы Гвидо[267].

Самым замечательным зданием в городе является Дворец Республики. Правление в стране — аристократическое. В настоящее время в Совете, члены которого должны быть не моложе 25 лет, около 240 дворян. Дворянство передается по наследству, однако иногда его можно либо получить за личные заслуги, либо купить. Дворяне разделяются на две конгрегации, состоящие каждая из 90 членов и 30 помощников. Конгрегации поочередно составляют Совет сроком на один год, а затем выбирают новых членов из тех, кто не входил в предыдущую конгрегацию, потому что два года подряд в ней быть нельзя. Должностные лица, исполняющие различные обязанности, также ежегодно избираются из дворян, а верховный магистрат, состоящий из 9 старейшин (anziani) и гонфалоньера[268], меняется каждые два месяца.

В Ливорно я пробыла несколько дней. Торговля там из-за порто-франко[269] и других благоприятных обстоятельств весьма оживленная. Мне очень понравился новый карантинный госпиталь, построенный великим герцогом Леопольдом[270], особенно царившие там чистота и порядок*. В это время в госпитале находилось несколько

Выборы лиц, предназначающихся на должности гонфалоньера и старейшин, происходят раз в три года и производятся Советом из 36 человек, которые при содействии еще 18 помощников избирают несколько других магистратов.

Эти выборы проходят с большой торжественностью и называются *rinnovanozione della pasca*, поскольку тогда же заменяется ящик для подсчета голосов. Переизбрание зависит от количества подданных, имеющих право быть избранными, и случается раз в два с половиной или три года. Избирают до 180 человек, из которых назначаются 9 выборщиков, называемых *assortitori*. Сначала избирается гонфалоньер, затем члены верховного магистрата, которые каждые два месяца образуют высший совет (*supremo magistrato*). Выборщики тайным голосованием избирают десятерых, из них составляется совет старейшин из 9 человек и гонфалоньера (все из числа лиц, прошедших «rinnovanozione»).

Законодательная и высшая власть принадлежит Совету, образованному обеими конгрегациями совместно. Большинство законов проходит только с одобрения трех четвертых всех присутствующих, которых должно быть не менее 80, помимо высшего магистрата. Проект закона на обсуждение могут предложить гонфалоньер и старейшины, представляющие князя или республику. Гонфалоньер носит титул князя, и ему воздаются почести как главе государства, но он не может злоупотреблять своим положением. Вход во Дворец Республики, где он живет, охраняется стражей из 70 швейцарцев, состоящих на службе государства. Исполнительная власть принадлежит старейшинам и гонфалоньеру, но частично также и различным магистратам.

Судебная власть в государстве почти целиком в руках пяти аудиторов. Один из них называется *подеста*, он ведает *уголовными* делами; четверо других — *гражданскими*. Судьи всегда либо иностранцы, либо уроженцы других городов Италии, дабы они не имели ни родственных, ни дружеских связей, могущих сделать их пристрастными. Вынесенный подестой смертный приговор посылается на утверждение в сенат, который или оставляет его в силе, или милует преступника.

Во время торжественных церемоний подеста несет серебряный жезл, на котором начертан девиз республики «*Libertà*» и навершие в виде пантеры — символа силы.

Полиция в Лукке исполняет свои обязанности с большой строгостью. Сорок *сбиров* делятся на два отряда, которые в сопровождении *гайдука* ночью обходят город. Гайдук, носящий ливрею князя республики, в случае необходимости служит свидетелем. Ношение оружия запрещено, поэтому, когда у какого-нибудь гражданина находят холодное оружие, его на другой же день приговаривают к галерам. Но поскольку в Луккской республике нет каторги, приговоренного отправляют в Геную, где его охотно принимают. Виновного в ношении огнестрельного оружия также посылают на галеры, но сначала трижды подвешивают на дыбе. Несколько лет назад иностранцам было разрешено носить шпаги в городе.

В республике более 120 000 жителей, из которых 26—29 тысяч живут в Лукке, так что на одну квадратную версту приходится 5283 человека, тогда как во Франции — всего 900 человек. Земледелие в цветущем состоянии; земля родит сам-15, сам-20, и одно и то же поле дает три урожая за два года. Масло тут превосходное и пользуется доброй славой. Также выделывается много шелка. Большая часть товаров из Лукки отправляется в Ливорно, другая — в Виареджио, находящийся в четырех верстах от Лукки и служащий республике портом. Иностранцев принимают чрезвычайно радушно. Меня уверяли, что спектакли в местном театре отличаются превосходным выбором пьес.

* Великий герцог, как мне кажется, был разумнее и осторожнее своего брата, императора Иосифа[271]. Подданные его очень любили и были о нем высокого мнения, благодаря чему он мог запретить чтение в страстной четверг в церквах буллы Григория VIII[272] in coenum domini, в которой провозглашается принцип превосходства папской власти над светской.

человек, прибывших из мест, зараженных эпидемиями. Я вспрыснула платки детей «уксусом четырех воров»[273] и, пока мы находились в здании, все время заставляла их нюхать уксус вместе с камфарным спиртом. Сопровождавший нас комендант госпиталя, который по приказу герцога показывал нам это замечательное заведение, отдал должное моему мужеству.

Высказав восхищение благотворительным учреждением, я выразила желание иметь план госпиталя, а также подробные сведения об управлении им; поскольку завоеванные императрицей территории близко соприкасались с землями, где свирепствовали эпидемии, я хотела передать государыне сведения о госпитале.

Очевидно, герцог отдал распоряжение сообщать ему о всех замечаниях знатных посетителей. Во всяком случае, через несколько дней комендант принес мне подарок герцога — план госпиталя с полным уставом. Я попросила передать его королевскому высочеству искреннюю благодарность и заверения, что с первой оказией перешлю план ее величеству.

Действительно, через некоторое время с господином Львовым[274], который вскоре должен был возвратиться в Петербург, я отправила план вместе с письмом императрице. Надеясь на ее снисходительность, я писала, что восемь месяцев назад обратилась к президенту Военной коллегии князю Потемкину, желая узнать, повышен ли мой сын (которого я ему предварительно отрекомендовала) в чине за последние 12 лет. Я напомнила ее величеству, что, назначая его в лейб-кирасирский полк, она повелела вести чинопроизводство, как если бы сын находился на действительной службе. Написав, что не получила от Потемкина ответа, я призналась, что гордость не позволяет мне думать, будто меня хотят унизить, однако я испытываю глубокое огорчение при мысли, что ей безразличны и мои дети, и я сама. Я умоляла императрицу успокоить меня на этот счет, повысив сына в чине и оказав ему покровительство. Ведь я приложила все возможное старание, чтобы дать ему образование с тем, чтобы он, отличаясь как рвением, так и способностями, смог стать полезным родине. С полной откровенностью я просила дать мне знать, на что я могу рассчитывать для сына, который составляет единственный предмет моих забот. Он не должен, вернувшись на родину, после всех почестей, какие ему всюду оказывали, почувствовать унижение из-за низкого чина, полученного им четырехлетним ребенком[275].

Через Сиену мы отправились в Рим. Среди лиц, оказавших нам наибольшее внимание, был кардинал Берни[276]. Его вежливость, доброта и ум завоевывали сердца и очаровывали всех. Я часто у него обедала, а вечерами он приходил ко мне. Мне показалось, он был польщен, когда я ему процитировала одно из посланий, напечатанных в собрании сочинений аббата Берни.

Я сделала полезное знакомство с мистером Байерсом[277]. Это был образованный англичанин, страстно любящий искусство и живущий в Риме более 25 лет. Благодаря ему мне не понадобился чичероне, обычно необходимый всем иностранцам.

В соборе св. Петра я беседовала с папой[278]. Он разговаривал со мной очень милостиво и, казалось, был доволен, услышав от меня заслуженную похвалу его благородному (и осуществленному) замыслу расчистить и открыть Аппиеву дорогу[279], пролегающую по Понтийским болотам. Я сказала папе, что непременно хочу ее видеть и почту за честь проехать по этой дороге в Неаполь первой.

— Предупредите меня за несколько дней до отъезда,— ответил он,— я распоряжусь о лошадях, так как по этой дороге нет еще ни почты, ни необходимых для путешественников удобств.

Папа долго как любитель и знаток рассказывал мне о драгоценных памятниках искусства в Риме. Он первым подумал об основании музея в Ватикане[280], где собрал много чудесных статуй, ваз, картин и т. д. и т. д.

В Риме время я провела очень приятно, не выезжая в свет и не отдавая визиты.

В 8 часов утра, а иногда еще и раньше, мы в экипажах ездили осматривать шедевры искусства в городе либо в окрестностях. Обычно поездки продолжались часов до трех, затем я спешила закончить обед, так как вскоре приезжали художники на чашку китайского чая, который мне присылали с каждым курьером из России. В моей комнате, превратив ее в мастерскую, работали оба Гаккерта: один — резцом, другой — карандашом, Гамильтон писал пастелью[281]. Мы беседовали, я спрашивала их мнение о различных произведениях искусства, которые осматривала утром, а мой сын учился у Гаккерта искусству офорта.

Я познакомилась с госпожой Дамер[282], которая путешествовала со своей теткой, леди+++. Глубокие познания она соединяла с умом, талантом и скромностью. Она была замечательным скульптором, превосходя в этом виде искусства многих своих товарищей; свободно владела греческим и латынью.

Дважды я ездила в Тиволи и на виллу Августа[283].

Все свободное от поездок время я проводила в соборе св. Петра и не могла налюбоваться его стройностью, поразительной при таких размерах[284]. Архитектура, к которой я питала особое пристрастие, увлекала меня все больше.

Я встретила одного молодого русского художника, воспитанника Академии художеств в С.-Петербурге, и добилась для него разрешения изучать и копировать лучшие картины во дворцах вельмож.

Однажды утром, когда мистер Байерс сопровождал меня в поездке, я, посмотрев на часы и увидев, что возвращаться еще рано, спросила его:

— Куда нам пойти? До обеда еще целый час.

Он предложил отправиться на виллу Фарнезе[285]. Я там уже была, но Байерс возразил: он не думает, что я спускалась в подвалы и видела скульптуры, которые хотя и разбиты, но, по его мнению, гораздо ценнее тех целых, что вызывают общее восхищение. Я приказала кучеру ехать на виллу.

Спускаясь в подземелье, я споткнулась о камень, который приняла за большой кусок серпентинного мрамора[286].

— Этот камень не заслуживает, чтобы я об него ушиблась,— заметила я со смехом.

— Мне очень жаль, что так случилось,— сказал мой спутник,— но должен вас уверить, княгиня, что это самородный изумруд, привезенный из Африки Комо Великому одним из ученых, которых он разослал во все концы света на поиски самых любопытных редкостей, и камень этот перешел по наследству к неаполитанскому королю. Мне кажется, вам следовало бы его купить, поскольку никто не знает, что это такое: его принимают за змеевиковый камень, за серпентинный мрамор или даже за обыкновенный шпат.

— Зачем он мне? — спросила я.

— Если вы позволите,— сказал Байерс,— я его распилю и сделаю вам два таких стола, каких нет ни у одного монарха и никогда, наверное, не будет; этим я только в малой степени выплачу вам следуемый с меня долг*.

Я согласилась и поручила ему купить камень, у меня было намерение преподнести столы императрице.

Через год после моего возвращения в Петербург Байерс прислал мне из Ливорно два стола, которые императрица, несмотря на мои настоятельные просьбы, так и не решилась принять[287].

Осмотрев в Риме и окрестностях все, что того заслуживало, мы побывали на скачках, показавшихся мне очень забавными, смотрели спектакль, который мне совсем не понравился (так как женские роли исполнялись мужчинами); затем мы отправились в Неаполь по вновь открытой дороге. Мы вышли из экипажа, чтобы осмотреть порт Террачино, недавно очищенный от тины и грязи, покрывавших его столь долгое время. В стене из красивого камня на некотором расстоянии друг от друга ввинчены блестящие медные кольца для причаливающих судов; если не обратить внимание на то, что теперь стена стоит от города дальше, чем это было описано у античных авторов, могло показаться, что она была сделана совсем недавно. Я подумала, что рисунок порта с его настоящими размерами мог бы представить интерес. Решив послать его императрице, я написала Байерсу и попросила сделать план секретно, поскольку его не было даже у папы.

Прибыв в Неаполь, я с удовольствием узнала, что для меня уже приготовлен превосходный дом на набережной с прекрасным видом на залив и Везувий. В городе, конечно, нашлось много знакомых: наш министр и чрезвычайный посланник граф Андрей Разумовский[288], госпожа Дамер с теткой и почтенный старик граф Сакрамоза. Я приобрела знакомство с лордом Гамильтоном, министром английского короля, и его супругой (я говорю о его первой жене)[289], с аббатом Галиани[290], а также с некоторыми писателями и художниками.

* Я имела удовольствие содействовать Байерсу в продаже его кабинета античных камней, который он не хотел делить и продавать частями. По моей рекомендации императрица купила кабинет целиком.

По утрам мы совершали экскурсии, которые нередко оканчивались у госпожи Дамер. Обычно друзья заставали ее не в гостиной, а в мастерской, занятой покорением мрамора, которому она придавала желаемую форму, но это святилище было открыто не для всех, а только для самых близких. Она была слишком скромна, чтобы выставлять напоказ свои знания и свои таланты.

Однажды я смутила ее, обнаружив книгу греческого поэта, поля которой были покрыты ее заметками.

— Дорогая, вы читаете по-гречески и скрыли это от меня? — воскликнула я.— Вы, верно, боялись меня унизить? Но ведь я говорила вам, что я всего лишь невежда.

Она смутилась и покраснела, словно ее уличили в чем-то предосудительном.

В Портичи[291] я с огромным интересом ознакомилась с бесценными сокровищами, найденными в Геркулануме, Помпее и других местах[292]. Двор находился в Казерте. Их величества приняли нас очень сердечно. Меня представляла герцогиня Феролете (по неаполитанским обычаям, именитые иностранки должны появляться в обществе лишь в сопровождении знатной дамы).

Я купила несколько картин, эстампов и изделий из мрамора. Прогулки с утра до вечера меня совершенно не утомляли; дни проходили незаметно. Коллекция антиков, собранная шевалье Гамильтоном, была поистине драгоценна. Особенно восхитило меня кольцо с астреей; камень этот, некогда превосходно описанный Плинием[293], долгое время никому не удавалось найти, и потому считалось, что великий натуралист видел его во сне. Такова судьба истин, которым либо по нерадению, либо по неведению не могут найти доказательств, поскольку удобнее и легче попросту отрицать то, чего не знаешь.

Несколько раз мой сын сопровождал короля на охоту, а мы с дочерью проводили все вечера у госпожи Гамильтон, чье очарование, а также присутствие мадам Дамер, одаривало нас всеми удовольствиями, на какие способны дружба, нежность и образованность.

Однажды я позволила себе заметить их величествам, что было бы выгоднее утроить количество рабочих, занятых на раскопках Помпеи, а затем в город, полностью освобожденный из-под пепла, возвратить все находки — мебель, домашнюю утварь и прочее — на свои места, часть королевской стражи отрядить на охрану города с сокровищами; когда же все будет завершено, объявить просвещенной Европе, что можно обозревать подлинную картину жизни и обычаев, домашнюю утварь и орудия труда жителей античного города, увидеть улицы с вывесками на домах. Вход сделать платным; его величество получит доход, с лихвой покрывающий все произведенные затраты. Явится множество знатоков, любителей и просто зевак, дабы насладиться невиданным зрелищем, живое впечатление от которого не может сравниться ни с каким описанием. Это и понятно, ведь создастся ощущение подлинного присутствия обитателей древнего города. Его величество свершит

как бы некое волшебство, похитив у прошедших времен картину столь необычную, столь интересную.

Король, видимо, забыв, что я знаю итальянский, сказал сидящему рядом придворному:

— Она весьма решительная женщина. Думаю, она права, а все наши антиквары, преклоняющиеся перед древностью, не смогли до этого додуматься.

Я поняла, что его величество не обиделся на мои слова; но вместо ответа он, повернувшись ко мне, сказал:

— Издано несколько томов, иллюстрированных гравюрами, с описанием всего найденного при раскопках, я велю вам их послать.

Я сердечно поблагодарила короля за подарок, который ценила больше любых драгоценностей.

Утомительная поездка на вершину Везувия едва не стала для меня роковой. Плохое самочувствие в течение нескольких дней и усталость, испытанная в поездке, поставили мою жизнь под угрозу. Я не хотела обращаться к местным врачам, поскольку не верю всем лекарям вообще, а неаполитанским врачевателям — втройне, но просьбы моих детей и мадам Дамер вынудили меня пригласить англичанина мистера Дрюмонда, который хотя и не практиковал, однако своим соотечественникам и друзьям помогал с большим рвением. Принятое по его совету касторовое масло спасло меня. Климат и диета быстро восстановили мои силы, и я смогла продолжить путешествие.

Вскоре курьер доставил письмо от императрицы, принесшее мне истинное утешение. Ее величество уверяла, что она всегда принимала самое искреннее участие в моих детях; по приезде в Петербург мой сын будет устроен так, что я останусь довольна, а пока она назначает его камер-юнкером с чином бригадира. Императрица поблагодарила меня за план и устав госпиталя в Ливорно; вообще, письмо была крайне доброжелательным. Я поспешила ответить и выразить живую признательность, но добавила, что прошу ее ни в коем случае не определять сына ко двору, ибо образование, им полученное, не было направлено на воспитание царедворца; что она исполнила бы мое заветное желание, если бы определила его в гвардию для прохождения военной службы, к которой он имеет безусловное призвание. Я закончила свое письмо императрице заверениями, что, вернувшись через год, буду полностью в ее распоряжении. После этого я решила больше не терять времени и увидеть то, что нам еще осталось, простилась с их императорскими величествами и вернулась в Рим.

Господин Азара[294], представитель испанского двора при папе, преподнес мне свои произведения и сочинения Винкельмана[295]. С большим удовольствием я вновь встретилась со своим другом Байерсом и кардиналом Берни и провела в их обществе гораздо больше времени, чем предполагала, так как в Рим прибыл курьер с сообщением о скором прибытии их императорских высочеств — великого князя Павла с супругой[296]. Мне было неудобно покинуть

город, когда ожидался их приезд. Разумеется, их императорские высочества прибыли лишь три дня спустя. Я им представила своих детей. В Риме они пробыли недолго, так как предполагали провести там еще некоторое время по возвращении из Неаполя. Через несколько дней после отъезда великого князя покинула Рим и я.

В Лоретто мы остановились всего на 36 часов для осмотра сокровищницы мадонны, которой меняли туалеты почти каждый день[297]. Меня восхитили чудесные изумруды в колоннах из самородного золота, пожертвованные мадонне одним из испанских королей.

В Болонье мы провели два с половиной дня и осмотрели произведения мастеров болонской школы[298]. В Ферраре мы пробыли тоже два дня. В Венеции маркиз Маруччи, наш резидент в этой республике, принял меня в своем доме, окружив роскошью. Он многим был обязан моему покойному дяде, канцлеру графу Воронцову, и я расценивала великолепие вокруг себя как выражение благодарности тщеславного Маруччи. Он только что получил от нашего правительства орден св. Анны; по этому случаю все карнизы над дверями, ворота, экипажи были украшены барельефными или рисованными изображениями знаков и лент этого ордена. Я очень благодарна маркизу за доставленное огромное удовольствие — он уступил мне две великолепные картины Каналетто[299], которыми я наслаждаюсь по сей день.

Я накупила работы первых граверов, чтобы по старинным эстампам проследить весь путь развития гравюры до той степени совершенства, какой мы восторгаемся сегодня.

Множество прекрасных картин находится в венецианских церквах и монастырях; большинство из них я посетила, используя для этих небольших поездок гондолы, невзирая на то что их внешний вид довольно мрачен. Эти прогулки, если их можно так назвать, были чудесными. Не стану описывать ни правительство, ни достопримечательности Венеции, поскольку в своих записках стараюсь щадить читателя и не пользоваться правом путешественников подробно описывать все виденное. Итак, не отступая от принятого решения, отправлюсь в Вену через Падую, Виченцу и Верону.

Мы пересекли горную часть Тироля, и дружеский теплый прием, оказанный нам нашим послом князем Дмитрием Голицыным, заставил нас позабыть о трудностях этого путешествия. Он предоставил нам все возможные удобства и развлечения, о каких мы только могли мечтать. За долгое пребывание в Вене он там совершенно освоился; его манеры вызывали в памяти представление о придворных времен Людовика XIV. Знание света и самая изысканная любезность скрашивали его заурядные способности. Его все любили, и он быстро перезнакомил нас с венским высшим обществом.

Император Иосиф никуда не выходил, по болезни глаз не вынося яркого света; думала, я его так и не увижу, хотя граф Кеглович, знавший меня еще ребенком (он почти каждый день бывал у моего дяди, будучи атташе австрийского посольства при нашем

дворе), передал мне, что его величество, с которым он проводил все вечера, выразил желание встретиться со мной, сказав нетерпеливо:

— Невероятно и нелепо: быть в Вене, когда здесь находится княгиня Дашкова — а это лицо историческое,— и не увидеться с ней.

Премьер-министр князь Кауниц[300] оставил мне визитную карточку, ничего подобного он никогда не делал. Человек надменный, превыше всего ставящий собственные удовольствия, он был избалован императрицей Марией-Терезией, которая ему многое прощала потому, что понимала: ему нет равного ни по уму, ни по знаниям политических вопросов. Император испытывал к нему большое почтение, и князь привык ни с кем и ни с чем не считаться. Во время визита в Вену папы Пия VI Кауниц, пригласив папу к обеду, не счел нужным отказываться от своих привычек и поехал в манеж упражняться в верховой езде; более того, этот господин пробыл там дольше обычного и заставил папу ждать. Кауниц явился лишь в пять часов пополудни в сапогах, с хлыстом в руке, который он использовал как указку, обращая внимание своих знатных гостей на особенно любимые им картины.

Я отдала Кауницу визит, и он пригласил меня на обед. Я приняла приглашение с условием, что он не посетует, если, не застав его светлости дома, я подожду лишь до четырех часов, а затем уеду домой, поскольку обычно не завтракаю и к тому времени буду голодна. В назначенный день я была у князя в половине четвертого. Он встретил меня в гостиной и, кажется, немного сердился на то, что я назначила час обеда, а не поставила себя в зависимость от его каприза.

За столом князь говорил только о моей родине и, когда разговор коснулся Петра I, сказал, что Россия должна быть благодарна Петру, ибо он создал наше государство. Я отвергла это утверждение и возразила, что такую репутацию создали ему иностранные писатели, во множестве приезжавшие тогда к нам; именно они из тщеславия провозгласили Петра творцом возрожденной России в надежде и самим приобщиться к его мнимой славе создателя. Задолго до рождения Петра I Россия покорила Казанское, Астраханское и Сибирское царства. Русь победила наиболее воинственный народ, известный под именем «Золотой Орды», обладавший неисчислимым количеством золота и украшавший им свое оружие. Искусство древней Руси находило убежище в монастырях, где по сей день хранятся шедевры живописи, созданные в то далекое время. Наши историки оставили больше рукописей, чем все европейские вместе взятые.

— Уже 400 лет назад, князь,— прибавила я,— разрушенные Батыем церкви были покрыты мозаикой.

— Однако, княгиня, вы не учитываете,— сказал Кауниц,— что все-таки именно Петр приблизил Россию к Европе, и мы о ней узнали лишь с этого времени.

— Великая держава, князь, с такими источниками богатства и возможностями, какими располагает Россия, не испытывает

нужды приближаться к чему-либо. Страна, столь изобильная и хорошо управляемая, как мое отечество, сама притягивает к себе все, что ей угодно. Если о России ничего не знали в те времена, о которых говорит ваша светлость, то вы извините меня, если я заключу, что это лишь доказывает невежество либо беспечность европейских государств, не знакомых со столь огромной страной. Но чтобы доказать вам, что я не испытываю никакого предубеждения против царя Петра, хочу чистосердечно изложить свои суждения относительно этого необыкновенного человека. Он был гениальным деятелем, его стремление к совершенству не знало предела, но полное отсутствие воспитания позволило его пылким страстям возобладать над разумом. Вспыльчивый, грубый и деспотичный, он со всеми без различия обходился, как с рабами, удел которых — постоянное страдание. Невежество не позволяло ему понять, что большинство новшеств, насаждаемых им с помощью насилия, со временем привились бы мирно, путем обмена, торговли и примера других стран. Если бы он не ценил столь высоко все иностранное, то не уничтожил бы бесценные особенности характера наших предков. Он не ослабил бы непреложность законов и уважение к ним, если бы не менял их так часто (даже свои собственные). Он подорвал основы Уложения своего отца[301], заменив их деспотическими законами, часто им самим же отменявшимися. Он уничтожил почти полностью свободы и привилегии как дворян, так и слуг, которые раньше могли обратиться в суд в случае крайнего притеснения. Петр ввел военизированное управление, которое, безусловно, является самым тираническим. Из мелкого тщеславия заслужить славу созидателя он торопил постройку Петербурга самыми жестокими средствами: тысячи рабочих погибли в болотах, а дворяне разорялись, вынужденные предоставлять крестьян на строительные работы и обязанные возводить для себя в Петербурге каменные дома, независимо от желания иметь их. Он построил адмиралтейство, хотя уровень воды в Неве настолько низок, что на верфях сооружают лишь корпуса военных судов, которые затем с великим трудом и расходами заключают в камели[302] и по мелководью перетаскивают в Кронштадт,— Петр не должен был этого делать, зная, что большие и сильно нагруженные корабли не смогут дойти до Петербурга. При Екатерине II город увеличился в четыре раза, здания стали намного роскошнее, и все это без насилия, поборов, не вызывая никаких неудовольствий.

Я заметила, что мои слова произвели впечатление на князя. Однако, желая продолжить спор, он сказал, что все же это, должно быть, замечательно — видеть монарха, работающего на верфи.

— Уверена, что ваша светлость не может говорить это серьезно, ибо вам известно, что время государя слишком дорого, чтобы тратить его на работу, которую мог бы выполнить и простой рабочий. Петр I мог привлечь не только плотников и строителей, но и адмиралов. Он работал в Саардаме плотником, пренебрегая государственными делами и калеча русский язык голландскими терминами, которыми буквально начинены все его указы, отно-

сящиеся к морскому делу. У него не было никакой необходимости посылать дворян за границу изучать ремесла садовников, кузнецов, шахтеров и так далее, поскольку каждый дворянин с удовольствием предоставил бы трех или более крестьян, дабы обучить их этим ремеслам.

Князь Кауниц переменил тему разговора, чему я была весьма рада, поскольку мне не хотелось высказывать ему всего, что я думала о Петре.

Мы посетили галерею и императорский музей естественной истории. Граф Кеглович передал мне, что князь Кауниц в тот же день, когда обедал со мной, сообщил императору в короткой записке содержание нашего разговора. Я ответила, что никогда не была настолько самонадеянна, чтобы считать, что столь выдающийся министр, каким является Кауниц, найдет в моих речах что-либо занятное для просвещенного монарха, и если я слишком горячо оспаривала его мнение, то лишь оттого, что равным образом люблю истину и отчизну.

Граф каждое утро осведомлялся о моих планах на день. Император еще не поправился. Накануне нашего отъезда Кеглович упорно настаивал на продлении хотя бы на несколько дней срока моего пребывания в Вене. Я отвечала, что путешествую не ради собственного удовольствия, а как мать и наставница, единственная цель которой — дать воспитание и образование сыну. Еще находясь в Италии, я обратилась к прусскому королю с просьбой разрешить моему сыну сопровождать его во время маневров, на что получила милостивое согласие, потому время мое было ограничено. Я сказала, что вечером еще раз хочу посмотреть замечательную коллекцию императорского музея, а затем поужинать у князя Голицына. Я пригласила графа прийти туда, чтобы вместе провести последние часы, поскольку на рассвете следующего дня я решила уехать.

Когда после обеда мы пришли в музей и я разговаривала с хранителем, неожиданно пришел император. На глазах у него был экран из зеленой тафты. Он наговорил мне много любезностей, но так просто и сердечно, что я совсем не смутилась, хотя и сознавала, что сказанное им слишком лестно и даже незаслуженно. Он высказал огорчение тем, что не имел возможности насладиться моим обществом, что считает для себя большой потерей. Особенно покорило меня то почтение, с каким император отзывался о нашей государыне, и это сделало особенно приятными те немногие часы, которые я провела в его обществе. Мне было предложено отобрать из коллекции любые дублетные экспонаты, а на прощание император заметил, что, зная мою любовь к естественной истории, не хочет более отнимать у меня времени. Выбор мой был весьма скромен: несколько образцов минералов Венгрии и других местностей.

Мы отужинали у нашего посла и на другой день уехали в Прагу, где задержались для того, чтобы сын мог подробно ознакомиться с австрийским военным искусством, осмотрев пражский

военный гарнизон и крепость, стоящую на страже Богемии[303]. В Праге я дешево приобрела коллекцию окаменелостей и несколько образцов мрамора, затем мы отправились в Саксонию.

Несколько дней я пробыла в Дрездене, где граф Сакен[304] устроил в нашу честь ряд роскошных празднеств. Несколько раз мы посетили великолепную картинную галерею, но коллекции графа Брюля там больше не было: ее купила Екатерина Великая, любившая и поощрявшая искусство и обогатившая Россию шедеврами живописи и скульптуры, о которых до нее никто не имел представления.

Поскольку приближалось время смотров и маневров в Пруссии, я не могла более оставаться в Дрездене и поспешила в Берлин. Королевская семья приняла меня весьма доброжелательно. Мы с удовольствием встретились с нашим дорогим князем Долгоруковым по-прежнему занимавшим пост посланника; он проявил ко мне и моим детям искреннюю любовь. Он представил моего сына министру, а с королевской семьей тот был уже знаком; в Потсдаме королевский генерал-адъютант Герц представил сына самому Фридриху Великому. Его величество был очень любезен и пригласил его присутствовать на маневрах. Вскоре король прибыл в Берлин на смотр сорокадвухтысячного войска, состоявшийся в Тиргартене.

Во время смотров король никогда не принимал дам, однако он изъявил желание меня видеть, со мной говорить, передав, что если мне будет любопытно присутствовать на смотре, то меня возьмёт супруга наследника — принцесса, там его величество и увидится со мной. Граф Финкенштейн получил приказ объяснить принцессе, где и когда король подойдет ко мне. В назначенный день, который с полным основанием можно назвать для меня лестным, принцесса (впоследствии королева Пруссии) заехала за мной в гостиницу. Каково же было мое удивление, когда карета остановилась и принцесса произнесла:

— Выходите, дорогая княгиня, здесь дядюшка встретит вас, а я прокачусь: у меня нет никакого желания видеть старую образину.

Я очень обрадовалась, когда, выйдя из кареты, увидела ожидавшего меня князя Долгорукова. Полчаса спустя король, еще не распустив войска, подъехал ко мне, слез с лошади и, сняв шляпу, заговорил со мной, к величайшему изумлению всей армии: он никогда не разговаривал с женщиной во время смотра. Когда король уехал, за мной вернулась принцесса. На следующий день я ужинала у королевы, которая, как и вся королевская семья, относилась ко мне не только благосклонно, но сердечно, как к старой знакомой. За ужином принцесса сказала, что я войду в историю как личность, для которой король сделал исключение из правила.

Вскоре сын уехал с королем на маневры. Я с сожалением покинула Берлин, но очень торопилась увидеть сына; когда я въезжала в ворота города***[305], король как раз выезжал из них. Его величество тепло меня приветствовал, а потом сказал князю Долгорукову, что только такая заботливая мать, как я, могла так точно рассчитать время и не опоздать ни на минуту на встречу с сыном. Сын был вполне здоров, в восторге от короля и воздавал

должное прусскому военному искусству, которое старался изучить.

Отдохнув, мы на следующий день отправились в Кенигсберг; встреченный там генерал Мелендорф уверял меня, что король отзывался о моем сыне как о молодом человеке, обещающем отличиться в военном деле. Позже я узнала, что он то же самое написал своему посланнику в Петербурге.

Несколько дней спустя мы через Мемель поехали в Ригу. Тамошний генерал-губернатор мистер Броун[306] убедил меня провести два дня в этой столице Ливонии, где чтилось имя моего отца. В Сенате он всегда защищал интересы своих собратьев и с успехом боролся за некоторые их идеи. Он был слишком просвещен и благороден, чтобы желать ликвидации привилегий ливонского дворянства на том основании, что русское дворянство было их лишено. При императрице Елизавете ливонское дворянство приняло моего отца в свой орден. Екатерина Великая восстановила все наши права, уравняв таким образом русское и ливонское дворянство.

Покинув Ригу и останавливаясь по пути только на ночлег, мы без всяких приключений прибыли в Петербург. Так закончилось путешествие, которое я осмелилась предпринять (невзирая на скромный доход) ради образования и воспитания сына. Я не сделала других долгов, кроме тех, какие могла оплатить, живя несколько лет уединенно в деревне, что и намеревалась сделать.

Часть II

В 1782 году я приехала в С.-Петербург и, не имея дома в городе, поселилась на своей даче в Кирианове, в четырех верстах от столицы. Моя сестра, госпожа Полянская, с дочерью[1] сразу же приехала повидаться со мной. Из родных она одна жила в Петербурге. Мой дорогой отец был генерал-губернатором Владимира, или, точнее, наместником двух губерний[2], губернаторы которых находились в его подчинении.

Спустя два дня после приезда, узнав, что князь Потемкин ежедневно бывает по соседству у своей племянницы графини Скавронской, хворавшей после родов, я послала слугу сказать его светлости, что желала бы дать ему маленькое поручение и прошу прислать ко мне одного из его племянников, так как не хочу передавать суть дела через постороннего человека. На следующий день князь Потемкин приехал сам, но в это время я с детьми находилась у графа Панина. Мне было очень досадно, что мы не встретились.

Еще через день он прислал ко мне генерала Павла Потемкина[3]. Я поручила ему просить князя ходатайствовать перед императрицей о дозволении мне приехать в Царское Село и представить ей своих детей (без особого разрешения приезжать туда не полагалось). Кроме того, я просила узнать, есть ли ответ Военной коллегии на прошение фельдмаршала графа Румянцева о назначении моего сына князя Дашкова его адъютантом, а также сообщить мне, какой чин в армии имеет мой сын в настоящее время.

Спустя еще два дня Павел Потемкин приехал сказать, что князь, его дядя, доложил о моем прибытии ее величеству, и она милостиво повелела мне приехать с детьми в Царское Село в первое же воскресенье к обеду с тем, чтобы там и узнать от князя Потемкина все имеющее отношение к моему сыну.

Я не смогла воспользоваться высочайшим разрешением, так как накануне сын заболел сильнейшей горячкой. Он бредил всю ночь. В растерянности и опасениях за его жизнь я забыла про свой ревматизм и всю ночь оставалась босая возле его постели. Единственное, что я заставила себя сделать, это повидаться с Павлом Потемкиным, поскольку дело касалось императрицы и у меня была надежда узнать что-нибудь относительно служебного

продвижения сына. Вообще же я не хотела никого принимать, кроме моей сестры госпожи Полянской.

На четвертый день превосходный врач, добрый господин Роджерсон, объявил, что горячка прошла и сын вне опасности. В ту же ночь мой ревматизм поднялся в кишки и я сама оказалась на краю гибели, от которой была спасена тем же доктором Роджерсоном.

Так как он каждое воскресенье ездил в Царское Село, я поручила ему сообщить императрице о том, что произошло со мной и сыном и помешало мне воспользоваться ее милостивым разрешением приехать. Мое выздоровление затянулось более чем на две недели и было мучительным, потому что болезнь то оставляла меня, то возвращалась снова. С тем бо́льшим нетерпением относилась я к этим страданиям, что из-за них откладывалась поездка в Царское Село и, следовательно, повышение в чине и устройство судьбы сына, который, благодарение богу, был уже совершенно здоров.

Мне стоило больших усилий поехать, наконец, в Царское Село. Я была еще очень слаба и, когда карету встряхивало чуть сильнее, вновь чувствовала боль во всех внутренностях, обливалась холодным потом и приказывала остановиться, чтобы передохнуть. Но чего не вынесет материнская любовь!

В Царское Село мы приехали перед обедней. Когда императрица проходила через залу, где перед тем, как идти в церковь, находились придворные, она подошла ко мне, сказала несколько любезных слов и выразила удовольствие по поводу моего возвращения в Россию. Как статс-дама я могла представить ей свою дочь сама; моего сына представил дежурный камергер.

Хотя радость встречи с государыней и ее благосклонный прием меня воодушевили, заставив забыть о моем нездоровье, все же слабость оставалась, и во время следования в церковь (которая находилась в другом конце дворца) я не могла достаточно быстро идти за императрицей. Она была так добра, что ради меня замедляла шаг, а иногда останавливалась, чтобы поговорить со мной.

По выходе из церкви я чувствовала себя чрезвычайно усталой и еще менее способной поспевать за ее величеством — между нами образовалось расстояние в целую комнату. Я просила тех из свиты, кто по своей учтивости замешкался, считая себя не вправе опережать меня, не задерживаться и продолжать свой путь.

Когда мы пришли в большую залу, ко мне подошел князь Потемкин и спросил, что ему надлежит сделать для моего сына и в каком чине он сейчас при армии.

— Государыня знает, каковы мои желания,— ответила я.— Что же касается чина, то вы, князь, в качестве военного министра должны это знать лучше меня: уже двенадцать лет, как он произведен в прапорщики кирасирского полка с приказом ее величества о повышении по мере наступления его очереди. Мне неизвестно, исполнено ли это. Фельдмаршал граф Румянцев обратился в Военную коллегию с просьбой назначить моего сына его адъютантом; сделано ли это, я также не знаю.

Князь отошел и тотчас же уехал в город, что меня немного обеспокоило.

Подошедший в это время гофмаршал сообщил о распоряжении императрицы, чтобы я и мои дети обедали с нею. Это приглашение выглядело странным, потому что с тех пор, как Петр I переделал наш этикет на немецкий лад, те или иные преимущества зависели только от военного чина и мой сын, всего лишь прапорщик, не мог иметь чести обедать с государыней. Позднее я узнала, что, когда гофмаршал спросил у императрицы, как ему следует поступить в отношении князя Дашкова, она ответила:

— Он, конечно, будет обедать со мною.

Я задержалась в комнате, смежной с той, в которой ее величество до обеда играла в шахматы. Проходя через эту комнату в столовую, она приблизилась ко мне и сказала очень громко, очевидно, чтобы все присутствующие услышали ее:

— Я хотела, чтобы сегодня ваш сын, хотя он еще прапорщик, обедал со мной, дабы доказать, что к вашим детям всегда буду проявлять особое расположение.

Эти немногие слова глубоко тронули и обнадежили меня. В самом деле, только она могла с такой тонкостью и деликатностью придать забытому ей обещанию о повышении в чине моего сына столь лестный оборот.

За столом я сидела рядом с императрицей. В продолжение всего обеда она со мной говорила и была очень внимательна ко мне. Я чувствовала себя хорошо и бодро, но ничего не ела. Государыня это заметила и сказала:

— Для вас приготовлены комнаты, в которых вы могли бы отдохнуть.

После обеда я отправилась туда и вскоре поняла, что ошиблась, сочтя себя здоровой и крепкой; пришлось разжечь огонь в камине, потому что мне было холодно и вновь ощущались внутренние спазмы.

Во время вечерней прогулки императрицы я сопровождала ее. Она была так добра, что замедляла свой обычный шаг и время от времени садилась, заставляя тем и меня присаживаться рядом. По окончании прогулки я вернулась в город, боясь оставаться больной в Царском Селе.

На следующий день, по распоряжению ее величества, мне прислали копию указа, которым мой сын производился в чин штабс-капитана гвардии Семеновского полка, что давало ему звание подполковника[4]. Наша радость была беспредельна. Некоторое время я еще чувствовала себя больной и слабой, но хорошая погода и спокойствие духа восстановили мои силы быстрее, чем можно было надеяться.

Вскоре, ранее обыкновенного, двор возвратился в Петербург. Я поехала к императрице, чтобы поблагодарить за повышение в чине моего сына. Она приняла меня благосклонно и пригласила приехать через день на спектакль в Эрмитаже. Очень немногие имели туда доступ, так как новые помещения, известные под этим назва-

нием, только еще достраивались, и поэтому театр был невелик[5].

На следующий день я поехала с детьми обедать к первому министру графу Панину. Его поместье находилось не очень далеко от моего, почему я и решилась на эту поездку. После обеда адъютант князя Потемкина привез письмо для меня, в котором по поручению императрицы князь сообщал, что так как она взяла за правило не раздавать более казенных земель, то желала бы оплатить имение, выбранное мной для покупки.

Высказав князю мою глубокую признательность, я прибавила, что мне крайне неприятно делать выбор самой и, как ни малы мои владения, я умоляю ее величество избавить меня от необходимости выбирать, ибо буду вполне довольна любым пожалованием.

Двумя днями позже было получено еще одно письмо князя. Он уведомлял, что казенные земли в Белоруссии государыня за казной сохранить не стремится, а, напротив, желает, чтобы они находились в руках и под управлением русских дворян, и, если бы я захотела получить там землю, то есть еще владения, которыми императрица пока не распорядилась. Он советовал мне выбрать одно из них, поскольку почвы там плодороднее, чем в России.

Я ответила, что позволю себе единственное возражение против земельного владения в Белоруссии. У меня давно сложилось твердое убеждение: если владельцы наследственных родовых имений и крестьян ответственны перед правительством за управление ими и обязаны по крайней мере не ухудшать их положения, то эти обязательства тем более распространяются на владельцев крестьян, пожалованных государем. В течение двадцати лет я управляла имениями своих детей и была удовлетворена наглядными доказательствами того, что мое управление сделало их крестьян трудолюбивее, богаче и счастливее, чем прежде. Я решила и впредь руководствоваться избранными мной принципами, но не могла надеяться на столь же утешительный результат с крестьянами — полуполяками, полуевреями, ни обычаев, ни языка которых не знаю.

Короче говоря, мы обменялись с князем еще одним-двумя письмами (он выказывал мне внимание и снисходительность, мало ему свойственные), и в заключение я объявила, что всякая земля, какую ее величеству угодно будет мне пожаловать, явится наградой нежданной и, может быть, мало заслуженной.

Через несколько дней я получила письмо первого секретаря императрицы графа Безбородко, к которому он присоединил копию указа, коим ее величество жаловала мне местечко Круглое с угодьями и 2500 крестьян. Это имение принадлежало гетману Огинскому[6] и было весьма значительным, так как располагалось по обоим берегам реки Друцы. При первом разделе Польши и присоединении к России бывшей великорусской провинции Белоруссии по этой реке была установлена граница[7]. Вследствие этого большая часть земель, лесов, многие местечки и деревни, принадлежавшие Огинскому и находившиеся на другом берегу, остались в Польше. Но никто не посчитал необходимым довести это до сведения ее

величества. Она осталась в убеждении, что ко мне перешло все графство Круглое и что сделанное мне пожалование не уступало тем, которые она уже делала своим министрам и некоторым вельможам.

Я поехала в город, чтобы поблагодарить императрицу, и часто потом, когда уже хорошо знала Круглое, вспоминала, как она сказала, *что очень рада подарить мне столь значительное имение, которым неблагодарный Огинский не достоин был владеть**.

Как же я была удивлена, когда, поехав туда в следующем году, увидела крестьян, мало похожих на людей — грязных, нечистоплотных до крайности, ленивых и, несмотря на бедность, чрезвычайно пристрастившихся к пьянству. Я убедилась, что нет даже топлива и для того, чтобы работал маленький винокуренный завод, нужно обращаться за дровами к соседям. Не было и никакого водного сообщения для перевозки припасов, если бы таковые имелись.

Приблизительно на десять душ обоего пола приходилось только по одной корове и на пятерых крестьян по одной лошади. Кроме того, из 2500 душ, включая новорожденных младенцев, недоставало 167, которые отсутствовали потому, что под правлением...[8] или под управлением казны лица, поставленные во главе казенных имений, высасывают из них все, что могут. По этой причине самые несчастные крестьяне в России — это крестьяне, принадлежащие государю.

Я имела право, не беспокоя императрицу, обратиться в Сенат, чтобы восполнить недостающее число крестьян в соответствии с указом о пожаловании, сделанном мне ее величеством. Я промолчала, не предприняв этого, но в течение двух лет отложила капитал, для меня в то время значительный, на улучшение дел в Круглом.

Гофмаршал сообщил мне, что императрица желала бы видеть меня на концертах, которые давались во внутренних покоях дворца и посещать которые даже статс-дамы могли лишь по особому приглашению**. На следующий день я поехала туда. Как только императрица заметила меня, она подошла со словами:

— Как, вы здесь совсем одна?!

Я ничего не поняла в этой фразе.

— Вы без своих детей,— пояснила она,— а мне не хочется, чтобы вы скучали.

После этого я обрела дар речи, утраченный вначале, и поблагодарила ее величество с сердечностью, которую она заметила.

---

* Он был откровенным недругом России и, хотя имел большие обязательства перед императрицей, позволял себе враждебные выходки и даже отказался принести присягу в качестве русского подданного как владелец земель в Белоруссии.

** Я привожу эти анекдотические случаи, дабы показать, что то, чем меня щедро наделяли, могло вызывать зависть, но не имело реальной ценности; все это создавало врагов при дворе, хотя мое состояние всегда оставалось даже ниже среднего.

Не имея дома в Петербурге и желая поберечь деньги для сына, дабы быть в состоянии материально его поддерживать, я продлила, сколько могла, пребывание в деревне, иначе пришлось бы платить еще за наем дома. Однажды императрица спросила меня, продолжаю ли я жить за городом. Получив утвердительный ответ, она сказала, что, оставаясь глубокой осенью в доме, который, как ей известно, был поврежден большим наводнением, случившимся перед моим возвращением в Россию, я очень рискую своим здоровьем. Боясь рассердить меня, как выразилась государыня, она хотела бы все же напомнить, что земля у меня болотистая*, а это грозит обострением ревматизма, и что она купила бы для меня дом герцогини Курляндской, если бы не решила предоставить выбор мне самой.

— Прошу вас,— прибавила она затем,— осмотрите этот дом, и, если он подойдет вам, я велю оплатить его стоимость.

Выразив ее величеству мою признательность, я обещала в течение недели осмотреть несколько домов, не обнаруживая при этом намерения купить какой-либо из них, дабы владельцы не подняли цену. Из двух осмотренных мной домов — герцогини и госпожи Нелединской — первый был больше, богато и изысканно обставлен и расположен на более красивой улице; второй находился на Мойке, мебель в нем была проще. Первый дом стоил 68 тысяч, второй — 40 тысяч рублей. Я остановилась на последнем и сказала госпоже Нелединской, что собираюсь его купить, но окончательный ответ дам через неделю, и что надо сделать опись мебели, количество которой, надеюсь, не будет уменьшено. Она мне это обещала.

Приехав туда по истечении назначенного срока, я была крайне удивлена тем, что госпожа Нелединская уже выехала и почти вся мебель исчезла. Я спросила опись мебели у лакея, единственного существа, оставшегося в доме. Он сказал, что ее не делали.

Князь П. Голицын из своих окон видел, как всю эту неделю Нелединская занималась перевозкой вещей в нанятый ею дом. Неожиданный ее поступок возмутил меня, но я решила принять происшедшее как наказание за мое простодушие и чрезмерную доверчивость и покорилась.

Не поднимая шума, не посвящая публику в тайну моей наивности и недобросовестности этой дамы, я велела сказать ей, что, поскольку она не выполнила условий взаимного соглашения, не считаю себя обязанной покупать ее дом, но, так как сама она выехала, готова нанять его на год, за 4 тысячи рублей, которых ей никто за это не предложил бы.

Впрочем, я надеялась договориться через князя Потемкина с императрицей о том, чтобы вместо подарка дома она оказала мне другую милость, более дорогую моему сердцу,— назначила

* Намек, имевший отношение к одному из ее писем, написанному в апреле 1762 года, когда я схватила насморк и лихорадку, увязнув в еще не просохшем грунте. Письма ее величества будут изданы после публикации этих мемуаров[9].

фрейлиной дочь моей сестры Полянской. Это было самым горячим желанием сестры, особенно с тех пор, как некая особа, обещавшая помочь ей, использовала свое влияние, чтобы добиться этой чести для одной из своих невесток.

При новом нашем свидании императрица спросила, выбран ли мною дом.

— Я наняла один из них,— был мой ответ.

— А почему же не купить его? — возразила она.

— Потому что,— сказала я, смеясь,— покупка дома так же серьезна, как выбор мужа, и тут нужно не один раз подумать!

Эта маленькая сделка доставила мне внутреннее удовлетворение. Я считала, что могу быть довольна собой, хотя не было конца вопросам, каким образом Нелединская обманула меня и почему я вообще отказалась от покупки дома, так как уже знали, что Кабинет имел приказ заплатить за тот, который я пожелаю выбрать.

Некто, кого я не хочу называть, говоривший со мною искренне, сказал:

— Колеблясь принять предложение купить дом, вы можете быть обмануты двором так же, как были обмануты госпожей Н[елединской]. Немногие знают ваши мотивы, и еще меньше тех, кто сумеет их оценить.

В ответ я рассказала историю одного глупого немецкого барона, который имел страсть говорить по-французски, хотя язык знал очень плохо. Когда ему замечали, что он изъясняется слишком невнятно, барон неизменно отвечал:

— *Не все ли мне равно? Сам себя я хорошо понимаю.*

Это был мой постоянный ответ на подобные речи, тем более докучные, что некоторые особы старались вложить в них обидный иронический смысл.

Вскоре я поехала устраиваться в городе и, рассмотрев поближе дом Нелединской, сочла, что ничего не потеряла, не сделав этого приобретения.

Все шло хорошо, я была спокойна. Князь Потемкин обещал, что высказанные мной пожелания относительно моей племянницы Полянской будут исполнены, но посоветовал не медлить с покупкой дома, иначе ее величество в конце концов подумает, будто я не собираюсь оставаться в Петербурге.

Осмотрев дом покойного придворного банкира Фридерикса[10], я условилась с его вдовой о цене, которая вместе с налогами за продажу и всеми другими расходами не превышала 30 тысяч рублей, и попросила у императрицы позволения купить этот дом. Она ответила, что уже давно приказала Кабинету оплатить мою покупку. Надо сказать, государыня действительно желала, чтобы я сделала более роскошный выбор, и поэтому спросила, какие причины побудили меня предпочесть этот дом дому герцогини Курляндской, который она мне предлагала. Полагая, что моя деликатность может показаться неуместным позерством, я сказала, что дом Фридерикса расположен на Английской набережной, где я родилась,

а ее величество заставила меня любить день моего рождения — вот почему мной выбран этот квартал.

Я действительно стала жертвой своей деликатности, ибо в купленном мной доме не было никакой мебели. И хотя своим выбором мне удалось сберечь ее величеству половину суммы, которую пришлось бы уплатить в случае покупки дома, предложенного ею, все же я не проронила ни слова о том, что придется приобретать обстановку. Мебель я выбирала очень простую, но удобную и только самую необходимую. Тем не менее это увеличило мой долг на 3 тысячи рублей. Однако ведь не в первый и не в последний раз я попадала впросак благодаря своему бескорыстию, и мне оставалось лишь молчать и примириться со своей участью.

Фаворит генерал Ланской был со мною не более чем вежлив, а если иногда проявлял какое-то внимание, то было совершенно очевидно, что это подсказано ему императрицей. По приезде графа Андрея Шувалова[11], который вскоре стал его угодливым псом, Ланской при всяком удобном случае стал выказывать в отношении ко мне подчеркнутое недоброжелательство. Князь Потемкин, напротив, относился с большим уважением и, казалось, желал снискать мою дружбу. Однажды он сказал мне, что ее величество, узнав о моих долгах, пожелала не только заплатить их, но, во избежание новых, закончить на свои средства строительство моего дома в Москве, меблировать его и сделать пригодным для жилья без дополнительных расходов с моей стороны.

Я настойчиво просила князя Потемкина отговорить императрицу от этого, но вместе с тем напомнить о самом горячем моем желании — относительно моей племянницы Полянской,— которое я уже осмеливалась ей высказывать. Встречаясь каждый день с сестрой, видя ее всегда грустной и считая себя, быть может, причастной к ее падению в 1762 году, я была не в состоянии избавиться от тяжелого впечатления, которое не могли сгладить все благодеяния ее величества, оказанные мне.

Назначение моей племянницы фрейлиной затягивалось. Наконец, наступило 24 ноября, день тезоименитства ее величества и моих именин. После большого придворного бала я не последовала за императрицей в ее апартаменты, для того чтобы закончить там вечер. Заметив одного из адъютантов Потемкина, я обратилась к нему с просьбой передать князю, что не двинусь из залы, пока не получу от него подарка в виде копии указа о включении моей племянницы в число фрейлин, столь давно ожидаемом мной. Полагаю, что остававшиеся еще в бальной зале были очень удивлены, увидев меня там после того, как двор удалился. Если бы они знали о мотивах и результатах моего поведения, то назвали бы меня еще и простофилей*.

* Я имею в виду мой отказ от предложения императрицы взамен исполнения желания моей сестры, в результате чего ни строительство московского дома, ни мой долг не были ею оплачены, и когда я решила уехать из Петербурга, то продала дом, который там имела, чтобы вернуть долг банку. Однако я никогда не пожалела о том, что сделала для своей сестры.

Прошел долгий час; наконец, появился адъютант с бумагой в руке. Это был указ о назначении моей племянницы фрейлиной. Не помня себя от радости, я с быстротой молнии покинула дворец. Зная, что сестра ужинает у нашего двоюродного брата графа Воронцова, я поехала туда и стала свидетельницей полного восторга по поводу привезенного мной доброго известия.

В следующем месяце при дворе снова давали бал по случаю какого-то праздника. Императрица, обойдя статс-дам и иностранных посланников и сказав что-нибудь каждому, вернулась ко мне со словами:

— Я хотела бы поговорить с вами.

— Всегда готова выслушать ваше величество с глубочайшим вниманием.

— Сейчас это невозможно,— сказала она.

— Тогда где и когда вы прикажете, ваше величество,— ответила я.

Она отошла, поговорила еще кое с кем из иностранных дипломатов, которые располагались по другую сторону комнаты, а затем, остановившись посреди маленького кружка между этих двух рядов, встретилась со мной взглядом и сделала знак приблизиться. Я как будто с неба свалилась, когда ее величество сказала, что хотела бы предложить мне место директора Академии Наук. Удивление лишило меня дара речи, и императрица успела наговорить много лестного, а также выразила надежду, что сумеет склонить меня к согласию.

— Нет, государыня, я не могу принять должности, превышающей мои способности,— отвечала я.— Если вы не смеетесь надо мной, то скажу, что, помимо многих других причин, именно преданность вам не позволяет мне подвергать себя риску стать смешной и даже достойной порицания в случае такого вашего выбора!

Чтобы переубедить меня, императрица слукавила, сделав вид, будто предполагает, что я больше не люблю ее и оттого не хочу исполнить ее желание.

Все, кто имел честь быть близким к ее величеству, знают, что она в полной мере обладала красноречием, очарованием и проницательностью, необходимыми для того, чтобы привлечь к себе или в чем-то убедить любого из приближенных. В отношениях со мной у нее не было надобности использовать свое искусство, так как моя преданность, столь же нерушимая, сколь бескорыстная, заставляла меня повиноваться ей во всем, что не задевало моих принципов. Но на этот раз она успеха не добилась.

— Поставьте меня во главе ваших прачек,— сказала я ей,— и вы увидите, с каким усердием я буду служить вам.

— Это вы смеетесь надо мной, предлагая себя на должность, столь для вас низкую!

— Ваше величество, все-таки вы еще не вполне меня знаете: я достаточно горда, чтобы считать, что любая порученная вами должность возвысится, когда я займу ее. Как только я возглавлю ваших прачек, это место станет весьма достойным в глазах двора,

и мне начнут завидовать. Я не умею ни стирать, ни отбеливать белье, но ошибки, допущенные мной по незнанию этого дела, последствий иметь не будут, тогда как всякая ошибка, совершенная директором Академии Наук, неизбежно окажется серьезной и навлечет нарекания на государя, его избравшего.

Ее величество опять возразила мне, предложив припомнить тех, кто исполнял эту должность ранее[12], чтобы убедиться в том, что их способности были много ниже моих. На это я ответила:

— Тем хуже для тех, кто так мало себя уважает, что берется за дело, к которому не способен.

— Оставим это, наконец,— сказала императрица.— Все глаза обращены на нас, а ваш отказ еще больше убеждает меня, что я не могла сделать лучшего выбора.

Этот разговор привел меня в лихорадочное состояние, и, вероятно, мой вид красноречиво о том свидетельствовал, так как, вернувшись на свое место, я заметила удовлетворение на лицах некоторых дам: они сочли происшедшую сцену неприятной для меня. Старая графиня Матюшкина, которая никогда не стеснялась задавать вопросы, спросила, что означал этот загадочный и длинный разговор между мной и ее величеством.

— Вы видите, графиня, мое волнение,— ответила я,— причиной тому доброта императрицы и ее слишком высокое мнение обо мне.

Я с нетерпением ждала конца бала, чтобы в тот же вечер написать ее величеству и более твердо мотивировать свой отказ.

Тотчас по возвращении домой письмо было написано. Оно могло бы рассердить другого государя, так как я позволила себе высказать мысль, что частная жизнь монарха иногда ускользает от пера историка, но сделанный им плохой или вредный выбор не остается незамеченным. Сам господь бог, создавая меня женщиной, писала я, тем самым избавил меня от должности директора Академии; признавая себя невежественной в науках, я никогда не стремилась быть причисленной к какому-нибудь ученому обществу, даже к обществу Аркадии в Риме[13], честь вступления в которое можно было купить за несколько дукатов.

Письмо было окончено уже около полуночи — слишком поздно, чтобы отправлять его императрице. Но, страстно желая скорее покончить со всем этим и добиться отказа государыни от идеи, казавшейся мне буквально абсурдной, я поехала к князю Потемкину, хотя никогда прежде не переступала порог его дома. Я велела доложить о себе и сказать, что даже если князь в постели, я хочу видеть его по очень важному делу. Потемкин действительно уже лег. Я рассказала о происшедшем и в ответ услышала, что он все знает от ее величества и что императрица чрезвычайно увлечена мыслью поручить мне управление Академией Наук.

— Но я не хочу и не могу, не погрешив против себя самой, принять это предложение,— возразила я.— Вот написанное мной письмо. Прочтите, князь, затем я его запечатаю и оставлю вам, чтобы завтра вы приказали передать его императрице, как только она проснется.

Прочитав письмо, князь Потемкин разорвал его на четыре части. Я задохнулась от удивления и гнева:

— Как вы смеете, милостивый государь, рвать письмо, адресованное ее величеству?! — воскликнула я.

В ответ он сказал:

— Выслушайте меня, княгиня, прежде чем негодовать. Вы любите императрицу, в этом никто не сомневается; почему же вы хотите рассердить и огорчить ее? Я уже говорил вам, что последние два дня она только об этом и мечтает.

Впрочем, вот перо,— если вы не хотите позволить переубедить себя, то написать заново — небольшой труд. Я говорю с вами как человек, вам преданный, и хочу прибавить, что ее величество видит в этом назначении вполне естественное средство приблизить вас к себе и удержать в С.-Петербурге: ей наскучили дураки, которые ее окружают.

Я перестала сердиться на князя — продолжительный гнев был не в моем характере — и сказала, что напишу более умеренное письмо, а утром отошлю его со своим камердинером во дворец для передачи императрице, но прошу поддержать меня в попытках изгнать из помыслов ее величества эту нелепую идею. Прощаясь, я выразила надежду на посредничество князя и в будущем.

Я была так взволнована, что, вернувшись к себе, принялась писать, даже не раздеваясь, и просидела в придворном платье до самого утра в размышлениях обо всем случившемся накануне. В семь часов я послала с письмом своего слугу и в ответ получила записку императрицы, в которой говорилось, что я очень рано встаю, было много любезных слов, но ничего положительного о принятии моего отказа.

К вечеру мне принесли письмо от графа Безбородко вместе с копией уже направленного в Сенат указа о моем назначении директором Академии Наук. Тем же указом упразднялась комиссия, созданная недавно для управления Академией в связи с жалобами профессоров и других служащих на господина Домашнева[14].

Ошеломленная, смущенная, я велела никого не принимать и, быстро расхаживая по гостиной, обдумывала все трудности и треволнения, которые сулила мне эта должность; хуже всего было то, что я предвидела даже несогласия по разным поводам между мной и императрицей.

В письме графа Безбородко, кроме прочего, говорилось также следующее: «Ее величество приказала мне уведомить вас, княгиня, что вы можете обращаться к ней со всеми делами, касающимися того учреждения, в управление которым вступаете, и что она всегда готова устранить любые препятствия и затруднения, какие могут вам встретиться». Итак, меня заставили тащить совершенно неисправный плуг и при этом лишили помощи вышеупомянутой комиссии[15].

На свой страх и риск вместе с копией указа я отправила в канцелярию Академии распоряжение сохранить еще на два дня прежнее управление, но незамедлительно прислать мне сведения

об отделах, деятельность которых связана с типографией, словолитней и т. д., сообщить имена хранителей библиотеки и различных кабинетов. Лицам, стоявшим во главе некоторых из этих отделов, надлежало прислать мне на следующий день обстоятельный отчет о том, что им было поручено и чем они занимались.

Одновременно я обратилась к комиссии[16] с просьбой представить все необходимые сведения, а также инструкцию или другие бумаги, содержащие предписания об обязанностях директора, дабы знать их прежде, чем что-либо предпринимать. Наконец, я просила этих господ поверить в то (и заверить в том своих коллег), что считаю своим долгом оказывать им все уважение, какого заслуживают их познания и таланты. Я льстила себя надеждой, что, поступая таким образом, смогу на первых порах избежать каких-нибудь больших глупостей.

Утром следующего дня я отправилась в туалетную императрицы, где собирались ее секретари и лица, возглавляющие различные ведомства, для получения распоряжений. Как же я была удивлена, встретив там и господина Домашнева! Он подошел ко мне и выразил готовность объяснить мои обязанности. Изумленная его бесстыдством, я сказала насколько могла вежливо, что первейшей своей обязанностью считаю заботу о славе и процветании Академии и буду беспристрастна к ее членам, таланты которых станут мерилом моего уважения, а в затруднительных случаях прибегну к просвещенному мнению ее величества, которая обещала мной руководить.

В тот момент, когда он что-то отвечал мне, императрица приоткрыла дверь, но, увидев нас, сейчас же ее закрыла и позвонила в колокольчик. Дежурный камердинер быстро вошел к ней. Вернувшись, он сообщил, что государыня приказывает мне пройти в ее комнату.

— Очень рада вас видеть,— сказала императрица.— Пожалуйста, поведайте, о чем могло толковать с вами это животное — Домашнев?

— Он, ваше величество, давал мне кое-какие советы относительно того, как себя вести в новой должности, при исполнении которой я все равно окажусь невежественнее его, даже если буду осторожнее вести дела, чтобы не породить подозрений в нечестности. Не знаю, должна ли я благодарить ваше величество за этот очевидный знак хорошего мнения обо мне или выразить соболезнование по поводу сделанного вами необычного шага, в результате которого я стала господином директором наук.

Императрица уверила меня, что не только довольна, но и горда своим выбором.

— Это очень лестно, ваше величество,— сказала я, — но вам скоро надоест водить слепого: ведь во главе наук вы поставили человека, совершенно не сведущего в науках.

— Перестаньте смеяться надо мною,— ответила государыня,— надеюсь, вы в последний раз говорите со мной таким образом.

Выйдя из комнаты императрицы, я встретила гофмаршала, сообщившего мне, что ее величество вчера вечером приказала в

случае моего приезда сегодня утром пригласить меня к обеду за ее маленький стол и объявить, что впредь я могу с ней обедать, когда пожелаю, но при этом не должна стеснять себя; она же будет рада каждому моему приезду.

Одни поздравляли меня с особым уважением, которое императрица только что мне засвидетельствовала, поставив во главе столь важного учреждения; другие же, видя меня довольно грустной, имели деликатность не обременять своими поздравлениями. Но в общем все мне завидовали, и тем более потому, что ведь неловкое поведение при дворе делало меня в глазах многих существом вполне второстепенным.

На следующий день (это было воскресенье) ранним утром мне нанесли визит все профессора, заведующие отделов и служащие Академии. Я сказала, что завтра приеду в Академию, и если кому-нибудь понадобится сообщить о своих делах и нуждах, то прошу приходить в удобный для них час и входить ко мне без доклада.

Вечером я занималась чтением представленных отчетов и старалась разобраться в том лабиринте, куда мне предстояло вступить, понимая, что малейшая моя ошибка станет известна и даст повод к разговорам. Я старалась также запомнить имена наиболее видных хранителей и служащих.

На следующий день, прежде чем отправиться в Академию, я поехала с визитом к великому Эйлеру[17]. Называю его великим, потому что он, бесспорно, был самым крупным геометром и математиком наших дней. Кроме того, он хорошо знал и другие науки, был трудолюбив и, даже когда потерял зрение, продолжал заниматься исследованиями и делать открытия. Свои сочинения он диктовал мужу внучки, господину Фуссу[18], и оставил после себя материалы, на несколько лет обогатившие Комментарии, которые издавала Академия[19].

Недовольный, как и все остальные, он уже давно не ездил в Академию и ни во что не вмешивался, за исключением тех случаев, когда Домашнев изобретал какие-нибудь разрушительные мероприятия. Тогда он вместе с другими подписывал протест, а иногда даже сам писал императрице.

Я попросила Эйлера поехать со мной в Академию, по крайней мере в этот раз, обещая, что в будущем не стану настаивать на его присутствии. Мне хотелось, чтобы в научную конференцию при моем первом появлении я была введена им. Кажется, ему польстило особое внимание, проявленное мною. Мы были давно знакомы, и, смею сказать, будучи еще очень молодой, за 15 лет до моего директорства, я уже пользовалась его уважением.

Он сел в мою карету; для сопровождения знаменитого слепого я пригласила туда же его сына[20], непременного секретаря академической конференции, господина Фусса, внука почтенного старца.

Войдя в залу заседаний, я сказала собравшимся там профессорам и адъюнктам, что, не имея отношения к учености, не могла найти более торжественного способа выразить свое уважение к

наукам и просвещению, чем быть введенной в Академию господином Эйлером.

Произнося стоя эти немногие слова, я заметила, что господин Штелин[21], профессор аллегории, который имел чин действительного статского советника, соответствовавший чину генерал-майора*, занял место возле кресла директора и, видимо, собирался, по своему рангу, изображать первое лицо после меня. Тогда, обратившись к господину Эйлеру, я предложила ему сесть, где он пожелает, так как любое место, которое он займет, всегда будет первым. Не только сын и внук были растроганы и обрадованы моими словами, у всех профессоров, питавших глубокое уважение к почтенному старцу, на глазах блеснули слезы.

Из залы заседаний я прошла в канцелярию, где находились служащие, которые вели записи по хозяйственным и денежным делам. Я сказала им, что публике известно о многих злоупотреблениях, имевших место при бывшем директоре, вследствие чего Академия не только не располагает средствами на экстраординарные расходы, но еще и обременена долгами. Отныне наша общая обязанность, подчеркнула я, навести порядок, а самый действенный способ для достижения результата — ничего не присваивать и не расточать из того, что принадлежит Академии; я твердо решила не пользоваться ничем для себя и, конечно, не позволю этого своим подчиненным. Таким образом, самое лучшее для каждого из нас — воздерживаться от какой-либо предприимчивости в свою пользу. При строгом соблюдении этого принципа я найду возможность вознаградить усердие и повысить жалованье тех, кто заслужит.

Комментарии, выходившие раньше *ежегодно* по два тома in quarto, а затем *по одному* тому, теперь не печатались вовсе из-за недостатка шрифтов. Типография находилась в совершенном беспорядке и была плохо оборудована. Я очень скоро привела ее в хорошее состояние, достала прекрасные шрифты и выпустила в свет два тома Комментариев, бо́льшую часть которых составляли статьи, принадлежавшие Эйлеру.

Князь Вяземский[22] в качестве генерал-прокурора Сената спросил у государыни, должен ли он привести меня к присяге, как это обычно делается, когда вступают в какую-либо административную должность. Императрица ответила:

— Без сомнения: ведь я не тайно назначила княгиню Дашкову директором. Правда, я не нуждаюсь в новых подтверждениях ее верности мне и отечеству, но эта церемония доставит мне удовольствие, так как ее назначение будет тогда более официальным и более гласным.

После этого князь Вяземский предупредил через своего первого секретаря, что будет ждать меня завтра в Сенате для приве-

---

* Он получил этот титул и этот чин при Петре III, и можно действительно сказать, что и его наука и он сам были только аллегорией — так же, как и его звание.

дения к присяге. Я была смущена, но не могла уклониться от того, что являлось обязательным для всех состоящих на службе, от самых высших до самых низших чинов.

На следующий день к указанному часу я отправилась в Сенат. Чтобы попасть в церковь, нужно было пройти через залу, где заседали сенаторы. Они встали, и некоторые из них, с кем я была ближе знакома, подошли ко мне.

— Вы, конечно, удивлены, так же как и я сама, тем, что мне приходится здесь приносить клятву верности ее величеству, в то время как она давно запечатлена в моем сердце,— сказала я им.— Но каждый должен повиноваться общему долгу. Вот почему произошло чудо появления женщины в вашем величественном святилище.

По окончании церемонии (во время которой моя всегдашняя в чрезвычайных обстоятельствах застенчивость довела меня до спазмов и холодного пота) я сразу попросила генерал-прокурора ознакомить меня со всеми бумагами, которые были ранее присланы канцелярией Академии в Сенат в связи с недовольством бывшим директором и его действиями, а также представить объяснения и оправдания Домашнева. Он обещал исполнить мою просьбу в тот же день. Только прочитав эти бумаги, я могла, хотя бы отчасти, понять задачу, которую предстояло решить.

Мне стоило большого труда даже отделить суммы, называемые казенными, от называемых хозяйственными. Предписывалось регистрировать их в разных бухгалтерских книгах, но обе кассы вообще были пусты.

Академия была обременена долгами русским, парижским и голландским книготорговцам. Так как я не хотела просить денег у ее величества, то приказала снизить на 30% стоимость книг, печатаемых Академией, вследствие чего их удалось распродать в значительном количестве и в короткое время. Полученные таким образом средства я употребила на уплату долгов Академии и могла представить Сенату, или, точнее, государственному казначею, которым был тот же князь Вяземский, запоздалый отчет по казенной кассе.

Деньги из хозяйственных сумм, находившиеся исключительно в распоряжении директора, поскольку они являлись результатом его предприимчивости, шли на расходы, не оговоренные в регламенте при учреждении Академии (награды, покупка различных вещей) и не производившиеся из средств, ассигнованных казной. Этими деньгами покрывали также недостаток, который время от времени возникал вследствие общего повышения цен.

На содержании Академии оказалось всего 17 учеников гимназии и 21 мальчик, обучающийся ремеслам[23]. Я распорядилась поднять число первых до 50, а вторых — до 40. Я имела удовольствие удержать собиравшегося покинуть Академию господина Фусса и удвоила ему и господину Георги[24] получаемое ими жалование. В следующем году удалось повысить жалование всем профессорам и ввести три курса — математики, геометрии и естественной истории. Они должны были читаться на русском языке российскими профес-

сорами бесплатно, но по прочтении курса лекций профессора получали по 200 рублей из хозяйственной кассы. Я часто присутствовала на этих лекциях и испытывала удовлетворение, видя, что они полезны детям бедных русских дворян и молодым унтер-офицерам гвардии.

К концу зимы князь Потемкин отправился в армию. Мой сын его сопровождал, они ехали в одной карете. Князь любил моего сына и постоянно проявлял внимание к нему.

В Белоруссии Потемкин сделал крюк, дабы самому увидеть, что́ представляет собой Круглое: некоторыми оно рассматривалось как пожалование блестящего состояния, а другими оценивалось довольно низко. Он написал мне оттуда и настойчиво убеждал не падать духом, так как со временем имение можно сделать более доходным. Князь приказал управляющему своими землями, соседствующими с Круглым, бригадиру Бауэру, навести там порядок, которого не было в период казенного управления, и письменно изложить соображения о том, как можно увеличить доходы. «К тому же,— сообщал мне князь в своем письме,— есть сельцо, носящее Ваше имя (Дашково), и Вы могли бы иметь его как возмещение недочета в количестве душ, обозначенном в указе о пожаловании».

Действительно, получить эту землю мне было бы легко: ею владела сестра польского короля, и притом только пожизненно; король, считавший себя обязанным моему мужу, мог без труда договориться с ней и с тем лицом, к которому перешло бы имение после смерти этой дамы, так как ни для кого из них оно не было объектом наследования.

Но князь Потемкин не хотел, чтобы я писала об этом королю или графу Штакельбергу[25], тогда нашему послу в Польше: он желал сам устроить это дело. Однако, в конечном счете я не получила ни владения Дашково, ни другого возмещения за недостаток душ в Круглом, потому что не стала обращаться по этому поводу в Сенат[26].

Разлука с сыном была для меня очень мучительной. Я не могла с ней свыкнуться, но, постоянно жертвуя личными благами и радостями ради благополучия детей, согласилась на его отъезд в армию, потому что это было в интересах сына. Избранная им военная карьера не позволяла упускать такой случай. Он часто писал мне. Князь Потемкин так дорожил им, что все, кто знал беззаботный характер князя, избалованного удачей и успехами, не переставали удивляться. Я была этим как-то успокоена, но мелочи дел по восстановлению Академии утомляли и вызывали досаду, особенно изыскание способов прекращения неоправданных трат, производившихся систематически в течение нескольких лет.

Следующим летом их императорские высочества великий князь Павел и его супруга вернулись из своего заграничного путешествия. Я довольно редко ездила к их двору под тем предлогом, что мое время сверх меры поглощено исполнением директорских обязанностей, а расстояние между Стрельнинским дворцом, где

императрица позволила мне поселиться на лето (мой загородный дом совершенно развалился), и Гатчиной делало эти поездки настоящим путешествием.

Их императорские высочества приглашали к себе всех сколько-нибудь заметных людей. Гости оставались у них по нескольку дней, а некоторые даже больше, и, как мне рассказывали, приглашенные чувствовали себя вполне непринужденно, ибо принимали там учтиво и благосклонно.

В ответ на настойчивые приглашения великого князя приехать я просила передать ему, что мне не менее других доставили бы удовольствие приятная жизнь в Гатчине и возможность выполнять свои придворные обязанности в отношении их высочеств. Но, будучи уверена, что все происходящее в Гатчине становится известно в Царском Селе, так же как о происходящем в Царском Селе знают в Гатчине, я лишаю себя удовольствия ездить к ним и тем самым не даю императрице повода расспрашивать меня, а великому князю — подозревать в сплетнях. Никакие миллионы не соблазнили бы меня встать между матерью и сыном, и я льщу себя надеждой, что минутное размышление над моим поведением побудит его высочество проникнуться уважением к нему.

В последующие десять лет я неукоснительно следовала этому принципу и бывала у их высочеств только в дни больших праздников, когда туда приезжал весь двор. Императрица не расспрашивала меня о происходящем в Гатчине, зная, что я туда не езжу. Если ей случалось иногда быть недовольной сыном и она говорила со мной об этом, я неизменно отвечала, что меня удивляет желание ее величества вмешивать в их отношения третье лицо и что она могла бы быть уверена в послушании Павла, стоило бы только ей лично сообщать ему о своих помыслах.

Этот твердый и честный образ действий, как станет ясно из дальнейшего, не принес мне даже покоя. Павел I мучил и преследовал меня так же, как тех, кто, по его мнению, задевал или оскорблял его.

Из Парижа возвратился граф Андрей Шувалов, и ему вскоре удалось настроить фаворита Ланского недружелюбно по отношению ко мне и моему сыну. Однажды, когда мы с императрицей говорили о том, с какой легкостью можно купить в Италии превосходные копии великих произведений искусства, я высказала сожаление, что у нас невозможно приобрести бюст ее величества, который мне хотелось бы иметь. Императрица приказала своему камердинеру принести один из ее бюстов, сделанный знаменитым русским художником Шубиным[27]. Ее величество преподнесла его мне в подарок, тогда Ланской воскликнул:

— Но это бюст мой, он принадлежит мне!

Государыня сказала ему, что он ошибается. Во время этой маленькой ссоры он бросал на меня гневные взгляды, я же отвечала ему взглядом, исполненным презрения. С этого времени императрица всегда его прерывала и заставляла прекращать споры и пререкания, которые он любил затевать со мной.

Из-за действий генерал-прокурора Сената князя Вяземского я вскоре начала испытывать отвращение к моей директорской должности. То он оставлял без внимания представления о повышении людей, находившихся в моем подчинении и заслуживших это; то не присылал мне необходимых сведений о границах губерний, по которым я собиралась издать уточненные карты. Наконец, он имел дерзость спросить у моего казначея, почему тот не представляет ежемесячные отчеты по хозяйственной кассе вместе с отчетами по казенной кассе Академии.

Я немедленно написала императрице и попросила ее дать мне отставку, потому что князь Вяземский желает установить отчетность, которой никогда не было с тех пор, как существует Академия, и даже при моем предшественнике, подозревавшемся в злоупотреблениях. Я напомнила, что по моей просьбе ее величество дозволила мне представлять ежемесячные отчеты по хозяйственным суммам ей самой. Это делалось регулярно, и я имела удовольствие видеть удивление императрицы по поводу успешного роста доходов. Поэтому нет причины допускать, чтобы генерал-прокурор посягал на полномочия директора в деле, столь существенном для процветания Академии, и тем более не доверял моей честности.

Князь Вяземский получил выговор, а меня императрица просила забыть его глупую выходку. Следует знать, что этот министр отличался усердием в делах и порядком в своем ведомстве, но был необразован и мстителен. Князь имел зуб против меня, потому что я взяла к себе на службу людей, которых он преследовал и лишал должности, а следовательно, и куска хлеба.

И еще одно обстоятельство навлекло на меня его недоброжелательство. В Академии издавался новый журнал[28], где некоторые страницы принадлежали ее величеству, а некоторые мне. Там же советник Козодавлев и другие лица из моих подчиненных помещали произведения в прозе и стихах. Вяземский принимал на свой счет или на счет своей супруги все, что было в них сатирического, особенно, когда узнал, что в этом журнале участвовал господин Державин[29]. Так как князь преследовал поэта, по его милости и лишившегося места вице-губернатора, он думал, что Державин мстит ему в своих стихах, которые всеми читались с жадностью и всех восхищали.

Мне пришлось испытать множество неприятностей. Князь Вяземский продолжал сколько мог чинить препятствия моим добрым делам. Среди них были и весьма полезные обществу, как, например, составление карт различных губерний, границы которых изменились после введения нового губернского деления*[30]. Вместо того чтобы

---

* Эта мера, достойная Великой Екатерины, была благотворна для порядка и цивилизации внутри страны. Появились удобные и безопасные дороги, в благоприятных условиях оживилась внутренняя торговля. Правосудие теперь осуществлялось на местах, и не нужно было отправляться за 2 или 3 тысячи верст в столицу, чтобы его добиться. Украсились города: государыня приказала построить на свой счет в губернских городах дворцы для губернаторов и для различных отделений судебного ведомства, велела возвести прекрасные соборы. Внутренняя гражданская полиция обеспечивала порядок и безопасность, которых ведавшие этим ранее судебные учреждения не могли поддерживать из-за далеких расстояний.

сообщать мне об этих изменениях, он задерживал доставку сведений, присылавшихся по моей просьбе губернаторами. Я не хотела непрерывно надоедать императрице своими жалобами и сочла за лучшее все это терпеть.

В июле месяце мой сын вернулся из армии в качестве курьера с известием о завоевании Крыма[31]. Я была неописуемо рада еще и потому, что увидела его раньше, чем рассчитывала. Он пробыл недолго и возвратился в армию в чине полковника. Эта милость императрицы делала меня тем более счастливой, что в связи с этим он оказался вне гвардии, не был более обязан жить в Петербурге и мог, командуя полком, лучше проявить свои таланты.

Однажды мы с императрицей прогуливались в царскосельском саду и говорили о красоте и богатстве русского языка. Я сказала ее величеству, что не могу понять, почему, будучи сама писательницей и любя наш язык, она до сих пор не учредила Академии русского языка. Нам так не хватает правил и хорошего словаря, которые избавили бы нас от глупости употреблять иностранные понятия и слова, притом что мы обладаем собственными и гораздо более выразительными.

— Не знаю, как это получилось,— ответила она мне.— Несколько лет я мечтала об этом и даже уже отдала распоряжения.

— Это удивительно, ваше величество,— сказала я,— ведь нет ничего легче, надо только остановиться на одном из существующих образцов.

— Прошу вас, — обратилась ко мне императрица, — составить для меня проект.

— Но,— возразила я,— будет лучше, если вы прикажете комунибудь из своих секретарей представить вам сведения о Французской, Берлинской и некоторых других академиях с предложениями о том, что нужно убавить или прибавить для нашей академии[32].

— Я все-таки очень прошу вас,— сказала она,— взять этот труд на себя, ибо уверена, что ваша энергия избавит от проволочек с этим делом, которое, к моему стыду, до сих пор не осуществлено.

— Труд небольшой, ваше величество, и я исполню вашу просьбу так быстро, как только смогу. Но у меня нет здесь ни одной нужной книги, и я осмеливаюсь еще раз сказать, что любой из секретарей, находящихся в вашей приемной, выполнит эту работу лучше меня.

Моя попытка переубедить императрицу не имела успеха, пришлось покориться и повиноваться. Вернувшись к ужину домой, прежде чем лечь, я вкратце набросала план действий, как мне думалось, необходимых для учреждения Академии русского языка. Каково же было мое удивление, когда мне вернули этот несовершенный набросок, сделанный наспех ради удовольствия императрицы, уже утвержденным ее подписью, как если бы это был хорошо обдуманный и должным образом оформленный устав. Он сопровождался указом о моем назначении президентом новой Академии![33] Одно-

временно копия указа была направлена в Сенат, из чего следовало, что государыня не желает слышать о моем отказе.

Спустя два дня я вернулась в Царское Село. У меня была еще надежда склонить императрицу к выбору другого президента, но напрасно! Тогда я сообщила ее величеству, что уже располагаю капиталом, необходимым для годичного содержания Российской Академии, и с ее стороны потребуются расходы только на покупку дома. Она удивилась и выразила одобрение, узнав, что будет достаточно суммы в 5000 рублей, которую она давала из своих средств на переводы классических авторов[34].

— Но я желала бы, однако,— заметила она,— чтобы переводы продолжались.

— Конечно, ваше величество,— ответила я,— потому что этим займутся наши студенты и воспитанники Академии Наук, а русские профессора будут проверять их работу. Таким образом, 5000 рублей, в которых директора никому не отчитывались и которые, судя по малому числу переводов, сделанных до сих пор, считали собственными карманными деньгами, найдут хорошее применение. Однако следовало бы учредить жетоны и одну или две медали для ежегодного награждения тех, кто отличится в этом деле. Я буду иметь честь представить вам штат и перечень расходов — тогда мы увидим, останутся ли у нас средства на жетоны и медали[35].

Я действительно представила ей смету, где определила жалованье двум секретарям по 900 рублей каждому, двум переводчикам по 400 рублей, четырем инвалидам для отапливания и охраны здания и одному казначею; в целом на содержание штата требовалось 3300 рублей. Оставшиеся 1700 рублей предназначались для покупки дров, бумаги, а также книг, которые должны были приобретаться постепенно, из года в год; пока же я предложила академикам пользоваться моей библиотекой*. На жетоны и медали денег не оставалось. Чтобы покрыть расходы на них, императрица назначила 1250 рублей ежегодно из средств Кабинета.

Казалось, государыня была скорее удивлена, чем довольна моими расчетами: она уже привыкла, что в представляемых ей сметах глава или президент Академии не только не был забыт, но, напротив, ему определялось значительное жалованье. Я же не назначила себе ни копейки, и это полезное учреждение стоило казне лишь тех 1250 рублей, которые ее величество назначила сверх сметы на жетоны и медали.

На этом я покончу с Российской Академией, отослав моих читателей (если это их заинтересует) к последнему отчету по академическим делам[36], поданному мной ее величеству. Удовольствуюсь только одним замечанием. На деньги, не выплаченные Домашневым за переводы в последние три года, то есть на 15 000 рублей, я поставила (прибавив сэкономленные суммы) два строения

* Однако через десять лет Академия обладала уже довольно обширной собственной библиотекой.

во дворе дома, переданного нам ее величеством. Они приносили Российской Академии ежегодно по 1950 рублей за отдачу в наем. Император Павел отобрал и дом и обе эти постройки, а взамен дал участок земли, где имелась только кузница.

Покидая Академию[37], я оставила капитал, предназначенный для подкинутых детей, в размере 49 тысяч рублей, дом, обставленный мебелью, весьма значительную библиотеку и доходы, возросшие на 1950 рублей в год, а также завершенный и опубликованный словарь[38]. Все это было сделано в течение одиннадцати лет.

Не могу не сказать в заключение, что имела из-за Академии большие неприятности при дворе. Просвещенная часть общества отдавала мне должное и оценивала учреждение Российской Академии и поразительный успех в создании первого у нас русского словаря как результат моих энергичных действий на пользу отечества. Придворные же, напротив, находили, что словарь, будучи этимологическим[39], очень неудобен; даже ее величество не один раз спрашивала меня, почему мы не приняли алфавитный порядок. Я отвечала, что второе издание, которое можно подготовить менее чем за три года, будет построено в алфавитном порядке, но первый словарь любого языка должен быть этимологическим, чтобы указывать и отыскивать корни слов.

Не знаю, почему императрица, обладавшая тонким восприимчивым умом, казалось, не понимала меня. Это было крайне неприятно, и очень не хотелось докладывать на заседании Академии мнение ее величества о нашем словаре. Но все же я приняла решение поставить этот вопрос на первом из наших заседаний, не опуская при этом тех моментов, из-за которых так часто подвергалась нападкам. Все члены Академии, как я и ожидала, подтвердили, что первый словарь нельзя делать иначе и что более полным построенным в алфавитном порядке будет его второе издание.

При ближайшем свидании я пересказала императрице мнение академиков и доводы, которые они приводили. Но ее величество осталась при своем. Она тогда тоже занималась так называемым словарем, редактором которого был господин Паллас*. Это было подобие словаря 90 или 100 языков; некоторые из них предлагали всего 20 слов, таких, как земля, небо, вода, отец, мать и т. п. Странное это произведение представлялось несовершенным и бесполезным и внушало мне какое-то отвращение, хотя его превозносили как восхитительный словарь[40].

Желая отдохнуть, я поехала в свой загородный дом, который велела выстроить из камня, и отказалась от всякого общества и от визитов в город. Обе Академии доставляли мне столько работы,

* Этот ученый, известный публикациями о своих путешествиях по России и познаниями в естественной истории, был человеком беспринципным, безнравственным и корыстным. Он осмелился поднять стоимость издания, которое в угоду императрице называл словарем, выше 20 тысяч рублей, не считая денег, истраченных Кабинетом на посылку курьеров в Сибирь, на Камчатку, в Испанию, Португалию и другие страны лишь для того, чтобы добавить в этот словарь по нескольку слов из бедных и малоизвестных языков.

что нельзя было терять времени. На мою долю досталось подобрать слова на три буквы алфавита[41]. По субботам мы встречались, чтобы отыскивать корни слов, подобранных всеми членами Академии. К тому же каждую неделю я ездила на несколько дней в Царское Село. Таким образом, все мое время было занято.

Этой зимой мой сын получил двухмесячный отпуск, чтобы повидаться со мной. Я передала ему актом, утвержденным государыней, состояние его отца, сохранив за собой лишь часть и избавившись от заботы об управлении тем, что перешло к нему. Он получил больше, чем его отец оставил обоим детям и мне, и ни копейки долга. Поэтому я могла сказать другим и, более того, себе самой, что неплохо справилась с попечительством над всеми имениями, управление которыми опекуны[42] полностью предоставили мне.

Летом следующего года меня навестила миссис Гамильтон. Не смогу выразить радость, которую доставил мне приезд моего уважаемого и любимого друга. По особой милости ее величества она была представлена в Царском Селе, где иностранцев обычно не принимали.

Я испросила трехмесячный отпуск и повезла миссис Гамильтон в Москву. Она осмотрела все достопримечательности этой древней столицы и даже ее прекрасные окрестности, а затем мы отправились в мое любимое Троицкое, где мне хотелось бы и жить и умереть. Я была в восторге, видя, что мою приятельницу восхищает красота этого очаровательного уголка и что она — англичанка, знающая все самые лучшие сады своей родины,— одобрила мой сад, который я сама распланировала и где каждое дерево, каждый куст были посажены при мне и по моему выбору.

Из Троицкого мы поехали в белорусское имение под Могилевом, пожалованное мне императрицей. Таким образом, моя приятельница увидела бо́льшую часть Московской, Калужской, Смоленской и Могилевской губерний.

Мы возвратились в Петербург глубокой осенью. Примерно в это время в Академии наук читались труды, присылавшиеся разными учеными в соответствии с опубликованной Академией программой за год до обсуждения. Лучшему из этих трудов присуждалась первая премия, а второму по достоинствам — похвальный лист.

Я не любила выступать на научных конференциях, особенно если заседание было публичным. Однако настойчивые просьбы миссис Гамильтон, которая непременно хотела видеть, как я исполняю обязанности директора, заставили меня преодолеть мою стеснительность. Так как в газетах заранее объявили день присуждения премий и заседание должно было быть, по обыкновению, открытым, публики собралось много. Приехали иностранные посланники и даже дамы.

Я выступила с речью, насколько возможно лаконичной — она длилась всего пять или шесть минут. Тем не менее мне едва не стало дурно от ужасного смущения, которое всегда овладевало мной в подобных случаях. Я вся покрылась каплями пота и была вынуждена сделать несколько глотков из приготовленного стакана

с холодной водой. Самым приятным моментом явилось окончание этого заседания, и больше я уже никогда не председательствовала на публичных конференциях.

В связи с известием о смерти отца Щербинина одна коварная приятельница моей дочери, надеясь выманить у нее драгоценности и деньги, если дочь уедет от меня, посоветовала ей вернуться к мужу и для этого написать ему. Так и было сделано. Узнав об этом, я не сочла себя вправе противоречить дочери, пользуясь материнским авторитетом. Но все, что могли продиктовать доброе расположение и нежность, я употребила, чтобы образумить ее[43]. Мольбы, слезы и жгучая печаль, граничившая с отчаянием, довели меня до болезни. Все, что произошло потом, я предвидела и, зная расточительность моей дочери, понимала, к каким пагубным затруднениям это вскоре ее приведет.

Она обещала мне не оставаться в Петербурге и жить либо с родными мужа, либо в своих имениях. Я же совсем расхворалась, и вскоре появилась такая слабость, что моя сестра и миссис Гамильтон встревожились. Я не узнавала улиц, которыми меня ежедневно провозили в карете на дачу, помнила только о горе, причиненном покинувшей меня дочерью, и рисовала в уме картины грустного будущего.

Однажды мы ехали на дачу по Анненгофской дороге и вышли в лесу поблизости от моего земельного участка; карета катилась впереди нас. С этой стороны имения я еще ничего не строила. Два столба и балка над ними служили входными воротами. Миссис Гамильтон с сестрой прошли через них первыми; я же отстала на несколько шагов, и, когда оказалась в воротах, большая балка обрушилась мне на голову.

Крики моих спутниц привлекли дворовых людей, искавших в лесу грибы. Я села на землю и сняла чепчик и шляпу, которые, видимо, смягчили удар. Умоляя всех успокоиться, я попросила осмотреть место ушиба, где ощущалась боль. Наружных признаков перелома не было. Однако моя приятельница настояла на том, чтобы мы сели в карету и как можно скорее отправились в город посоветоваться с доктором Роджерсоном. Я, напротив, считала, что мне полезнее пройтись сколько смогу пешком, дабы привлечь кровь к ногам и усилить общее кровообращение.

По прибытии в город послали за доктором. Он с обеспокоенным видом спросил, не тошнит ли меня. Я улыбнулась, говоря, что, хотя тошнота ощущается, ему не придется делать трепанацию черепа, потому что некий дух охраняет меня и заставляет жить вопреки моему желанию и неблагоприятным обстоятельствам. Действительно, этот несчастный случай не имел последствий. Ни шок, ни физическая боль не могли меня сломить. Дал бы бог силы так же перенести и нравственные страдания!

Мое здоровье мало-помалу восстанавливалось. Но отъезд миссис Гамильтон летом следующего года поверг меня в меланхолию, с которой можно было справиться, только погрузившись в непрерывную деятельность — либо в дела обеих Академий, либо

в заботы о хозяйстве и строительстве в моей усадьбе. Я даже трудилась вместе с каменщиками, которые клали стены.

Следующей зимой в С.-Петербург вместе с князем Потемкиным на короткое время приехал мой сын, и снова стали распространяться нелепые слухи о том, что он будет фаворитом. Однажды к нам явился племянник Потемкина господин Самойлов и спросил, дома ли князь Дашков. Его дома не было. Тогда Самойлов поднялся ко мне. Поговорив о том о сем, он сообщил о желании дяди видеть моего сына у себя в послеобеденное время, пораньше, и при этом намекнул, что это час пастуха[44]. Я ответила, что все им сказанное касается не меня и, вероятно, он должен передать это самому князю Дашкову; я же слишком люблю императрицу, чтобы противиться чему-либо доставляющему ей удовольствие, но перестала бы уважать себя, приняв участие в переговорах такого рода. Если же когда-нибудь мой сын* станет фаворитом,— добавила я, мне только раз понадобится его влияние — чтобы получить отпуск на несколько лет и паспорт для поездки за границу.

По окончании отпускного срока сын уехал, и его отъезд опечалил меня меньше, чем обычно, поскольку положил конец всем этим разговорам.

Следующим летом ее величество поехала в Финляндию[45]. Она проявила столько расположения и любезности, чтобы заставить меня согласиться на участие в поездке, как будто это великая жертва с моей стороны. Между тем я была очень рада совершить какое-нибудь путешествие и рассеять мрачное настроение, с которым не могла сладить. Кроме того, хотелось увидеть неизвестную мне Финляндию, познакомиться со шведским королем[46] (он должен был прибыть во Фридрихсгам[47]) и сравнить его с герцогом Зюдерманландским, которого я хорошо знала. Это свидание двух столь просвещенных государей, родственников и соседей, обещало быть очень интересным, и я отнеслась к приказанию императрицы как к весьма приятному предложению.

В день, назначенный для нашего отъезда, меня посетил поверенный в делах шведского короля, заменявший господина Нолькена, который был отпущен, чтобы встретить короля. Он сказал, что король намеревается пожаловать меня большим крестом ордена Mérite** и очень доволен моим приездом вместе с императрицей, так как уже давно горячо желает познакомиться со мной.

— Это желание мне крайне лестно,— ответила я.— Что же касается награждения, то умоляю вас отговорить его величество. Во-первых, я — Ninette à la cour[48], достаточно смущенная и тем орденом, который уже имею[49]; во-вторых, такого отличия никогда не удостаивалась ни одна женщина,— оно, пробудив зависть, только увеличит число моих врагов, и королевская милость не доставит мне радости.

* Он в это время продолжал усердно ухаживать за госпожой N., и связь их не была тайной.

** Заслуги (*фр.*).— *Пер.*

Я закончила просьбой уверить шведского короля в том, что глубоко ценю его расположение и только безграничное доверие к его уму и просвещенности дают мне мужество для этого отказа.

Вечером мы выехали из дворца и в шлюпках переплыли реку на так называемую Выборгскую сторону. Там нас поселили на разных улицах, и мне достался очень хороший, а главное, очень чистый дом. На следующий день судьи, различные служащие, дворяне, военные были представлены императрице, принявшей их со свойственными ей благожелательностью и добротой, которые завоевывали все сердца.

Я не очень люблю подробно описывать свои путешествия и поэтому кое-что пропустила. Надо было бы упомянуть, что мы ночевали в одном из императорских поместий, где имелся дворец, в котором нас всех удобно разместили. Следовало также сказать о лицах, сопровождавших императрицу. Из женщин была только я, но — пусть знает читатель — в карете ее величества ехали также господин Ланской, граф Иван Чернышев, граф Строганов и господин Чертков; так что нас там было шестеро. Остальную часть свиты составляли господин Нарышкин, обер-шталмейстер, господин Безбородко, первый секретарь, господин Стрекалов[50], управляющий Кабинетом, и два камергера, посланные вперед к шведской границе, чтобы приветствовать короля.

Вечером следующего дня мы приехали во Фридрихсгам, где нас поместили менее удобно. Через день туда прибыл король. Его сразу проводили в покои ее величества. Королевская свита осталась в комнате перед апартаментами императрицы. Входившие в свиту лица были мне представлены, мы познакомились. Когда вошли оба монарха, государыня представила меня королю. Обед прошел весело. Потом императрица и король имели еще приватную беседу, и это повторялось все время, пока мы были во Фридрихсгаме.

Я твердо убеждена, что коронованные особы не бывают полностью искренни в своих взаимоотношениях. Думаю даже, что при всех преимуществах, которые дают образованность, ум и взаимная любезность, политика заставляет их через какое-то время тяготиться друг другом и находить длительное ежедневное общение затруднительным и тяжким.

На третий день шведский король под именем графа Гаги приехал ко мне. Я велела сказать, что меня нет дома, и, придя к императрице раньше обычных вечерних посетителей, сообщила ей об этом, заметив, что, на мой взгляд, путешествие в Париж слишком офранцузило короля и он не получил бы удовольствия в обществе такого простодушного существа, как я. Но императрица была недовольна, попросила меня принять короля завтра и задержать его подольше; мне стало ясно, что она хотела иметь больше времени для себя и меньше уделять его высокому гостю. Я повиновалась и на следующий день приняла короля.

Наш разговор был весьма интересным. Мой собеседник был очень умен, образован и красноречив. Но в то же время он обладал заблуждениями, вообще свойственными королям и, что хуже,— королям-путешественникам, то есть имел ошибочные понятия о виденном за границей, ибо таким знаменитым вояжерам все показывают лишь с самой лучшей стороны; все, что они видят, подготовлено так, чтобы они знали только обманчивую внешность.

Другая беда, связанная с путешествиями монархов или их наследников, состоит в том, что, стремясь добиться их расположения, не скупятся на лесть и фимиам. Возвратившись домой, они уже требуют от своих подданных обожания и не согласны на меньшее. Вот почему я никогда не одобряла путешествий таких именитых особ за границу, и мне больше нравится, когда они совершают поездки по собственным странам, но без той помпезности[51], которая ложится бременем не на двор, а на народ, и с намерением изучить жизнь каждой провинции.

Во время нашей беседы я поняла, что король Швеции был во Франции мистифицирован, что он наслаждался там расточаемой ему лестью и, следовательно, судил о стране и ее обитателях с чрезмерной пристрастностью. Я позволила себе не во всем с ним соглашаться, причем опиралась на впечатления от двух своих поездок во Францию, от путешествий, которые совершила в ее внутренние и приграничные провинции. При этом я отметила, что, конечно, не стоила того, чтобы меня вводили в заблуждение, как его величество, а поэтому имела возможность видеть вещи такими, какими они были в действительности. Граф Армфельд, знаменитый своими несчастьями и гонениями со стороны герцога Зюдерманландского после смерти короля[52], во многом держался одного со мной мнения.

Короче говоря, я была очень довольна, когда королевский визит окончился и король возвратился к императрице. Вскоре и я последовала за ним.

На следующий день король уехал, сделав подарки свите ее величества. Мне он собственноручно преподнес, единственно в знак дружбы, кольцо со своим портретом в окружении больших бриллиантов, делавших это кольцо уродливым.

Мы тут же покинули Фридрихсгам и отправились прямо в Царское Село, куда прибыли за два дня до годовщины восшествия императрицы на престол, так что не было уже времени поехать в город. Однако я поспешила вынуть из оправы портрет шведского короля, который потом приказала отделать маленькими жемчужинами, а бриллианты отдала своей племяннице девице Полянской, приехавшей вместе с другими фрейлинами на празднество.

После нашего возвращения в Царское Село я подверглась нелепым нападкам фаворита Ланского. Князь Барятинский как обер-гофмейстер имел приказ ежедневно посылать в Академию для помещения в ее газете[53] сообщения о нашем путешествии, об остановках, о том, что происходило в различных городах и т. д. и т. д. Князь уведомил меня об этом, и я сказала ему, что все

им подписанное будет напечатано без промедления. Мной еще раньше было отдано нужное распоряжение, так же как и приказ печатать относительно двора лишь то, что подписано обер-гофмейстером или гофмаршалом Орловым, с запретом что-либо менять даже в орфографии.

Ланской заявил мне, что петербургская газета, сообщая об остановках в пути и обедах ее величества во время нашего путешествия, упоминала после императрицы только мое имя.

— Объяснения по этому поводу,— сказала я,— вы можете получить у князя Барятинского; я не составляла и не посылала ни одной статьи. У него вы также узна́ете, что с тех пор, как Академия находится под моим управлением, ее газета печатает что-либо, касающееся двора, лишь в том случае, когда это прислано им или Орловым за собственноручной их подписью.

— Но все-таки,— настаивал он,— после императрицы упоминали только вас.

— Я вам уже сказала, что вы должны обратиться к князю Барятинскому, если хотите узнать, почему в газетные сообщения не внесены ваши имена. Что же касается меня, то я не видела ни строчки этих публикаций и не занималась ими,— таков был мой ответ Ланскому.

Фаворит продолжал твердить свое. Мне наскучило слушать его, и я сказала:

— Знаете, милостивый государь, как ни велика честь обедать со своим монархом,— что я должным образом ценю,— она не нова для меня, потому что, едва выйдя из младенческих лет, я всегда пользовалась этим преимуществом. Покойная императрица Елизавета была моей крестной матерью. Каждую неделю и не один раз она посещала наш дом, я часто обедала, сидя у нее на коленях, а когда уже могла сидеть на стуле — за одним столом с ней. Так зачем же мне оповещать в газете о том, что для меня привычно и что принадлежит мне по рождению?

Мне казалось, этот нелепый разговор окончен. Ничуть не бывало! Ланской продолжал свои попытки атаковать меня. Зала наполнялась публикой, и я сказала достаточно громко, чтобы быть услышанной всеми, что человек, руководствующийся в своих действиях только честностью и в службе только благом отечества, может не обладать большим состоянием и не иметь блестящего положения, но зато у него всегда мир в душе и он спокойно продолжает свой путь, в то время как мыльные пузыри лопаются у него на глазах*. Появилась императрица и своим присутствием избавила меня от этой глупой беседы.

Зимой было много домашних огорчений, и мое здоровье сильно расшаталось. Весной я испросила двухмесячный отпуск и уехала в Троицкое. Возвращалась через Круглое, где пробыла всего неделю, но имела удовольствие видеть, что почвы там заметно

* Эти слова оказались пророческими. Менее чем через год, следующим летом, Ланской умер, причем буквально лопнул: у него лопнул живот[54].

улучшились, крестьяне стали менее ленивыми и владеют вдвое бо́льшим количеством скота и лошадей, чем в те времена, когда я приобрела их, и что они считают себя более счастливыми, нежели под властью Польши и позднее, при казенном управлении. От грустных мыслей, которые более, чем когда-либо, владели мною, отвлекали заботы об обеих Академиях.

Разразившаяся вскоре война со Швецией[55], во всем блеске выявившая твердость духа императрицы, оказалась причиной одной довольно странной истории.

Я была знакома с герцогом Зюдерманландским, братом шведского короля, со времени моего первого заграничного путешествия. От него в Кронштадт прибыл парламентер с письмом для адмирала Грейга[56], в котором герцог просил доставить мне найденную на одном из захваченных кораблей посылку и его сопроводительное письмо. Адмирал Грейг, как иностранец и мой близкий друг, посчитал себя обязанным действовать в этом случае с особой осторожностью. Он отправил все в С.-Петербург, в Государственный совет. Императрица тогда почти все время там заседала. Она приказала отослать мне посылку и письмо герцога, не вскрывая ни того, ни другого.

Я находилась в своем поместье и была крайне удивлена, когда мне доложили о курьере из Государственного совета. Он передал мне толстый пакет от знаменитого Франклина* и чрезвычайно лестное письмо герцога Зюдерманландского. В нем говорилось, что в ходе уже начавшейся войны между Россией и Швецией на одном из взятых судов он нашел эту адресованную мне посылку; сохранив ко мне глубокое уважение, возникшее еще при нашем знакомстве в Ахене и Спа, он поспешил переслать ее мне, не желая, чтобы война — столь неестественная, по его мнению, между государями, которые были близкими родственниками, — распространила свое влияние и на частных лиц.

Я отослала курьера, сказав, что сейчас же сама поеду во дворец, чтобы показать эти бумаги императрице, и действительно отправилась в город, или точнее, прямо ко двору, хотя было четыре часа пополудни — время, когда никто, даже министры, не приезжал к государыне. Войдя в туалетную, я сказала дежурному камердинеру, что, если ее величество не занята, я буду счастлива поговорить с ней и показать ей полученные утром бумаги. Императрица велела мне войти в ее спальню. Я нашла ее пишущей

* Франклин[57] относился ко мне с таким уважением и дружеским расположением, что рекомендовал меня в члены почтенного и уже знаменитого Философского общества в Филадельфии; я была принята туда единогласно и получила соответствующий диплом; с тех пор общество не пропускало случая послать мне издаваемые им труды[58]. Этот пакет и содержал некоторые из них, а также письмо секретаря общества. Письмо Франклина польстило мне больше, чем послание герцога, потому что я считала его выдающимся человеком, который соединял глубокие знания с простотой во внешности и манерах и, наряду с непритворной скромностью, проявлял большую снисходительность по отношению к другим. Я написала Франклину и секретарю общества и искренне благодарила их за присланные книги.

за маленьким столом, передала ей послание герцога Зюдерманландского и прибавила:

— А это письма Франклина и секретаря Философского общества в Филадельфии, недостойным членом которого я состою.

Когда императрица прочла письмо герцога, я спросила, каковы будут ее приказания на этот счет.

— Пожалуйста,— сказала она мне,— не продолжайте этой переписки и не отвечайте ему.

— Переписки, собственно, почти не было, потому что за двенадцать лет это первое письмо, полученное мной от герцога. Показаться же в его глазах грубой и плохо воспитанной, не ответив ему — совсем небольшая жертва; я хотела бы ежедневно приносить вам бо́льшие. Но позвольте напомнить вашему величеству верный портрет этого принца, когда-то сделанный мной для вас[59]. Может быть, вы согласитесь, что, как говорится, не ради моих прекрасных глаз он оказал мне честь этим посланием; видимо, он желал так или иначе найти предлог, чтобы вступить в переговоры о своих интересах, отличающихся от интересов короля, его брата.

Ее величество решительно не желала вникать в этот вопрос, а несколько месяцев спустя стало известно, что я правильно судила о герцоге и что можно было заставить его изменить интересам брата и парализовать действия шведского флота.

Выйдя из апартаментов императрицы, которая настойчиво приглашала меня остаться на вечер и посмотреть спектакль в Эрмитаже, я увидела в приемной одного лишь шталмейстера ее величества господина Ребиндера: было еще слишком рано для сбора гостей. Господин Ребиндер являлся порядочным человеком в полном смысле этого слова и питал ко мне самые дружеские чувства. Подойдя, он сказал, что знает причину моего визита к императрице.

— Вполне вероятно,— заметила я,— однако мне хотелось бы услышать из ваших уст, каким образом вам это стало известно*.

— Я получил письмо; мне сообщают, что князь, ваш сын, по выходе со своим полком из Киева женился и свадебная церемония совершена на одной из отрядных стоянок,— ответил он.

Я чуть не упала в обморок, но нашла силы спросить, кто та девица, на которой женился мой сын. Он назвал мне Алферову[60]. Видя, что мне делается дурно, добрый человек не мог понять, почему его слова произвели такое впечатление.

— Воды! — попросила я.— Ради бога!

Он поспешил исполнить мою просьбу. Немного придя в себя, я сказала, что свидание с императрицей было следствием письма, полученного мной от герцога Зюдерманландского и что от него я впервые узнаю о свадьбе, которая, по-видимому, заслуживает порицания, поскольку мой сын даже не спросил у меня согласия. Бедный Ребиндер был очень огорчен, что сообщил столь неприятную

* Я имела в виду парламентера и письмо герцога Зюдерманландского.

новость. Тогда я попросила его отвлечь меня разговором о чем-нибудь другом, чтобы помочь овладеть своими чувствами и исполнить милостивое приказание государыни провести с ней вечер.

Но это усилие над собой чуть не стало роковым. Мое волнение заметили, и, если бы ее величество несколько раз не заговаривала со мной, могло даже возникнуть мнение, что я уличена в преступной переписке с врагами государства. Видя меня грустной, погруженной в свои мысли и не понимающей происходящего на сцене, императрица обращалась ко мне с веселыми разговорами и шутками, которые одна она умела придумывать в мгновение ока.

После спектакля я не пошла к государыне, как обычно делали ее приближенные, а поехала домой. Нервная лихорадка, печаль и скорбь, овладевшие моей душой, на несколько дней оставили мне лишь одну способность — плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа в отношении его матери, когда он решил жениться на мне. В благодарность за многие жертвы, принесенные детям, и за настойчивость, с которой я занималась воспитанием сына, он, казалось бы, должен был проявить ко мне более доверия и почтения. Я всегда думала, что больше, нежели моя свекровь, заслуживаю дружбу и уважение своих детей и что мой сын посоветуется со мной, делая столь серьезный и решающий для нашего общего счастья шаг, как женитьба.

Два месяца спустя пришло письмо, которым он — будучи женат, о чем знал весь Петербург, чуть не в каждом доме обсуждавший нелепую свадьбу,— просил моего разрешения жениться на своей избраннице. У меня уже были сведения о ее семье*, и эта насмешка — просить согласия на совершившуюся женитьбу — чуть не свела меня с ума.

Письмо моего сына сопровождалось посланием фельдмаршала графа Румянцева, который толковал о предрассудках, касающихся происхождения, о непрочности богатства, о его недостаточности для счастья и как бы пытался меня наставлять. Одним словом, это письмо было тем более нелепо (если не сказать больше), что я никогда не давала графу повода, а еще менее права вмешиваться в мои отношения с сыном. В своем ответе, замаскировав насмешку утонченной вежливостью, я писала, что среди глупостей, которые, может быть, обитают в моей голове, никогда не было мысли о преимуществе знатного рождения и, не обладая красноречием его превосходительства, я не берусь описывать ему чувства, заставляющие меня отдавать предпочтение хорошему воспитанию и высокой нравственности перед погремушками детского честолюбия, и т. д. и т. д.

Сыну я написала всего несколько слов: «Когда ваш отец решил жениться на графине Воронцовой, он взял почтовых лошадей и

* Брак был, конечно, странным, так как особа эта не отличалась ни красотой, ни умом, ни воспитанием. Ее отец, вышедший из приказчиков, служил в таможне, где крал, чтобы разбогатеть, а ее мать, урожденная Потемкина, была крайне предосудительного поведения и вышла замуж за этого человека, не имея ничего лучшего.

отправился в Москву просить согласия у своей матери; вы, как мне известно, уже женаты некоторое время; я знаю также, что моя свекровь была не более меня достойна иметь друга в послушном сыне».

У меня началась нервная лихорадка, я потеряла аппетит, худела на глазах и ощущала себя одинокой не только в своем доме, но и во всей вселенной, потому что не находила более утешения в тех, от кого могла его ожидать.

Зимой мое самочувствие стало несколько лучше и позволило заняться обязанностями директора одной и президента другой Академии. Я взялась собрать слова к трем буквам алфавита*, а также путем точных определений объяснить все слова, имеющие отношение к нравственности, политике и образу правления. Это было поручено мне на одном из академических собраний[61]. Столь непростое для меня дело требовало времени и днем ненадолго отвлекало от неотвязных грустных мыслей.

Я нигде не бывала, только два или три раза в неделю проводила вечер у императрицы в тесном кружке ее приближенных, который называли маленьким обществом ее величества.

Мой загородный дом был еще не достроен, и весной я поселилась в более удаленном от столицы доме отца, где никого не принимала и где мое уединение мало кто тревожил. Лето прошло в меланхолическом настроении, черные мысли полностью овладели мной. Только милость божья помогала мне справляться с ними, ибо с того момента, как я осознала, что покинута детьми, жизнь стала для меня бременем и я отдала бы ее без борьбы и сожаления первому встречному, который захотел бы ее оборвать.

В следующем году стало еще хуже. Получив двухмесячный отпуск, я поехала в свои белорусские владения и в Троицкое. По возвращении мне стало известно от моей сестры госпожи Полянской, что некая модистка Генутци добилась полицейского запрета на выезд моей дочери из Петербурга и дочь даже находится под надзором полиции; ко всему она была совершенно больна, доктор Роджерсон сказал сестре, что жизнь госпожи Щербининой окажется в опасности, если она тотчас же не отправится на воды и ванны в Ахен. Рассказ этот разрывал мне сердце. Выждав три дня, дабы мой визит не был приписан влиянию сестры, я поехала к дочери поздним вечером, не желая с кем-нибудь у нее встретиться.

Она была на ногах, но чрезвычайно изменилась: цвет лица зеленоватый, дыхание затрудненное. Увидев меня, она хотела броситься к моим ногам. Обняв ее, я помешала этому и сказала, что надо успокоиться, позаботиться о своем здоровье и все понемногу устроится к лучшему. Вопреки своему желанию я сократила визит, полагая, что она нуждается в отдыхе после шока, который должно было вызвать мое появление. Мне тоже следовало побыть одной и лечь в постель, чтобы отдохнуть, а главное, успокоить свои

* Для Словаря Академии Российской, который был первым в нашем языке этимологическим словарем.

нервы, совершенно издерганные, но все же не лишившие меня способности действовать.

На другой день я отправилась к дочери снова и, убедившись, что ее самочувствие стало лучше, предложила весной приехать в мою маленькую усадьбу близ Петербурга и пожить со мною. Я обещала уладить дела с ее кредиторами, а летом, получив разрешение императрицы, поручившись за долги и снабдив необходимыми для путешествия деньгами, отправить ее в Ахен. Ее здоровье, казалось, несколько восстановилось, и, когда все было устроено, она уехала. Я дала ей в сопровождающие мисс Бейтс* и осталась совершенно одна в Кирианове.

Мы условились с дочерью, что после лечения водами и ваннами в Ахене она, не теряя времени, вернется ко мне. Вместо этого по окончании сезона она поехала в Вену, оттуда в Варшаву, и 14 тысяч рублей, которые я дала ей на путешествие, были истрачены в этих бесполезных переездах. Оставшись без денег, она опять задолжала, а во время пребывания в Польше подверглась большому риску, так как там произошло нечто вроде революции[62].

Добрая мисс Бейтс, полагая, что госпожа Щербинина будет путешествовать неопределенно долгое время, попросила у нее разрешения вернуться ко мне. Она храбро пересекла всю Германию в легкой коляске, имея при себе только слугу-немца, который мог объясниться на языке этой страны. Присутствие мисс Бейтс являлось для меня поддержкой, но, с другой стороны, дочь тем самым лишилась хорошего человека, ограждавшего ее от бесчестности и вероломства тех, кто ее окружал. Я была в отчаянии от крайней склонности моей дочери подвергать себя неприятностям и тем огорчать свою любящую мать, так великодушно простившую причиненные ей страдания.

Мисс Бейтс нашла меня очень изменившейся и не могла скрыть своего удивления и огорчения. Ее тревога еще усилилась, когда она услышала от меня, что за прошедшие два месяца не было дня, который я провела бы в уверенности, что вечером не положу конец своему тяжкому существованию. Но самоубийство — плод малодушия и трусости; эта мысль помешала мне покончить с собой. Я была бы рада смерти, если бы она пришла от чужих рук.

Зимой мои страдания от ревматизма уменьшились, так как не было дачной сырости. Я выезжала подышать воздухом и по обыкновению два раза в неделю обедала у императрицы. Во время одного из таких обедов дежурный генерал-адъютант граф Брюс[63], рассуждая о храбрости, поражался тому, с каким рвением на его глазах солдаты снова и снова взбирались по лестницам на стены города, откуда по ним стреляли.

— Меня это не удивляет,— сказала я,— человек самый трусливый, самый малодушный, может вызвать в себе минутную храбрость: он бросается на штурм, так как верит, что это не продлится долго. Прошу извинить меня, граф, но я считаю геройством не

* Англичанка, которая была моей чтицей.

воинскую отвагу в сражении, а то полное самоотречение, когда люди, сознавая, что навлекают на себя опасность или несчастья, идут им навстречу, жертвуя собой, умея терпеть и страдать. Если бы вам непрерывно терли тупым деревянным клинком руку или ногу в одном и том же месте и вы сносили это, не стараясь уклониться, я сочла бы вас более мужественным, более владеющим собой, чем если бы вы два часа подряд неотступно шли на врага.

Императрица поняла меня, но милый граф пустился в туманные рассуждения и назвал самоубийство доказательством мужества. Я сказала, что много размышляла об этом акте и обдумывала все написанное по этому поводу; по моему мнению, предающие себя смерти, — если это происходит не в бреду, — не только грешат против создателя и общества, но и ясно доказывают, что им не хватило твердости; к этому трусливому поступку приводит недостаток мужества и терпения.

Ее величество смотрела на меня не отрываясь, и я сказала с улыбкой, что никогда не сделаю ничего, чтобы ускорить или отдалить свою смерть, и вопреки софизму Жан-Жака Руссо, пленившему меня в детстве (потому что мне уже тогда нравилось мужество), я надеюсь, что у меня достанет душевных сил, чтобы страдать, не прибегая к последнему лекарству, пользоваться которым мы не имеем права.

Императрица спросила меня, о каком софизме я упомянула и в каком из сочинений Руссо прочитала его.

— Это в «Новой Элоизе»[64], государыня. Он говорит: *«Не стоит бояться смерти, потому что, пока мы существуем, ее нет, а когда она есть, нас уже нет более»*.

— Это очень опасный автор[65],— заметила императрица.— Его искусное перо кружит юные головы.

— Ваше величество, будучи в Париже, я не хотела его видеть. Манера жить там инкогнито доказывает, насколько притворной была его скромность и до какой степени его снедало честолюбивое желание заставить говорить о себе и, если это возможно, весь мир занять своей персоной. Его сочинения действительно опасны, как ваше величество только что сказали, так как юные умы легко примут подобные софизмы за силлогизмы.

С этого дня императрица не упускала случая развлечь меня, и ее доброта глубоко меня трогала.

Однажды утром, когда мы были вдвоем, она попросила написать пьесу на русском языке для Эрмитажного театра. Напрасно я говорила, что у меня нет и тени таланта для создания такого рода сочинений. Она много раз возвращалась к этому разговору, объясняя свою настойчивость тем, что по опыту знает, насколько подобная работа развлекает и занимает самого автора. Я была вынуждена пообещать исполнить ее желание, но с условием, что, когда сделаю первые два акта, она прочитает их, поправит или откровенно скажет, что лучше бросить мое сочинение в огонь.

Соглашение было заключено, и в тот же вечер я написала два акта, а на следующее утро отнесла их императрице. Пьеса была

названа по имени главного персонажа «Господин Тоисиоков». Не желая давать повод к предположениям, что я имею в виду определенное лицо, живущее в Петербурге, я выбрала характер самый распространенный, то есть человека бесхарактерного, какими, к несчастью, изобилует общество.

Ее величество удалилась со мной в свою спальню, чтобы прочитать мой экспромт, который я считала не заслуживающим такой чести. Императрица смеялась над многими сценами и, то ли по своей снисходительности, то ли по некоторому пристрастию, которое иногда проявляла ко мне, нашла эти два акта превосходными. Я рассказала ей о плане и предполагаемой развязке третьего действия. Тут ее величество настоятельно попросила меня сделать пьесу в пяти актах. Я думаю, что растянутая благодаря этому пьеса отнюдь не выиграла; мне было досадно, что из-за бесполезных добавлений интрига становилась более вялой. Как могла, я закончила работу, через два дня пьеса была переписана набело и отдана императрице. Ее играли в Эрмитаже, а позднее напечатали[66].

В начале следующего года я попросила у ее величества разрешения на двух-трехмесячную отлучку моего сына из армии для поездки в Варшаву, чтобы заплатить долги его сестры и привезти ее на родину. Императрица согласилась. Я отдала на это все имевшиеся у меня деньги и вынуждена была жить в долг шесть месяцев, пока не начали вновь поступать мои доходы.

Сын привез сестру в Киев, к месту своей службы, о чем я получила письменное подтверждение от них обоих. Долгие годы я жила без писем от детей, а поскольку никто и никакая страсть не вытеснили их из моего сердца, можно себе представить, как я была несчастна.

В подчинении у моего брата, в департаменте торговли и таможен, служил молодой человек по фамилии Радищев[67], который учился в Лейпциге. Брат был к нему очень расположен[68]. Однажды в Российской Академии, как доказательство того, что у нас много писателей, не знающих своего языка, мне показали брошюру, написанную и опубликованную этим Радищевым. Она представляла собой биографию одного из товарищей автора по годам учения в Лейпциге — некоего Ушакова[69], изложенную в хвалебном тоне.

В тот же вечер я рассказала об этом брату, который сразу послал за брошюрой в книжную лавку, и высказала мнение, что у его протеже писательский зуд, хотя он не владеет стилем, его идеи недостаточно осмысленны, а высказывания являются опасными в наше время[70]. Несколько дней спустя брат заметил мне, что я слишком строго осудила небольшое сочинение Радищева, которое он прочел и считает просто ненужным, поскольку этот Ушаков ничего значительного никогда не сделал и не сказал.

— Возможно,— согласилась я,— мое суждение было слишком суровым.

Но так как брат участливо относился к автору, я сочла своим долгом предостеречь его, указав на то, что́ следует из этой глупой маленькой брошюры: человек, который существует только для того,

чтобы спать, пить и есть, может найти панегириста лишь в том, кто подвержен страсти печатать все подряд, и что именно этот писательский зуд может побудить его протеже в будущем написать нечто более предосудительное.

Действительно, следующим летом, проводя отпуск в Троицком, я получила письмо от брата, где он сообщал о своем крайнем огорчении, так как мое пророчество в отношении Радищева сбылось; он опубликовал сочинение, которое, к сожалению, могут воспринять как набат, был разоблачен и недавно сослан в Сибирь[71].

Далекая от того, чтобы радоваться справедливости своего мнения (которую эта катастрофа доказала), я была опечалена судьбой Радищева и особенно горем моего брата, так как знала — оно пройдет нескоро. Я даже предвидела, что фаворит[72], отнюдь не бывший другом графа Александра, воспользуется этим поводом, чтобы бросить на него тень.

Он в самом деле сделал такую попытку и при другом государе преуспел бы в намерении повредить брату, но на Екатерину Великую его усилия не произвели впечатления. Однако, брат не мог отделаться от чувства отвращения к проискам фаворита, тем более что к ним присоединились интриги генерал-прокурора[73]. Дурное настроение заставило его просить годичный отпуск под предлогом плохого здоровья, требовавшего покоя и деревенского воздуха. Отпуск был ему предоставлен, и, когда он уехал в свое поместье, я ощутила себя в Петербурге совсем одинокой в этом обществе, которое мне еще более опостылело. Я жила ожиданием возвращения брата, но еще до конца отпуска он попросил отставку и получил ее. Он завершил свою служебную карьеру, полезную для отечества и почетную для него самого, в 1794 году.

Через полтора года после его отъезда вдова одного из наших знаменитейших драматических авторов господина Княжнина[74] попросила меня напечатать в пользу ее детей последнюю трагедию мужа, которая еще не была опубликована[75].

Так как от ее имени обратился ко мне один из советников канцелярии Академии Наук господин Козодавлев[76], я ему и предложила прочитать пьесу и сообщить мне, нет ли там чего-либо противного законам и религии, чтобы затем отдать приказ о ее публикации. Я прибавила, что даю ему это поручение с особым удовольствием, поскольку он прекрасно владеет русским языком и, будучи сам писателем, превосходно знает, какие сочинения у нас допускаются к печати, а какие нет.

По докладу Козодавлева, трагедия точно передавала исторические события, происходившие в Новгороде, и кончалась триумфом русского государя, подчинением Новгорода и мятежников; он не нашел ничего такого, что цензура могла бы осудить. Тогда я отдала распоряжение напечатать пьесу[77] и сделать так, чтобы вдова несла по возможности меньшие расходы. Можно ли было предположить, к каким нелепым последствиям это приведет и каким образом!

Фельдмаршал граф Иван Салтыков, который никогда ничего не читал, по чьему-то наущению заявил, что прочел эту трагедию и намерен сообщить фавориту князю Зубову, какую большую опасность она собой представляет в настоящее время[78].

Не знаю, прочла ли ее императрица или князь Зубов, но ко мне явился полицеймейстер и очень вежливо попросил отдать необходимое распоряжение хранителю книжного магазина Академии, чтобы он по приказу ее величества мог изъять все находившиеся там экземпляры трагедии, так как государыня считает это произведение опасным для распространения. Я удовлетворила его просьбу, прибавив, что вряд ли в магазине найдется хоть один экземпляр пьесы, но она помещена в последнем томе «Российского Феатра издаваемого Академией в свою пользу, и он может, если желает, испортить этот том, вырвав ее оттуда[79]; однако мне это кажется смешным, ибо сочинения Княжнина менее опасно для государей, чем некоторые французские трагедии, которые играют в Эрмитаже.

После полудня генерал-прокурор Сената господин Самойлов приехал ко мне, чтобы по поручению императрицы выразить недовольство публикацией этой пьесы. Не знаю, хотели меня испугать или рассердить, но не преуспели ни в том, ни в другом. Я говорила с господином Самойловым очень твердо и спокойно и выразила удивление по поводу того, что ее величество могла хоть на минуту подумать, будто я стану распространять что-то могущее ей повредить.

Когда он сообщил, что императрица, намекнув на сочинение Радищева, назвала трагедию Княжнина уже вторым опубликованным произведением опасного направления, я высказала пожелание, чтобы ее величество сравнила эти сочинения, особенно несчастную трагедию, которую ее заставили невзлюбить, с французскими пьесами, идущими в ее театре и на публичной сцене.

— Впрочем,— добавила я,— это касается не меня, так как прежде, чем разрешить вдове автора печатать пьесу в свою пользу, я доверила ее цензуре советника Козодавлева, и надеюсь, что больше не услышу разговоров об этом.

На следующий день, как обычно, я отправилась провести вечер в узком кругу приближенных ее величества. Когда императрица вошла, ее лицо выражало замешательство и явное недовольство. Я подошла к ней и спросила, как она себя чувствует.

— Очень хорошо,— быстро ответила она.— Но чем я вам не угодила, что вы распространяете высказывания, опасные для меня и моей власти?

— Я, государыня?! Нет, вы не можете так думать!

— Знайте,— сказала императрица,— что я прикажу сжечь эту трагедию рукой палача.

По ее лицу я как будто прочла, что последняя фраза чужда ее уму и сердцу и кем-то ей подсказана.

— Ваше величество, для меня не имеет значения, будет или не будет она сожжена палачом. Не мне за это краснеть. Но, ради

бога, прежде, чем вы совершите этот акт, столь мало согласующийся с вашими словами и делами, прочтите пьесу, и вы найдете в ней развязку, которую и вы сами и все приверженцы монархического правления могли бы только пожелать. Кроме того, вспомните, ваше величество, что, защищая эту пьесу, я не являюсь ни автором оной, ни лицом, извлекающим пользу из ее публикации.

Эти слова были произнесены столь решительно, что тем разговор и окончился[80]. Императрица села играть, я сделала то же самое.

Через день утром я поехала с докладом к государыне, твердо решив, что, если она не предложит мне, как всегда, пойти с ней в бриллиантовую комнату*, не стану больше ездить на утренние приемы и без промедления подам прошение об отставке.

Господин Самойлов, выходя от императрицы, сказал мне на ухо:

— Ее величество сейчас выйдет. Будьте спокойны: кажется, она на вас не сердится.

Я ответила ему, не понижая голоса, чтобы меня слышали находившиеся в комнате:

— Мне нечего волноваться, потому что не в чем себя упрекнуть, и было бы досадно за государыню, если бы она плохо думала обо мне; но, во всяком случае, несправедливости для меня уже не новость.

Императрица действительно скоро появилась, и, дав присутствующим руку для поцелуя, сказала мне:

— Не хотите ли, княгиня, пойти со мной?

Надеюсь, читатели этих записок поймут, что приглашение ее величества доставило мне невыразимую радость — не столько за себя, сколько за нее, так как я с грустью сознавала, что, если бы она так не поступила, моя отставка и отъезд из Петербурга не сделали бы ей чести. Надеюсь также, что никто не припишет это самонадеянному высокомерию, которого никогда не было в моем характере.

Словом, я была очень довольна, что императрица не вынудила меня полностью порвать с ней, и, едва переступив порог, протянула ей руку, попросила дать свою для поцелуя и забыть все происшедшее в последние дни.

— Но в самом деле, княгиня...— начала было она.

Я помешала ей продолжать, приведя тривиальную русскую поговорку: «*Если серая кошка пробежала между нами, не надо звать ее назад*». Императрица была так милостива, что отозвалась на мои чувства и, посмеявшись от всего сердца, начала говорить о другом. Я была очень весела и за обедом заставила ее величество громко хохотать.

Война со Швецией окончилась, в начале августа 1790 года был подписан мирный договор[81]. Можно было рассчитывать и на

---

* В этой комнате были выставлены большая и малая бриллиантовые короны и все бриллианты. Когда государыня встречала меня в своей туалетной, она обычно уводила меня туда, чтобы остаться со мной наедине. Пока ее причесывали, мы без помех разговаривали.

заключение весьма славного мира с турками. Все в Петербурге ликовало. Действительно, вскоре был заключен такой мир[82], какого заслуживали высокие подвиги нашей армии и неустрашимый патриотизм некоторых генералов и офицеров. Все происки французов после этого не могли склонить турок еще раз померяться силами с русскими, которых они боялись.

Мне хотелось снова повидать брата и пожить в моем любимом имении. Я желала также полностью отойти от службы, от столичного шума, но не могла уехать из Петербурга, не устроив дела и не заплатив долги дочери. Я и сама была должна банку 32 тысячи рублей, взятые для покрытия заграничных долгов*. Мечтая жить на покое, ни о чем не думать и не заниматься ничем, кроме сельских дел, я решила продать петербургский дом, но не покидать город прежде, чем обрету полную независимость, которая дарит спокойствие духа.

Господин Щербинин передал в дар своей жене превосходное имение, а также подарил имение своей кузине госпоже Б. Его мать и сестры добивались опеки над остальными владениями Щербинина, может быть, в надежде, что вышеупомянутые дарственные будут признаны недействительными. Он мог, в свою очередь, объявить недействительной эту опеку, потому что закон об управлении имениями лиц, обвиняемых в недееспособности, у нас вполне определенно говорит в пользу владельца, у которого хотят отобрать имение; ему нужно лишь ответить на некоторые вопросы, чтобы ходатайство родных об опеке было отклонено. Господин Щербинин ничего такого не предпринял; более того, мать и сестры даже убедили его в том, что сделали этот шаг для его же блага.

Когда я также взяла под опеку имение моей дочери, дав поручительство за ее долги и отправив ее в Ахен для восстановления здоровья, то велела принести мне различные векселя и счета, которые были ею подписаны, т. е. признаны действительными. Но среди них нашлись счета, подписанные ее мужем или ею самой, но по характеру обозначенных товаров явно относившиеся к мужчине. Принять эти счета означало бы позволить себя одурачить. Поэтому я вступила в переговоры с опекунами господина Щербинина, от которых тогда и узнала, что он подарил моей дочери очень хорошее имение, оформив это по всем правилам закона.

По поводу дарственной я дала им совет обратиться в Сенат, так как только он мог утвердить или не признать ее. Кроме того, я попросила опекунов проверить счета, представленные нам, и определить по совести, какие из них мне следует оплатить полностью, какие они принимают к оплате из средств господина Щербинина и, наконец, какие мы должны оплатить совместно.

Дело в Сенате затянулось. Мне не хотелось показаться заинтересованной в том, чтобы имение было присуждено моей дочери.

* Я заняла эти деньги, чтобы справиться с расходами на путешествия и воспитание сына.

В глубине души я этого совсем и не хотела, поскольку хорошо понимала, как велика была ее роль в расстройстве состояния мужа. Я даже нашла в себе мужество сказать об этом генерал-прокурору, который мог повлиять на решение вопроса в ту или другую сторону. Мне же надо было только знать решение Сената и определить, должна ли я заложить или продать некоторые из поместий для уплаты долгов дочери, чтобы получить возможность уехать в свои владения.

Наконец, решение Сената сделало меня свободной: оно было в пользу дочери, и императрица его утвердила. Я заплатила бóльшую часть дочерних долгов, а уплату остальных отсрочила, дав поручительство и обещание погасить их вскоре после приезда в Москву.

Продав дом, я поселилась в просторном дворце моего отца, одна, с очень малым числом слуг и горничных. В полном уединении, в огромном доме, я казалась себе принцессой, зачарованной злым гением, который не давал мне вырваться из плена.

Мне было поручено управление упомянутым выше имением моей дочери. Я обложила ее крестьян только оброком, таким легким, таким незначительным, что они почитали себя счастливыми. Те из них, которые раньше покинули свои дома, теперь возвратились. Правда, доходов от этого имения едва хватало, чтобы оплачивать проценты на суммы, израсходованные мной для дочери.

Я написала ее величеству письмо с просьбой окончательно освободить меня от управления двумя Академиями и как статс-даме дать двухгодичный отпуск для улучшения расшатанного здоровья и приведения дел в порядок. Императрица не захотела, чтобы я совсем оставила Академию и согласилась лишь на мое отсутствие в течение двух лет. Напрасны были мои доводы, что Академия Наук несомненно понесет ущерб, не имея присутствующего директора; она хотела, чтобы я оставила вместо себя кого-нибудь из подчиненных, но при этом тот ничего не предпринимал бы, не списавшись предварительно со мной и не получив моих распоряжений. Она желала также, чтобы я продолжала получать жалованье директора Академии Наук*.

Императрица выразила графу Безбородко беспокойство по поводу моего намерения удалиться. Хотя я твердо решила жить в деревне и очень стремилась снова повидать брата, графа Александра, мне становилось грустно от мысли, что, может быть, я никогда более не увижу государыню. Я горячо любила ее еще в то время, когда она не была императрицей и когда я могла оказывать ей услуги более существенные, чем она мне; стало быть, мои чувства к ней были бескорыстны. Несмотря на то что она не всегда относилась ко мне так, как ум и сердце ей подсказывали, я не переставала любить ее; мне доставляло удовольствие любоваться ею всякий раз, когда она давала к тому повод. Я ставила

---

* Всего 3000 рублей — сумма, которую получал до меня и Домашнев за то, что ничего не делал, а только разрушал Академию.

ее много выше всех самых прославленных государей, занимавших русский престол.

Наконец, приготовив все к отъезду, я отправилась вечером в Таврический дворец, где находилась императрица. Она осыпала меня знаками внимания, и у меня не хватало решимости попрощаться с ней. В обычный час ее величество удалилась. Я пошла просить разрешения проститься с нею в ее покоях, но путь был прегражден великим князем Александром и его очаровательной супругой[83], которые разговаривали с князем Зубовым. Я шепнула последнему, что прошу позволения пройти, чтобы поцеловать руку императрицы — может быть, в последний раз, так как собираюсь следующим утром выехать из Петербурга. Он сказал: «Подождите минуту»,— и вскоре исчез.

Я думала, что он сообщит ее величеству о моем желании с ней проститься, но прошло добрых полчаса, а моего посланца все не было. Пройдя в соседнюю комнату, я встретила одного из камердинеров императрицы и поручила ему передать ее величеству, что желала бы поцеловать ее руку прежде, чем покину Петербург. Через четверть часа он пришел сказать, что государыня ждет меня. Каково же было мое удивление, когда, войдя к ней, вместо безмятежности, царившей на ее лице весь вечер, я увидела волнение и даже гнев.

«Желаю вам, княгиня, счастливого пути»,— вот все, что она мне сказала.

Тому, кто привык строго судить самого себя и чья совесть чиста, трудно догадаться, чем вызваны чувства, которых он не заслужил. Так было и в этом случае. Предположив, что ее величество получила какие-то неприятные, тревожные известия, я пожелала ей в душе благополучия и спокойствия и удалилась.

На следующее утро приехал попрощаться со мной господин Новосильцев[84], родственник Марии Саввишны[85], которая была близка к императрице и пользовалась ее доверием. Я спросила его, не было ли вчера вечером курьера с какими-нибудь дурными вестями, потому что я видела, как неожиданно изменилось настроение ее величества. Так как Новосильцев приехал именно из дворца, то, конечно, знал бы от своей родственницы, если бы там что-то случилось. Однако он — человек, мне преданный, — положительно уверял, что не было никаких плохих известий и что императрица этим утром появилась в очень хорошем расположении духа.

Я не знала, чему приписать оказанный мне прощальный прием, но вскоре получила письмо секретаря императрицы господина Трощинского[86], которое объяснило мне загадку. К письму были приложены счет портного, подписанный моей дочерью и ее мужем, и очень трогательное прошение, адресованное этим портным императрице и составленное так, чтобы и польстить, и вызвать сочувствие. Господин Трощинский от имени ее величества высказывал удивление, что, дав обязательство уплатить долги дочери, я собиралась покинуть Петербург, не сдержав слова.

Признаюсь, я была возмущена этим письмом и решила в Петербург не возвращаться. Отвечая господину Трощинскому, я написала, что не менее удивлена и, не понимая, как ее величество хоть на минуту могла поверить наветам, роняющим меня в ее глазах, возвращаю присланный счет. Если бы государыня приказала внимательно рассмотреть его, то поняла бы, что речь идет о долге господина Щербинина мужскому портному, который шил ему форменное платье и ливреи для его челяди. Я не давала обязательства платить долги своего зятя, еще обладающего состоянием, по меньшей мере равным моему, и поэтому адресовала портного к опекуну имений господина Щербинина. Тот в моем присутствии обещал ему заплатить не позже, чем через два месяца, поскольку этот долг касается лишь господина Щербинина*, и портной ушел вполне удовлетворенным; если он потом передумал или кто-то, чтобы повредить мне, научил его написать упомянутое прошение, то я, по справедливости, не должна страдать от этого.

Оказалось, что эта бумага в самом деле была составлена одним из приспешников Зубова и, как я узнала впоследствии, сам Зубов, покидая гостиную Таврического дворца накануне моего отъезда, вручил ее императрице прежде, чем я была к ней допущена. Это не помешало мне в Петербурге, после восшествия на престол императора Александра, и особенно в Москве, после коронации последнего, вновь увидев Зубова, проявить к нему сердечность, как если бы он никогда не причинял мне вреда, хотя тогда уже все плохо относились к нему и неохотно его принимали.

Словом, я покидала Петербург, охваченная противоречивыми чувствами; они бы не противоборствовали так, если бы я могла изменить своей привязанности к Екатерине II.

Сделав крюк, я отправилась в свои белорусские владения, чтобы устроить некоторые дела и установить сроки для выплаты мне доходов, из которых нужно было платить кредиторам моей дочери. Там я оставалась всего восемь дней; в Троицком задержалась также только неделю: мне не терпелось увидеть брата, графа Александра. Я ехала в его имение через Москву, где остановилась лишь на несколько дней из-за необходимости распорядиться о спешном приведении в порядок (без малейшей претензии, но с комфортом) апартаментов нижнего этажа моего московского дома, чтобы там можно было жить зимой.

Если некоторые успехи, особенно в управлении обеими Академиями, не вскружили мне голову, так покажется ли странным, что я устояла перед превратностями и ударами судьбы, выпавшими на мою долю. Я твердо верю, что противостоять несчастью может лишь тот, кто умеет обуздать свое честолюбие или самолюбие. Свою общественную карьеру я считала окончательно завершенной и посвятила себя братской дружбе и сельской жизни спокойно и с удовольствием, которое отравляли только смутные

* Действительно, через несколько месяцев долг был уплачен из доходов господина Щербинина.

воспоминания о том, как люди, мной любимые и уважаемые, вредили себе в глазах других несправедливостями по отношению ко мне.

Мой приезд был для брата приятным сюрпризом. Но мы оба чувствовали необходимость не затягивать мое пребывание, опасаясь, что окажется невозможным жить и принимать друзей в моем московском доме, если комнаты не будут приведены в порядок и протоплены до заморозков. Я уехала в Москву наблюдать за работами, которые производились в доме, и брат хотел последовать за мной туда же раньше обычного.

Спустя год он посетил меня в Троицком и был очарован моим садом, посадками и постройками; когда осенью я приехала в его поместье, он предоставил мне полную свободу в изменении планировки его сада, в продолжении посадок и разбивке дорожек, которые были мной намечены во время шестидневного пребывания в предыдущем году.

Летом 1796 года я отправилась в свои могилевские владения, где принимала кое-кого из Петербурга — лиц, хорошо осведомленных о том, что делалось и говорилось при дворе. Они выражали мне свое удовлетворение предполагавшейся возможностью снова видеть меня в столице, поскольку ее величество не раз говорила о своем намерении предложить мне приехать в Петербург и сопровождать великую княжну Александру в Швецию: ее брак со шведским королем[87] представлялся решенным.

Я получала письма от моих родных из Москвы, в которых они высказывали сожаления по поводу того, что мне опять предстоит их покинуть, так как уверяют, будто уже отправлен курьер императрицы, чтобы отозвать меня в Петербург.

После этих известий я решила вернуться в Троицкое и еще раз просить или об отставке, или, по крайней мере, о продлении отпуска. Сразу же по приезде я написала по этому поводу ее величеству; однако она лишь продлила мой отпуск на год. Письмо императрицы было милостивым, но, опасаясь, что мое долгое отсутствие все-таки вызовет ее недовольство, я написала нескольким верным друзьям и просила их откровенно сообщить, не проявила ли государыня в разговорах злопамятности по отношению ко мне. Они уверяли, что ее величество неоднократно высказывала удовлетворение собственной идеей избрать меня для сопровождения ее внучки в Швецию.

— *Я знаю,*— говорила она,— *княгиня Дашкова довольно меня любит, чтобы не отказать в том, что, как ей известно, составляет мое сердечное желание, и тогда я буду спокойна за мою юную королеву.*

Вернувшись из Круглого в Троицкое, я постаралась завершить начатые постройки. Были окончены четыре дома и произведены посадки, превратившие мой сад в самое отрадное для меня место: каждое дерево, каждый куст сажались мной самой или на моих глазах там, где я указала. Любоваться делом своих рук так естественно, и я, не колеблясь, могла бы назвать Троицкое одним из

самых красивых имений, какие мне пришлось видеть в России или за границей.

Особенно же благосостояние моих крестьян делало для меня пребывание здесь желанным и утешительным. За сорок лет моего управления население возросло с 840 до 1550 душ. Число женщин, которые у нас не принимаются в расчет, увеличилось еще больше, потому что ни одна из них не хотела выходить замуж вне пределов моих владений.

Я расширила свою и без того значительную библиотеку и очень удобно устроила комнаты первого этажа, чтобы в них было приятнее жить осенью.

Осенняя погода, которая вызывала обострение ревматизма, приобретенного в Шотландии, заставила меня страдать и в этом году. Я была больна весь октябрь и начало ноября, когда ужасный удар постиг Россию и чуть не свел меня в могилу.

Однажды вечером ко мне приехал городничий Серпухова господин Григоров, весьма уважаемый и порядочный человек, очень мне преданный (я имела счастье оказать некоторые услуги ему и его брату). Меня поразил его подавленный вид.

— Что с вами? — спросила я.

— Разве вы не знаете, княгиня, какое несчастье произошло? Императрицы больше нет с нами, — ответил он.

Дочь, находившаяся рядом, испугалась, что я упаду, и хотела меня поддержать.

— Нет,— сказала я,— не бойтесь за мою жизнь: к несчастью, мне суждено пережить этот роковой удар. Я готова и к другим бедам — даже к тому, что увижу свое отечество столь же несчастным, сколь славным и благоденствующим было оно в царствование Екатерины.

Дрожь во всем теле и мучительные спазмы за двадцать четыре часа превратили меня в самое жалкое существо; между тем я с грустью понимала, что это еще не конец моей жизни.

Сказанное мной в минуту внезапного потрясения явилось сущим пророчеством, которое исполнилось. Общество оказалось во власти ужаса и тревоги, ставших постоянными чувствами каждого. Не было семьи, где не оплакивали бы какой-нибудь жертвы. Муж, отец, дядя видели в жене, сыне, в наследнике *доносчика,* из-за которого они могли погибнуть в казематах крепостей или в глубине Сибири.

Вскоре спазмы и бессонница так меня ослабили, что я едва могла подняться с постели, и то лишь на короткое время. В начале декабря я собралась в Москву, чтобы поставить пиявки, твердо решив поскорее вернуться в Троицкое, так как уже получила указ Сената, в котором говорилось, что император отстранил меня от всех должностей. В связи с этим я просила господина Самойлова, сохранившего еще пост генерал-прокурора Сената, засвидетельствовать мою покорность императору и мою признательность за то, что он освободил меня от бремени, превышавшего мои силы. Затем я со смирением приготовилась к неизбежным гонениям.

Но перед отъездом в Москву я попала в весьма затруднительное положение, из которого не знала, как выйти. Пришло письмо, подписанное Данауровым[88] и уведомлявшее, по повелению императора, о моем увольнении со службы[89].

В России не принято обращаться к кому-либо письменно, и тем более адресовать письмо, указывая одну фамилию, без имени, данного при крещении, и без отчества*; мне же они были неизвестны, и я положительно не знала, как поступить. Не ответить и не подтвердить получение императорского приказа было бы преступлением против высшей власти; не соблюсти всех принятых форм обращения, соответствующих положению отправителя письма, значило бы нажить себе врага мнимо презрительным отношением.

Я решила обратиться к своему кузену князю Куракину[90], который в то время еще хорошо принимался при дворе. Моя просьба заключалась в том, чтобы он сказал господину Данаурову, что я не ответила ему лично только из опасения сделать ошибку, не зная, как дóлжно адресовать письмо, и что свою отставку рассматриваю как благодеяние его величества.

Сообщив брату, графу Александру, об этом случае, я не могла прийти в себя от удивления, когда услышала от него, что Данауров — сын бывшего буфетного слуги моего дяди, государственного канцлера. Этот слуга после женитьбы на калмычке, которую моя тетушка отличала среди других горничных, стал хозяином винного погреба и главным буфетчиком в доме.

Ссылки, аресты становились столь частыми, что известия о них доходили и до меня. Я была глубоко потрясена кончиной Екатерины II, общим несчастьем отечества и ужасом, сковавшим всех, так как не было почти ни одной дворянской семьи, в которой кто-нибудь не отправился бы в сибирскую ссылку или не был заточен в крепость.

Моя болезнь и особенно состояние нервов делали жизнь тягостной, но я не хотела укорачивать ее по своей воле. Следовало ехать в Москву — не для советов с докторами, ибо у меня не было никакого доверия к московским эскулапам,— но для того, чтобы поставить пиявки и постараться таким образом восстановить более спокойное и правильное кровообращение.

Я приехала в Москву 4 декабря в 9 часов утра. В моем доме находились некоторые из родственников, ожидавшие меня с нетерпением и тревогой из опасения, что, потеряв Екатерину II, я сама погибну от горя. Чуть позднее приехал мой брат, граф Александр. Я вынуждена была лечь в постель; но не пробило еще 12 часов дня, когда в мою комнуту вошел генерал-губернатор господин Измайлов. Он едва присел, видимо, спеша в Сенат, и, понизив голос, сказал, что должен объявить мне от имени его величества императора приказание немедленно вернуться в деревню и припомнить 1762 год[91].

* Например — Иван, сын Бориса; тогда пишут Иван Борисович.

Я ответила ему так, чтобы слышали присутствовавшие здесь родные и друзья, что всегда буду помнить 1762 год: события, на которые государь, вероятно, намекает, никогда не вызовут во мне ни сожаления, ни упреков совести, и тем точнее будет исполнено его приказание. Если бы император захотел вдуматься в это, возможно, он не обращался бы со мной так сурово. Что же касается моего немедленного отъезда в деревню, то, как видит его превосходительство, я не могу этого сделать, так как обязательно должна прибегнуть к пиявкам, но твердо обещаю отправиться завтра вечером или, в крайнем случае, на день позже, поутру. После этого губернатор откланялся и уехал.

Кроме меня, все находившиеся в комнате были очень грустны и подавлены. Брат был потрясен, и мне же пришлось приложить усилия, чтобы воскресить в нем мужество.

Я покинула Москву 6 декабря. Мое состояние было не чем иным, как борьбой со смертью. Я писала брату и своим родным через день, и они отвечали мне столь же регулярно. Некоторые из близких, в частности мой брат, говорили, что образ действий Павла I по отношению ко мне объясняется его желанием отдать долг памяти отца и что коронация изменит нашу судьбу. Брат был убежден в этом и заклинал меня запастись терпением и беречь здоровье. Приведу мой ответ ему, так как (среди многого другого) и он оказался пророчеством.

«Ты говоришь, мой друг, что после коронации Павел оставит меня в покое. Стало быть, ты не знаешь его. Однажды начав избивать свою жертву, тиран повторяет удары до ее полного уничтожения. Я жду новых преследований и смиряюсь перед ними с покорностью создания перед своим создателем. Сознание невиновности и то, что в моем негодовании по поводу действий императора против меня лично нет желчи, надеюсь, придаст мне мужества. Лишь бы его опасная недоброжелательность не коснулась тебя и моих близких; все, что господу будет угодно ниспослать мне, я перенесу, не сказав и не сделав ничего, что могло бы унизить меня в собственных глазах. Прощай, мой друг, мой горячо любимый брат; целую тебя».

Лежа в постели или вытянувшись в кресле, будучи не в состоянии даже много читать из-за спазматических болей в затылке и страдая от неподвижности, я имела время перебрать в памяти события своей жизни, все, что было сделано и что оставалось сделать.

Хотя я страстно желала уехать за границу, получив разрешение при первой возможности, моя любовь к сыну препятствовала этому. Его дела были расстроены, он о них не заботился. Если бы я не прилагала постоянных усилий к приумножению собственных доходов, долги, особенно в мое отсутствие, довели бы состояние сына до положения более чем посредственного.

Некоторое утешение доставляли мне мысли о прошлом. Бескорыстие и твердость, которые всегда мне были свойственны, придавали душевное спокойствие; оно не могло заменить всего, но все

же служило источником некоторой гордости и мужества, поддерживавших в несчастье.

Я узнала, что некоторые из фаворитов покойной императрицы ставили целью вывести меня из равновесия и добиться, чтобы по вспыльчивости характера я устроила какую-нибудь сцену, которая поссорила бы меня с ее величеством. Граф Мамонов[92], более умный, чем его предшественники, был убежден, что не удастся охладить отношение государыни ко мне до такой степени, чтобы она совершила слишком заметную несправедливость, во всяком случае если я не дам к тому повода. А это, конечно, могло случиться, коль скоро, сердясь на императрицу, я не удержалась бы от свойственной мне горячности, которая неизбежно должна была вызвать ее негодование.

Мамонов исподтишка вредил и мне и моему сыну, чтобы ожесточить меня. Но моя преданность императрице и опыт, подсказывавший мне, что я была помехой для всех фаворитов, помогали отличать в ее поступках то, что́ исходило от нее самой, от того, что́ было делом этих людей, которых я отнюдь никогда не боготворила, как бы не замечая их могущества, и которым никогда не льстила.

Невосполнимая потеря, понесенная моим отечеством со смертью императрицы, повергла меня в глубокое отчаяние, но прошлое будило воспоминания, заставлявшие уважать свой образ действий.

Настоящее было тревожным. Павел с первых дней восшествия на престол открыто проявил ненависть и презрение к своей матери. Он спешил отменить или, точнее, разрушить все, что́ было ею сделано, и лучшие установления заменялись актами самоуправными и сумасбродными. Назначения и смещения следовали одно за другим так стремительно, что едва успевали объявить в газетах о назначении кого-нибудь на то или иное место, как этот человек уже был уволен. Никто не знал, к кому обращаться. Едва ли нашлось бы несколько домов, где не оплакивали бы сосланного или заключенного в тюрьму члена семьи. Страх был всеобщим чувством, которое, породив подозрительность, разрушало доверие, опиравшееся на кровные узы. Оглушенные, перепуганные, люди познали состояние *апатии*, оцепенение, гибельное для *первой* из добродетелей — *любви к отечеству*.

Будущее рисовалось моему воображению в неисчислимых бедах и несчастьях. Печальная, больная, в тревоге за друзей, родных, за свою родину, я влачила жалкое существование с надеждой, что жизнь моя не продлится долго.

Вскоре оправдалось мое пророчество о продолжении гонений со стороны Павла.

Меня навестил подполковник Лаптев[93], дальний родственник моей бабушки, которому я имела счастье помочь в продвижении по службе. Он сказал, что не хотел возвращаться в полк (откуда ему трудно будет отлучиться), не повидав меня. Он мог пробыть у меня всего один вечер, потому что из-за болезни отца уже задер-

жался в отпуске сверх срока, и просидел со мной до полуночи, затем я отослала его спать.

В три часа Лаптев через горничную сообщил мне, что должен передать письмо и переговорить со мной. Я просила отложить это до утра, поскольку ему следовало отдохнуть после утомительного путешествия. Тогда он велел уведомить меня о прибытии нарочного из Москвы. Не сомневаясь, что какой-то новый удар должен обрушиться на мою голову, я приказала впустить господина Лаптева, который и передал мне привезенное курьером письмо генерал-губернатора Москвы Измайлова. По существу, это был приказ императора — незамедлительно отправиться на жительство в имение, принадлежащее моему сыну и расположенное между двух городов на севере Новгородской губернии (города были названы, а наименование имения или деревни не указывалось); мне предписывалось жить там до нового распоряжения[94].

Я велела разбудить мою дочь и продиктовала ей ответ господину Измайлову. В нем я сообщала, что желала бы без задержки исполнить волю его величества и мне совершенно безразлично, где прозябать или быть погребенной, но вынуждена отложить свой отъезд. Дело в том, что я уже давно передала сыну управление его имениями, и поскольку никогда не была у него в Новгородской губернии, то не знаю даже дороги туда и не смогу отыскать ни одной из деревень, чьи названия мне неизвестны. Так как мне представляется более благоразумным миновать Москву и придется блуждать по проселочным дорогам, я с тем же курьером посылаю человека к управляющему моего сына с просьбой найти в Москве кого-нибудь из крестьян этих селений, знающих, как туда проехать, и прислать его ко мне для сопровождения.

Мне стоило немалых усилий ободрить мою дочь и оживить в ней надежду. Она обнимала мои колени и плакала. Кто-то разбудил мисс Бейтс, чтобы сообщить ей ужасную новость, которая потрясла весь дом. Когда она вошла в мою комнату, я увидела, что она дрожит как лист. Пожав ей руку, я сказала, что она вправе не следовать за мной в изгнание, что она может оставаться в Троицком или в моем московском доме, сколько ей будет угодно, и ей дóлжно хорошенько подумать прежде, чем принять решение, диктуемое привязанностью ко мне. Она очень твердо ответила, что решила не покидать меня, и никто в мире не сможет ее отговорить. Я поцеловала ее, а моя дочь бросилась ей на шею. Мы плакали, как дети.

Господин Лаптев, вручив мое письмо курьеру и отправив с ним одного из моих слуг, вернулся ко мне и спокойно сказал, что будет сопровождать меня до места ссылки. Тщетно я возражала ему, ярко рисуя несчастья, которые он навлечет на себя, и мою горечь от сознания, что буду тому невольной причиной. Я напоминала, что он уже просрочил свой отпуск на несколько дней, а мое путешествие по проселочным дорогам неизвестно сколько продлится, ибо, не имея возможности брать почтовых лошадей[95], я поеду на собственных; государь может счесть его дезертиром да

к тому же разгневаться на него за живое участие в моей судьбе. Все это заставляло меня страшиться, что он будет по меньшей мере разжалован и ему придется служить простым солдатом.

— Солдат, полковник, генерал — в настоящее время все означает одно и то же, и едва ли стоит гордиться чином,— возразил он.— Надеюсь, что вы не прикажете вашим людям выбросить меня вон, так как, если мне не предоставят места в одном из экипажей, я поеду, стоя позади вашей кибитки или кибитки вашей дочери. Ничто не может изменить моей решимости своими глазами увидеть, куда вас сослали,— так что будьте добры не чинить мне более препятствий.

Зная гордый, даже упрямый характер этого молодого человека, я перестала сопротивляться, опасаясь, что он еще увеличит свою вину, самовольно пустившись за мной в погоню. Преданность мне он убедительно доказал живой и искренней радостью, когда добился своего.

Тогда я не знала, что его беспокойство обо мне усилилось в связи с появлением в деревне какой-то темной личности — человека, который непрерывно записывал все, что видел и слышал. Однажды, будучи пьян, этот субъект признался, что был шпионом, посланным для подкупа моих дворовых, дабы через них узнавать обо всем происходящем вокруг меня, что он с самого начала записывал имена людей, живших в моем доме или посещавших меня, а также содержание наших разговоров за столом; наконец, он уверял, что на каком-то участке дороги я буду разлучена со своими друзьями, подвергнута грубому обращению и отправлена в глубь Сибири.

Все это являлось тайной для меня одной; сама того не подозревая, я была во власти любого из моих слуг; какой-нибудь негодяй мог погубить меня и приобрести себе состояние, сделавшись доносчиком — занятие, которое тогда ставилось выше всякого другого.

К счастью, отыскали, наконец, в Москве одного крестьянина из новгородского села (приехавшего для продажи гвоздей собственного производства). Приехала моя племянница княгиня Долгорукова[96]. Она не покидала меня до самого отъезда из Троицкого. При мне были дочери двух моих кузин — девицы Исленьева[97] и Кочетова*. Последняя была нездорова. Я написала ее отцу в Москву, что каким бы утешением ни было пребывание его дочери у меня, я по совести не могу взять ее с собой в ссылку, где ни врача, ни хирурга, ни другой помощи в моем распоряжении не будет, тогда как ее расстроенное здоровье требует последовательного лечения.

* Отец и мать, поручая эту девицу, передали мне полностью и свои родительские права — до того времени, когда устроится ее личная судьба. Она уехала от меня с огорчением и очень неохотно. После моего возвращения в Троицкое, откуда мне не дозволялось выезжать, родители вернули ее ко мне по собственному почину; сама же я не решилась бы держать ее в усадьбе ради своего удовольствия в то время, как по возрасту она должна была желать светских развлечений.

Я просила его приехать без промедления за ней и ее кузиной. Он прибыл за два дня до моего отъезда и назавтра уехал с обеими моими племянницами, которые выразили мне самые горячие сожаления по поводу нашей разлуки. Он отвез девицу Исленьеву к ее матери и взялся за лечение своей дочери, пообещав регулярно сообщать мне о ней.

Княгиня Долгорукова, женщина незаурядного ума, такта и высоких чувств, мой истинный и пылкий друг (она была бесконечно дорога мне), занялась приведением в порядок и упаковкой всего, что могло облегчить мою жизнь в крестьянской избе, где нет ни мебели, ни удобств. Она старалась при этом не дать мне заметить, насколько удручена моим положением. Но слезы непрестанно лились из ее глаз, когда она выходила в другую комнату, где накануне отъезда я и застала ее в таком состоянии.

Я нежно поцеловала ее и упрекнула в том, что при всех преимуществах ума, которым одарила ее природа, она так неблагоразумна, и просила взять себя в руки хотя бы на двое суток. Если господу не будет угодно продлить мою жизнь для новых страданий, то в первый или во второй день пути мое тягостное существование из-за крайне плохого самочувствия окончится; если же по истечении этого срока не привезут мое бездыханное тело, она должна поверить, что путешествие и свежий воздух вернули мне силы. Тогда мы опять увидимся, и я еще смогу наслаждаться ее обществом.

Это пророчество исполнилось: после возвращения из ссылки мы снова встретились. Но не прошло и двух лет, как преждевременная смерть унесла ее, чтобы до конца дней я оплакивала потерю верного и умного друга.

Будучи не в состоянии ни ходить, ни стоять без посторонней помощи, я велела проводить меня в церковь, умоляя моих родных не лишать меня последних душевных сил слишком трогательным прощанием, запретив это и моим дворовым, остающимся в Троицком.

По выходе из церкви я села в кибитку* и пустилась в путешествие, конец которого трудно было предугадать. Накануне мне стали известны распространившиеся по округе слухи о том, что в некотором расстоянии от Троицкого меня заставят изменить путь, чтобы водворить на жительство в удаленном и уединенном монастыре.

Ничего этого не произошло. Вместо этого день ото дня силы мои прибавлялись. Я могла уже проглотить несколько ложек щей (они были крепко заморожены, но, разогретые, превращались в прекрасный суп). Были опасения, что от езды в кибитке**, которой я прежде никогда не пользовалась, мне станет плохо и усилятся мои ревматические боли. Я же, напротив, чувствовала себя лучше, чем в последние *шесть* недель.

---

* 26 декабря 1796 года.

** Полуоткрытый экипаж на очень низких полозьях, а летом на колесах, что менее удобно.

Между Троицким* и городом Тверью мы дважды едва избежали гибели, особенно во второй раз. Снежная буря так замела дорогу, что, проблуждав семнадцать часов, мы не знали, где находимся. Нигде не было видно жилья, лошади выбились из сил. Слуги, ожидая неминуемой смерти для всех нас, молились и плакали. Я приказала кучеру остановиться, уверяя его, что с рассветом ветер утихнет, лошади немного отдохнут и мы отыщем какое-нибудь селение. В самом деле, через три четверти часа кучеру почудился на некотором расстоянии слабый отблеск света. Я тоже заметила огонек и, показав самому крепкому из моих людей это место, послала его посмотреть, что там.

Он вернулся через полчаса и сказал, что это маленькая деревушка из пяти изб. Мы направились туда. Лошади тащились шагом, но и мы, и эти бедные животные были спасены от ужасной медленной смерти. Как оказалось, селение находилось совсем в стороне от нашей дороги и за девятнадцать или двадцать часов пути мы отъехали всего шесть верст от того места, где ночевали.

В Твери нас ждал приятный сюрприз: губернатор господин Поликарпов[99] приготовил мне очень хорошую квартиру. Этот достойный человек сразу же посетил меня, и, когда я вместе с признательностью выразила опасение, как бы он не пострадал от мстительного монарха за сочувственное отношение к изгнаннице, он ответил:

— Я не знаю, княгиня, содержания вашей переписки с императором; указа о вашей ссылке нет — это дает мне право действовать согласно тому чувству уважения, которое я питаю к вам с тех пор, как себя помню.

Он прислал нам вкусный ужин, невзирая на то, что все улицы были заполнены гвардейцами, отправлявшимися в Москву на коронацию Павла. На следующее утро после легкого завтрака мы уехали и, так как нам предстояло совершить все путешествие на одних и тех же лошадях, делали не более 64 верст в день, а часто даже и менее.

В городе Красный Холм[100] нам опять посчастливилось встретить в лице городничего человека порядочного и хорошо воспитанного. Это был господин Крузе, племянник знаменитого врача той же фамилии. Учтивый и услужливый, он снабдил нас провизией, которой мы не могли достать в деревнях.

---

* На первой от Троицкого станции, где мы ночевали, господин Лаптев видел, как неизвестный человек, обогнавший нас в пути, разговаривал с хозяином избы, в которой я остановилась. Лаптев спросил, кто это. Будучи под хмельком, хозяин ответил, что сам не знает: сначала приезжий объявил себя принадлежащим к свите княгини, а затем приказал ему, именем высшей власти, войти в избу и убедиться в том, что княгиня действительно там. Этот посланец Архарова[98] едва ли был тонким дипломатом. Когда Лаптев с обычной своей горячностью спросил, зачем ему надо знать, где находится княгиня, и как он смеет в неурочный час беспокоить ее и мешать ее отдыху, незнакомец дал понять, что шпионил не по приказу императора, а по воле Архарова. Боясь, что я услышу его слова, он заявил Лаптеву в угрожающем тоне, что если тот передаст им сказанное и напугает меня, то неминуемо за это ответит.

После нескольких часов сна ранним утром на отдохнувших лошадях мы снова пустились в дорогу. В этот день пришлось окончательно убедиться в том, что курьер, то опережавший нас, то следовавший за нами, был шпионом господина Архарова-младшего (которого император облек обязанностями и властью инквизитора, что вовсе не претило его грубой душе, лишенной человечности); он ежедневно доносил обо всем происходившем в нашей странствующей колонии.

Войдя в избу, только что покинутую шпионом, Лаптев нашел там забытое им незапечатанное письмо к Архарову. В нем сообщалось, что я была очень больна, что Лаптев еще при мне и (по-видимому, для придания большего интереса посланию) что мои люди украли крестьянский тулуп. На самом деле это сделал именно его человек, одетый в жалкую шубенку; мои же люди имели, кроме собственных, прекрасные тулупы, полученные от меня в подарок накануне отъезда из Троицкого.

С тех пор мы всегда поднимали доску, которой крестьяне прикрывают спуск в подпол, чтобы убедиться, не спрятался ли там лазутчик Архарова для подслушивания наших разговоров.

В это время мной овладело сильнейшее беспокойство за сына. Оно прошло только после того, как, снова оказавшись в Троицком, я узнала из писем брата и друзей, что мой сын не подвергся преследованиям со стороны императора.

Мы приехали в Весьегонск, где городничим был двоюродный брат господина Аракчеева[101], являвшегося самым верным орудием преследований в руках Павла I. Место это ему предоставили, уволив офицера, прослужившего около сорока лет, имевшего девять ран и назначенного на эту должность самой покойной императрицей. Оба городничих, то есть уволенный и новый, посетили меня. Я приложила все усилия, чтобы утешить доброго служаку, но попытки отвлечь его от разговоров об отставке оказались тщетными. Наконец, я догадалась попросить его проводить мою дочь и мисс Бейтс на ярмарку, бывшую тогда самой крупной в империи.

Не успели они выйти, как появился офицер, присланный моим сыном с письмом и поручением повидать меня, передать крестьянам Коротова (место моей ссылки) распоряжение повиноваться мне, как их настоящей госпоже, и по возвращении доставить известия обо мне.

Молния, влетевшая в комнату, не могла бы испугать меня так, как мысль, что мой сын уже сослан в Сибирь за нарушение приказа государя не рассылать офицеров с какими-либо депешами*. Тем паче что он должен был в глазах императора выглядеть еще более виноватым, проявив участие к судьбе гонимой матери и собственноручно подписав свое письмо, которого не имел права отправлять.

---

* Павел так неукоснительно соблюдал это, что приказал опубликовать в газетах строгие выговоры князьям Суворову и Репнину за посылку офицеров с депешами к нему самому.

Я спросила у Шрейдемана, не видел ли его кто-нибудь в городе и не встретился ли он с городничим? Он заверил меня, что этого не случилось. Я умоляла его немедленно уехать в Коротово, находившееся всего в 33 верстах от Весьегонска, обещая поговорить с ним там, так как важнее всего было немедленно покинуть город и даже на обратном пути из Коротова постараться миновать его, выбрав другую дорогу.

Как только мои спутницы вернулись с ярмарки, мы поехали и поздно вечером прибыли к месту жительства, указанному мне императором. Моя изба оказалась довольно просторной; изба напротив предназначалась для кухни, а самая лучшая — на боковой улице — была приготовлена для моей дочери.

Прежде всего я отправила господина Шрейдемана. Но как же возросли мои тревоги и опасения, когда после его отъезда слуга сына сказал, что Шрейдеман не только был замечен городничим, но по легкомыслию и мелкому тщеславию представился ему, а в результате городничий потребовал и оставил у себя его паспорт!

Я не знала покоя ни днем ни ночью, даже во сне сын виделся мне сосланным в Сибирь. В письмах к брату и друзьям я просила поскорее сообщить мне о нем, и даже несмотря на их заверения, что он назначен командиром полка*, я не могла успокоиться полностью.

Что же до меня самой, то я была спокойна и довольна тем, что живу в просторной избе, которая оказалась много лучше, чем можно было ожидать. Правда, три мои горничные ночевали тут же, со мной (днем они находились в избе мисс Бейтс), но благодаря их усердию в заботах обо мне, их вниманию и опрятности это мне нисколько не мешало. К тому же мисс Бейтс догадалась взять с собой наш занавес из зеленого сукна; его повесили и таким образом отделили апартаменты госпожи от помещения горничных.

На следующий день по прибытии я велела господину Лаптеву уезжать: его судьба также очень беспокоила меня. Господь избавил меня от сожалений, которые пришлось бы испытать, если б он стал жертвой своей благодарности и преданности мне. Император, узнав, что он сопровождал меня до Коротова, употребил выражение, которым пользовался, когда хотел отметить в ком-нибудь мужество и характер:

— Этот человек носит не юбку, а штаны!

Батальон стрелков, находившийся под командованием Лаптева, был одним из тех, которые Павел упразднил, и Лаптев остался

---

* У Павла иногда брало верх чувство справедливости и бывали моменты, когда он проявлял прозорливость и великодушие необыкновенные. Из рапорта городничего он знал о поездке господина Шрейдемана, но не разгневался на моего сына. Узнав позднее, когда я уже вернулась в Троицкое, из донесений Архарова, что родные и друзья приезжают туда и проводят у меня по несколько дней, он громко сказал: «Это естественно: сейчас самое время засвидетельствовать княгине Дашковой дружбу или признательность, каковые некоторые могут питать к ней».

не у дел. Но император дал ему полк и вскоре наградил мальтийским крестом[102]

Еще будучи в Твери, я написала моему кузену князю Репнину и просила его разузнать, в каких преступлениях подозревает меня император, обходясь со мной таким образом. Ведь Павел знал чувства, владевшие мной во времена царствования Петра III, и они должны были бы доказать ему и всем честным людям, что я никогда не имела в виду личных выгод и незаконного возвышения моей семьи.

Я сообщила князю название деревни, куда меня ссылали бог знает на какой срок, и указала имена нескольких академиков, чья порядочность и искренняя преданность мне служили гарантией, что они обязательно перешлют мне его ответ. По прибытии в Коротово я предполагала отправить к одному из них за письмами кого-нибудь из крестьян.

Обычно новому государю присягали только дворяне, мещане, военные и служащие по гражданской части; крестьяне, принадлежащие дворянам, к присяге не приводились. Не знаю, по какому капризу было приказано, чтобы крестьяне также присягали на верность Павлу I. Эта мера, до сих пор не применявшаяся, оказалась очень вредной для страны. Крестьяне вообразили, что они не принадлежат более своим господам, и некоторые деревни в различных губерниях взбунтовались, не желая работать на своих владельцев или платить им оброк. Император вынужден был послать войска для прекращения волнений[103]. Во владениях господина Апраксина и княгини Голицыной, урожденной Чернышевой, бунт был таким упорным, что пришлось стрелять из пушек и несколько человек из тех, кто стал жертвой заблуждения, вызванного нововведением Павла, были убиты.

Не знаю, появлялись ли в других губерниях канцелярские писари (самое скверное отродье в России). Они объезжали деревни некоторых дворян с намерением убедить бедных, невежественных крестьян, что если те объявят о своем желании впредь принадлежать только государю, то будут освобождены от всех повинностей в пользу своих господ. Два таких писаря проехали по Архангельской губернии и по северу Новгородской с подобными внушениями. Перед моим приездом они побывали и в Коротове, предложив людям моего сына за небольшие деньги довести до сведения императора их пожелания, которые вскоре-де будут осуществлены; однако те с гневом отвергли их посулы, говоря, что они счастливее любого из крестьян, принадлежащих казне.

Из-за волнений в этих губерниях император послал туда князя Репнина[104]. Проезжая через местечко, расположенное недалеко от деревни, где я была заточена, он призвал к себе приходского священника и уговорил его тайно передать мне письмо. Тот клятвенно обещал в точности исполнить его поручение и, действительно, сделал это. Однажды, глядя в окно, я заметила незнакомого священника, направлявшегося прямо к маленькой лесенке, которая вела в мою избу. Я вышла, но едва поставила ногу

на ступеньку, как он вручил мне письмо и, сказав только, что нужно уповать на милосердие божие, исчез.

Князь Репнин выражал свое крайнее сожаление по поводу того, что не мог чем-либо помочь мне; он советовал написать императрице и просить ее заступиться за меня перед супругом. Признаюсь, было очень неприятно обращаться с такой просьбой к государыне, которая, как казалось, не питала ко мне расположения, и я не спешила с этим письмом.

Я не стала бы вымаливать разрешение вернуться в Троицкое, если бы одна страдала от тяжкой жизни в крестьянской избе, не имея возможности выходить на прогулки зимой из-за шестидесятиградусных морозов, а летом (которое наступало поздно и всего на несколько недель) из-за того, что окрестности представляли собой болота и непроходимые леса. Но моя дочь, мисс Бейтс и мои люди тоже страдали и, может быть, больше, чем я, потому что страдали из-за меня. Сознание невиновности, чистая совесть и некая душевная гордость придавали мне силы и мужество. Это было неожиданно для меня самой и являлось своего рода загадкой, которую можно разрешить, только объяснив все свойственным любому разумному существу смирением.

Вместе с тем наше положение стало еще печальнее, когда морозы, сковавшие окрестные болота, сделали их доступными для езды и на несколько верст сократили путь из Петербурга в Сибирь. По этой более короткой дороге большая часть несчастных изгнанников проезжала мимо моего окна.

Однажды, увидев кибитку, не похожую на крестьянскую и остановившуюся около моей избы, я послала человека осведомиться, кто в ней прибыл. Владелец кибитки, в свою очередь, спросил его, чей он. Услышав мое имя, приезжий попросил разрешения зайти ко мне на минуту, прибавив, что находится со мной в родстве. Хотя в моем положении вряд ли подобало принимать визиты и у меня не было к тому ни малейшего желания, я приказала позвать его, думая, что смогу быть полезной, если он в чем-либо нуждается.

Чтобы начать разговор и узнать, кем является мой гость, я спросила, в каком родстве мы состоим. Он сказал, что господин Разварин, кузен его покойной матушки, был первым браком женат на дальней родственнице моей матери. Он дрожал всем телом, говорил заикаясь, и лицо его подергивалось.

— Не больны ли вы? Кажется, вам нехорошо,— заметила я.

— Нет,— ответил он,— я не болен, но, видимо, таким останусь на всю жизнь.

И тогда он рассказал мне свою историю. Некоторые его товарищи из нижних офицерских чинов гвардии позволили себе оскорбительно говорить об императоре, о чем последнему донесли. Мой собеседник оказался вовлеченным в это дело, его подвергли пытке и нанесли большие увечья. Товарищи были сосланы в Сибирь, а он, уволенный со службы, получил приказ ехать в Вологду, чтобы жить во владениях своего дяди, которому поручен надзор за ним.

Мне было так тяжело, что я решила не затягивать этот визит, но долго еще потом образ молодого человека с изуродованным телом и истерзанными, если можно так выразиться, нервами представлялся моему расстроенному воображению.

Вскоре меня посетила госпожа Воронцова[105] с дочерью. Она была вдовой моего родственника, довольно дальнего, но мною уважаемого. Эта почтенная во всех отношениях женщина считала долгом выразить мне таким образом благодарность за мои заботы о ее младшем сыне, которого доверила мне в семилетнем возрасте. Я заботилась о его воспитании, пока ему не исполнилось шестнадцать лет и он не вступил на службу в чине майора. Его нравственные качества, поведение и нежная почтительность к матери были главным утешением ее жизни. Она поселилась в ближайшей избе и провела со мною неделю.

Предусмотрительно взяв с собой из Троицкого не только книги, но и карандаши, мы покрывали рисунками наш совершенно белый стол, который каждые три дня мыли, чтобы снова использовать для того же занятия (нам приходилось экономить бумагу). Чтение, рисование, смешные выходки маленького казачка и полная покорность судьбе помогали мне терпеливо коротать время. Мое спокойствие придавало больше мужества и терпения и моим спутницам.

Выяснилось, что в конце апреля при таянии снега и льда река возле города выходит из берегов и разливается более чем на две версты; тогда из-за отсутствия лодок или паромов для переправы ее переплывают в маленьких рыбачьих лодочках. Мы приехали в зимних кибитках, не имели летних экипажей на колесах, а приобрести их здесь, как я знала, было невозможно. Эти обстоятельства побудили меня все-таки написать императрице и просить ее похлопотать перед Павлом I о разрешении вернуться в Троицкое, откуда, конечно, без приказа я никуда не выезжала бы, но где мы были бы обеспечены медицинской помощью и жили без тех мучений, которые терпели в крестьянских избах.

Я приложила незапечатанное письмо для государя, которое, признаться, было скорее гордым, чем просительным. Начала я с того, что по моему физическому состоянию вряд ли имеет смысл писать это письмо, а его величеству давать труд читать его. Мне совершенно безразлично, когда и где предстоит умереть, но мои религиозные принципы и человеколюбие не позволяют равнодушно смотреть на страдания невинных людей, разделяющих со мной ссылку, ничем, как говорит мне совесть, не заслуженную. Далее я писала, что никогда при жизни императрицы, его матери, не была настроена злонамеренно по отношению к нему и, наконец, что прошу его дозволения вернуться в мое калужское имение*, где мои спутницы и мои люди будут лучше устроены с жильем и смогут в случае болезни получить помощь.

Письмо было отослано почтой, и, говоря откровенно, мы с нетерпением ожидали результатов. Позднее я узнала от одного

* Троицкое.

лица, находившегося тогда в Петербурге и бывшего своим человеком во дворце, что мое послание чуть не привело к самым ужасным для нас последствиям. Но провидению было угодно еще раз спасти меня. Частая смена настроений, свойственная Павлу I, и какая-то задержка в пути курьера, посланного, чтобы нанести, может быть, последний удар едва живой женщине, боровшейся с суровой судьбой, сыграли свою роль в облегчении нашего положения; горести уступили место утешению.

Когда императрица получила мое письмо и отнесла государю адресованное ему, он не захотел его принять, пришел в страшную ярость и прогнал ее, говоря, что не желает быть свергнутым с престола, как его отец.

Императрица рассказала о постигшей ее неудаче госпоже Нелидовой[106], та отдала письмо самому младшему сыну Павла, великому князю Михаилу*[107], и вместе с государыней отвела его к отцу, который на этот раз был настроен снисходительнее обычного и письмо взял. Прочитав его, он сказал, целуя сына:

— Вы сумели, сударыни, выбрать способ действия, которому нельзя противостоять.

Они обе многократно и нежно благодарили императора, и он написал мне дословно следующее:

— «Княгиня Катерина Романовна. Вы можете вернуться в свое калужское имение, как вы того желаете. Пребываю впрочем к вам благосклонный (или весьма расположенный к вам), весьма желающий добра Павел»[108].

Затем он велел позвать господина Архарова**, военного губернатора Петербурга, и приказал ему спешно отправить с этим письмом нарочного, дав ему распоряжение вернуть с дороги того курьера, который был послан несколько ранее с приказом отобрать у меня чернила и бумагу, поселиться в моей избе и следить, чтобы я не имела никакой связи с внешним миром.

Господин Архаров то ли по злобе, то ли по оплошности выбрал для этого срочного дела курьера, сопровождавшего в ссылку какого-то несчастного гвардейского офицера и только что вернувшегося из Сибири. Сделав более *4000 верст* в оба конца без отдыха, он вряд ли мог догнать человека, уехавшего за несколько часов до него.

Но судьба, которая, видимо, устала меня преследовать, распорядилась по-своему. Второй нарочный догнал первого и вернул его с дороги, а сам поспешил дальше. Я находилась у окна, когда он прибыл. Увидев возле крыльца чью-то кибитку, окруженную моими людьми, я вышла и поняла, что это курьер императора. Мисс Бейтс тщетно торопила его сообщить, какой приказ он привез: он мог лишь ответить, что *ничего не знает,* но должен передать

* Павел говорил о нем, что из всех его сыновей этот действительно *императорское высочество,* потому что явился на свет после его восшествия на престол; казалось, он и любил его больше других детей.

** Старший брат того, который был московским губернатором[109].

княгине указ его величества. Я назвала себя, и он вручил мне приведенное выше письмо.

Не успела я его распечатать, как добрая мисс Бейтс бросилась к моим ногам со словами:

— Дорогая княгиня, и в Сибири также есть бог! Будем мужественны!

Она была бледна и дрожала всем телом. Я подняла ее, умоляя успокоиться и не мешать мне ознакомиться с содержанием письма. Узнав, что мы получили дозволение вернуться в Троицкое, она снова бросилась к моим ногам. Заметив, что у нее жар и мутится сознание, я с трудом убедила ее лечь в постель, а затем приказала людям накормить курьера и дать ему стакан вина. Он не хотел ни пить, ни есть, но умолял предоставить ему уголок, чтобы выспаться, так как не спал несколько дней. Я послала объявить дочери счастливое известие, при получении которого мои люди обезумели от радости.

На следующий день нарочный отправился обратно. Спросив, каково его годовое жалованье, я дала ему почти вдвое больше. Тогда он тоже как будто сошел с ума от радости. Одна я сохраняла полное спокойствие, и только лихорадка мисс Бейтс внушала мне тревогу: она бредила и не узнавала никого, кроме меня. От изголовья ее постели я отходила лишь для того, чтобы написать письма и отправить часть прислуги, так как хотела остаться налегке, твердо решив ехать только, когда мисс Бейтс будет вне опасности и сможет совершить путешествие.

С курьером императора я отправила Архарову незапечатанное письмо для передачи господину Лепехину[110], непременному секретарю Российской Академии, профессору естественной истории в Академии Наук. Зная, как он мне предан, я известила его о том, что со мной случилось, и указала мой адрес в Троицком. Но Архаров имел низость задержать это письмо.

Одному крестьянину я поручила передать английскому негоцианту в Петербурге господину Глину письма для моих друзей в Англии. Затем я приготовила все к нашему путешествию, чтобы в нем не встретилось никаких трудностей или задержек.

Через восемь дней лихорадка мисс Бейтс прошла, осталась лишь слабость. Как только ей стало лучше, я послала своих лошадей, оставленных в Коротове, на 120 верст вперед, и спустя десять дней после прибытия счастливого для нас курьера мы двинулись в дорогу.

Не могу не упомянуть об удивительном и деликатном старании угодить мне, которое ежедневно проявляли жители Коротова. Дважды в неделю, по возвращении с городского базара, они приносили все, что могли найти для моего стола вкусного и даже редкого в это время года. Крестьянки каждый день приносили или яйца, или пироги, или блины, уславливаясь приходить по очереди только для того, чтобы увидеть меня и удостовериться, что я еще жива. Мне рассказали об этом за несколько дней до моего отъезда.

Я не раз спрашивала крестьян, почему они так привязаны ко мне, хотя уже давно принадлежат сыну, и они неизменно отвечали одно и то же:

— Мы были счастливы и разбогатели, когда вы управляли нами, и вы воспитали князя, нашего доброго господина, в ваших правилах. Хотя он и повысил оброк, это много меньше того, что платят наши соседи своим господам.

Эти добрые люди установили несколько пунктов перемены лошадей, и я за день проехала такое расстояние, на какое в первый путь уходило два с половиной дня.

Был приблизительно конец марта, когда я покинула свою избу.

Некоторое знакомство с медициной и особенно чувствительность, дарованная мне, к несчастью, природой, часто побуждали меня заботиться о больных и на практике изучать различные проявления и последствия болезней. Поэтому я вылечила мисс Бейтс теми немногими лекарствами, которые имела при себе, а главное, с помощью неустанного ухода, жертвуя ради этого даже своим сном.

Мы расстались с Коротовом и его окрестностями, когда зима была еще в полной силе. Но на девятый день путешествия, приблизившись к реке Протве (которая протекает мимо моего сада и террасы в Троицком), мы увидели, что снега почти нет. Берега реки уже зеленели. Дорога стала очень трудной для лошадей, тащивших наши повозки на полозьях то по песку, то по траве, то по глине.

Наконец, на десятый день мы приехали в Троицкое. Большая церковь, куда я прежде всего направилась, была переполнена моими людьми, остававшимися в Троицком, и крестьянами шестнадцати других принадлежавших мне селений и деревень. Все хотели поцеловать мне руку и выразить радость по поводу моего возвращения; однако я едва держалась на ногах и попросила их прийти в следующее воскресенье. Меня тронула искренняя любовь, читавшаяся на каждом лице. Но требовалось слишком большое усилие над собой. Постель и отдых были самой настоятельной необходимостью для моего измученного тела.

На следующий день после приезда я отправила человека к моему брату, находившемуся в Москве, чтобы сообщить о возвращении в Троицкое. Я также написала своим племянницам — княгине Долгоруковой и княгине Маврокордато. Одновременно мне хотелось узнать новости о них самих, о моем сыне, о наших родственниках и друзьях. До сих пор благословляю небо за то, что никто из них не стал жертвой тирании.

В моем городском доме, как мне стало известно, были расквартированы 87 солдат с офицером. Остававшийся на месте управляющий догадался опечатать вход в барские покои, сказав, что поступил так по моему приказанию, ибо я уехала поспешно и не имела времени сделать это сама. Эта прекрасная мысль спасла меня от издержек на одного из ничтожных генералов, известных под

названием гатчинских вояк: поселившись в моем доме, он испортил бы мебель и запачкал помещение.

В моем летнем загородном доме также расквартировали 90 солдат и 6 унтер-офицеров. Помимо всех других затрат, связанных с этим, понадобились издержки на отопление: 3000 бревен, которые сбивались в плоты и сплавлялись по реке Москве от одного из моих имений[111] до самого города, оказалось недостаточно, и надо было еще покупать дрова. Поэтому, к сожалению, мне пришлось продать этот дом, хотя я очень его любила, так как при нем находился сад, за тридцать лет приведенный в состояние совершенства; даже зимой дорожки и аллеи содержались в полном порядке, были очищены от снега и посыпаны песком, чтобы я могла там гулять. Но все это было ничто в сравнении с расходами, а главное, неудобствами и неприятностями, вызываемыми присутствием таких гостей.

Впрочем, я не знала, будет ли мне когда-нибудь позволено жить в Москве, да и не стремилась там обосноваться, особенно с тех пор, как вернулась в Троицкое, куда все мои родные и друзья, относившиеся ко мне искренне, приезжали повидаться со мной. Кроме того, я знала, что в городах, и прежде всего в Москве, заведена система шпионства, тем более опасного, что доносы служат верным средством сделать карьеру при склонных к подозрительности тиранах.

Летом я спокойно возобновила свои садовые, земледельческие и строительные работы, и, так как ни в одном из этих дел не имела среди моих людей сведущего помощника, они заполняли все мое время. Физическая усталость, до которой я себя доводила, вознаграждалась быстрым приходом сна. Это было тем более необходимо, что я всегда просыпалась в тот роковой час, когда меня разбудили, чтобы объявить о ссылке в Коротово, и редко засыпала снова; так что приходилось отдыхать еще около часа после обеда.

Дождливые дни, заставлявшие оставаться дома, давали мне повод заняться вычерчиванием планов построек и посадок, которые я собиралась осуществить, или чтением книг из моей библиотеки. Мне хотелось иметь новые иностранные издания. Я написала об этом и ассигновала для покупки некоторую ежегодную сумму, но узнала, что ввоз книг почти полностью запрещен[112] и в то же время широко распространяются клеветнические памфлеты на Екатерину II[113]. Мои друзья не считали возможным переправлять их мне, однако я велела прислать все, что найдут в Москве.

Если мой труд и не заслуживает того, чтобы остаться последующим поколениям, то, может быть, он заинтересует моих друзей и вызовет сочувствие у их потомков. Поэтому я не отложу пера, не добавив к моим запискам заметок, надеюсь, доказывающих лживость утверждений, внушенных ненавистью и завистью.

В 1798 году мой сын был в Петербурге. Император настолько привязался к нему, что приходил в дурное настроение, когда тот не обедал при дворе. По нескольку часов Павел проводил в своем кабинете наедине с ним; князь Дашков часто бывал принят у

императрицы, когда там находились только государь и госпожа Нелидова и даже их императорские высочества не принимались.

Сразу по приезде в Петербург мой сын попросил великого князя Александра (нынешнего императора) сделать попытку выхлопотать для меня разрешение жить в Москве и посещать другие мои владения*. Его императорское высочество согласился, но прошло более месяца, а повторявшиеся обещания не исполнялись.

Сын рассказал об этом господину Николаи[114], главе Академии Наук и первому секретарю императрицы, пользовавшемуся ее уважением. Однажды господин Николаи вошел в апартаменты ее величества, когда она говорила с госпожой Нелидовой о влиянии князя Дашкова на государя и выражала удивление, что он не постарался добиться свободы для матери. Тогда господин Николаи объяснил императрице, как настойчиво мой сын просил покровительства великого князя в этом деле и как обеспокоен отсутствием результатов. Императрица и Нелидова не обещали ничего определенного, но сказали, что подумают, нельзя ли тут что-нибудь сделать. Господин Николаи сообщил князю Дашкову об этом разговоре.

Несколько дней спустя князь Алексей Куракин[115] уведомил моего сына о намерении императора подарить ему пять тысяч крестьян. Сын попросил заверить его величество в том, что чрезвычайно тронут добротой, проявленной таким образом, и чувствует живейшую признательность государю, но ему ничего не нужно, кроме свободы его матери.

На следующее утро Алексей Куракин подошел к моему сыну перед большим сбором для вахтпарада и сообщил, что император повелел объявить мне о возвращении свободы и он намерен сейчас же это сделать**.

Когда его величество появился на вахтпараде, мой сын хотел броситься к его ногам, но государь не допустил этого и обнял его. Князь Дашков в порыве благодарности, забыв о маленьком росте императора, заключил его в свои объятия и приподнял с земли. Оба плакали. В первый и в последний раз гвардейцы были свидетелями такой чувствительной сцены.

Благосклонность Павла I длилась до отъезда сына. Он советовался с ним по поводу военных планов и намечавшейся войны[116]. Оставаясь с ним наедине в своем кабинете, император приказывал ему письменно изложить планы боевых операций и обозначить

---

* Я написала сыну, как только узнала о его предполагавшейся поездке в Петербург, что он должен думать не обо мне, а о собственной безопасности. Я повторяла это несколько раз, уверяя его, что любимое Троицкое предпочитаю всякому другому месту в России и что благодаря моей манере обращения с крепостными управление имениями и получение скромного оброка не требуют особых трудов; именно поэтому у меня нет ни желания, ни нужды менять место жительства.

** Вот текст письма князя Куракина: «Княгиня и дражайшая тетушка. Почитаю за большое счастье уведомить вас по повелению императора, что вам разрешено отправиться в ваши поместья, менять место жительства и даже в отсутствие двора приезжать в столицу; если же двор будет в Петербурге, вы можете жить в ближайшем к столице имении».

размещение войск у границы. Под величайшим секретом Павел решил поручить сыну командование армейским корпусом, который стоял в Киеве. Он даже дал ему несколько подписанных бланков для того, чтобы, не теряя времени, можно было заполнить их в случае необходимости, а также отдал распоряжение нашему посланнику в Вене графу Разумовскому и посланнику в Константинополе господину Тамара[117] согласовывать свои действия с князем Дашковым. Кроме того, он послал приказ командующему Черноморским флотом действовать совместно с ним и соответственно его указаниям.

Мой сын был направлен из Петербурга прямо в Киев, где ему следовало еще кое-что устроить и доложить об этом императору. Кто бы мог подумать, что после таких милостей он еще до конца года получит отставку из-за сделанного князю Лопухину[118] (тогда генерал-прокурору Сената) заявления, что один из заключенных в Киевской крепости, некто Альтести[119], осужден безвинно.

Этого человека обвинили в том, что он поселил нескольких солдат в качестве хлебопашцев на землях, пожалованных ему покойной императрицей. На самом деле ни одного солдата там не было, но во время предшествующего царствования Альтести являлся секретарем и любимцем князя Зубова, безграничным доверием которого пользовался, что, возможно, употреблялось во вред и заслуживало порицания. В этом заключалось все его преступление.

Может быть, князь Лопухин доложил о заявлении моего сына императору, когда тот был не в духе, а может быть, Лопухин имел какие-то личные мотивы, потому что это был человек фальшивый, мстительный и скрытный. Короче говоря, Павел написал князю Дашкову следующее: «Так как вы вмешиваетесь не в свои дела, настоящим вы увольняетесь в отставку».

Мой сын не хотел доверить курьеру, который привез это странное письмо, возвращение подписанных бланков и других важных бумаг. Он письменно попросил его величество прислать за ними кого-нибудь из доверенных лиц. Павел не спешил, но, когда, наконец, прибыл новый курьер, князь Дашков отослал императору все, вплоть до его писем, и, покончив с собственными делами, отправился прямо в свое имение, находившееся в Тамбовской губернии.

Следующим летом я поехала в мое белорусское поместье Круглое, где провела несколько недель. Там обнаружились бесчисленные злоупотребления, которые совершал поляк-управляющий в уверенности, что меня сошлют в Сибирь. Я произвела некоторые перемены ради пользы крестьян и поставила во главе управления имением русского, из моих крепостных.

По возвращении оттуда я прожила шесть недель у брата; сажала деревья и кусты, а некоторые выкапывала, так как они были расположены безвкусно, неровными рядами, и мне удалось сделать его сад более приятным. Мы с братом несколько часов в день проводили наедине, и разговор всегда вращался вокруг того, что нас глубоко волновало. Мы говорили о несчастиях, постигших

наше отечество и почти каждого из его подданных, так как если сам человек не был жертвой тиранического деспотизма Павла I, то ею оказался кто-нибудь из близких, друг или родственник, которого он оплакивал.

Не знаю, каким образом вселилась в мою голову мысль, что конец всему этому положит 1801 год, что Павла не станет. Я рассказала о своем предчувствии брату. Он спросил, откуда оно взялось, на чем основана подобная надежда? Ничего удовлетворительного ответить ему я не могла, но мысль эта, как гвоздь, засела в моем мозгу.

Наконец, настал январь 1801 года, и брат, вспоминая мое пророчество, сказал:

— Ну, вот год и начался!

— Это верно, но еще только январь,— возразила я,— и мое предсказание исполнится меньше чем через три месяца.

В самом деле, провидению было угодно, чтобы 12 марта жизнь Павла оборвалась и таким образом кончились общественные и личные бедствия: ведь поборы росли с каждым днем и гонения тоже. Сколько раз с тех пор я благодарила бога за то, что он избавил меня от несчастья быть обязанной являться ко двору Павла! На лице такой Ninette à la cour, как я, которой природа отказала в умении притворяться, столь необходимом рядом с государями и еще более в отношениях с их приближенными, так легко было бы прочесть презрение или негодование, волновавшие мою душу! Сколько бед и тревог пришлось бы мне перенести!

Об этом злосчастном императоре можно сказать без всяких преувеличений, что он был тщеславным болтуном, со своим прусским капральством и тем сверхъестественным значением, какое придавал своему сану. Трусливый и подозрительный, он постоянно бредил воображаемыми заговорами против него, а его своевольные поступки диктовались настроением минуты. К несчастью, слишком часто они были жестокими и необузданными. Поэтому к нему приближались со страхом, впрочем, не без примеси презрения.

Как мало напоминала ежедневная жизнь придворных Павла жизнь тех, кто имел счастье стоять близко к Великой Екатерине! Не роняя достоинства, она была всем доступна, и к ней относились без раболепной и боязливой почтительности. Благоговейное уважение, согретое любовью и благодарностью, было тем чувством, которое рождала близость к ней. Любезная, приветливая и веселая, в своем интимном кругу она желала, чтоб о ее высоком сане забывали. Но если бы это и было возможно, убежденность каждого в ее превосходстве, дарованном самой природой, повелевала бесконечно уважать ее ум, ее личность[120].

По возвращении в Москву брат рассказал кое-кому о моем пророчестве, и мне стали докучать вопросами по этому поводу. Я же и сама не могла объяснить, каким образом возникло это предчувствие. Вскоре брат получил от нового императора письмо с предложением срочно приехать в Петербург и принять участие в делах. Через некоторое время в Троицкое приехал мой племянник

Татищев*[121], которого государь послал ко мне с просьбой вернуться ко двору. Но не в моем возрасте и не с моим здоровьем, изменив взгляд на придворную жизнь, было спешить в столицу, чтобы занять известное положение.

Я задержала моего племянника всего на три дня, дав ему возможность провести некоторое время со своей матерью и родными в Москве, и приказала поскорее вернуться к месту службы, пока кто-нибудь не занял его должность, как это бывает при наступлении нового царствования. Я вручила ему письмо для императора, в котором, поблагодарив за память обо мне, выразила сожаление по поводу того, что не могу немедленно лететь в Петербург, так как мое здоровье расшатано и не позволяет в настоящий момент предпринять это путешествие, а также надежду при первой же возможности исполнить свое живейшее желание засвидетельствовать ему верноподданнические чувства.

В конце апреля я покинула Троицкое, дабы застать в Москве брата, графа Александра, перед его отъездом в Петербург; мы условились, что он уедет туда раньше меня, а я задержусь в Москве еще на неделю, чтобы восстановить силы и избежать затруднений с почтовыми лошадьми, которых для нас обоих потребовалось бы довольно много.

Ранним майским утром я приехала в Петербург. Мне доставила удовольствие новая встреча с императором, которого за двенадцать лет я успела полюбить, но еще большим удовольствием было убедиться в том, что красота его супруги оказалась наименьшим из ее достоинств. Ум, образованность, скромность, изящество, приветливость и такт в сочетании с редкой для ее возраста осмотрительностью — все в ней привлекало. Она уже правильно, без малейшего акцента, говорила по-русски.

Вместе с тем я с грустью видела, что Александр был окружен только молодыми людьми[122], плохо относившимися к лицам пожилого возраста; по причине своей застенчивости (объясняемой, по-моему, его глухотой) их избегал и сам император. Четыре года царствования Павла, который делал из своих сыновей только капралов, были потеряны для их образования и умственного развития. Вахтпарады и военные мундиры занимали его больше всего.

Я предвидела, что душевная доброта императора и прочно усвоенные принципы гуманности и справедливости не помешают окружению завладеть его доверием, а министрам и высшим сановникам — делать все, что они пожелают.

Петербург я покинула в конце июля, чтобы заехать в мое белорусское имение, что составляло большой крюк, и успеть приготовить к коронации гардероб и экипажи, которыми совершенно не занималась в течение последних семи лет. Должна сказать, всего этого у меня было недостаточно. Пришлось занять в банке 44 тысячи рублей, из которых 19 500 пошли на оплату векселя

---

* Он был камергером и служил в департаменте иностранных дел. В его ведении находились дела азиатских дворов.

сына, 11 000 рублей — на уплату долга моего племянника Дмитрия Татищева, а остаток предназначался для приведения в порядок дома и приготовлений к участию в коронационных торжествах, если не со всем блеском роскоши, то по крайней мере так, как этого требовало мое положение.

Перед отъездом я получила обещание императора, что при ближайшем производстве моя племянница девица Кочетова будет назначена фрейлиной, а князь Урусов, недавно женившийся на моей племяннице, девице Татищевой, — камер-юнкером.

Я приехала в Москву за две недели до прибытия туда государя с супругой. Въезд их в город был торжественным и пышным. Более пятидесяти дворцовых и столько же частных карет следовали одна за другой. Экипаж, в котором находились принцесса Амалия[123], сестра императрицы, и я, как первая статс-дама, двигался за каретами их величеств и императорской семьи; за нами ехали статс-дамы, фрейлины, высшие сановники и т. д., и т. д. Высокая чета направилась в Кремлевский собор, и мы остановились, чтобы присутствовать на богослужении.

Так как я не люблю ни церемоний, ни этикета, ни парадных обедов, то больше об этом говорить не буду. Впрочем, все коронационные торжества похожи одно на другое; скажу лишь, что молодой император и его очаровательная супруга завоевали сердца всех жителей Москвы.

Москва — это целый мир, обширный и многолюдный, населенный не похожими друг на друга обитателями. Там можно одновременно наблюдать манеры европейцев, черты обычаев, оставленных татарами, и чисто патриархальные нравы.

Во время пребывания двора в этой древней резиденции наших государей я, надо признаться, вела жизнь крайне утомительную. Дворец в Слободе[124] находился почти в девяти верстах от моего дома, но на неделе редко выдавался день без поездки туда. Я надеялась быть полезной императрице Елизавете, предостерегая ее в отношении некоторых людей и обстоятельств, которыми, при всей их незначительности, не стоило пренебрегать, чтобы произвести благоприятное впечатление, чего я ей и желала.

Она была очень добра, сказав моему брату, что я — ее ангел-хранитель и без меня ей часто пришлось бы испытывать затруднения на новом поприще. Только моя живая привязанность к ней помогала мне переносить утомительность и скуку церемоний, этикета и всего, что составляет придворную атмосферу, удушливую для сельской жительницы, какой я была; никакой личный интерес не мог бы склонить меня к этому.

После отъезда двора в Петербург я вернулась к обычному образу жизни и, как всегда, в начале марта уехала в Троицкое. В следующем году я отправилась в свое белорусское имение, чтобы достроить и освятить новую церковь, которую приказала возвести посреди большой площади в Круглом, и вернулась в Петербург в июле, так как этим летом туда должен был приехать мой брат граф Семен.

Я была глубоко возмущена, услышав, как люди, которые окружали императора, обычно враждовавшие между собой, единодушно поносили царствование Екатерины II и внушали молодому монарху, что женщина никогда не сумеет управлять империей![125] Зато они до небес превозносили Петра I, этого блестящего тирана, этого невежду, пожертвовавшего важными учреждениями, законами, правами и привилегиями своих подданных честолюбивому стремлению изменить все, не отличая полезного от вредного. Иностранные писатели, несведущие или недобросовестные, провозгласили его создателем великой империи, хотя она задолго до него так возвысилась, как никогда не возвышалась при нем[126].

При всяком удобном случае я откровенно, но, может быть, с излишним жаром высказывала свое мнение об этой новой доктрине, которую, так сказать, проповедовали. Однажды почти все министры нового несуразного правительства вместе с несколькими интимными друзьями императора обедали у моего брата графа Александра. Кто-то из них перевел разговор на царствование Екатерины II, толкуя вкривь и вкось обо всем, что было сделано в то время, не умея отличить злоупотреблений, допущенных князем Потемкиным в военных делах, и нечестности или невежества исполнителей от чистоты и глубины намерений императрицы, всегда направленных на благо и процветание ее империи.

Мой брат, граф Семен, присоединился к их мнению. Это вызвало во мне чувство, которое я не хочу, а теперь, может быть, и не смогу описать. Но слова, произнесенные мной в опровержение столь необоснованных утверждений, были пылкими и искренними, как и всегда в подобных случаях.

Вследствие этих волнений в тот же вечер я опасно заболела. Не могу умолчать о том, что дверь моя осаждалась посетителями и посетительницами, желавшими знать, благополучно ли протекает болезнь,— недвусмысленный знак любви и уважения к памяти великой государыни и благодетельницы России.

Речи, звучавшие за столом у моего брата, были темой разговоров всего города — это и явилось причиной всеобщего интереса, проявляемого ко мне. Я бы охотно им пожертвовала ради того, чтобы исполнилось мое пожелание счастья отечеству или чтобы одна из истин, которые я старалась посеять, дала всходы.

Я нашла в Петербурге большие перемены по сравнению с временами царствования императрицы. В нем можно было встретить либо якобинцев, либо капралов; я говорю «капралы», потому что, начиная с солдата и кончая генералом, все занимались только ружейными приемами, а так как эти приемы часто менялись, то надо было постоянно разучивать их и в них упражняться.

В Москву я вернулась уже глубокой осенью, однако еще поехала в Троицкое. Поскольку я была собственным архитектором, садовником (по склонности) и фермером (по необходимости), а земли в Троицком требовали ухода и забот непрерывных, мне нельзя было уезжать оттуда надолго.

Обойду молчанием несколько последующих лет, потому что они не представляют для читателя никакого интереса. Горести, терзавшие мое сердце, делали жизнь тягостной. Они были такого свойства, что я сама хотела бы скрыть это в своей душе и не стану рассказывать о них тем, кто будет читать мои записки.

Император был столь милостив, что взял на себя уплату моего долга банку, а в конце августа 1803 года я получила самое большое и самое драгоценное для меня утешение — приехала мисс Вильмот, кузина моего нежного, моего лучшего друга миссис К. Гамильтон, дочери туамского архиепископа[127]. Живя в Троицком, мисс Вильмот беседами со мной, совместным нашим чтением, своей кротостью и приветливостью доставила мне те тихие радости, ценность которых для дружеских отношений и любознательного ума ни с чем не сравнима.

Я имела удовольствие быть знакомой с отцом этого ангела-утешителя*, посланного мне небом и благосклонностью ко мне уважаемого мистера Вильмота и миссис Гамильтон. Родители так безупречно воспитали дочь, что она всегда восхищала тех, кто знал и был способен оценить ее.

С какой живой радостью мое любящее сердце отдает ей должное и как высоко оно ставит доверие, оказанное мне ею и ее родителями, которые позволили дочери побыть возле женщины, нуждавшейся в смягчении жгучих страданий и до ее приезда ожидавшей конца каждого дня как сокращения горестных уроков, заданных ей судьбой. Никогда, нет, никогда я не смогу полной мерой отблагодарить ее за все, чем ей обязана! Мое уединение стало раем; да, оно было бы именно таковым, если бы... но это от нее не зависит.

То, чего не могли добиться от меня родные и друзья, я исполнила по ее просьбе, несмотря на свое крайнее нежелание, а именно написала эти мемуары, так как она очень этого хотела. Мисс Вильмот является единственной их распорядительницей с условием, что они будут напечатаны только после моей смерти.

Кончая свой труд, могу совершенно чистосердечно заверить — я писала одну лишь правду, которой всегда строго придерживалась, часто даже в ущерб себе, и опускала лишь то, что могло кому-нибудь повредить; но читатель от этого ничего не потерял.

Если я проживу еще некоторое время, то опишу разные случаи времен царствования Екатерины[128], справедливо именуемой Великой. Я изложу суть полезных деяний знаменитой государыни и проведу параллель между нею и Петром I, которого ошибочно считали достойным сравнения с этой необыкновенной личностью, стоявшей много выше его и придавшей России такую мощь, что ее уважали и страшились во всей Европе.

В заключение я поистине могу сказать, что сделала все добро, какое было в моей власти, и никогда никому не причинила зла, а за несправедливости, интриги и клевету, доставшиеся мне, отпла-

* А также с некоторыми ее родными.

тила только забвением и презрением. Свой долг я исполнила так, как его понимала, в соответствии с тем, что подсказывал разум. С чистым сердцем и честными намерениями я перенесла все мучения, от которых изнемогла бы, если бы совесть моя не была спокойна; а теперь — приближающийся конец своей жизни я встречаю без страха и тревоги.

ПИСЬМА СЕСТЕР М. и К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ



МАРТА ВИЛЬМОТ



КЭТРИН ВИЛЬМОТ

Часть I

Письма Марты Вильмот

(1803—1805 гг.)

ОТЦУ ЭДУАРДУ ВИЛЬМОТУ

Лондон, Портмэн-стрит, 17 мая 1803 г.

[...] 11 мая, в среду, я нанесла официальный визит русскому послу[1]. Добрая душа дядюшка Копли отправился со мной на Харли-стрит[2]. Дядя заранее оставил свою визитную карточку, и его ждали. Поклонившись его превосходительству и господину переводчику, он представил меня. Граф Воронцов — высокий, смуглый человек, пожилой и очень вежливый. Подойдя к нам, он произнес: «Apparamment mademoiselle spoke de french»*. Мадемуазель ответила: «Un peu»**. Граф предложил мне сесть на диван, дядя Копли и переводчик заняли другой. Я сказала по-французски, что имею честь вручить ему письмо от лорда Кэрисфорта[3]. Надев очки, граф прочел письмо и уверил, что будет счастлив сделать все, что в его силах,— выправит мне паспорт, даст рекомендательные письма к адмиралу в Кронштадт[4] и друзьям в Петербург. В свою очередь, я заверила его, что буду рада передать княгине Дашковой письмо или посылку от него или от его дочери[5]. Граф сказал, что, если я еще некоторое время пробуду в Лондоне, графиня будет счастлива со мной познакомиться. Визит завершился обоюдными любезностями...

Нас навестил русский священник господин Смирнов[6], проявив внимание, какого я не ожидала. Он сообщил, что одна пожилая дама, миссис Деламен, которая собирается навестить в Петербурге дочь, согласилась взять меня под свое покровительство; это сделает мое путешествие более приятным. Господин Смирнов выразил уверенность в том, что его страна мне понравится и пребывание в России доставит мне удовольствие. Он написал список вещей, которые хорошо взять с собой, поскольку английские товары самые лучшие: одеяла, простыни, подушку; еще нужны плед, шерстяные чулки и некоторые легкие летние вещи...

Несколько дней назад я получила официальное письмо из министерства лорда Хоксбери[7] для сэра Джона Б. Уоррена, англий-

* Очевидно, мадемуазель говорит по-французски (испорчен. *англ.*).— *Пер.*
** Немного (*фр.*).— *Пер.*

ского посла в России. Мне кажется, это очень важно. В получении письма оказала содействие приятельница миссис Гамильтон — графиня Брюль; кроме того, она сама написала рекомендательное письмо своей знакомой в Петербурге [...]

СЕСТРЕ ГАРРИЕТ

Джон-стрит, Лондон, 31 мая 1803 г.[8]

[...] Настроение у меня приподнятое, чувствую себя наполовину русской. Я встречалась с мужчинами и женщинами, которые побывали в России *дважды, а то и трижды,* и теперь страшусь предстоящего путешествия не больше, чем поездки из Англии в Ирландию [...]

Ты будешь сетовать, если я не опишу подробно все, что со мной происходит. Так вот. На днях мы с миссис Вильмот в ее карете отправились на Харли-стрит, дабы вручить графу Воронцову письмо, касающееся моего паспорта. Мы решили подождать минут пять, чтобы убедиться, что эта важная особа получила мое послание. Неожиданно вышел секретарь, который стал извиняться за то, что граф занят и не может меня принять сейчас, но просит оказать честь отобедать у него в субботу. Из-за *mauvaise honte** я отказалась, сославшись на другое приглашение. Наутро, когда я была еще не одета, от графа принесли записку, написанную по-французски,— мне предлагалось выбрать для визита пятницу либо воскресенье. С помощью милой миссис Вильмот я ответила очень изящно (тоже по-французски), остановившись на воскресенье [...]

В назначенный день в половине шестого я вошла в гостиную, и первым, кого я увидела, был мой друг господин Смирнов. В комнате находились одна дама и несколько мужчин, графа не было. Дама обратилась ко мне по-французски; минут через пять появился хозяин с дочерью[9], элегантной, красивой, изящной брюнеткой лет девятнадцати; граф меня представил, и девушка заговорила со мной по-английски, манеры ее свидетельствовали об истинно хорошем воспитании. Она познакомила меня с мисс Журдинье (об этой даме, живущей в доме Воронцова, рассказывают романтическую историю, представляющую графа и его дочь в самом выгодном свете). Первая дама оказалась русской — госпожа Чиркова, здесь же были ее муж и еще несколько приглашенных, довольно неинтересных иностранцев.

Вошел смуглый слуга и сказал: «*On a servi*»**. Граф повел к столу госпожу Чиркову, все последовали за ними. Русскую даму посадили по правую руку от хозяина, меня — по левую... Было не меньше 12—13 перемен блюд. Графиня предупредила меня, что тостов произносить не будут и что каждый пьет вино по своему

---

* Ложный стыд (*фр.*).— *Пер.*
** Кушать подано (*фр.*). — *Пер.*

усмотрению. После обеда мы посидели минут 20, не больше (на столе стояли фрукты и вино), а затем граф Воронцов встал, предложил руку своей соседке, и все гости возвратились в гостиную. Меня поразил подобный обычай: конечно, невежливо, если мужчины уединяются надолго, но против временного разделения общества, как это принято у англичан, я вовсе не возражаю.

За обедом я сидела между графом и его дочерью. Граф расспрашивал меня об Ирландии, как если бы он сам жил там, обнаружив полную осведомленность в особенностях каждого графства. Во время разговора выяснилось, что для записи в русский паспорт необходимо назвать полное имя. Оказалось, что меня зовут Марта Эдуардовна (то есть Марта, дочь Эдуарда).

Прощаясь, граф и графиня чрезвычайно любезно выразили желание вновь увидеть меня на Харли-стрит.

МАТЕРИ

Лондон, 11 июня 1803 г.

Положение мое весьма неопределенно. Сначала я рассчитывала выехать сегодня, затем срок отъезда передвинулся на 13-е, потом на 17-е, а теперь я вообще не знаю, когда поеду; беспокоит меня и то, что я могу не успеть получить ваши письма, адресованные в Лондон, поскольку отъезд может состояться раньше, чем их доставят. Больше же всего меня волнует, как наладится пересылка писем в Россию.

[...] Вчера от графа Воронцова получила приглашение на обед, но я уже была приглашена в другое место, так что прощальный визит нанесла им сегодня утром; графиня была очень любезна. Пожимая мне руку, она пожелала приятного путешествия и добавила, что будет счастлива получить от меня известие о благополучном прибытии в Петербург [...]

ОТЦУ И МАТЕРИ

21 [июля 1803 г.]

После отправки моего предыдущего письма[10] ветер переменился, и мы задержались в море еще на день. Но теперь, слава богу, живые и здоровые стоим в Кронштадтской гавани, завершив путешествие, которое во всех отношениях оказалось приятнее, чем рисовалось даже в самых оптимистических предположениях.

Капитан Кларк[11] сошел на берег очень рано, с ним я отправила рекомендательное письмо к английскому поверенному мистеру Букеру и записку о нашем благополучном прибытии. Только что капитан вручил мне ответ мистера Букера с приглашением отобедать и уведомлением, что его экипаж ждет моих распоряжений. Мы с миссис Деламен надели лучшие платья, хоть обедать здесь

не собираемся (надеюсь, вечером отправимся в Петербург); просто нам захотелось выглядеть как можно элегантнее.

Мистер Букер переслал мне доброе дружеское послание приятеля миссис Гамильтон доктора Роджерсона в ответ на мое письмо, отправленное из Лондона. Доктор сообщал о том, что княгиня Дашкова писала обо мне господину и госпоже Полянским[12] и они ожидают меня в Санкт-Петербург, беспокоятся etc. Доктор Роджерсон отзывается о госпоже Полянской как об очаровательной женщине.

Вечер [21 июля 1803 г.]

Прежде чем лечь спать, я должна закончить рассказ о событиях сегодняшнего дня. Вскоре после того как я распрощалась с вами в письме, мы сели в небольшую шлюпку и направились в Кронштадт. Пристав к берегу, мы в карете мистера Букера поехали к адмиралу Ханыкову[13], который, благодаря письму графа Воронцова, был чрезвычайно любезен: предложил воспользоваться его каретой для прогулки по городу, а также кораблем, чтобы доплыть до С.-Петербурга. В самой вежливой форме я отказалась, и, сопровождаемые мистером Принном, мы отправились обедать к мистеру Букеру, который пригласил всю компанию. К сожалению, день был дождливый, гулять по городу было невозможно, и нам пришлось остаться дома. Хозяева очень гордятся тем, что все у них заведено на английский манер. За обедом были четверо офицеров, французский аббат в шелковой сутане и врач. Офицеры оказались англичанами, прослужившими в русской армии по шестнадцати — двадцати лет. Все было совершенно по-английски, сразу же после обеда подали кофе. Потом пошли к коменданту по поводу паспортов. Мы прошли через массу формальностей, отвечали на множество вопросов, среди которых был и такой: кто мой отец и не является ли он *членом парламента*. Все переводилось с русского на французский и обратно, на запись ответов ушла целая десть бумаги. Наконец нас отпустили, и мы совершили прогулку по Кронштадту; это настоящий морской город, и он великолепен.

[С.-Петербург] 22 [июля 1803 г.]

Итак, я здесь. Якорь бросили прямо против памятника Петру I. Послали записку доктору Роджерсону, и прежде, чем запечатаю это письмо, хочу добавить несколько строк с *terra firma**. Меня очень удивил здешний мост, уложенный на лодках, по нему идут толпы бородатых мужчин и разодетых женщин, едут экипажи, запряженные в шесть или восемь лошадей, и каждая из них на таком расстоянии одна от другой, что создается впечатление, будто их еще больше. Тысяча непривычных вещей появляется перед моим изумленным взором. Стоит *ужасная жара,* но я не

* Твердая земля *(лат.).— Пер.*

видела ни одной дамы, которая бы заслоняла лицо от солнца. Женщины носят шляпы без полей.

Статуя Петра I поразила меня меньше, чем я ожидала, но все же она очень величественна. [...]

Прошлой ночью мы три или четыре раза садились на мель. Да, да, не удивляйтесь, это почти неизбежно даже для судна с восьмифутовой осадкой, поскольку между «баром»[14] и руслом реки на несколько миль тянется мелководье. Судну сесть на песчаное дно совсем не опасно, если только не врезаться в отмель слишком сильно. Но с нами такого не случилось. Ночь была изумительной... В половине четвертого на куполах и шпилях огромного города показались отсветы восходящего солнца.

Adieu, пока кончаю.

Добро пожаловать, дорогие друзья, в Санкт-Петербург, в дом доктора Роджерсона, достойного и милого человека. Завтра меня представят госпоже Полянской...

25 [июля 1803 г.]

[...] В субботу я была представлена госпоже Полянской, ее муж — племянник Дашковой. Живут они в огромном, как дворец, доме, и помимо ливрейного у них несколько десятков лакеев, попадающихся на каждом шагу. Чтобы избавить господ от труда отворять и затворять двери, возле каждой комнаты сидит слуга...

Госпожа Полянская приняла меня исключительно любезно и показала *мои апартаменты,* состоящие из очень элегантной гардеробной, меблированной диванами и стульями, обитыми красной кожей etc; тут имеются фортепьяно, арфа, большое зеркало с приставным столиком, уставленным «для красоты» великолепными чашками и блюдцами из китайского фарфора, изящными часами *à la française**, статуи на пьедесталах, вазы etc, *есть икона, или бог,* которому могу молиться, если пожелаю. Окна выходят на красивую и широкую реку. Течение Невы сильное, отливов не бывает, поэтому она всегда полноводна, а многочисленные суда и лодки очень оживляют вид. Рисунок на обоях, которыми оклеена моя спальня, изображает заросли сирени. Когда я ложусь спать, жалюзи убираются, оконные ставни закрываются, и в запертой комнате я похожа на птичку в клетке. Сплю на софе; к моему удивлению, мне дали только одно стеганое одеяло, так что шерстяные английские одеяла сослужили мне хорошую службу. Госпожа Полянская настояла, чтобы в моей комнате ночевала ее *femme de chambre***, уверяя, что так мне будет спокойнее, и я согласилась. [...]

Но продолжу рассказ о субботе. Госпожа Полянская немного напоминает Бесс Эрскин, но не так хороша собой. Беседовали мы только по-французски, и могу вас заверить, что я весьма в этом преуспела. Хозяйка провела меня через анфиладу огромных,

* На французский манер (*фр.*).— *Пер.*
** Горничная (*фр.*).— *Пер.*

просторных комнат, числом не менее десяти, и мы очутились в ее гардеробной, которая похожа на мою. Болтали о любви, вкусах, чувствах и, *entre nous**, в этом — она вся. В три часа она представила меня мужу, а за обедом к нам присоединился его отец. Этот почтенный джентльмен не говорит по-французски, так что наша беседа выглядела довольно забавно. Я схватывала одно-два слова, остальное высказывалось жестами, кое-что переводила госпожа Полянская. Они нашли, что я очень хорошенькая и что мне *18 лет*. Мне показалось, они решили, что у меня либо *несчастная любовь,* либо мои родители хотят выдать меня за нелюбимого человека и поэтому послали путешествовать, дабы *рассеять печаль*. Я рассказала им о своих дорогих родителях, о их снисходительности к моим желаниям, а госпожа Полянская поведала о своих.

Вечером мы ходили в Академию, президентом которой была княгиня Дашкова; там я видела знаменитую статую Петра Великого, а также его работы по меди и поделки из слоновой кости, чучела его лошади и пяти любимых собак: все выполнено весьма искусно[15]. Остальные экспонаты не отличаются от тех, что обычно выставляют другие музеи. Оттуда мы отправились к матери госпожи Полянской, госпоже Рибопьер, где приятно провели вечер. Одна из ее дочерей, девушка лет 15-ти, свободно владеет *пятью* языками. Госпожа Рибопьер хотела, чтобы дочь разговаривала со мной по-английски, дабы схватить *произношение,* и этим напомнила мне матушку.

Утро [26 июля 1803 г.]

Провела восхитительный день с госпожой Ададуровой, красивой, изящной женщиной. Она очень любезно пригласила меня во Французский театр, я приняла ее приглашение и была чрезвычайно довольна. Улавливая отдельные французские фразы, поняла всю фабулу пьесы, отчасти благодаря великолепной игре актеров, и даже рассмеялась в смешном месте [...]

Срок поездки в Москву еще не определился, возможно, она состоится через неделю.

Adieu, мои дорогие батюшка и матушка.

Да благословит вас всех господь.

Марта Вильмот.

МАТЕРИ

С.-Петербург, 31 июля нового стиля 1803 г.

[...] Вчера вечером ездили смотреть *воздушный шар*. Мне нравятся подобные зрелища не сами по себе, а потому, что они собирают толпу, в которой как нельзя лучше проявляется нацио-

---

* Между нами *(фр.)*.— *Пер.*

нальный характер. Собственно, толпы было две — светская и простонародная. Первая расположилась в саду Кадетского корпуса. Мальчики-кадеты от 6- до 18-летнего возраста в алых и зеленых мундирах выстроились в ряд. Прибыли император и императрица[16]. Он — статный, красивый, светловолосый, похож на юношу, она — высокая, белокурая [...] На ней было круглое платье[17] из блестящего сиреневого шелка, *по русскому обычаю* ниспадающее до земли; голову императрицы покрывал обычный для высшего общества головной убор — шаль и кружевная вуаль. Кроме шалей в моде стеганые шелковые клоки[18], до самых пят, их накидывают на плечи.

Среди придворных был наш посол сэр Джон Уоррен. Меня поразило, как удивительно похож он на ту гравюру, что висит в нашей музыкальной комнате: право, редко можно встретить подобное сходство. Он производит впечатление в высшей степени приятного добропорядочного человека [...] Но вернемся к воздушному шару. Мистер Гарнеринг и 60-летний русский генерал Львов[19] совершили смелый полет [...] это было замечательное, прекрасное зрелище, и, главное, я видела такое впервые в жизни. Пролетев несколько верст, они благополучно сели в поле [...]

Вечером 1 августа нов. ст. [1803 г.]

Только что возвратилась с прогулки, во время которой осматривала знаменитый памятник Петру Великому. Несомненно, это одно из самых грандиозных произведений искусства. Представьте коня, который, пылая нетерпением, энергично скачет через все преграды, напрягая сильные мышцы и жилы, и величественного Героя, выразительного, как живого, — он одной рукой натягивает поводья, а другую вытянул в повелительном, указующем жесте. Это самая прекрасная статуя, какую мне когда-либо приходилось видеть, но добавлю с огорчением, что замечательная аллегория памятника много теряет из-за варварской обработки резцом, потому что, уменьшив скалу, на которой стоит монумент, исказили пропорцию статуи, а сгладив шершавую поверхность, уничтожили самую интересную особенность постамента[20]. И тем не менее памятник поражает грандиозностью, и русские думают так же.

Завтра вечером нас ожидает увеселительная поездка. Мы отправимся в Петергоф на праздник, назначенный на среду, потом посетим Ораниенбаум и проведем там день у родственников господина Полянского. В следующий понедельник предполагаю уехать в Москву. Написала Китти в Женеву[21]. Брат госпожи Полянской господин Рибопьер через своего дядюшку, живущего там, обещал переслать ей письмо в целости и сохранности.

[...] Скажите Анне[22], что я могу похвастаться тем, что видела собственное отражение в зеркале, перед которым брился ее любимый герой Карл XII Шведский. Петр Великий взял это зеркало среди других трофеев, когда неприятель вынужден был спасаться бегством; теперь все трофеи хранятся как реликвии в Академии [...]

Вечер провели у госпожи Рибопьер, я уговорила одну из ее дочерей сплясать русский танец! Он совершенно необычный, и мне хочется его разучить, чтобы удивить вас при встрече. Меня упросили станцевать соло. Когда я закончила танец, все дамы вскочили, бросились меня обнимать, а княжна Туркестанова, расцеловав, наградила множеством нежных и ласковых имен. Вам показались бы смешными восхищение всем английским и тщательный осмотр моего гардероба. Упоминаю об этих пустяках потому, что, думаю, они очень характерны, по крайней мере так мне представилось при первом знакомстве. Дамы поверяют мне свои тайны, хотя я их об этом не прошу, а затем с непостижимой бесцеремонностью расспрашивают меня о моих *возлюбленных*, семье, друзьях etc.

Никогда не видела ничего прекраснее Невы — река полноводная, чистая, обычно спокойная. Сейчас (мне видно в окно) водную гладь оживляют 10—12 хорошеньких нарядных гребных лодок, половина которых под балдахинами с золотой бахромой. Движения гребцов удивительно согласны, после каждого удара весел выдерживается эффектная пауза, при этом гребцы поют, мелодии их песен, как говорят, не похожи на напевы ни одного другого народа.

СЕСТРЕ ГАРРИЕТ

6 августа нового стиля 1803 г.

Письмо матушке я закончила в прошлый вторник, когда мы собирались на празднество в Петергоф. Завтра возвращаемся в Петербург, а теперь я воспользуюсь счастливой возможностью поразвлечь мою дорогую Гарриет рассказом о происшедших событиях (жаль только, что скверные чернила и перо).

Вообрази, как супруги Полянские, молодой господин Рибопьер (весьма милый молодой человек, позволь тебе заметить) и я садимся в красивую открытую карету, запряженную восьмеркой лошадей, рассаживаемся парами и, как безумные, скачем, чтобы успеть к празднику. [...] По дороге встретили такое множество карет, фаэтонов, дрожек, кибиток и колясок, что для описания разнообразия увиденных экипажей нужно владеть пером лучше, нежели я. Проехав верст 10, а каждая верста составляет 3/4 мили, мы увидели церковь. Я заметила, что все, проезжающие мимо, останавливаются у церкви и слуги, сняв шапки, начинают усердно креститься, что выглядит довольно забавно. Когда мы поравнялись с храмом, то госпожа Полянская, как женщина очень набожная, приказала остановиться, и все вышли из кареты. Я вошла в церковь вслед за остальными, спутники мои стали креститься, класть поклоны и прикладываться к иконам. Семеро наших слуг молились снаружи. Господин Рибопьер объяснил мне, что существует русский обычай креститься на храмы, и лукаво прибавил, что нет нужды замечать каждый.

После этой церемонии мы продолжали наше путешествие по очень красивой местности, совершенно в английском духе, и, наконец, приехали в Петергоф. Это прелестное местечко с великолепным дворцом и парком. Не теряя времени, мы отправились в парк, который меня просто очаровал. Вообще-то описания в лучшем случае дают лишь приблизительное представление, к тому же у меня нет дара изображения. Но все же мысленно нарисуй строго распланированные рощи, газоны, садовые дорожки, длинные аллеи, изумительные рустики[23], затем представь скульптуры, великолепные фонтаны, красоту которых даже трудно вообразить [...]

А теперь пойди вместе со мной под руку с молодым Рибопьером и слушай, как, развлекая меня, он напевает русскую народную песню, очень похожую на нашу ирландскую Whillebolloo[24]. Наконец, мы приходим в деревянный дом, расположенный в полумиле от Петергофа и принадлежащий двоюродному дедушке госпожи Полянской — императорскому обер-егермейстеру Левашову[25]. *Его светлость* встретил нас во дворе по-домашнему — в атласном robe de chambre, pantoufles*. Поскольку до нас Левашов принял в своем доме еще 14 друзей, нам пришлось разместиться в одной комнате и гардеробной. Вскоре прибыла карета с госпожой Рибопьер, ее дочерьми, княжной Туркестановой и одной замужней дамой, которая все время молчит [...] Как же мы все устроились? Не догадаешься, сколько ни гадай. Без затей, прямо на пол положили огромный матрас и две перины, на них улеглись госпожа Полянская, две ее сестры, княжна Туркестанова и ваша сестра. Госпожу Рибопьер осчастливили небольшой софой; вся же комната была вдвое меньше нашей маленькой столовой. Кстати, по форме она точно такая же, как коридор, ведущий в батюшкин кабинет.

Утром поднялись все одновременно, оделись, наспех выпили по чашке кофе и уселись в карету госпожи Р[ибопьер], напоминающую четырехместный ирландский экипаж, но достаточно просторную, чтобы вместить десять человек. Доехали до парка, а к дворцу пошли пешком. Тут мы увидели императора, императрицу и весь двор в парадных придворных мундирах, расшитых золотом и серебром, и с темляками, украшенными алмазами. [...] После того как двор прошествовал в церковь, мы продолжали прогулку по парку — он действительно великолепен — обширный, красивый, фонтаны же вообще не поддаются описанию. Больше других достопримечательностей меня заинтересовал маленький прелестный домик Петра Великого, находящийся в отдаленной части парка на берегу моря. В домике всего несколько комнат, а в спальне устроена небольшая кухонька, где, как говорят, царь развлекался тем, что *готовил* себе обед. [...]

За трехчасовую прогулку мы встретили множество нарядно одетых людей, вовсе не относящихся к знати, ибо по праздникам парк открыт для всех чинов и званий. Тут впервые я увидела настоящую русскую купчиху. Хочу описать ее наряд, но, боюсь,

* Халат, домашние туфли *(фр.)*.— *Пер.*

ты не поверишь, что в такую жару она облачилась в затканную золотом кофту с корсажем, расшитым жемчугом, юбку из дамаска[26]; головной убор из муслина украшен жемчугом, бриллиантами и жемчужной сеткой, и все сооружение достигает пол-ярда высоты. 20 ниток жемчуга обвивали шею, а на ее толстых руках красовались браслеты из 12 рядов жемчуга (я даже сосчитала). Разряженная купчиха прогуливалась рядом со своим бородатым мужем, одетым в исконно русское платье: зеленый плисовый кафтан, полы которого доставали ему до пят... Не могу высказать, какое удовольствие доставила мне эта пара [...]

После прогулки мы возвратились в наш деревянный домик, который оказался пуст, потому что все были на празднике. Дядя сменил свой *robe de chambre* на роскошный расшитый мундир, надел ордена, ленты etc; господа Полянский и Рибопьер как камергеры его императорского величества обедали при дворе, они были при шпагах с темляками и знаках отличия — золотых ключах[27]. Мы пообедали, а затем, Гарриет, последовала сцена одевания, которую невозможно описать пером: слуги, горничные, помада, пудра, румяна, чай, кофе, бриллианты, жемчуг, табакерки — все вверх дном и все в одной маленькой гардеробной. Умоляю, нарисуй себе эту картину, представь, как, подобно множеству бабочек, выпархивающих из куколок, мы выходим из дома в платьях из серебряных кружев, с алмазными лентами в волосах, с длинными бриллиантовыми серьгами и в прочих драгоценностях.

Во дворец успели к семи часам, все комнаты были открыты, и всюду толпилась такая масса людей, что едва можно было пройти. Прибыли император, императрица etc, и бал открылся «длинным» полонезом. В первой паре шел император с моей знакомой красавицей Ададуровой, они не танцевали, а именно шли под музыку, выписывая по залу восьмерку, за ними чинно выступали еще пар шестьдесят: это было похоже на прогулку, и каждый вельможа прошествовал передо мною несколько раз [...] Вообрази это обилие драгоценных камней! Однако часто они не выглядят как украшения, подобранные со вкусом, а подобны витрине ювелирной лавки. Ты, верно, думаешь, что драгоценности тут дешевы. Ничуть. Сначала я и сама думала так, легкомысленно решив, что куплю их и разбогатею. Увы, мой воздушный замок растаял бесследно, ибо бриллианты здесь в той же цене, что и в Англии; тем труднее понять, отчего их так много. Итак, дорогие украшения оставим тем, у кого они есть, а сами продолжим прогулку по парку, в котором уже начали зажигать огни и вдоль каждой аллеи засверкали маленькие лампы; фонтаны и водометы разбрасывали искрящиеся алмазные брызги, дворец был иллюминован — словом, волшебное зрелище. Ехали в открытой карете, ночь была восхитительной и, представь, такой теплой, что мы не покрывали головы. За вечер я встретила всех знакомых этого нового для меня мира. [...]

Но пора вернуться в наши маленькие комнаты в деревянном доме, съесть горячий ужин и в половине третьего ночи мертвыми от усталости повалиться на наши *походные постели.* Спали до тех

пор, пока ослепительное утреннее солнце не заставило нас искать убежище в тенистых аллеях, и мы до самого обеда наслаждались прохладой фонтанов и другими прелестями Петергофа. Из моих знакомых мне больше всех нравится княжна Туркестанова. Высокий титул не мешает ей искать моего общества и, видимо, находить в нем удовольствие, а это, должна я тебе сказать, можно ожидать не от всякого: манеры *французов и русских* отличаются друг от друга, как день и ночь. Русские часто собираются группами, шепчутся или говорят на *родном* языке, что довольно невежливо: они свободно могли бы объясняться по-французски, и тогда маленькая бедная иностранка сумела бы их понять. [...]

Мадам Полянская — очень приятная хорошенькая женщина, одну же из ее сестер я не выношу. Ее зовут Анастасия, уменьшительно называют *Настя*, не предполагая, что это точное определение ее характера[28]. Может быть, это сказано слишком сурово, но вполне справедливо [...] Третья сестра совсем еще юная, но образ мыслей у нее гораздо более возвышенный, чем у любого из старших членов семьи. Она искренняя, простая, много времени уделяет развитию своего ума. Поет она непостижимо грустным, нежным и естественным голосом; задушевность — вообще характерная и очень привлекательная особенность русской манеры исполнения. Зовут ее Екатерина. О брате могу сказать только, что он красив, прекрасно воспитан, говорит на трех или четырех языках, превосходный музыкант и приятный собеседник. Мать некогда была красавицей, вышла замуж по любви за швейцарского офицера, который впоследствии умер[29]. Она, что называется, приятная женщина, но любви к ней я не питаю; она постоянно возлежит на софе в платье с распущенной снуровкой и в стоптанных башмаках. Здесь каждая женщина носит шаль. Мне кажется, что определение *Slamikin*[30] ни к кому так не подходит, как ко многим русским из дворян. Крестьяне — совсем не то.

А теперь достань белый, как лилия, носовой платок и скажи «прощай» семье Рибопьер и княжне Туркестановой, которая окрестила меня *«la chere petite mees»**; каждая дама — согласно моде, а не из любви — целует тебя в обе щеки[31]. Ты садишься в карету Полянской, за которой следует повозка, запряженная тройкой лошадей и нагруженная всеми принадлежностями домашнего обихода, кухонной посудой, едой etc, поверх скарба усаживаются горничная, один или двое слуг, повар; и ты едешь около 30 верст до того места, откуда я пишу это письмо. Остановившись у обветшавшего деревянного дома, ты входишь внутрь. Теперь зажми нос и распахни окно, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. Через несколько минут слуги вносят восковые свечи в серебряных подсвечниках, подают на серебряном подносе чай, заваренный в серебряном чайнике, и фарфоровые чашки с блюдцами. Потом они расстилают твою постель на полу и, пожелав спокойной ночи,

---

* Милая маленькая мисс (испорчен. *фр.*).— *Пер.*

оставляют тебя с твоими мыслями, как это делаю и я, милая Гарриет, так как до смерти хочу спать. Спокойной ночи, да хранит тебя господь.

Утром, 9 августа [С.-Петербург]

[...] Я разрешила тебе спать слишком долго. Тебе следует подняться чуть свет, погулять в лесочке etc, а затем в карете двинуться дальше по дороге, со всех сторон окруженной лесами, где зимой водятся волки, медведи etc. [...]

По пути мы первый раз остановились в загородном доме господина Полянского. Подобно кочующим татарским племенам раскинули лагерь, и через час у нас была роскошная трапеза и даже горячий хлеб. Такая независимость от обстоятельств и необычная многогранность способностей, как у русского крестьянина, мне еще никогда не встречалась. Один человек может сам себя обеспечить всем: он варит квас, он и пекарь, и портной, и плотник, и строитель, и сапожник, и чулочник, и повар, и садовник, но только не брадобрей, этого ремесла он не знает — они носят такие бороды, каких я не видела ни у одного ветхозаветного еврея [...]

Во время десерта подошли несколько крестьянок с подношениями яиц etc. О, Доротея[32], почему ты не можешь по моему желанию явиться сюда с карандашом и нарисовать оригинальное платье цвета индиго, с широкими белыми рукавами, с застежкой на спине и вышивкой по всему подолу; женские украшения составляют браслеты из цветного бисера и бусы, а на голове они носят что-то вроде чалмы; у деревенских девушек расшитый золотом головной убор образует подобие короны, с которой спускается сетка, иногда по спине свисает множество ярких лент — это необыкновенно очаровательное и фантастическое зрелище. Пообедав, я стояла у крыльца, любуясь живописной группой, которая подошла к дому с корзинками, накрытыми цветными платками с вышивкой или кружевами. Внезапно одна из девушек схватила и поцеловала мою руку, да вдобавок расцеловала меня в обе щеки, приняв за свою госпожу. Не переставая выкрикивать слово *niet* («нет»), я указывала на госпожу Полянскую; убедившись в своей ошибке, бедняжка повторила всю церемонию, а потом, бросившись на землю, обняла ноги своей госпожи; остальные последовали ее примеру, а затем таким же манером они приветствовали господина Полянского. К чести обоих, надо сказать, что упомянутый обычай причинил им настоящие страдания. Одарив крестьян деньгами, мы продолжали наше путешествие...

Что можно сказать о местности, по которой мы ехали? Это равнина, покрытая множеством лесов. Иногда попадались поля, засеянные различными злаками (одно поле с английским овсом принадлежит господину Полянскому), но водоемов встречается мало и в целом пейзаж показался мне довольно однообразным [...]

ОТЦУ

16 августа 1803 г. нов. ст.

По дороге из Петербурга в Москву мы проехали уже 600 верст, и трудно удержаться, чтобы не написать несколько строк домой. Когда я закончу это письмо, за моей спиной останется около 700 верст, а когда вы его получите — чуть не 800, поскольку княгиня Дашкова сейчас в Троицком, а это еще порядочно от Москвы.

Мне было очень жаль покидать С.-Петербург, где я с большим удовольствием провела три недели, и я надеюсь еще там побывать: меня очаровало самое сердечное отношение разных людей, и хотелось бы снова навестить госпожу Полянскую; не могу передать, как она на этом настаивала. Мы покинули прекрасные берега Невы в прошлую пятницу 12-го числа в 10 часов вечера и ехали всю ночь — мы с доктором Холлидеем в одной карете, миссис Холлидей с ребенком и горничной — в другой. Утром остановились примерно на час выпить кофе. [...] Обедали собственными припасами, как здесь принято, и даже пользовались своими ножами и вилками; у обитателей деревянной хижины, где мы остановились, брали только воду разбавлять вино. Затем мы продолжали путь, и клянусь, если дорогу, тянувшуюся по плоской равнине, сравнить с тростью, с которой ваша милость всегда гуляет, то вряд ли палка с золотым набалдашником будет прямее, чем первые 100 верст пути от С.-Петербурга в Москву. Вся дорога покрыта толстыми досками, а по обеим сторонам ее тянутся безграничные однообразные леса. Спали опять в каретах.

Первой достопримечательностью по пути был Новгород, отстоящий от С.-Петербурга приблизительно на 160 верст. Доктор Холлидей рассказал историю города, о котором я прежде ничего не слыхала. Оказывается, когда-то Новгород был независимой республикой, изделиями своих ремесленников торговал с другими странами, а жители его были довольно образованными. Слава и процветание республики возбудили ревность русского тирана Ивана Васильевича, который напал на Новгород, приказал его разрушить и с беспримерной жестокостью истребил обитателей, пощадив лишь монастырь[33]. Новгородские земли он присоединил к своим владениям. Мы посетили монастырь, его великолепие поражает [...] Оказывается, Иван Грозный был современником нашей королевы Елизаветы и даже сватался к ней[34]. [...]

Другой замечательный город — Тверь, расположенный на реке Волге. Я вышла из кареты, чтобы помыть руки и попробовать воду; но Тверь может гордиться не только рекой, этот новый город — столица губернии[35]. Как обычно, пошли в церковь, но она хуже, чем в Новгороде, и не стоит описания. Одежда жителей очень красочна и совершенно не похожа на костюмы соседних губерний. Покинув Тверь, мы продолжали наше путешествие. Днем нам пришлось переправляться через реку необычным, но очень удобным

способом. Подъехав к реке, мы напрасно искали мост. В совершенно безвыходном положении взывали мы ко всем святым, и они пришли на помощь — *прислали мост* (буквально!): человек, стоявший на плоту, направился к нам, держась за канат, переброшенный через реку с берега на берег. На плоту поместились мы сами, кареты, лошади, кучера (Mushiks)etc, и под зычные мужицкие голоса, распевающие народные песни, все сооружение двинулось через реку и вскоре благополучно достигло противоположного берега.

Местность по-прежнему однообразна. Однако временами бесконечную прямую бревенчатую дорогу оживляют деревни, и когда вам вздумается, можете остановиться возле любого дома и подкрепиться превосходным молоком с черным хлебом, либо вашими собственными припасами. Иногда по дороге появляется город, сияющий множеством позолоченных шпилей и куполами церквей, что по контрасту с монотонностью пути производит удивительное впечатление. Любуюсь всеми без исключения крестьянами: их причудливо-разнообразной одеждой, их веселыми живописными группами. Часто можно увидеть деревенскую девушку в головном уборе, шитом золотом, в серьгах, с браслетами из блесток[36] etc, видимо, играющую роль первой красавицы в деревне и на зависть своим подругам принимающую дань восхищения. Девушки охотно танцуют, а мужчины, собравшись в кружок, ведут неторопливые разговоры и редко участвуют в деревенских развлечениях. Мне кажется, мужчины в целом красивее женщин, но те и другие превосходят простой ирландский народ. [...]

ОТЦУ И МАТЕРИ

21-го [августа], Москва

Наконец-то я в Москве и, слава богу, чувствую себя хорошо, несмотря на усталость. Приехав, я узнала, что человек Дашковой, владеющий французским, получил от княгини распоряжение выполнять все мои желания. Его жена тут же в доме, но она говорит только по-русски. Не имею удовольствия рассказать в этом письме о встрече с княгиней, потому что слуга, сопровождавший меня из С.-Петербурга, должен возвратиться немедленно, но после того, как мы с нею увидимся, обязательно напишу.

Здесь находится родственница княгини, которая уже неделю ждет меня, чтобы проводить в Троицкое. Мы отправимся во вторник. Жаль, что у меня мало времени, чтобы описать подробно все путешествие, но нельзя упустить случай отправить письмо. Доктор и госпожа Холлидей — превосходные люди. У них я обедаю сегодня, завтра — у племянницы княгини, забыла ее имя.

Adieu, мои дорогие батюшка и матушка.

ОТЦУ

Троицкое. Августа 25-го нов. ст., 1803 г.

Снова представилась возможность отправить письмо в С.-Петербург, хотя к последнему письму можно прибавить немного, но, догадываясь о нетерпении моего дорогого семейства узнать новости от *меня самой*, посчитала, что лучше напишу немного, но не пропущу случай переслать вам весточку.

В сопровождении близких родственников княгини — госпожи Мерлин[37] и ее дочери — я приехала в Троицкое вчера в 5 часов вечера. Дочь совсем юная, а мать — одна из самых благородных и доброжелательных женщин, каких мне приходилось когда-либо встречать. Княгиня была где-то в саду, и госпожа Мерлин пошла поискать ее, чтобы предупредить о нашем приезде. Княгиня встретила меня чрезвычайно приветливо, обратившись по-английски (языком она владеет свободно). Вечером мы долго беседовали, и, видимо, сохранив самые хорошие воспоминания обо всех, с кем ей пришлось встретиться во время путешествия, в разговоре княгиня упомянула о знакомстве с вами, дорогой батюшка, у лорда Суссекса. Она производит гораздо более приятное впечатление, чем я ожидала после всего, что наслышалась о ней в С.-Петербурге. Одежду ее составляет что-то вроде темного *robe de chambre**, на голове она носит мужской колпак. У нее непринужденные манеры и нечто такое, что сразу же выделит ее из любой толпы. Но это только *coup d'œuil***. Теперь вы знаете, что после всех путешествий на суше и на море я нахожусь в полной безопасности. Думаю, в течение ближайшего месяца у меня будет больше досуга, чтобы описывать вам разные мелкие подробности.

Княгиня занималась тем, что приготовила для меня два, как она назвала, английских сундука, они уже прибыли: в одном — шали, штука льняного полотна ручной работы, шелк и многое другое, в другом — бумага, сургуч etc — все это знак ее доброты и внимания, что в тысячу раз ценнее самих подарков. Место здесь чудесное. Английский вкус княгини помог на довольно скучном ландшафте создать одно из самых приятных и великолепных имений, какие мне приходилось видеть! Погода убийственно жаркая, но тут имеются приспособления для охлаждения (так же, как и для обогрева) комнат; а мороженое едим, когда захотим.

В те несколько дней, что *en passant**** я провела в Москве, меня представили князю Дашкову. Представление о его внешности могу вам дать, сказав, что он удивительно похож на архидьякона Томсона[38], о чем, не удержавшись, я ему сообщила; князю показалось это забавным, и он выразил надежду, что я полюблю его,

* Халат *(фр.)*.— *Пер.*
** Беглый взгляд *(фр.)*.— *Пер.*
*** Проездом *(фр.)*.— *Пер.*

как соотечественника. Князь — человек очень достойный, прекрасно воспитан, что гораздо важнее, чем это может показаться.

Княгиня чувствует себя плохо, и друзья говорят, что здоровье ее резко ухудшается. Однако ее врач доктор Роджерсон сказал мне, что в руках божьих, сколь долго она проживет. Во всяком случае, большое счастье, что князь Дашков — человек благородный; он уверял меня, что при желании я всегда найду в нем брата.

В Москве княгиня часто принимала гостей, а здесь живет уединенно. При ней постоянно находится молодая девушка, ее племянница[39].

Adieu, мои всегда любимые батюшка и матушка.

После обеда. Я сказала княгине, что пишу домой. Она просила передать вам, дорогие батюшка и матушка, уверения в дружбе вместе с самыми лестными отзывами на мой счет. Еще княгиня просила сказать вам, что будет заботиться о моем счастье, как если бы я была ее дочерью. Она прекрасно помнит нашу бабушку и всю семью из Лоты[40]. Ее отношение ко мне — это сама доброта.

Adieu.

МАТЕРИ

Троицкое. Сентября 5-го, 1803 года

Я поступила глупо, попросив вас не писать о политике. Наоборот, в нынешнее ужасно тяжелое время (до нас дошли слухи о восстании в Ирландии[41]) для меня даже малая толика правды из дома будет поистине драгоценной [...]

На другой день после моего приезда сюда я описала батюшке ласковый и добрый прием, оказанный мне княгиней Д[ашковой]. Внимание и привязанность княгини день ото дня возрастают [...]

Расскажу, как проходят мои дни. Поднимаюсь я в половине восьмого, пью кофе у себя в очень светлой, приятной, хорошо обставленной комнате. Часов в 11 или 12 иду к княгине, и мы беседуем — примерно в течение получаса — иногда о королях и императрицах, иногда — о пшенице и ржи. Потом я возвращаюсь к себе, если хочу, переодеваюсь etc. Протестантской церкви здесь нет, но я каждый день читаю псалмы и молюсь. В 2 часа обедаем, обед великолепный, все приготовлено изысканно и безукоризненно. Племянница княгини госпожа Исленьева, зовут ее Анна Петровна, живет у княгини постоянно. Это благородная и очень приятная девушка. Она, слава богу, не говорит по-английски, поэтому мы вынуждены разговаривать по-французски, что идет мне на пользу. Я начала понимать некоторые русские слова [...] После обеда мы переходим в гостиную, где проводим время часов до четырех, а затем отправляемся гулять по прекрасным окрестностям Троицкого.

Смесь фамильярности и гордыни кажется мне удивительной особенностью этой страны. Здесь часто можно видеть, как господа

и крепостные танцуют вместе, а посещая незнакомые дома, я не раз недоумевала, как различить хозяйку и *femme de chambre**. Во многих лучших домах держат шутов — таков обычай. Однажды в Москве мы обедали в одной аристократической семье; после обеда меня ужасно напугали послышавшаяся брань и явная потасовка двух людей, и тут же в невероятном исступлении женщина (по одежде — крепостная) ворвалась в гостиную и направилась к группе гостей, забавлявшихся ее гневом и нелепыми выходками. Внезапно эта женщина обратилась к хозяину дома господину Мерлину, и по интонации и жестикуляции было видно, что ему делается выговор. Вдруг она в слезах подбежала ко мне, яростно сжимая кулаки, как бы собираясь драться. Я обратилась к окружающим с просьбой объяснить, что это значит, и по-настоящему испугалась, поняв, что несчастное созданье возбуждена ревностью; кое-как я ее убедила, что не питаю привязанности к человеку, которого она считала своим мужем. Мне удалось уговорить присутствующих успокоить ее; они же с трудом упросили дурочку поцеловать мне руку в знак примирения. [...]

В 11 часов мы отправляемся спать. С утра до вечера, по здешней моде, я кутаюсь в черную с желтым шелковую шаль; княгиня подарила мне большую турецкую шаль, которая стоит около 30 гиней[42], а в Англии, думаю, может стоить 50—60. Вчера из Константинополя приехал один господин, который привез три пузырька розового масла. Один княгиня оставила себе, другой подарила Анне Петровне, третий — мне, да еще турецкие комнатные туфли, которые не так красивы, как занятны. Не правда ли, письмо это хорошо пахнет? Я его надушила.

В декабре мы поедем в Москву на санях; там я буду щеголять в подарке дражайшей миссис Четвуд: кружева сейчас — верх моды. Вообще, москвичи большие модники и считают, что превосходят петербуржцев!

9-го [сентября 1803 г.]

Из Москвы для меня прибыли два ослепительно великолепных клока. Один — из серого шелка, с капюшоном, подбит мехом и отделан соболем (покроем похож на плащ), другой — для менее торжественных случаев — сшит также из черного шелка, стеганый. Кроме того, княгиня заказала для меня два салопа, отделанных мехом. Вопрос в том, сможет ли моя светлость выдержать их тяжесть. Убеждена, что издержки, сделанные княгиней, дабы я была удобно и нарядно одета, не покроют и 1200 рублей. Если прибавить к этому ее постоянную доброту и внимание, заботу ее милой племянницы, то не могу не признать, что фортуна мне улыбается. Но сказать, что я совершенно счастлива, значит сказать неправду — ведь идет война, раздаются выстрелы, воображение рисует мне

* Горничная *(фр.)*.— *Пер.*

ирландское восстание и французское вторжение[43], а я так далеко от дома!

Княгиня часто получает английские газеты, это очень удобно. Одним словом, удача пока что сопутствует мне и, надеюсь, не оставит меня до поры, пока я не высажусь на противоположном берегу Балтики. Княгиня, как вы знаете, пламенная англоманка, так что мы читаем английские газеты и с беспредельным мужеством сражаемся под британскими знаменами, сидя на алых с золотом диванах. Вечером она высказала мысль, которая показалась мне действительно превосходной: для более тесной связи Англии с Ирландией королю следовало бы больше времени проводить в Ирландии и даже созывать там парламент, тогда интересы обеих стран будут соблюдены, а ирландские подданные короля будут в восторге.

ИЗ ДНЕВНИКА

17-го [сентября 1803 г.]

Вечером княгиня Дашкова получила от миссис Гамильтон письмо, в котором сообщалось, что моя дорогая Китти, вместе с графом Кашелсом, оказалась пленницей во Флоренции[44]. Какие настали ужасные времена, если путешествие ради удовольствия и развлечения заканчивается тюремным заключением! Не думаю, что Китти угрожает что-то серьезное, верю, что Всемогущий ее *сохранит*; сейчас меня больше тревожит жуткое положение в Ирландии и угроза вторжения. Боже, спаси нашу страну от ужасов *французского нашествия*, одна мысль о котором леденит кровь.

Воскресенье, 18-го [сентября 1803 г.]

Княгине из московских запасов привезли шелк и теплые чулки. Нам с Анной Петровной она преподнесла на шелковые платья и по две пары чулок. [...]

Княгиня рассказывала, что Павел I отправлял свои жертвы в Сибирь в специальном железном ящике, который сам придумал; передвижная тюрьма запечатывалась императорской печатью, которую смел нарушить только губернатор по прибытии этапа на место. Она упомянула об ужасном случае: двое узников были отправлены в таком ящике, и однажды в пути, когда страж пришел, чтобы, как обычно, дать несчастным хлеб и воду, и открыл отверстие, через которое он подавал им пищу, то услышал слабый голос, умолявший о сострадании,— бедняга просил либо убить его, либо убрать труп другого заключенного, который уже начал разлагаться. Что было делать? Нарушение царской печати каралось смертью, поэтому страдальца повезли дальше в том же положении.

Княгиня рассказывала, что, когда Павел I проезжал по городу, все были обязаны в *любую* погоду выходить из карет. Одна дама,

не выполнившая подобной церемонии, избежала его мести лишь потому, что назвалась именем женщины, находившейся при смерти. Он издал указ, предписывающий всем обедать в час дня, потому что он обедает в это время. Все оказывали повиновение, и это вызывало его неудовольствие, он старался отыскать какую-нибудь жертву, и погоня за ней доставляла ему радость *охоты*! При появлении царя улицы пустели, от него бежали, как от тигра[45]. [...]

23-го [сентября 1803 г.]

Вечером княгиня рассказывала об удивительных эпизодах революции, в которой она, восемнадцатилетняя, сыграла столь заметную роль. (Императрица Екатерина была старше ее на 16 лет.) Любопытное обстоятельство: Петр III, которого княгиня Дашкова, по ее собственным словам, «свергла с трона», приходился ей крестным отцом. [...]

26 [сентября 1803 г.]

Вечером на гумне пели жены лакеев, конюхов etc (дворовые одеваются совершенно иначе, чем другие крестьянки). Это был настоящий концерт: женщины поочередно вступали в хор — по четыре, пять и шесть человек, и их пение на разные голоса было превосходным.

Слуги княгини одеты, как английские матросы, лишь двое — в белых льняных куртках и штанах, но ждут, что вскоре все получат новые ливреи, обшитые галуном.

Иногда во время обеда слуги услаждают наш слух музыкой. Поют все, а большинство играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. *Femmes de chambre*, конечно, поют тоже, танцы их необычайно своеобразны — разные па сопровождаются краткими песенками, задорными или сентиментальными, и всегда исполнение отличается врожденным изяществом, что, как мне кажется, вообще свойственно русским. Песни в России в основном печальны, лица исполнителей — серьезны, но тем не менее поют они постоянно и кажутся такими же счастливыми, как любой другой народ, менее их скованный особыми условиями в стране[46].

Искусность русских поразительна, тому много примеров, взять хотя бы украшение одежды — женские головные уборы просто замечательны. Когда молодая крестьянка преподносит вам кувшинчик молока, яйца или орехи, то маленькая корзиночка, где они лежат, всегда покрыта полотенцем, оба конца которого украшены шитьем из красных и белых ниток, имитирующим кружево. Работа эта столь тонка, что не всякая дама, обученная рукоделию, сможет исполнить ее. Служанки-рукодельницы могут точно скопировать любой новый фасон для своих господ; что же касается одежды простого народа, то она настолько традиционна, что в каждой деревне по покрою платья можно пришлых людей отличить от коренных обитателей. Костюм тверских крестьян, например, так

же отличен от московских или петербургских, как одежда дикого индейца от европейского платья.

27-го [сентября 1803 г.]

Немного читала, немного работала, немного гуляла etc. Посетили мать священника, которой 120 лет! Если не считать зрения, она вполне здорова, сохранила и память, и связную речь. Старуха жалуется, что от постоянного лежания в одном положении болят кости и кожа. Внешность женщины ужасна; сколь печальную картину представляет подобный возраст! Дом, в котором обитает это несчастное существо (не знаю уж, сколько ее потомков живет тут бок о бок *с ягнятами и домашней птицей*), натоплен так, что, едва войдешь, можно задохнуться от жары.

ОТЦУ

Троицкое. Октября 1-го, 1803 г.

Невозможно выразить чувства, переполнившие мое сердце, когда, получив позавчера письмо, я увидела хорошо знакомый почерк моего дорогого любимого батюшки. Заметив, что меня постоянно снедает беспокойство о родных, все в доме стали придавать важное значение вестям из Ирландии; женщина, вручившая письмо, так поспешно вбежала в комнату, что я испугалась, не сломает ли она ноги. Поздравить меня пришли почти все домашние. Невозможно было сдержать улыбку, видя радость моей милой *femme de chambre*: Софья явилась последней, неся только что вынутый из печи громадный пирог; казалось, бедняжка рухнет под его тяжестью. Еще она угощала меня маленькими печеными пирожками и с трогательной простотой просила *Мавру Романовну*[47] «coucheet» (кушать), радостно повторяя: «ochin harrasha» (очень хорошо), что Мавра Романовна получила письмо от своего «batushka» (батюшки).

Как я счастлива, мой дорогой *batushka*, получить от вас известие. Эту радость испытываю не только я и добрые слуги. Княгиня Дашкова, проявляя самую искреннюю сердечность, разделяет мои тревоги о положении в Ирландии, ей близки мои надежды и опасения, она радуется письму и просит передать матушке так много лестных слов обо мне, что лучше уж я вообще ничего не скажу.

Для здешнего общества характерно резкое деление на высших и низших. Тут нет средних классов, которыми так гордится Англия. Если бы мне пришлось жить в С.-Петербурге, я бы обязательно добилась представления ко двору, просто чтобы довести до предвзятого мнения дворянского общества, что, принадлежа к «среднему классу», я не плебейка, а такая же дама, как они. Едва ли нужно говорить, что среди множества титулованных особ какой-

нибудь граф или графиня часто производят впечатление поразительно дурно воспитанного человека, едва ли не дикаря; мало того, я сама не раз видела, как та или иная княгиня с раболепным выражением лица сплетничает и наушничает за чаем. Льстят все безгранично. Княгиня Дашкова, без сомнения, одно из редких исключений: она никому не льстит. У нее другой недостаток; боюсь, не смогу вам объяснить, что я имею в виду. Она смотрит на самое себя как бы со стороны, никогда прямо этого не выказывая, и оценивает свои дела, поступки и характер с оттенком восхищения, и это у нее получается так естественно, что почти извиняет ее. Она, безусловно, руководствуется благородными принципами. Обладая *абсолютной* властью над счастьем и благосостоянием нескольких тысяч крепостных, княгиня как помещица добра: она постоянно заботится о их достатке, входит во все их обстоятельства, проявляет терпение etc. Благодаря этим ее качествам принадлежащие ей крестьяне зажиточны, что далеко не часто можно видеть в этой стране.

Что же касается родственников, даже далеких, то для них княгиня — всё: от нее зависит их карьера, и без ее протекции они бы ничего не достигли.

Сын княгини обладает всеми ее достоинствами, и у него их даже больше [...]

МАТЕРИ

Троицкое. Октября 19-го, 1803 г.

[...] Погода стоит такая хорошая, что, представьте себе, мы с княгиней ездим на *дрожках* (они похожи на ирландский открытый двухколесный четырехместный экипаж). Только что я оставила ее с работниками, которые копают пруд. Другие возводят стену, не хуже настоящих каменщиков... Кажется, мне уже приходилось писать о поразительной разносторонности русских.

Удивляет меня ужасающее количество слуг: подумать только, двести, триста, а порой и четыреста человек обслуживают небольшую семью. Подниматься по лестнице без помощи слуг русские дамы считают ниже своего достоинства. Поверьте, я не преувеличиваю, рисуя такую картину: два напудренных лакея почти несут леди, поддерживая ее под лилейные локотки, а позади шествуют еще двое с шалями, салопами etc. В России колокола бывают только на церквах, в домах колокольчики не приняты, поэтому в господской передней постоянно толкутся четверо-пятеро лакеев, готовых откликнуться на зов своих господ. Однако княгиню Дашкову нельзя упрекнуть в подобном использовании слуг, у нее они заняты работой. А прикажи им петь, и хор из пяти или шести крестьян поет народные песни, и разноголосье столь гармонично и мелодично, что невозможно не восхищаться; другие крепостные с неменьшим искусством играют на различных инструментах. Мне еще не

приходилось видеть пляшущих мужиков, а женщины танцевать любят, и пляски их очень своеобразны. Здесь у нас небольшой театр[48]: играя с удивительным воодушевлением, работники, повара, лакеи, *femmes de chambre* изображают князей, княгинь, пастушков и пастушек. Довольно забавно видеть, как за ужином вам прислуживает лакей, который только что весь вечер был на сцене пастушком в раззолоченных одеждах.

Должна рассказать вам о случившемся на прошлой неделе приключении, причиной которого послужило мое незнание языка. Нужно сказать, что последнее время держится очень холодная погода. В один из морозных дней я ушла к себе в комнату почитать. Княгиня, словно выкованная из железа, предпочла сражаться с порывами ветра и, как обычно, отправилась осматривать поля. Мы уже пообедали, вечерело. Я читала, сидя у окна, пока не закоченела. [...] Забравшись в постель, я закутала в одеяла холодные как лед ноги, обложилась двадцатью подушками и вновь принялась за книгу. Вдруг дверь без стука отворилась (такая здесь манера), и вошел лакей. Признаюсь, меня его вторжение рассердило, но, когда не знаешь языка, на котором можно браниться, не имеет значения, в каком ты расположении духа, поэтому пришлось совершенно спокойно выслушать его длинную взволнованную речь, в которой было понятно единственное слово *«knagina»* (княгиня). Мой проницательный ум немедленно дополнил все непонятное: я вообразила, что княгиня хочет со мной говорить и прислала Петрушу меня об этом предупредить. Вознамерившись идти к княгине, я с беспредельной выдержкой ответила: *«ochin harracha»* (очень хорошо). Ответ мой оказался *à propos**, и лакей даже подпрыгнул от радости, вообразив, что сумел довести до моего сознания свою речь. Он ушел, а я, решив закончить главу, продолжала читать, но тут дверь отворилась и... в комнату вошел *абсолютно незнакомый* элегантный молодой человек. Мне было неведомо, русский ли он, датчанин, немец, испанец или англичанин. Спрыгнув с кровати и пронзив глазами Петрушу за глупость, я пошла навстречу незнакомцу, который по-французски уведомил меня, что привез княгине письмо от сына. Это известие ничуть не облегчило положение. Посчитав молодого человека русским и не умея с ним объясниться, я попросила его пройти в гостиную и там подождать возвращения княгини с прогулки, а письмо передать лакею. Подобно мне бедняга был в затруднении, пришлось обратиться к помощи знаков и поторопить Петрушу.

Не успели мы миновать комнаты, ведущие к лестнице, как выяснилось, что мой спутник — англичанин. Мы сразу перешли на родной язык. Представляя глупую сцену, в которой мы оба только что участвовали, я, честно говоря, предпочла бы, чтобы он не был соотечественником, но ничего не поделаешь. Было видно, что молодой человек прекрасно воспитан, образован etc, и мне до смерти захотелось узнать, кто он таков. Мое любопытство вскоре

---

* Кстати *(фр.)*.— *Пер.*

было удовлетворено. Явилась княгиня и представила мне мистера Гарриса, сына своего давнишнего друга лорда Малмсбери, бывшего послом в Петербурге и Париже[49]. Гостя, конечно, оставили ночевать, и, беседуя вечером, мы затронули все дворы и кабинеты Европы. Полагаю, мистер Гаррис путешествует с целью подготовки к дипломатической карьере. По-моему, у него единственный недостаток — он слишком много говорит о политике. За ужином княгиня осведомилась, не приглашу ли я своего соотечественника позавтракать. Во всем доме только я завтракаю в одно и то же время, и каждое утро ко мне заходит Анна Петровна со своей рыжей собакой.

Пришлось ответить, что буду рада etc, хотя вообще-то идея княгини мне не слишком понравилась. Завтракать с малознакомым человеком в моей маленькой комнате при том, что в доме более двух десятков комнат, где можно принять гостя, по-моему, просто смешно. Но «в чужой монастырь со своим уставом не ходят». Итак, мистер Гаррис пил с нами кофе, съел два яйца, что накануне принесла мне одна из девушек, короче, завтрак прошел очень мило. После обеда гость распрощался, его путь лежал в Крым.

ОТЦУ И МАТЕРИ

24-го [октября 1803 г.]

Сегодня княгиня чувствует себя скверно. Бывают дни, когда она до крайности слаба, но затем оправляется от болезни и снова вынослива, как Геркулес. Но, больная или здоровая, ко мне она бесконечно добра, любит безмерно, ласкова и благодарна вам обоим за то, что вы поручили свою дочь ее заботам. Княгиня просила вам кланяться и сказать, что у нее единственное желание, чтобы вы смогли заглянуть ей в душу и убедиться в искренности ее чувств. Это собственные слова княгини [...]

МАТЕРИ

Троицкое, 17-го ноября нов. ст. 1803 г.

[...] Вы спрашиваете, что танцевала я в С.-Петербурге. Можете ли вы сомневаться в моем патриотизме? Конечно, *ирландскую джигу*[50] под чудесную музыку Пэдди О'Раферти и даже повторила ее, к восторгу зрителей. Русские очень любят новинки, и наш танец стал настоящим криком моды. Что касается русских народных танцев, то они очень хороши, особенно один, под названием «цыганочка»; это самое яркое и колоритное зрелище, какое мне только приходилось видеть. Когда мы вернемся в Москву, княгиня Д[ашкова] попросит графа Орлова[51] устроить бал (таким образом Мы, вельможи, оказываем честь своим друзьям). Дочь графа — девица

весьма достойная, к тому же прославленная танцорка, вот там-то я и увижу все настоящие русские танцы в самом лучшем исполнении[52]. Молодая графиня — племянница *знаменитого Орлова* екатерининских времен [...]

Стоит солнечная с легким морозцем погода, и прогулки наши весьма приятны.

Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стакана, и я, как настоящая русская, тру им щеки, от чего, как меня уверяют, бывает хороший цвет лица. Естественный румянец я предпочитаю румянам, особенно если ими пользоваться на манер московских дам. Но даже их привычка немилосердно румяниться не кажется мне такой странной, как неприятное обыкновение целоваться в обе щеки.

Теперь я хочу рассказать, каким образом приветствуют друг друга мужчина и женщина. Дама подает вошедшему джентльмену руку, которую тот, наклонясь, целует, в то же самое время дама запечатлевает поцелуй на его лбу, и не имеет значения, знаком ли ей мужчина или нет. Таков тут обычай здороваться, вместо наших поклонов и реверансов [...]

Здешние печи горят не так весело, как камины, но должна признать, что комнаты от них нагреваются значительно лучше. Еще до того, как вы встали, женщина топит у вас печь, и жар в ней сохраняется до двух и даже до трех часов ночи. Когда истопница приходит на следующее утро, печка все еще теплая. Для топки, естественно, используются дрова. Стены в домах очень толстые. Окна похожи на наши, только с двойными рамами, словно два ряда солдат на параде. Оконные стекла отстоят друг от друга на четверть ярда, поэтому холод снаружи в комнаты не проникает.

Поварское искусство в этом доме совершенно отлично от того, что я описывала раньше[53]. Здесь каждый продукт не только превосходного качества, но и подается очень красиво. Княгиня гордится своим маслом, считая его непревзойденным. Я встала на защиту масла из Корка и, к удовольствию всей компании, бросила перчатку и матери, и сыну. Кто-то даже предложил посетить сей знаменитый город, осмеливающийся спорить по столь важному вопросу. Картофель у княгини также великолепный. [...]

Я вам уже представляла необыкновенно милое созданье — свою Софьюшку, она живет в соседней комнате, а их «всего» четыре в моем распоряжении. Забавно, что для моего гардероба отведена отдельная комната, правда, зимние туалеты занимают очень много места. Одежда фасоном не отличается от английской, но шуба, например, заполняет целый сундук (а своим весом может придушить владельца). Ботинки изнутри выстилают мехом, что незаменимо для прогулок. Сейчас еще не так холодно, чтобы носить зимние вещи, но их держат в комнате наготове. Княгиня подарила мне стеганое голубого шелка одеяло, из Англии я привезла постель, шерстяные одеяла etc, так что для меня самой места остается совсем немного. Здесь принято, чтобы те, кто приезжает погостить на месяц-другой, привозили с собой все необходимое, поэтому не смейтесь

над моим голубым одеялом. Софьюшка объяснила мне, что она собирается преподнести моей «matushka» (матушке) пуховое стеганое одеяло в знак уважения к вам. Надеюсь, мне удастся его переслать, это настоящее сокровище. Да, вас бы очень позабавили наши с Софьей разговоры, которые ведутся с помощью двадцати русских слов, известных мне, и десятка английских, какие знает она. [...]

МАТЕРИ

Москва, 18-го декабря нов. ст., 1803 г.

Доехали мы, дорогая мамочка, вполне благополучно, это было мое первое путешествие в *экипаже без колес*. Погода такая холодная, что временами от мороза буквально перехватывает дыхание, но я вопреки всему здорова. Однако стужа, право, непереносима. Да будет известно любителям сверяться с барометрами: вчера мороз достигал 25 градусов и ожидают, что он усилится до 30. Когда холодное дыхание ветра студит мой хрупкий ирландский организм, я замерзаю заживо, но в комнатах очень тепло. Вчера княгиня подарила мне муфту, в которую можно почти завернуться, что так удобно в экипаже. Каждой женщине, выходящей из дома, муфта необходима как надежная защита против сильных порывов Борея.

Завтра вечером я отправляюсь на французский спектакль в меховой шубе, меховых ботинках, прикрываясь муфтой, но с непокрытой головой, по здешней моде.

Но расскажу все по порядку. Давайте вернемся в карету, которая во вторник утром покинула Троицкое. Перед дорогой княгиня с истинным благочестием приложилась к иконам всех святых и распорядилась, чтобы священник отслужил молебен за наше благополучное путешествие (русские всегда соблюдают и чтут этот обычай, который, мне кажется, заслуживает уважения).

Земля покрыта снегом, леса уже не зеленые, а белые, и каждое дерево стоит в богатом снежном наряде, но этим диким и красивым пейзажем можно любоваться не дольше получаса: от ослепительной белизны глазам становится больно. Мне не понравилась езда на санях, когда они, как по зубьям пилы, движутся по комьям льда; думаю, ни один несчастный на борту корабля не страдал больше меня. Мы закутаны в меха, меховые одеяла под ногами должны хранить тепло, но все напрасно — через 12 часов пути от нашего дыхания обшивка экипажа покрылась крохотными сосульками. Ночевали в Серпухове на постелях, привезенных с собой, как водится у русских. На день девушки-служанки укладывают постели в *kibitka* — экипаж, похожий на широкую колыбель, в которой свободно могут сидеть или лежать три-четыре человека; ездят в них обычно и днем и ночью, засыпая в кибитке, как в кровати.

На следующее утро, еще при свете звезд, мы снова двинулись в путь. Небо, усыпанное звездами, с ясно видимым Млечным Путем, необыкновенно красиво, и, возможно, я превратилась бы в сентиментального лунатика, если бы не ужасающий холод, при котором самой желанной вещью на свете представляется обыкновенная горячая печь.

В 5 часов мы достигли Москвы. Представьте, какое впечатление производит этот огромный удивительный город с невероятным количеством церквей (почти у каждой золоченые купола и кресты), когда глядишь на него с холма, подъезжая к первой заставе.

Дом княгини — настоящий дворец, но он еще не достроен[54]. Хочу проводить вас к себе в уголок, об устройстве которого так позаботилась моя дорогая и любимая княгиня. Вы входите в переднюю, где обычно сидит красивый мальчик, которого княгиня называет моим слугой. Комнату Софьи отделяет от передней что-то вроде экрана. Затем вы вступаете в залу, прекрасно обставленную, с великолепным большим зеркалом etc. Дверь слева ведет в мою комнату, в ней фортепьяно, очень изящное бюро, на котором в полном порядке разместились письменные принадлежности. Над бюро висит портрет княгини, под зеркалом такого же размера, что в зале, стоит инкрустированный с мраморной крышкой комод[55]. Железная кровать скрыта от всеобщего обозрения ширмой, которая делит комнату на две части.

После того как мы прошлись по дому, я могу ввести вас в общество некоторых наших знакомых, увешанных орденами и звездами. Первый — особа королевского ранга, его высочество господарь Молдавии князь Маврокордато[56]. На родине его подданные намеревались его убить, ему едва удалось спастись[57]. Он женат на племяннице княгини Дашковой. Платье князя походит на монашеское и подпоясано прекрасной турецкой шалью вместо кушака. На бритой голове он носит ярко-красную феску. Длинная борода и нелепый головной убор испортили его красивое от природы лицо. Кажется, он умный и приятный человек. Еще в Троицком, увидев портрет князя, я подумала, что это герой, живший два столетия назад [...] Княгиня Маврокордато — высокая, величественная женщина, больше о ней сказать нечего. Княгиня Куракина[58] и ее хорошенькая дочка — высокопоставленные дамы с приятными манерами. Княгиня Дашкова представила меня своим друзьям в таких лестных и пристрастных выражениях, что я оказалась в центре внимания, однако неловкость, которую испытываешь при первом знакомстве, прошла быстро.

Вообще же манера приема гостей довольно церемонна. Представьте: в глубине гостиной на красном сафьяновом диване сидит княгиня. С противоположного конца комнаты входят гости — князья, графы, графини etc. Все они — обладатели бриллиантовых темляков, различных орденов первой, второй и третьей степеней, алых, голубых etc лент. Они приветствуют друг друга (как именно, я вам уже писала), затем рассаживаются и беседуют. Ни ярко горящего камина, вкруг которого собираются замерзшие, ни карточ-

ного стола, этого прибежища скучающих одиночек и забавы игроков, ни диванчиков у окон или уголков, где кто-то флиртует. Все общество сосредоточивается в одном месте, и, к моему вящему удивлению, каждое произнесенное слово явственно слышно всем. Но не воображайте, что разговор касается Пунических войн или коллекций мелодично звучащего стекла. Нет. Здесь рождаются тонкая лесть и легкое злословие. Даже то немногое, что я успела увидеть, позволяет утверждать: 40 человек из светского общества в 40 различных домах говорят и делают приблизительно одно и то же, только одни — скучно, другие — интересно. Во всяком случае, человеческий характер формируется здесь в более узком кругу, чем в остальном мире. [...]

Со следующей недели мы, видимо, начнем наносить визиты. На ближайшие дни назначены бал и обед с друзьями. Буду писать вам обо всем, описывать свои настроения, которые могут противоречить одно другому в разные дни, но, я знаю, вам это интересно. Стану даже сообщать о своих туалетах. В настоящее время мы носим траур по сестре императора[59]. Делая визит девушке, собирающейся выйти замуж, нужно быть в белом. В день именин кого-нибудь из членов семьи визитеры являются в цветном платье; посещая лицо, которое носит траур по родственнику, следует являться в черном. Подобное выражение сочувствия мне по душе.

У меня есть для вас, моя дорогая мамочка, два маленьких флакончика розового масла, которые с самыми добрыми чувствами мне подарила княгиня, и скатерть искусной крестьянской работы, она вам очень понравится. Мадемуазель Исленьева настаивает, чтобы я послала сестре флакон от нее, а еще один она передает для дорогой миссис Четвуд. Отправить посылку довольно трудно, но если удастся, то добавлю еще разные мелочи.

МАТЕРИ

20-го [декабря 1803 г.]

Французская пьеса, которую мы смотрели вчера, оказалась весьма забавной. Здание театра большое и красивое, но освещение, как во всех русских театрах, плохое. Нащими кавалерами были господин Посников и граф Санти. Последний чрезвычайно похож на Роджера Олдворса[60], и не столько внешностью, как всей манерой поведения. Говори он по-английски, а не по-французски, можно было бы вообразить, что это действительно Р. Олдворс. Граф Санти очень рассеян, иногда на полчаса забывает всех и вся, потом внезапно выходит из задумчивости и ворчит, если окружающие не могут уловить мысль, которая пришла ему, когда он грезил [...] Он никогда не танцует; в карточной игре это опасный партнер. По характеру граф человек чрезвычайно доброжелательный, сразу становится в любом доме своим человеком (либо вовсе не поддерживает знакомства). Он — верный и деятельный друг, посещает

больных, как если бы был врачом, в общем, граф всеобщий любимец. [...]

Княгиня подарила мне еще одну шаль, похожую на прежнюю темно-красную. Все носят шали, они в большой моде, и чем их больше, тем *больше вас уважают*. У меня — шесть. Нужно сказать, мода эта чрезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывается вокруг руки, другой — спускается до земли. Княгиня преподнесла мне браслет со своим портретом, подобные браслеты носят на левой руке и называют «sentiment». Подарок этот — самое приятное доказательство привязанности княгини. Не подумайте, что я сошла с ума, раз пишу о таких пустяках, но, мне кажется, подобные мелочи часто помогают понять страну лучше, чем серьезные вещи; если мне удастся дать представление о здешних обычаях и нравах, я буду очень довольна.

МАТЕРИ

22-го [декабря 1803 г.]

Только что вернулась с обеда у князя Голицына[61]. При императрице Екатерине он был обер-камергером и как символ этого звания носит большой бриллиантовый ключ. Алмазных темляков и эполет в зале было больше, чем грибов после летнего дождя, а бриллиантовые звезды такой величины, что их не прикроешь и ладонью. В любом собрании поражает обилие звезд. Граф Алексей Орлов был самой примечательной личностью в комнате, или, лучше сказать, огромном зале, куда мог бы вместиться весь наш дом. Вы знаете о роли графа в революции[62]. По внешнему виду это исполин невероятной силы, при виде его я внутренне содрогаюсь. Он всегда носит портрет императрицы, прикрытый огромным алмазом и оправленный в крупные бриллианты. Дочь его — прелестная изящная юная девушка. В четверг мы будем у них на балу. Я устала от обилия и блеска бриллиантов, жемчугов и украшений на вельможах, хотя выглядят они великолепно. К тому же мужчины скучны, почти всем 60—80 лет. На обеде я сидела между княгиней Долгоруковой и князем Дашковым. Княгиня, приятная молодая женщина, была весьма любезна. Князь Дашков ко мне весьма благосклонен. В России он один из наиболее уважаемых людей, с кем мне пришлось встречаться; у него безупречная репутация, и беседовать с ним интересно. Полученное воспитание и принципы, внушенные ему с детства, заложили основы его характера, не испорченного дурными примерами, что является участью немногих.

Обед продолжался почти четыре часа. Были спаржа, виноград и все, что можно вообразить, и это зимой, в 26-градусный мороз. Представьте себе, как совершенно должно быть искусство садовника, сумевшего добиться, чтобы природа забыла о временах года

и приносила плоды этим любителям роскоши. Виноград буквально с голубиное яйцо. [...]

27-го [декабря 1803 г.]

Мы как раз садились в карету, чтобы ехать на обед к графу Остерману[63], когда — какое счастье! — мне подали письмо от моего дорогого любимого батюшки с очаровательным вложением от милой Гарриет. Спокойно прочесть письма не было времени, я только сердечно обрадовалась, уверившись, что все здоровы, и положила в карман драгоценный для меня талисман. Из-за него я была за обедом так оживлена, что мой сосед князь Дашков, решив, что развеселил меня своими остротами, был весьма собой доволен. Расскажу вам что-то интересное. Прелестное юное существо мадемуазель Лицына[64] сняла с пальца кольцо и настояла, чтобы я приняла его в знак ее искренней дружбы.

Вернувшись домой, я стремглав бросилась к себе и, предвкушая удовольствие, принялась за ваши долгожданные письма. Боже правый! Какой удар — смерть миссис Бэри, прекрасной женщины, дорогого и близкого друга. Сердце сжимается при мысли о том, как эфемерна жизнь. Надеюсь, в каждом письме вы будете сообщать все об ее семье. Если горе ее родных могут утешить моя скорбь и сердечное сочувствие, от всей души соболезную.

Adieu, моя всегда любимая матушка.

ОТЦУ

Москва, января 2-го, 1804 года

Молодой шотландец Маккензи, с которым я познакомилась, приехав сюда, любезно предложил мне вручить ему для передачи в Англии письма etc. Будучи военным, он должен вернуться в Англию, и, хоть я не могу не признаться, что сожалею об его отъезде, как британка, я считаю, что теперь, в насыщенное событиями время, для родины полезно, чтобы все соотечественники собрались для ее защиты. Мистер Маккензи — прекрасный, благородный человек; невозможно выразить словами, как вдали от старой доброй Англии приятно общаться с соотечественниками, наделенными истинными добродетелями. Маккензи уезжает вместе с другим молодым англичанином по имени Корнуэлл. Наш друг мистер Гаррис остается, думаю, ненадолго — он отморозил ногу, а это, надо сказать, не пустяк, но теперь ему лучше. Уповаю на то, что мистер Маккензи привезет мои пакеты в Лондон, а затем, с божьей помощью, они попадут в маленькую Эрин[65].

Прочла княгине отрывок из вашего милого ласкового письма, который привел ее в восхищение. Она объявила, что собирается бросить вам и матушке вызов и доказать, что я — не ваша, а ее дочь. Ей рисуется шуточный судебный процесс, на котором будут

восстановлены ее родительские права, узурпированные вами *во время посещения ею Ирландии*, и что она судьям это докажет. Настоящим она просила меня уведомить вас об этом от ее имени. Я обещала. Итак, предупреждаю вас о предстоящем судебном разбирательстве. Боже, храни короля!!! Неужели вы полагаете, что лестные предложения от женщины столь знаменитой сделали меня тщеславной? Нет, дражайший батюшка, никакие судьи ни в одной из стран подлунного мира не отринут от родного дома моей души и сердца, где они всегда находят отдохновенье. Но знаю, что, читая о проявлении любви княгини, вы будете более счастливы, нежели я сама.

Положение в нашей стране постоянно занимает мои мысли, и ничто не может заставить позабыть о ней хоть на полчаса. Живя дома, знаешь, что происходит вокруг, но, когда находишься вдали от родины, воображение постоянно рисует и хорошее и дурное [...]

Все говорят, что ради меня княгиня делает то, что она не делала в последние годы. Например, выезжает с нами на балы. Когда я танцую, глаза ее следят за мной с таким участием и любовью, что трудно передать. [...]

В последнем письме к матушке я рассказала о всех событиях нашей жизни. С тех пор мы побывали на великолепном балу у графа Орлова, который был устроен в русском стиле, что мне больше всего понравилось. Бал, как всегда, начался «длинным» полонезом (что больше походит на прогулку под музыку), затем мы танцевали несколько контрдансов, в промежутках между которыми графиня Орлова исполняла танцы — по красоте, изяществу и элегантности прекраснее всего, что мне когда-либо приходилось видеть (даже в живописи). В сравнении с грациозной красотой графини Орловой фигура леди Гамильтон, безусловно, показалась бы грубой; право, не грешно бы запечатлеть на полотне естественность и свежесть прелестной графини. Каждое ее движение в танце с шалью было образцом изысканной красоты. [...]

Вас обычно интересуют имена моих кавалеров. Ну вот, на балу княгиня познакомила меня с господином Новосильцевым. Он был в расшитом кафтане, лилейно-белых чулках. С ним я танцевала первый танец. Вы, верно, знаете, что англичанок считают неуклюжими, однако мой прекрасный напудренный герой остался мной доволен. Подведя меня к княгине, он весьма торжественно поблагодарил за доставленное удовольствие и с самым серьезным видом осведомился, понравилось ли мне танцевать с ним. Боясь задохнуться от сдерживаемого смеха, я попросила княгиню уверить господина Новосильцева, что он прекрасный партнер и танцует бесподобно, а чтобы избавиться от дальнейших объяснений, вручила ему виноград, который мне только что преподнес господин Посников. Неудивительно, что с этого бала мой первый кавалер превратился в преданного раба. Вторым моим партнером был господин Козлов[66], известный как превосходный танцор, третьим — князь Дашков, четвертым — не знаю, кто такой, щеголявший в платье, которое на

аукционе оценили бы в 10 000 рублей, пятым — господин Глебов, племянник княгини.

За ужином дамы занимали одну сторону стола, мужчины — другую. Напротив меня сидели князь Дашков и мистер Маккензи. Нам было чрезвычайно весело и приятно. Во время ужина молодая рабыня (господи, прости, но это правда!) играла на гитаре и пела. Она исполняла народную песню весьма оригинально. [...] Я была в восторге. Затем в сопровождении балалаек пел небольшой хор. Вдруг раздалась ружейная пальба, загремела военная музыка, и все сразу умолкли. Гости пили за княгиню Дашкову, поскольку бал давался в ее честь. Вторично прозвучал салют, присутствующие стали пить за графа Орлова. При третьем залпе все встали из-за стола, граф пошел в полонезе с княгиней, и бал продолжался. Крепостная девушка еще раз пела и танцевала. Обычно чувства, выраженные в народных песнях, крестьянки изображают жестикуляцией и пантомимой. Это выглядит очень интересно и необычно. Как только княгиня уехала, граф Орлов прямо и недвусмысленно велел всем идти по домам[67]. Так закончился этот званый вечер.

Среди гостей были княгиня Долгорукова и мой друг мадемуазель Лицына, которой в ответ на ее gage d'amitié*, украсивший мой указательный палец (о ее подарке я писала матушке в прошлый раз), я преподнесла кольцо с жемчугом.

Вчера ходили в церковь. Пение поистине было божественным. Затем мы отправились с визитом к господарю князю Маврокордато.

Надо рассказать об одном здешнем обычае, меня возмутившем. Две недели назад княгине, как и всей московской знати, принесли траурное извещение с сообщением о смерти господина Небольсина[68]. Текст был окаймлен черепами, скрещенными костями и прочими эмблемами смерти. На следующий день пол-Москвы, мужчины и женщины, побывали у несчастной госпожи Небольсиной. Страдая от неподдельного горя, едва держась на ногах, она с 12 дня до 10 часов вечера должна была терпеть разговоры и взгляды каждого, кто пришел поглазеть на нее. По правде говоря, я была так удивлена и поражена, что многим задавала вопрос, почему они придерживаются столь жестокого обычая. Мне объяснили, что, если бы она не разослала извещения и не приняла бы визитеров, свет обвинил бы ее в неуважении к памяти мужа, в равнодушии, не поверил бы в искренность ее горя, она приобрела бы множество врагов, толки о скандале никогда бы не прекратились, и никто не стал бы ездить к ней в дом. Несколько дней назад я, совершенно чужой человек, сопровождая княгиню к Небольсиной, видела эту даму в состоянии, которое лучше всего можно определить как «торжественная скорбь». Убитая горем вдова лежала на софе, свет был затенен; все визитеры в глубоком трауре, разговоры шепотом etc. Когда мы с княгиней Дашковой подошли, Небольсина, поцеловав меня, выразила сожаление по поводу того, что несчастье лишает ее возможности оказать мне гостеприимство etc; в то же

* Залог дружбы *(фр.)*.— *Пер.*

время она слушала посторонние разговоры и даже принимала в них участие. Подобной обстановки мне прежде никогда не приходилось видеть. После того что я рассказала, вы можете предположить, что печаль ее притворна, но это не так. Женщина, глубоко и тонко чувствующая, обожавшая своего мужа и бывшая с ним по-настоящему счастливой, она имеет все основания оплакивать супруга. [...]

Этим утром мне рассказали еще об одном, но уже приятном, обычае. Когда кто-либо переезжает в другой дом, он получает от друзей и знакомых полезные вещи: что-нибудь из мебели, продовольствия и другие подарки, бриллианты например. Но какова бы ни была *стоимость* преподношения, его по старинному обычаю называют «хлеб-соль» — символ гостеприимства. Теперь как раз переезжает в новый дом доктор Холлидей, с которым я ехала из С.-Петербурга в Москву. Утром он посетил нас и случайно упомянул о новоселье. Княгиня, лелея мечту сделать из меня *настоящую русскую*, сказала ему, что мисс Вильмот, по обычаю, приготовит «хлеб-соль» для миссис Холлидей, и попросила через полчаса прислать за подарком. Когда посланные пришли, к отправке был готов очень изящный стол с мраморной доской. Подношение сопровождала написанная по-русски записка к миссис Холлидей; вот как она звучит по-английски: «Поздравляя Вас с новосельем, посылаю «хлеб-соль».

Доктор Холлидей собирается дать в новом доме бал по-английски.

[ОТЦУ]

3-го [января 1804 г.]

Вчера князь Дашков получил от московского дворянства чрезвычайно лестное доказательство любви и уважения. Вы знаете, что в России правление монархическое, но у дворян есть право выбирать своих представителей в губернские органы управления, а также избирать из своей среды предводителей, управляющих делами огромных губерний[69]. Три года назад князь Дашков был избран предводителем московского дворянства. Вчера срок его полномочий истек и были назначены новые выборы. Все дворяне собрались в огромной зале, где их привели к присяге. Князь намеревался уйти в отставку, но все со слезами на глазах стали упрашивать его вновь принять должность, которую он исполнял с таким достоинством и благородством.

Князь действительно благороднейшее существо, сверх того он обладает деликатностью, что свойственно лишь значительным личностям. Никогда не скажет он того, что может кого-либо задеть или обидеть. Общеизвестна его храбрость, но я видела, как трогательная музыка взволновала его до слез.

Не знаю, что и думать о мистере Маккензи, я не видела его с того самого дня, как начала это письмо. Придется отправлять мое послание обычным путем, а шесть маленьких любовных записочек и тому подобные мелочи останутся для нашего шотландского героя.

Итак, adieu, мой дорогой батюшка.

МИССИС ЕЛИЗАВЕТЕ ВИЛЬМОТ[70]

Москва, января 24-го, 1804 г.

[...] Мы ведем рассеянный образ жизни. Бесконечные балы, длящиеся *по четыре часа* кряду, обеды, на которых подаются всевозможные деликатесы, плоды совместного труда природы и человека: свежий виноград, ананасы, спаржа, персики, сливы etc. [...] Забыла упомянуть, что сейчас в Москве на тысячах апельсиновых деревьев висят плоды[71]. В разгар сильных морозов цветут розы, у меня в комнате благоухают изумительной красоты гиацинты. Недаром говорится, что любая вещь ценна не сама по себе, а лишь соответственно трудности ее получения. Считается, что там, где плодов много и выращиваются они без особых усилий, в них мало привлекательности, тогда как там, где их получают в результате тяжкого труда, они свидетельствуют о победе над трудностями. У русских есть поговорка, смысл которой: ничего нет невозможного. Но ведь все дело в том, что невозможное становится возможным оттого, что любая прихоть господина — закон для крепостного, который должен быть готов выполнить причуды своего хозяина невзирая ни на что. Природа наделила русских крестьян редкой сообразительностью, и, возможно, разнообразием своих талантов они обязаны капризам господ. А господа их — часто низкие, ограниченные животные, церберы, говорящие на трех, а то и на пяти иностранных языках, с утра до вечера злословящие об отсутствующих и льстящие друг другу. Невозможно передать, как все льстят мне.

Несколько дней назад приехала с визитом некая графиня, вся увешанная бриллиантами. Мы были с княгиней вдвоем. Вначале гостья едва удостоила меня легкого поклона. Немного погодя, посреди своих разглагольствований, на которые княгиня не обращала особого внимания, графиня заметила, что та с нежностью взяла меня за руку. Видно было, как в голове лицемерки с быстротой молнии промчалась мысль, что, похвалив меня, можно обрадовать хозяйку дома. С необычайной легкостью графиня впала в *пароксизм* восхищения и воскликнула по-русски: «Какая она красавица!» В своем страстном увлечении княгиня думает обо мне именно так, поэтому я не удивлюсь, если в следующий визит бриллиантовая графиня получит несколько тысяч в долг без процентов. Дает ли вам эта сцена хоть какое-нибудь представление о нашей изысканности? Нет? Ничего не могу поделать [...]

Княгиня вознамерилась этим летом посетить свои польские владения[72], я в восторге, путешествие обещает быть весьма интересным, и, хотя мне предстоит отдалиться от вас верст на 800—900 и с получением писем будут затруднения, все же я желала бы, чтобы ничто не помешало намеченной поездке.

Передайте девочкам[73] (они убьют меня, если я утаю это от них), что я заимела *трех* общепризнанных влюбленных и 20 или 30 поклонников. Первый претендент — обер-камергер с потрясающим бриллиантовым ключом. Не беда, что ему 80 лет, это пустяки! Он никогда не был женат, но все знают, что во время путешествия по Англии его пленила прекрасная альбионка[74], которая поехала за ним в Россию. До самой ее смерти они так и не поженились, но он по сей день оплакивает свою хрупкую и нежную возлюбленную, превратив ее в некое маленькое божество. Незаконный сын его по русскому обыкновению носит имя отца без первого слога и зовется Лицын. Обер-камергер — это князь Голицын. Его внучка (ее мать была княгиней) — мой закадычный друг и дарит мне кольца. Девушка, действительно, очень симпатичная. Живя в доме своего деда, она не может его так называть, хотя и унаследует его огромное состояние.

Но вернемся к моему рассказу. Князь Голицын без ума от всего английского, особенно от англичанок. Он стал моим рабом и осыпает комплиментами мои туалеты, манеры, и, в первую очередь, уменье танцевать — главное из моих достоинств.

В прошлую среду на балу мое батистовое платье с вышитой каймой, хорошо известное на берегах Ли[75], вызвало всеобщее восхищение. Его простотой и элегантностью восторгались люди, едва не падающие под тяжестью жемчугов и бриллиантов. Мой вкус до этого бала не был оценен и остался незамеченным, хотя на мне было очень хорошенькое крепове платье. У меня на шее сверкает опал, обрамленный бриллиантами, и четыре нитки жемчуга; то и другое — подарок княгини, ей, кажется, нет большего удовольствия, нежели одаривать меня всем, что она считает красивым, полезным или забавным.

Второй мой обожатель — господин Еропкин, дядя княгини Дашковой. Ему 84 года; некогда он проявил себя во время ужасного бедствия в Москве. Тогда во время восстания был жестоко убит митрополит[76], да и жизни Еропкина угрожала опасность, но в конце концов он успокоил возмущение. Это весьма почтенный человек, и я почти склоняюсь на его ухаживания. К несчастью, предмет его желаний оспаривает полный мужчина в ярко-красном мундире — губернатор Москвы[77], а поскольку все трое говорят только по-русски, мне приходится отсрочить окончательный выбор до той поры, когда я достаточно овладею языком, чтобы оценить их выдающиеся достоинства.

В последнее время мы лишились лучшего украшения московского общества — троих англичан: мистера Гарриса, сына лорда Малмсбери, первую встречу с которым в Троицком я описала матушке; его кузена мистера Корнуэла, джентльмена очень благовоспи-

танного, и шотландца Маккензи, которому не откажешь в уме, но недостает учтивости. За ними здесь очень ухаживали, они были непременными участниками всех по-настоящему интересных и веселых развлечений.

Последний день их пребывания в Москве я провела с ними; большое удовольствие нам доставило катание на санях. Был дан праздник в честь княгини, но фактически он устраивался ради меня. Некие месье и мадам Камберлин пригласили 20-го января к 12 часам огромное общество. Мы опоздали на несколько минут и едва смогли пройти в дом из-за скопления саней во дворе, а в самом доме с трудом пробрались сквозь толпу гостей. Сначала всех обнесли шоколадом и сладкими пирожками, затем пригласили в соседнюю комнату, где нашим изумленным взорам предстал завтрак, состоящий из горячего и холодного супа (это общепринятое блюдо, на мой вкус, отвратительно), мяса, рыбы, кур, мороженого, фруктов etc. Десерт подавался в другой комнате — сушеные фрукты, пирожки, *eau de vie**. Наконец, сорок саней, запряженных шестерками, тронулись в путь. В каждых *traineau*** сидели две дамы и два кавалера, сопровождаемые двумя лакеями и двумя-тремя форейторами. *Coup d'œuil**** был великолепен. Нашими с Анной Петровной кавалерами были мистер Вильсон и господин Навалисков, к нашей компании захотел присоединиться и мистер Маккензи. Едва он сел, сани с быстротой ветра понеслись через весь город. Седоки энергично понукали кучеров, чтобы те перегоняли ехавшие впереди сани, и вся кавалькада разражалась криками радости и ликования, если непредвиденный случай вынуждал какой-либо экипаж задержаться. Все одеты были очень нарядно, но не воображайте меховые шапки etc. На одних — белый атлас, на других — розовый etc, лишь у немногих, в том числе у вашей покорной слуги, черный бобровый мех. Шали и салопы защищали нас от холода, который, к счастью, не был слишком сильным. После двух с половиной часов бешеной скачки мы вернулись к Камберлинам, как смогли, привели в порядок платье, выпили чаю, а затем танцевали до самого вечера. Княгиня чувствовала себя не вполне здоровой, но домой не уехала, а была на балу, который закончился прекрасным ужином, на который мы, правда, не остались, ибо слишком устали. Только в северных странах можно увидеть подобное замечательное развлечение.

На балу у графа Орлова я видела, или, лучше сказать, слышала, роговую музыку. Музыкальная пьеса исполнялась на 40 рогах. Для такого оркестра необходимо иметь 40 исполнителей, потому что каждый рог издает только одну ноту. Судите же сами, какова в этой стране ценность человека и сколько крепостных у этой семьи, если можно держать такое количество людей, единственное назначение которых — дуть в рог.

---

* Водка *(фр.).— Пер.*

** Сани *(фр.).— Пер.*

*** Вид *(фр.).— Пер.*

Однако, может случиться, я еще не рассказала вам о бале у графа Орлова? Сейчас загляну в дневник (да, я веду дневник, моя дорога Элиза) и если об этом не писала, то немедленно же напишу матушке. [...]

Попробуйте угадать, что я теперь собираюсь делать? Не догадаетесь ни за что на свете! Ну, хорошо, скажу. Позировать *для четырех* портретов. Подумать только, княгиня захотела носить в табакерке миниатюру с моего несуразного лица. Одну миниатюру она хочет послать матушке. Разве не приятна подобная любезность? Два больших портрета будут написаны маслом. Меня чрезвычайно смущает мысль, что сразу так много моих изображений вдруг явится средь бела дня, подобно призракам, но что я могу сделать? Было уже два сеанса. [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

10-го [февраля 1804 г.]

Княгиня начала записывать историю своей жизни. Она говорит, что к этому ее побудила лишь дружба ко мне, и добавила, что саму рукопись и право публикации она передаст мне. Вероятно, это будет чрезвычайно интересный труд.

МАТЕРИ

Москва, 12-го февраля 1804 г.

[...] Забота, любовь, нежность, дружба княгини Дашковой поистине беспредельны. Не знаю, как это выразить. Она испытывает ко мне такие же чувства, что и к своим детям, а сознание, что я нахожусь так далеко от дома, еще усиливает ее заботу. Мысли обо мне занимают ее почти целиком и воодушевляют каждый поступок. Кажется, привязанность княгини растет с каждым днем, сама она говорит, что это чувство жило в ней *всегда*, и никакими силами нельзя убедить ее, что впервые мы увиделись только в августе прошлого года.

Мое дурацкое лицо запечатлено на полотне, один большой портрет уже закончен, но, по-моему, непохож. Теперь трудится миниатюрист, княгиня намеревается его работу отправить вам, этой мыслью она наслаждается с видимым удовольствием. Вчера я позировала для другого большого портрета маслом, который, как мне кажется, получится удачным. Его пишет итальянский художник синьор Вигони. Рисует он превосходно и добивается большого сходства. Сам живописец так красив и мил (к тому же знает французский), что позировать ему куда приятнее, чем человеку, с которым мы не понимаем друг друга. Если итальянцу портрет удастся, то для вас с его работы будет сделана миниатюра, ибо та, которую сейчас пишут, многого не обещает.

Мы ежедневно выезжаем и продолжаем веселиться. Вчера в 2 часа ездили к графу Остерману поздравить его родственницу с именинами, то есть днем святого покровителя. Ее зовут Анной, и поскольку в России имеется орден св. Анны, который носят на алой ленте, то все кавалеры, даже имеющие награды высшего достоинства, дабы доставить удовольствие прекрасной имениннице, надели алые ленты. Такой лентой был украшен почти каждый мужчина, находившийся в зале. Здесь не было интересующих нас молодых плебеев, пришли засвидетельствовать свое почтение лишь 70—80-летние старцы с 70—80 тысячами фунтов годового дохода. Как только мы вошли, нас повели к столу, где был накрыт так называемый завтрак: предлагались вяленая рыба, икра, сыр, хлеб etc и *eau de vie* (виски) — всего лишь легкая закуска для аппетита перед обедом, о котором тут же и возвестили. Мы собрались в зале, который, как мне кажется, я вам уже описывала, с галереей, заполненной мужчинами, женщинами, детьми, карликами, юродивыми и неистовыми музыкантами, которые пели и играли так громко, как будто хотели, чтобы оглохли те, кого пощадили небеса. Совершенно не чувствительный к музыке, мой сосед справа князь*** *кокетничал* со мной при каждой перемене блюд, и мы оживленно беседовали, насколько это было возможно в ужасном грохоте. В самый разгар патетической речи, которую князь, противоборствуя музыкантам, произносил мне прямо в ухо, раздался громкий грозный звук трубы, и все сразу смолкло, на лице каждого сидящего за столом выразилось почтительное внимание. Графу подали хрустальный кубок с шампанским. Он встал и, провозгласив здоровье именинницы, залпом осушил бокал. Вторично, но уже в другом тоне прозвучала труба, и кубок с вином был подан княгине Дашковой, которая повторила заздравный тост. Труба пропела в третий раз, и следующий гость с теми же словами выпил *тот же* хрустальный бокал. Короче, эту церемонию проделал каждый из 46-ти сидящих за столом, можете представить, сколько времени заняло торжество. Мы уехали сразу, как только княгиня закончила роббер виста или бостона, начатый до обеда. Вечером мы отправились с визитом еще к одной Анне, собравшей на свои именины множество тезок [...]

Меня утомили беспрестанные обильные обеды, на которых слуги, проходя чередой, предлагают вам одно за другим 50—60 различных блюд — рыбу, мясо, птицу, овощи, фрукты, супы из рыбы etc, сверх того — вино, ликеры etc. Изобилие стола невозможно описать. Сколько раз мне хотелось продукты, растраченные зря на этих утомительных обедах, переправить в мою маленькую Эрин, где так часто недостает того, что тут ставится ни во что. Самые бедные люди имеют пропитание в достатке, незнакомом нашим беднякам[78].

У русских чрезвычайно развито гостеприимство, но что является его основой, искренне ли оно, будет ли дружба прочной или это просто пустое любопытство к новому лицу, определить я пока не смогла.

Княжна Туркестанова и госпожа Рибопьер с дочерьми *Настей* и Катенькой прибыли навестить вдову Небольсина. Мне было весьма приятно увидеться со своими петербургскими приятельницами; они сказали, что все мои столичные знакомые, в том числе сэр Джон Уоррен, мистер Гарлик и шотландец доктор Роджерсон, по-доброму вспоминают обо мне. Я бы охотно съездила в С.-Петербург, но боюсь, что у княгини на это нет ни малейшего желания. Возможно, этим летом мы совершим путешествие в Польшу и два-три месяца проведем в имении княгини. Мысль о такой поездке доставляет мне большое удовольствие. [...]

18-го [февраля 1804 г.]

Вот уже неделя, как я начала это письмо, но времени писать совершенно нет: отвлекает то одно, то другое развлечение. Вчера мы обедали у господина Киселева[79], где не было ничего интересного, кроме мальчика-калмычонка, привезенного с китайской границы. Вместе с ним для развлечения гостей доставили маленьких черкеса и индуса. Каждый был в своем национальном костюме. Особенно занятен был калмык — совершенная копия фигурок со старинных индийских щитов, китайских вееров и чайных сервизов. Постоянно оживленное лицо мальчика выражало бесстрашие и полную независимость, а маленькие, как бусинки, блестящие глаза выказывали необычайный ум. Руки у него были обнажены; одежду составляли шаровары из белого индийского миткаля, рубашкой служила шаль, и все платье, кроме маленького жакетика из алого кашемира, было украшено серебряными блестками. Движения его поражали изяществом. Трое детей танцевали вместе, и, хотя калмычонку на вид было лет 5—6, а двум другим по 8—10, ведущим в танце определенно был младший.

Здесь существует обычай держать в доме детей или шутов, способных развлекать гостей. Чем бы человек ни отличался от нормального, его особенность выставляется напоказ, и *mauvaise honte** совершенно неизвестен или просто отбрасывается, как что-то ненужное.

Несколько дней назад мы обедали у господина***. Это был настоящий русский праздник: русские блюда, заздравные тосты, произносимые стоя, и музыка во время обеда. Необычайно высоким и чистым голосом девушка исполнила русскую народную песню. Сколько живу на свете, никогда прежде не слыхала такого мелодичного и чарующего пения. Я редко плачу под влиянием музыки, и то если она созвучна моим переживаниям, но этот одинокий, тоскующий, жалобный голос заставил меня пролить слезы. [...]

Сегодня снова позировала красивому итальянцу. Право, он делает из меня *Venus de Medici*[80]. Всякому смешно было бы слушать замечания моей милой чувствительной княгини. Совместными усилиями они хотят добиться, чтобы портрет вышел красивым, но,

* Ложный стыд *(фр.)*.— *Пер.*

боюсь, сходство вызовет сомнение; я могу извинить и даже одобрить, если художник польстил оригиналу, но добился, что портрет похож. Подождем и посмотрим, что получится: ваше мнение, конечно, будет решающим. Мне доставляют удовольствие те дни, когда мы ходим к синьору Вигони, и, хотя меня иногда убивают замечания княгини, которая хочет, чтобы художник приукрасил портрет, я буду сожалеть об окончании работы, поскольку во время сеансов мы ведем приятную беседу. Меня изображают в причудливом платье малинового цвета, с накидкой вроде плаща. [...]

Были на маскараде, но он получился неудачным. Никто не сумел представить маскарадный персонаж. Все были в бриллиантах, пышно одеты; правда, на хозяине и хозяйке были крестьянские платья. Кто-то гордо ходил по комнатам, изображая гигантские сапоги, другой представлял ветряную мельницу; несколько летучих мышей пищали ваше имя *en passant** и взмахивали тяжелыми крыльями, но что такое душа маскарада — тут не знают. Лучше всех была моя маленькая хорошенькая *femme de chambre*. Я надела на нее все украшения, какие нашла, и она выглядела очень мило. Того же мнения был и молодой слуга, который трижды приглашал ее на танец; она каждый раз ему отказывала: ей никогда не приходилось видеть, как танцуют бальные танцы. Когда настойчивый поклонник подошел снова, Софья, услышав насмешливый шепот других горничных, уверяющих друг друга, что она вообще не умеет танцевать, гордо покинула своих подруг, дабы пристыдить их за клевету. Звучала изящная медленная музыка. Когда подошла очередь Софьи и ее партнера, они, к моему великому ужасу, держась за руки, стремительно помчались через весь зал и остановились, только добежав до противоположной стены. Повернув обратно, они несколько раз столкнулись с танцующими, которые хоть немного прислушивались к музыке и выполняли фигуры танца, к чему моя пара выказывала явное презрение. Наконец, утомившись, они остановились. Поверьте, я не преувеличиваю: в своем простодушии Софья не имела ни малейшего представления о том, что танцует она совсем не так, как другие дамы.

Мы были в черном; вместо маскарадных костюмов надели неизбежные маски и вуали, которые, правда, скоро сняли. Мы оставались недолго. Во время танцев все смешались — и господа и слуги. Это был домашний бал у господина Салтыкова[81].

ОТЦУ

Москва, 25-го февраля, 1804 г.

С каждым днем я все лучше узнаю мою дорогую княгиню. Сейчас расскажу о том, что заслуживает отдельного письма. На днях мы разговаривали о политических событиях и волнениях

---

* Проходя мимо *(фр.)*.— *Пер.*

в Ирландии, заставляющих нас, ирландцев, покидать родину. Вдруг княгиня сказала: «Я настаиваю, чтобы вы написали батюшке и матушке следующее: при теперешнем положении дел им может прийти мысль об *эмиграции*, так вот — лучшим местом для их прибежища будет Россия. У меня дом в Троицком и дворец в Москве, пока я имею приют и кусок хлеба, которые я могу разделить с теми, кого люблю, от всего сердца предлагаю кров и стол, а также искреннюю дружбу каждому члену вашего семейства». Это, безусловно, правда, потому что она говорит только то, что чувствует. Боже, избавь нашу маленькую Эрин от необходимости когда-либо воспользоваться этим благородным предложением, но оно показывает характер княгини и должно еще более возвысить ее в вашем мнении. [...]

ОТЦУ

Москва, 7-го марта 1804 г.

[...] Как видите, дата на письме поставлена еще в Москве, но, думаю, скоро мы уедем из города.

Через несколько дней начнется масленица, которая продолжится неделю, и все это время мы, разодетые как павлины, с утра до ночи будем толкаться в светской толпе. В 12 же часов последнего дня масленицы на веселом балу, где соберется пол-Москвы, мы услышим торжественный звон соборного колокола, который возвестит полночь и начало великого поста. Звон этот побудит всех мгновенно отложить ножи и вилки и прервать сытный ужин. В течение 6 недель поста запрещается не только мясо, но также рыба, масло, сливки (даже с чаем или кофе) и почти вся еда, кроме хлеба. Все часто ходят на исповедь, старые грехи отпускаются, новые, несомненно, совершаются, но все же во время поста каждый старается, насколько это в человеческой натуре, быть добродетельным. Пока же не начался этот долгий пост, мы проводим время очень весело. Каждый вечер даются балы, иногда по *пять* одновременно. Вчера мы были на одном балу, сегодня удостоим внимания другой, в воскресенье — маскарад и каждый вторник — собрания[82]. [...]

Несколько дней назад я впервые в жизни каталась с ледяных гор, о которых вы могли прочесть в книге по истории развлечений в С.-Петербурге[83]. Это чрезвычайно забавно. Мы поднялись по меньшей мере футов на 80 по лестнице и здесь наверху увидели увитую зеленой хвоей прелестную беседку, от которой до самой земли тянулась ледяная дорожка, обсаженная деревьями. Гору полили водой, которая моментально замерзла, превратившись в совершенно гладкий лед. Ну, хорошо, давайте еще раз поднимемся в беседку и усядемся в кресло с каким-нибудь компаньоном. У кресла вместо ножек полозья. Человек на коньках, стоящий позади, толкает высокие санки и, направляя их, катится вместе с вами. Вы стремительно несетесь вниз, и, пока гора не кончится, остано-

виться невозможно. Мне кажется, ощущение при этом такое, будто летишь по воздуху как птица. По тому, что я спускалась семь раз, вы можете понять, насколько мне понравилось катание с ледяных гор. [...]

Быстро приближается весна, дни стали заметно длиннее; в течение восьми часов светит яркое солнце. Перемена климата почти совсем не оказала на меня влияния. Видали ли вы когда-нибудь такую стойкую скалу, как я?

Начала учиться играть на гитаре. Гитара у меня польская, струны у нее из кегута[84], а не из проволоки, как у английских. Уже выучила две-три песни, а это не так легко, хоть и кажется просто. [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

16-го [марта 1804 г.]

[...] Обедали у графа Пушкина, и после обеда мы с Анной Петровной в сопровождении графини Екатерины Пушкиной и мадемуазель Лицыной прокатились до Покровского и обратно. Выставить для обозрения экипаж, всевозможные украшения, туалеты etc — вот цель этой увеселительной поездки на масленице. Особенно блистали купчихи. Их головные уборы расшиты жемчугом, золотом и серебром, салопы из золо́тного шелка оторочены самыми дорогими мехами. Они сильно белятся и румянятся, что делает их внешность очень яркой. У них великолепные коляски, и нет животного прекраснее, чем их лошади. Красивый выезд — предмет соперничества. Покровское — небольшая деревня, и ездят туда либо на условленное *rendez-vous**, либо похвастаться *traineau*** etc. Мы обменивались поклонами и улыбками с проезжающими во встречных экипажах знакомыми. Прелестная графиня Орлова была единственной женщиной, которая правила упряжкой, исполняя роль кучера своего отца. Перед их экипажем ехали два всадника в алом; форейтор правил двумя, а графиня — четырьмя лошадьми. Они ехали в высоком, легком, чрезвычайно красивом фаэтоне, похожем на раковину.

Народу было множество, но полиция поддерживала полный порядок. [...]

19-го [марта 1804 г.]

Сегодня первый день великого поста, и в доме никто ничего не ест, кроме рыбы и овощей. Исключение делается для княгини, которая нездорова и слаба, и для меня, поскольку я пост не признаю. Рыбу готовят на всевозможный лад — начиняют ею маленькие *pates****, варят супы etc.

---

* Свидание (*фр.*).— *Пер.*

** Сани (*фр.*).— *Пер.*

*** Пирожки (*фр.*).— *Пер.*

23-го [марта 1804 г.]

Холодно необычайно, идет снег, и пронизывающий ветер разметает его в разные стороны. Упаковываем вещи для завтрашней поездки в Троицкое. Заезжали княгиня Маврокордато и господин Муромцев, обсуждали мой портрет etc. Почти семь часов княгиня Дашкова мучилась от ужасной боли в суставах. Добряк граф Санти дважды посетил князя Дашкова, который также нездоров, затем съездил к доктору Холлидею. После долгих уговоров княгиня согласилась, чтобы врач ее осмотрел; сейчас она приняла лекарство и заснула. Ее ужасные страдания тронули меня до глубины души.

24-го [марта 1804 г.]

Моей дорогой княгине сегодня лучше. Отъезд отложен до завтра. Колокола всех церквей радостно трезвонят в честь годовщины восшествия на престол императора и, возможно, по случаю избавления от тирании Павла. [...]

25-го [марта 1804 г.]

Готовимся к отъезду. После урока музыки я спустилась в гостиную, где было несколько визитеров, и узнала, что малютка Фиделька принесла двух крохотных щеночков. Я подумала, что поездку по этому случаю отложат или оставят собаку, но, к моему удивлению, княгиня решила ехать и берет любимицу с собой. [...]

29-го [марта 1804 г., Троицкое]

[...] Начала переводить на английский «Записки» моей дорогой княгини, она пишет их по-французски.

МИССИС ВИЛЬМОТ

Троицкое, 28 марта 1804 г.

Пока приходский священник в необъятной ризе и дьякон с двумя певчими в черных, как гагат[85], стихарях служили молебен перед иконой святого, чье имя значится в календаре 17-го марта по *старому стилю* (день рождения княгини) и который, следовательно, является ее покровителем в течение всей жизни, я на минутку забежала к себе, чтобы начать письмо моей дорогой Элизе. Но теперь приходится прерваться и отправиться в залу слушать церковное пение в честь дорогой княгини, которая, ручаюсь, в это время обливается слезами (их неизменно вызывает почти каждое богослужение, хоть клеветники и говорят, что она безбожница).

На этот раз княгиня молилась без слез, но с бо́льшим благочестием, чем многие из присутствовавших. [...]

В России нет религиозной вражды и дух терпимости таков, что даже неграмотные крестьяне, как бы по наитию, понимают, что у людей других национальностей имеются свои, не схожие с их собственными, религиозные обычаи, которые также угодны богу. Недавно я получила этому замечательное доказательство, о чем сейчас расскажу. За неделю до нашего отъезда из Москвы начался великий пост, во время которого всякая музыка, кроме духовной, считается недопустимой. Случилось так, что незадолго до поста я плохо подготовилась к уроку с гитаристом, а поскольку *Святая неделя*[86] была последними днями нашего пребывания в городе, мы с княгиней решили, что это время мне следует посвятить музыке. Софьюшка была потрясена, но после минутного размышления сказала: «*Etta pravida, Mavra Romanovna nie Ruskie*» («Это правда, Мавра Романовна не русская»), ведь она поняла, что́ грех в ее религии, в моей — не грешно.

У русских нет никакого особого ритуала воскресных дней. Карты, гости, балы и все другие развлечения протекают привычной чередой, дамы рукодельничают; даже открыты городские рынки и торговые лавки. Я сама начинаю привыкать к такому порядку и должна следить за собой, чтобы не позабыть наше старое доброе воскресенье, которое здесь дает так мало радости детям из низших классов и ни в чем не ограничивает тех, кто преуспел в жизни. [...]

3-го апреля [1804 г.]

Писать удается только урывками. Вы легко поймете, что наше уединение дает еще меньше досуга, чем прежде. Можно избежать толпы визитеров, но что делать, если мы с утра до вечера находимся втроем или вчетвером и каждой необходимо прогнать прочь *госпожу Скуку*. Мне никогда не удается побыть в одиночестве, не смейтесь, право, я вовсе не стремлюсь выдать себя за философа или карикатурного мудреца, но, как только я уединяюсь, приходят незваными мои дорогие дамы и прерывают начатые занятия.

Черт побери, зовут обедать!

4-го [апреля 1804 г.]

[...] Три дня назад княгиня сказала, что незадолго до нашего отъезда из Москвы, во время мучительно-болезненного приступа, продолжавшегося несколько часов, ей не раз приходило на ум, что если Всемогущему будет угодно лишить ее жизни, то я окажусь далеко не в таком материальном положении, как ей бы хотелось. Поэтому она презентовала мне тысячу фунтов стерлингов и распорядилась о выдаче мне еще одного пакета с суммой, предназначенной на оплату расходов на обратное путешествие etc. Нужно ли говорить, как глубоко тронули меня ее забота и нежность! Все нужные распоряжения она сделала в письменном виде. [...]

Сегодня княгиня преподнесла мне несколько небольших вещиц сибирской работы и другие мелочи, которые служат бо́льшим дока-

зательством ее доброго ко мне отношения, нежели упомянутый денежный подарок, ведь княгиня — страстный собиратель предметов естественной истории. При первой возможности перешлю некоторые из этих вещей: нож — Роберту, великолепный набалдашник для трости — батюшке (это княгиня посылает от себя), матушке — мой портрет, стоивший кучу денег, агатовое кольцо — Китти и еще одну-две безделицы, вся ценность которых заключается в том, что они придут от меня и принадлежали замечательной, дорогой, единственной княгине. [...]

Сейчас ранняя весна, снег и лед начинают таять, поэтому из дома мы совсем не выходим, хотя живем тут уже около недели. Читаю вслух княгине книгу, которую считаю одной из самых интересных и талантливо написанных.

Она называется *Nouveaux tableaux de famille*[87].

Событий в нашей жизни мало. Княгиня не совсем здорова и очень слаба. [...]

ДРУГУ

Троицкое. 9-го апреля 1804 г.

[...] Вы уже знаете из моего письма Элизе, что мы возвратились в Троицкое. Ехали мы в карете, наши *femmes de chambre* — в двух kibitkas, которые представляют собой деревянные экипажи, похожие на колыбель, где путешественники, разложив постели, спят во время зимних поездок. Княгиня Дашкова болеет со дня приезда, но это одна из тех счастливых натур, которые могут оправиться в один день от неделями длящегося недомогания. Анна Петровна говорит, что за последние два года княгиня сильно сдала. [...]

Я обещала вам описание дня, когда мы обедали с грузинским архиепископом и монахами в монастыре. С тех пор прошло много времени, но я должна сдержать слово. Начну с Кремля. Он расположен в самом центре Москвы на высоком холме и отовсюду хорошо виден. Его окружает стена в готическом стиле; войти внутрь можно либо через двое массивных ворот, либо по мостам, охраняемым солдатами. В Кремле находится старинный царский дворец, а на большой площади и поныне происходят коронации. В особом месте хранятся корона, держава, царские драгоценности etc. Бесчисленное множество соборов и церквей с золотыми и золочеными куполами и шпилями поражает своим азиатским обликом. С Кремлевского холма открывается величественный и живописный вид на реку, на огромный город и его окрестности. Дворцы, золоченые шпили дальних церквей, бескрайние сосновые и смешанные леса очень украшают ландшафт.

Грузинский архиепископ пребывает в Чудовом монастыре[88].

Тревожное положение на родине вынудило его и нескольких членов царской семьи искать убежище в России, где эмигрантов встретили очень сердечно. В Грузии архиепископами и епископами

могут быть исключительно лица царского происхождения, и чин их следует сразу после монарха. Наш знакомый такое высокое положение занимал всего несколько лет назад. Теперь он — частное лицо, но благодаря своим достоинствам, скромности и добродетелям здесь он пользуется таким же уважением, право на которое на родине ему давал сан. Это делает русским честь.

Архиепископ встретил нас у дверей своей комнаты. Я еще не встречала человека столь благородной внешности; лицо его выражало подлинную благожелательность. Он всех нас благословил, мы приложились к его руке. Он представил княгине, Анне Петровне и мне своих родственников: князя, его жену и тетку. Женщины говорили только по-грузински; молодой, необыкновенно красивый князь знал русский и, смущаясь, переводил простодушные приветствия своей жены, к которой был чрезвычайно внимателен. Княгиня Дашкова обратила внимание на то, как на выразительном лице князя отражались все его чувства. Тонкие черты юной княгини говорили о природной красоте, но она сильно красилась (по обычаю своей страны), под слоем румян совершенно терялась прелесть ее прекрасного лица, и мы видели перед собою лишь неподвижную безжизненную маску.

Грузинская одежда очень своеобразна и, по-моему, некрасива. Молодая женщина лоб закрывает челкой, на уши спускает крутые локоны. На голове она носит расшитую золотом маленькую атласную шапочку с шелковой вуалью, спускающейся почти до земли. [...] Архиепископ был в черной рясе, высоком клобуке с длинным покрывалом. На груди у него висели образок, оправленный в великолепные бриллианты, и крест, в руках — четки из черного янтаря. Его величественная фигура, благородные манеры и лицо доброжелательного, любящего отца меня совершенно очаровали, и я почти забыла, в каком обществе нахожусь.

На обед подавали рыбу различных сортов во всевозможных видах, мяса не было вовсе.

Присутствие монахов, окружение архиепископа, его естественность, простота в обращении и радушие представляются полной противоположностью того, что принято называть светскостью. Одним словом, трудно передать мое впечатление. Беседа доставила нам огромное удовольствие, вызвала ощущение счастья, принеся настоящий душевный покой. Пользуясь их гостеприимством, разделяя с ними трапезу, мы, проникаясь их искренностью, чувствовали себя совершенно свободно, несмотря на то что изъясняться прямо не могли: приходилось прибегать к помощи *пятиязычного* перевода.

Всем очень понравился князь Дашков. Вообще, где бы он ни был — дома или за границей,— с первого же знакомства князь всюду становился любимцем людей самых различных слоев общества.

После обеда пили кофе с миндальным молоком, в пост не пьют ни молока, ни сливок.

Затем мы посетили собор[89], святые врата которого из чистого золота, почти такой же величины, как фасад нашего дома. [...]

12-го апреля [1804 г.]

Подумать только, я едва не очутилась на волосок от гибели. Всего через день я неминуемо бы стала жертвой *первоапрельских шуток*. Вы знаете, что в России календарь по сравнению с нашим отстает на 12 дней, следовательно, завтра 1-е апреля, и здесь этот день шуточных обманов отмечается с бо́льшим, чем у нас, увлечением. Тут вообще придают серьезное значение суеверным приметам, знамениям, гаданиям на картах etc. Подарки же дарят не только на день рождения, *именины* (jour de nomme), на пасху, но еще по сотне других поводов. [...]

13-го [апреля 1804 г.]

Утром княгиня получила известие из С.-Петербурга, что император решил заплатить некоторые из ее долгов[90]. Посему она в виде *первоапрельской шутки* положила нам с Анной Петровной под кофейные чашки по сто рублей. [...]

МАТЕРИ

Троицкое. 24-го апреля, 1804 г.

[...] Теперь Вы должны сказать adieu балам, маскарадам, бриллиантам, жемчугам, рубинам, звездам, орденам, титулам etc. Чем же я буду оживлять свои письма? Мне придется описывать свежесть журчащих ручьев, высоту синих гор, великолепие луны и звезд (не упоминать о красоте которых, хотя бы изредка, просто невозможно), разноцветие гвоздик и маргариток. Для полноты картины и придания ей живости мне следует представить вашему мысленному взору юное существо — прекрасную Фемиду. От роду Фемиде 4 недели и 2 дня, величиной она с лист писчей бумаги, эбонитово-черная с белым жабо, над каждым глазом по коричневому пятну, несколько таких же пятен на тельце; щенок этот — образец совершенной красоты. Княгиня с ним не расстается, кормит изо рта и умирает от страха, что я нечаянно уроню щенка, стоит мне только к нему прикоснуться. По любви к животным вы с княгиней схожи как сестры; она пришла в восторг, когда я об этом сказала. [...]

Не помню, приходилось ли мне упоминать о русских банях. Я мылась вчера вечером, и, если есть желание, это можно проделывать дважды в неделю. Чтобы дать вам представление о здешних банях, скажу, что это точная копия той, что мы посещали в Бате[91] за 5 шиллингов. Однако настоящая русская баня немыслима без горячего пара, в котором я не могу пробыть и полминуты, а несчастные русские парятся по полчаса и по часу, пока не откроется каждая по́ра. Распарившись, сильные мира сего ложатся отдыхать в постель, приготовленную в соседней жарко натопленной комнате, а простые люди прямо из парной прыгают в снег. Бани бывают

парные и водяные, где холодная и горячая вода течет по двум трубам и наполняет большие банные ушаты. Я предпочитаю баню водяную. В России мытье в бане почти религиозная церемония, и пусть тысячи языков злословят, что русские нечистоплотны, скажу, что, насколько я могу судить, низшие сословия по чистоплотности превосходят наши. [...]

У наших народов поразительно много общих черт. Разговаривая с барином, русский крестьянин обязательно почешет голову, точно как Пэдди[92], когда тот говорит свое обычное: «Пожалуйста, ваша честь». Очень сходны воскресные развлечения у дверей своего жилища, да и музыка похожа. Вы знаете, настоящая ирландская мелодия славится тем, что заключительная нота тянется как можно дольше и песня заканчивается этой нотой, но октавой выше. Здесь подобное исполнение также является доказательством мастерства. Напев русских песен необычайно жалобный и тоскливый.

Веселость, безусловно, не в характере народа этой страны. Выражение лиц, музыка, танцы — во всем видна *pensieroso**. В целом русские очень привлекательны (речь идет только о низших классах). Что же касается высших, то я решительно предпочитаю наших островитян. Поведение здешней знати пронизано *раболепием*. [...] Они думают о себе, что прекрасно воспитаны. Не знаю, может быть, мой идеал хорошо воспитанного и вежливого человека слишком высок, только большинство людей не подходят к этой мерке. Что касается простолюдинов, они вступают в жизнь с угодливым и зависимым характером (хотя, возможно, характером это и не назовешь). Рожденные рабами, они не смеют и подумать о том, что можно отдаться какому-либо влечению, для них существуют лишь желания их господ. Однако выражения лиц, тон голоса (необычно мягкого и гармоничного) дают понять, что они *вполне чувствуют* свое зависимое положение. Есть много свидетельств живости их ума, им свойственны искренность и простодушие. [...] Но я также наблюдала, и это меня потрясло, как они целуют ноги своих господ, с притворной покорностью падая перед ними ниц. Однако обычай этот становится все более редким. [...]

28-го [апреля 1804 г.]

Софьюшка моя сейчас занята работой, угадайте, какой? Она шьет мне крестьянское платье из ярко-красной нанки[93], какие носят в Калужской губернии. С таким платьем нужно носить толстую косу, которая заплетается сзади и завязывается на конце лентой, и множество бус, а пальцы унизать кольцами. При случае я рассчитываю отправить его домой и удивить всех оригинальностью фасона. Оно может послужить великолепным маскарадным костюмом. Для вас у меня есть маленькая коробочка с черепаховыми фишками для карт, и мне страстно хочется переслать ее, как только представится возможность. [...]

---

* Задумчивый (*ит.*); зд.: меланхолия.— *Пер.*

Хочу описать вам религиозный праздник, который я видела на прошлой неделе. Это было вербное воскресенье. Мы поднялись около 5 часов, чтобы присутствовать на заутрене в церкви, между прочим, очень красивой[94]; она находится в двух-трех сотнях ярдов от дома. Собралась толпа крестьян. Читался отрывок из Евангелия, где описывается торжественный въезд нашего Спасителя в Иерусалим. В какой-то момент службы, которую я, конечно, не поняла, священник благословил и окропил святой водой заранее приготовленные охапки веток. Тотчас же народ бросился и разобрал зелень, и минут через пять несколько сотен человек, бывших в церкви, стояли с ветками и зажженными свечами. Мне ветку вручил сам священник, я поцеловала ему руку. После окончания службы все погасили свечи и стали класть их перед иконами святых (во всех церквах множество икон). Помазав лоб освященным маслом и осенив себя крестным знамением, народ разошелся. Ветки прихожане взяли с собой, чтобы по дороге домой похлестать ими друг друга на счастье. Надо сказать, Софьюшка стегала меня весьма старательно.

На этой неделе каждый день утром и вечером приходит священник с дьяконом и певчими читать молитвы. Никто не ест мяса, а госпожа Исленьева не позволяет себе даже рыбу. Княгиня не может выдержать такой строгий пост, поэтому мы с ней совершаем грех и заказываем, что пожелаем (исключая сегодняшнюю среду и приближающуюся Страстную пятницу). Разнообразие постных блюд неописуемо, сегодня их было 23. [...]

ОТЦУ

Троицкое. Мая 5-го дня, 1804 г.

[...] У нас предпраздничная суматоха — чистка, мытье; украшаем шляпки, отделываем оборками платья; готовятся печенье, рагу, соусы. Маслобойки сбивают масло, бочонки наполняются пивом. Перешептывание, подмигивание etc. И вы думаете, это все! Нет, но я не выдам деревенские секреты раньше времени, не обольщайтесь. [...]

11-го [мая 1804 г.]

[Рассказ о пасхе] начнем с 10 часов субботнего вечера. Я отведу вас в церковь, чтобы вы смогли увидеть иконы. Служба ничем не отличалась от обычной (княгиня не присутствовала на всенощной). По окончании ее все стали дарить друг другу пасхальные яйца — расписные, резные, крашенные в различные цвета. Мне уже приходилось упоминать о русском обычае постоянно делать подарки — в некоторых случаях они просто обязательны. «Яйцо», подаренное мне княгиней, это два бриллианта, которые я буду носить в серьге будущей зимой (по здешней моде, ходят с одной сережкой). При подношении дара говорят по-русски: «Христос воскресе!»

На это говорится: «Воистину воскресе». Произнося эти слова, даже бедняк-крестьянин имеет право поцеловать руку любому важному лицу (хоть самому императору), и отказать никому нельзя.

Однако вернемся в наш зал в Троицком, где все слуги одарили нас пасхальными яйцами, получили подарки, перецеловали нам руки etc. Давайте съедим наш ужин и станем ждать священного часа *полуночи*. Вот сельские часы пробили 12, и заблаговестили церковные колокола. Мы тут же отправились в церковь. Крестный ход уже начался: впереди священника, несшего библию, шли дьякон, певчие, несколько человек с иконами, восковыми свечами etc. Все были в необычайно богатых одеждах, и каждый пел: «Христос воскресе». Обойдя вокруг церкви, мы вошли внутрь, каждый держал зажженную свечу, что вместе со светильниками создавало в храме праздничную иллюминацию, конечно, более скромную, нежели в больших городах, где она неописуемо великолепна. После окончания службы все (кроме меня) подходили целовать образ, после чего священник поцеловал каждого прихожанина (по меньшей мере *три сотни душ*). Я не стала дожидаться конца церемонии и вскоре ушла домой, утомленная безгранично.

С 9 часов празднество возобновилось. Но еще раньше моя Софьюшка, проведя целый час перед зеркалом, отворила ко мне дверь и вошла... рыжая, как осенний лес, когда ветер шуршит по сухой листве. Она предложила *Мавре Романовне* завязать пояс, причесать ее, а заодно и спросила мнение о выборе ожерелья на утро (украшение меняется трижды в течение дня). [...] Если бы Софья так немилосердно пышно не завивала волосы, я бы, не колеблясь, признала ее первой красавицей в селе. Вы, конечно, догадываетесь, что я тоже принарядилась. [...] Следуя совету Жеркова[95], я, по погоде, накинула легкую муслиновую шаль.

Жерков, высокий худой мужчина, поджидал меня, чтобы провести в церковь через отдельный вход, дабы избежать толпы. Вскоре мы присоединились к княгине и Анне Петровне.

Я не приметила ничего необычного, кроме огромного сдобного хлеба и высящегося горой творога с крестом на вершине. Через четверть часа после нашего возвращения домой княгиню позвали в зал, где священник вручил ей хлеб, называемый «кулич», и творог, называемый «*пасха*», которые он заранее благословил. Княгиня разрезала кулич и пасху, капельку съела сама и оделила священника и слуг. Одним словом, все разговелись куличом и пасхой, а до того никакой силой никого нельзя было уговорить преступить какой-либо из запретов длящегося 7 или 8 недель великого поста: выпить молока, съесть яйцо или мясо, спеть или потанцевать. Затем последовало пиршество. Кофе со сливками, хлеб с маслом и все-все, что только может быть возложено на алтарь желудка, было подано к столу и съедено. Обед начался в 12 часов, и уже часа через три десяток человек были столь веселы, что угодили бы самому Бахусу. [...]

Мне кажется, в деревнях много есть и пить — главное занятие на праздники. Этому платит дань и мой приятель Жерков, который

просто-напросто *объедается*. У него легкое недомогание, но это настолько обычно, что никто не обращает внимания. Женщины как существа нежные в еде умереннее. Они больше танцуют. Мне еще ни разу не приходилось видеть пляшущего мужика и мужчин, танцующих с женщинами. Примечательно, что танцуют либо две замужние женщины, либо две девушки, каждая пара по-своему, и они никогда не соединяются в одном танце. Деревенские пляски сопровождаются пением, 20—40 человек (количество не имеет значения) становятся полукругом, и одни поют, другие танцуют. Зрелище для меня новое и интересное, но, говоря откровенно, это не похоже на веселую картину развлечений. Напротив, независимо от настроения участников, в их радости есть что-то грустное.

ИЗ ДНЕВНИКА

7-го [мая 1804 г.]

Вечером читали письма императрицы Екатерины к княгине Дашковой. Большинство их писалось в то время, когда та была еще великой княгиней. Письма носят дружеский характер и написаны легко и изящно. Стиль посланий Екатерины-императрицы изменился: сохранились внешнее уважение и предупредительность, но фразы стали более осторожны и церемонны. [...] Переписка велась по-французски[96]. [...]

10-го [мая 1804 г.]

После ужина княгиня рассказывала о Павле I, о том, как он подозревал жену, сына и вообще всех и каждого; о его постоянном страхе и мерах, какие он предпринимал для обеспечения безопасности своих апартаментов. У императрицы Екатерины, наоборот, имелась лишь небольшая наружная охрана. [...] Не было ни одной попытки проникнуть во дворец. Павла же, при молчаливом сочувствии почти всего Петербурга, безжалостно убили в его спальне. Таково последствие его страшных жестокостей. [...]

20-го [мая 1804 г.]

[...] Мы с Анной Петровной просидели у княгини до 2-х часов ночи. Как обычно, разговор вращался вокруг дворов, придворных etc. Княгиня была очень оживлена. Она рассказала несколько анекдотов о Петре Великом, которого не любит.

Проявление власти тирана по отношению к юному Татищеву (представителю знатного рода) может вызвать только презрение. Татищев служил камердинером при императоре[97]. Среди прочих его обязанностей была забота о доставлении мягкой бумаги в царский клозет. Как-то он упустил из виду свое почетное поручение и признался в своей забывчивости: «Как это ты забыл? — вскричал

Петр Великий.— Я проучу тебя, дабы впредь память твоя была *получше*. Дай твой парик». И великодушный монарх употребил его с низменной целью, а затем приказал дрожавшему за жизнь юноше следовать за ним на ассамблею, откуда они только что ушли. Там бедняге пришлось испытать новое унижение: некоторые гости тактично отворачивались, а угодливые придворные отпускали язвительные шуточки и называли его парик *вершиной славы*. И только убедившись, насколько серьезен гнев императора, они поняли, что несчастный Татищев едва-едва избежал кнута или пытки (случалось, что царь собственноручно пытал жертву), а может быть, даже любимой потехи Петра — *отсечения головы*.

Бывало, что в приступе гнева Петр избивал невинного человека, и, если тот рисковал *оправдываться*, император говорил: «Ладно, негодяй, когда в другой раз заслужишь порку, напомни, что ты ее уже получил, и мы будем квиты»[98]. Известно, что свое слово в подобных случаях царь сдерживал.

Петр посылал за границу знатных дворян для изучения разного рода *ремесел, садоводства, плотничьего дела*, что, как справедливо заметила княгиня, едва ли отвечает понятию просвещения нации, которую он хотел превратить в пассивное орудие своей власти.

ОТЦУ

[Троицкое] 30-го мая нов. ст. 1804 г.

[...] Мне неловко посылать вам письмо княгини без некоторых сокращений[99] (ее похвалы, как вы знаете не хуже меня, значительно превосходят мои достоинства), но, говоря без жеманства, я от души благодарна ей за искренность чувств. Нет дня, который не был бы отмечен проявлением ее доброты и нежности, и я, безусловно, с радостью принимаю столь непритворную дружбу, которой ничем не заслужила.

Вчера отправила вам письмо. Вообще-то я послала их много в течение веселого месяца мая, который истекает завтра. Все расцвело, и недолгие гости — соловьи — отщелкали свои трели. Времена года здесь сменяются быстрее, чем у нас, и иностранец с удивлением наблюдает, как происходит переход от снежной зимы к зеленому лету.

Мечтаю, что в 20-х числах июня мы отправимся в Польшу, но, как бы я ни восторгалась мыслью о путешествии, уверяю вас, что буду сожалеть о маленькой *chambre de toilette**, соловьях, цветущих апельсиновых и лимонных деревьях, о фруктах, созревающих как раз в это время, и о тысяче других приятных мелочей, которые мы покинем. [...]

---

* Туалетная комната (*фр.*).— *Пер.*

ИЗ ДНЕВНИКА

Воскресенье, 2-го июня [1804 г.]

Сегодня мы обедали в деревне Гостешево у патриарха села, богатого крестьянина, семья которого разрослась до 34 человек, и все они каждый день садятся за общий стол. У крестьян в обычае жить *вместе*. Поскольку свое богатство они зарабатывают собственным трудом, возделывая землю, которая у них в изобилии, многочисленные семьи становятся более состоятельными. Один или двое сыновей отправляются в город торговать. Выращивая хлеб, mujiki (крестьяне) продают его в Москве небольшими партиями, но в больших количествах. На право торговли крестьяне обязаны получить разрешение от магистрата и паспорт от своего господина[100]. Семья крестьянина Сорокина увеличилась настолько, что ей пришлось покупать много земли, причем купчая совершается на имя помещика[101].

[...] В деревне мы видели много довольных лиц. Это одна из шести окрестных деревень, которые называются: Катериновка, Павловка, Гамильтон, Воронцовка, —[102] и Гостешево. (Несколько селений княгиня выстроила в своих польских владениях.) Не раз в течение дня, обливаясь слезами, она говорила с искренним восторгом и воодушевлением, столь для нее естественным, о том, как счастливы ее подданные.

Княгиня собрала группу женщин, которые танцевали и пели свои деревенские песни.

Домой мы возвращались через деревню Гамильтон[103], которая расположена очень красиво. Там растет даже и несколько дубов, но они слабые, прижились плохо. [...]

4-го [июня 1804 г.]

[...] Слышала анекдот об императрице Анне. Она была очень привязана к одной из своих фрейлин. Эта знатная дама дала обет побывать на службе и исповедоваться в соборе при крепости[104]. (NB — в соборе находится усыпальница русских царей, начиная с Петра I.) Императрица разрешила фрейлине отлучиться и, будучи в веселом расположении духа, отдала приказание коменданту крепости: оказать гостье всевозможное внимание, пригласить к завтраку, показать крепость, а затем отвести в тайное помещение и именем *правосудия* подвергнуть ее *легкой порке*. Все было исполнено по приказу ее величества, и, согласно правилам крепости, фрейлине дали подписать обязательство хранить все происшедшее в *глубокой тайне* (под страхом ссылки в Сибирь или даже смертной казни). Императрица же в течение нескольких недель развлекалась тем, что спрашивала у своей любимицы, хорошо ли ее принимали в крепости, не хочет ли она посетить ее снова etc, понимая, что несчастная графиня не решится рассказать о своем приключении, хотя стыдиться следовало бы не ей, а самой государыне. Вот каковы были шутки великих мира сего. [...]

11-го [июня 1804 г.]

У нас обедали госпожа Нарышкина[105] с дочерью и графиня Евдокия Воронцова. После их отъезда приехали погостить несколько дней вдова Небольсина, граф Ростопчин (бывший канцлер) и господин Муромцев. Красавица вдова ничуть не напоминает ту женщину, что мы оставили в Москве, ее душевные силы возродились. Граф Ростопчин — человек весьма приятный, господин Муромцев очень занимателен, иногда делает сатирические замечания. Однако постоянное смешение французского языка с русским мешает мне получать удовольствие и от половины ведущихся разговоров, поскольку русский, которого я не понимаю, употребляется постоянно. Многие иностранцы жалуются на то, что не могут понять до конца содержание беседы, ибо, когда они проявляют интерес к разговору, собеседники вдруг с французского переходят на другой язык (большинство *хорошо образованных* людей говорит на любом из пяти). Жаль, что весь мир не говорит на одном языке.

12-го [июня 1804 г.]

После завтрака *в гостиной* долго беседовали. Граф Ростопчин произвел чрезвычайно хорошее впечатление. Обед прошел весьма приятно: граф был моим соседом, мы разговаривали по-английски и по-французски. Он бывал в Англии и шесть недель провел в Бленеме[106]. [...]

23-го [июня 1804 г.]

[...] Ходили в церковь по случаю большого праздника — дня святой Троицы, в честь которой названы и церковь, и село. В руках у всех были букетики цветов, во время трех длинных молитв все стояли на коленях. На этой торжественной службе молились о хорошем урожае [...]

24-го [июня 1804 г.]

Пакуем вещи для поездки в Круглое.

МАТЕРИ

Июня 29-го, 1804 г. Катова.

Вот я написала слово «Катова». Как вы думаете, леди и джентльмены, что это за городок? Чтобы не заставлять вас долго ломать голову над сим вопросом, сразу раскрою тайну других миров и скажу, что Катова — нечто похожее на небольшую деревню с деревянными домами, тремя-четырьмя церквами и хорошенькой речушкой, а кругом, насколько хватает взгляда, раскинулись леса. Таковы почти

все те селения, где мы останавливались, начиная с 25 июня, дня нашего отъезда из Троицкого.

Круглое. Июля 5-го [1804 г.]

Дорогая, любимая матушка, в дороге я вас не забывала, и первые строки моего письма служат доказательством того, что это правда. Здешний способ путешествовать не слишком-то рассчитан на ведение дневника, как вы увидите сами из рассказа о нашей первой остановке. Мы зашли в крестьянский дом, состоящий из одной пустой комнаты, куда добрый сосед принес стол и несколько стульев. По стенам, конечно, стоят лавки, но вся семья спит *на печи.*

Вам интересно узнать состав нашего каравана. Он не менялся со времени выезда из Троицкого. Сразу после молебна тронулась повозка, на которой ехали дворецкий с двумя поварами и были нагружены кухонная утварь, провизия и стол. Кухню отправили на час раньше, чтобы повара успели найти место, развести огонь и приготовить обед. За первой повозкой ехали две телеги побольше, на них везут разного рода поклажу, среди прочего — сундук, который, раскрываясь, превращается в кровать с постелью, подушками и всеми удобствами для ночлега княгини; *à propos**, в жару княгиня днем отдыхает, а то и спит. Далее следуют три кареты. В английской едут княгиня Дашкова, Анна Петровна, Фидель, Фемида и ваша покорная слуга, в *linée* (она похожа на длинный четырехместный двухколесный экипаж, но здесь на 4 колесах, шестиместный, имеет подобие крыши и занавески от дождя) разместились три девушки, в другой линее — еще две. Как устроились мужчины, одному богу известно. Короче говоря, три дамы, пять горничных, 14 choloviks (слуг-мужчин), 27 лошадей и три собаки прибыли в вышеупомянутый дом.

Обед был очень хорош. Его подавали на серебряной посуде: тарелки, ложки, стаканы для вина etc — все из серебра. Я не могла представить, что в дороге возможна такая великолепная сервировка — посуды, уложенной в небольшой сундук, хватило, чтобы 6—7 человек обедали, как на изысканном пиршестве: со сменой тарелок, салфеток etc.

Когда настало время спать, мы с Анной Петровной отправились в помещение вроде сарая, где наши постели взгромоздили на лавки. Княгиня спала в сундуке, превращенном в кровать. Почивали хорошо; в 5 часов утра тем же порядком отправились в путь. Путешествие в этот день было прекрасным, окрестности тут богаты лесами, на полях волнуется уже почти созревшая тучная рожь.

На ночь остановились в помещичьем доме. Хозяин был в отъезде, но мы воспользовались русским гостеприимством, по закону которого любой знакомый может навестить дом. Слуги княгиню знали, и для нас были открыты все комнаты, приготовлен прекрасный ужин, на десерт поданы персики, сливы, дыня и клубника. На следующее

* Кстати (*фр.*).— *Пер.*

утро, выпив кофе и чая, мы продолжали наш путь; обедать остановились на постоялом дворе; поспав в самую жару, часов до пяти, двинулись дальше. Не хочу переносить вас в каждую деревню, в каждый постоялый двор, где мы останавливались; достаточно сказать, что все они с небольшими видоизменениями походили на первое наше пристанище [...]

Очень сожалею, что путешествие подходит к концу. В конце первого дня вступления на землю *Белой России*[107] мы переправлялись через Днепр на *плавучем мосту*, с которым вы уже знакомы. Смело погрузив на плот кареты и лошадей, мы сели сами (княгине неизвестно значение слова «страх»). Однако переправа едва не обошлась нам дорого. Не успел еще плот достичь противоположного берега, как одна из лошадей испугалась, дико заржала и бросилась в воду, увлекая за собой форейтора и всю упряжку. Кучер, сидевший на передке, натягивал вожжи. К счастью, он был так силен, что смог удержать лошадей, пока не обрезали постромки. Тогда форейтор и две освобожденные лошади поплыли к берегу. Кучер отделался одним или двумя синяками [...]

Остановились в небольшом городке, называемом Орша. На следующее утро посетили несколько монастырей, их здесь множество, один иезуитский очень богатый и помпезный [...]

В конце дня 4-го июля мы прибыли в Круглое, где теперь и находимся. Эта хорошенькая веселенькая деревенька приносит княгине, между прочим, ежегодно 2600 рублей.

Довольно долго рассказывала я разные разности о нашем десятидневном путешествии, а теперь хочу спросить, есть ли какие-либо известия о крестьянском платье, которое я переслала из Москвы в Петербург накануне отъезда. Портрет etc были посланы раньше. [...]

Кстати, как в России, так и тут любое поместье — это деревня вроде Ньюмаркета[108], расположенная в некотором отдалении от господского жилища, которое может быть даже скромным деревянным домом. Обитель княгини тоже деревянная, но хорошей постройки и чрезвычайно светлая.

На этот раз adieu, моя всегда любимая матушка.

11-го [июля 1804 г.]

Видите, сколько времени прошло, прежде чем представился случай послать вам письмо. А все потому, что город Могилев, где имеется почта, находится от нас в 50 верстах и в течение нескольких дней туда никто не ездил.

На недавно прошедшей ярмарке мы делали бесконечные покупки. Мне хотелось приобрести для вас *гостинец*. Здесь очень красивые муслиновые шали, похожие на турецкие. Настоящие же турецкие шали для меня слишком дороги, они стоят не меньше 200—300 рублей. Княгиня накупила массу вещей. Во время ярмарки нам представилась прекрасная возможность наблюдать народные танцы etc. Они гораздо живее русских. Видела я и старого знакомца — музы-

канта-волынщика, вокруг которого обычно собираются 6—8 пар *девушек и парней*, которые танцуют так весело, что сердце радуется. Играют тут также на скрипках, цимбалах etc. Народ кажется беднее, чем в России; в выражении некоторых лиц проглядывают озабоченность, забитость и убожество, но стоит заиграть музыке, как все забывается, радость и веселье продолжаются до тех пор, пока скрипач, цимбалист и волынщик не клюют носом, задремывают и, наконец, глубоко засыпают.

Стоит невообразимо знойная погода.

Сегодня у нас были визитеры: губернатор Могилева, человек весьма благовоспитанный, госпожа Черемисева, а также господин Балк с женой и двумя сестрами — все они люди чрезвычайно приятные. Гости проведут у нас два дня. Княгиня договорилась с ними, что приедет в Могилев через 4—5 дней. Там мы осмотрим все самое интересное, посетим окрестности и будем на балу, который дает губернатор.

Adieu, моя самая-самая любимая матушка. Княгиня Дашкова настоятельно просит засвидетельствовать уважение и передать дружеские приветы. Анна Петровна умоляет не забыть и ее. [...]

МАТЕРИ

[19 июля 1804 г. Могилев]

Сегодня прекрасный вечер, пятница, правда, не знаю, которое число, мы собираемся на бал к губернатору, где я буду скакать, как веселый кузнечик. [...]

Думала, у меня будет время писать чаще, но даже тут нет ни минуты свободной. Ничего не стану говорить о том письме, что вы прочтете на обороте этого листа, но, полагаю, оно доставит вам во всех отношениях большое удовольствие[109].

Милая княгиня разрешила написать, что не возражает, чтобы вы прислали мне пару новых книг. Думаю, что самым подходящим подарком *ей от вас* будет «Замок Рэкрент» или «Сын фермера»[110], а может быть даже (скажу по секрету) какой-нибудь роман! Да, роман![111]

А теперь, дорогая мамочка, порвите и сожгите этот листок, я знаю, вам захочется показать соседям письмо нашей дорогой княгини на столь живом, хоть и ломаном английском, но примите во внимание, что английский она знает хуже других пяти языков.

Adieu. Да хранит вас господь, моя дорогая-дорогая матушка.

МИСС АННЕ ЧЕТВУД

Круглое. 7-го августа нов. ст. 1804 г.

[...] Теперь мы с княгиней tête-à-tête*, потому что Анна Петровна уехала на две недели к отцу — генералу Исленьеву[112],

* Вдвоем (*фр.*).— *Пер.*

который находится в Минске, что в 200 верстах от Круглого. Я так привыкла к *ее превосходительству* мадемуазель Исленьевой (все сыновья и дочери генералов носят титул *превосходительство*), что ее комната, смежная с моей, ее сундуки, кровать, стол, стулья etc, словно memento mori*, и нет ничего удивительного, что душой моей овладела меланхолия. Милая княгиня чувствует себя плохо, меня окружают люди, чей язык я не понимаю. В общем, все наталкивает меня на мысль, что нужно заниматься грамматикой и учить слова по 12 часов в сутки.

Сегодня княгине гораздо лучше, она фактически выздоровела и, хотя еще слаба, завтра может стать сильной, как лев; короче говоря, страхи мои, слава богу, были недолги. [...]

[Круглое] 8 августа [1804 г.]

[...] Утро было занято покупками и приемом визитеров, явившихся представиться княгине.

Три атласных платья, сердоликовые серьги с жемчугом, медальон, обрамленный жемчужинами, — вот некоторые из подарков, сделанных мне княгиней. Из нашей компании она всем что-нибудь презентовала, каждая вещь вызывает восхищение, свидетельствуя о ее безупречном вкусе и благородстве характера.

На обеде у могилевского губернатора собралось большое приятное общество. Госпожа Бакунина[113] — маленькая, веселая, остроумная женщина, достаточно умная, чтобы собрать симпатичных людей и, насколько возможно, изгнать церемонии. Страстная любительница театра, Бакунина и сама проявляет актерский талант, быть может, не блестящий, но все же играет она очень хорошо. К тому же Бакунина обладает одним достоинством, чрезвычайно ценным для любительской сцены: она так глубоко входит в роль, что, если забывает реплику, без запинки передает смысл своими словами, и так искусно, что никто не замечает подмены текста.

Брат госпожи Бакуниной — полковник Кутузов — вылитый полковник Брэдфорд[114], он наделен тем же талантом, что и сестра. Губернатор — человек хорошо воспитанный и приятный.

Сразу после обеда мы возвратились в наш «замок» и, поскольку жара была непереносимой, все общество отдыхало не меньше часа. К 6 часам возвратились в губернаторский дом, переодетые для бала. Господин Бакунин проводил княгиню Дашкову в свой домашний театр. С большим воодушевлением и превосходно была сыграна пьеса «Les projets de mariage»[115].

Затем на открытом воздухе мы смотрели балет, в котором участвовали трое детей хозяина дома [...]

Бал был чрезвычайно веселым и приятным. Полковник, похожий на Брэдфорда, весьма любезен и мил. Он шутил со мной во время двух длинных полонезов, в которых танцующие ходят змейкой, это даже не танец, а просто délassement**.

---

* Помни о смерти (*лат.*).— *Пер.*

** Отдых, развлечение (*фр.*).— *Пер.*

Вас, наверное, интересует, что делала на балу княгиня Дашкова. Она играла в вист или бостон, и в конце каждого роббера дорогая, милая, добрая княгиня приходила взглянуть на меня [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

12-го [августа 1804 г.]

Сегодня утром в 10 часов мы *в линее* отправились за 25 верст посмотреть деревню и лес, принадлежащие княгине. Поездка была очень приятной. Глаз не уставал радоваться посевам и различным злакам на полях: белой гречихе, голубым цветочкам льна, зеленому гороху, пшенице, овсу. Местность здесь разнообразна, много лесов, в большинстве деревень высятся церкви, все вместе представляет собой самую живописную картину.

Немного прошли по лесу, чтобы понаблюдать, каким образом местные жители собирают мед диких пчел. Рой обитал на высокой ели, нижняя часть которой была совершенно гладкой, без сучков и веток — их обрубают, как мне объяснили, когда дерево еще молодое. В стволе, немного выше первых ветвей, долбится отверстие, которое затем почти целиком закрывается деревянным бруском. Обнаружив, что рой диких пчел заселил дупло, крестьяне готовятся собирать мед. Весьма любопытен способ, каким они влезают на дерево по гладкому стволу. Кто-нибудь из мужиков привязывает к себе что-то вроде сидения и обвязывает вокруг пояса длинную веревку, один конец которой он ловко перебрасывает через ветку и делает подвижный узел, оставляя петлю для ноги, что-то наподобие стремени. Устойчиво стоя в петле, он перебрасывает другой конец веревки. Так, поочередно перевязывая узлы то на одном конце веревки, то на другом, сборщик меда поднимается все выше, пока не достигнет первых ветвей. Здесь он останавливается и бросает вниз один конец веревки, к которому крестьянин, стоящий возле дерева, привязывает факел — горящую ветку, чтобы уберечь своего товарища от ярости диких пчел, готовых наброситься на похитителя меда. Факел прикрепляется к сидению. Затем тот же помощник отправляет наверх топор, с помощью которого открывается «дверь» дупла. И наконец, наверх поднимается деревянное ведро для меда. Познакомившись с этой любопытной и искусной выдумкой (мы ушли, когда вниз была спущена бадья с медом и спустился сам добытчик), мы поехали в деревню Илкавич, сначала зашли к церковь, а затем в дом, где для нас был приготовлен обед. [...] Побывали также на ферме — там прекрасный амбар, замечательная рожь etc.

Чрезвычайно приятно проведя день, поехали в Круглое, куда прибыли только к ужину.

19-го [августа 1804 г.]

Утром я проснулась, услыхав, что Анна Петровна вернулась из Минска. Она в восхищении от поездки, привезла мне маленькое колечко. О, как я не люблю получать подарки!

Как только мы напились кофе и Анна Петровна рассказала все новости etc, снова поехали в Илкавич. [...]

25 [августа 1804 г.]

[...] В настоящее время княгиня очень усердно пишет свои «Записки», и я с удивлением наблюдаю, с какой быстротой она продвигается вперед. Вот она ведет долгие расчеты со своим старостой, затем напишет полстраницы, потом начнет улаживать ссору между двумя крестьянами, и снова — за перо. Ни на минуту не остановится она, чтобы обдумать, что хочет сказать или как лучше построить предложение. Каждое слово ложится на бумагу так же естественно, как ведется обычный разговор; каждое событие, о котором она вспоминает, воспроизводится *точно и нужными словами*. Грешно было бы скрывать от публики происшедшие в ее жизни замечательные события и истинные ее чувства, часто представляемые в ложном свете [...]

26-го [августа 1804 г.]

Сегодня праздник успения богородицы. По этому случаю мы ходили в деревенскую церковь, а затем на *linée* (княгиня, Анна Петровна и я сидели с одной стороны, а nivesta («невеста») Катенька — с другой) отправились на праздник в соседнее село. Народ с утра идет в церковь, а потом собирается на гумне или на улице, где поют, танцуют, закусывают и пьют водку, которую тут гонят в больших количествах (в Круглом это занятие приносит значительную часть дохода). Пьют много, делаются буйными. Это, конечно, плохо влияет на нравственность народа. Княгиня Дашкова уверяет меня, что во время каждого ее пребывания здесь от пьянства гибнет один, а то и несколько ее крестьян.

2-го [сентября 1804 г.]

Говорят, мадемуазель Сурмина скоро выйдет замуж. Конечно, она никогда не видела своего promis*, но *все равно* родственники уладят дело и придут к соглашению. Свадебное платье уже готово. По этому случаю Анна Петровна рассказала о существующем в небогатых семьях обычае готовить le dot** почти с рождения девочки. Приобретение свадебного наряда — весьма значительный расход, поэтому приданое готовят исподволь. Обязательно даются столовое белье, простыни и даже столовое серебро, кроме того, необходимы большое количество платья, постель и дорогая и великолепная мебель. Когда новобрачная собирается прийти в новую семью, все ее богатое приданое, драгоценности, кружева etc — уложено. Священник служит молебен, кропит святой водой

* Жених *(фр.)*.— *Пер.*

** Приданое *(фр.)*.— *Пер.*

и благословляет собранные вещи, молодые женщины укладывают тюки, и все отсылается в дом жениха, вместе с подарками свекрови и членам семьи, которые поздравляют семью невесты и отвечают подарками примерно такого же достоинства [...]

16-го [сентября 1804 г.]

[...] Приезжали обедать губернатор Бакунин и господин Витетек. Первый принес радостные известия о том, что Россия открыто заявила о своих намерениях помогать Англии против французов, рассказал он и о планах создания Северной коалиции в составе Германии, Швеции и Дании[116]. Господи, пошли им успех [...]

26-го [сентября, 1804 г. Смоленск]

В 8 часов отправились на бал к губернатору, где собралось все смоленское дворянство. Бал открыла княгиня, а затем передала мне своего статного партнера — генерала Апраксина. После полонеза танцевали много контрдансов, было очень весело и приятно. Мне показалось, что среди девиц Смоленска меньше *лихорадочного волнения* по поводу демонстрации хорошего воспитания, чем среди московиток, которые хотят ошеломить вас, выставляя свое знание четырех или пяти языков, свои музыкальные способности и глубокие познания в великой танцевальной науке. Жительницы Смоленска более естественны и, я бы сказала, *лучше воспитаны,* поскольку налет застенчивости мешает, по крайней мере, тому отчаянному *любопытству,* которым грешит почти половина прекрасных девиц, знакомых мне по Москве. За ужином сидели только дамы, кавалеры слонялись вокруг. Княгиня попросила исполнить для меня русскую музыку, и военный оркестр сыграл несколько народных мелодий. У Анны Петровны болел бок, она не танцевала и развлекалась тем, что заставляла меня говорить по-русски с женой губернатора Смоленска, которая так похожа на гувернантку леди Лифффорд мисс Кэмпбелл, что я, следуя ее давнишним советам, невольно приподнимала голову и сидела с прямой спиной. Ради нашего развлечения княгиня оставалась на балу до половины второго, хоть бал не представлял для нее никакого интереса.

4-го [октября 1804 г.]

[...] Мы вернулись в Троицкое, где нас встречала половина деревни. Прежде всего зашли в церковь, священник отслужил благодарственный молебен, все приложились к иконам святых — хранителей домашнего очага. Затем слуги целовали руку княгини; с обитателями дома мы встретились очень сердечно. После обеда привели в порядок свои комнаты, и показалось, что мы вообще не покидали Троицкого [...]

28-го [октября 1804 г.]

Сегодня ясно и холодно. Княгиня уехала на дрожках, а я хочу посмотреть, чем занята моя маленькая девочка, которая с 1-го ноября должна перейти ко мне. Княгиня обещала *отдать мне ее насовсем,* дать ей вольную, и тогда она, если захочет, сможет уехать в Англию. *En attendant** я собираюсь заняться ее образованием и, коли смогу, сделать счастливой.

13-го [ноября 1804 г.]

[...] После ужина мы сидели дольше обычного, и не удивительно. Кажется, никогда не видела я княгиню столь обаятельной. Она беседовала с нами о религии, проявив необыкновенное величие мыслей и глубокую веру в Творца. Говорила она просто и убедительно, это была настоящая проповедь. Сила ее ума редко проявляется так обворожительно, ибо, как она сама сказала *откровенно,* ее почти целиком поглощают хозяйственные заботы. Сердечная доброта княгини постоянно находит применение, но вместе с тем одному из самых богато одаренных умов, когда-либо существовавших, выпал жребий пребывать в бездействии. Ей дано глубоко чувствовать, она сохранила столь безукоризненную память, что в прошлом для нее не существует туманных мест. Мысли, выраженные ею простым и ясным языком, звучат очень убедительно [...]

18-го [ноября 1804 г.]

Вечером приехала маленькая Пашенька, и княгиня объявила, что отныне она навечно *моя собственность*. Бедняжка. Но она никогда не испытает того, что понятие *собственность* я употреблю во зло. Напротив, я с радостью приняла власть, которую *смогу* использовать, чтобы дать девочке свободу или, если она ко мне привяжется, взять ее в ту часть света, куда отправлюсь сама. Теперь я считаю себя ответственной за счастье и благополучие своего ближнего. Дай господи, чтобы я смогла хорошо исполнить свой долг. Пашенька сказала, что ей пошел 11-й год, дать же ей можно не больше 9.

19-го [ноября 1804 г.]

Пашенькина радость от новых платьев была недолгой. Она сказала мне, что ей здесь *ochin soushna* (очень скучно) и что она хочет вернуться домой. Я обещала отпустить ее вечером навестить маму. Это осушило ее слезы, и она стала повторять со мной алфавит. [...] Несмотря на то что все стараются развлечь Пашеньку, она продолжает плакать, мне видеть это мучительно тяжело, и я начинаю опасаться, что сделать ее счастливой, надежда, которой я себе льстила, — не осуществима. [...]

---

* Пока, покамест *(фр.).— Пер.*

25-го [ноября 1804 г.]

Сегодня княгиня чувствует себя лучше, чем в последнее время. Роясь в бывшей своей комнате на втором этаже, она нашла очень изящную китайскую чашку с блюдцем и к ним *дорожный футляр.* Все это она отдала мне с удовольствием, которое она обычно испытывает всякий раз, когда ей попадается вещь, полезная или приятная мне, по ее мнению. Разыскала она также дневник, который вела во время путешествия по Англии, и перечитала его с большим интересом, радуясь встрече со старым другом. Интересно, получу ли я через несколько лет такое же удовольствие, читая страницы, которые сейчас мараю!

Бедная Пашенька постоянно плачет, и я начинаю сомневаться в *своем праве* удерживать ее. Если она не перестанет лить слезы, я, безусловно, отправлю девочку к маме, хоть и знаю, что княгиня будет этим чрезвычайно недовольна. Нарядные платья, куклы etc не могут заменить ребенку потерю душной жалкой хижины, где она свободна и в самый холод может отправиться бегать по улице. И конечно, чужие люди не могут заменить мать. Анна Петровна ходила со мной на переговоры с Пашиной матерью, чтобы выяснить, хочет ли *она* взять дочь назад или сумеет ее подбодрить. Мы не пришли ни к какому определенному решению, однако ситуация представилась мне по-новому, и, знай я об этом раньше, наверняка бы не согласилась взять Пашу.

Крестьяне не хотят принимать во внимание преимущества положения горничной и считают несчастьем, если ребенка забирают в господский дом. Мадемуазель Исленьева однажды попробовала взять себе шестнадцатилетнюю девушку. Та ежедневно проливала потоки слез, и, наконец, Анна Петровна вынуждена была отправить девушку под предлогом болезни. Через год она вышла замуж за бедного крестьянина и до сих пор радуется тому, что сумела избавиться от принудительной службы в *большом доме,* сознавая при этом, что хозяйка ее очень хорошая и добрая.

По своему положению мать Пашеньки не бедная. Муж ее находится в услужении у княгини. В поле она не работает и вместо рогатого головного убора носит платок[117]. Мне кажется, эта женщина с радостью отдаст дочь на попечение того, кто, как я, будет о ней заботиться. Мать казалась довольной, но я не могу допустить, чтобы девочка продолжала страдать, и не хочу испытывать ее слишком долго. [...]

28-го [ноября 1804 г.]

[...] Пашенька сказала, что она скучает уже не так, как прежде.

13-го [декабря 1804 г. Москва]

[...] Наша поездка в Москву прошла без каких-либо происшествий, достойных упоминания. [...] Мы приехали в 6 часов вечера. [...]

Дома было очень тепло и уютно. Князь Д[ашков] прислал чрезвычайно изысканный ужин [...]

25-го [декабря 1804 г.]

[...] Заходила ненадолго к Холлидеям, слушала музыку. Мне чрезвычайно нравится мисс Грейг[118]. Я была еще там, когда вернулся домой доктор Холлидей и рассказал об ужасно тяжелом происшествии, случившемся несколько дней назад. Господин Хейтрифф владел спиртовым заводом. Он, видимо, отдал несколько жестоких распоряжений, крестьяне восстали и бросили его в кипящий котел. [...]

28-го [декабря]

Решила серьезно изучать русский язык, тружусь как вол. Вчера вечером у меня был учитель, и я занялась нудным делом — учу грамматику: существительные, местоимения и глаголы.

Черт бы побрал вавилонское столпотворение!![119]

2-го [января 1805 г. нов. ст.]

Вскоре после обеда княгиня возвратилась в гостиную и послала приехавшего молодого графа Санти к библиотекарю за книгами. Она готовит для меня небольшую очень приятную коллекцию. Через полчаса книги принесли. Оказалось, добрейшая княгиня отобрала около 100 томов: пьесы Вольтера, сочинения Дидро, пьесы Флориана, Корнеля и Мольера, сочинения Делиля, произведения де Гриссе[120] etc. Эта прекрасная маленькая библиотека бесценна как *gage d'amitié** моей любимой княгини, чья доброта и нежность совершенно безграничны и составляют счастье моего теперешнего существования. [...]

11-го [февраля 1805 г.]

Княгиня обедала у брата, графа Александра Воронцова.

Только что она закончила писать очень умный, живой и насмешливый отзыв на статью по сельскому хозяйству[121], который должен быть опубликован в ежемесячном журнале! Несмотря на возраст она сохранила ясность и остроту мышления. Мне сказали, что по-русски княгиня пишет и говорит красноречиво и убедительно. Пишет она чрезвычайно легко. Сложность затронутых вопросов не затрудняет течение ее мыслей, так же как не мешают ей постоянные отвлечения на посторонние разговоры или дела. [...]

---

* Залог дружбы *(фр.)*.— *Пер.*

СЕСТРЕ АЛИСИИ

Троицкое. 17-го марта 1805 г.

Каков скачок! Да, мы снова здесь, и вроде бы ничего и не было. Ах, нет, последнее время большую тревогу вызывало состояние здоровья моей дорогой княгини. Теперь ей лучше, и я хочу поразвлечь самое себя описанием нашего злосчастного путешествия. Вам следует знать, что такое Россия весной и осенью, когда портятся дороги. Весною начинают таять 40, 50 или даже 60 футов смерзшегося снега, и можно вообразить последствия этого! Ну, ладно, княгиня назначила время отъезда. Было *2 часа ночи* 13 марта, день святого воскресенья. Как бы в наказанье за то, что поездка была начата в праздник, погода стояла дождливая, пасмурная, улицы затопило, и карета наша на тяжелых полозьях скатывалась то в яму, то в канаву. Так мы продолжали ехать и версты через 2—3 оказались в чистом поле. Лавируя, карета продвигалась вперед почти что без дороги (если не считать колеи, оставленной небольшими грязными повозками), и нас било, вертело, трясло, стукало, бросало из стороны в сторону. Вдруг лошади поднялись на дыбы, рванули, и мы все до единого очутились в болоте. Успокой свою взволнованную душу, моя дорогая Алисия, все равно я не смогу раньше, чем через полторы страницы, освободить тебя из упомянутого болота, с которым мы сражались в течение 5 часов под звон московских колоколов.

Но вот я уже отдохнула от неприятных воспоминаний и теперь иду к тебе на помощь. Не думай, однако, что мы страдали от сырости и грязи. Ничего подобного. Наоборот, это была самая *спокойная* часть пути. Мирно сидя в экипаже, мы наблюдали, как бедные слуги, подсунув под карету жерди, похожие на корабельные мачты, безрезультатно пытались ее поднять. Иногда им удавалось немного приподнять карету, но, громко чмокая и разбрызгивая фонтаны из смеси снега, льда, дождя и грязи, она вновь оседала [...] Наконец, блестящая Аврора медленно раздвинула на востоке занавес [...] Мы осмелились обратиться к богине за помощью, и наши мольбы были столь трогательны, что она сжалилась и ниспослала нам своих жрецов, которые шли в город с богатыми дарами: яйцами, говядиной, мылом, маслом, рыбой, свининой, пахучей колесной мазью. Они-то и пришли к нам на помощь, победа была провозглашена нашим громким «ура». Остаток пути был самым беспокойным. Но все же мы доехали живыми и здоровыми и находимся здесь, к вашим услугам, дорогая Алисия [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

4-го [апреля 1805 г.]

[...] Сегодня княгиня разбирала свои драгоценности и подарила мне великолепную золотую табакерку. На одной крышке —

прекрасный портрет Екатерины в профиль, а на другой — коронация, вернее, сцена провозглашения ее императрицей 28 июня с различными аллегорическими фигурами etc. Княгиня вручила мне также несколько медальонов, монет и сибирских камней [...]

22-го [апреля 1805 г.]

[...] Вечером [...] мне довелось увидеть старинные русские развлечения. Все пели народные песни, двигаясь по кругу, в центре которого две девушки разыгрывали небольшие пантомимы на сюжет песен. Княгиня заметила, что императрица Екатерина поощряла подобные забавы, которые часто устраивались в Эрмитаже, и что сама императрица знала все народные традиции, предания, игры и танцы, что, конечно, приносило ей популярность.

После ужина княгиня села за фортепьяно и за несколько минут сочинила очень изящную мелодию; я тут же ее записала.

7-го [мая 1805 г.]

Стоит прекрасная погода. Впервые в этом году я поехала с княгиней на дрожках в ближайшую деревню и увидела, насколько Троицкое от нее выгодно отличается. Княгиня ужасно устала, хотя и обладает огромным запасом сил, ведь она часто становится *каменщиком*, если посещает стройку, или *садовником,* когда идет в сад, etc.

После ужина разговор зашел о Дидро и других французских писателях, с которыми она была лично знакома. По одаренности она ставит Вольтера ниже Дидро, а также Гюбера[122], чьи многогранные таланты делали его общество таким привлекательным. Гюбер нарисовал лучший из всех существующих портретов Вольтера, философ побаивался Гюбера из-за его ироничного ума. Княгиня никогда не видела Руссо. Она его слишком презирала, чтобы польстить его тщеславию подобным знаком уважения [...] Ее любимцем был Дидро [...]

7-го [июня 1805 г.]

[...] Начала снимать копию с «Записок» княгини Дашковой.

Вечером она рассказала пару случаев из жизни принца Ангальт-Цербского, брата Екатерины II [...] Когда Мария-Терезия поздравила принца с восшествием его сестры на российский престол, он вежливо ответил: «Верно то, мадам, что правитель в юбке редко бывает хорошим правителем, да и вряд ли подобный образ правления просуществует *долго*». Это он сказал императрице Германии, объединившей под своей властью множество немецких княжеств! [...]

8-го [июня 1805 г.]

Из дома пять писем со счастливым известием, что сестра моя действительно *приедет*.

21-го [июня 1805 г.]

[...] Приехали граф Ростопчин, госпожа Небольсина и мадемуазель Лилинтхаль. Граф Р[остопчин] — вылитый Павел I, особенно теперь, когда он похудел и выглядит больным. Мы засиделись допоздна, разговор вращался вокруг различных событий русской истории. Княгиня упомянула о визите, который Екатерина II сделала несчастному Ивану[123]. Императрица говорила *ей самой*, что Иван был безумным, или, вернее, слабоумным. Причина его умопомешательства была действительно ничтожна. Один молодой офицер, который часто стоял в карауле у двери его тюрьмы, тайком научил его писать. Иван нацарапал вилкой на оловянной тарелке, в которой приносили еду: «Несчастный император Иван», поставил дату [...] и через маленькое оконце выбросил тарелку наружу. Бог знает, как при том унижении и полном невежестве, в котором он пребывал с детства, у него могла возникнуть подобная мысль. Тарелку подобрали, доставили ко двору и показали императрице Елизавете. Та, считая Ивана ребенком, приказала его высечь. После того он помешался. Когда его видела Екатерина, он говорил беспрестанно и считал *маленького императора Ивана* и себя *двумя* разными людьми. Трагедия, из-за которой несчастный безумец лишился жизни, едва не имела серьезных последствий для самой княгини Дашковой. Ее дядя граф Панин занимал часть принадлежащего ей дома. Среди людей, приходивших к нему по делам, был и Мирович, бывший прежде младшим офицером в его полку. Когда безрассудный план Мировича возвести на трон Ивана провалился (дежурный офицер убил узника согласно приказу, данному еще Елизаветой [124] на случай, если тюрьма будет захвачена силой, дабы избежать мятежа), Орловы донесли Екатерине, что Мировича видели несколько раз выходящим из дома княгини Дашковой. Екатерина высказала удивление. Граф Панин дал императрице объяснения и разрешил ее недоумение.

МАТЕРИ И СЕСТРЕ АЛИСИИ

Троицкое. Июля 13-го нов. ст., 1805 г.

[...] Несколько дней назад моя любимая княгиня отправила в Москву для подарка Китти огромный сундук с шелками, атласом, русскими скатертями etc.

Я каждый день купаюсь в реке вместе с *la belle** Софьей и Пашенькой; почти все русские женщины из простого народа плавают как рыбы, и Пашенька — тоже. Для Китти будет большим удовольствием возобновить свою привычку к утреннему купанию. Обычно мы ходим на реку до 8 часов утра.

---

* Красавица *(фр.)*.— *Пер.*

[...] Троицкое теперь в самом расцвете красоты. В одном из уголков имения стоит небольшая китайская беседка, называемая храмом. Перед ней расстилается поле, на котором не растет ничего, кроме цветущих и невыразимо благоухающих роз [...] Я часто сижу в решетчатой беседке (храм — для нее слишком громкое название), спасая лицо от тучи комаров и ос с помощью *москитной сетки,* которая делается из очень легкой итальянской кисеи. Я и сплю под пологом из такой кисеи и нахожу, что он вполне отвечает своему назначению. В прошлом году я ужасно страдала от мерзких жужжащих насекомых, а теперь, благодаря сетке, мое лицо не покрыто волдырями. Увы, возможно, когда вы станете читать это письмо, наше скоротечное лето будет уже позади. Хорошая погода, или лучше сказать *теплая* погода, для меня настоящее блаженство, вот я и сижу, буквально *открыв рот*, вдыхая, и, *раскрыв глаза*, созерцаю эту благодать. Интересно, как будет себя чувствовать Китти при первых морозах в 30° [...]

24-го [июля 1805 г.]

[...] На небольшом лугу против моего окна около 150 мужчин и женщин косят траву. Все мужчины в белых льняных рубахах и штанах (это не выдумка, штаны действительно белые), а рубахи подпоясаны цветным поясом и вышиты по подолу ярко-красной нитью. Вид у них очень живописный; лгут те иностранцы, кои изображают русских крестьян погруженными в праздность, живущими в нищете. Дай бог нашим Пэдди (как я люблю этих милых бездельников и озорников, просто *души* в них не чаю) наполовину так хорошо одеваться и питаться круглый год, как русские крестьяне. Конечно, *противоречия* имеются в каждом государстве, но если, сравнивая два народа, посчитать основными вопросами те, что относятся к условиям жизни (достаточно ли еды, есть ли жилище, топливо и постель), то русские, вне всякого сомнения, окажутся впереди. Да, *они рабы;* однако в интересах самих господ хорошо обращаться со своими крепостными, которые составляют их же богатство; те помещики, которые пренебрегают благосостоянием своих подданных и притесняют их, либо становятся жертвами мести, либо разоряются. Что же касается слуг, здесь дело обстоит иначе. Положение дворни зависит от капризов и желаний хозяина, а поскольку слуг не увольняют, к ним иногда применяются телесные наказания. Мы, островитяне, этого даже представить себе не можем. Самое большое наказание для крестьянина — «быть отданным в солдаты», по сравнению с чем его прежнее положение кажется уже не таким плачевным. [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

11-го [августа 1805 г.]

[...] Княгиня Дашкова вспомнила небольшой анекдот о Китае. Императрица Анна направила в Китай посла, дабы наладить

дипломатические отношения между двумя дворами. Китайский император отказывался увидеться с русским посланником и даже не принимал от него письма. Наконец, однажды во время прогулки императора ему вручили послания русских, которые он и прочел. С посланником обошлись вежливо и отпустили. Вернувшись в Москву, посол ничем не мог похвастаться, но императрица, продолжая вести свою линию, приказала написать в Китай высокопарное письмо с выражением благодарности за почести, какими был удостоен ее посланник. Император ответил: «Вы странны, у Вас вовсе нет причин для благодарности. Разве Вы не знаете, что, когда мы выезжаем, любой нищий может свободно на нас смотреть и передавать прошения»[125]. Этот рассказ княгиня Дашкова нашла в старых бумагах своего дяди, вице-канцлера, который, зная о ее страсти к подобным занятиям, разрешал читать их еще в детстве. [...]

13-го [августа 1805 г.]

Слава богу, Китти прибыла в Кронштадт. О, какое счастье, ужасное путешествие окончено, и мы скоро увидимся!

14-го [августа 1805 г.]

Письмо от дорогой Кэт, написанное в Финском заливе с постскриптумом из Кронштадта. Благодарю Небеса за ее благополучное прибытие и избавление от всех страхов и опасностей. Она приплыла на том же корабле, что и я, проследовав по моим стопам во дворец Гамлета в Эльсиноре etc.

31-го [августа, Москва]

Поднялись очень рано, чтобы пойти в Кремлевский собор и посмотреть посвящение в епископы.

Обедали у князя Дашкова в его новом, светлом и удобном доме. Вечером — a la maison*. Князь Дашков представил нам 60-летнего мистера Кокса. Еще до знакомства мой особый интерес к нему вызывался его дружбой с Вильмонтами из замка Брюс. Но, признаюсь, я, пожалуй, была разочарована: его манера держаться совершенно не соответствует достоинству духовного лица.

9-го [сентября 1805 г.]

Приехала моя драгоценная Кэт. О, господи, и вправду, чрезмерная радость может причинить боль. Увидев, что в гостиной собралось большое общество, Китти сразу же поднялась в мою комнату. Один из слуг, по имени Тимофей, поманил меня и сообщил радостную весть. Я понеслась к себе и нашла сестру чрезвычайно

---

* Дома *(фр.)*.— *Пер.*

взволнованной. (Прошло уже два дня со времени приезда Кэтрин, и только теперь я успокоилась и по-настоящему счастлива. При встрече я была в настоящей лихорадке от радости, а моя дорогая Кэт и того хуже.) Мы спустились к княгине, которая сразу же перешла в другую комнату, поскольку Китти не хотела встречаться с незнакомыми людьми. Никогда не забуду, с какой любовью встретила мою сестру самая добрая и ласковая из женщин! Приветствовать Кэт зашел князь Дашков, выразить свою радость пришла и Анна Петровна. Затем мы вышли на воздух и гуляли при яркой луне до ужина, который был накрыт для нас в моей комнате. После ужина княгиня вежливо выпроводила своих гостей и в беседе с нами провела до двух часов ночи. Мы с Кэт просидели до тех пор, пока не разгорелась утренняя заря, хотя мне было стыдно, что после восьми бессонных ночей утомительного путешествия из С.-Петербурга в Москву я позволила ей засидеться так долго. Наконец, сон смежил ей глаза, а я принялась читать письма из дома, заснув лишь после того, как еще раз своими глазами убедилась: сестра *действительно* в соседней комнате, это не сновидение и не призрак. Наутро я проснулась, не веря своему счастью.

11-го [сентября 1805 г.]

Поднялись с петухами, чтобы поехать на Воробьевы горы, откуда превосходно видна панорама Москвы. Семьсот церквей и монастырей различной архитектуры, все с золочеными шпилями и куполами, высокие деревья городских парков, холмы, на которых построена Москва, и, наконец, окруженный стеной Кремль в самом центре города — все производит необыкновенно сильное впечатление. Кэт, которая недавно объехала почти всю Европу, была в восхищении, меня же зрелище просто очаровало. К тому же день был ясный, сияние солнца и счастье от присутствия дорогой Кэт наполняли мою душу радостью, оттого вид перед глазами казался еще *более красивым.* У подножья Воробьевых гор простирается обширная равнина, которая добавляет величие coup d'œil*. Равнину огибает река, которая, как мне представлялось, опоясывает Москву. Оказалось же, что она протекает по самому городу и даже подходит к стенам Кремля [...]

Нам захотелось посмотреть какое-нибудь здешнее развлечение, и я попросила, чтобы нам показали *охоту* (как я потом сожалела об этом). Зрелище было ужасным. Громадная собака, спущенная с цепи, напала на несчастного мишку, который был *прикован.* Он пытался защищаться от разъяренной собаки, которая вцепилась ему в горло. Мы закричали: «Прекратите!» и стали просить, чтобы их разняли, а сами поспешили уйти. Подобное жуткое развлечение, как и травля быка[126] или петушиные бои — несомненно, остаток варварства, и, надеюсь, все они скоро отживут.

---

* Зд.: виду *(фр.).— Пер.*

На обратном пути мы посетили больницу князя Голицына и Воспитательный дом[127]. Побывали мы также в Кремле, обошли его внушительные строения, осмотрели *огромную пушку*[128] и заглянули в яму, где находится исполинский соборный колокол[129], размер которого поразил мое воображение. От своего громадного веса он все глубже и глубже погружается в землю, и, боюсь, никому не приходит мысль спасти его от *унизительного* положения. Колокол прикрыт досками, несколько из которых сняли, чтобы удовлетворить наше любопытство [...]

9-го октября [1805 г. Троицкое]

Наша жизнь так однообразна, что писать не о чем. Каждый день гуляем. Сегодня впервые почувствовалось приближение зимы — прошел снег, и очень холодно [...]

Вечерние занятия наши состоят в том, что мы читаем копию с «Записок» княгини и сравниваем ее с оригиналом — дело довольно скучное, но необходимое.

Ежедневно прочитываю княгине по нескольку страниц из дневника Кэт[130] [...]

МАТЕРИ

Троицкое. 13-го октября 1805 г.

[...] В настоящее время дорогая Кэт немного нездорова. Мне кажется, это то же недомогание из-за перемены климата, что было у меня, с тою разницею, что мой здоровый организм сопротивлялся дольше [...]

17-го [октября 1805 г.]

Видите, как много времени прошло с того дня, как я начала это письмо. Кэт заболела желтухой [...] Вниз она не спускается, поэтому наша маленькая хорошенькая гардеробная стала местом свиданий. Каждый вечер княгиня и Анна Петровна приходят к больной пить чай и остаются до ужина [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

29-го [октября 1805 г.]

Сегодня впервые со времени болезни Кэт спустилась к обеду. Вечером княгиня *вытащила* из-под кровати коробки с драгоценностями и отдала мне оправленное бриллиантами маленькое смешное колечко в виде головы обезьянки, вырезанной из изумруда. Княгиня подарила мне также *gage d'amitié* действительно огромной

ценности: только что из Москвы привезли портрет княгини, изображенной сидящею в крестьянской избе, где она жила в ссылке во время царствования Павла I.

8-го [ноября 1805 г.]

Вечером княгиня показала посвящение «Записок», которое она только что написала. Она посвящает их мне. Если бы я раньше не слышала об этом ее намерении, то была бы просто потрясена. Дорогой друг, пусть минет много-много времени, прежде чем и посвящение, и сама книга воспоминаний увидят свет, раз «Записки» могут быть опубликованы только после смерти их создателя.

12-го [ноября 1805 г.]

[...] Вчерашний день был очень невеселым: княгиня обязана представить правительству рекрутов. В этом году из каждых 500 человек забирали четырех мужчин, в прошлом году — вполовину меньше. Мужчина, которого берут в армию, в семье считается как бы *умершим*[131]. В числе рекрутов оказался Пашенькин дядя, и она утопает в слезах, оплакивая потерю родственника. Из-за огромных размеров империи, плохой почты и неграмотности крестьян родным невозможно получить какие-либо *известия* от солдата. Его близкие сначала безутешны, а потом совершенно о нем забывают. Для добрых помещика или помещицы это тяжелое время, поскольку несмотря ни на что они *обязаны* удовлетворить требование властей. Пашенька ушла плакать вместе с родственниками (и, вероятно, есть и пить). По словам Елены, она самая лучшая плакальщица, несмотря на юный возраст.

14-го [ноября 1805 г.]

В деревню вернулся староста и с ним семеро из десяти рекрутов. Несколько дней назад он отвозил их в Калугу (главный город губернии), где капитан гвардии, присланный из С.-Петербурга, должен принять рекрутов и забраковать тех, кто не подходит по росту, ширине груди etc. Возвратился и Пашенькин дядя, поскольку оказалось, что грудь у него на полдюйма у́же, чем требуется, хотя он — красивый, хорошо сложенный молодой мужчина. В деревне вечером было семь счастливых семей, потому что быть забракованным — это счастье. Однако семерых, признанных негодными, нужно заменить другими, что тяжело для княгини, которая сегодня нездорова и взволнована мыслью о беспорядках, какие могут произойти среди несчастных крестьян. Удачлив тот, кто хром, глух, слеп или искалечен. Случается, что мужики отрубают палец и причиняют себе другие увечья, лишь бы избавиться от солдатской службы.

В связи с рекрутским набором княгиня рассказала об изменениях, происшедших в армии в начале царствования Павла I.

Была введена новая, неудобная и тесная форма, которая не только стесняла движения, но и служила причиной заболеваний. Если при Екатерине солдат держали главным образом на границах и, где это было возможно, в лагерях, при Павле их ставили на постой к горожанам, что было очень обременительно. В царствование императрицы в Москве находилось меньше 2000 солдат, а при Павле — 15 000, не обеспеченных казармами.

Между прочим, окружность Москвы составляет 26 миль, население ее насчитывает около 250 000 человек[132]. Жители платят значительный налог на освещение улиц, но между тем освещены они очень скверно.

30-го [ноября 1805 г.]

Сегодня вечером княгиня Дашкова читала Китти письма императрицы Екатерины, и я снова восхищалась их живым и очаровательным стилем. Затем последовал *разговор об императрице,* и мы услышали любопытный рассказ. Будучи еще великой княгиней, Екатерина была близка с польским посланником Понятовским. Однажды ночью, когда он посещал ее в Ораниенбауме, охрана его арестовала и доставила к великому князю. На военном совете, который созвал Петр, одни предлагали бросить посланника в море, другие — вызвать его на дуэль. Дело было передано на рассмотрение императрицы Елизаветы, которая притворилась, будто не знает, за что арестован Понятовский, и приказала его освободить без дальнейших последствий. Об этой истории много говорили.

Вскоре после этого происшествия весь двор собрался по случаю именин Петра и Павла (они бывают в один день). Граф Понятовский был в большом замешательстве, он хотел примириться с великим князем, но совершенно не представлял, как это сделать. Графу решил помочь его приверженец и друг Браницкий, который обычно добивался своих целей, хоть порой совершал не очень умные поступки (и делает это по сей день, поскольку еще жив)[133]. Когда Браницкому посчастливилось танцевать с Елизаветой Воронцовой, любовницей Петра, он сказал ей: «Жаль, что эта глупая история стала предметом толков. Я уверен, что ваша доброта и ваше влияние немедленно бы все уладили». Круглолицая партнерша осведомилась, каким образом. «Представьте великому князю дело настолько несерьезным, что им вполне можно пренебречь», — ответил он и добавил: «Если вы преуспеете, то получите 3000 рублей (около 300 фунтов)». Недалекая Елизавета ничего не ответила, но, когда Петр спросил, о чем шел разговор, она все рассказала. Не успела она произнести сумму денежной *компенсации*, как Петр воскликнул: «Клянусь, это честный парень, позвольте мне поговорить с ним»[134]. Проходящему через зал Браницкому великий князь сказал приблизительно то же самое и просил его вместе с Понятовским прийти к 2 часам в сад дворца Монплезир, обещав прощение. Браницкий все пересказал графу П[онятовскому], но тот поначалу отказывался идти с ним, подозревая, что Петр собирается его убить.

Однако Браницкий все-таки уговорил Понятовского; у Монплезира они встретили Петра, который протянул сопернику руку для поцелуя, а сам, по русскому обычаю, поцеловал его в щеку. Посланник хотел было удалиться, но Петр, схватив Понятовского за руку, широкими шагами двинулся вперед, волоча за собой изумленного графа. Скупой, достойный презрения, Петр, подойдя к апартаментам Екатерины, приказал отворить дверь и, оставив графа, удалился! Такова нравственность, мораль и величие душ сильных мира сего!

1-го декабря 1805 г. н. ст.

[...] Княгиня подарила мне очень изящную, оправленную в золото агатовую коробочку. Особая ценность подарка в том, что коробочка принадлежала ее матери, чью память она свято чтит, и вещица эта — одна из немногих, что у нее сохранились. Мать княгини — графиня Воронцова, в девичестве Сурмина, — была чрезвычайно богата. Ей принадлежали громадные земельные владения, у нее было множество драгоценных камней, жемчуга etc. К примеру, княгиня слышала, что цветы на одном из ее платьев были расшиты жемчугом и когда его вышивали, то жемчуг отмеряли *пинтами*. Однако княгиня только именно *слышала* о драгоценностях, потому что ни ей, ни сестре они не достались. У графа Воронцова были любовницы, которых он предпочел дочерям, и они все присвоили. Такой образ жизни и некоторые другие сумасбродства отца в конечном счете привели к тому, что от него княгиня Дашкова не получила и рубля[135] и, в начале семейной жизни и став вдовой, боролась с бедностью.

Несколько дней назад княгиня подарила мне веер — вещь, ценимую ею так высоко, что она некогда завешала положить его к ней в гроб. Однако теперь она изменила свое намерение, дабы я могла судить о ее привязанности и любви. Этот веер был первым подарком, полученным ею от Екатерины Великой, он был памятью о времени их дружбы, которая существовала, безусловно, когда Екатерина была еще великой княгиней. Говорят, коронованные особы разрешают себе подобное чувство очень редко, и я не думаю, что Екатерина Вторая являлась исключением из общего правила. Княгине, которая ее любила и обожала, подарок Екатерины был чрезвычайно дорог. Этим прекрасным веером Дашковой не раз случалось любоваться в руке своего кумира. Незадолго до замужества Екатерины Романовны великая княгиня просила принять веер на память о ее расположении.

Я хочу заключить веер в изящное обрамление и буду хранить как один из самых дорогих и ценных знаков дружбы.

Часть II

Письма Кэтрин Вильмот

(1805—1807 гг.)

СЕСТРЕ АЛИСИИ

4 августа [1805 г.]

[...] Сегодня, в шесть часов утра, мы бросили якорь в Кронштадте. Вечером капитан вручил мне письмо от Матти (написанное два месяца тому назад в Троицком), которое ему передал мистер Букер, английский поверенный в Кронштадте. На печати, которой княгиня скрепила письмо, вырезано «Добро пожаловать», а в приписке сказано: «Вы можете судить о моих чувствах, взглянув на печать». Мистер Букер прислал с кузеном на корабль весьма любезную записку — приглашал меня на обед и предлагал различные услуги. Отвечая ему, я отказалась от услуг, но передала несколько писем для отправки в Москву. Княгиня писала в Кронштадт генералу Коровко[1] и адмиралу Ханыкову, прося их содействовать мне во всех отношениях, но я думаю, что не буду обращаться ни к тому, ни к другому.

[...] Матти пишет, что княгиня послала лестное для меня рекомендательное письмо своей племяннице, госпоже Полянской, и та примет меня в Санкт-Петербурге; такое же письмо отправлено жене министра морского флота, госпоже Чичаговой[2]. Кроме того, меня должны представить племяннице княгини, госпоже Кочетовой, она — фрейлина императрицы. [...]

[7 августа 1805 г.] Санкт-Петербург

Вчера ночью я приехала в этот волшебный город. В понедельник утром мистер Букер прислал к молу свой экипаж, и мы с Элен отправились в его резиденцию в Кронштадте; нас сопровождал мистер Витлок. Приехав, пообедали; мистер Букер уговорил нас остановиться у него. Вечером ходили осматривать доки, а ужинали в саду, где пробыли до полуночи. Даже в Италии не было так жарко, а комары досаждают просто ужасно!

Вчера утром мистер Букер проводил нас, передав на попечение верному слуге, усадил в шлюпку, и мы отправились в Ораниенбаум через пролив шириною верст восемь. Там нас ждали экипаж и человек мистера Рейкса с письмом от миссис Рейкс, приглашавшей

остановиться у них во время пребывания в Санкт-Петербурге. Я решила осмотреть Ораниенбаум — летнюю резиденцию императора. Окрестности напоминают Воксхолл[3] огромных размеров, а во дворце много диковин, описывать которые я не буду из-за недостатка времени (почта закрыта, и письмо это будет отправлено благодаря связям мистера Рейкса). Затем мы отправились в Петербург, и это небольшое путешествие оказалось исключительно приятным: дорога длиною в 30 верст напоминает путь из Парижа в Версаль. То с одной, то с другой стороны тракта возникают обрамленные лесами дворцы изумительной красоты, перед которыми разбиты чудесные сады и парки. Два или три дворца — царские резиденции. Превосходная и широкая дорога заполнена самыми разнообразными экипажами, запряженными чаще всего шестеркой лошадей. Попадаются кони кремовой масти, с белыми гривами и хвостами до земли, совсем как наши королевские. Над темным лесом показалась золотая луна, провожавшая нас до самого Петербурга, куда мы приехали почти в 11 часов. Я была в совершенном восторге от всего увиденного!

Семейство Рейксов собралось на балконе, а чтобы встретить нас, все спустились вниз. Затем мы поднялись на балкон, где состоялись подобающие случаю церемонии. Оттуда мне открылась главная *достопримечательность* этой улицы (если можно так сказать) — Нева, самая прекрасная река из виденных мною.

Забыла рассказать тебе, что получила второе письмо от Матти, написанное всего две недели назад. В нем сообщается о проявлении добрых чувств княгини, которая не жалеет усилий, чтобы меня представили ко двору. Я собираюсь написать госпоже Полянской, которая живет неподалеку, и известить ее о своем приезде. Княгиня выразила желание, чтобы я во время пребывания в Петербурге находилась бы в доме госпожи Полянской, и та прислала самые любезные приглашения. Итак, недели на две я задержусь в Петербурге, а потом — в Москву. И экипажи, и верные слуги — все будет обеспечено; влияние княгини превращает все в сплошной праздник, поэтому мой путь поистине усыпан розами, и мне остается лишь выражать благодарность. Я послала княгине письмо, убеждая ее не встречать меня и не ездить в Москву в такую жару; Матти пишет, что к этому княгиню побуждают чувства дружбы, сердечности и гостеприимства, столь глубокие, что мне трудно представить. Дашкова прислала мне лисью шубу редкой красоты, а для служанки — штуку атласа и шелковое платье. Мне кажется, этот год пройдет, как в сказке.

Уезжает в Архангельск мой друг и покровитель, старый Витлок, друзья помогли ему миновать все трудности.

В то время, как я пишу это письмо, моему взгляду открывается изумительный вид из окна: чудесные дворцы и корабли, плывущие по Неве; доносится музыка оркестров. Меня немало забавляет вид слуг. [...] Звуки русской речи мелодичны и приятны.

Пока прощайте.

СЕСТРЕ ГАРРИЕТ

Санкт-Петербург, 26 августа,
у госпожи Полянской.

[...] Прошу тебя не думать, что я детально буду описывать свою *жизнь и приключения*, даже не *пытайся об этом просить*; перед тобой письма Матти, и посему мое описание какого-либо человека либо достопримечательности будет излишним. Все то же самое: тот же *дом*, те же комнаты, то же время года, тот же корабль перенес меня через океан, и даже слуга тот же, что и у Матти,— *Фредерик*. Вдобавок княгиня прислала мне *Жеркова*, своего любимого Major domo*, который неотлучно находится при мне с самого приезда. *Мой страдающий ревматизмом покровитель*[4] все еще здесь и заходит с визитами. У меня тут каждое утро levée** благодаря письмам, привезенным из Лондона, и рекомендациям от друзей Матти и госпожи Полянской; визитеры вносят приятное разнообразие в утренние часы.

4 августа, по прибытии в Кронштадт, я получила письмо от княгини Дашковой, в котором она выразила желание, чтобы я была представлена ко двору. Она также написала своей племяннице, госпоже Полянской, чтобы та мне в этом помогла. К сожалению, двор жил в Петергофе, а у меня была возможность выехать в Москву, так что я отказалась от этой чести. Однако император с императрицей вернулись в Петербург, а возможность отправиться в Москву исчезла (по обстоятельствам слишком запутанным, чтобы описать их), так что выхода у меня не было, и мое имя сообщили статс-даме графине Протасовой. Мне пришлось ждать 8 дней, *церемония представления* состоялась лишь вчера.

Двумя днями ранее, разодетая в *пух и прах*, я вместе с госпожой Полянской отправилась с визитом к графине Протасовой. А теперь вообрази, как выглядела я вчера, в 12 часов: платье из белого крепа, римский жемчуг и белая камея, прическа от парикмахера-француза (я сама ее выбирала), с алым дельфиниумом на лбу (думаю, что если бы не это описание, подобное письмо не стоило бы и гроша). Итак, мисс Гарриет, в карете, влекомой шестеркой лошадей, я примчалась к Таврическому дворцу (он действительно великолепен) и в сопровождении слуг госпожи Полянской вошла в мраморный зал невиданных размеров (просторнее церкви), с колоннами и статуями. Тебе, наверное, покажется странным, что я была *одна*, но таков этикет! Из мраморного зала дюжина слуг провели меня в роскошную гостиную, переполненную офицерами со звездами, откуда я прошла в другую, где никого не было,— она соединялась с залой для представления. При моем появлении двое придворных встали, а один из них (в белом мундире конно-гвардейца с полудюжиной звезд и малиновым орденом) завел со мной весьма светскую

* Дворецкий (*фр.*).— *Пер.*
** Зд.: торжественный выход (*фр.*).— *Пер.*

беседу по-французски. Здесь была еще одна дама, пришедшая раньше меня, а вскоре вошел дядя госпожи Полянской, генерал Кутузов[5] (главнокомандующий войск, выступивших против французов, с которым я была знакома). Это очень почтенный пожилой господин, и в его присутствии я почувствовала себя гораздо увереннее. Затем вошла дама с бриллиантовым шифром на левом плече и поклонилась на русский лад, по-мужски; минут десять спустя появилась хорошенькая молодая девушка, скромная и робкая. Прогуливаясь по комнате, мы разговаривали и разглядывали изумительный сад, окружающий дворец.

Мы прождали минут сорок пять, наконец, дверь распахнулась, и вошла императрица Елизавета, а за ней по пятам *толстая* графиня Протасова. Императрица — прекрасное создание, лицом и фигурой она очень напоминает изображение *Корделии*, дочери короля Лира[6]. При ее появлении дамы встали, а мужчины удалились. На императрице было белое кружевное платье, огромный жемчуг украшал ее чудесные светло-каштановые волосы. [...] Беседовали мы по-французски, кроме одной дамы, с которой императрица говорила по-русски. Все стояли возле нее полукругом, разговор шел об обычных пустяках. Спросив, как мне понравился Петербург, императрица выразила надежду, что он произвел на меня благоприятное впечатление. Я отвечала: «*Да*» (не правда ли, остроумно?). Она сказала, что слышала о моей сестре и, очевидно, мое столь далекое путешествие вызвано желанием видеть ее. Я согласилась с этим, заметив, что задержалась в Петербурге ради чести быть представленной ее императорскому величеству. После пятнадцатиминутной беседы она поклонилась и покинула залу с толпой придворных. [...]

27 августа

Я серьезно озабочена тем, что мне приходится отложить отъезд еще на некоторое время. Оказалось, что после представления молодой императрице по этикету необходимо быть представленной и вдовствующей императрице[7]; с ее статс-дамой, княгиней Прозоровской, меня вчера познакомила госпожа Полянская. Та сказала, что доложит обо мне ее императорскому величеству и назначит день визита.

Вскоре после моего приезда меня посетила госпожа Щербинина. Ей за сорок, она жалуется на миллион недугов, но являет собой образец здоровья. Госпожа Щербинина — умная женщина, хорошо знает языки и *мастерица тонко польстить собеседнику*. Далеко не каждая англичанка может так хорошо выразить свои мысли по-английски, как она. Эта дама заставила меня трижды отобедать у нее, предложила карету и слуг для поездки в Москву, от чего я сочла своим долгом отказаться; мы часами гуляем tête-à-tête* в общественных парках, поистине, ее учтивость безгранична. Поскольку госпожа Щербинина с матерью *на ножах*, та не писала ей

* Наедине (*фр.*).— *Пер.*

обо мне, разве не смешно? Еще одна моя русская знакомая — графиня Воронцова, очень приятная светская женщина. У нее мы провели чудесный день за городом; по имени можно понять, что она близкая родственница семейства Дашковой. Графиня знает всех моих итальянских знакомых, ибо немного позже меня в точности повторила мой вояж по Италии. Как говорят, сестра Воронцовой, красавица княжна Голицына, собирается выйти замуж за нашего посланника, лорда Гренвиля Левисона Гауэра[8], который, кстати, получив рекомендательное письмо от лорда Гэрроуби, был весьма внимателен ко мне.

[...] В одной немецкой семье (у баронессы Виалл) мы провели за городом день, *музыкальный до безумия*. В середине концерта мы *на цыпочках* вошли в залу, где выступали Мара Флорио[9] и первые *профессиональные* исполнители в России. Затем наступило время *ликеров, сыров, колбас* etc. Обед был подан в столовой, расписанной под замок в лесу. Столы в России ломятся от деликатесов — *мороженое, крем, фрукты, вина* меняются бесконечной чередой.

Когда общаешься со здешними англичанами, возникает чувство, будто попадаешь в другую страну — они живут совершенно обособленно. Дом мистера Рейкса для меня, как родной. Не могу описать доброту этой семьи: они хотят, чтобы все время в Петербурге я проводила вместе с ними, постоянно приглашают меня в чудесный загородный домик, но я не могу туда поехать. [...] С тех пор, как я покинула Лондон, у меня не только не было ни *малейшей простуды*, но даже ни разу не *болели зубы*, так что на здоровье жаловаться не приходится. Каждое утро в 7 часов я принимаю холодную ванну и делаю упражнения. По большой карте изучила Петербург *почти наизусть*, а кроме того, поднималась на колокольню Петропавловской крепости, дабы взглянуть на город с высоты. Нева просто великолепна и всегда полноводна, поскольку нет приливов и отливов. Думаю, с ней не сравнится ни одна река в Европе! Петербург расположен на небольших островах, окружающая местность совершенно равнинна, но огромные новые здания, сооружения и общественные парки действительно изумительны — трудно представить город красивее. Как здесь говорят: «Петербург действительно достоин звания столицы этой необъятной страны»

Низшие слои населения поражают своим гротескным видом, особенно смешно видеть патриархальные бороды мужчин. [...]

29 августа

[...] Бог знает, сколько собиралась написать, но совершенно нет времени для писем. Вчера была у госпожи Щербининой, позавчера с друзьями-англичанами осматривала городские достопримечательности. Отдала полторы гинеи за 24 картинки с изображением *уличных продавцов*[10] — завтра с капитаном Кларком отправлю их домой. Они напечатаны на скверной бумаге и вполовину не отражают действительно живописной внешности, присущей здешним разносчи

кам; кроме того, там почти нет женских костюмов и *праздничных нарядов*. Как бы то ни было, посылаю их для вашего развлечения. Представьте, *единственная книга*, которую я купила здесь со времени прибытия,— *придворный календарь*[11]. Я так мучаюсь с *именами*, что сочла необходимым купить его. В следующий понедельник я собираюсь отъезжать. Никак не предполагала, что у меня будет столько визитов в Петербурге!

31 августа, вечер.

Этому несчастному письму фатально не везет — уже наступил воскресный вечер, а оно еще не отправлено. Тем не менее эта проволочка позволяет мне описать грандиозную церемонию, которая сегодня состоялась у вдовствующей императрицы и освободила меня от необходимости долее оставаться в Петербурге. Отстояв службу, пышно одетая, я отправилась во дворец. Там встретила графиню Головину, даму с очаровательными манерами. После того как мы прождали полчаса, показалась *княгиня Прозоровская и предупредила о скором появлении* матери-императрицы. Вскоре вошла *она сама*, в черном кружевном платье, с неисчислимыми бриллиантами в прическе. Императрица прекрасно выглядит, высокая, стройная, похожая на молодую женщину, хотя ей за сорок. Мы подошли к ней — одна перчатка была у нее снята для церемонии приветствия, и в то время как мы целовали ей руку, она целовала нас в щеки.

Императрица разговаривала с графиней Головиной и со мной минут пять, а потом перешла к кружку мужчин, которые повторили эту же церемонию. У меня она спросила, как долго я пробыла в Петербурге, какое впечатление произвела на меня Россия, выразила надежду, что Петербург пришелся мне по душе. Итак, все *императорские почести* отданы, и я могу ехать, когда захочу[12].

Вчера получила от княгини Дашковой очень любезную записку, приложенную к посланию Матти; княгиня пишет, что получила одно мое письмо из Петербурга, и сообщает, что другие мои письма пропали. Разве это не печально?..

Для путешествия я получила замечательный экипаж — ночью он служит удобной постелью. Два моих защитника — Фредерик и Жерков — поедут на козлах, там хватит места и для троих, а форейторы — верхом на лошадях. Вчера обедали у Щербининой, где встретила мистера и миссис Крайтон. Сегодня была у мистера Росса, а вечером гуляли в парке графа Строганова[13].

Уже поздно, мне хочется спать, так что, дорогая Гарриет, прощай. Завтра, слава богу, я буду уже в пути. [...] Не думала, что меня ожидает представление ко двору, когда принимала решение как можно скорее ехать в Москву... Представь, какой изрядный gage d'amitié* я получила вчера от Щербининой: 5 пар комнатных

* Залог дружбы (*фр.*).— *Пер.*

туфель с серебряной отделкой! Ну, спокойной ночи. Погода становится прохладной, зато луна будет моей спутницей.

Екатерина Вильмот.

АННЕ ЧЕТВУД

24 сентября [1805 г.], Троицкое

[...] Я должна пожаловаться тебе на одно неудобство, которое до смерти раздражает меня и с которым ничто на свете не сможет меня примирить,— это бессмысленная трата времени. В 9 часов утра наши filles de chambre* подают нам кофе, затем часа два бездельничаем — разговариваем, музицируем или гуляем. Хотелось бы наверстать упущенное время, занимаясь часов до пяти, но в час или в полвторого раздается звон обеденного колокола — похоронный звон по всем занятиям и досугу, и мы снова собираемся, чтобы приступить к торжественной долгой трапезе, во время которой от вас безо всякого снисхождения ждут, что вы будете есть каждое предлагаемое блюдо. Это — одна из характерных черт жизни в доме княгини. Все продукты приготовлены и поданы к столу самым наилучшим образом. Княгиня гордится дарами своей фермы, маслодельни, садов, теплиц и оранжерей. Мне очень полюбился национальный напиток России — квас; приготовленный на кухне княгини, он вкуснее шампанского, правда, в других домах бывает невыносим. К обеду подается излюбленное блюдо — мед со свежими огурцами, а кроме того: финики, пирог с яблоками, молочный поросенок, сливки, супы (в том числе рыбный), пирожки с яйцами, разнообразные салаты и холодные закуски. Поистине, нет конца разносолам, приготовляемым в соответствии с традициями не только русской, но и других кухонь мира.

Но вернемся к разговору о трате времени. Обед разбивает весь день, и после него трудно вернуться к утренним занятиям. В шесть часов семья собирается к чаю, а в полдесятого или в десять — на плотный ужин с горячим. И с этим ничего нельзя поделать! Но сейчас снова вернемся в Москву, поскольку я забыла описать еще одно зрелище — травлю медведей. Однажды мы совершали поездку за 7 верст, чтобы посмотреть на город с высоты Воробьевых гор. Вид на Москву с холмов стоит того, чтобы проехать не только 7 верст, но и все 70: огромное количество церквей (всего их около 600) с куполами, крытыми жестью, а то и чистым золотом, представляет великолепную картину. Они сияют, как множество солнц, и создают изумительный контраст с зеленью бесчисленных общественных парков. В отличие от большей части России, окрестности Москвы не столь равнинны.

---

* Горничные (*фр.*).— *Пер.*

Мы с офицерами, сопровождавшими нас в этой «медвежьей» экспедиции, прошли в театр, построенный специально для этого дикого развлечения — травли громадных неуклюжих животных огромными бульдогами. Пусть канет в вечное забвение наша жестокость, позволившая начаться травле специально для нас троих — Матти, Анны Петровны и меня. Мы взобрались на сооружение, напоминающее подмостки, и внизу увидели собак, прикованных цепями к клеткам и воющих, как тысяча демонов, в ожидании встречи с грозным хищником. Появилось полдюжины бородатых служителей, которые вели на цепи громадного ревущего медведя, цепь укрепили в центре арены в железном кольце. Вскоре к месту схватки также на цепи привели разъяренную собаку.

Ужас этого зрелища и кошмарные предсмертные (как мне показалось) крики напугали меня до такой степени, что, закрыв глаза и заткнув уши, я бросилась вон из театра, умоляя о пощаде; на душу легло тяжелое чувство причастности к убийству. Матти и Анна Петровна выбежали следом за мною. Это «развлечение» устроили бы и без нас, так как подобные зрелища бывают здесь каждую неделю. К нашему вечному стыду, мы все же видели эту сцену (необходимо сказать, что по возвращении, рассказав князю Дашкову обо всем, мы в ответ услышали, что он знал о существовании подобных вещей, но ни разу в жизни не видал этого!). Представьте, как мы устыдились своего необузданного любопытства и какими простаками себя почувствовали, признавшись в этом. На самом деле, когда мы пришли в театр, мы ожидали увидеть всего-навсего что-то вроде бродячего зверинца, но вот к чему нас привела ненасытная любознательность! Весь вечер мы слонялись по гостиной, заткнув уши и боясь, как бы кто-нибудь случайно не произнес слова «медведь», но этого не произошло, и у нас есть надежда, что, кроме тебя, никто из смертных не ужаснется, узнав правду.

Не хочешь ли ты послушать о моих первых впечатлениях при подъезде к Москве? Ты ведь уже знакома с Жерковым и Фредериком. Ну так вот, глядя, как лучи заходящего солнца освещают их фигуры, я надумала переодеться, чтобы не предстать перед княгиней в дорожном платье; кроме того, я еще раньше решила явиться к ней во дворец лишь с наступлением ночи, когда появляются духи. Почувствовав слабость от усталости и голода, я попросила Фредерика достать мне немного молока и принялась пить его, стоя у дверей домика, рядом с которым мы остановились. Неожиданно передо мной появился лакей в щегольской ливрее с золотым подносом, бокалом и графином мадеры. Указав на красивый замок, стоящий среди полей, он попросил Фредерика объяснить мне, что княгиня Сибирская[14], полагая, что я — та самая английская леди, ради которой княгиня приехала в Москву, будет счастлива первой приветствовать меня у врат города! Княгиня Сибирская стояла на балконе и махала мне рукой, а слуга сновал туда и обратно, передавая любезные записки с предложениями услуг различного рода, в том числе приглашение на ночлег, но я от всего с благодарностью отказывалась. [...]

В России еще много варварских обычаев, но вот гостеприимство — одна из наиболее приятных национальных особенностей. Говоря о других национальных чертах, должна заметить, что они проявляются лишь среди низших сословий; к сожалению, высший свет во всем пытается подражать французам. И хотя французские манеры сами по себе неплохи, все же это похоже на *обезьянничанье*. Вместо бывшего ранее в употреблении приветствия — величавого *взаимного поклона* — вас с восторженным видом целуют в обе щеки, механически бормочут, как рады с вами познакомиться, etc. В туалетах также заметно плохое подражание французам, и везде слышна французская речь! Удивительно, что сильнее это чувствуется в Москве, нежели в Петербурге: в столице много иностранцев, поэтому манера поведения определяется коммерцией, в Москве же французские манеры лишь дань моде. Странно видеть, как, восхищаясь французскими обычаями, модами и языком, они поносят Буонапарте — в этом есть что-то наивное. Обед им готовит повар-француз, их детей воспитывают гувернеры и гувернантки из Парижа, безнравственные авантюристы, и в каждом богатом доме (во всяком случае из известных мне) у наследника есть наставник-француз, истинный негодяй. Одним словом, все касающееся моды, роскоши, внешнего лоска заимствовано из Франции. Это настоящее забвение самих себя. Жалкий писк против Буонапарте, как им кажется, предохраняет их от политического самоубийства. Такая отъявленная глупость! [...]

Говоря о характере княгини, следует заметить, что он совершенно не подвержен влиянию моды — если на земле и существует оригиналы, то это она!

И все же дух противоречия уводит меня от описания княгини и рощ Троицкого в Москву, к золотым куполам, где я провела всего лишь три дня! Признаюсь, мне очень хочется вернуться туда, и, между прочим, я познакомлю тебя с круглой комнатой вдовы Небольсиной (так часто упоминающейся в письмах Матти), куда после посещения театра княгиня Дашкова при звездах и орденах ввела Анну Петровну, Матти и меня. Госпожа Небольсина сказала, что глубоко разочарована тем, что на *празднике*, который она собиралась устроить в честь моего приезда, я присутствовать не смогу, так как на следующий день мы покидаем город. Она сказала, что Мавра Романовна (Матти) est un ange* и невозможно ее не любить и не ценить очень высоко. «Быть ее сестрой — значит иметь право на мою любовь и дружбу»,— добавила Небольсина. Затем розовыми полными руками она обняла Матти и принялась со вкусом целовать ее; она обещала и мне бесконечную дружбу, надеясь на любовь с моей стороны, причем целовала меня так, что мое сердце разрывалось, и я подумала о том, что было бы хорошо, если бы дружба не вешалась на шею, как хомут (не бойтесь, я вела себя очень пристойно и также клялась, когда требовалось).

* Это ангел (*фр.*).— *Пер.*

Княгиня, милая чудачка, тут же по-русски начала расточать мне чудовищную хвалу (Матти потом мне это пересказала), превознося мои достоинства до такой степени, что кружок дам, собравшихся вокруг нее, онемел, а я, не понимая ни слова, слонялась по комнате с милой Анной Петровной, рассматривая картины на стенах. За ужином княгиня говорила со мной по-английски, а затем переводила на русский мои ответы, приукрашивая их, и я была поражена, увидев, что ничем не примечательные суждения благодаря дару переводчицы воспринимаются присутствующими с интересом и восхищением. Отмечаю эти детали, чтобы дать вам полное представление о характере княгини; следует сказать, что она относится к нам с явным предпочтением, требуя от других (думаю, по дворцовой привычке) почтительного отношения к себе. К примеру, никто из мужчин, даже в чинах, не может сидеть в ее присутствии, а она не всегда предлагает сесть; однажды я видела, как полдюжины князей простояли в течение всего визита. В другой раз, устав, она спровадила визитеров, и те, *кланяясь* и целуя ей руку, исчезли. Княгине никогда не приходит в голову скрывать от кого-либо свои чувства или намерения — можете представить, в каком привилегированном положении она находится. Независимо от того, приятна правда или нет, княгиня говорит ее всем в глаза. Слава богу, что княгиня разумна и добра по натуре — в противном случае она была бы невыносима. Она первая по званию, положению, уму в любом обществе: ее привилегии воспринимаются естественно, и в ее поведении ничто не кажется необычным. Я уже упоминала в последнем письме о превращении гостиной графа ... в мою спальню[15]. А вот еще пример: за ужином она велела принести и поставить на мой туалетный столик корзину, полную ананасов, груш, винограда и прочего, угадайте, зачем? Княгиня услыхала, что я люблю есть фрукты до завтрака и, не желая нарушать мои привычки, приказала одной из горничных каждое утро доставлять мне в спальню корзину фруктов. Я протестовала, но в ответ слышала лишь: «Эти мелочи sont les besoins de mon cœur*. Отдыхайте спокойно, мой дорогой друг!» И еще: «Наша младшая сестра (Матти) должна быть довольна. Она будет браниться, если я не выполню своих обязанностей!»

Одним словом, можно бесконечно перечислять проявления привязанности и внимания, если не сказать обожания, к Матти. Вчера кто-то прислал княгине модную длинную шаль, окаймленную желтым шелком. «Пусть он не думает, что я неблагодарна,— сказала княгиня,— я оценила то, что его несчастная шаль оказалась достойной моего милого ангела». С этими словами она набросила шаль на плечи Матти. Княгиня хочет сделать еще один портрет Матти. Один портрет у нее в табакерке, другой, огромный, висит в спальне, и еще один, такой же большой (оба портрета в три четверти), является главным украшением ее гостиной в Москве. Два последних портрета сделаны в изящной манере, Матти выглядит на них весьма элегантной, хоть и не очень похожа. А какое убожество получила

* Необходимы моему сердцу (*фр.*).— *Пер.*

матушка! Матти пообещала мне зимой сделать хороший портрет и послать домой для гостиной или музыкальной комнаты при условии, что старый выбросят. Княгиня вполне убеждена, что Матти — совершенная красавица. Сомневаться в этом — ересь! Уверена, что княгиня не успокоится, пока не напишут дюжину картин!!! [...]

Вы знаете, что мое высокое мнение о Матти общеизвестно. Можно поклясться, что при необычных обстоятельствах ее приезда в Россию (и более того, сложности и запутанности отношений в семье Дашковых) ум и поведение Матти сыграли замечательную роль! Эти качества сестры были замечены всеми членами дома Дашковой; есть все основания предполагать, что на подобное отношение княгини к Матти сестра отвечает такой же преданностью, любовью, уважением и преклонением.

Мое мнение беспристрастно, а вот еще одно доказательство любви княгини к Матти: Дашкова прислала ей запечатанный пакет с приложенным объяснением, что в пакете содержится 13 тысяч фунтов. Ее рукой приписано: «Я умоляю Вас не вскрывать этот пакет до моей смерти, а затем принять дар от друга, любившего Вас, как мать, с самыми нежными чувствами, многому научившегося у Вас». Матти протестовала, плакала, а затем на пакете написала следующее: «Если я умру раньше моей любимой княгини Дашковой, я завещаю этот пакет ей, а если она откажется принять его, я оставляю его сыну княгини, князю Дашкову, в качестве свидетельства моего уважения. Марта Вильмот». Церемония передачи пакета состоялась 22 августа, за день до того, как они отправились встречать меня в Москву. Так как я завела речь о подарках, упомяну роскошную золотую табакерку, украшенную рельефным изображением императрицы, которую Матти пришлось принять, коллекцию драгоценных камней как иллюстрацию к естественной истории, коллекцию монет, коллекцию медалей, несколько вещиц из Геркуланума[16], две застежки, увенчанные золотыми львами, из сокровищниц татар, а также русскую одежду, в которой Дашкова появлялась при дворе[17], агатовую табакерку, табакерку из гелиотропа, украшения из витого металла — гребень, брошь, обруч для волос, ожерелья, кольца. Металлические украшения обрамлены орнаментом из жемчуга и топазов, напоминающим незабудку. Княгиня также подарила Матти замечательные часы (хотя у Матти есть свои), золотые венецианские цепочки, бесчисленное множество печаток, золотой гребень, золотой с жемчугом полумесяц, восемнадцать колец, изысканные сердоликовые серьги, напоминающие красные ягоды, жемчужные браслеты и ожерелье, браслеты из кораллов, янтаря, небольшое пианино, прекрасную гитару, уйму нот, серебряные чашки, бесчисленные шкатулки. У Матти есть атласные, кружевные, бархатные и креповые платья всех цветов, черная кружевная вуаль с головы до пят, муфты, шубы etc. Кроме всего прочего княгиня подарила Матти 150 ценных книг, карт etc. Иногда сестра получает истинно дорогие презенты, так как, по-моему, княгиня не делает разницы между цветком и бриллиантом и лишь ее привязанность к Матти является единственным мерилом выбора подарка.

1 октября [1805 г.]

Довольно смешно, но я не могу здесь писать! Ты настаивала, чтобы я вела дневник, а я даже и попытки не сделала. Сослаться на холод более не могу, так как печи топятся очень жарко; наши апартаменты исключительно удобны. Как потом мне оправдаться перед тобой? Мне кажется, я еще не писала о Троицком. Оно чудесно, княгиня сама построила его, вокруг раскиданы 16 ее деревень. Три тысячи крестьян («мои подданные», как она их называет) счастливо живут под ее абсолютной властью; из всех людей, имеющих доброе сердце, она — самая добрая. В Троицком две сотни слуг — в доме и дворовых, больше сотни лошадей, стадо в двести коров и все остальное в соответствующей пропорции. Церковь, выстроенная вблизи дома, также принадлежит княгине. Прекрасный лес — девять миль в длину, четыре в ширину, прилегающий к поместью, полон волков, вчера мы с княгиней заблудились в нем и проблуждали полтора часа. Чудесная речка, извиваясь, течет по усадьбе. Все же местность, окружающая Троицкое, равнинна и своей красотой обязана творению человеческих рук. Огромная часть поместья занята аллеями и регулярным парком совершенно в английском стиле. К грандиозному дому с обеих сторон пристроены флигели, которые связаны с ним лишь балконами на уровне второго этажа. Мы с Матти живем в одном флигеле, Анна Петровна — в другом. Сейчас двадцать бородатых мужиков строят временный деревянный переход от дверей гостиной к нашим дверям, так как из-за желания сохранить нетронутым внешний облик здания никакого перехода из дома во флигели построено не было.

Здесь очень много странных и смешных привычек и обычаев. Например, каждый должен сам обеспечивать себя постельными принадлежностями, даже *во дворце*! У нас свои стеганые и простые одеяла, простыни, которые мы отдаем прачке вместе с одеждой. Если бы мы ожидали получить постельное белье от хозяйки дома, на нас посмотрели бы с изумлением, как если бы я в Глэнмире послала за твоим платьем (представляю, какими бы глазами ты смотрела на меня и как скоро указала бы мне на дверь). Вообще, здесь принято, чтобы каждый человек имел при себе все необходимое: кастрюли, свечи, подсвечники, приборы для чая, кофе. Все это и сотни других мелочей находятся в ведении *femme de chambre*; любой из нас может запереть двери своего убежища, и у него будет достаточно запасов, чтобы, не покидая нашей крепости, безбедно жить в течение недели. Привычка делать припасы здесь очень сильна, поэтому в моде хозяйственные подарки: когда мы приехали, княгиня прислала пару серебряных подсвечников и восковых свечей впрок! Затем я ожидала получить в дар заступ или рашпер, но не угадала, так как на следующий день нам подарили по сковороде. Ох, уж эти подарки! Когда я покидала Лондон, то запаслась таким количеством бус, ожерелий и безделушек, как будто собиралась торговать с туземцами южных морей, и уже почти все эти побрякушки перешли во владение шайки девиц, посещающих комнатную

«ярмарку». Естественно, и я в ответ получаю дорогие подарки, но все это — мука и пустая трата денег, так как безделушки накапливаются в ужасающем количестве; кроме того, у вас нет права выбора — дарить либо не дарить, по определенным дням вы вынуждены делать и получать подарки, в противном случае вы нарушите обычаи страны и нанесете всем оскорбление. Матти уже приготовила пасхальный презент Анне Петровне — 14 книг в великолепных зеленых с золотом переплетах, та уже видела их, но получит дар лишь в определенный день.

Посмотрела бы ты на княгиню, когда она, в зените славы и богатства, владелицей этого необозримого имения выходит на прогулку, или, говоря точнее, отправляется осматривать своих подданных! Она одета в старое коричневое платье, на шее — шелковый платок, заношенный до дыр; княгиня носит его вот уже восемнадцать лет и будет носить до самой смерти, так как он принадлежал миссис Гамильтон. Княгиня оригинальна во всем, манера ее речи своеобразна; она все умеет делать — помогает каменщикам возводить стены, собственными руками прокладывает дороги, кормит коров; сочиняет музыку, поет и играет на музыкальных инструментах, пишет статьи, лущит зерно, поправляет священника в церкви, если тот неточен в службе, в своем театре исправляет ошибки актеров; она доктор, аптекарь, ветеринар, плотник, судья, адвокат — одним словом, княгиня ежечасно совмещает несовместимое. Она ведет переписку с братом, занимающим первый пост в империи[18], обсуждая с ним политические вопросы, с литераторами, философами, поэтами, со всеми родными, и притом у нее остается еще уйма времени. Все это вместе взятое заставляет меня думать, что она волшебница! Я не шучу, говоря так, это ощущение не покидает меня ни на минуту. И по-английски говорит она чудесно, неправильно, как ребенок, но с необычайной выразительностью! Ей все равно — говорить по-французски, по-русски или по-английски, и она постоянно смешивает эти языки в одном предложении. Княгиня говорит по-немецки и по-итальянски тоже хорошо, но тут ее нечеткое произношение не дает возможности наслаждаться беседой. Я только что закончила читать письма к княгине Вольтера, Дидро, Гаррика[19] и аббата Рейналя[20]. Княгиня обещала мне письма Екатерины, и я читала ее записки о своей жизни. Мне совершенно необходимо в достаточной мере изучить героев и обычаи екатерининского времени, так как княгиня постоянно их упоминает и мысли ее так часто возвращаются ко двору, кабинету, туалетной комнате и будуару Екатерины, что мне уж кажется, я сама вспоминаю привычки и речи Екатерины, и будто я участвовала в заговоре. Между прочим, главная зала в Троицком украшена громадным портретом Екатерины, на коне в мундире, изображенной в день свержения с трона ее мужа; княгиня говорит, что сходство очень велико. Кроме того, портреты императрицы есть в каждой комнате. [...]

Однажды я спустилась вниз раньше Матти, и огонь ужаса, появившийся в глазах княгини, безумно напугал меня. Оказалось, она подумала, что Матти, быть может, нездорова — вот ее

собственное выражение: «*Эта мысль поразила мое сердце как нож острый*».

Элеонора[21], увидав, что я пишу, очень хочет узнать, «получила ли мисс Генриетта письмо», которое она послала ей из Петербурга. Передайте ее родным, что она жива и здорова, делает успехи в русском языке. Элеонора замечательно танцевала на двух балах, которые давала старшая горничная, а скоро будет веселиться на празднике в честь св Екатерины, наших с княгиней le jour de nom*, так как меня, как и княгиню, все зовут Екатериной Романовной. [...]

2 октября [1805 г.]

[...] Хочу рассказать о здешней бане; построена она в зарослях кустарника и действительно очень хороша. Посещение бани у русских, как и у турок, почти религиозная церемония; никто из крестьян не пойдет в церковь, не побывав накануне в бане. Поэтому каждую субботу вся деревня совершает омовение. В бане три отдельных помещения. В одной комнате устроены полки для любителей пара. Тут же стоит огромная лохань, в которой можно сидеть по шею в воде, причем сначала нужно натереться докрасна хреном, а потом — мылом. Можно окунуться в настой из разных трав, что я не раз делала. Княгиня после бани всегда ложится в постель, приготовленную в соседней комнате, а я совершаю небольшую прогулку и чувствую себя еще лучше.

Милая княгиня пообещала уехать из Троицкого *на два дня раньше*, чем обычно, и показать мне московские достопримечательности. То, что для другого человека — пустяк, для нее — истинная жертва, так как княгиня очень последовательна в своих привычках и следует установленному распорядку жизни с точностью часового механизма. Еще она сказала, что договорилась с графом Алексеем Орловым — тот даст бал в честь их примирения. Обещала княгиня и концерты в ее доме, и посещение Кремля — там нас будет принимать архиепископ Грузии. Кремль — центр Москвы, город в городе; все важнейшие религиозные церемонии проводятся в нем. Наверняка ни один иностранец не видел столь много интересного, сколько увидим мы. Мне так хочется поехать в Москву! Кроме всего прочего, княгиня хотела свозить меня в Польшу весной, но я наотрез отказалась, так как из-за ее нездоровья подобное путешествие опасно. Я знала о недомогании княгини и писала ей из Санкт-Петербурга, уговаривая ее не покидать Троицкого из-за меня, но ничто не могло остановить княгиню и никакие соображения не могли воспрепятствовать решению устроить мне встречу, какую она наметила.

И не думай, что я начинаю говорить по-русски. Нет! Чувствую, как становлюсь все *ленивее* с каждым днем, все привычней к безделью. У Матти все по-другому. Она и говорит и пишет по-русски очень хорошо. Княгиня дает ей уроки, и они переписываются по-русски едва не каждый день. [...]

---

* Именины (*фр.*).— *Пер.*

СЕСТРЕ АЛИСИИ

Троицкое, 2 декабря 1805 года.

[...] Если подъехать к дому сзади, взгляду открывается несколько зданий, окружающих площадь, в центре которой высится церковь. Они создают единый ансамбль с домом княгини, можно решить, что это маленький город. Тут и театр, и школа верховой езды, больница, конюшня, дом для гостей, дома для слуг, стойло и прочее.

О, боже! Какая здесь огромная людская! Но это неудивительно, так как здесь постоянно суетится толпа слуг. В то время как хлопающий глазами Степуша в шейном платке помогает вам раздеваться, а Афанасий стаскивает меховые ботинки, Мазай, Кузьма, Василий, Прокопий, Антон, Тимофей и еще полдесятка слуг бросаются, чтобы проводить вас в столовую, находящуюся прямо напротив входной двери, а оттуда — налево, в гостиную. В этой комнате мебель красного сафьяна с золотом. Посреди гостиной, над софой, висит портрет мужа княгини Дашковой, признанного красавца, умершего, когда ему было всего 26 лет! Величественная дама в горностаевой мантии с орлами, вышитыми на шлейфе,— Екатерина II, а напротив — ее внук Александр I во всех царских регалиях. Но довольно о портретах. В глубине комнаты, в креслах перед небольшим столиком, инкрустированным под шахматную доску, сидит сама княгиня, одетая в простой халат пурпурного цвета и белый батистовый мужской ночной колпак! У ног ее на подушке спит черная собака Фидель. Княгиня ожидает нашего возвращения домой, так как этот вечер должен быть посвящен чтению нескольких десятков писем, увязанных в большой бумажный сверток,— переписки княгини с Екатериной II: первые письма написаны в 18-летнем возрасте, а закончилась переписка с ее уходом из Академии. Эти письма, напоминающие о событиях почти всей жизни, вызывают на ее лице болезненно-волнующее выражение, и мне хотелось бы, чтобы чтение закончилось быстрее. Анна Петровна уже заняла место и приготовила свое бесконечное вязанье.

7 декабря [1805 г.]

Только представь, прошло вот уже пять дней с тех пор, как я отложила письмо, и только сегодня утром, когда этот листок выпал из стола, я вспомнила, что он существует. В эти дни святая Екатерина, покровительница княгини, собирала свою дань и взыскивала пошлину — светскую и духовную. Поскольку мы с княгиней тезки, она решила, что праздник святой Екатерины будет отмечаться вдвое торжественней — накануне именин состоялось величественное богослужение. Это было вечером в четверг — в столовой собрались священники и певчие с благовониями и образами. Образа были изумительно освещены, а серебряная икона святой Екатерины сияла за стеклом. После окончания службы все поспешили

поздравить нас и преподнести подарки. Крестьяне с семьями заполнили залу — каждый с караваем хлеба и щепотью соли в знак уважения и небольшими тарелочками с яблоками сверх того. После этого мы с княгиней обменялись презентами и получили подарки от Анны Петровны и Матти. Дар княгини был исключительно изыскан: оправленная в золото мозаичная табакерка, с изображением на крышке знаменитой пирамиды *Caius Cestius*[22]. Я подарила ей большой блокнот для «записок», переплетенный зеленым шелком, а на первой странице написала стихотворение:

Уделом Галатеи, творения Пигмалиона,
Безжизненной и белой, как эта страница,
Было забвенье.
Но радостные лучи живительного света
Пробудили ее для волнующей жизни.
Так и этот небольшой блокнот,
Сейчас белый как мрамор,
Послужит хранилищем сокровенных мыслей,
Проникнется вдохновением и
Подлинной добродетелью,
Засверкает божественной мыслью
Вашего ума.

К. Вильмот

Анна Петровна подарила княгине золотую тесьму для работы, а мне — флакончик розового масла, Матти преподнесла княгине фланелевый ночной халат, а мне — великолепную золотую цепь. *По случаю именин* с вечерней почтой принесли поздравительные письма от всех московских родственников княгини. Но довольно о дне, предшествующем празднику.

Вечером, когда мы отходили ко сну, приехали князь Дашков и господин Посников. На следующий день все пошли в церковь и снова отстояли службу. Граф Санти, племянник княгини, приехал из Москвы к 12 часам; затем прибыли генерал Елагин с семьей и многочисленные соседи. Можете представить себе грандиозный стол, стонущий под тяжестью яств, во главе которого сидела княгиня, а я — по правую руку от нее. Нам пришлось принимать поздравления от всей компании по-русски, по-французски и по-английски: каждый вставал со сверкающим бокалом шампанского и поздравлял нас *с именинами,* а все остальные пили наше здоровье. Гости сидели допоздна и остались на следующий день, проводя время за музыкой и картами.

В пятницу мы поедем в Москву, а до тех пор придется вам довольствоваться тем, что делается в Троицком. По-моему, я никогда не поднималась с тобою вместе вверх по лестнице. Тогда закинь шлейф своего платья на плечи и пройди по этим каменным ступеням. После второго лестничного марша поверни налево, в вестибюль. Тут собраны все портреты семей Дашковых и Воронцовых. А теперь войди в гостиную, или, вернее, в залу для танцев, она действительно великолепна. А какое замечательное там изображение Екатерины II в полный рост: на серой лошади, одетая в гвардейский мундир — так она выглядела 28 июня 1762 года,

в знаменательный день русской революции. Портрет отражается в зеркале напротив, и кажется, что императрица скачет к вам, так как ваши жесты создают впечатление движения. Слева от нее прусский король, ее современник; а это — несчастный Станислав, король Польши[23]. Полы из наборного дерева различных пород, так же как и мебель. А теперь пройдем во вторую гостиную, она прелестна! Только подумай об этой необыкновенной женщине, которая не только сама спланировала дом, но и своими руками помогала каменщикам строить его. Несколько комнат далее не стоят внимания, это спальни. Следует подняться еще выше, в библиотеку, здесь собрано бог знает сколько тысяч томов на разных языках. Из этой залы открывается вид на окружающую местность, а потолок поддерживается опорами, каждая из которых — книжный шкаф. Выше — аптечный зал etc. [...]

[СЕСТРЕ АЛИСИИ]

8 декабря [1805 г.]

[...] А теперь можно пойти погулять в сад, пройтись по аллеям — мы ходим здесь каждый день, и снег совсем не помеха. Если ты найдешь, что слишком холодно, можно зайти в оранжерею. Княгиня очень любит тропинку, петляющую среди берез,— она ведет к холму, на котором высится гранитный монумент, посвященный восшествию Екатерины на трон! Позади него — келья отшельника с высеченными из камня сидениями, устланными мхом, а за ней начинаются лесные дебри. Но как глупо говорить о лесах, кельях и извилистых тропинках в такую погоду! Лучше вернемся в мою комнату, в которой я всегда завтракаю и которую я не покидаю раньше часа или двух, когда мы идем обедать.

[...] На огромный квадратный стол подают суп, фаршированные яйца, гидромель или квас, жареное мясо с солеными огурцами, осетровую икру, молочного поросенка со сметаной, кашу (это общее название для крупы, запеченной со сливками). А может быть, ты захочешь рыбного супа? Дичи? Птицы? Овощей? Яблочного пирога? Крымских или сибирских яблок? Киевских засахаренных фруктов? Медовых сот? Варенья из роз? Маринованных слив? Умоляю тебя, не ешь больше ни крошки, так как в шесть или семь часов тебе придется сесть за трапезу столь же обильную, под названием «ужин». Пока комнаты окуривают благовониями (а я от этого задыхаюсь), можно пройти извилистым длинным коридором в кабинет княгини, этой доброй женщины! С первого дня нашей встречи уважение, сердечность и любовь сопутствуют каждому слову княгини и любому ее поступку. Она называет меня сестрой, а ее изобретательность в приукрашивании и расхваливании всего, что касается меня, моей семьи или страны, кажется неисчерпаемой. Отмечая эти вещи, я всего лишь верна справедливости и, поверьте, сама по себе не заслуживаю такого отношения,

но в глазах княгини быть сестрой Матти — уже достаточно для того, чтобы проложить человечеству путь к свету. Иногда княгиня с чувством восклицает, глядя на Матти: «Это знак божьей любви ко мне. Моя дорогая деточка из уважения к моему имени покинула отчизну и, поверив мне, приехала из далекой страны! Скажи мне, скажи, сестра *Кайти,* что мне сделать, чтобы доказать свою любовь и благодарность ей?» Раз в три или четыре дня я вновь и вновь слышу это, произносимое с удвоенной силой. Может быть, ты не поняла, что я имею в виду свое имя, написав его так, как она его произносит на ломаном английском, но это действительно очень смешно.

Свои «Записки» княгиня посвятила Матти, и однажды меня позвали в кабинет, чтобы я прочла это посвящение. Оно очень изящно, и искренняя любовь, восхищение, привязанность и благодарность, звучащие в нем, без всякого сомнения, самое благородное свидетельство уважения одного человека к другому.

Приехав, я не раз размышляла, как нелегко будет попытаться описать характер княгини. Думаю, что это совершенно невозможно. Она настолько оригинальна и сложна, что результатом явится описание клубка противоречий человеческой натуры. Без сомнения, она из той же плоти и крови, что и мы, но тем не менее рассмотрение отдельных ее черт не даст никакого представления об их совокупности! Любое обобщение мигом уничтожит индивидуальность. Если взять мои представления о ней, то княгиня — само совершенство, подобно этому ты можешь считать Европу раем, живя в Италии и полагая остальные страны подобными ей. Княгиня переменчива, как погода, в душе ее собраны воедино волнующиеся океаны и разрушительные огнедышащие вулканы, дикие пустыни и скалы. Полагаю, она была бы на своем месте *во главе государства* или занимая пост генералиссимуса или министра сельского хозяйства. Да, она была рождена для больших дел, и это не противоречит жизни женщины, которая в 18 лет возглавила революцию, а впоследствии в течение 12 лет управляла Академией Наук.

Ты мне ни за что не поверишь, если я замечу, что у княгини нет чувства юмора. Не думаю, что она понимает шутки. Приведу случай во время вчерашнего обеда. Княгиня сказала Матти, что стыдно не нюхать табака, имея 7 или 8 великолепных табакерок, и шутливо спросила меня, какого наказания заслуживает Матти. Мы с Анной Петровной серьезно предложили, чтобы княгиня поступила с носом Матти так же, как с саженцами на аллеях: его следует посадить, ожидая пока не вырастет роща носов для этих табакерок. Княгиня чуть не заплакала и решила, что мы ничуть не лучше мясников. Она немедленно переменила тему разговора.

15 декабря [1805 г.], вечер, Москва

Мы только что приехали сюда после самого ужасного путешествия, но радость от прибытия в Москву омрачена печальной вестью — умер любимый брат княгини, великий канцлер. Это — страшный удар!

Я должна идти в постель, так как все мои кости болят после дорог, состоящих из ледяных гор и ущелий!

СЕСТРЕ АЛИСИИ

Москва, 18 февраля 1806 года

[...] Я дам тебе отчет о 27 праздничных обедах, на которых мы побывали начиная с 6 января — здешнего рождества. Как ты можешь предположить, я от них немного устала. Их роскошь и блеск вскоре теряют привлекательность, и все удовольствие от этих неестественно проводимых часов пропадает, как только утрачивается новизна зрелища. Не буду входить в детали, так как вращаюсь в кругу, уже описанном в письмах Матти. У меня сложилось впечатление, что я общалась с призраками екатерининского двора. Москва — это имперский политический Элизиум[24]. Все те, кто был у власти в царствование Екатерины или Павла, ныне слишком старые или уволенные Александром, занимают *воображаемые* посты в этом ленивом, праздном и волшебном азиатском городе. Реальная власть уже давно перешла к их преемникам, управляющим империей в Петербурге и суетящимся при дворе.

Тем не менее надменный разукрашенный фантом — князь Голицын, вице-канцлер во времена Екатерины, — сохраняет все свои ордена, звезды и знаки отличия, которые, вдобавок к девяти десяткам лет, сгибают его вдвое. На нем бриллиантовый ключ, лавровая ветвь, украшения и блестящие безделушки — недаром он пользуется уважением своих сотоварищей-привидений, которые в былые времена делили с ним государственные почести. Другой расфуфыренный призрак — граф Остерман, великий канцлер *империи* при Екатерине. Ордена св. Георгия, св. Александра Невского, св. Владимира висят на нем на красных, голубых и разноцветных лентах. Ему 83 года; его старые кости дребезжат в карете, запряженной восьмеркой лошадей. За обедом знатные люди стоят позади его стула. Граф Остерман живет по такому этикету, который полагался ему в дни фавора. Граф Алексей Орлов, вице-адмирал в екатерининские дни, ныне богаче любого князя в христианском мире, он наслаждается азиатской роскошью. Рука, удушившая Петра III, покрыта бриллиантами, а один огромный алмаз закрывает портрет Екатерины, улыбающейся ему в вечной благодарности. А вот еще одно привидение — генерал Корсаков[25], оставшийся в живых фаворит Екатерины: его действительно можно назвать бриллиантовым призраком. Его морщинистое лицо хранит воспоминания о былых почестях, о времени, когда ему завидовала вся страна. Князь Барятинский, князь Несвицкий[26], господин Ржевский и другие заговорщики 1762 года беседуют о патриотизме, шпагах, ключах и других знаках отличия былого величия. Одним словом, вельможи (а мы, как я уже упоминала, увы, вращаемся только в этом кругу) принадлежат к другому миру: те же сплетни о дворцовых грехах,

то же тщеславие, та же надутая спесь, то же хвастовство правит ими и делает их счастливыми либо несчастными, будто могила не грозит им и не зияет пред их дрожащими ногами.

Признаюсь, у меня болит душа, когда я слышу имя *Великой Екатерины* от этих старых глупцов в отставке. Ее однообразно хвалят, в основном вспоминая *свою собственную службу,* а о том, что сейчас происходит в действительности в политической жизни России, я не имею и представления. Они единодушно считают Александра глупым болтуном, офранцузившимся любителем нововведений, мальчишкой, имеющим задатки тирана[27]. Так как сами они покинули вершину государственной власти, им кажется, что корабль империи мечется по волнам в урагане ошибок и нависшей беды не избежать. По правде говоря, я думаю, что Александра не сожгут на костре, как ведьму, по сравнению с Константином он блистает, так как последний стремится не уступить в грехе и пороке Павлу; по крайней мере жестокости, совершаемые Константином[28], могут сравниться с преступлениями римского императора Нерона. Какое бы недовольство ни вызывал нынешний император, общеизвестная мерзость характера брата спасет Александра от судьбы его предшественников [...].

Александр пригласил сына Артура Янга[29] изучить положение дел в сельском хозяйстве, это стало одной из причин непопулярности царя в Москве. Мистер Янг пробыл здесь уже шесть месяцев, ему платят жалованье 1200 фунтов в год. Император приказал московскому генерал-губернатору Беклешову отвечать на все вопросы, возникающие во время обследования. Однако это, кажется, возбудило у крестьян дух недовольства, что, в свою очередь, привело к страху знати перед угрозой восстания. Дворянство обвиняет императора в равнодушии к его интересам и к стабильности положения.

В раззолоченных будуарах сидят богато одетые жены, дочери и внучки вельмож; перед ними танцуют крепостные и курятся благовония, они угощают сладостями визитеров. Всюду приняты французские платья, речь и приветствия, детей обучают манерам французские гувернантки и аббаты. Невзирая на внешний лоск, женщины воспитаны дурно, их поведение неприятно. Это лишь подражание мягкой учтивости французских манер, на самом деле не имеющее с ними ничего общего. Московские барыни оглядывают тебя с ног до головы, целуя четыре, а то и шесть раз, клянутся в вечной дружбе, неестественно и чрезмерно восхваляют тебя, одновременно осведомляясь о цене каждой детали твоего туалета, рассуждают о прелестях предстоящей ассамблеи — и это все! Больше ожидать нечего. Кажется, этим исчерпываются все темы для разговора — разве только еще поругают вульгарность русских ювелиров и похвалят мастерство французов.

Думая об отношении москвичей (впрочем, видимо, вообще русских) к англичанам и французам, я сделала вывод, что они с предубеждением относятся к британцам, в отличие от галлов. К примеру, все, что подано к обеду не от повара-француза, отвер-

гается; если ребенок воспитывается не у француза, то он считается неловким и неуклюжим; любое платье не из Парижа неэлегантно и так далее. Тем не менее, хотя все московские мальчики и девочки с жадностью поглощают французские романы, нет ни одного человека, который не поносил бы Буонапарте и не горевал о лорде Нельсоне[30]. Вообще английскую нацию уважают, но ее обычаи неизвестны, по-английски почти не говорят, английские моды не любят, а отдельных людей критикуют. Есть несколько англичан-путешественников, которых здесь обожают, но они пользуются любовью за то, что несвойственно британцам — умелое вальсирование, владение немецким и русским языками, обращение ко всем «ваше высочество», «ваше превосходительство» и нещадное восхваление всего русского, несмотря на то что сами русские преклоняются перед французским! Я убеждена, что лет через двадцать русское общество офранцузится благодаря романам, парикмахерам, репетиторам, аббатам, поварам и галантерейщикам.

Приведу парочку примеров тому, какое влияние *новое* оказывает на этих горделивых медведей. Княжна Гагарина убежала с итальянским художником, синьором Тончи[31], а племянник княгини Дашковой, Жеребцов, женился на дочери французского гувернера. Просвещению здесь уделяется такое ничтожное внимание, что несколько тривиальных софизмов воспринимается *как черная магия*. 60-летний синьор Тончи вскружил голову 29-летней княжне Гагариной, рекомендуясь как атеист и приверженец *системы теней Беркли*[32]. Он единодушно был признан вдохновенным гением: перед синьором Тончи распахивались двери всех дворцов. Я однажды видела его, он произвел на меня впечатление жулика и шарлатана. Через некоторое время он пошел к московскому архиепископу за разрешением жениться. На вопрос, какую религию он исповедует, синьор Тончи засмеялся и ответил: «Любую или никакую!» Это вызвало всеобщий ропот. Тем не менее на следующий день он сказался православной веры и, согласно этому, женился. Об этом мне с омерзением сообщили четыре толстых князя. Происшедшее событие обсуждалось в течение девяти дней [...]

Увы! Наше пребывание в Москве подходит к концу. Тут теплее, чем в Троицком, и мы с Матти каждый день гуляем по глубокому снегу неподалеку от дома, чем немало развлекаем русских, которые буквально никогда не ходят пешком.

Недели три тому назад мы наблюдали очень любопытное зрелище. Как-то раз я посетовала княгине на то, что, бывая лишь в высшем свете, совершенно не видим многих национальных черт; хотелось бы познакомиться с жизнью купцов, кабатчиков, лавочников и прочих. Княгиня очень живо отнеслась к моей просьбе и предложила нашей компании отобедать в самом знаменитом московском трактире. Все было совершенно в русском стиле, блюда — их было, думаю, не меньше сотни — только русской кухни. В довершение всей картины во главе стола сидела *la Maitress*

*d'Hôtel**, в платье с золотым шитьем и украшенная бриллиантами. Ее лицо, руки и шея были раскрашены, как у куклы,— это тоже русский обычай. Прислуживали нам сорок бородатых слуг, одетых в разноцветные кафтаны с засученными рукавами. Юноша играл на органе; он ежегодно платит хозяину трактира несколько сот рублей, и это лишь небольшая часть его заработка. После кофе и десерта для нашего развлечения привели цыган. На цыганках были шитые золотом парчовые шали, прикрепленные к одному плечу, в ушах монеты. Как великолепно цыгане исполняли цыганские и египетские танцы! Они выглядели в точности, как танцующие фигурки, найденные в Геркулануме и Помпее. Их темперамент переходил в неистовство, а движения, сопровождаемые резкими выкриками, производили впечатление чего-то дикого и сверхъестественного: было просто невозможно представить цыган жителями этой сонной планеты.

Только что я поднялась к себе, оставив нескольких обычных визитеров. Чувства уже несколько притупились, поэтому меня в настоящее время не так поражают здешние манеры, во многом отличающиеся от тех, к которым я привыкла. Например, ни один человек не осмеливается сесть без приглашения в присутствии более высокопоставленной особы. Княгиня в эту минуту, сидя на диване, *ведет беседу*, а полдюжины князей стоят перед ней со шляпами в руках. Визитеры в небольших чинах редко проходят в комнаты, а чаще стоят за дверями, переминаясь с ноги на ногу. Субординация имеет неограниченную силу в Москве: слово *дворянин* не уравнивает людей в правах, так как благосклонность властей и награды имеют решающее значение для положения в обществе любого человека. Поэтому сморщенные старики и дряхлые старухи всемогущи, так как у них больше наград и знаков отличия, чем у молодежи. В Москве очень немного воспитанных и приятных молодых людей, они делают карьеру при дворе или в армии. Их заменяет стая неоперившихся юнцов: одетые в новые костюмы, напудренные и напомаженные, они неслышной походкой появляются у дверей, пытаясь пробраться в этот ужасный мир старших, а французы-наставники смотрят, какой эффект произвел первый поклон их воспитанников. Господи, насколько глуп этот мир! [...]

Взгляни на печатку на письме, вчера я получила ее от княгини в подарок; она вырезана из драгоценного камня. Семь звезд, или Большая Медведица, — сама княгиня, огонь на алтаре символизирует эмоции, которые она зажгла во мне. Гравировка по борту печатки выражает эти чувства.

Матти просит передать тысячу приветов. У меня есть место лишь упомянуть об их числе.

Спокойной ночи.

Екатерина Романовна.

---

* Хозяйка (*фр.*).— *Пер.*

АННЕ ЧЕТВУД

Троицкое, 21 марта по новому стилю, 1806 год

[...] Когда я начала писать тебе ответ, дорогая Анна, из-под моего пера раздались печальные стоны; вой зимней вьюги, оплакивающей кораблекрушение, не может звучать пронзительнее, горше и безнадежней, чем эти слова. Они бы вызвали у тебя лишь чувство жалости; однако я быстро встала из-за стола, позвала Элеонору, и мы начали распаковывать дорожные сундуки, переставлять мебель — занялись обычными делами после приезда из Москвы. Боже, сколь красноречивы должны быть выражения, повествующие об ужасах путешествия в России! Ровные торговые дороги внезапно становятся огромными холмами перепаханного замерзшего снега, через которые нужно продвигаться, с глухим стуком проваливаясь в ямы такого же размера. В этих ужасных ухабах иногда приходится сидеть минут по двадцать. Несчастные лошади падают от усилий, стараются вытянуть экипаж, вновь и вновь понукаемые десятками слуг, которые с обеих сторон подталкивают карету. Кроме того, карета, в которой выпало несчастье ехать мне с Анной Петровной, была доверху набита подушками и несессерами; ехала в нем и одна из собак. Всего было восемь экипажей — когда во вторник утром наша кавалькада вытянулась у ворот Москвы, нам не хватало лишь нескольких слонов, чтобы изобразить индийскую армию. Вдобавок к нашим страданиям, шишкам и синякам, слабости и невыразимой усталости должна заметить, что мы были совсем не в настроении уезжать из Москвы, еще недель шесть по крайней мере. Я имею в виду Анну Петровну, Матти и себя, но, что касается княгини, она лишь с трудом скрывала свою радость, ведь ее ежегодные поездки в Москву — жертва, приносимая другим, сама же княгиня никогда не хочет покидать Троицкое. [...]

Матти с княгиней приехали раньше нас; сестра почувствовала недомогание, сильно простудив горло, и лежала на софе, а весь дом сбился с ног в поисках действенного снадобья. Сейчас она уже поправилась, а когда лежала в кровати, добросердечная княгиня ни на миг не отходила от нее, своими руками поправляя ей постель, смешивая лекарства, прикладывая припарки к ногам! Лишь самыми настоятельными увещеваниями мы убедили княгиню не сидеть после такого путешествия всю ночь у постели больной. Ее забота и внимание почти полностью заменили услуги *femme de chambre*. Она говорила так: «*Ecoutez, ma chère* (послушайте, дорогая) Кэти, сегодня из Польши m'ont envoyé (мне прислали) ренту, две тысячи гиней. Я бы бросила их на дно реки, если бы это помогло моему маленькому ангелу...». В другой раз Матти сказала княгине, чтобы та не забывала о том, что эта болезнь заразна.— «Что с того? *Un motive encore plus fort* (тогда тем более это причина) взять эту болезнь на себя. Я уже молилась об этом всемогущему господу богу». Ее восхищение Матти превосходит любое воображение, а чувства нужно бы выражать стихами,

однако я передаю их *ее собственными словами*, что является для меня постоянным источником *развлечения*.

Во всем, что она говорит и делает, наряду с некоторой *naiveté* (наивностью), проявляется серьезность и искренность. Разговаривая со мной о Троицком, которое она обожает, княгиня протерла подолом юбки окно, чтобы взглянуть на пейзаж, и воскликнула: «Дорогая сестра Кэти, умоляю, давайте полюбуемся прекрасным Троицким. Посмотрите, видели ли вы *même en Angleterre* (даже в Англии), не говоря уж об Италии или Франции, а ведь это очень живописные страны, такой превосходный и притягательный вид, как *cette superbe praire à l'autre coté de la rivière* (этот великолепный луг на другом берегу реки)? Скажите мне правду, разве это не *un vrai paradis* (истинный рай?)».— «Но, княгиня, я не вижу ничего, кроме снега. В октябре, когда еще зеленел лес, все было изумительно, но сейчас я не могу разглядеть ничего, абсолютно ничего из того, о чем вы говорите».— «*Cependant, ma chère amie, avec votre esprit* (однако, дорогой друг, с вашим умом) вы могли бы вообразить другое время года! *Passons le dessus* (подождем немного), скоро деревья распустят листочки, и вы признаете, что *jamais, jamais* (никогда, никогда), ни за какие сокровища, вы не найдете такого очаровательного места, как Троицкое. *Et pourquoi, mon enfant?* (А почему, мое дитя?) *Я все сделала своими руками,* работала вместе с каменщиками, сажала саженцы в ямки, чертила планы, а тысяча моих крестьян помогали мне. Я тогда не была так богата и все рассчитывала сама».

23 марта [1806 г.]

Не помню, о чем собиралась писать тебе позавчера,— ко мне в комнату зашла княгиня. В руке она держала большую апельсиновую кожуру, в которую было вмято ожерелье из четырех ниток изумительного восточного жемчуга. Она попросила меня сказать Матти, что аптекарь послал ей это для лечения горла. Эта шутка обрадовала ее до такой степени, что она, не переставая торжествовать, расхаживала большими шагами по комнате, ругала всех врачей на свете и наслаждалась тем, как она высмеяла их, послав жемчуг вместо пилюль. Дают ли тебе эти пустяки представление о ней? Княгиня — самая большая чудачка на земле, правда, причины, позволяющие мне это утверждать, никак не связаны с приведенными фактами.

Но давайте перенесемся в Москву и поднимемся на самую высокую башню — две недели назад с нее мы с Матти осматривали город. В сопровождении двух или трех *traineaux** мы приехали в Кремль, который высится в центре города за крепостной стеной. Имперский орел простирает золотые крылья среди блещущих шпилей и крестов, увенчивающих тысячу кремлевских церквей. В сопровождении мистера Рованда мы поднялись на колокольню

* Сани *(фр.)*.— *Пер.*

Ивана Великого, откуда открывается самый широкий и удивительный вид. Река, серебряным полумесяцем рассекающая город, чудесно оживляет картину. Сотни огненных ливонских, арабских и татарских скакунов несутся по ледяной дорожке, отмеченной зелеными ветвями, а правят ими кавалеры, сидящие в маленьких *traineaux,* похожих на раковины. Храбрецы так разгоняются с огромных ледяных гор, что этот спуск можно сравнить лишь *с полетом*. Лед на отдаленной части реки усеян прорубями, и ряды прачек, сгибаясь, выжимают белье несмотря на стужу. На лед вытаскивают корзины с рыбой, огромные, как хижины, — это очень предусмотрительно в преддверье великого поста. А как красиво русское небо! [...]

Тысячи деталей придают Москве вид азиатского города! На шпилях церквей чуть ниже крестов блестят полумесяцы — символ триумфа христианства — их сияние смешивается со сверканием золотых куполов. В окружности 26 миль от Кремля простираются общественные и частные сады, яркие колокольни, театры, арки, больницы и монастыри, колоссальные дворцы, охраняемые рычащими монстрами и окруженные заборами. На стенах церквей золотой лучистой краской изображены гигантские фигуры святых, и тысячи людей крестятся и падают ниц перед ними со страстью, похожей более на идолопоклонство, чем на религию. Затем они поднимаются и, покрикивая на своих лошадей, везут на санях глыбы льда в погреба знатных горожан. Дома окаймлены бахромой из сосулек, подобных кристаллам, пушистый снег лежит на ветвях деревьев, замерзшие бороды крестьян свисают поверх цветных кушаков. Эти картины вносят разнообразие в простирающуюся пелену снега, который скрывает окрестности и блестит, как жемчуг, на окружающих холмах, где стоят уединенные монастыри, уходящие в туманную неопределенность бесконечной перспективы и теряющиеся в дымке кружащихся облаков.

После того как мы с тобой поднялись на вершину Ивана Великого, позволь теперь спуститься в Троицкое, чтобы немного отдохнуть в этом феодальном поместье. Да! Я знаю, что Москва утопает в роскоши, а Петербург европейский город, но случалось ли тебе видеть невежественную, неуклюжую и шумную девочку в чудесной парижской шляпке? Эта империя напоминает мне такого ребенка. Глухое невежество даже не XII, а скорее XI века — основа этой громадной страны. Без сомнения, лет через 500—600 Россия встанет в один ряд с остальной Европой. А пока не надо торопить время и убирать подпорки до тех пор, пока растение не окрепло в достаточной мере и не выпрямилось. Какие-либо срочные меры лишь пригнут цветок к земле — Россия не увидит свободы и цивилизации!

Но давайте спустимся в залу, где десятки крепостных с хлебом-солью ждут княгиню. При появлении хозяйки они падают ниц и целуют землю с таким бессмысленным почтением, как будто приветствуют высшую силу! Княгиня милосердна; участь ее крестьян гораздо лучше, чем крепостных других хозяев, но это никоим образом не улучшает систему в целом. Каждый дворянин всемогущ. Он может быть ангелом или дьяволом! Шансов стать

дьяволом гораздо больше, потому что тот, кто не развратился под влиянием неограниченной власти, действительно должен быть похож на ангела. Я рассматриваю каждого дворянина как железное звено массивной цепи, опутывающей это государство. Встречаясь с представителями знати в Москве, я постоянно помнила, что они являются порождением системы деспотизма, в их суждениях «*хорошо*» или «*плохо*» становится синонимами «*быть в милости*» или «*быть в немилости*». Чувство, *естественно* возникающее в человеке, всегда уступает место *официальному*, и степень уважения той либо другой персоны может быть легко вычислена по придворному календарю.

Мне нет нужды гадать о добродетельности того или иного русского придворного, достаточно посмотреть на его платье: носит ли он четыре важнейших, непогрешимых атрибута достоинства — красную ленту ордена св. Александра, голубую — св. Андрея, св. Георгия и св. Владимира. Желание погреться в лучах, испускаемых троном, столь велико, что придворные стремятся получить любой знак милости от престола. Результаты подобных отношений очевидны: знатные москвичи, живущие вдали от Петербурга, не могут не чувствовать себя ущемленными — в имперской диадеме их жемчужина не самая яркая. Ясно слышу, как ты восклицаешь: «Так почему же ты сожалеешь об отъезде из Москвы?» Отвечу — совсем по другим причинам. Конечно, смешно сравнивать Москву с Парижем или Неаполем в отношении развлечений, увеселений или духовной жизни. Подобные сравнения нелепы, и они никогда не пришли бы мне в голову, если бы не стремление русских во всем подражать французам — в платье, языке, манерах, да и во всем образе жизни. В языке и одежде они преуспели, а что касается манер (в особенности манер молодых женщин), то они самые грубые, вульгарные и невежественные. Разговаривая с молодыми англичанами, с которыми мы познакомились этой зимой в Москве, я спросила их об общем впечатлении, и их мнение почти полностью совпало с моим. К тому же они заметили, что молодые люди ни на йоту не лучше женщин. Вот, например, во время бала к прекрасной княжне подходит молодой человек и приглашает ее на танец. Он едва заметно кланяется, поворачивается и уходит к танцующим, предоставляя ей следовать за ним в одиночку. Они танцуют (очень неизящно), а как только танец кончается, он вновь кланяется, а она делает реверанс, и они расходятся, не сказав друг другу ни слова.

Уф! Давайте лучше поговорим о приятных вещах: я в восторге от воздуха, климата, катания с ледяных гор, прогулок на санях, бани, русских печей, теплой русской одежды. Кроме того, мне очень по нраву обычай завтракать у себя в комнате. К сожалению, я не слишком много гуляю, так как каждого, кто не имеет привычки сидеть взаперти, считают сумасшедшим. Тем не менее каждый день я совершаю пешие прогулки перед завтраком и перед обедом. С тех пор как я переболела желтухой, у меня не было даже и малейшей простуды [...]

Мне бы хотелось, чтобы ты задавала мне вопросы — я отвечу на них в своих письмах, так как мне кажется, что тебе не по нраву пустота и никчемность моих посланий, они не оставляют в твоем уме никаких следов. Почему бы мне не написать о единорогах, кентаврах и страшных гидрах, которых рисует твое воображение? Кстати, я могла бы поговорить не о рогатых чудищах, но о рогах. Я имею в виду те самые знаменитые рога, которые возвысили эту нацию и прославили ее,— роговую музыку. Я затаила злость на нее на всю жизнь: в надежде услышать роговую музыку мне пришлось за пять часов побывать на трех балах, и лишь на последнем мне повезло. Оркестр состоит из сорока человек (лучше бы они сражались за родину, чем всю жизнь играть в оркестре), и каждый держит рог у губ. Все же эта картина более удивляет, чем доставляет удовольствие, а, по-моему, удивление — это чувство, по праву принадлежащее клоунаде арлекина, одному из самых низких проявлений божественного духа, который освещает человеческую душу.

Итак, дорогая Анна, мне нечего добавить к сказанному.

К. В.

ПРЕПОДОБНОМУ ДЖОНУ ЧЕТВУДУ

14 октября 1806 года, Троицкое

[...] Дабы искупить наши грехи, давайте подойдем к гробнице св. Димитрия (некогда грешника, как и мы), откуда мы тронулись в путь из Москвы во вторую неделю августа при 33-градусной жаре! Однако пока немного задержимся в Москве, где на самом деле мы пробыли 8 дней, чтобы ознакомиться с новинками летнего сезона. Зимой, когда блестящий снег сияет под яркими северными звездами, мир походит на алмазные россыпи. Все выглядит совсем не так в желтых лучах бесконечного солнечного сияния, которое, отражаясь от тысяч золотых куполов, шаров и шпилей, ослепляет в течение всего дня.

Слово «мучение» слишком слабо, чтобы выразить то, что вынесла моя голова от непрекращающегося колокольного звона, а что касается мух и жужжащих комаров, то никакая южная страна с тучами ядовитых москитов не может сравниться с Россией в этом отношении. Но, чтобы быть справедливым, надо заметить, что летними вечерами московские бульвары[33] и сады очаровательны. [...] В числе обширных парков при дворцах частных лиц не менее 14 английских акров земли в самом центре города заняты парком в стиле Воксхолла при доме великого канцлера графа Остермана. Роскошь цветочных рынков не уступает Ковент Гарден[34], а что касается фруктов, то их изобилие превосходит все, что я видела. Впрочем, это не удивляет, когда вспоминаешь, что теплицы здесь — насущная необходимость. Их в Москве великое множество, и они достигают очень больших размеров: мне приходилось прогули-

ваться меж рядов ананасных деревьев — в каждом ряду было по сто пальм в кадках, а на грядках оранжереи росли другие растения. Однако предпочтение отдается арбузам, они очень хорошо освежают во время этой ужасной жары. К счастью, арбузы появляются именно в этот сезон. Они бывают чудовищной величины: я видела экземпляры достаточно большие, чтобы человек мог в них спрятаться. Прежде чем оставить разговор о фруктах, я хочу отдать должное красоте сибирских яблок: они огромные, совершенно прозрачны на вид и гораздо вкуснее любого другого сорта. [...]

Как я уже сказала ранее, мы покинули Москву вечером 11 августа, сопровождаемые двумя помещиками, родственниками княгини. Мы проехали 43 версты в северном направлении по самой восхитительной местности: по дороге встречались императорские резиденции, чудесные летние домики купцов, помещичьи усадьбы. По правую руку от дороги в окружении лесов стоит знаменитый дворец графа Разумовского[35], вокруг него вьется речка. Затем мы миновали поместья господина Муромцева и князя Голицына с парками, отражающимися в голубых озерах, в которых плавали лебеди, лодки, где наведены плавучие мосты. Наконец мы приехали к госпоже Небольсиной, у которой провели несколько времени перед посещением Троицкого монастыря. У хозяйки дома мы обнаружили веселую компанию местных помещиков, собравшихся, чтобы встретить нас — были музыка, развлечения и ужин. Очень бойкая вдова, госпожа Небольсина живет королевой в своем владении. Ее дом в английском стиле окружен аллеями, садами, лесами и полянами. Утро мы посвятили осмотру богатого хозяйства: бань, маслодельни, конюшен — все устроено по английской методе, а после обеда в открытых экипажах поехали в соседнюю деревню Купавна, чтобы осмотреть мануфактуру князя Юсупова[36], где выделывают безупречные шали и шелка; те, что были на ткацких станах, ничуть не хуже шелков, что я видела в Лионе. На фабрике Юсупова работают 700 государственных крестьян, он связан определенными обязательствами и отвечает за все неполадки; у него также есть бумажная фабрика и часовой заводик.

На следующий день был праздник водосвятия[37]. Не успели мы отъехать от дверей, чтобы продолжить путешествие, как нашему взору предстала поистине театральная процессия: священники поднимали золотые кресты и образа, размахивали хоругвями, а за ними шли все жители деревни в праздничных одеждах. Они двигались вдоль кромки воды, совершая различные церемонии, пел церковный хор.

До Троицкого монастыря нам осталось 58 верст. К счастью, почти весь оставшийся путь мы ехали в окружении лесов, в которых стояли возвышающиеся среди листвы замечательные усадьбы, описание которых я уже дала. При каждой усадьбе выстроена церковь с колокольней, сияющая золотыми куполами, цепями и крестами над зеленью лесов, раскинувшихся по всей стране. Однообразие лесов

нарушают лишь поля волнующейся желтой пшеницы и овса; обилие полевых цветов создает очень привлекательную картину.

Мы путешествовали весь день и всю ночь и приехали в Троицкий монастырь[38] лишь в 6 часов утра. В нашем распоряжении был маленький деревянный домик, но мы решили не останавливаться в нем, а превратили наши кареты в постели и задремали под прикрытием огромного навеса, где уже стояли всевозможные экипажи; лошади, сбившись в кучу, ржали и лягались. Увы! Ужасы путешествия по России, особенно в самые жаркие месяцы, и страдания, испытываемые путешественниками, могут быть сравнимы с муками Иова[39], и тот, кто испытает их на себе, поймет, сколь большим терпением надо обладать, чтобы это перенести. Правда, перед нами ехал экипаж с поварами и кухонной утварью, у нас был даже дворецкий и буфет с серебряной посудой, так что в этом отношении мы были в очень хорошем положении.

Но более вас должно занимать описание древнего монастыря. Окруженные нашими четвероногими друзьями, мы открыли глаза и увидели его готическое великолепие и стены с бойницами, давшие приют Петру I, когда во время стрелецкого бунта он, по мудрому совету сестры Софьи, нашел здесь убежище[40].

Хотя Екатерина II подрезала крылья святому братству, отобрав у монастыря за пустяковое возмещение 70 тысяч крестьян[41], монахи, отрекаясь от суетности мира, ежегодно получают 20 тысяч рублей дохода от паломников, которые толпами прибывают из всех губерний империи, чтобы приложиться к мощам св. Сергия, лежащим в *чудотворной раке,* покрытой золотой парчой с бахромой из восточного жемчуга. Два священника, которые читали молитвы у гробницы, открыли ее при появлении княгини Дашковой. Княгиня пожелала поцеловать крест святого и его высохший черный палец. Тело было закрыто покровом с малиновой вышивкой, а деревянная голова несла корону из драгоценных камней. В гробнице лежат различные украшения — ордена, портреты, оправленные бриллиантами, алмазные кресты, царские монограммы и другие безделицы, собранные, как в обители колдуна, как раз в том самом святилище, которое создано во имя отречения от подобной роскоши, под угрозой быть унесенным в преисподнюю на крыльях имперского орла. Этот орел фигурирует в клятве, произносимой при вступлении в сан епископа, и еще в подтверждение этого многие святые (мне кажется, я видела тысячи их), изображенные на стенах церквей, стоят на распростертых крыльях орла. Нынешний архиепископ Платон[42], которого считают одним из наиболее примечательных людей России,— владыка этого монастыря. В нем смешалось все, что противоречит религии и устройству этого государства, но он так держит себя, что вызывает благоговение, как полубог. Благодаря своему влиянию и уму он достиг такого положения, что внушает почтительный страх при дворе; все считают его железным колесом в политической государственной машине. После того как мы хорошенько окурились ладаном у гробницы, где ежедневно совершаются чудеса, кучка монахов в черных рясах

провела нас на осмотр сокровищ монастыря. Они находятся в нескольких комнатах, стены которых, наподобие музея, закрыты стеклянными витринами. Тут выставлены различные одежды (числом по крайней мере 500), покров престола, на котором не могут стоять святые дары, если в ткань не зашиты частицы реликвий мученика, священные сосуды и покаянные подношения магдалин, царей, епископов и других грешников — все это являет собой образец восхитительной восточной роскоши и богатства. Исключительно красивы потиры, присланные Екатериной II; они вырезаны из оникса и великолепно украшены бриллиантами; один — целиком из гелиотропа[43], а основание и ручка — из опала, другие — из чистого золота и жемчуга! На одеждах я увидела маленький ярлычок, о значении которого спросила, и мне ответили, что это указание веса жемчуга на вышивке каждого платья. Иногда вышивка весила 8 фунтов, иногда — 10, а то и 12. Напрестольные пелены также вышиты жемчугом — их несколько дюжин; выставлены календари святых и добрая сотня святых Марий — их оклады украшены изумрудами, аметистами, рубинами, топазами и сапфирами! Одним словом, сокровища, накопленные веками, собраны в поразительном изобилии, но что касается исторических документов — я этого сказать не могу. Несколько раскрашенных славянских рукописей евангелистов 500-летней давности — единственное достояние их библиотеки.

Чтобы дать отдых глазам от этих сияющих масок идолопоклонства, мы взобрались на самую высокую колокольню[44] поглазеть на окружающую красоту, и среди тысячи живописных объектов «Эрмитаж» архиепископа Платона особенно поразил нас. Мы его впоследствии посетили.

Дабы сохранить святой дух нашего путешествия, мы на следующее утро сказали «прощай» русскому Лоретто[45] и, проехав с рассвета 30 верст, остановились в деревне Тириброво Владимирской губернии, где отдохнули часа четыре в риге, в то время как на краю леса зажгли костер под голубым сводом неба и нам сервировали и подали обед. Когда мы дремали на сене, наши девушки, вооруженные зелеными ветками, отгоняли мух от наших усталых голов, а я глубоко заснула, и мне приснилась трогательная погребальная ода вашего сочинения, которую музы будут петь над моими останками!

Как только жара немного спала, мы проехали еще 30 верст и остановились на ночлег в знаменитом городе Переславле, расположенном на еще более известном озере. Именно на этом озере, чудесно отражающем звезды голубых северных небес, с раскинувшимся на берегах подобно сияющему полумесяцу городом, Петр I впервые проявил свои морские наклонности[46], что впоследствии послужило толчком к поспешному развитию России и превратило ее в то, чем она является в настоящее время после веков темноты. Озеро само по себе понравилось нам, несчастным пилигримам, гораздо больше, чем его героическое прошлое. Кроме того, оно снабдило нас отличной свежей селедкой на ужин; может быть, эта селедка и явилась причиной той *скрытой привязанности*, которую

питал к озеру деспот, и заставила его победить природную антипатию к воде. Он выстроил дворец на берегу, где, без сомнения, в *кухонном раже* поглаживал себя по брюшку и чувствовал себя героем! Я слышу, как вы говорите: «С каких же пустяков начинаются великие дела!» Некоторые биографы Петра не оставляют сомнений в вульгарности его наклонностей.

На следующий день мы проехали еще 60 верст и вечером прибыли в святой город Ростов, где, по обыкновению, княгиню у ворот встречали городские начальники, одетые в официальное платье. Держась рядом с каретой, они проводили нас до дверей собора, где все, смешавшись, прошли к серебряной гробнице св. Димитрия, и после нескольких поклонов нас передали священникам, которые сообщили, что на следующее утро в 10 часов будет служба и княгиня сможет поклониться реликвиям.

Если вы хоть вполовину моего устали от всех этих почтенных канонизированных старцев, вы примете разумное решение оседлать белоголовую лошадь и иноходью проскакать по владениям мистера Лаутона или добавить несколько строф к моей эпитафии, так как следующее утро будет не лучше, чем в Троицком монастыре: будут и кадила с ладаном, и целование старых сухих костяшек, слушание непостижимых богослужений, созерцание блестящих побрякушек на могилах тех, кто стал святым, отрицая мирские блага! Могу поклясться жизнью, что вы предпочтете увидеть массивные двери собора запертыми и лучше будете стоять в разношерстной толпе, через которую к княгине идет архимандрит, чтобы предложить ей свое гостеприимство. Этот почтенный пожилой господин с волосами до плеч, седой бородой, одетый в свободные одежды, проводил нас в свою, как мы думали, келью. Каково было наше изумление, когда мы увидели куполообразные своды, итальянские фрески, череду прекрасных светлых и элегантно обставленных комнат, украшенных великолепными портретами. Под малиновым балдахином, куда села княгиня, был накрыт стол с разнообразными яствами — почтенный хозяин очень любезно попросил нас их отведать. Он велел прислуживающим монахам принести чай, кофе, сладости, шоколад. Все это было принесено на больших подносах, а стихари, реющие в воздухе, образовали самую странную помесь плотского и духовного.

Мы еще не завершили свой визит, как в сопровождении группы дам к архимандриту зашла бывшая княгиня Разумовская[47], ныне странствующая монахиня. Она была заметной фигурой при блестящем дворе Екатерины, но в последнее время поняла, что слишком долго следовала привычкам бывшей царицы и вряд ли сумеет найти утешение в мудрости ее политических теорий. Теперь, в возрасте 60 лет, она негодует и кается, заявляя о своем намерении «предложить богу то, что осталось от дьявола», и решила отречься от мирской суеты и постричься в монахини. Но вмешался жестокий муж и заставил ее оставить свои намерения и продолжить светскую жизнь. Графиня была обязана подчиниться, так как по законам страны замужняя женщина хоть и имеет полную власть над своим состоянием, но не властна над своею судьбою. Поэтому графиня

тратит свое богатство на смывание грехов юности, вышивает бриллиантовые монограммы на покровах святых, устраивает богослужения для спасения душ простых людей. Когда графиня, высокая и величественная дама, одетая, будто монахиня, в мрачное черное платье, с коралловыми четками вокруг руки, появилась в комнате, княгиня узнала в ней старую знакомую по двору, жертву денежных интриг (их здесь толпы), несчастную, которую заставили выйти замуж против ее воли за брата тогдашнего фаворита Екатерины, Васильчикова[48].

А теперь, после того как я рассказала вам о прибежище архимандрита и вы немного пофлиртовали с бродячей монахиней, некогда сияющей Калипсо[49] в этой стране праздников и торжеств, богатства и показной пышности, звона колоколов и тарелок, давайте вновь вернемся в Москву. Мы посетим те же достопримечательности и после девятидневного путешествия появимся в нашем замке — голодные, грязные, сонные, с путаницей в мыслях и другими «прелестями», столь тщательно скрываемыми другими путешественниками, но так хорошо известными тем, кто считает умолчание о чем-либо вероломством по отношению к вашей преданной дружбе!

Через несколько недель мы снова появимся на московской сцене, и я смогу удовлетворить ваше любопытство касательно церемонии крещения в купели. По правде говоря, недавно я видела, как несчастного, покрытого паршой ребенка распеленали и священники с головой окунули его в купель, а, когда его вынули, он вопил, как дьявол! Перед тем, как его вернули нянькам, ему отрезали клок волос, поплевали на него, и священник пренебрежительно бросил волосы обратно в купель как жертву сатане.

А теперь я прощаюсь с вами.

К. В.

СЕСТРЕ ГАРРИЕТ

Троицкое, 21 октября 1806 г.

[...] Матти уже рассказала о всех событиях наших летних походов, да и я недавно писала о них Люси и мистеру Четвуду. О! Если бы я увидела духов в этих отдаленных краях, я бы писала о них. Но мертвые здесь не встают из могил, и воображение не освещает живительным лучом рутину наших повседневных дел в этих северных краях. Это справедливо не только в отношении людей, но и в отношении книг. Я думаю, со времен Тома Тамба[50] не было столь бездарных попыток сочинительства, как здесь. Двенадцать месяцев я умирала от желания прочесть книги этой страны, и, наконец, мне дали одну, настолько знаменитую, что она была переведена на *все языки*, но я уверяю, что автор самого дешевого романа, от которого тает сердце портного, Шекспир по сравнению с тем, которого я прочла. Итак, что прикажете делать? Разговоры среди молодых медведей ведутся лишь о пустяках, а женатые дворяне

беседуют только о семейных делах и расходах. Тебе следует знать, что каждая женщина имеет права на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же независим от своей жены. Следовательно, брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и, если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму, так как он не имеет права ни на один фартинг из ее состояния. Это придает любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые, на взгляд кроткой английской женщины, пользуются огромной независимостью в этом деспотическом государстве.

Сначала я решила, что мужчины заколдованы, когда перед обедом, собравшись в кружок, они демонстрировали табакерки или зубочистки — подарки жен *на именины*, а жены точно так же хвастались подарками от мужей: турецкой шалью, вышитым ридикюлем, сережками или браслетом. Но еще сильнее я удивилась, когда спросила о даме, которая еще не вернулась в Москву, а ее муж ответил, что у той какие-то дела в ее поместье на Украине. Владелица решила продать усадьбу, так как ее удаленность от поместий мужа создает большие неудобства. Если группа дам о чем-то беседует, можно быть уверенным, что это — дела, дела, дела, за исключением тех случаев, когда какая-нибудь кокетка привлечет всеобщее внимание демонстрацией бриллиантового кольца или ожерелья, о котором она немедленно сообщает, что оно стоило столько-то сот крепостных. При значительных сделках земли немилосердно переходят из рук в руки, и крепостные, подобно лесам, также меняют владельца. Это привело меня к одному заключению: земельные владения в России из-за неразумного мотовства знати с быстротой молнии переходят в руки купцов, которые здесь не более чем лавочники. Как и во Франции перед революцией, дворяне ломают все кастовые барьеры и женятся на купеческих дочерях. Тем не менее это, возможно, не приведет к подобному эффекту, так как здесь знатность происхождения не так важна. Довольно любопытно, что Петр I, самый твердокаменный деспот на земле, борясь с засильем аристократии, ввел практику полного пренебрежения к родовитости и, таким образом, образовал в этом отношении самую настоящую республику.

Путеводной нитью в этом лабиринте парадоксов служит военный чин, являющийся единственным мерилом чести. Свободный человек, сын сапожника, которого произвели в капитаны, будет пользоваться старшинством по отношению к самому знатному человеку России, если тот лейтенант[51]. Следовательно, дух аристократии, со всем богатством родословной, из-за которого погибло столько наций и который создал прелестные романсы и поэмы,— такая же чудовищная несообразность для русского ума, как солнечные лучи в огурцах, общественное мнение в России или свобода парламентских дискуссий в Англии. Таким образом, узнав, чего нельзя найти в этом обществе, ты поймешь, чем оно является на самом деле, и не удивишься, услыхав, что всеми чаяниями и страхами управляют эго-

истические интересы. Все упирается в семейные дела, которые обсуждаются здесь очень откровенно: в обществе говорят о родственниках, о капиталах, о своих удачах и неудачах, состоянии, наградах или немилости со стороны власть имущих.

Это письмо лежало несколько дней в моем столе, и я о нем не вспоминала. Я уже не помню, что намеревалась сообщить тебе, и, так как нить моего повествования оборвана, напишу тебе о том, что первое пришло мне в голову: о грузинских князьях, которых я видела в августе в Москве, после нашего возвращения из путешествия, на грандиозном торжестве в Кремле. Причиной торжества послужило заложение первого камня академии губернатором Москвы генералом Беклешовым[52]. Он оставлял службу, и честь заложить первый камень была предоставлена ему новым губернатором, генералом Тутолминым[53]. Валуев[54], управитель общественными работами в Москве, распорядился поставить тенты — под ними собралась вся знать. Архиепископ с толпой священников освятил камень, и тот был заложен с подобающими церемониями под звуки оркестра и пушечный залп из крепости. В разгар этой суеты мне в глаза бросилась группа грузин — они были подпоясаны замечательными турецкими поясами, в желтых сапогах, с кружевными платками, а их руки были унизаны бриллиантовыми перстнями. Их подвели к княгине для представления, и они сделали это очень неловко, так как не знали этикета. Эти грузинские князья являются как бы пленниками императора: их страна долгое время была под игом России, но подчиниться они не желали[55]. Их предводитель, надменный бесстрашный усатый варвар, объединился с персами и был захвачен в плен в бою. Его сын, красивый юноша 17 лет, стоял рядом с ним, и лицо его выражало печаль. Отец, напротив, казался заинтересованным новыми для него европейскими картинами и постоянно спрашивал переводчика обо всем, что происходило, в то же время своим видом выказывая высокомерное презрение к окружающему. Во время блестящего банкета, завершившего торжество, я сидела напротив падшего короля и его азиатской свиты и развлекалась, глядя на их усы, голые шеи, пояса и алмазные кольца сквозь ветви фруктовых деревьев, затенявших стол.

А сейчас я поведаю тебе другую небольшую историю — о празднике в честь княгини Дашковой, устроенном Дурасовым[56] в роскошном поместье в 17 верстах от Москвы через два дня после описанного торжества. Он унаследовал неслыханное богатство от отца, владельца сибирских рудников, который получил дворянство. Мать Дурасова была раскольницей — эта секта находится в таком же отношении к греческой церкви, как методисты — к лютеранской. Когда она умерла и была похоронена мужем, раскольники вечером выкрали ее тело и захоронили его в соответствии со своими ужасными обрядами. Несомненно, что эти интересные обстоятельства должны пробудить твой интерес к сыну — наследнику земной и духовной благодати. А если б ты видела райский уголок, в котором он живет! Его жилище — мраморный дворец с колоннадой, опоясывающей первый этаж, за исключением центральной части, которая поднима-

ется высоким куполом и служит банкетным залом. Своды покрыты великолепной росписью[57] — Амуры и Грации, Аполлон и Музы, Аврора и Оры[58].

Все гости собрались на открытой колоннаде — мраморные ступеньки покрыты благоухающим ковром из арабского и персидского жасмина, гвоздики, роз, герани. Ступени ведут к затененной деревьями лужайке у края воды. С этого восхитительного места можно увидеть кущи деревьев и поляны, рощи и озера, долины и холмы, раскинутые тут и там, а завершают картину блестящие купола Москвы, сияющие азиатской роскошью.

Не буду повторяться насчет великолепия стола, все было, как в волшебном дворце. Но невысокого Дурасова скорее можно принять за карлика, а не за рыцаря — владельца такого изумительного поместья. После обеда мы прогуливались, а вечером все снова собрались на театральном представлении[59]. В перерыве между пьесой и фарсом был балет. Хозяин почтительнейше извинялся за «убожество того, что мы видим», объясняя это занятостью людей на уборке урожая. На самом деле *здание* театра было роскошным, а представление очень хорошим. Каждые полчаса публику обносили подносами с фруктами, сладостями, мороженым, лимонадом, чаем и другими напитками; воскуривали благовония.

Я рада, что не послала это письмо немного раньше, так как только что получила послание батюшки от 12 сентября и другие письма, которые прочла с большим удовольствием. Не буду давать подробного отчета, но скажу, что мы с княгиней обсуждали проблемы моего возвращения. Княгиня предложила проводить меня в Петербург, но я знаю, что это путешествие будет настоящей жертвой с ее стороны ради *моего* удобства. Я предложила Ригу, так как, хотя эта поездка также будет тяжелой и утомительной, она все же избавит княгиню от некоторых обстоятельств, делающих любое другое путешествие в эту пору исключительно трудным. Таково нынешнее положение дел. Если ничто не помешает, я думаю, в апреле мы отправимся к границам Польши, посетим Круглое, поместье княгини, и через Курляндию отправимся в Ригу — это спасет меня от ужасов Финского залива.

У меня еще есть немного места, и я опишу один национальный обычай, который интереснее, чем ты можешь предположить; наряду с русскими костюмами, музыкальными инструментами, деревенскими увеселениями, прорицателями и суевериями он доказывает, что русские и греки произошли от одних прародителей: все у них очень схоже. Вообще, может быть, самое любопытное в путешествии по России — наблюдать за крестьянами, они являют собой подлинную картину ушедших веков. Интересно отметить, что все деревенские развлечения, тщательно сохраняемые и в наше время, происходят от языческих обрядов, объясняются языческими преданиями и являются объектом всеобщего почитания. А теперь я расскажу о недавнем посещении бани, этой панацеи на все случаи жизни, накануне свадьбы Софьи (горничной Матти).

Церемонии предсвадебного дня состоят из молитв и посещения бани. Я видела несколько раз венчание в церкви, но у меня никогда не хватало духу посмотреть все от начала до конца собственными глазами, и я решила не уезжать из России, не увидев этого.

Жених, подарив невесте свадебный наряд со всем необходимым, включая белила и румяна, с дружками уходит в *свою* баню. Невеста, обливаясь слезами, сидит во главе стола, украшенного плодами. Группа девушек начинает петь что-то жалобное, называемое «Свадебной песнью». Так как мне было любопытно понять самую суть происходящего, я решила узнать смысл песен. Содержание их аллегорично, вот образец одной из подобных песен, девушки пели ее очень высокими голосами:

> На вершине высокой горы в темном лесу жила
> стая диких гусей и стая лебедей. Заблудившись,
> молодая лебедь попала к гусям, а те начали
> клевать и прогонять ее. Лебедь заплакала:
> «О, сжальтесь надо мною, не клюйте меня!
> Ведь не по своей воле попала я сюда, принесла
> меня злая буря». Увы! Мы прощаемся с дорогой Софьей,
> ее выдают замуж. Это она плачет горькими слезами и
> жалуется, как молодая лебедь:
> «Не обижайте меня, добрые люди, не по своей
> воле попала я к вам в дом, привезли меня
> к вам лошади Тимофея»[60].

Затем мы проводили Софью в баню вместе с подружками (всего было 30—40 девушек), они помогли невесте раздеться в предбаннике, а затем обнаженную, плачущую ввели в баню. Девушки сняли с себя одежды и, хорошенько вымыв Софью, начали плясать вокруг нее, хлопать в ладоши и пить вино, которое разливала одна из Ев, сидящая с бутылкой в одной руке и стаканом в другой; длинные косы, спускающиеся по плечам, были их единственной одеждой. Затем они снова запели:

> Дикий голубь, купаясь в море, забился и
> заплакал: «Как я покину море? Как полечу
> через высокие, крутые горы? Скоро наступит
> зима, придут холода. Снег покроет землю.
> Не по своей воле должен я оставить море.
> Не по своей воле должен я лететь через эти
> скалы».

Под эти песни наша милая Софья мылась и раскрашивала лицо белилами, румянами и чернила брови. После этого она ударилась в слезы, восклицая: «Как я покину батюшку? Как брошу матушку? Не по своей воле покидаю я батюшку. Не по своей воле прощаюсь я с матушкой».

Мне кажется, мы пробыли в бане около часа — эти сцены были очень интересны и забавны. Девушки, веселясь, разукрашивали себя, пели и плясали, как вакханки; невеста молчала, обливаясь слезами. Потом ее отвели в дом и усадили за стол, а подружки запели еще одну песню:

> Начинается свадьба нашей дорогой Софьи.
> Все девушки сидят за столом на почетных

местах, но Софья на самом почетном. Она
низко кланяется подружкам, думая тяжкую думу,
которая не терзает их веселые сердца.
«Как,— думает она,— как мне покажется
строгий свекор. Как мне покажется строгая свекровь?
Не по своей воле я должна называть ее
матушкой, а не то осерчает она. Ох, как
тяжело мне будет называть свекра батюшкой,
а свекровь — матушкой».

Обряды завершились очень хорошим ужином, а на следующий день пара обвенчалась.

Я так хочу спать, дорогая Гарриет, что у меня нет сил держать глаза открытыми, даже если бы мне давали миллионы за еще один рассказ! Матти глубоко спит в соседней комнате. Спокойной ночи!

ЭНН ЛЭТЭМ

Москва, 15 мая 1807 года

[...] Превеликий боже, если бы тебя окутала пелена несчастья, покрывшая этот достойный дом, ты поняла бы, почему вот уже четыре месяца, со дня кончины князя Дашкова, я не написала ни единого слова. Ты можешь представить себе тяжесть этого удара для семьи Дашковых, и без страданий невозможно вообразить те сцены, которые вызвала эта смерть. У княгини всегда была слабость — желание увековечить свое имя для последующих поколений (если можно назвать слабостью желание оставить в памяти людей ее дружбу с Екатериной II), и смысл этого намерения становится более ясным перед лицом окончательного исчезновения рода Дашковых.

Так или иначе среди скорбей и печалей появилось одно утешительное обстоятельство, и я расскажу тебе о Дашковых немного более, чем намеревалась, так как справедливость требует, чтобы ты немного порадовалась после участия в нашем горе.

Может быть, тебе покажется странным, что на сцене появился новый персонаж — приветливая и очаровательная молодая княгиня Дашкова, но это действительно так! Двадцать лет тому назад, 15-ти лет от роду, Анна Семеновна вступила на изменчивую жизненную тропу, начав с блестящего замужества с князем Дашковым. Однако радужные перспективы вскоре превратились в надгробный памятник, под которым были похоронены последующие годы ее жизни. Тому причиной был гнев свекрови, а не поведение мужа, ибо помолвка была осуществлена без ее ведома и одобрения; в то время княгиня была столь могущественна при дворе, что могла устроить ему гораздо более выгодную партию. Прошло четыре года без всякого намека на примирение, княгиня даже не хотела видеть сына; потом было временное улучшение отношений. Однако все это время (даже когда умер князь) люди, окружавшие княгиню, злобно клеветали на ее невестку, желая польстить княгине, подтвердив правильность ее решения. Великий боже! Человеческое счастье или самопожертво-

вание — пустой звук для придворных льстецов, которые ради собственного успеха должны отречься от всего человеческого!

Князя постоянно уговаривали порвать отношения с женой, обратившись с прошением о разводе, но он наотрез отказывался от этого. Правда, последние 7 или 8 лет обстоятельства вынудили его отдалиться от нее; все же последние мысли князя были о жене. Представления Анны Семеновны о князе как о божестве поддерживали ее во всех муках и горестях; надежды угасли лишь с его смертью. Представь себе ситуацию, в которой оказалась Анна Семеновна, получив эту ужасную весть в глуши, в деревенском домике, служившем ей пристанищем в течение долгих лет изгнания,— теперь он отходил к сестре князя. У Анны Семеновны осталась бумага князя на право наследования, но при мысли о том, что ей выпало пережить мужа, она разорвала ее в припадке отчаяния. Сестра князя всю жизнь была мучительницей Анны Семеновны и ее злейшим врагом. Несколько дней Анна Семеновна пребывала в состоянии полнейшей апатии, даже в мечтах не представляя себе тех изменений, которые произошли в мыслях свекрови: получив прискорбное известие о смерти сына, княгиня решила передать Анне Семеновне часть того, что по праву принадлежало ему, тому, кто, увы, уже ничем не мог воспользоваться. Первый раз в жизни княгиня написала невестке и отправила письмо с госпожой Норовой[61] и графиней Воронцовой — они приехали в дом Анны Семеновны сквозь бури и метели и ни живую ни мертвую *привезли в Москву через несколько недель после смерти мужа*. Представь себе встречу двух княгинь и первое чувство взаимной симпатии, рожденное общей скорбью. Я опущу описание этого, а также первые шаги к знакомству, которые сначала заставляли нас затаить дыхание от опасений, что *прошлое* может занять их мысли в ущерб настоящему, но, слава богу, ныне я могу говорить о них как о матери и дочери, рожденных для счастия друг друга. Молодая княгиня заняла апартаменты под крышей и будет нашей соседкой до октября, когда она переедет в чудесный новый дом, который княгиня купила для нее. Мы постоянно проявляем интерес к Анне Семеновне: характер ее мягок, сердце — честно, а манеры — безыскусны (все это от безгрешной жизни). Ее общество — настоящее приобретение для нас, и мы будем радоваться и восторгаться ею независимо от причин, приведших ее сюда. Нам кажется, что каждое подтверждение расположения княгини к невестке — чудесный дар небес, не говоря уже о том, источником какого счастья стала она для свекрови в период тяжелого испытания — смерти сына.

[...] Ну что же, слушай, я лишь пожалуюсь тебе на жестокое разочарование, о котором в настоящее время должна молчать, и, уверена, ты мне посочувствуешь. Речь идет о нашем возвращении домой вместе с Матти. После столь долгого отсутствия Матти дома ее искушение вновь увидеть родину, семью и друзей было столь сильным (к тому же была возможность поехать нам вместе), что это перевешивало все препятствия, которые могли возникнуть из-за любви княгини к ней. Мы очень надеялись, что эта любовь выразится

в форме благородной жертвы, и я с радостью ожидала, что мое возвращение вкупе с неожиданным прибытием Матти явится истинным семейным торжеством. Однако кончина князя Дашкова ввергла наши прожекты в пучину, ставшую роковой для надежд всей нашей семьи! Из-за этого печального события Матти и подумать не может о том, чтобы покинуть своего друга в беде; княгиня, обливаясь слезами, прямо заявила мне, а также всему свету, что она не переживет разлуки с той, кого она считает своим ребенком и самой крепкой связующей нитью с этим несчастным миром. На этом дело закончилось: это самая большая жертва со стороны Матти, и сестра даже находит в ней некоторое удовольствие, смешанное с чувством горечи, отрекаясь от своих интересов во имя любви к княгине. [...]

Наши мысли витают где-то между Ригой и Санкт-Петербургом. Да, я уже склонна полагать, что Польша не станет тем пером, каким мне суждено украсить свою шляпку (но явится камнем преткновения для мерзкого Буонапарте[62]). Может быть, все складывается к лучшему, так как путешествие в Петербург будет короче, а здоровье княгини нельзя назвать слишком хорошим (хотя оно и несравненно лучше, чем раньше). В последнее время она страдает болями в ногах, да и спина ее беспокоит, а это так испугало нас прошлым летом. Княгиня Анна Семеновна должна присоединиться к нам со своей свитой, так что, моя дорогая, умоляю тебя не забыть проследить за полетами птиц и другими предзнаменованиями, благоприятными для нашей встречи.

Несмотря на наши стоны, княгиня вовлекла Анну Петровну, Матти и меня в пышные процессии и торжества в честь прихода *весны* в эти края — это здесь почти религиозный праздник. Остатки языческих церемоний таким образом вплетены в обряды греческой церкви, что в глубине души мне кажется, что мы, не зная того, участвуем в празднествах, подобных тем, что две тысячи лет назад радовали римских бродяг. Но не тревожься, я могу поклясться, что, какого бы происхождения ни были эти процессии, мы (так же, как и другие москвичи) никогда не высовывались из экипажа, втиснутого в вереницу прекрасных карет, строго охранявшихся полицейскими офицерами, галопирующими вокруг на быстрых, как молнии, лошадях! Боже! Насколько бессмысленны все эти обычаи. Если бы тебя сбросили с другой планеты во время пасхальной недели, ты подумала бы, что вся Москва сошла с ума, увидев город, наводненный экипажами, набитыми дамами и господами почти в дворцовых одеяниях. Но если бы ты спросила, что является причиной этому, вряд ли лучший русский ум сумел бы дать ответ.

Не буду утомлять тебя описанием тех скучных поездок, которые мы совершали раз за разом в течение долгих часов, в то время как княгиня оставалась дома, разбирая свою коллекцию по естественной истории. Она решила подарить ее Московскому университету[63] и распаковала сундуки, которые вот уже 30 лет простояли наверху. Мы увидели минералы, а также ужасных ископаемых и животных: тут были черепахи, раковины и окаменелости, камни, мрамор и кристаллы, кораллы, агаты, мхи, руды, скелеты и бог знает что!

Это действительно великолепное собрание, плод ее путешествий; княгиня сама собирала эту коллекцию во время поездок за границу. Замечу к тому же, что московский музей очень беден экспонатами подобного рода. Княгиня подарила Матти образчики этих диковин, и добрый профессор, следивший за тем, чтобы драгоценный груз в целости и сохранности был доставлен в университет, принял невежество Матти близко к сердцу: он составил каталог и самую лучшую классификацию ее части коллекции.

В последнее время княгиня ведет себя так, как будто она стоит на краю могилы. Она раздает друзьям памятные подарки, которые должны послужить свидетельством ее уважения. Княгиня отправила презенты императору и императрице, от них получены ответы с выражением чрезвычайной признательности. Особенно изящное письмо прислала юная императрица Елизавета, получив от княгини необычайных размеров камею, оправленную в бриллианты; на ней с удивительным сходством изображена Екатерина II. Эта камея — знак дружеских чувств и величайшей симпатии. Все это даст тебе представление о нынешнем направлении мыслей княгини, хотя, как кажется мне (да и почти всем окружающим), она проживет еще десяток лет; тем не менее княгиня очень печальна и подавлена.

Сейчас мы ожидаем приезда графа Воронцова, прекрасного молодого человека лет 16—17. Княгиня выбрала его в наследники совместно с сыном своего брата (бывшего посла в Лондоне)[64]. Если император позволит, молодой Воронцов прибавит к своему имени титул князя Дашкова. Как только его визит закончится, мы выедем из Москвы, и начнутся мои хлопоты. [...]

АННЕ ЧЕТВУД

16 июня 1807 года, Москва

Мой предстоящий отъезд постоянно занимает наши мысли. Каждый вечер в открытых экипажах мы совершаем поездки по живописным подмосковным — в Нескучный сад, Останкино, Царицыно — и другим. Эти места просто чудесны! Осматриваем мы и монастыри, окруженные стенами и башнями подобно древним укреплениям. В последний раз мы посещали знаменитый Донской монастырь, возвышающийся над азиатской Москвой, и, как отдыхающие турки, пили лимонад под сенью плакучих берез; кремлевские золотые купола, башни и кресты блестели сквозь их зеленую листву во всем великолепии. Очень красив сад Орлова[65] — расположенный на склоне, он изрезан бесчисленными дорожками, холмиками, лужайками и обрывами; разнообразие беседок и купален радует глаз. Между прочим, в парковой архитектуре используется березовая кора: вы и представить себе не можете, как это замечательно выглядит — как будто летние домики и беседки возведены рукой самой природы.

В споре с голландскими садовниками победили англичане, и парки в голландском стиле повсеместно исчезают[66] [...]

Добрая княгиня с пониманием отнеслась к нашему желанию *найти русское* в этой стране, и, так как купцы и крестьяне все еще хранят древние обычаи, она устроила вечер в доме Олега Алексеевича, патриарха секты раскольников. Этот человек родился крепостным Долгоруковых, выкупил свободу за две тысячи фунтов и ныне является одним из богатейших московских купцов. Олегу Алексеевичу 80 лет, и он являет собой превосходную картину здоровой старости: веселый, энергичный, благодушный. Черты его лица прекрасны, он высок, и серебряная борода резко оттеняется старинным русским платьем. Он был более интересен в обличье сектанта, чем в обличье купца (в этом качестве он устроил роскошный обед). Олег Алексеевич провел нас в церкви, молельные дома и богадельни, окружающие его жилище, рассказал про свою веру, которая (так же, как католическая и греческая) является аполитичной — его единоверцы, уединяясь, не участвуют в жизни государства. В России, как и в Англии, очень много различных сект.

Прежде чем закончить эту страницу, я должна высказать свое возмущение кем-то из вас, кто сетовал, что я никогда не упоминаю об армии или о политическом положении в стране. Превеликий боже! С таким же успехом можно удивляться тому, что я не говорю по-китайски или по-арабски!

Петербург, 15 июля [1807 г.]

А вот и продолжение! Посмотри на письмо и убедись, что прошел уже месяц с тех пор, как я написала предыдущие строки. Оставляю тебе самой догадываться, что происходило до отъезда, — вернемся в тот самый день, когда мы покинули Москву, 4 июля, воскресенье.

Мы с Матти и княгиня ехали в ее коляске, молодая княгиня с Анной Петровной — в своем экипаже, служанки — в кибитках, а Элен — в моей карете. Нас сопровождал Иван Александрович, доверенный полицейский офицер, а также слуги и казаки. В таком порядке, не торопясь, мы подъехали к замечательному Воскресенскому монастырю (в Новом Иерусалиме)[67], где в покоях Екатерины II нас принимал игумен Мелхиседек. На следующий день мы осмотрели живописные окрестности и после обеда направились в Клин, расположенный в 90 верстах от Москвы, где и остановились на ночлег. Наступил вторник, печальный день разлуки. С тех пор я написала такие тома по этому поводу Матти, княгине, Анне Петровне и Анне Семеновне, что лучше не буду об этом упоминать, как будто никакой грусти не было. Вся процессия вернулась в Москву, а мы с Элеонорой пересели в мой экипаж, Кузьма и Антон (слуги княгини Дашковой) разместились на козлах, и карета, запряженная четверкой, понеслась подобно молнии по деревянным дорогам. Иван Александрович следовал за нами в кибитке с провизией, и мне ничего не оставалось делать, лишь развлекаться, наблюдая, как он сражается за лошадей, платит форейторам, берет яйца и кипяток для чая — то, что может заказать путешественник в дороге, не считая лучшего в мире молока.

В воскресенье утром мы остановились в нескольких милях от Петербурга, в Царском Селе. Я осмотрела Царскосельский дворец, принадлежащий императору; он был построен Екатериной II. В этот же день, 11 июля, мы прибыли в Петербург, к барону д'Огье, который во времена Екатерины был здесь голландским посланником. Баронесса д'Огье — племянница княгини Дашковой и старая моя знакомая. Я почти не знала ее мужа, и он мне очень понравился — барон обладает чувством собственного достоинства, в нем прямота уживается с добродушием. Он высокого роста, а его лицо с крупными, но приятными чертами носит отпечаток ума.

Я уже здесь четвертый день, и мне пришлось обдумать, обсудить и совершить так много дел, что у меня не хватило сил сообщить в отчий дом о моем приезде в Петербург; у меня большой соблазн известить отца этим неоконченным письмом, сходи, пожалуйста, к нему [...]

23 числа сего месяца я сяду в лодку прямо у дверей этого дома (он стоит на Неве) и отправлюсь в Кронштадт, где мне предстоит подняться на борт «Доброго намерения» под командой капитана Кларка — того самого корабля, на котором мы с Матти приехали в Россию. Видишь, как просто выразить в двух словах то, что стоило мне стольких беспокойств, разговоров, писем, а также хлопот полудюжины моих знакомых. Я повстречала здесь старого знакомого — мистера Кавана: он оказывает просто неоценимые услуги, чтобы ускорить мой отъезд. Ведь я ему совсем чужая, а этот чудесный человек трудится не покладая рук, занимаясь и моим паспортом, и багажом, договаривается о том, чтобы мое имя трижды поместили в газеты (каждый, кто покидает эту страну, должен трижды объявить о своем отъезде), заботится о каждой беспокоящей меня мелочи.

Вчера было объявлено о мире между императором и Бонапартом[68]. Наш дом стоит прямо напротив крепости; оттуда целый день палили пушки, ночью по всему городу светилась иллюминация. Бог знает, стоит ли это принимать за выражение искренней радости. Если так, то мы являемся свидетелями еще одного чуда — превращения *медведя* в осла. Однако, если я не придержу язык, меня скуют цепями и сошлют в Сибирь... Здесь бытует мнение, что ночная иллюминация явилась демонстрацией общественных интересов; убогость ее говорит о том, что радость не слишком велика. Когда мы ехали по улицам, мне вспоминалась мильтоновская «... внушающая ужас ухмылка Смерти...»[69].

Россия представляется мне в образе румянощекого мальчика, который, прогуливая школу, не думает о последующей взбучке. Именно такие ассоциации вызывает у меня этот мир, и, по моему мнению, Наполеон уже приготовил розги. Все поносят англичан за то, что они были столь медлительны, невежи (а их здесь 99 из 100) ругают Англию, другие считают, что мир был заключен благодаря оппозиционерам в правительстве, но в целом все медведи злятся на нас.

Я нахожусь в полном неведении относительно нынешней политической ситуации: совсем не читаю газет (они уже давно запре-

щены) и питаюсь только сплетнями! Это приводит меня в такую ярость, что я ни у кого не спрашиваю, куда катится мир, и совсем не удивлюсь, обнаружив, что Ирландия уплыла на запад и находится в другом полушарии.

Передай всем мои поклоны и уверения в любви.

Преданная вам,

Екатерина.

ОТЦУ

Петербург, дом барона д'Огье,

28 июля 1807 года

Пошел уже семнадцатый день моего пребывания здесь, дорогой батюшка; из-за того, что я уехала из Москвы без паспорта, расстроились все мои планы отъезда в Англию с первым свежим ветром. Я даже не осмеливалась писать домой, думая, что одно письмо будет противоречить другому. Причина всех этих мытарств следующая: княгиня заявила, что подорожная, подписанная московским генерал-губернатором, и публикация в газетах (в соответствии с общим порядком в этой стране) заменят все остальные бумаги и паспорт будет совершенно излишним. С тех пор как мы расстались с Матти, она написала вам, а я отправила письмо Анне, так что не буду возвращаться к старому. Опишу те усилия, которые прилагают мои русские и английские друзья, чтобы ускорить мой отъезд. Барон д'Огье трижды был у губернатора, наш английский банкир мистер Кавана также крутится как белка в колесе, но все безрезультатно. В настоящее время к подобным вещам относятся строго: хотя я и предлагала взятку, чтобы получить возможность отплыть с капитаном Кларком, который, дожидаясь меня, всеми силами пытался задержаться в Кронштадте, даже это оказалось бесполезным. Мне пришлось ждать, пока в петербургских газетах три раза не объявят о моем отъезде[70], а моя подорожная и паспорт не пройдут различные присутственные места — напоследок они в течение трех дней лежали в коммерц-коллегии[71], лишь завтра их должны отдать.

Конечно, все это время я пыталась разнообразить свой досуг — барон и баронесса делали все, чтобы развлечь меня. Я часто хожу во дворец Эрмитаж, катаюсь на лодке по великолепной Неве, была в парках, в институте св. Екатерины[72]. Ничто не может сравниться с Петербургом летом — он прекрасен круглые сутки; здешнюю ночь едва ли можно назвать ночью, в самые темные часы можно читать и работать. Но все же, когда человеку приходится делать что-либо, противное его устремлениям, любой вид развлечения вызывает досаду. Единственным утешением для меня является то, что я играю роль путеводной нити для Матти и выясняю все трудности, могущие помешать ей вернуться домой. Я постоянно пишу домой — обеим

княгиням, Матти и Анне Петровне и получаю письма от них с каждой почтой, так что почти не ощущаю, что рассталась с ними. По желанию княгини я написала статс-дамам княгине Прозоровской и графине Протасовой с просьбой передать мои прощальные поклоны императрицам, так как сама буду не в состоянии сделать это из-за неопределенности моего положения здесь.

Я выезжаю чаще, чем мне бы хотелось, но этого невозможно избежать, так как графиня Воронцова, чей сын должен унаследовать поместья княгини Дашковой, живет почти рядом и часто приглашает к себе. Мы постоянно бываем у нее, хотя у меня чуть не каждый вечер случаются головные боли. Вот таким образом я провожу дни в ожидании отъезда.

Мне очень нравится барон д'Огье — он джентльмен *в полном смысле этого слова*; характер его отличается оригинальностью, свойственной голландцам. Для меня нет общества приятнее, чем его, а вежливость и доброта барона могут сравниться лишь с достоинствами мистера Кавана, который только что уехал в Кронштадт, где стоят все суда, чтобы подыскать хороший корабль для нашего плавания и капитана, внушающего доверие. Чета д'Огье собирается проводить меня в Ораниенбаум и Кронштадт. Госпожа д'Огье (не знаю, почему я не упомянула о ней ранее) — сама доброта, она чудесная женщина. Их дом стоит на берегу великой Невы, его красота, по моему мнению, может поспорить с венецианскими видами. Как и в Венеции, мы катаемся по реке в маленьких лодочках с навесами — их много лежит на берегу.

Пишу, чтобы вы не беспокоились обо мне, хотя сознаю, что сообщила мало интересного. Если бы вы знали, сколько у меня дел, вы бы не удивились убогости этого письма.

Прощайте, мой дорогой батюшка,

К. В.

СЕСТРЕ АЛИСИИ

Борт «Эльбы», капитан Ленделс

[...] Пошел уже пятый день путешествия по морю, а мы продвинулись только на двести миль. Я достаточно опытный моряк, и меня не страшат долгие плавания, а эти короткие переходы лишь раздражают. Если мне когда-нибудь придется совершить путешествие в Константинополь или *на луну*, я возьму с собой грамматику и сосредоточусь на изучении языка. На этом корабле в моем распоряжении чистая и удобная каюта, запах трюмной воды и дегтя совершенно не ощущается, а на палубе — сразу два капитана: один из них плывет домой после продажи русскому правительству своего корабля.

Два года тому назад я писала вам из Петербурга о сокровище, найденном мною в лице мистера Кавана. Не нахожу слов, чтобы

выразить, сколь бесценной оказалась дружеская помощь с его стороны. Хотя у него масса дел, мистер Кавана ежедневно с головой погружался в мои заботы все три недели, что я была в Петербурге. Используя свои связи, он всячески пытался избежать процедуры опубликования моего имени в газетах с тем, чтобы я смогла отплыть вместе с капитаном Кларком, как я надеялась ранее, а затем с моими бумагами побывал в *девяти* присутственных местах. Легко об этом *говорить*, но ты не имеешь представления, что значит *сделать* это в такой стране, как Россия! Представь себе этого необыкновенного человека, вызвавшегося сплавать за 22 мили в Кронштадт, чтобы выбрать для меня корабль и капитана. После того как судно было найдено (а это настоящий маленький дворец), мистер Кавана нанял лодку с тентом, и в субботу, в шесть часов утра, она стояла под моими окнами. С ним было двенадцать человек, не считая бородатых верных русских слуг. Они не позволили никому ни до чего дотронуться, запаковали весь багаж и даже письменный прибор так, как будто всю жизнь занимались этим, погрузили все в лодку и уселись в ней, поджидая меня, в то время как я поднялась к баронессе и распрощалась со всем семейством славного барона — они полночи не спали. Я рассталась с ними с огромным сожалением.

Я немедленно села в лодку, и на другом берегу реки мне помог сойти на берег мистер Кавана. Он поднял на ноги весь свой дом, приготовил мне настоящий английский завтрак (впервые за последние два года) и проводил меня к сестре и племяннице (очень дружелюбные и скромные милые женщины); с ними я оставалась до 11 часов. Затем мы в сопровождении Элеоноры спустились к лодке: мистер Кавана вновь решил испытать тяготы плавания в Кронштадт. Он взял с собой любимых слуг и несколько человек мистера Рейкса. В такой компании мы отплыли из Петербурга; день был чудесный. Внезапно поднялся такой сильный ветер, что под его порывами нам пришлось сойти на берег в Петергофе. Я не буду описывать царскую резиденцию, так как Матти уже подробно рассказала о ней, когда писала о празднике огня и воды во время своего первого приезда сюда.

Итак, встречный ветер оказался для меня истинной удачей! Если б не он, я так и покинула бы Россию, не увидев Петергофа. Ну, мэм, ты можешь повеселиться, представив нас, несчастных моряков, выброшенных на берег и бродящих по этому очаровательному дворцу. Наконец, мы расположились на божественной скамеечке под чудесной кущей деревьев на берегу залива, и мистер Кавана, который подготовился ко всем непредвиденным случаям, свистнул своим молодцам. Те пришли, нагруженные разнообразной провизией — мясом, фруктами и винами, — все были необычайно довольны и в самом веселом расположении духа. Потом мы погуляли, осмотрели фонтаны, статуи, дворец, цветники и так далее и вернулись на лодку, которая в одиннадцать часов вечера доставила нас в Кронштадт.

Мистер Кавана устроил нас на ночлег в английском отеле, и на рассвете, в то время как мы глубоко спали, он помчался

к начальнику таможни и адмиралу Ханыкову, подкупил их сторожевых псов, вложил перья в пальцы этих господ в самый *неурочный час*, подписал мой паспорт и примчался в отель, чтобы поторопить меня на борт корабля. По пути в Петербург эта же процедура заняла у меня два долгих дня. Можешь судить о его расторопности! Своими руками мистер Кавана наваливал тюки и баулы на спины людей; мы понеслись на корабль, который уже поднимал паруса. Тем не менее он успел написать мне кредитное письмо в Эльсинор, чтобы я там могла получить английские деньги, а когда корабль уже отплывал, продолжал давать мне советы, как обменивать деньги. Затем мистер Кавана поручил заботу обо мне капитану, прыгнул в лодку и направился к берегу!

Я должна рассказать об одном огорчительном происшествии незадолго до отъезда, которое обошлось мне в 25 рублей сверх всех расходов. Так как мои вещи были опечатаны петербургской таможней, я дала себе клятву, что никакая сила не заставит меня распаковать их. В Петергофе в прошлый понедельник должен был состояться большой праздник, и все *дамы света* настаивали на том, чтобы я поехала туда. Одна из фрейлин предложила мне комнату во дворце. Я оказалась в трудном положении, будучи слишком измученной, чтобы принять предложение, однако все твердили в один голос, что не прийти на праздник, устраиваемый императрицей, будет непростительным оскорблением. Я не стала открывать мои баулы, а решила купить новые наряды. Баронесса д'Огье повела меня к самой модной французской модистке, и я отдала за шляпку три гинеи (25 рублей). *После обеда* мне пришлось бы купить еще бог знает что, но по возвращении домой барон сказал, что у него был мистер Кавана — мы едем на следующее утро. Итак, я плыву с проклятой французской шляпкой, которую в Англии, без сомнения, заброшу в дальний сундук, и без 25 рублей в кармане; зато, хотя я и не увидела ночного праздника, я увидала Петергоф днем.

15 [августа 1807 г.]

Моя дражайшая Алисия, пролетело уже одиннадцать долгих дней с тех пор, как я начала это письмо, и вряд ли ты предполагаешь, что за это время я едва избежала вражеского обстрела или датского плена! Умолчу о спокойном плавании, давай перенесемся во вчерашний день, 8 часов утра, когда мы подходили к Копенгагену. На борт корабля немедленно поднялся лоцман и на ломаном английском разъяснил, что Англия и Дания находятся в состоянии войны[73]. Он указал на крепостные и плавучие батареи, которые были готовы открыть огонь по нашему кораблю, и добавил, что 400 английских транспортов с войском и несколько военных кораблей стоят в 20 милях, у Эльсинора, а датское сторожевое судно подняло якоря и ушло в Норвегию. Датским лоцманам был дан строжайший запрет подниматься на борт английских судов и проводить их через Зунд. Однако в это самое утро запрет был снят, что позволило нашему лоцману заключить, что стороны пришли

к соглашению. Мы пошли к Эльсинору, и некоторое время спустя с канонерки, нагруженной провиантом для Штральзунда, капитану Ленделсу посоветовали держаться шведского берега. Как ты можешь заключить, мы смотрели друг на друга с довольно глупым видом, так как у нас не оказалось ни одного ружья, чтобы защититься в случае необходимости. Не могу сказать, что я боялась, так как *опасность была слишком близка* и я лишь думала о том, что может произойти. Ветер, к сожалению, был очень слабый, и мы бросили якорь у Эльсинора лишь в 7 часов вечера. Я собиралась передать капитану Ленделсу письма в Россию и чек для датского банкира, но вдруг пришел приказ — никто из англичан не должен сходить на берег! Можешь представить себе наш ужас! Капитан уплыл на один из английских кораблей и не возвращался до 10 часов. Я понимала, что Матти умрет от беспокойства, если не получит письмо из Эльсинора, но не было ни малейшей возможности отправить его. По счастливой случайности к нам причалила небольшая лодка, и с ней я сумела послать письмо на шведскую почту, облегчив, таким образом, свою душу.

Нас окружали британские суда — 400 транспортов, 12 военных и 100 торговых кораблей. Раздавались восхитительные звуки сигнальных горнов, играла военная музыка — картина была поистине воинственная! Вскоре от кронпринца Дании пришел весьма определенный ответ: Зеландия не будет сдана, он станет защищать ее до последней капли крови и скорее похоронит себя под развалинами старого Кроненбургского замка, чем согласится на требования англичан. Адмиралу Гамбьеру[74] ничего не оставалось делать: он приказал открыть огонь по городу и замку, но из-за отсутствия ветра войска не смогли высадиться на берег, ночь прошла без сражения.

Тем временем мы получили приказ командора Мотта, капитана нашего конвоя «Принц Вильям», утром немедленно отплыть в Англию. Мы должным образом выполнили его распоряжение и теперь уже далеко от Эльсинора и «всей заварухи», как говорят матросы. Признаюсь, что, если бы у меня была бы возможность попасть в укромную бухточку, я бы посмотрела сражение, которое обещает быть грандиозным. Судя по обстоятельствам, в победе англичан нет никакого сомнения (да смилостивится господь над датчанами, с ними так бесчестно обращались!). Ты скажешь, что судьба на моей стороне, я так часто ускользаю меж пальцев врагов! Да, повезло мне просто удивительно — ведь отправься в путь мы днем позже, нам бы пришлось вернуться в Россию, Зунд был бы охвачен огнем, а англичане не смогли бы защитить нас, участвуя в покорении Дании! [...]

P. S. 7 сентября [1807 г.]
близ Ярмута

Это все, что я могу добавить. Лодка отвезет письмо на берег. Мы высадимся в Грейвсенде.

Можете себе представить, в каком расчудесном состоянии духа я нахожусь после долгого 5-недельного плавания от Эльсинора — корабль каждый *дюйм* менял курс. О, эти ужасные повороты! Я напишу, как только коснусь английской земли[75].

Часть III

Письма Марты Вильмот

(1806—1808 гг.)

Москва, 4 января 1806 года

Со времени нашего прибытия в Москву у нас не было никакой возможности вам написать. Могу сейчас только сожалеть о том, что все это время перо Китти безмолвствовало: без усилий можно перенести на бумагу лишь первые впечатления от увиденного. По крайней мере так обстоит дело со мной. Описать в подробностях наше пребывание в Москве я совершенно не в состоянии: все танцы и обеды, на которых мне случалось бывать, представлялись совершенно одинаковыми, а все лица сливались в одно, ведь общество ни в малой мере не было мне знакомо. Но об одном бале я все же расскажу. Его давал генерал-губернатор господин Беклешов. Китти было боязно появляться без княгини в обществе чужеземцев, поэтому я отправилась туда одна.

Китти облачила меня в белую атласную юбку, поверх нее надела креповое платье с великолепной турецкой отделкой, о которой она уже имела честь однажды упомянуть. Шлейф платья был закреплен наверху совершенно в ее манере, но вместо ленты через плечо шла такая же, как на платье, отделка с блестящей золотой кистью, которая свисала с плеч до того изящно, что даже князь Барятинский, которому 65 лет, явился на другой день к княгине с комплиментами по этому поводу, причем с самым серьезным видом. Я все описываю столь подробно, ибо кисть эта произвела необыкновенную сенсацию, а моя манера поддерживать шлейф обсуждалась по всей Москве и на 5 верст в округе. [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

4 [января 1806 г.]

[...] Сегодня к нам был зван мистер Янг, сын знаменитого мистера Янга, занимающегося сельским хозяйством[1]. Он приехал в Россию с целью изучения плодородия почв, производства сельскохозяйственных культур и положения крестьян. Следствием было

недовольство княгини, которая полагает *характер* его занятий чрезвычайно вредным, ведущим к свержению правительства и вызывающим недовольство в народе. В этом она согласна почти со всей знатью, так что положение бедного мистера Янга оказалось чрезвычайно затруднительным и неприятным. Не могу сказать, чтобы его манеры произвели на меня слишком приятное впечатление: в них нет ни достоинства, ни элегантности; но он и пробыл-то здесь совсем недолго. [...]

10 [января 1806 г.]

Сегодня мы обедали у генерал-губернатора господина Беклешова, где встретили господина Валуева с женой. Там собралось большое общество. Среди гостей был князь Сибирский[2], добрейшая душа. Это он прислал Китти вина, хлеба и прочей снеди, когда она, усталая, остановилась в 5 верстах от Москвы. Там и произошла их встреча и знакомство. Но, к сожалению, князь имеет столь же несчастливую судьбу, сколь и добрую душу. Его прадед был правителем Сибири, и, когда эта земля была покорена, детей его вывезли как пленников в Россию[3], где они нашли себе пристанище и получили земли. В царствование Павла этот князь пытался спасти от изгнания некоторых своих друзей, и за это единственное преступление он был схвачен и препровожден в *Сибирь*. Закованный в кандалы, босиком, князь *отправился* на родину своих предков, точно ужасный злодей. Через год он был освобожден, но с тех пор лицо его носит печать постоянной грусти. [...]

12 [января 1806 г.], 1 [января] старого стиля

[...] Накануне вечером Китти и я были на новогоднем балу у генерал-губернатора Беклешова. Отправились мы с госпожой Валуевой и ее дочерью. [...] Туалеты собравшегося там общества соперничали в блеске с убранством зала. С 10 часов и до половины двенадцатого, когда подали ужин, общество развлекал Робертсон, показывая театр теней, но это представление было столь ужасно, что едва ли его потерпели бы даже торговцы рыбой: летели прочь головы, производились невероятные экзекуции с носами, так что делается дурно даже от одного воспоминания. Но ужин был просто великолепен. Сразу после его окончания раздался звук труб, и в ту же минуту появилось изображение Авроры на колеснице, открывающей врата утру, и солнце, едва восходящее, над нею. В центре этой великолепной картины красовалась цифра 1806. Тут начались поздравления с Новым годом, танцы и т. п. Когда протанцевали несколько полонезов и приготовились к контрдансу, кто-то предложил отправиться смотреть на воздушный шар[4]*, который никак не хотел взлетать*. Воспользовавшись всеобщей суматохой, мы сбежали и возвратились домой. [...]

8 [февраля 1806 г.]

Обедали у генерала Кнорринга[5], где встретили князя Барятинского. Князь очень высок и, хотя совсем не худ, походит на призрак. Там же был и его брат[6], напротив, очень толстый и на вид добродушный, хотя именно его руками совершен ужасный акт[7], закончивший революцию 1762 года. Боже мой, я всегда восхищалась этим простым, добродушным лицом и до сего дня не знала, что я восхищаюсь убийцей, так мало в его наружности заметны отвратительный характер и кровожадный нрав! *Трудно* вообразить, что он совершил злодеяние, воодушевленный энтузиазмом, полагая, что совершает геройский поступок. Один господь знает, *как* он оправдывает все это перед своей совестью, но говорят, что, когда Павел I в наказание приказал ему сидеть у гроба Петра III главным *плакальщиком* (весьма изобретательно!), он не выказал ни угрызений совести, ни волнения, тогда как граф Алексей Орлов был крайне взволнован и несомненно несчастен, а ведь он совсем *не трус*[8]. [...]

1 марта 1806 года

Этот чистый лист бумаги, на котором я намереваюсь писать свои каракули, мог бы послужить для рассказа о чьей-нибудь жизни. Но ничего не поделаешь. Грехи наши! И первый из них — поздно вставать. В этом, как кажется мне, скрывается корень зла,— моя привычка к лени стала уже совсем непростительной. Я *не* встаю рано, следовательно, я *не* могу выучить русский язык так быстро, как бы мне этого хотелось, *не* учу итальянский, *не* учусь играть на гитаре, хотя у меня и достало бы сил добиться мастерства в каждом их этих занятий. Ну и в конце концов я *не* довольна собой, я *не* так бодра, как могла бы быть, если б исполняла свои обязанности, которые вскоре могли бы доставлять большое удовольствие. Ах, я отлично знаю свои пороки, но не даю себе труда исправить их, оттого и появилась 1 марта в моем дневнике эта жалоба на самое себя. Попытаюсь в *следующем* месяце непременно написать панегирик.

4 марта 1806 г.

[...] Вечером мы побывали на концерте у княгини Хованской. Там собралось большое общество, весь цвет московской знати. Китти была несказанно довольна, что увидела графа Орлова и его дочь[9]. Последняя растет очень худой, и говорят, что к столь вредным для ее здоровья последствиям приводит неразумная, эгоистичная любовь ее отца — сразу же после танцев, разгоряченная, она должна мчаться домой, не успев остыть, должна совершать с ним верховые прогулки в любую погоду и т. д. Видно, граф в своем воображении наделяет ее такой же геркулесовой силой, какой обладает он сам. О его необычайной силе ходят легенды, и одна история случилась как раз этим вечером. Князь Хованский, огромный, толстый, коренастый человек, сама вежливость и воспитанность, провожал графа

Орлова из концертного зала в другую комнату. Граф возражал, что тому не стоит так беспокоиться, князь Хованский упорствовал. Граф тоже настаивал на своем, как вдруг, внезапно остановившись, заявил князю Хованскому, что если тот не хочет вернуться на концерт, так он *его отнесет*, и тут же, ухватив князя за воротник, оторвал его от земли. Удовольствие было всеобщим, а больше всех был доволен сам князь, который, вернувшись, хвастался перед всеми и каждым подвигом графа Орлова. Говорят еще, что, будучи молодым, граф скручивал в трубочку серебряные тарелки, как будто это листок бумаги, который собираются использовать как зубочистку, а потом разворачивал их так же легко, как я вожу пером по бумаге. Он безо всякого труда мог согнуть пополам две лошадиные подковы и т. п.

13 марта нового стиля [1806 г.]

Сегодня ужасная буря, ветер свистит во все щели, снег несется крутящимися столбами, а потом рассыпается в воздухе во все стороны. Нечего сказать, приятные виды на поездку в Троицкое в будущий вторник!

В этот день три месяца назад мы приехали в Москву, и, оглядываясь назад, я вижу, что событий хотя бы только одной страницы, при кажущемся их однообразии, если бы они были предсказаны заранее, было бы достаточно, чтобы повлиять на счастье каждой из нас. Княгиня лишилась любимого брата; Анна Петровна потеряла тетушку, к которой была горячо привязана, и получила более 1000 фунтов. Китти осуществила свою мечту и провела эту зиму, закутанная в меха и окруженная глыбами льда, в царской столице с ее медведями. Для меня это была уже третья зима здесь, и вследствие этого я прибавила к своему состоянию еще 1000 фунтов. Мы видели юность и красоту, рассыпавшиеся в прах, а теперь возвращаемся в Троицкое, ничуть не переменившись.

29 [апреля, 1806 г., Троицкое]

Наша жизнь здесь так однообразна, что мне решительно нечего записать в дневнике. Каждый день я пишу, точнее, *переписываю*, историю княгини, Китти переводит[10], и это занимает наши утренние часы. [...]

14 [июня 1806 г.]

Позавчера приходила со своим обычным визитом мадемуазель Писарева. Ее сопровождала дама, которая показалась нам француженкой: она блестяще говорила по-французски, а по-английски — как иностранка. Тем не менее оказалась эта дама баронессой Прайзер, урожденной Паттен (говорят, она графиня). Дед ее был, по-моему, пэром и сторонником династии Стюартов. Баронесса Прайзер чрезвычайно некрасива и кажется жеманной, но это лишь

первое впечатление. Побеседовав с ней несколько минут, вы понимаете, что это необычайно умная, тонко чувствующая, одухотворенная, способная верно обо всем судить женщина (все эти качества проявились даже во время короткого визита). К тому же оказалось, что она в совершенстве владеет 8 языками: английским, французским, итальянским, немецким, русским, финским, голландским и в довершение всего *латынью*, и, конечно, вследствие этого ваше первое впечатление сменяется чувством искреннего восхищения и уважения.

Писарева — истинно русская. Она необычайно гордится своим недоверием к людям и полагает, что это недоверие, так же, как, видимо, неопрятная внешность, является знаком принадлежности к благородному сословию. *В поддержку* этой своей мысли Писарева произнесла речь таким крикливым тоном, что он не допускал никаких возражений. Однако нужно отдать ей должное: эта женщина чрезвычайно практична и так умела в *делах*, что управляет винокуренным заводом своего родственника. Получая прибыль от этого завода, единственного источника доходов, тот проживает все с семьей в Петербурге, а Писарева вершит все дела в деревне, где неизменно пребывает со своей матерью.

Баронессе Прайзер волею несчастных обстоятельств пришлось служить гуверанткой в двух или трех семьях. Только что она отказалась в одной из них от места из-за плохого обращения и из-за отвратительного поведения хозяев, чему ей приходилось быть свидетельницей (между прочим, эта семья пользуется чрезвычайным уважением в округе). Я не хочу портить этими сценами свой дневник, но вот один пример. В первый же день, как приехала баронесса, хозяин дома, к ее ужасу, позвал *femme de chambre* и развлекался тем, что приказал этой женщине ловить на нем *блох*, которых по воскресеньям ищут друг у друга в голове нищие ирландские дети, и эта картина часто потом повторялась. Баронессу считали капризной, потому что в подобных случаях она спешила уйти в свою комнату. [...]

22 [июля 1806 г.]

Вдова[11] разговаривала с княгиней обо мне, и, кажется, сама *возможность* моего отъезда в Ирландию хотя бы на год столь мучительна для княгини, что я не знаю, что делать. Во всяком случае, расстаться навсегда нам невозможно, даже мысль об этом меня страшит.

23 [июля 1806 г.]

Сегодня утром перед завтраком Китти долго беседовала с княгиней, и что это была за беседа! Княгиня сообщила ей о своих намерениях и сказала, что напишет письмо императрице-матери с просьбой о протекции в случае, если я будут столь несчастлива, что потеряю мою дорогую княгиню.

24 [июля 1806 г.]

Письмо написано[12]. Трудно вообразить себе более трогательные и восхитительные строки. Не могу передать, какие чувства я испытала, когда прочитала их. Сердце мое переполнено благодарности к княгине за ее нежную заботу. Еще княгиня поместила 5000 фунтов под опеку императрицы в фонд приютов, которым та покровительствует[13].

6 [августа 1806 г., Москва]

[...] Вечером мы с Китти нанесли визит миссис Холлидей, и, к своему крайнему изумлению и ужасу, я узнала от нее, что нажила себе врага в лице госпожи Щербининой и что княгиня Дашкова в молчании выслушивает ту клевету на меня[14], которую та распространяет среди всех, кто посещает дом ее брата. Это, несомненно, новое и в высшей степени неожиданное событие в моей жизни. Сначала ничего кроме презрения я не испытала, но потом возникли ощущения весьма мучительные и ужасные по своим последствиям. О небо, неужели это в самом деле правда!

12 [августа 1806 г.]

[...] Мы с госпожой Небольсиной долго беседовали в ее кабинете, обсуждая жестокую и незаслуженную клевету госпожи Щербининой. Я откровенно рассказала ей все перипетии и обстоятельства своей жизни, которые делают чрезвычайно затруднительным мое поведение в этой ситуации, так что не знаю теперь ни как остаться здесь, ни как покинуть дорогую мою княгиню, чье счастье, кажется, связано с моим у нее пребыванием. [...]

17 [августа 1806 г.]

[...] Русские женщины полностью и нераздельно владеют своим состоянием, и это дает им совершенно невозможную в Англии свободу от своих мужей. Не поэтому ли *счастливые семьи* встречаются там гораздо чаще? Нет, думаю, причина кроется в более высокой нравственности. Здесь возможность женщины распоряжаться своей собственностью серьезно препятствует намерению мужа тиранить или покинуть жену. Если у нее нет детей, то после смерти все ее состояние возвращается родным, если только по завещанию она не передаст его мужу, тебе, или мне, или Джону, или Молли, что возможно в равной степени. Так что очень часто можно услышать разговор двух молоденьких, хорошеньких, глупых и кокетливых женщин, беседующих между собой о продаже земель, *душ* (крепостных), о «поместье моего мужа, из которого мы поедем в мое поместье, где я хочу сделать некоторые улучшения» и т. д. или о делах госпожи такой-то в Сенате, хороши они или нет, о ее овсе, пшенице, ячмене и т. д., выгодно проданном в этом году, и очень часто о ее *винокурен-*

ном заводе[15], доходов от которого недостаточно, чтобы оплатить ее туалеты [...]

[9 ноября 1806 г., Троицкое]

[...] Как-то вечером на прошлой неделе мы ходили смотреть лов рыбы *при свете факелов*. Никогда не видела более опасного зрелища, чем куча дров, зажженная на корме утлого суденышка, и совершенно не понимаю, почему оно не загорается. Такое впечатление, что при свете огня рыбаки видят *спящих рыб*, которые висят, как гроздья, у самой поверхности воды неподалеку от берега. У них наготове дьявольский инструмент, длинные вилы, и на каждом из восьми зубцов у них *зазубрина*. Этими вилами бьют сгрудившуюся рыбу, и иногда одним ударом поражают двух, трех или четырех. Мы не могли посмотреть на спящих обитателей вод из-за сильного ветра, препятствовавшего нашему приближению к месту ловли, а на следующий день почти установилась зима, так что рыбалка при факелах прекратилась на долгие месяцы [...]

Вчера я начала переписывать Киттин перевод «Записок» княгини после того, как сделала их копию по-французски и переписала все письма императрицы Екатерины к княгине Дашковой.

[16 ноября 1806 г., Москва]

Мы прибыли вчера вечером. Итак, снова Москва, где в последнее время произошло так много печального, что оно совсем уравновесило те немногие радостные минуты, которые еще дарили какие-то иллюзии (или мне это только казалось?). Однако, оглядываясь назад, на три года, проведенные в России, я чувствую себя *счастливее*, чем когда-либо прежде! Как странно, что эта жестокая и злобная клевета привела к столь неожиданным последствиям! Эта история послужила для всех нас пробным камнем, и результат, слава богу, оказался счастливым. Кроме того, она оказала мне хорошую услугу: теперь мне легче стало находить в себе силы оставаться дома и заниматься вещами более разумными и приятными, чем танцевать или зевать в «благовоспитанной» толпе. Можно отмести сотню различных светских церемоний и приличий, пустых, как Ничто, цепляющихся друг за друга и опутывающих, как паутина. Смена жилища создала больше удобств. Ах, если бы нам удалось еще и провести эту зиму лучше, чем те, что прошли уже в царской столице!

ОТЦУ

Москва. 13 декабря нового стиля 1806 года

[...] Как приятно, что посылка со всякими пустяками смогла хоть немного развлечь вас! Догадались ли вы, что любопытная вещица из Тулы — это приспособление для окуривания комнат?

Внутрь кладется древесный уголь, поджигаются благовония, и какой-нибудь бородатый крепостной или, чаще, отлично напудренный лакей ходит, помахивая ею, и эта штука *расточает* аромат по всей анфиладе комнат. А теперь, я полагаю, ей предназначено будет лежать спокойно на стальной каминной полке, к которой Китти подобрала пару подсвечников, также изготовленных в Туле. Что же до моих портретов, то, несомненно, некий злобный гений вмешивается в их создание. Я сделаю еще одну попытку, и то только чтобы угодить Роберту[16], который просил об этом. Теперь княгиня хочет, чтобы меня нарисовали в шали и со струящимися локонами. Говорят, что портрет обещает иметь больше сходства, чем пять предыдущих. Кто бы мог подумать, что *моей* наружности суждено обеспечивать заработок современным художникам! Киттин же портрет — настоящее сокровище, только пусть никто не надеется, что это подарок. На *оборотной стороне*, на которую я обращаю внимание публики, мною написано: *право собственности*. Узнайте также, что это именно я набралась храбрости сделать такие великолепные рамы для наших с Китти портретов.

Княгиня сейчас здорова. Кажется, я упоминала недавно, что у нее было что-то вроде *чирея* на пояснице, но он прорвался и исчез. Несколько дней мы очень тревожились, но чистота ее крови и сила сложения взяли свое. Однако же она сейчас в дурном расположении духа. Семейные отношения подошли к грани разрыва, и нет такой силы, которая могла бы изменить что-нибудь или хотя бы смягчить положение. Это по-настоящему ужасно, но *всякое* семейное общение сейчас закончилось, и мы живем относительно спокойно.

С тех пор как я приехала в Москву, моя библиотека разрослась до громадных размеров благодаря подарку, сделанному княгиней: 49 томов Энциклопедии, все труды Вольтера, 7 томов писем мадам де Севинье[17], 3 очень интересных тома «Описания всех народностей, населяющих Россию»[18], с цветными изображениями костюмов каждой народности. Она также подарила мне три огромных тома произведений Мильтона[19], в красном сафьяне, с прелестными гравюрами, а какой там шрифт! Подождите — сами увидите. Как бы я хотела, чтобы все мои книги оказались сейчас в музыкальной комнате — они станут восхитительным развлечением на долгие годы. О, но как же я забыла, что почти все они на французском языке!

Здесь ужасный шум из-за того, что правительство издало указ об изгнании из империи всех французов[20]. В указе, правда, были ограничения, которые позволят нескольким тысячам остаться. Как саранча иногда кишмя кишит на чьих-нибудь полях, так Россия наводнена французами. Поверите ли, тут едва ли найдется дом, где гувернером для мальчиков или гувернанткой для девочек не являются представители этой нации. Несколько сот лавочников распродают остатки газа и других материалов по непомерно высоким ценам, объясняя это тем, что они только что прибыли из Парижа, хотя известно, что половина этих товаров поступает из русских лавок с другого конца города. Болтовней и лестью французы выуживают капиталец из карманов тех, кои позволяют, чтобы их одурачи-

вали, и последние вполне заслуживают этого из-за слепого преклонения перед магическим словом *Париж*! Учителя танцев, конечно, французы, не говоря уже о врачах. Короче говоря, вся мелкая торговля и домашнее обслуживание (я имею в виду портных, меховщиков, лавочников, горничных, поваров, книготорговцев и т. п.) отданы французам. Что же касается воспитания молодого поколения, то многие и многие годы оно находится *исключительно* в руках французов. Хорошо же, должно быть, они подготовили своих учеников для ярма мирового тирана, который, бог даст, поплатится наконец за свое непомерное честолюбие и замерзнет в стране, которую он решил покорить,— я имею в виду Россию. Вы ведь знаете, что здесь такие же выступления против него, как это было и в Англии, а уж истории рассказывают самые невероятные. И несомненно, что правительство не осталось в стороне от этого, наконец-то дух патриотизма начал проникать сквозь облако, которое скрывало его от обозрения до сей поры. По всей империи создаются отряды ополчения[21], патриотические высказывания встречаются в театре громкими аплодисментами, и личные примеры патриотизма уже не редки. [...]

Положение в стране столь серьезно, что только господь знает, что может произойти до отъезда Китти. Если Буонапарте захватит Польшу, мы, конечно, поедем в Петербург. [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

28 [декабря 1806 г.]

Каждая минута сопряжена с тревогой, суетой и приготовлениями. Вчера начался отбор офицеров для командования московским ополчением. Знать собралась в огромной бальной зале, галерея была полна дам, которые пришли посмотреть баллотировку, и т. д. Мы надеемся пойти туда завтра.

4 января 1807 года

В прошлый понедельник Китти ходила в Дворянское собрание; во вторник там была и я... Мы обе можем рассказать одно и то же: видели толпу мужчин, одетых в московскую форму (бутылочно-зеленые с алым мундиры и белые рейтузы), которые ходили туда-сюда и говорили, не слушая ответов; там было 13 столов, по числу уездов московской губернии, и за каждым из них сидел секретарь. Князь Дашков как предводитель дворянства находился за главным столом, покрытым красным сукном. Что еще? Гул толпы — вот все, что мы могли услышать со своего места. Главным вопросом был выбор офицеров ополчения. Адмирала Мордвинова выбрали вторым командиром, и он поступил в подчинение к генералу Тутолмину. Выбор этот вызвал у всех огромное удивление и показался подозрительным. У адмирала Мордвинова нет ни дома, ни поместья

в Московской губернии, да и никого из дворян он не знает. Предполагают, что это интрига высших властей с далеко идущими целями[22].

Наступили такие времена, что в любой момент могут разразиться события огромной важности как внутри страны, так и за ее пределами. Как сейчас полагают, вслед за созывом ополчения может последовать недовольство крестьян. [...] Княгиня раздала своим крестьянам алебарды, как во времена Генриха VIII, — с одной стороны топор, с другой — крюк, а в центре пика. Это тройное оружие помещается на длинной рукояти и выглядит очень внушительно — некоторые дворяне раздают его вместо ружей, шпаг и т. п. как более подходящее недисциплинированным крестьянам, которым суждено его использовать. Кстати, в один день цена на ружье поднялась с 5 до 30 рублей, когда на оружие объявился большой спрос, а на белые перья для офицерских шляп — с 3 рублей до 25. [...]

10 [января 1807 г.]

Прошедшим вечером у нас собралось общество, но наше намерение повеселиться было совершенно парализовано потрясшим нас известием, что князь Дашков при смерти!.. Княгиня вообразила было, что это придумано с целью вынудить ее примириться с сыном, и отнеслась к известию с недоверием, но, к несчастью, она слишком скоро убедилась в печальной действительности. Сейчас ей невозможно поговорить с ним, так как он лежит без чувств. [...]

22 [января] нового стиля 1807 г.

Прежде чем время смягчит острое чувство горя, вызванное событиями последней ужасной недели, мне надо записать то, в правдивости чего я, возможно, усомнилась бы, будь это не так свежо в памяти. Князя Дашкова больше нет! Этот роковой удар был нанесен в воскресенье, 17 января нового стиля, в 4 часа утра, когда он испустил последний вздох. У него возникла горячка, чему причиной, как полагают, были неудовлетворенные желания и другие страдания, угнетавшие его,— они и привели к бесчувственному состоянию, в котором он находился последнюю неделю. В течение всего этого времени мы получали самые противоречивые сведения: то он совершенно вне опасности, то ему хуже, то ему лучше. Всем руководила его сестра, госпожа Щербинина, и, значит, ложь и неразбериха царили во всем. Она не подпускала к нему никого от княгини, даже врача; тогда как, с другой стороны, некая фатальность поддерживала в княгине уверенность в том, что он болен несерьезно. То, как готовились сообщить княгине страшную новость, не поддается описанию. Родственники собрались в комнате Анны Петровны, все в смятении, даются и тут же отвергаются различные советы, льются слезы, горячо обсуждается то, что надо было сделать еще неделю назад, и *почему* такого-то совета не послушались! Затем принялись за характер покойного: начали с того, что приписали ему всяческие добродетели, а кончили тем, что *признали* за ним

все пороки! Наконец, были выбраны доктор Шлагль и генерал Киселев[23], чтобы сообщить княгине ужасную весть; часа в два они были у нее, и она выслушала их с необъяснимым хладнокровием!

Дом был переполнен родственниками, княгиня же приняла двух или трех — без истерик и обмороков. Но лучше пойти дальше, а не останавливаться на обстоятельствах, которые я не в состоянии постичь. Понедельник был днем печали, но приемная была полна народу и утром и вечером; так прошел день. Вторник: визит *valet de chambre** князя (несчастное существо, и выглядит, как привидение), разговор княгини и т. д. Так прошел вторник, но наши мучения не кончились: сердце просто разрывалось от противоречивых чувств. Наши недавние представления о князе Дашкове как о человеке, находившемся в расцвете сил и здоровья и полном любви к миру, натолкнулись на пугающий воображение холод и ужас смертного одра. Мысли о религии, которая одна лишь может утешить в подобных случаях, помогая сдерживать эгоистическую радость оставшихся в живых и следовать мысленно за утраченным другом прямо к месту вечного успокоения у всевышнего, исчезают при наблюдении тех сцен, которые происходили в доме. Все, все было ужасным: не его смерть, но его судьба, его долги, его ошибки занимали все умы и составляли предмет разговоров. Ужасным было поведение госпожи Щербининой — ее притворство и жестокость по отношению к любовнице князя, с которой он жил последние роковые 8 месяцев. Все это, бесконечно повторяемое, да еще с отягчающими вину обстоятельствами, лишь усиливало ужас перед событием, не делая его менее мучительным. У князя Дашкова были недостатки, и достаточно серьезные, но если человечество имело когда-нибудь друга, то это был он. Князь был необычайно чуток к переживаниям и горестям других людей, и я никогда не слышала, чтобы он отказался облегчить чью-то участь и искренне не посочувствовал тем, кому не мог помочь. Не стану разбирать, в чем его вина. Жестокое стечение обстоятельств разлучило его с матерью. Сын так и не узнал, что перед смертью получил материнское благословение, так как был без чувств,— и это еще усугубляет сожаление о случившемся.

В среду отдавали последний долг его хладным останкам. Я поднялась до рассвета и, воскрешая в памяти подробности нашего знакомства, вспомнила, как вел себя князь на похоронах своего друга, и тотчас же решила последовать его примеру. Но было одно обстоятельство, которое мешало мне выполнить это намерение. Я боялась, что попаду в затруднительное положение, если мне придется столкнуться с ненавидящей меня госпожой Щербининой. Однако эти опасения уступили место убеждению, что, даже если мы и окажемся рядом, душа ее будет так поглощена происходящим, а чувства столь сосредоточены на горестной сцене прощания, что *ничто* не сможет отвлечь ее; я ошиблась.

---

* Камердинер (*фр.*).— *Пер.*

Мы с Анной Петровной отправились в церковь. Через час послышалось пение священника, приближение ужасной процессии, и невольным жестом я закрыла лицо руками. Когда же я открыла глаза, моему взору внезапно предстала вся пышность обычной церемонии греческой церкви. Гроб был открыт; мне хотелось в последний раз увидеть лицо князя. Чувства, столь естественные в такую минуту, до того меня поглотили, что должно было случиться что-нибудь необычайное, что бы могло приковать мое внимание и отвлечь меня от переживаний этого ужасного момента.

Госпожа Щербинина как первое лицо в этой траурной процессии стояла у самого гроба, но стояла как демон мести, а не как убитая горем сестра своего брата, который был к ней так добр. Ее глаза бегали по всей церкви, а по ее перешептываниям со своими компаньонками я вскоре поняла, кто был предметом их возбуждения. Они толковали обо мне. Тут она заметила со мною Анну Петровну, с которой не поддерживала отношений уже много месяцев, и, подстрекаемая пятью или шестью дамами, громким и пронзительным голосом стала говорить ей, что та тоже потеряла друга и что ее брат говорил о ней на восьмой день болезни (хотя он наверное был в это время *без чувств*), и без паузы добавила: «Не позволяйте этим английским *чудовищам* приближаться к нему».

В греческой церкви момент перед закрытием гроба самый патетический и душераздирающий, это как бы противопоставление жизни и смерти, и все приглашаются в последний раз попрощаться со своим братом и другом. Госпожа Щербинина хотела отстранить меня от этой церемонии. Говорила она по-русски, и я не поняла смысла ее слов, потому и не обратила на них внимания. Я просто полагала, что она в истерике, и думала так до тех пор, пока Анна Петровна не перевела мне ее слова. Непостижимо, что человеческое существо, тем более сестра, может так поступать, да еще в такой момент! Но так оно и было, и очевидно, что целью госпожи Щербининой было оскорбить свою мать: я поняла это по ее лицу. Моего лица она не видела: оно было закрыто плотной черной вуалью. Кажется, сначала она даже пыталась получить поддержку и полицмейстера и, лишь узнав, что это не в его власти, решила обойтись своими силами.

Эта устроенная для всеобщего обозрения сцена совершенно изменила направление моих мыслей. Я была так потрясена и расстроена, что вновь почувствовала, до чего вся эта пышность приготовления, кричащие краски, даже выставление покойника напоказ не соответствуют сути происходящего и насколько достойнее был бы простой черный цвет и одно сознание того, что гробовой покров скрывает останки друга, которого больше нет!

Вечером княгиня узнала о случившемся. Случайно оброненное слово навело ее на подозрение, что что-то произошло, и она заставила Анну Петровну все ей рассказать. О боже, несчастьям нет конца!.. Но я не могу, да и не желаю описывать в подробностях это ужасное время. Достаточно сказать, что такая непримиримая враждебность к человеку, который не только не обидел ее, но,

напротив, старался изо всех сил устроить примирение матери с сыном, оставляет в моей душе чувство смятения, которое делает несчастным всякий день моего пребывания в этой стране. Но, с другой стороны, что можно сделать? Честь побуждает меня остаться, чувство самосохранения — уехать. Множество разных обстоятельств также говорили в пользу отъезда. Как согласовать все это? Китти страдает гораздо больше, и просто не знаю, что за бесчувственность делает меня столь неустрашимой (или это господь поддерживает меня?), а ведь, находясь в центре всех этих событий, есть чего опасаться. [...] Думаю, что господь не покинет меня, но чувствую, как при мысли о Киттином отъезде, который уже *не за горами*, неумолимо тает моя отвага. [...]

БРАТУ РОБЕРТУ И ЕГО ЖЕНЕ

Лично — Москва, 2 февраля 1807 года

Дорогие мои Роберт и Элиза. Довольно жестоко было с моей стороны так долго не писать вам после всего, что я сообщила вам по секрету 20 или 22 января, но мне ужасно не хочется браться за перо. Причина проста: мне почти нечего добавить к прежнему своему посланию. Но поскольку оно не дошло до вас, придется повторить его содержание. В том письме я извещала семью о страшном горе, постигшем этот дом,— смерти князя Дашкова. Я описала подробности всех ужасных обрядов и церемоний, свойственных при похоронах греческой церкви. Далее я сообщила о недвусмысленной и всевозрастающей враждебности ко мне госпожи Щербининой, высказанной ею публично в церкви в тот день, когда хоронили ее брата. У меня было намерение (возможно — предчувствие?) остаться дома, и я долго колебалась, но все же пошла туда и считаю, что поступила правильно. Госпожа Щербинина не позволила мне по обычаю подойти к телу ее брата для последнего прощания. Этим она не только проявила *неуважение* к церкви и оскорбила религию, но и нарушила все приличия, и все ради того, чтобы выказать свою непримиримую вражду ко мне. Она нанесла мне такое оскорбление, за которое в любой другой стране ее подвергли бы остракизму. Но у этих бессердечных людей *раболепные* наклонности и лживая натура, так что у меня есть все основания полагать, что те, кто громче всех обвинял ее в моем присутствии, при ней, напротив, будут поддакивать всякому ее слову. Не найдется на свете языка, который мог бы описать всю порочность тех, кто дышит этой *удручающей* атмосферой. Она парализует ум, сердце, душу, так что если вам удастся найти хотя бы одного человека, который, проведя здесь лет 20, сумел сохранить остатки добродетели, считайте, что произошло чудо. Стоит ли так обобщать? Да, это необходимо сделать. Нужно, чтобы вам открылась хотя бы часть мрачной правды, чтобы стало ясно, на какой скользкой почве я стою. Переводя

взгляд на людей, которые меня окружают, я *не могу* найти никого, кто хотя бы на минуту внушил мне доверие.

Однако с тех пор, как я писала вам в последний раз, произошло одно значительное событие. Княгиня составила новое завещание, в котором лишила госпожу Щербинину наследства. Все свои земельные владения княгиня оставляет себе в пожизненную ренту, а большую часть своего состояния передает сыну графа Семена Воронцова, бывшего послом в Лондоне, и еще одному юноше, также графу Воронцову, своему крестнику. Ему достанется немалая доля наследства, если к своему собственному имени он еще прибавит имя Дашков. Некоторые считают, что княгиня не может лишить наследства свою дочь. Не берусь судить, но эта мысль заслуживает внимания, ибо, если Щербининой в самом деле положено какое-то наследство, ясно, почему она так злобствует. Она — единственная наследница долгов и имущества своего брата, за исключением седьмой части его земельных владений и четверти движимого имущества, которые вместе с седьмой частью долгов перешли к его несчастной вдове. Будь у него законные дети, все, что получила сестра, перешло бы к ним. Состояние жены принадлежит ей самой и ее наследникам или тому, кому она пожелает его передать, а ее доля в наследстве мужа такова, как я сказала, если только нет дополнительного завещания в ее пользу.

Княгиня, которая никогда прежде не видела своей невестки, объявила себя ее опекуншей, и через несколько дней после смерти сына написала госпоже Щербининой, уведомляя ее об этом и предлагая ей некоторые условия: объявить детей незаконными[24], заплатить долги и, наконец, чтобы Щербинина уехала из Москвы, обещая взамен снова дать ей свое материнское благословение. Госпожа Щербинина отвергла все предложения, согласившись только на то, что касалось вдовы. Тогда княгиня пригрозила, что, если дочь не покинет Москву в определенный день, ее придется поместить в исправительный дом. Прежде это было во власти родителей, но нынешний император отменил это право и сделал детей свободными от всякого контроля с 22 лет независимо от того, женаты они или нет. Княгиня не знала об этом, а узнав, написала дочери записку, укоряя ее за то, что она избила слугу, так что кровь хлынула у него из глаз и изо рта (*это факт*), а в конце угрожала ей проклятьем, если та не уедет из Москвы и не оставит ее в покое. Происшедшее со слугой усугубляется тем, что он часто прислуживал княгине и был ее любимцем. Получив записку, Щербинина велела принесшему ее полицейскому подождать. Она прочитала записку, посмеялась над угрозой проклятья, послала за слугой и его женой и попыталась узнать, *кто* рассказал княгине о том, что Щербинина его избила. Не нашедши виновного (это было рассказано княгине г-ном Посниковым), она сказала: «Я покажу вам, как поступаю с теми, кто частенько наведывается к моей матери, не слушаясь моих приказаний! Заберите его с женой в участок». Несчастные создания были отведены в место публичного наказания (это сущая правда), их *обоих* безжалостно выпороли,

и на другой день этот слуга умер. Такова власть господина или госпожи над своим несчастным рабом. Когда я пишу это, я чувствую, как пылают мои щеки, а ноги холодны, как лед, но я решилась описать вам этот омерзительный случай. Несмотря на весь его ужас, никто не отвернулся от преступницы, и она по-прежнему для всех «Un cœur Sensible»*. Так что судите сами, какие выводы можно сделать и как далеко они простираются.

Пока прощайте.

3 [февраля 1807 г.]

Мне необходимо было перевести дух после этой ужасной истории, которая, будьте уверены, еще не самое ужасное из всего, что хранит моя несчастная память. Просто удивительно, что здоровье мое пока сносно, а дух бодр, несмотря на все эти происшествия. Возможно, это оттого, что мое собственное состояние не является для меня предметом первостепенной важности, а все окружающее — объект моего *пристального наблюдения*, и сама я лишь на службе у своей чести и долга — а это совершенно ясные для меня понятия; потому сомнения, эти известные палачи, обходят меня стороной. Не хвастаясь качествами, которых у меня нет, такими, как философский ум, благоразумие, стойкость и проч., я испытываю глубокую благодарность к творцу за гибкость ума, который не свойствен...[25] и состояние здоровья [...] Китти совсем другая, и надобно сказать, что она на самом деле в трудном положении. Обстоятельства, о которых до конца никогда не расскажешь, сложились так, что у нее постоянно возникают внутренние конфликты по поводу того, что ей следует делать. Она понимает, что должна вернуться одна, но страх за меня заставляет ее настаивать и на моем возвращении. Короче говоря, так как Китти на самом деле очень больна и нервозна, она, как и многие внутренне опустошенные люди, не в состоянии освободиться от своей постоянной меланхолии. Как бы там ни было, совершенно ясно по обстоятельствам, которые затрагивают мою честь, что я не могу уехать в *этом* году, равно как она не может здесь оставаться. И теперь мы обе стараемся избегать этой темы, пытаясь сделать вид, что говорить больше не о чем!

Справедливости ради я должна отметить, что и сквозь эту мрачную атмосферу мелькнет иногда солнечный луч: граф и графиня Бутурлины[26] (граф — племянник княгини) приехали ко мне с выражением дружеских чувств и предложили, если понадобится, свое гостеприимство. Они едва ли не единственные в толпе этих угодливых льстецов, кто *так* поступил. Что же до Анны Петровны, то по отношению ко мне она «пустое место» и интересуется только собой. И хотя в эти четыре года, что мы провели вместе, ей был известен всякий мой шаг, но, ревнуя меня к княгине и будучи по природе своей мало способной к благородным побуждениям,

---

* Чувствительное сердце *(фр.)*.— *Пер.*

она если и не говорила обо мне плохо, то никогда не говорила и хорошо.

Княгиня распорядилась в своем завещании передать мне карету с лошадьми и т. п. Она также обещала отдать мне двух хорошеньких служанок — Арину и Мартышку. Она обещала завести в деревне врача, без которого, как я объявила, ноги моей в Троицком не будет.

Разговаривая с княгининой кузиной о нашем печальном положении и о том, как ужасна была внезапная смерть князя, я услышала: «Это правда, тем более огорчительная, что есть люди, безнравственность которых переходит все границы, ибо они готовы видеть *вашу* вину в этом происшествии!» А ведь дама, которая говорила это, такая кроткая и деликатная [...]

Должна, однако, сказать, что в продолжение всего этого ужасного времени я все же не чувствовала себя удрученной, даже при существующих обстоятельствах многое помогало мне выносить мрачную действительность. Княгиня относится ко мне, как обычно; смерть сына не изменила ее чувств.

Что касается денег, то я смогу выслать 5 тысяч фунтов, как только обменный курс возрастет до нужной суммы. Что бы ни случилось, я не умру раньше, чем облегчу себе душу заявлением, что в случае моей смерти я завещаю разделить мое состояние, каким бы оно ни было, поровну между моими братьями и сестрами. [...]

Прощайте. Мне больше нечего вспомнить.

Искренне и навсегда преданная вам.

Маттибус.

P. S.

[...] Еще одно слово в доказательство того, на что способна госпожа Щербинина. Любовнице князя Дашкова, с которой, как вы знаете, он открыто жил и которую Щербинина называла своей сестрой, теперь отказано от дома, а ее детей Щербинина отняла и утверждает, что они не принадлежат этой женщине, хотя та родила их буквально у нее на глазах.

ИЗ ДНЕВНИКА

13 февраля [1807 г.]

[...] Ходят слухи, которым решительно *все* верят, что несколько дней назад ночью сторож Большого Собора в Кремле был сильно напуган доносящимся из собора топотом лошадей. Он бросился к церковному служителю, чтобы позвать его на помощь и вместе посмотреть, что это такое. Сторож стал было открывать своими ключами двери, но они вдруг распахнулись сами, церковь внезапно осветилась, и изумленному взору предстали два воина в полном вооружении, крестящиеся и кланяющиеся перед образом Казанской

богоматери, покровительницы собора. Окончив молитву, воины оседлали коня, и, по словам одних, тот конь взвился к облакам и исчез, другие же говорят, что ратники умчались на волшебном скакуне быстрее ветра, но перед тем, как исчезнуть, помахали рукой на прощанье и объявили во всеуслышание, что намереваются поддержать *своих* земляков в битве *против французов* и что Буонапарте непременно падет. Было ли это шарлатанством, или в этом есть что-то, чего я не понимаю, но церковный служитель и стражник поклялись под присягой перед московским генерал-губернатором в правдивости своих показаний. Как бы то ни было, история эта поможет воодушевить солдат.

Описывая этот случай, я вспомнила, что хотела отметить чрезмерное суеверие и легковерие всех русских, часто не имеющее границ. Простой народ *безусловно* верит в нечистую силу. В свете все — мужчины и женщины — *гадают* и счастливы или несчастны в зависимости от хороших или дурных предзнаменований, выпавших на картах. Никто из высшего общества ни за что не уляжется спать, если в комнате никого больше нет, и ни на минуту не останется в темноте. Недавно в большом обществе, где все громко говорили с намерением отвести от дома дьявола, я наблюдала удивительно забавную сцену: одна пожилая знатная дама с наступлением сумерек очень забеспокоилась и, когда ее беспокойство стало невыносимым, прошептала Анне Петровне: «Если не принесут свечей, я, *кажется, упаду в обморок*; со мною это уже случалось не раз».

[16 февраля 1807 г.]

Сегодня утром в Москву приехала молодая княгиня Дашкова, которую сопровождали специально посланные старой княгиней графиня Евдокия Воронцова и госпожа Норова. С ними было передано и письмо, первое за всю жизнь письмо старой княгини к невестке [...] Первая встреча княгини с несчастной вдовой-бедняжкой наконец состоялась, и что это была за долгожданная встреча! Слезы лились рекою, и в первые пять минут едва ли было произнесено хотя бы одно слово.

Княгиня отпустила свою невестку отдохнуть, в чем та крайне нуждалась. Последние 5—6 лет молодая Дашкова жила безвыездно в деревне, совершенно *в русском стиле*, то есть проживая с мужем раздельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях, и переписывалась с ним при каждой оказии. Вдову зовут Анной Семеновной. Эта мягкая, робкая женщина с простоватым, должно признать, лицом, более вызывающая участие к своему положению, нежели привлекающая наружностью, но некогда весьма хорошенькая. Ей не больше 36 лет, хотя выглядит она на 46 и даже старше. Женщина эта бережно хранит в своем сердце память о муже, хотя, думаю, его чувства к ней не были *столь* нежными, если припомнить, какой образ жизни он вел. Ее поведение всегда было безупречным, но тем не менее она была *несчастлива*. Теперь, по закону, ей принадлежит седьмая часть состояния мужа (поместья

и крепостные), но и седьмая часть его долгов. Еще молодой княгине досталась четверть движимого имущества — мебели, посуды и т. п., но госпожа Щербинина многое из движимости распродала. Предполагают, что управляющие и кредиторы при помощи множества гнусных операций вконец запутали дела князя, так что величина долгов превосходит стоимость земель. У вдовы не было своего состояния, и, следовательно, теперь она осталась буквально без гроша. Если бы княгиня взяла невестку под свое покровительство! В самом деле, положиться ей больше не на кого.

Госпожа Полянская приехала из Петербурга навестить княгиню и привезла с собой своего полуторагодовалого сынишку.

23 [февраля 1807 г.]

Сегодня мы ходили смотреть на башкирский полк[27], вступающий в город. Этот дикий с виду народ живет на самой окраине Сибири. Европейскому глазу, привыкшему к строгому строевому порядку, сегодняшняя кавалькада показалась бы какой-то толпой, бог знает как собранной и посаженной на кошек вместо лошадей. Однако это не так. Их пестрые одеяния привычны им, просторны и удобны. За спиной на кожаном ремне башкиры вешают луки и колчаны со стрелами, а еще они вооружены пистолетами, ружьями и длинными пиками, причем пики эти привязаны к правой ноге ремнями и, видимо, не доставляют их владельцам особых неудобств. Их походные мешки наполнены всем необходимым, седла увешаны снаряжением и провизией, а когда провизии нет, они с большим удовольствием едят сырую конину. Лицами они очень похожи и отличаются друг от друга лишь тем, что у одного лицо длинное, у другого — широкое или узкое, квадратное или круглое, коричневое или темнокоричневое, желтоватое или красноватое. Полк состоит из 1047 человек. Он разделяется на роты, и во главе каждой шел устрашающий оркестр, издававший пронзительные и монотонные звуки, причем на лицах музыкантов была улыбка и выражение крайнего самодовольства. Но музыкальных инструментов у них не было. Башкирские шапки очень теплые и самых разнообразных форм и расцветок: одни в форме сахарной головы, другие — круглые, третьи — квадратные, но все с бархатной тульей и оторочены мехом; носят их низко надвинутыми на уши. Лошадки у башкир очень маленькие, но сильные и выносливые. Княгиня говорила с одним из воинов и просила его доставить Буонапарте в Москву пленником. Он отвечал с большим достоинством: «Дайте нам только добраться до него, а об остальном не беспокойтесь». Их офицеры отличаются от солдат лишь одеждой — она напоминает старые балахоны.

После того как прошел башкирский полк, мы отправились дальше: княгиня договорилась с несколькими казаками, чтобы неподалеку от Тверской заставы они показали нам свои чрезвычайно любопытные строевые учения. К сожалению, глубокий снег не позволил им показать более 2—3 приемов. Их крики, когда они атакуют противника, манера доставлять пленного между двумя лошадьми

(причем он одной ногой стоит в стремени одной лошади, а другой — в стремени другой), скача с ним полным галопом в таком положении, их умение скакать на лощади стоя, не теряя скорости и имея возможность дальше видеть и лучше целиться, чем их враг,— все это было лишь малой частью того, что они могли показать. В летнее время они могут, между прочим, соскользнуть под брюхо своей лошади, когда видят, что противник целится, и через минуту подняться, когда опасность минует. Несколько дней назад мы видели полк казаков, маршировавших по Москве. Никогда в жизни я не видела войска более красивого и лучше обмундированного, чем это. Последнее особенно важно, так как регулярные войска до того *туго* затянуты в свои мундиры, что едва могут дышать, и к тому же слишком легко одеты для сурового климата. У казаков же широкие шаровары и куртки из темно-голубой плотной ткани, такие удобные и ладные, что приятно посмотреть, а оружие и все снаряжение в отменном порядке.

Мы смотрели на этот полк из окон дома генерала Киселева. И вот вам небольшой образчик русских нравов: все время, пока мы там находились, в комнате была француженка, любовница генерала, с нею — ее подруга, юная, хорошенькая, прекрасно воспитанная и образованная мадемуазель Баранова, а также и ее мать, госпожа Баранова, которая долго беседовала с этой француженкой. В разговоре участвовала мадемуазель Киселева. Словом, эта особа вела себя почти что как хозяйка дома и почти с таким же достоинством. [...]

8 апреля 1807 года

[...] В прошлое воскресенье нас посетили лорд Сомертон и мистер Олдеркрон[28]. Последний срочно возвращается в Ирландию — он долго путешествовал и несколько месяцев провел в Константинополе. Я не знаю, какого он полка, но мундир его с алой и пурпурной отделкой. Лорд Сомертон, кажется, намеревается отправиться дальше в глубь России. Хотя он ирландец, сын архиепископа Дублинского, но свою страну не знает и проявляет очень немного любопытства, чтобы узнать о ней больше.

Госпожа Полянская уезжает, а баронесса д'Огье прибывает. Эти любезные племянницы княгини почти не дают себе труда скрыть то вопиющее корыстолюбие, которое и составляет основу их любви к княгине. Будучи родственницами, они чернят друг друга без зазрения совести. Я, словно *премьер-министр,* выслушала ужасающее количество грубой, не знающей никаких границ лести; каждый готов был раскрыть мне вероломство своего соседа и совершенную ничтожность целого света, кроме своей собственной персоны. Короче, эта такая бурлескная карикатура на все, что я когда-либо слышала или читала о дворах, что я от восхищения просто теряю дар речи и не знаю, где найти такой язык, который был бы способен дать подобающие эпитеты всей их низости, мерзости и порочности.

Есть новости о госпоже Щербининой, которая замышляла извести свою мать, невестку и меня с помощью *колдовства*. Злые чары должны были лишить нас разума или убить. Слава богу, это все миновало без каких-либо разговоров.

У нас была княжна Мария Щербатова[29]. Она рассказывала о своих невзгодах. Ее мать по завещанию оставила ей огромное состояние, намереваясь лишить наследства сына, женившегося против родительской воли. Княжна решила разделить все унаследованное с братом, но он отказался от доли и потребовал все целиком. И теперь княжна Мария собирается в Санкт-Петербург искать справедливости. Многие полагают, что дело решится не в ее пользу, так что, скорее всего, на долю бедной княжны придутся вечные раздоры. Какой позор, что ее мать поддалась гневу и *для верности* под страхом *проклятья* запретила в завещании дочери отдавать брату то большое поместье, где она сейчас похоронена и на которое он в первую очередь и претендует по праву первородства.

[21 апреля 1807 г.]

Отправились в Кремлевский собор, чтобы посмотреть место, где священники приготовляют миро. Там стоят два котла, наполненные маслом, и в них бросают крестообразными движениями разные специи и душистые травы. Три дня над этими котлами колдуют и приговаривают, а потом длиннобородые священники разливают содержимое в специально приготовленные сосуды. Мы видели 16 больших серебряных урн, которые Павел I принес в дар собору. [...]

26 [апреля 1807 г.]

[...] Как я была не права, решив не упоминать о лорде Ройстоне[30], который уже был у нас однажды. Он очаровательный молодой человек, и это общее мнение. Наружностью лорд очень походит на щенка ньюфаундленда, так что это сразу бросается в глаза, но внутренние его качества самые превосходные: он смелый, прямой и честный человек. Его отец — лорд Хардвик, лорд-лейтенант Ирландии. Лорд Ройстон уже побывал в нескольких странах и посему изучает иностранные языки с особенным успехом. Он также перевел какого-то *греческого* автора (я забыла — кого именно), но, будучи очень скромным по натуре, делает вид, что он скорее легкомысленный юноша, нежели умный и ученый человек. Он пробыл здесь совсем мало времени, но я слышала, как его превозносили те, кто смог по достоинству оценить его характер. Полагают, впрочем, что лорд Сомертон *привлекательнее*. Мы с лордом Ройстоном видели мистера Пойнзетта[31], с которым Китти познакомилась во Франции. Здесь также были две графини Воронцовы[32], теперь они опять уезжают. Они demoiselles d'honneur*, сестры графини

* Фрейлины *(фр.)*.—*Пер.*

Бутурлиной, очень *шумные* и, как все только что прибывшие из Петербурга, держатся с москвичами чрезвычайно высокомерно. Лорд Дуглас[33] теперь стал английским послом в Петербурге. Его не очень любят как англичане, так и русские; и те и другие осуждают за подчеркнуто иностранные манеры: он вылитый итальянец. Лорда Гауэра[34], без сомнения, любили в тысячу раз больше. Кроме всего прочего, лорд Гауэр превосходный человек, чего не скажешь о лорде Дугласе.

10 мая [1807 г.]

[...] Разговор весь день вращается вокруг господина Чашникова и обвинения его в подлоге. Прежде всего: его состояние насчитывало 20 крепостных и несколько акров земли, но, не будучи торговцем и не имея фабрики (я, однако, была уверена, что он *фабрикант*), он долгие годы до сего дня жил по-королевски, хотя все затрудняются объяснить происхождение его богатства. Когда началось расследование, в котором сейчас участвует правительство, выплыли на свет настоящие ужасы! Рассказывают, что он нанял 40 человек, чтобы они в потайной пещере у него в саду изготовляли бумагу для банкнот, и, чтобы они не проговорились, пообещал им делить доход между всеми. Когда же они собрались все вместе в последний день своей работы, этот господин Чашников вознаградил их, завалив вход в пещеру огромным камнем. С того дня ни о ком из этих несчастных ничего не было слышно. Во время работы некоторые из них говорили женам, какими господами обещал их сделать Чашников, поэтому эта зловещая авантюра и открылась, точнее приоткрылась, так как о ней до сих пор говорят только шепотом, хотя прошли уже многие годы. Говорят, что на первой неделе великого поста этот изобретатель отравил господина Воронцова, дальнего родственника княгини Дашковой, подсыпав ему яд в чашку с шоколадом. Несчастный одолжил у господина Чашникова деньги и, обнаружив среди них фальшивые банкноты, сказал ему об этом. Чашников упросил его зайти к нему утром на другой день. Господин Воронцов пришел, и, поскольку час был ранний, его пригласили на чашку шоколада. Выпив его, он спустя несколько минут упал замертво. Тело было осмотрено одним или двумя врачами (чьи заключения, как полагают, были хорошо оплачены) и выставлено в церкви на три дня, но ничего особенного замечено не было. Все же из уст в уста передавалось таинственным шепотом, что щеки у покойного по-прежнему краснели, слезы текли из глаз, а во рту собиралась слюна, то есть налицо все признаки насильственной смерти. Снисходительность, с какой власти относятся к этому делу, объясняется тем, что Чашников имеет дружеское расположение московского генерал-губернатора Тутолмина, так как он одолжил ему значительные суммы и оплатил долги губернатора и его сыновей этими фальшивыми ассигнациями. Вот уж, действительно, процветающий порок и всеобщая коррупция, образцы которых являет нам каждый новый день, просто приводят в трепет.

Одна знатная дама, отличающаяся на редкость вкрадчивыми манерами, наняла недавно жену английского врача, которая из-за разлада в семье рассталась с мужем, гувернанткой к детям. Они вместе отправились в один провинциальный город, где муж дамы был губернатором. Несколько дней все были очень любезны, но по прошествии некоторого времени, когда миссис Т. распаковала свои сундуки и одолжила даме чуть не половину своего гардероба, все маски были сорваны. С той минуты все переменилось: теперь к ней относились столь же презрительно и дерзко, сколь ранее доброжелательно и с уважением. Не стану входить во все подробности ее ужасного существования: комната была сырая, в ней постоянно толклись слуги или ябедники, ей не позволяли гулять, что необходимо для ее здоровья, кормили плохо и т. д. Короче, все это вынудило миссис Т. вскоре сказать даме, что более она не может оставаться в их доме. Над ней посмеялись и сказали, что уехать ей будет *довольно* трудно, так как без разрешения губернатора никто не может покинуть город, а разрешение это она *едва ли* когда-нибудь получит. Между тем здоровье миссис Т. так расстроилось, что у нее открылся туберкулез и она начала кашлять кровью, но ей невозможно было ни получить, ни отправить письма, то есть она стала самой настоящей пленницей. Однажды миссис Т. улучила благоприятный момент, вылезла из окна и с невероятным трудом добралась до соседнего города, где, по счастью, у нее был друг, к которому беглянка и направилась. Не успела она толком рассказать ему свою историю, как появилась губернаторская коляска с тем, чтобы, хочет она того или нет, увезти ее назад. Миссис Т. воспротивилась, но ее друг, англичанин, хорошо зная, что такое *власти,* посоветовал ей подчиниться, пообещав послать письмо, которое она привезла, в Москву и добиться ее освобождения. Через несколько дней по ее письму из Москвы приехал человек, имевший определенное распоряжение высших сановников Петербурга. Губернатор и его жена после нескольких стычек и попыток запугать миссис Т., чтобы та все держала в тайне, переменили тон, и жена губернатора выразила надежду, что они расстаются *друзьями.* Не обошлось без сцен, но все же, наконец, было получено разрешение уехать. [...]

А вот еще один пример здешних нравов. Князь З., во двор которого выходят наши окна, сдал крыло своего дворца под публичный дом, а сам *со своей семьей* занимает остальную часть здания!!!

17 мая [1807 г.]

Смерть госпожи Нарышкиной и генерала Кочетова, случившаяся на прошлой неделе, послужила причиной того, что их дочери брошены на произвол судьбы. *Как обычно*, долги и беспорядок в делах родителей оставили детей в крайнем смятении и беспомощности. Вопрос еще и в том, кто приютит сирот. Две незамужние дочери Нарышкиной будут жить у графа Бутурлина, старшая,

мадемуазель Кочетова, будучи фрейлиной, обеспечена, то есть живет при дворе и имеет ежегодный доход в 300 фунтов, а если выйдет замуж, будет иметь 1500. Две другие сестры приезжают сюда [...]

14 июня [1807 г.]

Приближающийся отъезд Китти занимает все наши мысли. Я надеялась проводить ее с княгиней до Риги или Петербурга, как мы договаривались, но это стало невозможным из-за дел молодой княгини, а еще более из-за слабого здоровья старой княгини, которой угрожает водянка. Какое жестокое разочарование!

Москва. 11 июля нового стиля, 1807 г.

В прошлое воскресенье княгиня с невесткой Анной Семеновной, Анна Петровна Исленьева и я отправились немного проводить Китти, чей путь лежал к Санкт-Петербургу [...] Наконец, добрались до Клина, что в 92 верстах от Москвы, перекусили хлебом и вином и разошлись отдыхать: мы с Китти в ее коляску, Анна Петровна — в карету, княгине соорудили походную постель, а Анна Семеновна улеглась на софе, где так и не смогла заснуть. Постоялые дворы в России почти сплошь крестьянские дома, да и притом скверные, так что мудрый путешественник изберет себе ночлег в собственном экипаже. Во вторник утром, 6 июля, мы простились с милой Китти. Они с Элен, ее служанкой, сели в коляску, два лакея разместились в кибитке, и, уточнив с княгиней маршрут своего путешествия и попрощавшись с нею, Китти приказала без долгих церемоний пустить лошадей в галоп. Их сопровождал Иван Александрович, доверенный полицейский офицер. Если бы не княгиня, чью привязанность я постоянно ощущаю, боль разлуки была бы для меня нестерпимой. Все же последние события некоторым образом переменили мое положение: княгиня получила письмо от моих родителей, и теперь вопрос о поездке будущей весной в Ирландию, где я хочу, наконец, провести год среди друзей, обсуждается открыто. Эта перспектива так ободряет нас, и особенно Китти, что нам было не так горько расставаться. А расставание было бы вдвойне тяжелее, если припомнить обстоятельства, касающиеся неприкрытой враждебности и ревности госпожи Щербининой.

Мы с Анной Петровной часа два просидели в маленьком садике при гостинице, у которого бежит речка, называемая по-русски Сестра. Затем нас позвали обедать, а незадолго до того, как обед был благополучно завершен, явился *в зеленых очках* племянник господина Валуева. Он возвратился из своей поездки в Петербург, Ригу и т. д. Новости, которые он привез из армии, не блестящи: поговаривают о возможности заключения мира с Францией.

Часов в 5 мы отправились в Москву. Прошел проливной дождь, освежил воздух, и это избавило нас от ужасающей, едва перено-

симой жары. Спали мы в экипажах: Анна Петровна в одном, я в другом. В среду мы продолжали путь и прибыли в Москву, как раз когда бульвары были полны народа. Без сестры дом показался мне страшно пустым. К тому же бедная моя собачка Фемида очень больна. Она заболела чумкой и теперь очень слаба. Ей прописали брызгать *уксус* на голову и капать его в рот и глаза. Потом ее осмотрел еще один знаменитый ветеринар. Он запретил давать собачке мясо и вообще все, кроме хлеба, молока и воды. *Уксусные* процедуры повторяются несколько раз в день, а еще ей было предписано делать моцион, в особенности там, где растет высокая трава. Я ходила с нею в сад графа Бутурлина. Там я однажды встретила молодого Нарышкина, только что вернувшегося из армии. Он говорит, что вместе с русскими сражаются против французов четыре английских офицера — генерал Хатчисон[35], его брат полковник Хатчисон, о котором Нарышкин говорил с *огромным* уважением, полковник Вильсон[36], а имя четвертого я забыла. Впервые после смерти матери господин Нарышкин собирается повидать своих сестер. Он говорит, что для него легче встретиться в бою с врагом, чем подвергнуться такому испытанию, как первый разговор с сестрами. Господин Нарышкин стал необычайно хорош собой. Мне говорили, что он *un fort aimable Bouffon**. Похоже, характер его соответствует теперь громкому имени. [...]

Письмо я написала, но не могу заставить себя заняться чем-нибудь еще.

18 [июля 1807 г.]

Прошлую неделю мы также провели без каких-либо серьезных дел [...]

Однажды вечером, когда весь свет отправляется на бульвары, я взяла Фемиду и ради моциона пошла с нею на пруды. Меня сопровождали Тимофей и моя статная служанка Арина. С собою мы взяли маленькую Машеньку. В тот вечер я получила доказательство того, что вызываю своим появлением любопытство, и утвердилась в мысли, что москвичам очень подчас не хватает хороших манер. Стоило мне сесть на скамейку, где я хотела немного отдохнуть, как на нее обрушились две дамы, снедаемые страстным желанием увериться в том, что я и есть, как они подозревали, та самая Изумительная Английская Леди, которую так любит княгиня Дашкова. Кругом было великое множество свободных скамеек, так что это была очевидная дерзость с их стороны — уйти со своего места и подсесть ко мне. Поэтому я поднялась и, не обращая никакого внимания на плачевные звуки ломаного английского языка, которые эти дамы издавали, беседуя друг с другом, удалилась в сопровождении собаки, ребенка и прислуги (всего моего *прихода* — простонародное выражение в русском языке, означающее толпу служителей, большей частью невысокого

* Весьма любезный болтун *(фр.)*.— *Пер.*

происхождения, которая сопровождает епископа на богослужение). Вволю нагулявшись, мы сели в карету, и только там моя служанка поведала мне, что у тех дам было огромное желание со мною познакомиться. Она вывела это из того, что, когда я покинула скамейку, они стали делать ей разные знаки, подзывая самыми ласковыми словами, такими, как *голубушка, милая, миленькая* (у русских так принято: сейчас обласкать крепостного, а через минуту избить),— и все это лишь для того, чтобы узнать, кто я такая. Но Арина, вероятно, смутно почувствовав их неучтивость, отвечала: «Не знаю». Милая Машенька совершенно поняла состояние Арины и добавила: «Мавра Романовна, я хотела сказать этим дамам, что *невежливо* навязываться незнакомым людям, но потом подумала, что я еще слишком мала учить таких больших и знатных дам». Эти большие и знатные дамы также пытались знаками подманить Машеньку, но она сделала несколько кокетливых реверансов, которые она называет «парижским фасоном», помахала рукою, сказала «adieu» и побежала догонять меня. Даже Фемида, моя маленькая собачка, не испугалась, но, как будто ее научили, зарычала и убежала. Итак, пустая скамейка — вот все, что осталось для утешения моих любопытных дам.

На другой день вечером я сопровождала княгиню Анну Дашкову, госпожу Маслову и Анну Петровну в университет, чтобы послушать две лекции и посмотреть вручение наград молодым людям. Этими наградами были оружие и медали. Генерал-губернатор господин Тутолмин (Тимофей Иванович) позволил себе явиться значительно позже назначенного времени, что было просто оскорбительно. Это его обычная манера. Генерал-губернатор Москвы важнее лорд-лейтенанта Ирландии. Дом ему представляется правительством, расходы оплачиваются из императорской казны, власть этого лица почти безгранична. Вот что значит деспотическое управление. Тут может быть тысяча мелких тиранов, но на них *влияет* желание суверена, а тот, в свою очередь, зависит от желаний дворцового фаворита, который зависит от прихотей своей любовницы, которая... о, тут может быть очень любопытная цепочка зависимостей! Смена генерал-губернатора происходит по желанию императора. Положение осложняется тем, что существует соперничество между Санкт-Петербургом и надменными московскими боярами, которые не забывают, что Москва была раньше столицей Российской империи. Это двойственное положение чувствуют при дворе, так что немногие власть имущие проведут в Москве с удовольствием даже несколько месяцев. Москва же, с другой стороны, завидует, что Петербург на императорский вкус имеет больше привлекательности.

Всякое общество, какое я когда-либо здесь видела,— это двор в миниатюре. Я сама — «*премьер-министр*» одного из самых больших. Княгиня Дашкова занимает положение выше любого губернатора, кроме московского, располагающего официальной властью. В начале моей «*министерской*» карьеры, пока я еще не поняла действия государственного механизма, мне часто «в знак дружбы» в виде нот, кружев, шкатулок, даже сладостей и вин предлагались

взятки всей этой братией[37]: Чарторыйским, Новосильцевым, Кочубеем, Румянцевым и т. д. Дружбу я принимала, как простофиля, и смеялась надо всем остальным. Если же случалось, что княгиня не выполняла просьбы того, кто ухаживал за мной, вся вина (и справедливо!) ложилась на меня. Не прошло и года, как глаза мои открылись совершенно, но это вовсе мне не помогло. Однажды княгиня Дашкова поссорилась с генерал-губернатором, который особенно льстил мне, повторял мои *bon mots**, говорил, что мои наблюдения столь *справедливы*, что это даже страшно, сажал меня за стол рядом с собою, целовал руку! Встретив же его впервые после того, как они поссорились с княгиней, о чем у меня имелось весьма приблизительное представление, я наткнулась на необычайную холодность. Вдруг человек этот резко ко мне переменился, решив, видимо, выместить на мне все, что он имел против княгини. Этот случай произошел *с губернатором*, поэтому поразил меня более всего, но я видела много раз подобные вещи в самых различных слоях общества. Право, над всем этим можно посмеяться, и, возможно, я и повеселюсь, когда буду читать об этих невзгодах как о делах давно минувших, но теперь они на меня так действуют, что я ненавижу появляться в свете. Именно мое положение «премьер-министра» повлекло враждебность госпожи Щербининой и все несчастья, с этим связанные. А между тем нет сил на земле, которые могли бы превратить меня в кого-нибудь иного, ибо я самый безобидный представитель человеческого рода, не обладаю талантом к интриге и не имею желания влиять на что-либо выходящее за рамки заведенного порядка и тихих дел моей домашней жизни. Быть свободной в этом — вот и *все* мои притязания, но госпожа Щербинина, к примеру, чья страсть — влиять и управлять, никогда не поверила бы, что могут быть лишь *подобные* устремления, даже если бы ей сказал об этом сам архангел Гавриил. Эти люди усваивают искусство интриги вместе с воздухом, которым дышат, а с интригой — сопутствующие ей лесть и способность сочетать такие крайности, как власть и зависимость, дабы достигнуть положения при дворе и избежать немилости. Впрочем, это так и должно быть из-за существующего порядка вещей. С одной стороны, они обладают почти неограниченной властью над крепостными, а с другой — осознают свою едва ли не полную зависимость от высочайшей воли. Если кто-либо не дослуживается до чина, то, будь он хоть миллионер, он не вправе будет запрячь в свою карету четверку лошадей. Следовательно, каждый отец учит своего сына льстить для продвижения по службе, а из этого ясно, что служить тот будет не из чувства патриотизма, а для получения чина.

Во вторник вечером я гуляла у прудов. Там собрался *Beau Monde*** и играла музыка. Со мной были госпожа Маслова и молодой офицер Елагин, *настоящий джентльмен*. Я ничего не могу делать из-за болезни моей бедной собачки. Нет сил видеть мучения

---

* Остроты *(фр.)*.— *Пер.*

** Высший свет *(фр.)*.— *Пер.*

существа, которое не может выразить своих страданий, а только беспрерывно стонет.

В субботу, 16-го, пришло известие о мире[38] между русскими и французами. Этот мир чрезвычайно непопулярен. Тем не менее господин Тутолмин отдал приказ праздновать его со всем возможным великолепием, и в воскресенье была иллюминация, звонили во все колокола так, что уши заболели, палили из пушек и над всем царила скука; Буонапарте же теперь называют во всех церквах просто императором и королем. В субботу был зван мистер Бентам. Он англичанин, но служил у русских в царствование Екатерины, во время фавора Потемкина. Не знаю, почему он вернулся после 16-летнего отсутствия. Кажется, он опубликовал юридическую книгу, а его брат в Лондоне[39] постоянно пишет об этом же предмете и о вопросах морали [...]

Миссис Холлидей нанесла мне визит, она сказала, что все здесь бранят англичан: почему они не послали свои войска на защиту от французов Данцига и Кенигсберга? Вероятно, русские и правы. Я тут не вижу газет и не знаю абсолютно *ничего*. Но как бы то ни было, говорить, что война эта была *для англичан* сплошным *удовольствием* и что они в конце концов просто обманули русских,— это совершенный абсурд, а русские, не довольствуясь обвинением англичан в промедлении, доходят до этого. Просто они хотят снять с себя всю вину за поражение в последней битве (сражение у Фридланда[40]) и заключают не пользующийся никакой популярностью мир в то время, как даже турки низвергли своего султана и сменили правительство, чтобы проводить политику в интересах России и Англии[41]. И все это в конечном счете для того, чтобы сокрушить ужасную власть Буонапарте. Русские закрывают глаза на успехи, которые делает этот маленький герой (а он действительно герой, хотя я желаю ему 100 саженей под землей и покоиться с миром). Пруссия теперь под его властью, и что же остается? *Пядь* земли по сравнению с тем, что он уже захватил [...] Можно ли назвать защиту русских от такой опасности войной для удовольствия англичан? Однако приходит же это людям в голову! Временами подобные мысли заставляют меня содрогаться. Ведь это может привести к войне, и тогда прощайте все надежды даже на получение писем. А *как* возвращаться будущей весной! Но я сегодня в бодром расположении духа и ничего не боюсь.

21 июля нового стиля [1807 г.]

Дважды мы ходили смотреть иллюминацию. О, это плачевное зрелище. В большинстве домов это несколько ламп за воротами, во дворе, и едва ли вы отыщете что-нибудь лучшее. Напротив окон генерал-губернатора — транспарант с символическими фигурами, и, между прочим, стоит заметить, что здешний обычай устраивать иллюминацию отличается от нашего: мы зажигаем огни внутри, подвергая дом опасности, а русские освещают дом снаружи [...] но у них нет того духа всенародного праздника, который бывает

у нас. Припоминаю, что на свадьбе графа Салтыкова, вернее, на балу, который давался после свадьбы, его дом был иллюминирован подобным же образом, хотя это и было в разгар зимы.

Прибыл из армии любимый племянник княгини, который последовал за нею в изгнание, генерал Лаптев. Прусский король наградил его звездой и орденом за битву при Данциге 3 мая 1807 г.[42], когда русские сражались за этот город. У него множество орденов, которыми его наградил император Александр, и шпага, на эфесе которой выгравировано: «За храбрость». Эфес и рукоять шпаги украшены бриллиантами. Генерал был вчера вечером нашим кавалером, когда мы с Анной Петровной ходили смотреть иллюминацию на бульвары, полные народу. Но иллюминация, как я уже упоминала, была скверной, зато мы должны признать, что наш военный кавалер приковывал внимание всей публики своими знаками отличия. [...] Я согласилась поехать на бульвар в карете, но потом вынуждена была пойти пешком, оставив досаждавшую Анну Петровну. Мне очень не хотелось, чтобы меня признавали англичанкой, так что я нахлобучила свою соломенную шляпку на самое лицо, к тому же освещение было очень плохое, и я не думаю, чтобы хотя один смертный заметил меня. Каждый человек, приезжая за границу, становится представителем своей нации в этой стране. Если иногда это и приятно, несомненно, что в большинстве случаев — совсем наоборот. Нелепо и неправдоподобно звучит, но тем не менее сущая правда, что меня заставляют *отвечать* за действия короля Георга и решения двух его парламентов (будто я в самом деле ответственна за это) так серьезно, как если бы это не было полным абсурдом. У каждой нации (в конце концов это вопрос национальной гордости) должен бы быть некий барьер, могущий обезвредить тех, кто позорит страну, демонстрируя иностранцам свою глупость, пороки или убожество. Если представление о стране создается даже простыми смертными, то как же нужно заботиться о тех, кто избирается для дипломатической миссии!

Везде теперь только и разговоров, что о мире. Император послал князя Василия Долгорукова[43], молодого человека, которому покровительствовал князь Дашков, объявить об этом событии в Москве через генерал-губернатора и Сенат. Говорят, господин Тутолмин приказал лавочникам приготовить посланцу, доставившему такие радостные вести, в подарок 2000 дукатов и золотую табакерку, украшенную бриллиантами. Последняя принадлежит господину Тутолмину, и, по слухам, он хочет воспользоваться случаем, чтобы продать ее с выгодой. Заключенный мир, как представляется, очень непопулярен, и благодарить посланца таким образом недопустимо. Это решение самого губернатора Тутолмина, и оно вызывает огромное недовольство. Он еще намеревается отправить князя Долгорукова назад, благодарить императора за то, что тот оказал снисхождение сообщить в Москву такую новость! Итак, состояние войны, в котором сейчас пребывают все и вся, от империй и королевств, провинций, городов до семей и каждого человека, буквально

сотрясает всю Европу, и ни одна самая малая частица не может избежать этого.

Хорошо известно, что в последней битве под Фридландом русские находились просто в плачевном положении из-за нехватки амуниции и продовольствия. Для снабжения тем и другим в армии есть отдельно специальные службы. Снабжение боеприпасами находится в ведении артиллерии. Интендантство же разделяется на два ведомства: *склады провианта*, вверенные высшему командованию, в подчинении у которого множество офицеров, от генералов до прапорщиков, и, отдельно, *ведомство обмундирования*. Обязанность первых — снабжать армию продовольствием и размещать его недалеко от театра военных действий, чтобы облегчить доставку в случае крайней необходимости. Другое же ведомство, называемое *комиссариатом*, подобно первому, но занимается тем, что обеспечивает войска одеждой. Император по возвращении из армии издал указ о лишении званий *всех* офицеров интендантства, участвовавших в битве при Фридланде, до тех пор, пока виновные не будут наказаны.

В одном из московских анекдотов рассказывается, что во время беседы, состоявшейся между императором Александром и Буонапарте, Наполеон заявил русскому монарху, что он подкупил почти всех министров его величества и мог бы назвать их цену. В подтверждение своей необычайной привязанности к русскому царю Наполеон добавил, что дукаты можно найти даже в карманах солдат его величества — словом, доказал, что его влияние в армии безгранично. Я не думаю, что все это возможно, но *лживые* истории, так же как и *истинные*, отражают свое время и поэтому стоят упоминания.

25 [июля 1807 г.]

[...] Княгиня дала мне книгу, которая очень известна, и я прочитала ее с огромным удовольствием. Это Наказ Екатерины II комиссии, созданной для выработки нового кодекса законов[44]. Книга эта поразила меня. Она написана человеком, который опасался открыто излагать свои мысли, и, хотя каждая строчка дышит человеколюбием, автор обращает внимание читателей на существование таких правительств, которые были известны своей жестокостью и тиранией, чтобы это служило контрастом тому человеколюбию и чувству справедливости, вслед за выражением которых идут эти цитаты. Действительно, это было щекотливое предприятие — создать законы и сохранить неограниченную власть, но Екатерина II была умной женщиной и, как бы далеко ни заходила, знала, где остановиться [...]

26 [июля 1807 г.]

Моя бедная Фемида умерла сегодня утром. Добросердечная Арина с двумя слугами отнесла ее в лес и похоронила. Я тоскую всем сердцем, но рада, что ее мучения окончились [...]

27 [июля 1807 г.]

[...] Княгиня подарила мне одного из Фиделькиных щенков. Я дала собачке имя Любезный.

15 [августа 1807 г.]

Прибыла графиня Ирина Воронцова с сыном[45]. У нее весьма светские манеры, но наружность непривлекательная. Зато у молодого графа, ее сына, юноши 16 лет, чрезвычайно приятное лицо и такие прекрасные черные глаза, каких мне не доводилось еще видеть. Он собирается взять фамилию Дашков в добавление к своей собственной, но его мать отказывается принять какую бы то ни было часть наследства княгини. Она говорит, что имеет состояние в 100 000 рублей. Это, по самым скромным подсчетам, дает годовой доход в 12 000, а если учесть, что слуги и их труд здесь почти ничего не стоят, то и в 20 000. Таким образом, заветный план княгини, по которому имя и поместья должны перейти к одному лицу, потерпел крах. Сделай она иной выбор, титул князя Дашкова не был бы потерян (император дал позволение принять его), но из уважения к своему родовому титулу этот юноша отказался, и теперь он — граф Воронцов-Дашков.

К княгине приехали из Могилева госпожа Волк, бывшая нашим другом в Круглом, и ее сестра мадемуазель Сурмина. Обе выглядят больными. Они пережили немало несчастий, и эти *тяжелые времена* сильно пошатнули их достаток.

12 сентября нового стиля (1 сентября старого стиля) [1807 г.], Троицкое

Завтра будет две недели, как мы здесь живем... Троицкое в этом году нравится мне гораздо больше, чем раньше. Все деревья покрыты густой листвой, а чистый воздух так живителен после жары, пыли и зловония Москвы, что я дышу полной грудью. Молодая княгиня и мадемуазель Кочетова своим присутствием здесь доставляют немало приятных минут, а моя Мариетта — просто сокровище. Анна Петровна уехала неделю назад навестить свою мать под Тулу. Я очень удобно устроилась в своих апартаментах: у меня 4 комнаты, а если пожелаю, то могу занять и пятую. Нам принесли прелестную птичку, канарейку, мы назвали ее Милая. За ней ухаживает садовник господин Прыткин, он сделал ее совершенно ручной.

Моя собачка, Любезный, едва жива, сражаясь со своей болезнью. С собаками у нас происходят ужасные вещи. Вот уже месяц, как у Фидельки находят симптомы бешенства, но она пьет воду и никого не кусает, так что княгиня надеется, что все пройдет. Тем не менее, по нашей просьбе, она отправила Фидельку в деревню со Степушей, который лучше всех умеет управляться с собаками. Во время поездки Фиделька еще отзывалась на свое имя и пила воду. Вдруг, как раз в то время, когда Степуша отлучился, собака набросилась

на форейтора, который управлял коляской, и укусила его, после чего снова успокоилась и так же, как и прежде, отзывалась на свое имя. Потом она укусила за палец Степушу. И все же любимицу княгини не осмелились умертвить. Ее отправили к деревенскому доктору, где она и умерла. Неделю спустя у Степуши появились признаки бешенства. Деревенский знахарь взялся вылечить его, надрезал укушенный собакой палец, чтобы выступило немного крови, смешал эту кровь с молоком и все это дал Степуше выпить. Ему стало легче, и, как нас уверяют, форейтор тоже *поправляется*. Тем не менее они сейчас в Москве. Мы все пришли в ужас от того, что можем встретиться с ними в Троицком, и Степушу с форейтором отправили под наблюдение врача; правда, они отказываются принять от него лекарства, то есть лечения никакого нет. Мы избежали такой участи лишь волей провидения: в этом болезненном состоянии собака весь вечер и утро была с нами. [...]

19 [сентября 1807 г.]

Совершенно осенний день: дождь, туман и холод. Сегодня один из праздников, которых множество в греческой церкви, но священник был пьян, и служба не состоялась.

С тех пор как мы прибыли сюда из Москвы, в здешней церкви происходит нечто весьма печальное. История такова: брат Гаврилы, по имени Василий, который оказался совершенным негодяем во всех отношениях, замыслил с дьяконом и сыном священника, регентом церковного хора, погубить управляющего, поляка Кондрата. Они сочинили от имени Кондрата прошение в Московский сенат, в котором он якобы заявляет, что он польский дворянин и имеет право на свободу. Замысел поистине злобный, так как лет десять-двенадцать тому назад подобная история действительно имела место. Кажется, по прежней польской конституции любой человек, если ему удавалось подкупить двенадцать дворян, чтобы те поклялись, что он дворянин и кузен одного их них, получал дворянское звание. Таким образом, дворянское сословие пополнялось за счет выскочек. *Был* ли таковым управляющий или нет, я не знаю, но он утверждал, что он дворянин, и дважды пытался убежать. Теперь он успокоился, живет в достатке и совершенно доволен. Случилось же так, что его вмешательство воспрепятствовало ужасному и злодейскому мошенничеству, которое предприняли Василий с дьяконом. Они распространяли среди крестьян фальшивые банкноты. Один из крестьян пытался в Москве оплатить этой банкнотой счет и был брошен в тюрьму за подлог. Бедняга едва не заработал кнут и ссылку в Сибирь, и освободили его лишь потому, что за него поручился управляющий. Вот за это Василий с дьяконом и решили отомстить Кондрату.

Когда княгиня приехала, ей, конечно, все рассказали. Она сейчас же послала за серпуховским сенешалем[46], сделала официальное заявление об этом деле и передала своего подданного Василия в руки правосудия. Дьякон и регент, осознавая и свое

участие в этом деле и опасаясь, чтобы при расследовании не выплыло многое другое, подговорили поехать с собой и жалкого пьяницу-священника. (Собственно, его порок — пристрастие к вину — и привел к этим ужасным последствиям.) Вернувшись, священник напился пьяным и проболтался о цели поездки. Говорят, что, если проверить церковные записи, откроется, что, судя по регистрациям рождений и крещений, священник много раз женил мальчиков одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет на женщинах двадцати — двадцати пяти лет и старше, что противозаконно. Русских священников (или попов, как их здесь называют) часто подкупают крестьяне, чтобы женить своих малолетних сыновей на взрослых женщинах. Вследствие этого они получают *работницу* в дом, а все остальное во внимание не принимается. Это, а возможно, и кое-что иное, привело виновных к мысли искать убежища у раскольников, которые имеют силу и могли бы укрыть их или способствовать бегству из России, но то ли из страха перед княгиней, то ли по другим, не известным мне, причинам главари секты отказались их принять, и преступники через четыре или пять дней вернулись в Троицкое. В таком положении все остается и теперь. У священника старая мать, несчастное, прикованное к постели существо, ей уже больше ста лет, и ради нее княгиня скорее закроет глаза на проступки ее сына, нежели омрачит ее последние дни лишением его священнического сана, хотя он давно того заслуживает. Сама старуха — дочь, жена, мать и даже бабушка священников.

16 [сентября 1807 г.]

Прошлую пятницу ужасно напугала нас Сюзи, у которой, как и у Фидельки, появились признаки бешенства. Она искусала двух собак, бросилась на маленького мальчика, искусала до крови поросенка. Такой же участи едва избежала розовощекая Настасья. Пока искали крестьян, которые бы отвезли Сюзи к ближайшему ветеринару под Серпухов, Настасья держала щенка на руках. Я посоветовала ей предварительно надеть мужские перчатки из толстой кожи, и, если бы не они, собака искусала бы Настасье все руки.

Мы с княгиней сидели допоздна, и надеюсь, что она хоть немного отдохнула: ее чрезвычайно огорчила болезнь Сюзи. Сегодня у нас хорошие вести: нас заверили, что собачка вполне поправится. [...]

18 [сентября 1807 г.]

Вот и закончилась история Сюзи. Бедная собачка умерла...

14 [ноября 1807 г.]

Снова бешеные собаки! Прямо-таки опасно выходить в сад. Мы вышли с Дарьей Николаевной в пятницу вечером на прогулку, и менее чем через полчаса нам пришлось вернуться. Как только мы

ушли с того места, где возводится новая стена, туда из какой-то дальней деревни примчалась бешеная собака, укусила работавшего там человека, забежала в деревню, покусала там мужчину, двух женщин и двух детей и была наконец убита! Принадлежавшая Жеркову собачка Флора, из Фиделькиного потомства, тоже была искусана разъяренным животным. Кровь лилась рекой: пришлось убить ее, чтобы спасти наши жизни. Не исключено, что были покусаны и другие собаки или свиньи, так что дело на этом не кончится.

Вчера утром сына священника, которому, видимо, совершать злодейства и мошенничества так же свойственно, как и дышать, обнаружили у дверей, ведущих в мою спальню. Он уже собирался войти, но управляющий, который видел, как мошенник входил, проследовал за ним и выставил вон. Возможно, тот хотел, чтобы я попросила о чем-то княгиню, как я это неоднократно делала для других, или, что тоже вероятно, он намеревался меня ограбить или присмотреть что-нибудь в комнатах. Короче, жить здесь — значит подвергаться постоянной опасности. Священник, дьякон, тарусские судьи (наши хорошие знакомые, которые недавно приезжали сюда для исполнения своего служебного долга — расследовать историю с подлогом и судить Василия за его преступление — и обедали у нас), сам Василий, да и вся честная компания, а среди них — губернатор Тулы, зять генерала Елагина,— получили свой кусок от большого пирога и так связаны, что, хотя их вина ясна как день, есть все основания полагать, что дело будет замято.

Эта деревня — настоящее осиное гнездо, а уничтожить его и исправить положение — весьма трудное дело. Общая продажность неописуема. Правосудие — лишь шутка. Его просто не существует, от него осталась только *тень*, которая, однако, скрывает внушительных размеров пороки, приводящие меня в содрогание. А само слово «правосудие» служит покровом, под которым и совершаются все преступления.

Вот еще пример, с Анной Петровной. Тетушка оставила ей 10 000 рублей по закладной, и ее права так очевидны, что даже судьи не могли бы их отрицать. Но судьи поддерживают противную сторону, притом так действенно, словно подчиняются указу. Они отложили судебное разбирательство, а между тем та сторона пользуется процентами с денег (проценты по большей части доходят до 10, хотя по закону полагается брать только 5) и в конце концов, протянув время, переложит все в свой карман, а Анне Петровне придется утешаться судебными издержками.

19 [ноября 1807 г.]

Вчерашняя почта принесла весть о *разрыве* дружеских отношений между Россией и Англией[47]. Новость самая печальная, а главное — одному богу известно, каковы будут последствия. Страшно, я чувствую себя загнанной в лабиринт. Все письменные сношения будут, конечно, прекращены, семья моя окажется в самом

несчастном положении, и это не говоря уже о том, что я буду страдать, не получая от них никаких известий! Господи, что делается в мире, и что еще ждет нас впереди! Мне необходимо постоянно отвлекаться, чтобы прогонять прочь мысли, от которых я делаюсь больна и становлюсь негодной ни для какого занятия, а тем более для тех усилий, которые еще могут понадобиться. Теперь это моя первая обязанность, и, лишь действуя должным образом, я смогу быть достойна награды — собственного одобрения. Вверяю заботу о своей семье и друзьях Всемогущему и молю господа дать мне силу духа в испытаниях, которые, быть может, еще ждут меня!

МИССИС РОБЕРТ ВИЛЬМОТ

Троицкое, 29 ноября 1807 года

[...] Не могу сообщить тебе ничего о том, каким образом события в мире могут повлиять на мои дела. Как ты видишь, мы все еще сидим в Троицком, отрезанные от мира бездорожьем, как я уже писала Китти; дороги почти непроезжие. Мои беспокойства отнюдь не беспочвенны; мне следует беседовать с людьми, хорошенько обдумывать свои поступки и соответственно действовать. Однако всемогущее провидение, разрушающее мудрые планы и сводящее на нет самым непостижимым образом огромные усилия, проявляется даже в мелочах и делает все расчеты бесполезными. Не знаю, суждено ли мне вновь соединиться с моими близкими и любимыми друзьями или я еще до́лго пробуду в этой стране, но уверена в одном — вам совсем не следует беспокоиться обо мне. У меня есть верный и могущественный друг — моя обожаемая княгиня, которая сегодня по-ма́террински беседовала со мной и уверяла, что, если мое возвращение возможно, она сделает все, чтобы помочь его осуществлению, а если нет, ничто не помешает ей обеспечить мне спокойствие и удобства даже в случае ее смерти, ведь все устремления ее души и сердца направлены на достижение моего счастья.

Я уже писала Китти и вновь повторю, что не чувствую тревоги за свою судьбу. Поступки императора могут быть только великодушны и благородны; княгиня попросит его покровительства для меня, вдобавок к обещаниям императриц. Можете быть уверенными и в том, что, если понадобятся мои личные усилия, я не буду сидеть и хныкать, коли в моей власти что-либо сделать; только таким образом женщина может проявить мужество.

Чтобы избежать безделья и беспокойных мыслей, которые оно вызывает, я обязательно всю зиму буду изучать итальянский и игру на арфе, что мне было предложено ранее. Одним словом, беспристрастно взвешивая все обстоятельства, можно убедиться, что мою участь нельзя назвать несчастливой. Если б можно было, хотя бы время от времени, получать уверения в том, что вы, подобно мне, в добром здравии, я склонилась бы с истинным спокойствием перед

неизбежным. Но когда воображение подсказывает, что обожаемый отец несчастлив из-за меня, Китти позволяет себе выказывать беспочвенные горести, а мой драгоценный Эдвард может встретить безвременную кончину на берегах Египта, признаюсь, я ощущаю всю горечь разлуки, и даже исчезает чувство, что мне не в чем себя упрекнуть.

4 декабря нового стиля, 1807 год

Главной причиной этого письма, дражайшая Э[лиза], послужила весть о том, что Швеция тоже стала врагом А[нглии][48]. Значение этого удара слишком очевидно и не нуждается в комментариях. Ты видишь, как это отразилось на мне, кажется, я имею право сказать, что мой характер стал более гибким. Неопределенность — вот что убивает меня. Дай господи, чтобы ужасный слух не подтвердился.

ИЗ ДНЕВНИКА

5 декабря 1807 года

[...] Последняя вечерняя почта принесла новости о сильных подозрениях на чуму в Москве; полицейские офицеры ходят из дома в дом, чтобы убедиться в том, что квартиры окуриваются ветками можжевельника и принимаются другие меры предосторожности. Княгиня думает, что наша задержка здесь произошла по воле благосклонного к ней провидения. Полагаю, что новость о болезни сильно преувеличена. Летом чума исчезла; однако погода этой осенью была исключительно нездоровой, да и много больных солдат вернулись домой, так что вспышка эпидемии в декабре вполне возможна. Все же холода со снегом, которые скоро должны начаться, очистят воздух, и, думаю, инфекция исчезнет. Что и говорить, *приятные времена* настали! Господь всемогущий, пусть новый год пройдет под более счастливой звездой, чем 1807. Это был год, полный ужасных событий. Я чувствую что-то вроде суеверной радости, что он вскоре кончится.

ОТЦУ

Троицкое, 18 декабря 1807 года

Завтра мы отправляемся в Москву, где я надеюсь узнать положение дел и, может быть, понять, какие шаги мне следует предпринять [...]

Что касается вашего беспокойства, которое, как я знаю, происходит от совсем других причин[49], то ведь есть основания полагать, что вся враждебность и мелкая ревность поутихли. Сделать так,

чтобы я удалилась из этой страны,— вот ее цель; у меня цель точно такая же. Следовательно, мы объединились, потому что противоположности сходятся, и ее враждебность оборачивается *чувствами друга*. Влияние Щербининой не только уменьшилось, но, может быть, совсем исчезает. Губернатор Мо[сквы] получил приказ о возвращении детей матери[50]. Китти, которая знает обо всех этих вещах, сделает выводы и будет довольна, восприняв эту новость как свидетельство уменьшения власти и влияния сей госпожи. Кроме того, две племянницы княгини боятся Щербинину так же, как и я, а невестка — еще больше. Нет, нет, я вас умоляю, не беспокойтесь, пишите в ваших письмах о всех радостных событиях, чтобы мысленно я танцевала, так как решила не ходить на балы, представляла себе прогулки, катания etc, etc.

Москва, 27 [декабря 1807 г.]

Моя дражайшая княгиня ради меня предприняла достойный ее поступок. Она написала министру иностранных дел графу Румянцеву[51], спросив его как друга, смогу ли я безопасно попасть в Швецию, чтобы оттуда весной отправиться в Англию. Письмо отправится завтра, и в течение 10 дней я буду ждать результата. Возможно, я окажусь в Стокгольме, когда вы будете читать это письмо, но точно так же возможно, что буду там, где сейчас. Уверяю вас, моя надежда на мир столь велика, что, если бы не ваше беспокойство обо мне, побуждающее меня к действию, я бы оставалась совершенно спокойна. Думаю, путешествие дорогого Р[оберта] подошло к концу; я приняла решение не позволять ему совершать подобные путешествия, тем более что оно оказалось совершенно бесполезным.

Дорогой батюшка, вы не должны беспокоиться, что княгиня не пишет вам. Она очень страдает от предстоящей со мной разлуки; думаю, писать княгиня не в состоянии. Господь свидетель, мое сердце истекает кровью при этой же мысли, но, полагая своим долгом сделать все для возвращения домой, я не испытываю жестоких колебаний, возникающих от неуверенности или борьбы желания с долгом. В письме Элизы много говорится о «*Записках*». Она советует мне собрать побольше материалов etc, etc. Пусть она полчаса поговорит с Китти и тогда поймет невозможность выполнить ее желания. Мне эта мысль (особенно вначале) приходила тысячу раз; вчера я случайно нашла изречения княгини о религии, которые я записала четыре года назад,— они подобны жемчужинам и рубинам, падающим из уст доброй волшебницы, и исключительно интересны. К сожалению, с каждым новым днем это становится все более невозможным. В свое время мы с Китти выясняли у княгини более подробные детали происшедшего. Одним словом, Китти — энциклопедия, где ты можешь найти ответы на любые вопросы. Конечно, «Записки» читаются в глубокой тайне [...]

ИЗ ДНЕВНИКА

Вечер 3 января 1808 года

Сегодня мы обедали с графом Остерманом, чей смех может расшевелить саму смерть. Старый князь Голицын, великий канцлер, умер месяц назад. Мне сказали, что умирает граф Алексей Орлов. Как много старых екатерининских придворных, которые жили здесь в восточной роскоши и превращали Москву в нечто вроде музея, сохранившего исторические экспонаты, и некоторые — в состоянии полной окаменелости, исчезли за тот короткий срок, что я живу в России. Увидав их собрание в первый раз, я хорошо его запомнила; оно состоялось у великого канцлера в его великолепной галерее. Комната блестела от бриллиантов и золотого шитья — остатков хорошо известной пышности двора Екатерины, я была просто очарована этой картиной. Ныне из приверженцев Екатерины в живых остались лишь граф Остерман и моя княгиня, и, если бы не стены и башни Кремля, в Москве не было бы ничего примечательного, кроме балов и ужинов, которые идут сплошной чередой и прерываются лишь обедами, завтраками, утренниками и игрой в карты.

7 [января] нового стиля,
рождество по старому стилю

В четыре часа утра вчера умер граф Алексей Орлов!

9 [января 1808 г.]

Сегодня утром хоронили графа Орлова. Мы обедали с господином Дивовым[52] и его сыновьями, которые были на погребении и рассказали о происшедшем там ужасном случае. Во время знаменитой битвы при Чесме, выигранной князем Орловым (или, скорее, адмиралом Грейгом[53]), корабль, на котором был брат Орлова, загорелся от турецких ядер и взорвался. Граф, в ужасе от судьбы своего брата, потерял сознание и стал падать в море, но один сержант спас его жизнь, успев поймать. С этого дня граф стал его другом и покровителем, бедняк был членом семьи графа. Сегодня сержант, чья скорбь по графу была беспредельна, оказался назначенным среди других нести гроб. Когда он подошел к лестнице, его глаза и рот покрылись кровью, и он упал мертвым!

Дочь графа, очаровательное создание, скорбит невыразимо, но она не выставляет горя напоказ, как здесь принято. У нее хватило мужества каждый день сидеть у гроба отца, а все остальные родственники пришли только попрощаться. Вся жизнь графини Орловой прошла в обстановке, которая развратила бы обычный ум, но она сохранила всю чистоту души, будучи выше всех соблазнов. Графиня останется в доме отца (или, вернее, в своем собственном доме) на шесть недель, проводя время в молитвах и присутствуя на панихидах, которые служатся до сорокового дня, когда, по преданию,

душа покидает чистилище. Состояние графини Орловой громадно; ее доход составляет 300 000 рублей в год (40 000 фунтов). Кроме того, бессчетны ее богатства: бриллианты, жемчуга и другие ценности. Говорят, что, кроме всего прочего, у нее два или три сундука, набитых дукатами.

10 [января 1808 г.]

[...] В субботу мы обедали с князем Юсуповым[54] в его татарском дворце, который, на мой взгляд, ничем не отличается от любого дома подобных размеров. Он пристроил к нему красивую просторную галерею; чтобы попасть в нее, надо спуститься по извилистой лестнице через библиотеку. В галерее выставлены замечательные картины, среди которых мне больше всего понравились две работы Анжелики Кауфман (говорят, что знаменитая художница умерла[55]). Для развлечения гостей есть там и самые разнообразные птицы; так как галерея огромна, их трескотня и гвалт производят впечатление шумной ругани. Гости ходят от клеток с попугаями к клеткам с какаду и далее, к сладкоголосым жаворонкам, которых у Юсупова очень много. Хозяин сказал, что днем они поют редко, обычно они поют рано утром или вечером в ответ на песни друг друга.

Из галереи вы попадаете в Зеленый зал, на дальней стене которого сделана роспись, производящая волшебное впечатление, а в центре — ротонда для увеселения гостей, окруженная апельсиновыми и лимонными деревьями огромной высоты. В тот день в зале было слишком холодно, и мы вернулись в прекрасную галерею. Я еще не рассказала о печах, бильярде, статуях, альбомах с гравюрами, лежащих на столах, и других вещицах, создающих удобства и показывающих утонченный вкус хозяина дома. Но я должна была бы высказать ему неудовольствие тем, что он не показал мне свои татарские залы, так что расскажу небылицы по этому поводу. Говорят, у него есть анфилада комнат в татарском стиле с промасленной бумагой вместо стекол, и в них живут прекрасные Дульцинеи, охраняемые со всей строгостью гарема турецкого султана. Молодая француженка убежала оттуда на прошлой неделе, сломав двери своей тюрьмы и оставив письмо, что она предпочитает свободу запада мрачной роскоши востока. Уныние Юсупова до сих пор является предметом сплетен города, а татарская промасленная бумага — скользкий вопрос для его высочества.

А теперь сплетня обо мне. В тот момент, когда мы въезжали во двор, от дверей отъехали сани с великолепно расшитой попоной, и я увидела моего канцлера[56], который направился к экипажу княгини, подозвал одного из лакеев и спросил о чем-то у того. У меня есть причины полагать, что его интересовала дама в карете, так как в следующий момент он последовал за нами и проводил нас через извилистые переходы и лестницы в галерею. Очевидно, я была предметом внимания, но он попал под несчастливую звезду, так как, не имея приглашения на званый обед, не мог остаться. Все, чего он смог достичь, были несколько вежливых вопросов о моем здоровье,

а затем он исчез. По-видимому, неординарное поведение этого человека имеет какие-то причины, но я их не понимаю. Он так подчеркнуто внимателен при наших встречах, хотя за наше двухлетнее знакомство их было не более трех. В прошлую субботу мое выражение лица ясно дало ему понять, что я нахожусь в недоумении. Я хочу с благодарностью получить предложение его звезд, лент, золотого ключа, владений и чина, чтобы разумно отказаться от всего, но, боюсь, при таких условиях этого никогда не случится.

14 [января 1808 г.]

Вчера мы обедали у господина Штукина, где встретили генерала Лаптева и его *невесту* княжну Голицыну. Ей 43 года, и она безобразна, зато богата, а он беден. Мне никогда не приходилось видеть пару, чьи лица так явно выражали бы его силу и ее плохой характер. Их свадьба должна состояться очень скоро. Император пожертвовал ему пять тысяч рублей на свадебные расходы. Скоро будут праздновать и другую свадьбу — молодой Нарышкин женится на Генриетте Мэттем, которая воспитывалась у графини Бутурлиной. Ее отец, англичанин, был капитаном корабля. Ее мать, тоже, помоему, англичанка, хотя и вышла замуж за русского адмирала после смерти капитана, была очень несчастной. Одним словом, она появилась в семье графа Бутурлина как гувернантка Петруше Бутурлину[57]. На смертном одре она поручила графине Генриетту, Бутурлина дала ей образование и выдала замуж за *своего собственного кузена* Германа.

Расскажу историю, которую я недавно слышала про майора Вильсона, с ним молодой Нарышкин сражался в прошлом году против французов. Об этом случае говорил лорд Сомертон на обеде у господина Дивова. Майор Вильсон — молодой человек, полный жизненных сил, предприимчивый и смелый, настоящий английский солдат, который служит в полном смысле этого слова и стремится навстречу опасности. Такой характер создал ему такую известность в армии, что обе стороны звали его *«английский офицер»*. Командир казаков дал ему двух конников для сопровождения его вылазок против врагов. В одну из этих вылазок какой-то башкир поднял свою пику и был уже готов пронзить майора, если бы не казак, который с быстротой молнии бросился вперед, сорвал с англичанина шлем и надел ему *свою шапку*, чтобы показать башкиру, что они союзники. Итак, находчивость казака спасла жизнь майора Вильсона. Другой анекдот о нем рисует его плохим политиком и показывает, от чего зависит судьба наций. В армии он познакомился с неким Архаровым (женатым на вдове графа Валериана Зубова[58], между тем как первая жена Архарова, полячка, жива). Этот человек был в Санкт-Петербурге, когда майор Вильсон приехал сюда курьером из Лондона ввиду нынешней критической общественной ситуации. Он привез с собой поэму, высмеивающую последние государственные сделки в Европе, в частности беседу между А[лександром] и Б[уонапарте]. Майор Вильсон имел неосторожность не только

показать ее Архарову, но и дать ее копию, а тот, как честный друг, немедленно предал майора и показал поэму императору, который, оскорбившись сатирой, с этого момента отказался принимать не только мистера Вильсона, но даже и посла. Об этой истории все говорят, хотя я не знаю, насколько она правдива.

24 [января 1808 г.]

Боюсь, что я зажгла сердце 17-летнего юноши при таких смешных обстоятельствах, что опишу их для развлечения Китти. Госпожа Г-ва, которая говорит только по-русски, сидела по мою правую руку, а так как мои навыки в этом языке довольно ограничены, я блуждала взглядом вокруг, чтобы найти такой объект для разговора, с коим бы я смогла объясниться. К несчастью, взгляд остановился на самом младшем из ее внуков, и, отметив, что он чудесно похорошел и стал красивым юношей, я имела глупость сказать это. Не успела я это произнести, как она подозвала мальчика, и, когда он спросил *зачем*, она ответила: для того, чтобы полюбоваться на него, так как *люди* (она многозначительно посмотрела на меня) начинают восторгаться его красотой. Юноша покраснел как мак, а я выглядела довольно глупо, понимая, что он не сомневается в моем восхищении им. С этого момента его тщеславие было столь возбуждено, что он каждую минуту *глазел на своего раба*, а мне стало так весело, что я не смогла удержаться и рассказала об этом Анне Петровне, которая ответила, что я являюсь причиной несчастья ее племянника. За обедом все продолжалось, к нашему великому развлечению, но затем превратилось уже в нелепость, когда мальчик вечером появился в нашей ложе в театре — он решился подойти к нам в первый раз.

[25 января 1808 г.]

Вчерашний день стал днем разочарований. Утром в сопровождении княгини Анны Семеновны и двух девиц Кочетовых я пошла посмотреть венчание генерала Лаптева и княжны Голицыной, так как никогда в России не видела свадьбу знатных людей. Мы пошли в церковь в 12 часов, и вскоре после этого появился жених в брачном одеянии. Невеста прибыла получасом позже, одетая в атлас, кружева, украшенная бриллиантами, с бриллиантовыми серьгами. Молодые трижды обменялись кольцами, трижды отпивали вина, символизируя готовность делить поровну радости или горести жизни. На них надели брачные венцы и трижды обвели вокруг аналоя. Затем священник прочитал что-то вроде проповеди, и на этом церемония закончилась. На невесте не было фаты, как у крестьянок, да и вообще эта свадьба мне понравилась меньше крестьянской. Церковь была полна народа; поздравив молодых, мы вернулись домой. Между прочим, генерал Лаптев ушел из церкви *раньше* своей жены.

Вечером Анна Петровна и я пошли на бал к генерал-губернатору Тутолмину, даваемый в честь дня рождения императрицы Елизаветы. Была устроена лотерея, в которой каждая дама получила

приз. Я выиграла пучок спаржи с вложенными стихами и сладостями. Молодая Татищева выиграла свиток с нотами, очень кстати ее таланту. Мы танцевали, видели очень много знакомых и хорошо повеселились. Я встретила моего канцлера, но мне нечего было сказать, и я даже испугалась, вдруг у него возникла мысль, что мое состояние не так велико, как об этом ходит молва. В его поведении не было ничего необычного, хотя он на некоторое время подошел, чтобы поговорить в своей обычной манере. Я опечалена отсутствием возможности отказать ему. Мы рано возвратились домой [...]

27 [января 1808 г.]

Вчера княгиня решила развлечься, и я присоединилась к ней. Мы посетили сенатора Лунина и слушали чудесную игру на арфе его дочери. Выступал также англичанин Филд[59], самый знаменитый здесь учитель игры на клавикордах [...]

8 [февраля 1808 г.]

Боже, все мои мучения начинаются снова — может быть, я смогу отправиться в Англию через три дня. Страдания, которые переносит моя дорогая княгиня, приводят нас обеих в ужасное состояние.

10 [февраля 1808 г.]

Я мучительно терзалась два этих дня и все еще страдаю, но мое путешествие в Петербург уже определено, так же как и вояж оттуда в Англию вместе с полковником и миссис Поллен, если они еще не уехали и позволят мне присоединиться к ним. Акулина и служанка госпожи Кочетовой Машенька помогают Арине и Мартышке, и все суетятся как безумные. До Петербурга я собираюсь поехать с четой Лаптевых, чью свадьбу я видела не так давно.

О боже, как я страдаю из-за моей любимой княгини!

12 [февраля 1808 г.]

Вчера вечером княгиня рассказывала одну историю из жизни своей матери, которую, к моему удивлению, она опустила в «Записках». Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова. Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать Сурминой (та самая дама, у которой княгиня Дашкова жила до 4-летнего возраста) бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев выдала ее замуж за графа Романа Воронцова[60]. При вступлении на престол императрицы Елизаветы старший брат графа Романа Воронцова, Михаил, оказался в силе при дворе и убедил императрицу вернуть Долгоруковых[61]. Дабы выразить перепол-

нявшую их благодарность графу Воронцову, даровавшему благословенную свободу и вернувшему семье все радости жизни (сама императрица Елизавета не была склонна покровительствовать им), Долгоруковы вскоре нанесли Воронцову визит. Ci-devant* госпожа Сурмина присутствовала при их неожиданном посещении и тут же увидела своего мужа, который также сразу узнал ее. Оба были чрезвычайно смущены этой встречей. Она была счастлива во втором браке, и, если бы даже Долгоруков захотел вернуться к старому, он бы не смог этого сделать, *ибо по закону утратил все права*. Между прочим, так как в России состояния мужа и жены всегда считаются по отдельности, ссылка мужа и конфискация его имущества никак не касается жены.

15 [февраля 1808 г.]

Невозможно описать то, что происходит в доме. Я совершенно расстроена из-за состояния княгини, хожу бледная как привидение, с широко раскрытыми глазами, и тем не менее прилежно *беру уроки танца*. Я начала брать уроки за день до паники, вызванной внезапным отъездом лорда Ройстона и лорда Сомертона, который поставил под вопрос мой отъезд (из-за известного стечения обстоятельств я не смогла осуществить его ранее), и героически решила взяться за русские танцы. Их основа — это жесты и мимика, а я не могу думать ни о чем, кроме одного, и это само проявляется на моем лице; мой учитель в отчаянии. Понапрасну он твердит, что я должна сосчитать до трех, а затем улыбнуться, «раз, два, три» и придать лицу выражение нежности, «раз, два, три» и принять радостное выражение. Понапрасну он топает ногами и приказывает мне так изогнуть мой «корпус», будто я хочу обнять мою матушку, а потом идет к зеркалу и сам показывает правильное положение. В течение двух дней нелепость ситуации не приходила мне в голову, и я старалась, как могла, подчиниться его приказам, рискуя увидеть себя в зеркале, но однажды, когда я стояла, пытаясь изогнуть свой непослушный «корпус», меня осенило: учитель же походил на змею, свернувшуюся кольцами.

Из-за ужасных событий в Троицком, фальшивых банкнотов, священников и дьяконов лица домочадцев носят выражение уныния и даже страха. Ну, а теперь вернемся в мои апартаменты, где стоит пианино и вас встречают звуки голоса Александры Кочетовой: «фа, соль, ля, до, ре, ми». Арина обливается слезами из-за моего отъезда, а на полу лежат шелка, кружева, креп, крестьянские платья и бархат, все выглядит так нарядно, как будто устраивается свадьба. [...]

17 [февраля 1808 г.]

Вчера я нанесла прощальный визит генерал-губернатору Тутолмину, чтобы попросить его выписать мне паспорт etc, etc. Со мной

---

* Бывшая (*фр.*).— *Пер.*

пошла Доротея Кочетова. Нас проводили в громадную прихожую, заполненную людьми; каждый день толпы народа ожидают аудиенции. Оттуда мы прошли в кабинет, куда за нами последовала большая часть этих людей; через некоторое время появился сам генерал-губернатор, улыбающийся и учтивый, подсел ко мне, очень вежливо выслушал мою просьбу и дал витиеватое согласие. Он сказал сотню комплиментов, а когда я спросила, смогу ли увидеть госпожу Тутолмину, которая прикована к постели и никого не принимает, послал одного из домашних казачков, одетых в малиновое с золотом платье, узнать об этом. По получении ее утвердительного ответа Тутолмин проводил нас до двери, поцеловал руку и очень учтиво распрощался с нами. Среди лиц, ожидающих в прихожей, был господин Волков, полицейский начальник (с ним я также имела вежливую беседу). Это тот самый человек, к которому обращалась госпожа Щербинина в день сцены в церкви.

Когда мы вошли к госпоже Тутолминой, то нашли эту милую маленькую женщину в постели полностью изнуренной болезнью. У нее ужасный кашель, и, боюсь, она долго не протянет. Как всегда, она держалась восхитительно.

Я навестила графиню Бутурлину; она добра и отзывчива, как обычно. Молодой Нарышкин женился на мадемуазель Мэттем, опасаются, что могут быть неприятные последствия, так как он еще находится на военной службе, офицер же не должен жениться без разрешения императора, а он его не испрашивал. От Бутурлиной мы поехали к графине Воронцовой и на минуту к Нарышкиной, затем вернулись домой. Сегодня княгиня получила ответ от графини Ирины Воронцовой, которой она писала с просьбой предоставить мне комнату в ее доме во время моего пребывания в Петербурге. Письмо графини очень доброе и учтивое. Дорогая княгиня также получила письмо от графа Румянцева по поводу моего паспорта. Однако я пока нахожусь в таком же положении, как и раньше. Капризный, а может быть счастливый, рок правит моей судьбой. Все готово к отъезду, даже терзания предстоящей разлуки уменьшились, если совсем не исчезли; однако генерал Лаптев уступил желанию своей жены не уезжать в праздники. Я не получила письма от миссис Поллен; короче говоря, мне совершенно непонятно, что следует предпринять даже в этот час. Мне выпало несчастье видеть страдания моей любимой княгини. Я тоже страдаю, и ничего пока не ясно. О, счастье принятых решений!

19 [февраля 1808 г.]

Вчера у княгини разыгралась ужасная сцена по поводу моего отъезда; она была почти в истерике. Одним словом, увидав ее состояние и не получив письма от миссис Поллен (что убеждает меня, что она уже уехала), я обещала княгине остаться. Итак, мне предстоит совсем другая участь, чем ожидалось и, признаться, хотелось. Утром я вновь беседовала с княгиней. Мое положение ужасно. Не представляю, когда меня покинут мысли о возвращении домой,

причудливые и странные фантастические видения, приносящие счастье и горе, напоминающие о жизни и смерти [...]

[27 февраля 1808 г.] Тверь (164 версты от Москвы)

Все изменилось. Пережив неделю таких мучений, какие едва ли выпадали на долю смертного, я на дороге в Санкт-Петербург, куда еду с генералом Лаптевым и его женой.

Я все еще не совсем оправилась. Меня постоянно преследует образ любимой моей княгини, такой искренней, любящей, нежной в своей привязанности. Она старалась не показывать своих чувств, в то время как душа ее страдала, а здоровье совсем расстроилось из-за моего отъезда. Боже мой, какое несчастье разлучаться с истинным другом! Не могу без мучений даже вспомнить то чувство, которое испытала вчера, покидая мою дорогую русскую мать.

Мы по-настоящему не прощались, но, уходя, по обыкновению, в свою спальню, она обняла меня так, как будто чувствовала, что должно произойти. А позавчера вечером произошел поразительно характерный для княгини случай. С поистине княжеской роскошью подготовив все необходимое для дороги, она случайно нашла пару моих перчаток, на которых помечено мое имя, и со слезами на глазах просила позволения оставить их себе. Во всех ее поступках есть что-то столь истинное, простое и неподдельное, что душа моя сжалась от боли, а сердце облилось кровью и едва не разорвалось.

Я беспокоилась, что поступаю неправильно, даже не *пытаясь* вернуться домой, пока это возможно. Княгиня понимала это и, получив от графини Ирины Воронцовой письмо, спросила меня напрямик, намерена ли я ехать в Петербург. Думаю, она ждала отрицательного ответа, и, когда я с облегчением ответила: «Да» (пусть мне и пришлось бы вернуться на следующий день), в душе княгини возникли вполне понятные гнев и разочарование. Но эти чувства уступили место одной только материнской любви, когда она поняла, что мне ничуть не легче уезжать, чем ей оставаться. Вот в чем причина изменения нашего решения. Теперь мой путь лежит к графине Воронцовой, а оттуда либо отправлюсь в Англию, либо вернусь к моей дорогой княгине.

Уезжая вчера вечером, я оставила в слезах весь дом. Любезного я поручила Дарье Кочетовой, запакованные сундуки с книгами, шубами и прочим тоже решила не брать, а с собою повезла только два небольших сундучка с самым необходимым. Так и не простившись с обожаемой княгиней, я села в присланную за мною генералом Лаптевым карету, и Анна Петровна проводила меня в его дом. Здесь пришлось прождать три часа, прежде чем мы двинулись в путь. Я имела несчастье забыть свой паспорт, и генерал Лаптев вынужден был, разыскивая его, распаковать мои вещи. Паспорт не находился, пока Анна Петровна не узнала о цели поисков и не пришла на помощь, найдя его в моем бюро и благополучно и вовремя мне переслав.

В доме было полно священников, читавших молитвы, чтобы путешествие было счастливым и удачным, а госпожа Лаптева сказала, что с утра они с мужем успели побывать в нескольких церквах. В России из-за суеверной приметы никто не начинает путешествия в понедельник, и похоже, что эта примета скажется как раз на мне. Мы не успели еще выехать из Москвы, как бедная Арина почувствовала боль в левом колене. Она ужасно страдала. Сегодня вечером я вызвала для нее врача, который сказал, что это рожистое воспаление, назначил какие-то травы прикладывать к колену и принимать внутрь, в небольших количествах, соль. Молю бога, чтобы ей стало лучше. Она сейчас глубоко спит, бедняжка.

Когда я вчера уезжала, то боялась, что у маленького ангелочка Машеньки сердечко разорвется. Мартышка, о которой Элен говорила, что она «лучшая плакальщица в трех королевствах», рыдала по мне, как по покойнице, так что я испугалась, что услышит княгиня, и должна была ее остановить. Арина искренне печалится о моем возможном отъезде. Всю последнюю неделю, пока они с Настасьей (*ci-devant femme de chambre** княгини) вели приготовления, не проходило и дня, чтобы она дважды или трижды не принималась плакать. И эта милая старушка Пелагея Константиновна, и Дарья Николаевна, и три сестры Кочетовых — все, все заливались слезами. Что ни говори, а лестно и утешительно, даже в столь горестный момент, видеть искренние слезы любви.

Этот так дорого мне стоивший шаг я предприняла в основном под влиянием моего доброго друга мистера Хоза, а также думая о беспокойстве моей семьи и о Киттиных нервах. Господи, я, должно быть, поступила правильно, хотя, конечно, в лице княгини оставила здесь самую нежную мать. Может быть, уехать и не удастся, но жребий брошен, все теперь должна решить судьба, а я всегда предпочитала следовать божественной воле, а не своему, возможно неверному, решению.

В субботу ко мне пришла попрощаться генеральша Глебова и попросила локон моих волос. Ее подруга, госпожа Воейкова, тоже написала мне записку с просьбой о локоне из «*Узла Аполлона*»[62]. Их просьбы были следствием привязанности, стало быть, были приятны, но к моим *Аполлоновым* локонам проявила интерес и невестка госпожи Глебовой, близкая подруга княгини Анны Семеновны. В знак дружбы я подарила Анне Семеновне брошь в оправе из своих волос. На другой день она сказала, что госпожа Глебова, ее подруга, стояла на коленях, умоляя ее взять у меня еще один локон, чтобы она могла сделать для себя такую же брошь, *потому что ничего более редкого и красивого невозможно достать*. Мы едва знакомы с этой дамой, она не испытывает ко мне никаких чувств, она даже не потрудилась как-то скрыть свое нелепое желание любым путем получить красивую вещицу. Я тоже не стала приукрашивать свой ответ и прямо сказала княгине Анне Семеновне, что не сомневаюсь в любви ее подруги к редкостям, но их можно найти в лавках.

---

* Бывшая горничная (*фр.*).— *Пер.*

Я же свои волосы дарю как часть самой себя в знак величайшего уважения к тем, кто меня любит и для кого они будут более или менее ценны в зависимости от их ко мне привязанности.

Наше путешествие идет прекрасно, но все, что мы видим направо и налево,— бесконечные снежные пространства. Непрерывно идет снег. Мы совсем спрятались в своих кибитках и стараемся останавливаться как можно реже.

28 [февраля 1808 г.]

Арине стало хуже. Боюсь, что не смогу довезти ее до Петербурга. Какой это будет удар для нас обеих! Так как я еду с генералом Лаптевым, у меня только один лакей и совершенно некого оставить с Ариной, а везти ее в Петербург или в Москву немыслимо. Скверно началось путешествие. Я, слава богу, пока здорова, но генерал болен, болен один из слуг, госпожа Лаптева жалуется на недомогание, так что собралась хорошенькая инвалидная команда.

Окрестности Твери, как оказалось, весьма привлекательны. Дороги ужасны, зато погода сегодня была хороша; мы ехали почти до 11 часов, и я любовалась усыпанным алмазами ночным небом, которым всегда восхищаюсь. Сейчас около трех часов утра, мы отдыхаем в Вышнем Волочке, в доме у раскольников. Вся их комната украшена вышитыми полотенцами.

1 [марта 1808 г.]

Вчера вечером, после консультаций на постоялом дворе и на кухне, один из служащих генерала Лаптева оторвал от своего мундира обшлаг, к счастью, сделанный из красного сукна, натер его мелом и привязал к колену Арины. Это последнее, что можно сделать, чтобы не оставлять ее на дороге, о чем и подумать невозможно без тревоги и печали. Красное сукно с мелом считается хорошим способом лечения рожи, и, действительно, Арине стало гораздо легче, так что появились все основания надеяться, что я довезу ее до Петербурга. Кстати, человек, сделавший Арине повязку на колено,— унтер-офицер в полку генерала Лаптева, курьер к императору и очень приятный и красивый юноша. А вчера генерал Лаптев так его избил, что из-за боли в зубах и челюстях тот едва мог есть за ужином. Все из-за того, что какая-то заминка с лошадьми не позволила ему попасть на станцию намного прежде генерала. Вообще, генерал Лаптев — сущий демон суровости, а удары он раздает с такой щедростью, что можно только удивляться, что он не выбил этому молодому человеку все зубы и не переломал ему кости.

Между прочим, на самой первой от Москвы станции мы встретили сербского священника, приятного человека, который ехал из Петербурга в Вену. Он говорил по-русски и рассказал нам сегодняшние новости и мнения, которые заключаются во всеобщем осуждении Англии за ту войну, которую она ведет против европейской коалиции.

[2 марта 1808 г.] 12 часов ночи, Новгород

Валюсь с ног от усталости. Наше сегодняшнее путешествие длилось больше обыкновенного. Деревня, в которой мы провели прошедшую ночь, называлась Зимогоры, и она не примечательна ничем, кроме того, что там я помимо воли стала обладательницей старого возка, то есть повозки на полозьях. Моя кибитка развалилась на части, и мы решили, что благоразумнее отдать ее и еще 35 рублей впридачу за этот смешной возок, напоминающий клетку для перевозки птицы на рынок. Когда мы с Ариной впервые в него залезли, то выглядели, должно быть, точь-в-точь как несчастные куры, предназначенные в суп. Ехать в нем, однако, очень удобно. Несколько участков дороги, которые мы проехали, выглядели довольно живописно, но в целом местность здесь плоская и неинтересная, но говоря уже о том, что все покрыто снегом. [...]

Санкт-Петербург, 5 марта [1808 г.]

В субботу рано утром мы выехали из Новгорода, ехали быстро, не встречая ничего примечательного; остановились в гостинице «Лондон», почти напротив императорского дворца, а в воскресенье два часа смотрели большой парад. Я, кажется, никогда в жизни так не уставала. Всем на дороге известны *кулаки* и *кнут* генерала Лаптева, поэтому лошадей нам везде давали незамедлительно. Дорога была гораздо лучше, чем в первые дни путешествия, и мы благополучно проехали от Новгорода 180 верст.

Мы проспали до 7 часов утра, пока нас не разбудил шум под нашими окнами, производимый солдатами и лошадьми. Шла подготовка к *вахтпараду*. Он начался около 10 часов. Солдатский строй, сплошь новенькие мундиры — все это составляло действительно великолепный *coup d'œil**. Мы с госпожой Лаптевой вышли на бульвар, чтобы получше все рассмотреть. Император ехал вдоль фронта. Он так похож на те свои изображения, которые продаются во всех лавках, что просто невозможно было его не узнать. Здесь же был и великий князь Константин со своими уланами, украшенными огромными перьями.

Я известила о своем приезде графиню Воронцову. Она тотчас прислала за мной карету, и часа в два я попрощалась с генералом Лаптевым и его женой, переехала *сюда* и заняла славную небольшую квартирку, приготовленную для меня хозяйкой. Графиня Воронцова — хорошо воспитанная женщина, которая устанавливает в доме порядки и управляет им самым либеральным и *элегантным* образом. Меня она приняла тепло и с изяществом.

Поистине меня преследует злой рок. Почти в тот же самый момент, когда я въезжала в Санкт-Петербург, полковник Поллен с женой, лорд Ройстон и мистер Холлидей выехали из него в Либаву, где их ожидает корабль, который доставит их в шведский порт.

* Здесь: вид (*фр.*).— *Пер.*

Этот корабль куплен и зафрахтован лордом Ройстоном, который получил разрешение нанять на него английских моряков. Одним словом, в этом проявилась вся присущая ему энергия. Все трудности позади, и я от души надеюсь, что, избежав всех опасностей, он через несколько недель успешно прибудет в Англию.

Вечером я виделась с веселым, приятным и умным мистером Кавана, который и рассказал мне все это.

Графиня Воронцова каждый вечер принимает гостей. Перед обедом приходила ее милая сестра, княгиня Голицына. Ах, какая она красавица!

Когда я входила в апартаменты графини, они были залиты светом, а в камине ярко горел огонь. Дом устроен в стиле лучших английских домов: полы застланы коврами и т. п. Мы не ложились спать до двух часов ночи.

6 марта [1808 г.]

Все еще неизвестно, поеду я в Англию или нет. Появился еще один — и отличный — вариант отъезда: хотя император очень ценит шведского посла[63], тот все же не сумел получить разрешения на сухопутный проезд и теперь за ним должны прислать с родины фрегат. Посол — весьма почтенный человек лет шестидесяти. Я решилась остаться. Все эти перемены невероятно мучительны. К тому же нет писем из Москвы, что также стало для меня источником страданий.

Вчера утром я посетила старого господина Полянского, госпожу Рибопьер и баронессу д'Огье и с полчаса беседовала *tête-à-tête* со стариком, все время по-русски; он очень сильно изменился. Заходила также к Лаптевым и застала их одевающимися на званый обед. Прогуливаясь, я прошла по крайней мере 4 версты — сначала по набережной, а потом когда заходила к господину Полянскому. Сегодня ужасный, холодный и пронизывающий ветер.

Здесь были мистер Кавана и доктор Роджерсон, видеть которого было для меня большим удовольствием. Он стал еще лучше, чем был, и ничуть не состарился. Он тоже был рад меня видеть и продемонстрировал свой добрый характер и привязанность ко мне. Графиня Воронцова очень нездорова; похоже, что у нее больна грудь. Мы проводим вечера в ее кабинете. Вчера здесь были вечером шевалье де Ворнье и граф Ростиньяк, оба — французские офицеры на русской службе. Младший из них — граф — самый невыносимый болтун, какого я когда-либо слыхала, а его называют *«приятным»*.

Графиня Воронцова написала министру иностранных дел графу Румянцеву и просила его выдать мне паспорт для отъезда в Швецию. В ответ он спросил, смогу ли я приехать к нему в 5 часов. Ровно в пять часов я подошла к его дому, и, как только объявила свое имя, меня тотчас впустили, проводили наверх, провели анфиладой, и, наконец, в маленькой комнатке я была принята какой-то дамой. Все, что о ней можно было сказать, это что ее внешность ничем не примечательна. Она как будто была готова к моему визиту,

говорила о княгине и — с материнской благосклонностью — обо мне. Как раз в тот момент, когда наша беседа грозила иссякнуть, появился сам министр. Его учтивость хорошо известна, и действительно, манера, с которой он принимает гостей, чрезвычайно приятна. Графу Румянцеву за 50, он истинный придворный и примечателен главным образом своей любезностью. Когда я спросила его о своем паспорте, он рассыпался в предложениях услуг, сообщил, что доложил императору о моем деле и о письме княгини и что его императорское величество изволил заверить, что никаких препятствий чиниться мне не будет. Граф обсуждал со мной возможность моего выезда вместе с послом Швеции и, казалось, принял настолько близко к сердцу мои дела, *как если бы был моим родным отцом*. Ободренная его обращением, я вспомнила о желании княгини Дашковой и спросила, раз уж я рекомендована обеим императрицам, то нельзя ли мне быть представленной их императорским величествам, чтобы лично выразить им свою признательность за их доброту. Граф ответил, что это вполне возможно, но на вопрос, не смогут ли этому помешать нынешние обстоятельства, сказал, что недавно о том же самом просил лорд Дуглас[64] и император решил отложить аудиенцию до другого времени. И с таким видом, как будто я ни о чем не просила, он кончил тем, что пригласил меня обращаться прямо к нему, минуя всех других, по любому делу, в котором он сможет быть полезным. Он взял мой адрес, обещал посетить меня, я обняла даму, о которой упоминала, граф проводил меня до дверей; тем визит и кончился.

Когда я рассказала все графине Воронцовой и ее прекрасной сестре Голицыной, оказалось, что виденная мной дама была госпожа Нарышкина, отмеченная всеми наградами и почестями двора[65].

Вскоре после этого приехал шевалье Ворнье. Он играл в шахматы, говоря о шведском фрегате, проиграл и шведским фрегатом объяснил полученный им мат. Он уступил доску мне, надеясь, что я возьму реванш за его проигрыш, которого была причиною (его уполномочили попросить для меня место на борту шведского фрегата), но, сыграв одну партию, я тоже проиграла. Ужинать пришли господин и госпожа Саблуковы (она — урожденная мисс Ангерстейн, дочь известного английского банкира). Наружность этой дамы мне совсем не понравилась: она очень высокая, ширококостная, неизящная, с грубым голосом и длинными зубами, но манеры ее мягки, а разговор приятен. Речь зашла об изучении русского языка, и господин Саблуков заметил, что этот язык для его жены бесполезен, так как она все равно не сможет пользоваться им иначе, как в разговорах со слугами. *NB*: Вот похвала национальному языку или, скорее, национальной гордости [...]

[7 марта 1808 г.]

Сегодня я проснулась с новым планом и сразу же, как только смогла, изложила его графине. План заключается в том, чтобы

самой пойти к шведскому послу и спросить у него, смогу ли я рассчитывать на место на борту его фрегата, а там уже, в зависимости от его решения, сделать выбор. Поэтому я написала послу с просьбой о встрече, на которую барон Стединг согласился с чрезвычайной любезностью. Встреча была назначена на 7 часов вечера.

Тем временем ко мне зашла госпожа Полянская, и мы вместе отправились в Эрмитаж. Она знает там каждый уголок, и я все хорошо осмотрела. Однажды я уже была здесь, и, хотя тогда меня провели по Эрмитажу форменным галопом, я все же узнала некоторые комнаты, но они сейчас заново украшены. В одной из комнат нам встретился маленький великий князь Николай. Ему лет 10—11, и он очень похож лицом на великого князя Константина. Когда он проходил мимо, мы остановились и поклонились. Идя дальше, мы было подумали, что слышим репетицию концерта, но, войдя в одну из комнат, поняли, что это бьют часы, сконструированные так, что они играют концерт, как оркестр из пятидесяти первоклассных музыкантов. Это походило на волшебство, а блистательная и гармоничная музыка звучала просто очаровательно. Стоило подойти ближе, и казалось, что это эльфы приветствуют вас своим невидимым исполнением. В другой комнате висел портрет Петра Великого кисти Портера[66]. Хорошая работа, хотя и не настолько великолепная, как можно было ожидать. В разных местах мне встречалось немало лучших портретов Петра, и думаю, что к их числу относится и тот, который княгиня Дашкова передала вдовствующей императрице. В этом портрете Портера, на мой взгляд, не хватает величия, хотя, повторяю, он все же очень хорош. Висит он неудачно, и может быть, поэтому производит недостаточно выгодное впечатление [...]

Сильно устав в этот день, я чувствовала себя для назначенной встречи со шведским послом не лучшим образом, но, переодевшись в гардеробной госпожи Полянской, к семи часам поспешила к нему. Как я и просила в своей записке, он был один и вышел ко мне навстречу. Ему под 70, он сияет чистотой и обладает самыми приятными манерами. Принесли чай, и через десять минут мы с бароном Стедингом сидели *tête-à-tête*, пили чай и разговаривали так, будто мы давно знакомы. Я спросила то, о чем хотела, он тотчас же согласился, но принялся излагать причины, по которым не берет с собой жену и дочь. Стало ясно, что мне будет не совсем прилично его сопровождать, и я взяла свою просьбу назад, немедленно решив возвращаться в Москву.

[...] Барон любезно согласился переслать письма к моей семье, и, договорившись с ним об этом, я вскоре ушла [...]

[9 марта 1808 г.]

Опоздала запечатать и отослать свои письма на почту, за что превосходнейший доктор Роджерсон меня отругал, и было решено отослать их с эстафетой. Предпочла бы отдать сто рублей, чем

упустить эту возможность. Что касается писем к дорогой княгине, то они были написаны с таким расчетом, чтобы по возможности успокоить ее, так как известия, полученные с этой почтой от нее и Анны Петровны, свидетельствуют, что княгиня в этом очень нуждается. Если бы я решилась ехать, то сегодняшние письма заставили меня всерьез заколебаться.

В 12 часов мы с княжной Марией Щербатовой пошли к немецкому живописцу Тишбейну[67], который пишет с нее портрет, предназначенный для отсылки мистеру Портеру. Стиль этого живописца мягок и приятен, а сходство отменное. Меня сразу поразило, насколько похож находившийся в комнате портрет великой княжны Екатерины[68], которую я только позавчера видела проезжавшей мимо в карете. Этот художник занимает нижний этаж в доме доктора Критона, лечащего врача царской семьи, которого высоко ценят за его искусство. Миссис Критон, как мне говорили, одарена разнообразными талантами: рисует, превосходно пишет красками, замечательная музыкантша и еще жена и мать, и великолепна в каждой из своих ролей. Она приходила навестить княжну Марию, и можно сказать, что в ее наружности все эти дарования никак не отразились. Мы были представлены друг другу.

Лорд Сомертон валяет дурака и не снимает шляпы перед императором при встрече, как это делают все. Только что госпожа Вревская пришла с Невского, где она несколько дней назад гуляла с лордом Сомертоном, и рассказала нам длинную и, кажется, не совсем правдивую историю. Истина, видимо, в том, что он считает, что неучтивость — признак храбрости, и, если это будет так продолжаться, он неминуемо навлечет беду на себя и своих соотечественников. Я попросила поговорить с ним об этом Марию Щ[ербатову] [...]

[19 марта 1808 г.]

Вчера вечером возникли кое-какие сложности с подорожной (разрешением властей на получение почтовых лошадей). У меня спросили паспорта, а я оставила их у господина Тутолмина, московского генерал-губернатора. Перед моим отъездом из города он их запросил, а взамен выдал билет, которым предписывалось не задерживать меня между Москвой и Петербургом. Графиня В[оронцова] составила свидетельство, что я британская подданная, граф Румянцев частным образом написал письмо; и, наконец, князь Лобанов[69] вручил мне мою подорожную, и я намеревалась выехать в 5 часов утра, но мистер Кавана не хотел и слышать об этом и настоял, чтобы я подождала до 12 часов и получила еще удостоверение от британского консула, мистера Шерпа. Я, разумеется, последовала его совету и оставалась до двух часов; нанесла два визита — милейшему мистеру Кавана и барону и баронессе д'Огье. Им восхищаюсь, а его жену не выношу. Графиня В[оронцова] все еще не поправилась. Она приказала собрать мне в дорогу корзину с прови-

зией и была очень внимательна к малейшим мелочам. Графиня — очень уважаемая женщина, но есть в ней какая-то *расчетливость,* которая вызывает неприязнь даже к ее вниманию и доброте. Ее прекрасная сестра и очаровательный сын гораздо более обаятельны.

Прислуживавший мне самодовольный лакей Михаил напоследок устроил жульническую проделку. Он нанял мне лошадей и вынудил чудовищно дорого за них заплатить, а они оказались совершенно измученными уже к моменту отъезда, так что мы едва одолели первые тридцать верст. Кроме того, форейтор едва не завез меня в Польшу. От Царского Села он повернул вправо и отправился бог весть куда. Только повстречав несколько телег с возницами и случайно услышав, что они едут из Польши, мы заметили, что уехали уже с нашей дороги по меньшей мере версты на две. Стемнело, когда мы добрались до первой станции, а там не оказалось лошадей. Какие-то мужики предложили нам тройку, запросив за нее раз в пять дороже, чем обычно, и я вынуждена была согласиться. Подорожная была выписана на 4 лошади, но меня постоянно норовили обмануть и на всех станциях при подмене пытались всучить трех лошадей, говоря, что они стоят четырех, а *заплатить* я им должна была, конечно, *полную сумму*. Я ни разу на это не согласилась.

Еду и днем и ночью и намереваюсь ехать так и впредь, если удастся.

22 марта нов. ст. 1808 г.

Сижу на маленьком постоялом дворе в Едрово, окруженная святыми, ангелами, богородицами, Венерами, турками, императрицами, дешевыми портретами неизвестного происхождения, лошадьми и воинами, английскими и французскими гравюрами, зеркалами, пасхальными яйцами, множеством икон, тикающими часами и гуслями, которые можно держать в руках, как лиру. Гравюра с изображением точно таких гуслей приведена в книге о русских древностях, которая есть у княгини. Те гусли, или горизонтальная арфа, на которых я играю,— другой, усовершенствованный, инструмент, в котором, говоря по правде, утрачена вся оригинальность. Полагаю, что это татарский инструмент.

Сейчас я в 364 верстах от Петербурга и через два с половиной дня надеюсь приехать в Москву. Боже мой, как грустно временами! Конечно, можно было покинуть Россию, и истинная причина моего возвращения — печаль княгини Дашковой. Чем бы это ни кончилось, буду утешать себя мыслью о том, что, покинь я ее с ощущением того, что она несчастна,— после непременно бы себя уверила, что это я — причина скорби женщины, которая любит меня, как самая нежная мать, и если бы вскоре пришло известие о ее смерти, никакая сила на земле не сделала бы уже меня счастливой. Больно, конечно, но чистая совесть и сознание жертвы, которую я приношу, будут мне утешением. Самая мысль об этом приносит облегчение.

Уехав в Англию, я не могла бы получать известий от своих здешних друзей и все время страшно бы беспокоилась. Даже если я и пленница в настоящем смысле этого слова, то лишь пленница дружбы. Да дарует нам господь скорый мир!

Путешествие очень утомительно, так как дороги невероятно плохи. Их ни с чем невозможно сравнить. Моя повозка буквально рассыпалась на атомы, в ней не осталось ни одного целого стекла. Сейчас мне приходится ждать, пока на возок поставят новые полозья (старые разлетелись на куски). Еду день и ночь и могу похвастаться своей способностью спать в любых условиях. Вчера, например, повозка сломалась, и ее чинили как раз тогда, когда я спала. Состояние дорог неописуемо.

Сейчас я нахожусь в трактире в обществе трех путешественников, которые курят, едят и пьют. Приехал также *бывший* московский *полицеймейстер,* господин Ивашкин. Я послала за ним, чтобы поговорить, и услышала, что он оставил княгиню в добром здоровье. Отослала с ним письмо к графине Воронцовой.

Сюда приходили две нищенки и просили у недавно прибывших путешественников денег на крещение новорожденного младенца. От меня они деньги уже получили раньше. Хозяин постоялого двора сказал мне, что этот младенец рождается и его крестят ежедневно на протяжении *вот уже четырех лет* [...]

24 [марта 1808 г.]

Господи, какая это мука — путешествовать по России, даже по главной дороге, между Петербургом и Москвой. Лошадей невозможно получить ни за какие деньги. Генерал Лаптев, тот, если его задерживают хотя бы пять минут, прямо пускает в ход кулаки или палку. Это оказывает свое действие, и смотрители начинают суетиться, чтобы ему угодить. А что делать более миролюбивым путешественникам? Стоит дать смотрителю денег, как он напивается пьяным, и тогда от него уже невозможно добиться никакого толку [...]

26 [марта 1808 г.] Москва

Я приехала вчера в два часа, и если бы можно было почувствовать полное счастье в наше жестокое время, то я испытала бы его при виде неподдельной любви моей дорогой княгини и всех ее домочадцев. Княгиня встретила меня в дверях передней, бросилась навстречу, разрыдалась и по-матерински обняла меня в почти болезненном экстазе. Я тоже была сильно растрогана. Мы прошли в музыкальный салон, и там я попала в объятия Анны Петровны и сестер Кочетовых. Они совсем обезумели от радости и то смеялись, то плакали. Невозможно было бы ярче выразить свою любовь! А эта Машенька! Очаровательная девочка, настоящий маленький ангел!

Никогда не встречала женщины, более способной на нежную привязанность, чем моя дорогая княгиня. По ее словам, когда я уехала, она испытала такое чувство, как если бы *похоронила* близкого человека. Милая моя, мое возвращение было для нее счастьем, которое она едва могла выразить. Анна Петровна мне рассказывала, что не проходило и дня, чтобы княгиня не целовала, обливая слезами, тех самых перчаток с помеченным на них моим именем. Вчера княгиня вернула мне их, говоря, что она сотни раз целовала их в память обо мне. После тех проявлений любви и нежности, которые они вызвали, никогда не буду их больше носить, а стану хранить как талисман дружбы.

Всем в доме милая княгиня сделала какой-нибудь подарок в честь моего возвращения. Она одарила своих племянниц, Пелагею Константиновну, княгиню Анну Семеновну Дашкову, всех слуг. Чтобы, как она говорит, достойно отпраздновать этот день, она даже освободила из долгового тюремного заключения пятерых своих должников и подарила мне их счастье в обмен на то счастье, которое подарило ей мое возвращение. [...]

28 [марта 1808 г.]

Проснувшись в субботу утром, я почувствовала себя настолько разбитой, что не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. У меня так сильно ломило спину (ведь я пролежала все время путешествия), что я даже дышать не могла без того, чтобы не закричать от боли. Мне посоветовали попробовать русскую баню.

Я написала госпоже Небольсиной записку с просьбой позволить мне воспользоваться ее баней и вчера утром отправилась туда в сопровождении Арины, которая несла все необходимое: мыло, мед, соль, веник, составленный из бересты, порезанной на полоски, и прочее. Сперва я нанесла визит хозяйке дома, а потом направилась в баню, которая уже была жарко натоплена. Там внутри, как полагается, устроены были ряды полок, на которых следует лежать и потеть. Я решила вылечиться *à la Russe**, раз уж начала, и после обычного омовения забралась на самую верхнюю полку, и мне стали натирать тело медом и солью. Это открывает все поры, так что это даже становится опасно, если не уберечься от холодного воздуха. Затем Арина плеснула водой на раскаленные камни, и тотчас же меня окружил пар, такой теплый и расслабляющий, что сразу потянуло в сон. Она хотела добавить еще пару, но я уже изнемогала и не позволила ей. Когда я полежала так с четверть часа, принесли веник, согрели его, намылили и стали им попеременно то тереть, то стегать. Напоследок я влезла в огромную ванну, и на этом все кончилось.

В соседней комнате была приготовлена постель. Я так ослабела, что едва доплелась до нее и с радостью улеглась. Примерно через

*По-русски (*фр.*).— *Пер.*

полчаса прислуживающие мне нимфы (их было не меньше дюжины) предложили мне чаю, который я с наслаждением выпила.

Вся эта процедура продолжалась до шести часов вечера, так что княгиня встревожилась и даже прислала слугу узнать, что случилось. [...] Уходя, я на секунду зашла к госпоже Небольсиной попрощаться, а затем поспешила домой и остаток вечера пролежала в постели, причем меня навестили княгиня и красавицы-кузины.

Сегодня я чувствую себя лучше. Княгиня отпустила племянниц к их тетке, а сама обедала со мной у меня в комнате. После ее ухода я дремала, читала по-итальянски «Поля и Виргинию»[70], затем принимала визиты всего дома и выслушивала новости. Оказывается, Анна Петровна истратила *подаренные ей деньги* на покупку серебряных чайника и кофейника, на которых она собирается выгравировать день и число моего возвращения.

2 апреля 1808 г.

Обедала внизу с таким ощущением, что прошло сто лет с тех пор, как я уехала из Москвы. Такое обилие планов, желаний, сомнений, надежд и тревог сменилось в голове за этот короткий месяц, что моему мозгу пришлось, наверное, работать больше, чем за целый год обычной размеренной жизни.

25 [апреля 1808 г.]

Ни о чем не могу ни писать, ни думать, как только об ужасной катастрофе с кораблем лорда Ройстона. Корабль погиб почти со всеми бывшими на борту пассажирами. Мистер Хоз прислал господину Дивову, у которого мы обедали во вторник на прошлой неделе, копию письма из Мемеля с рассказом об этом событии. Из письма следует, что, плывя из Либавы в Карлскруну в Швеции, они не могли пристать к обледеневшему берегу. В это время разразилась страшная буря, а капитан, вместо того чтобы плыть в открытое море, направился к побережью Пруссии, и корабль налетел на песчаную отмель. Он сразу же стал тонуть. Миссис Поллен и миссис Барнс с двумя детьми (третий ребенок вместе с нянькой был у нее на глазах смыт за борт), спасаясь, забрались на какой-то деревянный навес над палубой, через который все время перехлестывала вода. Лорд Ройстон, полковник Поллен и с ними еще двое сели тем временем в шлюпку, чтобы попытаться достичь берега и получить помощь, но едва они спустили шлюпку на воду, как она перевернулась, и все они утонули. Мистера Томаса Кэли, который так радовался своей удаче в тот день, когда получал паспорт, также смыло за борт, и он погиб. Капитан и двое матросов сели в спасательную шлюпку и достигли берега, но один матрос умер, а другой отморозил себе ноги. Спасатели неоднократно пытались на лодке добраться до корабля, но безуспешно, так что он получил помощь только через тридцать шесть часов. Каким-то чудом оказалось, что миссис Поллен

и миссис Барнс с ее двумя детьми остались живы, хотя провели это время голодные, промокшие до костей, продрогшие и изнемогающие от ужаса при воспоминании о гибели мужа и ребенка. Мистер Джон Холлидей, мистер Перейра и некоторые другие были спасены, но мистер Перейра, сильный, крепкий молодой человек, умер вскоре после возвращения на берег. Одному небу известно, сможет ли очаровательная миссис Поллен пережить такое страшное несчастье.

Милосердный боже, как представишь себе, что такой прекрасный человек, как полковник Поллен, блистательный, жизнерадостный, красивый, всегда окруженный какой-то пьянящей атмосферой радости,— словом, такой, каким мы видели его несколько месяцев тому назад, поглощен пучиной, сердце сжимается от ужаса. Полковник был вынужден уехать из Англии на несколько лет из-за долгов. Через год срок долговых обязательств истекал, и можно было бы вернуться. Он собирался провести этот год в России, но злосчастная война заставила его изменить свои планы и искать убежища в Швеции. Роковое крушение всех его упований леденит кровь в моих жилах. У меня тоже были планы и еще сохраняются надежды, а тот, с кем они связывались, погребен в бездне. Сострадательное провидение спасло меня, ведь если бы мое письмо к миссис Поллен не затерялось и поездка в Петербург не задержалась бы, то я, без сомнения, оказалась бы среди несчастных. Все это я понимаю, но все равно чувствую себя оскорбленной, когда меня принимаются поздравлять. Говорят, что я избегла этой участи потому, что сама судьба вмешалась и спасла меня. Да разве может моя жизнь или даже сотня подобных ей жизней перевесить на весах судьбы жизнь такого человека, как лорд Ройстон, достойного, доброго, благородного, только вступающего в жизнь! Одно его существование заставило бы миллионы людей сохранить в себе искру добродетели. Она еще существует на земле, но может погаснуть, потому что те, кто обязан подавать пример, кто находится на самом виду, слишком заурядны.

Лорд Ройстон мог бы быть государственным деятелем или воином, но на любом месте он стал бы *гордостью* своей страны. Сколько раз, слушая о нем рассказы, я говорила себе, что этого человека ждет великое будущее и что Англия будет когда-нибудь считать его одним из своих героев. Юноша самой возвышенной души, он был одним из тех существ, которыми современники гордятся, о которых всегда говорят с восхищением. Я встречалась с ним лишь однажды, но не могу не испытывать самого горького сожаления при мысли о том, что его уже нет. Есть времена и обстоятельства, когда быть добрым и великодушным — значит вызывать признательность во всех, кто имеет хоть каплю патриотизма. А какие страдания должна испытывать его несчастная семья! Лорд Хардвик, его отец, преклонялся перед ним, он только им и жил. Он даже здешним банкирам, мистеру Рованду и мистеру Хозу, писал такие письма, что те напрягали все силы, использовали все возможности, если только это было в интересах молодого лорда.

Лорд Ройстон путешествовал не столько для развлечения, сколько с целью образовать и развить свой ум. Мне говорили, что он удивительно интересно рассказывал обо всем виденном, о пережитых опасностях... Нет, я не могу об этом говорить! Ему было всего 22 года, но даже эта краткая жизнь показала такие добродетели, что смерть его не только личная, но и общественная потеря, а о его печальной судьбе всегда, всегда будут вспоминать с сожалением.

Миссис Барнс, одна из несчастных пассажирок, ужасно обморозилась, а оба ее оставшихся в живых ребенка при смерти от всего пережитого во время бури. Я получила от мистера Кавана письмо, где он пишет о печальном положении этой дамы. Она — дочь адмирала Престона, вышла замуж за английского купца и в результате его банкротства и отъезда из России оказалась зависящей от помощи своих соотечественников. Они помогли ей так устроить свои дела, что она смогла последовать за мужем в Англию. Война принудила ее оставить мысль добираться в Стокгольм через Або, и из Выборга ей пришлось вернуться. В такой ситуации корабль в Либаве показался счастливым даром небес. Она поспешила на него — и вот теперь очутилась во вражеской стране и нуждается гораздо больше, чем когда-либо прежде. Мне говорили, что императрица Елизавета и императрица-мать послали ей по 500 рублей каждая.

1 мая ст. стиля 1808 г., 12 мая нов. ст.

Относительно несчастных, спасшихся в кораблекрушении, я слыхала, что миссис Поллен вместе с мистером Джоном Холлидеем уехали в Кенигсберг, где они, по-видимому, смогут сесть на корабль. Выяснилось, что лорду Ройстону не удалось взять на купленный им корабль 20 человек матросов и капитана. Он достал им паспорта, но всех их задержали в небольшой деревушке под Либавой и ему пришлось нанять какого-то любекского капитана, оказавшегося совершенно невежественным. Короче, им было суждено погибнуть. Они покоятся с миром, в то время как мы сражаемся в этом страшном океане жизни с его штормами и бурями, и лишь небу известно, когда он нас поглотит.

Я стараюсь как можно меньше об этом думать и посвящаю свое время изучению итальянского языка и пению с синьором Монскити, моим учителем. Учитель танцев уехал в деревню, но я все же успела у него научиться одному танцу, который покажется самым *странным* и смешным моим родным, если только мне посчастливится вновь вернуться к ним живой и здоровой.

Еще я занимаюсь садиком. Это уголок двора под окнами курительной и той комнаты, где я училась играть на гуслях, и по моей просьбе княгиня отдала мне его под посадки. В садовники я выбрала Кузьму. Мы с ним поставили ограду, посадили несколько кустов сирени, цветочную рассаду и посеяли немного семян. Я часто и

с огромным увлечением копаюсь в земле, хотя через две недели мы уезжаем в Троицкое.

Москва, 29 мая 1808 г.

Сегодня у меня нечаянная радость: я получила письмо от моего любимого батюшки. До этого я не имела от него ни одной строчки целых девять месяцев, да и не надеялась ничего получить, пока между Англией и Россией идет война. Его благословенное письмо принесло мне радостную весть о счастливом возвращении Эдуарда из Сицилии. О, если бы по божьей воле я тоже благополучно оказалась дома! Бывают минуты, когда моя душа сжимается от боли: так неопределенна моя судьба, но письмо дорогого батюшки во многом успокоило меня. Совершенно ясно, что моя семья не питает надежд на мое возвращение, а стало быть, они избегли всех разочарований по этому поводу. Это меня утешает больше всего, так как я очень боялась, что они будут меня ждать.

Троицкое, 6 июня 1808 г.

[...] Княгиня очень нездорова. У нее сильно распухли ноги, и она ужасно мучается. Здесь нет никого, с кем можно было бы посоветоваться относительно лечения, а сами что-либо предпринимать мы боимся. Уехали мы из Москвы в прошлую субботу, 30 мая, а здесь были уже вечером в воскресенье, проведя всю ночь в пути. Видимо, поездка и стала причиной болезни княгини. С четверга она чувствует сильные боли и полагает, что это ревматизм.

7 июня [1808 г.]

[...] Вернусь к последним дням нашего пребывания в Москве. Несколько раз мы наслаждались обществом очаровательной молодой женщины, графини Орловой. Она нанесла нам два продолжительных визита, а однажды мы обедали у нее. Дом и вся обстановка ее жизни остались такими же, как и при ее отце, но, хотя *«весь мир у ее ног»*, так как наследство, которое она получила, не поддается никакому сравнению, характер ее мягок, а поведение благоразумно. Она окружила себя почтенными старыми родственниками и молодыми девушками, которые вместе с нею воспитывались.

Ее везде сопровождает *бонна* (то есть просто ее нянька). С самого дня рождения графини с ней живет эта добрая старушка, которая просто обожает ее. Графиня занимается благотворительностью и настолько щедра, насколько это вообще возможно, что, впрочем, и неудивительно при существующих обстоятельствах. Что делает ее по-настоящему восхитительной, так это скромные и благородные манеры и, особенно, доброта в отношении к близким. Словом, лучший комплимент, который я могла бы ей сделать,— это сказать, что она *достойна быть бедной*. Ей следовало бы получить от судьбы какую-то иную награду, нежели доход в 40 тысяч фунтов, которые даются ей ежегодно независимо от всех достоинств ее ума

и сердца. На другой день мы повстречались с ней у ее тетушки, старой графини Орловой. Это вдова старшего из братьев Орловых, Ивана[71].

Некогда у матери старой графини была с графом Иваном связь, и эта мегера, проведя жизнь в пороке, решила, чтобы не терять своего влияния на Орловых, сделать свою красавицу дочь любовницей графа Ивана. Нрав дочери был полной противоположностью материнскому, но все-таки понадобилось 10 лет испытаний, прежде чем граф Иван снизошел с высоты своего происхождения и положения и согласился жениться на ней. В ее доме мы встретили последнего, как мне кажется, оставшегося в живых из братьев Орловых, графа Владимира. Он женат на ливонской даме, госпоже Штакельберг. Именно он был директором Академии Наук до княгини Дашковой. Граф Владимир не так красив, как его три брата: рот у него перекошенный, а глаза *смеющиеся*, как будто он всегда ожидает смеха в ответ на свои слова. Мне говорили, что обыкновенно его речи и производят этот ожидаемый им эффект.

Там находилась еще одна фигура — дурочка, увенчанная пышным султаном из перьев и увешанная таким количеством драгоценностей, что ввергала в краску стыда всякого, на ком тоже было какое-нибудь украшение. Эта особа первая заметила, что похожа на госпожу Бахметьеву (бывшую любовницу Алексея Орлова), которая любит наряжаться в молдавское платье и, разумеется, носит спереди на тюрбане небольшой плюмаж из черных перьев. Она показала на нее и сказала Александре Кочетовой: «Кузина, отчего вы не одеваетесь со вкусом? Вот мы с госпожой Бахметьевой выглядим по-королевски. *Мы* всегда носим перья и похожи на двух сестер». Колкость ее замечания не укрылась от слушателей, и я заметила, что недоброжелатели госпожи Бахметьевой, те, кто имеет на нее зуб, поняли намек на ее привязанность к молдаванскому костюму, которого никто, кроме нее, не носит. Этой даме около 40 лет, но она все еще очень красива. Выйдя замуж совсем молодой, она заняла самое высокое положение в обществе; потом оставила мужа (в России состояние жены всегда в ее распоряжении) и, вступив в связь с Алексеем Орловым, поехала с ним в Германию, где он вынужден был жить в годы царствования Павла I. Это был ничем не прикрытый вызов обществу, однако, вернувшись вместе с графом и его дочерью, эта особа заняла в обществе прежнее положение. Она поселилась в небольшом доме по соседству с графом, часто выезжала за город с его семьей и т. д. Молодая графиня обходилась с ней вежливо, но без фамильярности. После смерти отца она выделила Бахметьевой 100 тысяч рублей, что, по самым скромным подсчетам, составляет 15 тысяч фунтов, и, что самое неприятное во всей этой истории,— та купила имение князя Дашкова, проданное для уплаты части его долгов. В прежние времена положение и влияние княгини при дворе часто колебались из-за происков семейства Орловых, и вот теперь она вынуждена видеть родовое имение своего сына в руках у любовницы человека, бывшего прежде ее врагом.

Усугубляет унижение то, что в этом имении похоронено несколько членов семьи Дашковых, а ведь еще совсем недавно считалось безнравственным продавать имения, где покоятся останки чьих-либо предков. Сила этого обычая до сих пор так велика, что во многих семьях предпочитают лучше расстаться с самым красивым из поместий, нежели с *тем*, где лежат кости праотцев. Кроме того, в этом же имении стоит семейная церковь, наполненная фамильными иконами и приношениями, церковь, которую поочередно украшали тщеславие, страх, надежда и благодарность, закрепляя узы, которые, наконец, становятся нерушимыми.

Правду говоря, старые обычаи изживаются понемногу в высших слоях общества, но добрые крестьяне соблюдают их в полной мере, не задумываясь, разумно это или нет, и хорошо, что они так делают, ибо они столь же неотъемлемая часть поместья, как и церковь, построенная на его земле. Несмотря на развитие вкуса, не упразднены ни образа, ни тщеславная привычка украшать их драгоценными камнями, жемчугом и проч.

Я как-то наблюдала, как *фрейлина* мадемуазель Кочетова, упаковав в свои сундуки несколько икон, чтобы везти их в Петербург, была смущена огромными размерами одного образа. Он никуда не помещался, и после долгой суеты его пришлось упаковать отдельно и поставить в карету за сиденье. Хорошо, что не все так суеверны, не то бы иным просто не хватало места в каретах. Анна Петровна — большая любительница этих домашних богов. Она всегда путешествует, обремененная их тяжестью, а самая большая ее мечта — иметь когда-нибудь небольшой кабинет, весь обвешанный иконами и с негасимой лампадой перед каждым образом. Госпожа Глебова и другие мои знакомые имеют у себя подобные молельные, и их приходят смотреть друзья, чтобы оценить вкус, великолепие и благочестие владельца. Забавно видеть мужчин и женщин, истово отбивающих поклоны перед какой-нибудь иконой в массивной золотой раме, крестящихся, целующих ее с благоговением, а затем непочтительно изучающих ее убранство, критикующих изображение лица и рук (вся остальная фигура обычно скрыта золотом и серебром), почти высмеивающих проявления суеверия и подшучивающих над следующим святошей, который склоняется перед иконой. Я замечаю, что большинство тех, кто крестится, подозревают, что люди, исповедующие другую религию, над ними смеются, и потому сами смеются даже в момент крестного знамения, но, несмотря на этот натуральный или искусственный смех, их приверженность к вере не становится меньше.

Вернусь теперь к этой дурочке, принадлежащей старой графине Орловой. Подобно шекспировским дуракам, она часто говорит колкости, а в гостиной она главное лицо: поет, если ей хочется, и танцует в комнате, когда у нее хорошее расположение духа. Ее называют «дура», сама же она себя зовет истинной дочерью госпожи, и если ей заблагорассудится — говорит неслыханные дерзости. Одета она великолепно и сообщила нам, что сама королева Пруссии причесала ее сегодня в честь прихода княгини. Она сидела рядом с кня-

гиней, когда играли в карты, и за обедом некоторое время стояла у ее стула, а когда устала, пошла и села за боковой стол и стала есть то, что ей подавали лакеи, причем к каждому из них обращалась с горячей речью. Затем опять встала, подошла к тому месту, где сидели мы с молодой графиней, и сказала, что просит простить ее за то, что она сравнивает, но что воистину обе они равно знамениты в России: графиня — своим состоянием, а она — своей красотой (это создание безобразно, но полно самомнения). Словом, жизнь ее проходит среди детского тщеславия, полной свободы, но иногда и строгости, потому что в сильном гневе она может и *побить* кого-нибудь. То место, которое она занимает в обществе, вовсе нельзя назвать незначительным.

Все остальные, кого мы здесь встречали, недостойны упоминания. Графиня Орлова пообещала заехать сюда на несколько дней, когда отправится в Киев. Здешнее общество пробуждает у княгини Дашковой сотни воспоминаний, но зато и развлекает ее более всякого другого.

20 [июня 1808 г.]

[...] Наш бородатый кучер Алексей возбудил к себе мой интерес тем, что просил о разрешении жениться. Девушка, которую он хочет взять в жены, прехорошенькая, но не это главное. Вчера вечером, когда мы вернулись домой на дрожках, он обратился ко мне самым проникновенным голосом: «Мавра Романовна, я хочу попросить у вас милости: помочь мне получить разрешение жениться. Княгиней я очень доволен, да и она добра ко мне, но прошлой зимою мне очень дорого обходилась стирка, а если бы я был женат, мне бы чинили одежду и стирали белье бесплатно и у меня был бы свой угол». После этого трогательного призыва к моим чувствам я не могла не пообещать ему помочь, но боюсь, что ему придется платить за штопку и стирку еще одну зиму, так как княгиня, похоже, не расположена позволить ему жениться раньше, чем через несколько месяцев.

У горничной Анны Петровны, Софьи, которая была помолвлена с Афанасием, хватило ума расторгнуть эту помолвку после того, как она раза три или четыре увидела его пьяным и заметила, что, будучи навеселе, он колотит своих приятелей-дворовых. Если бы это замужество состоялось, то Софья стала бы крепостной княгини и перестала бы принадлежать Анне Петровне [...]

22 июня 1808 г.

Императрица Анна была самой гордой женщиной изо всех живших под солнцем. Несколько дней назад княгиня рассказала мне о ней два анекдота: один *à propos**, а другой — *à propos de botte***.

*Кстати (*фр.*).— *Пер.*
** Ни к селу, ни к городу (*фр.*).— *Пер.*

Анна считала себя настолько выше простых смертных, что ей никогда и в голову не приходило, что ее подданные могут существовать еще для чего-нибудь, кроме *ее* развлечения или пользы. Она никогда не испытывала потребности ни в сочувствии, ни в жалости, ни даже в человеколюбии. Она часто позволяла графине Чернышевой[72] приходить в свои апартаменты, где эта дама болтала, развлекала ее и, возможно, представляла собой шутиху, то есть то, чем больше всего наслаждаются те, кто считает себя выше всего рода человеческого. Несчастная графиня была подвержена ужасным опухолям ног и не могла долго стоять. Императрица это знала, но не считала нужным сажать ее *в своем присутствии* и оставляла все ее страдания без внимания. Однажды, заметив, что та побледнела и чуть не падает в обморок от боли, она сказала ей: «Ладно, облокотись на тот стол, но только пусть Анна Ивановна (ее любимая горничная) встанет перед тобой, чтоб я не видала твоей позы».

А вот другой анекдот. Однажды в ее присутствии заговорили о танцах и ей вздумалось посмотреть народную пляску. Она приказала найти четырех красивых молодых женщин из знатных семей, которые пришли бы и проплясали перед ней. Выбор пал на мать княгини Дашковой, бабушку князя Хилкова, Лопухину и еще на кого-то, не знаю ее имени. Все эти четыре красавицы никогда раньше не появлялись перед государыней, все они были молоды и замужем за молодыми людьми, чины которых не давали им доступа к целованию руки императрицы, так что они чрезвычайно оробели и *перепутали* одну из танцевальных фигур. Это привело ее величество в такую ярость, что она со всей силой ударила по щеке бабушку князя Хилкова. Это исправило положение, и, ни живы ни мертвы со страху, они продолжали плясать перед ней до тех пор, пока она не приказала прекратить *потеху*.

Княгиня Дашкова только что рассказала мне еще один анекдот. Незадолго до смерти императрицы Анны несколько ночей подряд во дворце являлся ее *призрак*. Он приходил в короне, со скипетром в руке, и садился на трон. Впервые его увидели офицеры из дворцовой охраны и рассказали о нем другим, и те, кто пришел на следующую ночь, тоже его увидели. В конце концов слух о привидении дошел до императрицы, и она сама пожелала на него взглянуть. В полночь она пришла в тронный зал и... увидела самое себя. Свидетели утверждали, что видели императрицу лицом к лицу с призраком. А через несколько месяцев после этого она умерла. Многие в России верят в эту историю.

24 [июня 1808 г.]

[...] 22 июня в саду распустились огненные лилии. Если не ошибаюсь, то в Ирландии они зацветают только к первому июля, к годовщине битвы при Бойне[73]. Здесь погода неустойчивая, и как только выпадают погожие дни, все бурно пускается в рост. Луга однажды уже выкашивали, и вскоре их собираются косить во второй раз.

27 июня 1808 г.

[...] Между прочим, если княгиня со взрослыми иногда обращается, как с мальчишками (или как с собаками, когда они ей не угодят), то с детьми она часто обращается, как со взрослыми, требуя от них такого же ума, понимания и увлечений, которые занимают ее собственные мысли, и ее разум как бы стремится состязаться с их разумом. Я часто это замечала, но этим вечером была особенно поражена, как она обращается со своим внучатым племянником Петрушей, которому еще нет четырнадцати лет. Из каждого посетителя она некоторое время как бы выжимает содержимое, энергично и весьма *естественно*, подобно тому как соковыжималка выжимает сок из овощей. Возраст, пол, положение — все идет в дело, все хорошо для перегонного куба. Этой работой заняты все силы ума, но, увы, это редко занимает ее более трех с половиной минут, и этого времени достаточно, чтобы вопрос был решен. Яркое исключение из того, о чем я говорила,— это милое дитя.

В этом княгиня напоминает Петра I, каким его описывают. Говорят, что он тоже целеустремленно и энергично расспрашивал людей всех чинов и званий и таким путем мимоходом и очень быстро обретал ценнейшие сведения и новые идеи.

2 июля 1808 г.

Вчера к княгине приезжали с визитом господин и госпожа Симоновы. Этот Симонов так похож на все изображения Буонапарте, что ему нет надобности терпеть неудобства и позировать художнику, чтобы получить свой портрет. Правда, фигура у него высокая и представительная, да и выражением лица он должен отличаться от Буонапарте: оно у него умное, мягкое и приветливое. Такое впечатление, что он мухи не обидит. Образован он посредственно и, по-моему, нечестолюбив, а поскольку у него нет покровителей, карьеру его можно считать законченной. Господин Симонов женился по любви в возрасте 22-х лет. Его жена, урожденная княжна Ухтомская,— милейшее создание, добрая, кроткая, совершенно счастливая любовью к мужу и своим трем детям, но бедная как церковная мышь. Одного из своих детей она привезла с собой. Княгиню она называет тетушкой, так как приходится внучкой одному из ее кузенов.

Брат госпожи Симоновой, князь Ухтомский,— молодой человек 19—20 лет. Он поручик, и этот чин позволяет ему называться благородием, но не позволяет впрягать в карету четверку лошадей. За день до нашего отъезда из Москвы этот молодой человек женился по любви на графине Толстой, племяннице графа Остермана, *demoiselle d'honneur**, имеющей неплохое состояние. И сам князь, и его молодая жена — из числа тех людей, которых называют простаками, однако мир вообще полон простаков, и они бывают счастливы точно так же, как и все остальные люди.

---

* Фрейлина (*фр.*).— *Пер.*

Через два дня после их свадьбы мы были у них на балу. Молодая чета встречала приезжающих у входа и принимала поздравления, а потом почти все гости, и мужчины, и женщины, отправились в спальню, беспорядочно загроможденную разными вещами и мебелью. Эта комната всегда обставляется невестой, поэтому все эти вещи перевозятся из ее дома в дом жениха и сгружаются в полном беспорядке. После того как их *благословит священник*, они становятся объектом общего любопытства. Каждый считает своим долгом взглянуть на них и осведомиться о цене кружев, украшающих туалетный столик, розовых шелковых занавесок, стеганых одеял, подушечек или булавок и свадебной корзинки, украшенной розовыми бантами. Все это осматривается и женщинами, и мужчинами, все хвалится в глаза невесте и критикуется за ее спиной, и, повертевшись напоследок перед зеркалом, гости один за другим покидают спальню.

По случаю бала тетушке молодого князя Ухтомского, госпоже Норовой, помогала одеваться княгиня Голицына и сделала это на славу. Я, вероятно, до самой смерти не забуду наряда госпожи Норовой. Ее белое атласное платье украшали искусственные цветы, на голове были две ленты, украшенные бриллиантами, два бриллиантовых гребня и еще что-то вроде бриллиантового венца. В ушах — великолепные бриллиантовые серьги, на шее — бриллиантовые цепочки и жемчужные нити, на груди — бриллиантовые, изумрудные и рубиновые броши, причем одна брошь с солитером стоила не менее 2 тысяч фунтов. Пояс ее тоже был осыпан бриллиантами и застегнут пряжкой с камнем величиной с куриное яйцо. Не знаю его названия: он был ярко-малиновым, а в оправе из бриллиантов выглядел поистине как драгоценность из сокровищницы турецкого султана. Словом, это была настоящая ювелирная лавка. Жаль, что всего этого не видела Китти, но она сумеет по достоинству оценить это зрелище даже по описанию.

При этом на лице носительницы всех эти сокровищ детская простодушная радость от сознания своего великолепия смешивалась с неприкрытым страхом перед княгиней, и эти разнородные чувства вызывали на ее щеки румянец настолько яркий, что ни зрелая малина, ни расцветший пион не могли бы сравниться с ним по цвету.

Ее наряд занял много времени, и она опоздала (страшный грех в глазах княгини). И вот, когда она с трепетом вошла в зал, первый же человек, попавшийся ей на глаза, была сама княгиня, игравшая в бостон с тремя господами в лентах и звездах. Бедная госпожа Норова подошла к княгине поцеловать ей руку, и все эти осыпанные орденами персоны стали целовать руку ей самой. По всей вероятности, им внушил такое благоговение блеск бриллиантов, хотя они не могли не сознавать, что она не более чем ворона в павлиньих перьях. Госпожа Норова говорила мне потом, что никто никогда не приветствовал ее так почтительно, как господин М., богатый родственник, всегда раньше смотревший на нее как на пустое место. Пройдя через это испытание, она бросилась в соседний зал, где с молодежью сидела я, и, упав ко мне в объятия, горячо

умоляла со свойственным ей искренним простодушием защитить ее, если княгиня вздумает сердиться за ее наряд: «*Ma bonne amie, ma chère** Мавра Романовна, я умру от смущения, если она заговорит об этом. Право, я не виновата, это княгиня Голицына. Она надела на меня все эти вещи».

Тем временем глаза всего зала были устремлены на нее. Эта женщина, никогда не имевшая собственных драгоценностей, всегда просто одетая, сверкала теперь над изумленной толпой, как новое солнце. Я пообещала не покидать ее весь вечер, и благодарна ей за то, что он прошел так приятно. Каждому, кто к нам подходил, украшения демонстрировались с той же непосредственностью, с какой Машенька показывает свои новые ботиночки. Все шло чудесно, но наступило время ужина, и все прежние страхи моей спутницы вернулись к ней. Она придумывала сотни опасностей, рисовала себе тысячи ужасов, уверяла меня, что злой гений непременно посадит ее напротив княгини и тогда она погибла. Словом, если кто когда и страдал за грех красоты, то это была госпожа Норова. В конце концов она созналась, что никогда в жизни не испытывала таких мучений, как с того рокового мгновения, когда согласилась надеть на себя эти чужие украшения. Ко всему прочему, у нее потерялась шпилька, и теперь ее диадема едва держалась на волосах; она боялась ее потерять и сидела очень прямо, не рискуя поворачивать голову ни вправо, ни влево.

Тем временем шла подготовка к ужину. Нас попросили покинуть зал, и все перешли в гостиные. К счастью, княгиня удалилась в одну из дальних комнат, чтобы спокойно доиграть свою партию в бостон, но с минуты на минуту партия могла закончиться, и тогда она неминуемо бы пришла в ту комнату, где мы находились.

Несмотря на приятное общество госпожи Норовой, на доставляемое мне ею развлечение и на ее исключительную *naiveté***, которая так украшает общение с нею, я все же почувствовала, что начинаю мерзнуть после танцев, и попросила принести мне шаль. Моей соседке это слово как бы вернуло душевное спокойствие. «Слава богу! — сказала она, трижды перекрестившись и возводя глаза к небу с выражением самой глубокой благодарности,— мой добрый друг, я спасена. Я накроюсь большой шалью, и, если мое место будет напротив дорогой тетушки, не стану ничего есть. Тогда ни колец, ни браслетов, ни цепочек не будет видно. А если мне посчастливится сидеть далеко, то можно будет даже сбросить шаль». В глазах ее стояли слезы радости и облегчения. В этот момент ее диадема, едва державшаяся на голове из-за многочисленных крестных знамений и поклонов, вздрогнула и накренилась, и это снова повергло ее временную обладательницу в отчаяние. «Нет, невозможно! — воскликнула она.— Невозможно спрятать эту диадему, эти гребни. Нечего делать, придется ехать домой, а мне так хочется поужинать. Прямо ума не приложу, милый друг, что делать». Я успокаивала ее, говоря,

* Мой добрый друг, моя дорогая (*фр.*).— *Пер.*
** Наивность (*фр.*).— *Пер.*

что мы можем очень просто скрыться от взоров княгини, если сядем на той же стороне стола, что и она, но немного ниже, и тогда можно будет ужинать совершенно спокойно. Тут пригласили к столу. Мы последовали моему плану и стали наблюдать, куда пойдет княгиня. Однако напрасно мы считали себя в безопасности: она села во главе стола, а значит, могла видеть всех сидящих, и, что хуже всего, разыскивая меня глазами, она не могла не заметить и мою блистательную соседку. Только перемены блюд создавали какое-то подобие ширм, и в эти мгновения госпожа Норова облегченно вздыхала и сбрасывала свою шаль. Но все же ей пришлось уйти до окончания ужина. Она вернулась домой, разбудила спящего мужа, который недомогал и не мог быть на балу, и только тогда, вероятно, смогла наконец *блеснуть своим великолепием*, не испытывая при этом чувства *ужаса*.

Хочу пояснить, что страх госпожи Норовой перед княгиней вовсе не был беспочвенным. Княгиня — воплощенная простота, и ей незнакома любовь к нарядам. Все ее мысли и речи на этот счет одновременно и оригинальны, и комичны. Когда она говорит о модах, такое впечатление, что это говорит какой-то камчадал, а когда покупает вещи, то видеть это смешно и досадно. Знатнейшую даму империи, известную своим умом, может одурачить первый попавшийся бородатый мошенник, которому не терпится сбыть с рук залежавшийся хлам, а она еще называет это удачной покупкой. Но ее рассуждения на этот счет в некоторых отношениях замечательны, а особенно нетерпима она к появлению на людях в чужих одолженных вещах. Это приводит ее в настоящий гнев, что, впрочем, и справедливо, уж слишком распространено это явление в Москве. На больших балах можно видеть одни и те же украшения сегодня на одной, завтра — на другой, а послезавтра — уже на третьей даме. Словом, применение этого скверного и нечистоплотного обычая не имеет пределов, и если это частное обстоятельство рисует всю систему, то вседозволенность в гостиных кладет пятно на мораль всей нации. Каждый здесь закладывает и перезакладывает имения, копит долги, и если разобраться по справедливости, то, пожалуй, не найдется и десяти человек из знати, которые имели бы настоящие права даже на свой собственный дом. Всем это известно, однако никто этого не стыдится, как не стыдятся щеголять в чужих драгоценностях. Несколько месяцев назад в Петербурге некто М. давал парадный обед. Этот обед был настолько роскошен, что*** сказал ему: «Обед, должно быть, влетел вам в копеечку?» — «Вовсе нет, — ответил М., — он мне обошелся всего в 10 гиней (100 рублей)».— «Как так?» — «Да, — сказал, улыбаясь, М.,— это стоимость гербовой бумаги, на которой я написал *векселя*».

Что же касается княгини, то она гордится тем, что никому в мире ничего не должна, и она слишком патриотична, чтобы не стыдиться, когда должны другие, а поскольку у нее привычка — говорить вслух то, что она думает, и она уже много раз бичевала тех, кто живет в долг, то одно ее появление заставляет дрожать всех виновных. Другая странность княгини — это ее привычка всюду

приезжать первой. На все балы она является еще до того, как зажгут свечи, и несчастные хозяева принимаются суетиться, торопливо одеваются, слуги наспех заканчивают уборку комнат, и вот уже отец семейства, преждевременно пробужденный от послеобеденного сна, выходит к дверям встречать знатную гостью.

Китти передавала мне анекдот, рассказанный ей баронессой д'Огье, урожденной Полянской. Княгиня как-то пообещала сопровождать ее на придворный бал, а это означало, что мадемуазель Полянская должна была быть готова к тому времени, которое назначит ей тетушка. Сознавая, что они приедут на бал часа на два раньше всех остальных, племянница приходила в отчаяние, а тут еще парикмахер подвел, пришлось торопливо одеваться, княгиня стала выражать недовольство — словом, в карету она садилась в самом дурном расположении духа. Княгиня приказала кучеру гнать во весь опор. У Летнего дворца, куда они вскоре приехали, не было еще ни одного экипажа, в залах слуги протирали от пыли мебель. Побродив немного по комнатам, княгиня соскучилась и заявила, что *прогулка в саду* очень *освежает*. Ее племянница не осмелилась возражать, покорно поплелась за тетушкой, и обе они весьма серьезно совершали моцион до тех пор, пока с волос мадемуазель Полянской не осыпалась вся пудра, а сама она не пришла в такое состояние, что ни о каком наслаждении балом, который начался спустя два часа, не могло уже быть и речи. С тех пор ничего не изменилось. Мне много раз приходилось делать вид, что я еще не готова, чтобы спасти Анну Петровну от гнева княгини, но все равно мы везде и всюду приезжали первыми.

4 [июля 1808 г.]

[...] В воскресенье вечером мы отправились на *linée** в деревню Ершово. Там все в полном цвету. Дерево, посаженное Китти, засохло, зато ее папоротники свежи и зелены. Это все, что осталось от наших посадок у водопада. Природа вернула назад свои права и, правду сказать, устроила все гораздо лучше нас. Как обычно, нас сопровождала стайка ребятишек, но большинство тех маленьких оборвышей, которые бегали за нами раньше, ныне уже женаты.

Когда в России собирали народное ополчение, прошел странный слух, что крестьянских девушек станут брать на службу в армию. Этому слуху до того поверили, что среди крестьян распространилась настоящая паника и все они предпочли поскорее выдать своих дочерей замуж, все равно за кого, чтобы не видеть их взятыми на государеву службу. Были перевенчаны дети 10—13 лет, церкви ломились от венчающихся пар, а священники распускали все новые слухи, чтобы еще больше увеличить свои доходы от свадеб. В некоторых деревнях священники советовали крестьянам поторопиться потому-де, что скоро выйдет новый указ, запрещающий все свадьбы

* Экипаж (*фр.*).— *Пер.*

до тех пор, пока не наберут полки. Это еще усилило смятение, и деньги, зерно, сено, даже бедная крестьянская утварь — все это отдавалось безропотно, лишь бы венчание было совершено немедленно. Безжалостные негодяи немилосердно грабили и раз по сорок в день нарушали данную ими при посвящении в сан клятву не венчать малолетних.

[...] Маленькая крестьянка, которую я сравнивала 3 года тому назад с капитаном Лефевром, теперь уже 16-летняя высокая и крепкая девушка. Мы были удивлены, увидев ее среди детей и даже по-детски одетой. Расспросив ее, мы узнали, что, когда начался весь этот кошмар, эта девушка повела настоящее *сражение против замужества* и ей удалось отстоять свою независимость. Она заявила родным, что пусть лучше ее заберут в солдаты, но что замуж она не пойдет. К ней присоединились еще две ее подружки, и все вместе этим своим непреклонным решением не возлагать на себя священные узы брака они одержали *победу*. Девушка эта пасет отцовских лошадей, и сама она славная, точно молоденькая лошадка.

В Москве я слышала обо всей этой истории, но совершенно не представляла себе, что размах ее так широк. Однако еще удивительнее, пожалуй, то, что эффект мог бы быть гораздо бóльшим.

[...] Встаю я теперь в 6 часов утра [...] До завтрака пишу и перевожу с итальянского и успеваю с 6 до 9 часов сделать больше, чем потом за весь день и вечер. Жаль только, что я не создана ранней пташкой и встаю с большим трудом. Не было еще ни единого утра, когда бы я поднялась в гармонии сама с собой, хотя с вечера намерения у меня бывают самые благие.

5 [июля 1808 г.]

[...] Троицкое напоминает сейчас цыганский табор: человек 400 крестьян, многие с женами и детьми, собраны сюда из окрестных деревень вывозить навоз с конюшен и со скотного двора. Они пришли со своими телегами, как они их называют, и лошадьми, и вчера вечером мы с Дарьей Кочетовой пошли посмотреть, как они ужинают. На поляне были разложены три огромных костра, и в каждом мирно соседствовали по 10—12 темных глиняных горшков, каждая семья готовила себе ужин: *какую-то* смесь из хлеба и лука, что-то вроде супа, или кашу, очень похожую на *овсяную*; это их любимые блюда. Мы поговорили с некоторыми крестьянами и нашли их очень добродушными. Они собрались вокруг и смотрели на нас, как на каких-то полубогов — еще бы, ведь мы пришли из барского дома. Нам же они казались воплощением простодушия и жизнерадостности, да, наверное, так оно и было в те минуты: дневные труды завершились, дружно готовился ужин, луна светила ярко, и эти умные крестьянские лица озарялись радостью и смехом.

Примечательно, что каждый из тех, кто садился есть, предварительно крестился и кланялся, благодаря всевышнего, и в этом зрелище религиозного чувства, возникшего среди радости и веселья,

было что-то трогательное и восхитительное. Мне доводилось говорить с бедняками в Англии, Ирландии и России, и я убеждаюсь, что их религиозность повсюду очень схожа: страстные надежды на загробное блаженство, любовь к богу и страх перед дьяволом. Только в России церковь греческая, и в воображении крестьян каждый святой, обозначенный в календаре, становится как бы отдельным богом, поэтому нужно иметь икону с изображением каждого и каждому приносить дары, но мне думается, что и здесь дело лишь в формах, а не в сути. Такой культ только дороже обходится беднякам, но стоит за ним столь же искреннее религиозное чувство.

После ужина, прежде чем лечь спать, крестьяне еще долго пели песни; и стоило мне потом закрыть глаза, как передо мной вставала одна и та же картина: вереница возов, управляемых то бородатыми мужчинами, то женщинами в алых юбках, вышитых сорочках, ярких ожерельях и блестящих серьгах, с их рогатыми головными уборами и обувью, сплетенной из березовой коры.

От скромных крестьян я намерена перейти к персидскому императору и русской императрице Екатерине I, чтобы передать случай, который мне вчера рассказала княгиня. В правление этой императрицы Россия была с Персией в хороших отношениях, и, как говорят, ее правитель прислал Екатерине I письмо. В нем, после бесконечных похвал и добрых пожеланий, он написал: «И пусть Всемогущий спасет тебя от несчастия любви к крепким напиткам, ибо я, пишущий тебе, не уберегся от этой страсти и имею теперь изумрудные глаза, рубиновый нос и от немощи не в силах подниматься со своего ложа» и т. п. Конечно, это было не более чем восточное красноречие, но суть в том, что Екатерина как раз славилась своим пьянством.

Я читаю теперь книгу «Надир-шах, известный под именем Томас Калихан, персидский император», переведенную по просьбе датского короля на французский язык сэром Вильямом Джонсом[74] с персидской рукописи. Цветистый восточный стиль этой книги как раз и заставил княгиню Дашкову припомнить анекдот про письмо к Екатерине. Она говорит, что в те времена, когда ее дядя был государственным канцлером, ей довелось прочитать немало политических документов о разных интересных делах [...] Между прочим, стиль этой книги и высокопарное описание подвигов ее героя напоминают ту манеру, в которой французы пишут сейчас про своего Буонапарте.

Надир-шах[75] заставлял трепетать и Персию и всю Азию. Все было ему подвластно, и он один мог давать народам законы. Он считал себя избранником неба, но после нескольких лет безмятежного правления недовольство стало всеобщим, покоренные им народы восстали, и Надир-шах был убит в своем шатре одним из приближенных. Убита была и вся его семья. После этого убийства начались междоусобицы, претенденты на престол сражались между собой, наконец, самый удачливый их них захватил трон и мир был восстановлен.

6 [июля 1808 г.]

[...] А вот еще один анекдот об императрице Анне. Она, кстати, считалась умной и достойной правительницей. Хорошо известно, что Петр Великий наказывал своих придворных тем, что заставлял их быть шутами, и среди тех, кто подвергся этому унизительному наказанию, было немало умных людей, носивших славные имена[76]. Милостивая же императрица Анна пошла еще дальше и приказала однажды князю Голицыну стать... курицей! Для этого была приготовлена громадная корзина, в нее настелили сена, сверху положили пару дюжин яиц, и несчастный князь был вынужден сидеть на яйцах и кудахтать на потеху всему двору и к удовольствию безжалостной владычицы!..

[11 июля 1808 г.]

[...] Вчера была годовщина воцарения императрицы Екатерины. Это был самый замечательный день в жизни княгини Дашковой. Стоит заговорить о нем, как ее лицо начинает светиться и она принимается вспоминать подробности этого события с удовольствием и восторгом.

Сегодня не было других гостей, кроме одной дамы из Серпухова. Она, между прочим, взяла у меня два батистовых платка, чтобы украсить их крестьянской вышивкой, но предупредила, что готовы они будут не скоро.

Эта дама привезла последние новости о каком-то диком звере, который появился в лесах под Серпуховом и наводит ужас на всю округу. Говорят, что он сожрал уже 18 человек, взрослых и детей. Сперва полагали, что это волк, но теперь склоняются к мысли, что это один из тех зверей, которые бог знает откуда были присланы в дар императору, и что этот зверь сбежал от сопровождающих в то время, когда они проезжали леса под Серпуховом. Кем бы он ни был, просто возмутительно, что до сих пор не послали воинскую команду его изловить, а позволяют ему гулять на свободе. На прошлой неделе, как говорит эта дама, одна местная крестьянка проходила недалеко от деревни со своими тремя детьми: двумя маленькими, а третьим постарше, лет двенадцати, и внезапно увидела это чудовище. В ужасе она подхватила двух меньших детей и бросилась бежать со всех ног. Ей удалось целой и невредимой добраться домой, и только здесь она вспомнила о старшем ребенке. Вместе с мужем они побежали назад, но было уже поздно: они нашли лишь изуродованное тело своего мальчика. Хорошо еще, что с ними была собака, не давшая зверю подойти близко, не то бы и сами они были растерзаны. Вообще же говорят, что этот монстр совершенно бесстрашен. Из страха перед чудовищем госпожа Демидова уехала сегодня от нас очень рано.

13 июля [1808 г.]

Сегодня мы обедали в Безобрядове у госпожи Гахеровой. Вечером пришли с визитом князь Хилков и его невеста, которую

князь представил княгине. Мы сидели очень долго, ели мороженое, пили чай, потом лимонад со льдом (дни стоят очень жаркие) и снова сидели, хотя давно уже пора было ехать домой. Я стала поглядывать на княгиню с удивлением, и наконец она прошептала мне по-английски: «Ах, я в таком затруднении: совершенно не знаю, как отсюда уйти. Нужно как-то закончить разговор и раскланяться, а я не знаю, что сказать». Это при том, что госпожа Гахерова — вылитая миссис Рид и не способна внушить робости даже ребенку, не говоря уже о такой женщине, как княгиня.

Противоречивость характера княгини превосходит всякое воображение. Манеры у нее великосветские, но она совершенно не умеет скрывать своих чувств, каковы бы они ни были: к примеру, гости садятся за стол ужинать, но княгине не нравится, как расставлены на столе блюда, и она немедленно, при гостях, начинает их передвигать. Это лишь один пример, а сколько таких, о которых было бы глупо и даже несправедливо упоминать. При этом у нее прекрасное сердце, ясный ум, неизменная и даже немного смешная любовь к правде, которая заставляет ее говорить во всеуслышание такие вещи, от которых присутствующие таращат глаза, краснеют, бледнеют, кусают губы и разными другими способами выражают свои чувства, но все это воспринимается княгиней *совершенно хладнокровно*. Ее возраст, положение, известность в обществе — все это вместе взятое дает ей полное право быть особенной, тем более что и в отношении ее странностей природа не поскупилась.

Придумав несколько вариантов, как можно уйти, княгиня не нашла ничего лучшего, наконец, как уйти, по ее словам, «незаметно», и, конечно, как только она покинула комнату, за ней вышли и все остальные.

Завтра я собираюсь поехать посмотреть Калугу, наш *губернский город*. [...] Именно в Калуге в годы несовершеннолетия нынешнего короля Швеции жил инкогнито граф Армфельд[77].

Вечер, 17 июля 1808 г.

Сегодня здесь обедала графиня Анна Алексеевна Орлова. Они едут в Киев. Ах, как бы мне хотелось поехать туда вместе с ними! Старая дама — сама доброта, а молодая графиня просто прелесть. Они путешествуют, как переселенцы, целым обозом: 9 карет, и еще кухня, провизия, возы с сеном... Дура старой графини при ней, но, пожалуй, я гораздо больше заслуживаю название дуры. Если бы не моя непростительная глупость и ложная скромность, я могла бы совершить в приятном, новом для меня и веселом обществе восхитительное и незабываемое путешествие в Киев. Но ложная скромность — несчастие моего существования.

24 июля [1808 г.]

Сегодня обедала госпожа Демидова, и мы ей, конечно, рассказали о нашей экскурсии в Калугу, о купцах и проч. По поводу

своеобразных нравов и обычаев этого сословия гостья сказала, что, поскольку ее муж что-то вроде губернатора в Серпухове, им часто приходится бывать в купеческих домах и недавно они были приглашены на первую встречу (смотрины, как они это называют) молодых людей, предназначенных их родителями друг другу в супруги. Смотрины всегда происходят на рассвете, чтобы о них не узнал никто, кроме членов семьи, то есть людей заинтересованных. Если случится, что молодой человек, увидя свою суженую, откажется на ней жениться, то, может, ее уже никто никогда не возьмет замуж. Правда, случается это редко, так как отцы в купеческих семьях очень деспотичны. Что касается девушек, то их мнением вовсе не интересуются, так как в семье они живут на положении затворниц. Им не с кем сравнивать жениха, не из кого выбирать, кроме того, замужество освобождает их из опостылевшего домашнего заточения, поэтому они обычно соглашаются на всякого, кого им предложат родители. Первые смотрины определяют судьбу девушки, а несколько дней спустя устраивают вторые смотрины, в присутствии всех родных с обеих сторон. К этому времени родители невесты показывают родным жениха опись одежды, белья, жемчугов, бриллиантов, посуды и прочего, что они собираются дать в приданое за дочерью, и выслушивают претензии к качеству и количеству вещей и требования добавить то, что более необходимо. На вторых смотринах, подготовка к которым ведется уже в открытую, молодой человек должен в присутствии родственников попросить сваху, это важнейшее лицо на купеческих свадьбах, произнести громким шепотом имя его суженой и после этого впервые берет невесту за руку, и они считаются сговоренными.

Что касается религии, то у купечества отношение к ней примерно такое же, как у дворянства.

6 [августа 1808 г.]

Однообразие моих утренних занятий (подъем в половине седьмого, затем письма или перевод с французского на итальянский, на что уходит примерно час, умывание, завтрак, пение, потом полчаса — чтение по-итальянски, минут двадцать — игра на гитаре, а все остальное время до обеда — игра на горизонтальной арфе) нарушилось чудесной погодой, и я не могла удержаться, чтобы не провести все утро, читая по-итальянски «*Замок в Отранто*»[78], в китайской беседке среди розовых кустов.

Вечер я провела, показывая достопримечательности Троицкого графу Владимиру Орлову, который неожиданно приехал, когда все, кроме меня, ушли гулять, и мне пришлось, исполняя долг вежливости, показать ему здешние места. Мы не нашли княгини среди каменщиков и не встретили никого из гуляющих, так что я оставалась *tête-à-tête* с графом Орловым почти три часа. Всегда считала, что *tête-à-tête* гораздо менее скучное занятие, чем пребывание в *избранном* обществе из трех или четырех человек, и общество графа это мнение не изменило. Вечер прошел превосходно. Между прочим,

граф — англоман, как и все остальные Орловы. Как только появилась княгиня, я передала ей свои обязанности и ушла к себе, чтобы дописать начатое утром.

16 [августа 1808 г.]

В воскресенье госпожа Гахерова пила у меня вечером чай и сказала, между прочим, что 15-го августа мадемуазель Нарышкина именинница и у госпожи Нарышкиной должен быть бал. Они никого не приглашали, но если кто-нибудь из нас поедет, то это будет расцениваться как чрезвычайная любезность. Я рассказала об этом княгине, и решение было принято. Вчера после обеда, в 4 часа, мы с Анной Петровной, разодетые в *пух и прах*, сели в дормез, запряженный шестеркой лошадей (четыре в ряд и две впереди), и отправились к госпоже Гахеровой. Тут мы задержались минут на пять, она взяла с собой двоих детей и присоединилась к нам в своем экипаже.

Мы приехали в усадьбу Нарышкиных Лопатино. Гостей собралось множество, в основном окрестные помещики, большинство из из которых я никогда не встречала прежде, но были и гости, специально приехавшие из Москвы. Мадемуазель Нарышкина нам очень обрадовалась, а так как она питает ко мне сердечную привязанность, которую я от души разделяю, она посадила меня подле себя, и я стала расспрашивать ее о тех сплошь мне незнакомых людях, которые составляли пеструю группу перед нашими глазами. Среди гостей была и ее сестра, которая лет двенадцать тому назад была замечательно красива, кокетлива и весьма легкомысленна. Счастливый случай свел ее с немолодым, некрасивым и ничем не примечательным князем Щербатовым. Она вышла за него замуж, и ее словно подменили. Спокойствие и рассудительность князя в короткий срок превратили ее в примернейшую из жен. С ними был один из их детей — чудесный малыш лет четырех, одетый в гусарскую курточку. Это милое дитя, сопровождаемое служанкой, тоже было частью общества.

Затем мне показали тарусских красавиц и красавцев, а напоследок — семидесятилетнюю даму, чья судьба могла бы послужить сюжетом для интереснейшего романа, который пользовался бы громадным успехом и в Англии, и во Франции, и, особенно, в Германии, где любят всякие ужасные истории[79]. Правда, я поняла в ее судьбе лишь главное, и то не до конца.

Эта дама — госпожа Бахметьева, бабушка со стороны отца двух маленьких сирот, внуков госпожи Нарышкиной. Во время знаменитого восстания Пугачева в царствование Екатерины II она была независимой вдовой, с состоянием, полной хозяйкой множества крепостных. Злая судьба привела в те края, где находилось ее имение, самозванца с его сбродом. Госпожа Бахметьева с ее знатностью и богатством была в глазах этой шайки, присоединившейся к претенденту на престол[80], отъявленной преступницей. Трижды ей накидывали петлю на шею и готовили все, чтобы ее повесить. Один

из генералов Пугачева, простой казак (знаком его чина, как и у остальных генералов Пугачева, был взятый из награбленных вещей дамский веер с сорванной бумагой или шелком и приколотый к шапке), без памяти влюбился в служанку госпожи Бахметьевой, и это обстоятельство спасло ей жизнь. Каждый раз, как над ее госпожой нависала опасность, эта преданная девушка употребляла все свое влияние на казака, чтобы спасти ее, а одного его слова было достаточно, чтобы укротить его буйных подручных. И госпожа, и служанка были отвезены как пленницы в лагерь восставших, но и здесь служанка не оставляла своей госпожи. Власть этой молодой женщины над ее любовником была безгранична, и она пользовалась ею, чтобы избавлять госпожу ото всех тех оскорблений и опасностей, которым та постоянно подвергалась. [...] Во все время своего плена она должна была называть Пугачева «ваше императорское величество» и говорить о нем «его императорское величество государь Петр». Тем временем из ее дома вытащили мебель, посуду, все, что армия сочла достойным внимания, затем его дотла сожгли, ее крепостных заставили признать Пугачева законным императором, и она стала совершенно нищей.

Когда восставшие только еще приближались к дому Бахметьевой, она переоделась в крестьянское платье и покинула дом с немногими сопровождающими, надеясь спастись бегством. Она выдавала себя за жену своего кучера. В соседней деревне их схватили, и в один день означились все события: грозящая ей опасность, любовь казака к служанке и чудесное спасение от смерти. На следующее утро их отвезли в лагерь восставших, и там они находились недели две, наблюдая все происходившие там ужасы и мерзости, подобные которым, как мне сказали, трудно себе представить. Наконец, после двух недель жизни в постоянном страхе быть повешенной или насмерть запоротой, Марфа, так звали служанку, сумела добиться для своей госпожи и ее мнимого мужа-кучера разрешения на выход из лагеря в соседнюю деревню к якобы имеющимся там родственникам. Когда казак попросил Пугачева простить ее, тот ответил: «Сатана ее прощает», а когда ее привели, чтобы она поблагодарила «его величество» за милость, он сказал ей: «Бог и государь прощают тебя». Она набралась смелости и попросила у него пропуск, без которого ее, несомненно, повесил бы первый же попавшийся отряд мятежников. Пугачев приказал одному из своих генералов выдать ей пропуск, а тот был неграмотным и на клочке грязной бумаги нацарапал несколько крестов и другие знаки и отдал это ей. Тою же ночью Марфа, госпожа Бахметьева и кучер, все трое босые и в рваной крестьянской одежде, показали эту бумажку караульным и исчезли.

Марфа пообещала своему казаку вернуться, но, конечно, не собиралась этого делать, и поэтому им приходилось днем прятаться в лесах, а ночью идти, кормясь милостыней. Лишь через несколько дней они осмелились появиться на дороге в дневное время. Так они прошли триста верст, постоянно подвергаясь опасностям и оскорблениям и спасаясь лишь предъявлением пропуска Пугачева. Стоило

этому сброду его увидеть, как они возвращали его со словами: «Сатана сопутствует вам». [...]

Натура ее не выдержала всех перенесенных испытаний, и, добравшись, наконец, до Москвы и почувствовав себя в безопасности, госпожа Бахметьева тяжело заболела и на целый год лишилась рассудка. Верная Марфа не оставляла ее, и первое, что сделала госпожа Бахметьева, когда разум вернулся к ней, это дала Марфе вольную, назвала ее своим другом и ровней, и с этого момента до самой своей смерти в прошлом году Марфа жила с госпожой Бахметьевой как подруга, обедала с ней за одним столом, была принимаема всеми ее друзьями и пользовалась всеобщим уважением.

Приключения госпожи Бахметьевой сделались известны императрице Екатерине, и та, конечно, постаралась, по возможности, вознаградить ее, а когда восстание прекратилось — вернула ей ее владения, земли, дома и состояние.

Пережитое тогда потрясение как бы проложило дорогу иным страданиям, и вся жизнь госпожи Бахметьевой оказалась как бы сплетением несчастий. Она обожала своего мужа, но потеряла его через 4 года после свадьбы. Когда он умер, она как раз ожидала рождения своего четвертого сына. Здесь принято через 40 дней после смерти человека приходить к нему на могилу, чтобы сказать ему последнее прости, так как на сороковой день душа, покинувшая тело, прекращает свои блуждания и находит, наконец, место своего последнего успокоения. Так вот, о госпоже Бахметьевой рассказывали, что она так мучилась потерей мужа, что, придя на 40-й день на его могилу, бросилась на могильную плиту с такой силой, что некоторое время все думали, будто она умерла. Она осталась жива, но родила преждевременно, и счастье еще, что ни она сама, ни ребенок не пострадали.

Во время пугачевского бунта сыновья госпожи Бахметьевой либо учились в военных училищах, либо уже служили. Вскоре после того, как ей были возвращены ее владения, два старших ее сына сошли с ума и пребывают в этом печальном состоянии по сей день. Младшие, очень славные молодые люди, поступили в военную службу. Один из них был близко знаком с князем Дашковым и служил с ним прежде в одном полку. У князя была великолепная собака — предмет постоянной зависти господина Бахметьева. Он много раз просил князя продать ему этого пса, но тот полушутя-полусерьезно все время отказывал. Как-то раз князь написал Бахметьеву письмо с приглашением приехать на несколько дней погостить и обещал, в случае если тот согласится, подарить ему эту собаку. Бахметьев приехал, прожил несколько дней, получил собаку в подарок и стал собираться домой. В России часто ездят ночью и спят прямо в специально устроенной карете. Господин Бахметьев тоже решил так поступить. Устраиваясь на ночлег, он, по обыкновению, положил рядом заряженные пистолеты. Собака мешала ему, он оттолкнул ее, она наступила на пистолет, и тот выстрелил, убив молодого человека наповал.

В тот же самый день, как эта новость стала известна бедной матери, было получено известие о том, что самый младший из ее сыновей взят в плен шведами, с которыми тогда воевала Россия. Не знаю, какое впечатление это произвело на мать, но она пережила все это и год спустя могла с радостью видеть свадьбу своего младшего сына с мадемуазель Нарышкиной. Три года молодые жили в счастье и согласии, затем сын заболел и через несколько месяцев умер, оставив жену с двумя детьми на попечении матери. Через два года умерла и невестка, и бедная старая женщина, чувствуя, что не имеет сил дать внукам должное воспитание, передала их на попечение бабушки со стороны матери. Между прочим, судьба этой последней — прямая противоположность судьбе госпожи Бахметьевой. Госпожа Нарышкина преуспевала во всем. Правда, и ее жизнь — пример добродетели и нравственности. Госпожа Бахметьева замечательна неизменной стойкостью своего характера, покорностью божьей воле и полным отрешением в последние годы от всего мирского. Она думает только о вечном и готовит себя к переходу в иной, лучший мир. К Нарышкиным она приехала проведать внуков и выбрала для этого день именин мадемуазель Нарышкиной, но поскольку сейчас *пост*, то она не хотела осквернить его, глядя на празднества и танцы, и поэтому ушла к себе в комнаты, как только начали танцевать.

Поклонник мадемуазель Нарышкиной, господин Юшков, тоже был на балу и, как обычно, блистал и был в центре общего внимания. Меня уверяли, что я тоже блистала на балу, и хотя очень может быть, что комплимент относился к застежке моего ожерелья, историю которой я расскажу ниже, он вдохновил меня на танцы до упаду, и бал получился для меня необыкновенно живым и веселым. В половине второго танцы закончились, и господин Юшков подвел нас к окнам смотреть на приготовленный им великолепный фейерверк. Потом ужинали, а после ужина господин Юшков стал показывать *фокусы*, и они продолжались, вероятно, еще и после того, как в третьем часу мы уехали домой.

Не могу не упомянуть и об обстоятельстве, доставившем мне огромное удовольствие. Госпожа Нарышкина попросила разрешения представить мне своего брата, который бывал в Англии и знает моих родственников в Бате, а в России знал миссис Гамильтон. Я, конечно, была очень рада с ним познакомиться. Это человек лет шестидесяти, с очень важными манерами. Он прекрасно говорил о миссис Гамильтон, которую хорошо помнит, и я убедилась, что он вполне оценил и благородство ее манер, и достоинства характера. Госпожа Нарышкина вспомнила, что она тоже знавала миссис Гамильтон, когда та жила в России, а ее дочь, госпожа Щербатова, которая тогда, вероятно, была ребенком, сказала мне, что самое большое впечатление на нее произвела прелестная служанка миссис Гамильтон — Мери, красоту которой она с удовольствием вспоминает до сих пор.

Устала от описания больше, чем от самого бала, но не смогу успокоиться, пока не расскажу напоследок о том ожерелье, которое

было на мне. У шведской королевы Кристины[81] когда-то было кольцо с опалом, оправленным в небольшие темно-вишневого цвета рубины. Она подарила это кольцо одному из своих придворных, а тот передал его своему сыну. Граф Панин, русский посланник в Стокгольме, был любителем редкостей. Он увидел кольцо и, найдя камень очень красивым, выменял его на солитер такой же величины. Когда граф вернулся в Россию, кольцом восхитилась его племянница, княгиня Дашкова, и граф подарил его ей. Год назад княгиня приказала вставить опал в виде застежки в бриллиантовое ожерелье и подарила это ожерелье мне[82].

Мы вернулись в Троицкое около пяти часов утра, но, проснувшись в десять часов, я почувствовала себя вполне отдохнувшей.

18 [августа 1808 г.]

Все еще надутая, как павлин, гордостью от своих недавних светских успехов, я пошла этим утром купаться, а тем временем моя маленькая канарейка воспользовалась тем, что в комнате никого нет, пробралась сквозь жалюзи на окне и улетела. Мы все бросились на поиски птички, но тщетно. Отчаянию моему не было границ. А вечером — подумать только! — она сама прилетела на лужайку и дала себя поймать первому же слуге, который ее заметил. Гаврила принес ко мне бедную птичку совершенно измученную, почти умирающую, но несколько капель белого вина, которые я капнула ей в клювик, оживили ее.

21 [августа 1808 г.]

[...] Вчера у нас обедали госпожа Нарышкина, мадемуазель Нарышкина, мадемуазель Бахметьева и господин Юшков. Я вновь исполняла роль проводника и показывала достопримечательности Троицкого в то время, когда общество разделилось надвое и часть его во главе с княгиней занялась игрой в карты. Я водила *свое войско* по дорожкам и в конце концов нашла, что показ достопримечательностей — очень интересное занятие. Люди видят одни и те же вещи настолько по-разному, что можно составить себе представление о человеке, если знать, на что он особенно обращает внимание. Так, из двух мужчин и 14-летнего мальчика, которым я показывала Троицкое, старший, шестидесятилетний, нисколько не интересовался пейзажами, его не взволновали ни речка, ни чудесные березы, зато он расспрашивал меня о садовых посадках и о доходе, который имеет княгиня с мельницы! Второй мужчина, около 30 лет, хотел знать, сколько у княгини деревень. Что же касается мальчика, то он любовался всем, что этого заслуживало, но не упускал из виду и практической стороны. Везде у него возникали планы усовершенствований, а в завершение он сказал мне с подкупающей прямотой и искренностью: «Мне бы хотелось побыть здесь подольше, чтобы полюбоваться этим чудесным местом в разное время дня и в разном настроении, потому что, знаете, мисс Вильмот, все

меняется, если радуешься или печалишься, грустишь или наслаждаешься жизнью». Его слова звучали немного заученно, но, я уверена, были совершенно искренни: Петруша Бутурлин говорит всегда только то, что думает. Этого мальчика вообще прекрасно воспитывают, и, кстати, по-английски он говорит, как англичанин. Когда он был еще совсем маленьким, ему как-то довелось побеседовать на этом языке с императором и тот в шутку спросил у Петруши: «Хорошо ли я говорю по-английски?» — «Очень хорошо,— был ответ,— жаль только, что ваше величество учил языку шотландец».

Император был совершенно очарован.

23 [августа 1808 г.]

Вчера получила восхитительный подарок от госпожи Писаревой, сестры Анны Петровны: полный наряд замужней крестьянки; немедленно надела его и отправилась с хлебом-солью показаться княгине. После этого я пересекла двор, собираясь подняться в апартаменты к Анне Петровне. Около лестницы стоял кувшин какой-то бедной женщины, а так как в мои намерения входило попросить «немного лекарства для моего муженька, который лежит в лихорадке», я взяла этот плохонький кувшин и пошла вверх по лестнице. Осип Иванович, наблюдавший за этой сценой из окна противоположного здания, решил, что я — нахалка, задумавшая стянуть что-нибудь, и, заикаясь, закричал во весь двор: «Воровка, воровка, брось кувшин, а то я!..». Забыв о своей крестьянской одежде, я обернулась посмотреть, почему кричат, и бедняга чуть не провалился сквозь землю со стыда, когда увидел мое лицо. В виде вознаграждения пришлось добиться, *наконец*, для него разрешения жениться на его избраннице, дочери Киттиной прачки.

В письмах, полученных сегодня вечером из Петербурга, говорится, что во время последнего петергофского праздника сгорел обставленный в голландском стиле маленький домик Петра I. Какая жалость, такая интересная постройка!..

26 [августа 1808 г.]

Вчера утром сюда приехал капитан Гамильтон и прогостил целые сутки. Капитан — ирландец по происхождению. Он командовал 110-пушечным русским кораблем, но по причине войны, как и другие английские офицеры, отстранен от службы и живет теперь в Москве. Этот человек объездил полсвета, все на свете читал, обо всем трещит без умолку, проказлив, как школьник, но, в сущности, честный, добрый, хороший человек, горячий и преданный, как все известные мне ирландцы. При этом ни множество языков, на которых он говорит, ни то, что он повидал за время путешествий, ни разнообразие людей, с которыми ему приходилось встречаться,— ничто не повлияло на его ирландские манеры, и они остались точно такими же, как в тот день, когда он десятилетним мальчиком уехал из Северной Ирландии. Он приехал около 12-ти часов, я при-

готовила ему чай в своей комнате, и только к обеду он закончил, наконец, свой завтрак и рассказы о странствиях.

После обеда был долгий разговор с княгиней, потом мы никак не могли выйти погулять из-за сильного дождя, а когда, наконец, отправились на прогулку, начался такой ливень, что пришлось спрятаться в беседке и провести там по крайней мере час. Вернувшись домой, мы пили чай, музицировали, играли в карты. Капитан Гамильтон был в восторге. Патетическая музыка вызывала у него замешательство, зато поэзия воодушевляла, а о красотах русского языка он говорит с таким же жаром, как сама княгиня Дашкова. Играя в бостон, он вел себя точь-в-точь как школьник, но это ему идет. Княгине капитан очень понравился, а Анна Петровна от него совершенно без ума. [...]

[28 августа 1808 г.]

[...] Я читаю небольшое эссе, написанное по-итальянски доктором Борса о современном состоянии литературы в Италии[83]. Он порицает итальянцев за то предпочтение, которое они отдают иностранной литературе, и сокрушается по поводу *засилья* иноязычных слов и выражений в итальянском языке. По его мнению, это предвещает дальнейший упадок нации. Он так убедителен, что отныне я еще ревностнее стану относиться к чистоте и сохранности английского языка, который расцениваю как оплот национальной независимости.

Кстати, вспоминается анекдот, рассказанный княгиней Дашковой. Как-то раз во Франции, за обедом, маркиз де Галиани[84], писатель и очень приятный человек, что-то с жаром рассказывал. Говорил он, естественно, по-французски, но часто вставлял в свою речь итальянские слова, и каждый раз одна из присутствовавших дам вежливо перебивала его: «Monsieur veut dire (месье хочет сказать) то-то и то-то?» Выведенный, наконец, из терпения ее заботливым вниманием, маркиз раздраженно повернулся к ней и воскликнул: «Мадам, будьте любезны, позвольте мне говорить так, как я хочу! Ваш язык слишком беден, я только подаю ему милостыню! Боже мой! И этот-то *нищий* французский язык везде принят и на нем говорит пол-Европы!»

31 [августа 1808 г.]

Сегодня вечером я почувствовала недомогание и, как обычно, легла в постель и постаралась заснуть, чтобы во сне все прошло. Пока я спала, к Арине пришел ее сын, пятилетний мальчик, который меня очень любит. Его попросили не шуметь, так как Мавра Романовна больна. Услышав об этом, он расплакался и стал говорить, что Мавра Романовна, его добрая госпожа, умирает. Когда я проснулась, Мартышка рассказала мне об этом. Я позвала к себе малыша и спросила, что бы он стал делать, если бы я и впрямь умерла. «Молился бы за вас богу», — ответил он серьезно.

Этот небольшой эпизод все во мне перевернул. *Будничность* этих слов ребенка, предположения, что я могу умереть, заставили меня всерьез призадуматься. Да, я говорила о смерти, и не раз, дважды составляла завещание, у меня и сейчас в столе лежит толстый конверт с моими распоряжениями, на котором написано: «Когда я умру», но все же уверяю, что я *никогда* не представляла себе свою смерть как что-то реальное. Просто не было времени об этом задуматься: днем ни минуты свободной, вечером стоит мне только коснуться головой подушки, как я тотчас же засыпаю, а утром, когда меня будит Арина, едва успеваю переделать все свои дела. Думаю, что не боюсь смерти, но то, что у меня еще есть надежды сделаться счастливой в этом грешном мире, убеждает, что душа моя еще не готова к переходу в вечность.

Кстати, вспомнила одну книгу, которую мне недавно давал церковный регент. Она объяснила мне все то, что я раньше слышала о понимании чистилища греческой церковью. В книге было множество гравюр, изображающих то, что делает душа в те 40 дней, когда, покинув тело, она еще не нашла места своего вечного успокоения.

Там показано, как два ангела извлекают душу в виде маленького человечка изо рта умирающего и летят с нею надо всеми теми местами, где он бывал при жизни, и показывают ему все его поступки. Они летят над местом рождения, и душа видит, как вел себя хороший или дурной ребенок. Она видит сцены разврата, в которых участвовал человек, и совершенные им добрые дела, навещает его друзей и врагов, наконец, снова видит сцену его смерти. Словом, *ни одна вдова не может быть уверена в своем одиночестве* до тех пор, пока не исполнит церемонию сороковин, уже описанную мною, и тем не успокоит скитающуюся душу своего умершего мужа.

Все это, честно говоря, меня озадачило, и я обратилась с расспросами к княгине. Она сказала, что мнения расходятся: кто-то верит в это, кто-то нет. Если получится, я непременно куплю себе такую книгу: тот экземпляр, который я видела, принадлежал церкви. Несомненно, что все крестьяне здесь верят в это блуждание души. Как подумаешь, чего только не создают людское суеверие и старания церковников из прекрасной простоты христианской морали! Кстати уж, не могу не процитировать по памяти одного французского автора: «Наилучшая доктрина христианства — та, которая, занимая нас мечтами о будущей жизни, не мешает наслаждаться в здешней».

2 сентября нов. ст. 1808 г.

«Спекуляция на религии» — вот выражение, которое, как я полагаю, применимо к греческому православию, римскому католицизму и иудаизму. Мы, протестанты, не делаем из веры *объекта выгоды*, для нас религия — *чувство*, что во всех отношениях достойнее Творца.

Александра Кочетова недавно рассказала мне, как решилась ее судьба. Возникла возможность ее замужества с неким господином***.

Это была очень хорошая партия, и отец ее давно мечтал об этом браке. Александра взяла два кусочка бумаги и написала на одном из них «Да», а на другом — «Нет». Потом дала кому-то перемешать эти бумажки и положить их за образ, данный ей ее матерью, *пообещав принять* любой совет, который ей даст святой. Она помолилась, немного помедлила, перекрестилась, закрыла глаза и вытащила бумажку. На ней стояло «Нет», это был ответ на вопрос, выходить ли ей замуж за ***, и уже никакая сила в мире не могла теперь заставить ее стать женой этого человека. Княжна Александра Голицына ходила пешком к святым местам, чтобы узнать, посоветуют ли ей святые выходить за генерала Лаптева. В этом случае ответ был положительным, и она стала его женой. Хорошо еще, что в обоих случаях желания совпадали с решениями святых, но ведь могло быть и наоборот. И сколько таких случаев в жизни, когда решение зависит от сущего пустяка, вроде каприза своенравного святого. Прошлой зимой, например, когда встал вопрос, ехать ли мне в Англию или оставаться в России, только страх выглядеть неблагодарной заставил меня принять роковое решение, за которое я не перестаю себя винить.

Временами я так мучаюсь из-за этого, что сердце готово разорваться от боли. Я виню себя за то, что позволила чувству благодарности одержать верх надо всем, что связывает меня с родной землей, и за то, что позволила всем этим странным обстоятельствам поймать себя в ловушку. Если бы я лишилась кого-нибудь из семьи или близких, прежде чем нам суждено увидеться, я никогда бы себе этого не простила. Кто знает, сколько еще продлится война? Кто знает, к чему приведет этот мой необдуманный шаг? *Все восхищаются* моей жертвой ради счастья княгини, а я, хоть и люблю ее сердечно, не могу считать похвальным то, что мне самой кажется *безумием*. Как иначе назовешь поступок человека, добровольно рискующего в то время, когда он мог с честью риска избежать? Помнится, в тот момент опасность меня не тревожила, а была лишь побудительной причиной. Я знала, что княгиня несчастна и подавленна, меня угнетала мысль, что я сама менее несчастна, чем она, потому что она много раз говорила, что живет только мною, и я подумала, что могу быть счастливой ее счастьем и принесу ей только горе, если уеду. Ложное, неверное соображение, настоящее безумие! Клянусь, что, если провидение даст мне возможность вернуться домой, я немедленно ею воспользуюсь, если только обстоятельства сильно не изменятся, иначе вместо прежних *похвал* я заслужу одни *порицания*. Многое еще можно было бы написать в подтверждение того, что сейчас говорю, но благоразумие, мой извечный враг, не позволяет мне этого. Время все смягчает и сглаживает... нет, не могу больше говорить! Я так боюсь себя после всего, что случилось, что хочу изложить на бумаге то, что необходимо будет сделать, если появится шанс что-то изменить. Это будет какое-то подобие ответа святого Александре Кочетовой, ответа, которому обязательно нужно следовать [...]

6 [сентября 1808 г.]

[...] Сегодня вечером получила письмо из Москвы. Хорошие новости об Испании и Португалии[85]. Княгине написали, что война между Англией и Россией, возможно, скоро кончится. Право, раньше я была о себе более высокого мнения, а оказывается, что я похожа на самый обыкновенный барабан, на котором хорошие новости выбивают веселую *побудку*, а дурные — унылый похоронный марш. И при этом меня еще называют философом! Интересно, мои братья-философы тоже похожи на барабаны?

8 [сентября 1808 г.]

Княгиня весь день занималась *разбором своих бумаг* и между прочим нашла несколько интереснейших писем от леди Арабеллы Денни[86], в которых эта милая старая дама очень высоко отзывается о княгине.

В русской газете, в разделе «Исключены со службы», где пишут, что такой-то исключен по такой-то причине, такой-то — по причине смерти, сообщено о смерти генерала Беклешова[87]. Он был генерал-губернатором и весьма уважаемым человеком.

Кстати, не помню, упоминала ли я о смерти *милой* старой графини Тутолминой, жены нынешнего московского генерал-губернатора. Это случилось месяцев шесть тому назад.

12 сентября нов. ст., 1 сентября ст. ст. [1808 г.]

[...] Только что приехала баронесса д'Огье со своими девочками. Она рассказала, что барон Стединг едва попал в Стокгольм, как был тотчас же восстановлен королем в прежней должности. По ее словам, госпожа Хаддингтон, сестра миссис Поллен, миссис Крайтон и некоторые другие англичане, уехавшие из Петербурга месяц спустя, добрались до Стокгольма.

Относительно приближающейся зимы все решено, но весной... О боже, что за сцены мне предстоят!

Госпожа д'Огье привезла целый ворох новостей и сплетен. Храбрые испанцы творят чудеса [...]

20 [сентября 1808 г.]

[...] Сегодня я закончила переводить старинную русскую песню[88], которую княгиня Дашкова когда-то певала своему мужу. Это любимая песня княгини, она часто цитирует ее и считает совершенством. Я слышала, как она повторяла ее слова разным людям, и каждый раз ее глаза наполнялись слезами. В последний раз ее слушателем был капитан Гамильтон, пришедший в неописуемый восторг. Он был так взбудоражен, так ерошил себе волосы, так божился, поминая свой корабль и команду (я не говорю, понятно, о *настоящей божбе*), что на меня, которая почти ничего не поняла, все это произвело прямо-таки трагикомическое впечатление. [...]

Утро, 21 [сентября 1808 г.]

Вчера вечером допоздна гуляли в саду с Анной Петровной и беседовали о тех бесчисленных опасностях, которым мы все подвержены, а особенно я. Никогда не смогу простить себе, что позволила минувшей зимой воображению одержать верх над рассудком и не вернулась в Англию, хотя для этого были тогда все условия. Вместе с Анной Петровной мы долго блуждали по темным лабиринтам будущего и сошлись, наконец, на том, что не стоит терять надежды. Небеса еще могут открыть нам неожиданный выход из нашего запутанного положения.

Как только мы вернулись в дом, мне вручили письмо от мистера Хоза, и в нем он извещал меня, что мистер и миссис Коттон (она — сестра доктора Холлидея) в скором времени отправляются в Англию. Я была потрясена. Вот он, божий глас! Вот он, путь избавления от неизвестной еще мне опасности! Я тотчас ответила мистеру Хозу, и если теперь не случится чего-нибудь непредвиденного, то наверняка присоединюсь к чете Коттон и смогу возблагодарить Всемогущего за то, что он дал мне возможность исправить, наконец, совершенную ошибку.

Если удастся этот план, я перестану сожалеть о том, что вернулась к княгине. Здоровье ее теперь поправилось, сознание того, что я скоро увижу любимого батюшку и всю мою семью, позволит мне чистосердечно и без горького чувства выразить всю любовь, благодарность и привязанность к дорогой княгине. Боюсь только, что она станет противиться моему решению. Нужно запастись мужеством, а *для себя самой я все решила.*

Какое блаженство сознавать, что через два месяца я, может быть, буду уже в Швеции и смогу дать знать своим любимым, что я близко, что им не нужно больше ждать, что мы скоро встретимся. Великий боже, неужели это возможно?! И как это люди куда-то уезжают? Совершенно не понимаю!

Утро, 23 сентября нов. ст. [1808 г.]

Днем мы уезжаем в Москву, а еще через несколько дней судьба моя решится. Я так возбуждена с тех пор, как получила письмо мистера Хоза, что только и думаю о том, как бы получше сказать княгине о своем решении, когда все устроится. Пока это тайна для всех, кроме Анны Петровны.

Кажется, вчера рассеялись чары, висевшие над «Записками» княгини. Она передала список...[89]

Погода снова изменилась: тепло, как летом. Русский климат не только легко переносим, но даже очень приятен. Воздух чист, а когда холодно, все надевают меха. Словом, никогда не буду ворчать по поводу климата в России. Хочу сейчас выйти и попрощаться с окрестностями. Еще рано, чуть больше шести, и весь дом спит. Природа сейчас во всем своем блеске, и, если бы не надежда вернуться домой, мне было бы очень жаль покинуть Троицкое, его

речку, его свежий воздух, его покой и свой досуг, которым можно было бы еще пользоваться до следующего месяца. Лето в целом прошло недурно, а главное — *я почти не тратила даром времени.*

Итак, прощай, Троицкое! Очень люблю тебя в хорошую погоду и ненавижу тебя, когда ночи длинны, а дни мрачны и кажутся еще мрачнее по причинам, которые я не хочу поверять этому дневнику.

Москва, 25 сентября [1808 г.]

[...] Написала мистеру Хозу и теперь жду решения своей судьбы с чувством, не поддающимся описанию [...]

Вчера в экипаже читала со скуки книгу, которую со свойственным ему энтузиазмом рекомендовал мне капитан Гамильтон. Это сочинение Э.-Ф. Лантье[90] «*Les Voyages en Suisse*»*. Чего здесь только нет: история, сказки, геройство, сентименты, смерти, свадьбы, рассуждения, ужасы, анекдоты — настоящая каша. Иногда это развлекает, иногда утомляет своей неестественностью, но в путешествии это как раз самое подходящее чтение.

Среди имен знаменитостей, о которых я вчера читала, там упомянут Вольтер, а о Дидро рассказывается такая история: Дидро снимал комнаты на четвертом этаже, а библиотека его размещалась на пятом, так что ему с его астмой приходилось то и дело ходить по лестницам. Об этом узнала императрица Екатерина и сняла для него апартаменты на первом этаже. Дидро был очень тронут, но прожил в них всего 12 дней.

Я спросила у княгини, правда ли это. Она отвечала, что никогда не слышала ни о чем подобном, и вообще это не похоже на императрицу, но зато ей известна другая история. Екатерина, зная, что Дидро небогат, купила себе его библиотеку за ту сумму, какую он сам назвал, а его назначила пожизненно своим библиотекарем на жалованье. Год или два спустя она приказала *прекратить выплату* этого жалованья на некоторое время, а через несколько месяцев написала ему в письме, что потрясена этой *небрежностью* и поэтому высылает ему жалованье за 50 лет вперед, чтобы исключить в дальнейшем возможность такой случайности. Дидро отдал это состояние обожаемой им дочери. Что и говорить, жест, более достойный императрицы, чем то, что описано у Лантье.

Другой придворный анекдот, который рассказала вчера княгиня, таков: когда граф Панин (генерал) был еще мальчиком, он очень любил строить разные гримасы. Тогда правила императрица Анна. Как-то раз Панин стоял на часах в галерее и, по обыкновению, *строил* для собственного удовольствия *рожи*. Мимо как раз проходила императрица и, конечно, решила, что это гримасы в ее адрес. Гнев ее был ужасен. Она уже готова была приказать бить дерзкого кнутом и сослать его в Сибирь, но рядом случился князь Куракин, кузен Панина и фаворит императрицы. Он объяснил Анне, в чем дело, и тем спас юного Панина от верной гибели.

---

* «Путешествие по Швейцарии» (*фр.*).— *Пер.*

День сегодня теплый, как летом, и я пишу, сидя в своем любимом уголке сада. Мистер Хоз прислал мне записку, что сообщит решение моей судьбы завтра в 11 часов. Этот маленький господин чересчур методичен, он не хочет успокоить моих возбужденных нервов ни на секунду прежде, чем придет почта. Честно говоря, в глубине души я этому даже рада, так как боюсь себе представить, что последует за положительным ответом. Правда, и отрицательного ответа я не переживу. Китти как-то сказала, что лучше волнение, чем застой. Может быть. Но я страстно жажду покоя, так как бесконечно устала от своих пятилетних скитаний по свету.

И все-таки я рада буду повидать Швецию. Мне говорили, что шведы храбры, *нравственны*, благородны и *добродетельны*, и я уверена, что они мне понравятся [...]

[28 сентября 1808 г.]

Все улажено, и через три дня я уезжаю. Великий боже, как я волнуюсь и как опечалена разлукой с моей милой княгиней! Нет, это чувство невозможно выразить словами! Но все по порядку.

Во вторник в 11 часов ко мне пришел мистер Хоз, но относительно четы Коттонов ничего определенного не сказал. Вечером я сама к ним отправилась, и оказалось, что у них заболела нянька, что сама миссис Коттон нездорова и, словом, раньше весны они трогаться в путь не намерены. Обо всем этом я написала мистеру Хозу и умоляла его зайти ко мне. Вчера вечером он исполнил мою просьбу и сообщил, что существует еще одна возможность уехать и было бы непростительно ее упускать: супруги Браун уже получили паспорта и покидают Москву немедленно. Если удастся добраться до Петербурга, то, несомненно, я смогу поехать с ними и дальше. Я тотчас написала обо всем дорогой княгине, и, к счастью, она восприняла эту новость лучше, чем можно было ожидать. Она сказала, что давно уже подозревала о моем намерении. От мистера Хоза ей было известно о кораблях в Петербурге, а также и о том, что после того, как англичане взяли один русский фрегат и взорвали другой, адмирал Худ[91] послал адмиралу Ханыкову английские газеты и что-то еще (я забыла, что именно), а тот ему — в свою очередь — овощи и свежее мясо. Эти проявления дружественных чувств улучшили мое настроение, княгиня стала что-то подозревать, и в результате удар оказался несколько смягченным. Словом, мне не пришлось преодолевать ее сопротивления, которое было бы, правда, менее мучительно, чем ее слезы. Жребий брошен. Пусть Всемогущий пошлет мне удачу и хоть несколько счастливых дней за все перенесенные мной и прежде и теперь страдания. Я не могу выразить всех тех чувств, которые питаю к княгине. Анна Петровна, которая, кстати сказать, видит и чувствует, что мой отъезд необходим, заливается слезами, а моя милая Дарья Николаевна вне себя от горя.

Чтобы не разочаровывать княгиню, подыскавшую мне спутников, я отправилась смотреть пьесу в новом театре, поставленную недавно приехавшими французскими актерами. К тому же нам с княгиней

мучительно тяжело сейчас встречаться друг с другом. Театр очень мил, ложи в английском стиле, то есть открыты, а не отделены друг от друга перегородками, как это здесь принято. Мадам Филис — отличная актриса и хорошо поет, правда, у Сандуновой голос гораздо приятнее[92]. Остальные актеры ничем не замечательны. Мы попали домой лишь после 12 часов, и я тотчас ушла в свою комнату из-за непереносимой головной боли. Полночи я крепко проспала, но голова еще и теперь продолжает болеть. Сейчас раннее утро.

Мое дурное настроение усугубляется еще и тем, что моя славная собачка, такая забавная, игривая, уже начавшая меня узнавать, заболела *чумкой*. Ее лапки ослабели, красивые яркие глаза слезятся, и меня уверяют, что хотя сейчас она резва и полна жизни, но не пройдет и нескольких недель, как она умрет. У меня сердце разрывается при взгляде на нее. Я так радовалась, представляя себе, как привезу домой маленькую русскую собачку, как научу ее понимать только по-русски, и она сделается как бы живым напоминанием о стране, где я провела столько лет, а заодно и об одном из увлечений княгини Дашковой, большой любительницы потомства собачки по кличке Король Карл, и вот всему конец. Есть от чего быть печальной.

Закончился, наконец, этот мучительный день. Мы обедали у князя Маврокордато. Дорогая моя княгиня так трогательна в слезах, что невозможно смотреть на нее без того, чтобы не сжималось сердце.

Я ходила вечером в русскую лавку, хотела купить русской материи на платье, но не нашла ничего подходящего, кроме одного остатка, платье из которого будет стоить рублей 150, а то и больше.

30 [сентября 1808 г.]

О небо, что за день был вчера! Княгиня до такой степени опечалена и ведет себя настолько отлично от того, на что я надеялась, что я не в силах выносить ее страданий. Как жаль, что я еще не уехала!

1 октября 1808 года,
Завидово, 108 верст от Москвы

С той минуты, как решение о моем отъезде было принято, нам с княгиней стало тяжело встречаться друг с другом. Правда, за обедом все обошлось лучше, чем я ожидала. Министр юстиции князь Лобанов навестил сегодня утром княгиню и несколько развлек ее своим разговором. Я решила уехать ночью, и притом как можно раньше. Княгиня, очевидно, догадалась о моем решении и дала себя обмануть. Нежно, по-матерински меня обняв, она, к общему удивлению, ушла *после обеда* к себе отдыхать, а я воспользовалась этой возможностью и отправилась в путь. Анна Петровна Исленьева

и Дарья Николаевна Кочетова сопровождали меня в карете господина Посникова. Капитан Гамильтон, узнавший еще утром о моем отъезде, пришел попрощаться. Он был очень возбужден и сказал, что я совершаю самый опрометчивый поступок в своей жизни, так как весной, несомненно, корабли будут в избытке, а *сейчас* я не найду ни одного. Все это прямо противоречило тому, что мне говорили прежде, и я одновременно рассердилась и забеспокоилась. Неизвестно, какому слуху верить и какому совету следовать. Многие говорили мне, что, упустив эту возможность, я, может быть, буду ждать следующей еще несколько лет. Я уже переболела тем страданием, которое причинила княгине, и вот, в самый последний момент мне вдруг говорят, что, по всей вероятности, придется вернуться назад и лишь весной, возможно, удастся уехать! Баронесса д'Огье, которая в Троицком советовала мне поспешить с осуществлением принятого решения, теперь вдруг присоединяется к капитану Гамильтону, изумляется *внезапности* моего отъезда и, хотя я уже сажусь в карету, рекомендует мне передумать и остаться. Но ведь невозможно же без конца мучить княгиню, да и себя тоже! При капитане я напомнила баронессе ее *прежнее* мнение и сказала, что уже слишком поздно, жребий брошен.

Тверь, 164 версты от Москвы

Последние два прогона были очень тяжелы; дорога — сплошной песок. Шел дождь, дул ветер, что-то случилось с коляской, и нам пришлось останавливаться на ночлег. Анна Петровна и Дарья Кочетова проводили меня до дома князя Сибирского на Петербургском тракте, и здесь мы расстались. Я села в свою замечательную коляску, со мной Арина и Игнацио, итальянец-*метрдотель*, только что нанятый княгиней,— сущий клад в дороге. Следом едет фаэтон с моими двумя сундуками и гуслями под охраной Тимофея.

Луна сверкала бриллиантовым блеском, ночь была великолепная. Сегодня погода переменилась, и пришлось теплее одеваться.

3 [октября 1808 г.], Вышний Волочек, 310 верст от Москвы

Только что я одевалась в той же самой комнате, в которой я останавливалась пять лет тому назад, когда путешествовала из Петербурга в Москву с семьей доктора Холлидея. Как все изменилось: и мои чувства, и вся ситуация! Вышний Волочек — один из оживленнейших городов между Москвой и Петербургом, потому что через него проходит канал, по которому движутся многочисленные баржи[93].

Сломалась карета, и пришлось остановиться на дороге. К счастью, погода благодатнейшая, и, чтобы не терять времени даром, я уселась на пригорке и пишу дневник. Пригорок порос вереском и диким тимьяном, запах восхитительный [...]

4 [октября 1808 г.]

[...] Нас обрадовали известием, что в окрестностях Новгорода, куда мы должны приехать к вечеру, бродит шайка разбойников — дезертиров из ополчения [...]

Утром во время прогулки я беседовала по-итальянски с Игнацио. Он расспрашивал меня о положении католиков в Ирландии, а говоря о народном просвещении, рассказал, что в Италии поощряется занятие искусством, но наука остается привилегией духовенства, которое подавляет всякую одаренность в этой области в низших классах. Игнацио умен, и, должна признаться, независимо от моей привязанности к итальянскому языку мне очень повезло, что в дороге меня сопровождает он, а не кто-нибудь из русских слуг.

5 октября [1808 г.]

Обедали в Новгороде в очень приятной гостинице, стены которой украшены превосходными английскими гравюрами. Ни одна гостиница в России, на мой взгляд, не может сравниться с этой в удобстве. Особенно хороша новая половина здания.

Утром в Бронницах на убогом постоялом дворе я с удивлением увидела на стене масляный портрет фельдмаршала Миниха, почти не хуже того, что висит у княгини Дашковой. Я удивилась, а хозяин дома с интересом спросил, откуда мне известно, что это Миних. На мои расспросы об истории портрета он рассказал, что его двоюродный дед служил под командой Миниха и получил этот портрет в награду. Теперь фельдмаршалу приходится из своей рамы *следить* за тем, как подписываются паспорта проезжающих из Петербурга и в Петербург, потому что именно этим занимается внучатый племянник его солдата.

Из Новгорода я послала третье свое письмо княгине.

6 [октября 1808 г.], 2 часа,
Померания, около 90 верст от Петербурга

Моя чудесная собачка, Красотка, умерла. Вчера еще она была живой, хорошенькой, игривой, а ночью задохнулась в карете под периной. Бедное маленькое создание! А ведь она уже начала поправляться, и я стала надеяться, что лапки ее обретут со временем прежнюю силу... Мы с Ариной непрестанно плачем. Похоронили ее под буковым деревом. Эта маленькая собачка так радовала меня в пути, так развлекала. Еще один день, и для нее путешествие бы закончилось — и вот я ее потеряла, да еще таким нелепым образом. Как это грустно!

На рассвете, когда передо мной в карете лежала мертвая Красотка, в той же деревне, что и мы, остановились менять лошадей пленные шведские офицеры[94]. Они едут в Тулу. Игнацио поговорил с некоторыми из них. Сочувствие к ним натолкнуло меня на мысль о том, что я, может быть, скоро буду в Стокгольме и смогу передать

их друзьям весточку, что они по крайней мере живы. Я сказала об этом одному из офицеров, говорившему по-французски, но времени писать не было, и мне пришлось только взять адрес одного шведского офицера в Петербурге, чтобы предложить ему отправить со мною письма, извещающие, что они живы. Я горевала по своей собачке, да и разговор шел *на ходу*, наспех, вот все и вышло так неудачно. Тот офицер, с которым я говорила,— настоящий джентльмен. Большинство офицеров ехали в открытых повозках (телегах), и все поголовно курили трубки.

Я пишу в маленькой гостинице, где хозяйкой — молодая женщина, немка, очень недурной наружности. Оказалось, что в возрасте 14 лет она вышла замуж за француза, сына учителя, служившего кем-то вроде низшего флигель-адъютанта. Брак их был очень счастлив, но как-то, выполняя конфиденциальное поручение, ее муж заболел лихорадкой и умер. Бедняжке было тогда всего 17 лет, а она осталась с двумя детьми на руках. Целый год ей грозила опасность сойти с ума, потом здоровье ее поправилось, и она рассудила за благо вернуться к отцу, у которого кроме нее никого не оставалось, так как жену и других детей он давно схоронил. Интересно, что почти у каждого человека есть какое-то свое горе, и каждый по-своему несет свой крест.

7 [октября 1808 г.], Царское Село,
22 версты от Санкт-Петербурга

Царское Село — *детище* Екатерины II и ее любимая загородная резиденция, поэтому с годами интерес к нему возрастает. Все, что связано со временами Екатерины, понемногу окружается ореолом благоговения. Мы остановились в доме у болтливой пожилой вдовы, которая сразу принялась рассказывать нам о прежних временах и то и дело вытирать глаза рукавом своего платья. Между прочим, она говорит, что летом здесь обычно какое-то время живет императрица Елизавета и нынешнее лето не было исключением. Она провела здесь два месяца после смерти своего ребенка и сделала очень много добра. [...]

Не устаю радоваться присутствию Игнацио: мне чрезвычайно повезло. Он энергичен, умен, обладает хорошей памятью, и, к тому же, с ним можно беседовать по-итальянски. Родители думали сделать из него священника, и, готовясь к этому сану, он выучился по-французски и немного по-латыни, но, когда ему исполнилось 15 лет, приехал его дядя и уговорил его попытать счастья в России. Так совершился переворот в его судьбе. Сменив несколько мест, Игнацио поступил *метрдотелем* к генералу Зоричу[95], фавориту Екатерины, и жил у него до самой его смерти, сопровождал его в Польшу и там женился на балетной актрисе из Москвы. Позже он стал владельцем *макаронной* фабрики, но продал ее, чтобы уехать к жене, и два месяца тому назад появился в Москве. Доктор Шлагль, бывший врачом, точнее — хирургом, в доме Зорича, как раз когда Игнацио служил там *метрдотелем*, рекомендовал его

княгине. Уверена, что он ей понравится. У него есть сын, девятилетний мальчик, которому предстоит стать актером: он учится в Петербурге в *Театральной школе*[96]. Если найдется время, непременно схожу посмотрю это заведение; я о нем и раньше много слышала.

Мы сейчас идем осматривать дворец и парки Царского Села. (*Позднее.*) Я все осмотрела. Дворец не слишком великолепен, но там все-таки есть несколько прелестных залов. Одна из комнат называется Янтарной: все ее стены выложены янтарем, другая украшена ляпис-лазурью, третья — Китайская. Богата и красива церковь, и есть еще несколько очень милых кабинетов, помимо тех тоже, возможно, красивых комнат, которых я не видела. Особенно потряс меня маленький перламутровый столик, взятый князем Потемкиным у турок и поднесенный им императрице. Это одна из самых прекрасных вещей во дворце. Работа превосходна, а сам перламутр, несомненно, нежнейший и красивейший материал.

Я попросила показать мне тот стол, за которым обыкновенно работала императрица, и мне показали в Китайской комнате три столика, которыми она в равной степени пользовалась.

Окрестности дворца ничем особенно не примечательны. Они ни красивы, ни уродливы и интересны только тем, что по ним часто *гуляла* Екатерина. В здешних прудах уже нет прирученных рыбок, которых она кормила, за парком тоже никто не следит. Все же я была очень довольна, что ознакомилась с Царским Селом и провела в нем на прогулке больше двух часов.

В субботу, 7 октября 1808 года, в половине четвертого, мы приехали в Санкт-Петербург. Сейчас я жду прихода мистера Кавана, чтобы узнать от него свою судьбу. Графиня Воронцова совершенно сразила меня, сказав, что лорд Дуглас добирался отсюда в Стокгольм 9 дней.

Графиня Воронцова — воплощенная вежливость, доброта и элегантность, а ее дом — идеал чистоты, комфорта и достатка.

Я получила письмо от моей дорогой княгини. Она пишет, что хотя мой отъезд ранил ее сердце и душу, но что я была права, так как выполняю свой долг. Это превосходит все мои ожидания и несколько утешает меня. Дорогая моя... я люблю ее всем сердцем.

8 [октября 1808 г.]

Боже мой, что за мучительная неопределенность! Миссис Гривс сегодня уехала. Будь я здесь четырьмя днями раньше, как планировала, я уехала бы вместе с ней! Мне сказали сейчас, что выехать почти невозможно: если даже шанс представится, я не смогу найти служанку, а без нее не может быть и речи об отъезде. Что делать? Уже виделась с мистером Брауном, но с мистером Кавана еще не встречалась.

9 [октября 1808 г.]

Вчера вечером виделась с мистером Кавана, и он подтвердил слова мистера Брауна. Пришлось пока оставить мысль об отъезде и отправиться петь в гостиную к графине Воронцовой. Когда мы пили чай, пришел шевалье де Вернан. Он ярый французский роялист и за свои убеждения был посажен нынешним правительством в тюрьму. Шевалье де Вернан играл в шахматы и очень насмешил меня своей странной манерой игры. Потом пришла очень *приятная* женщина, госпожа Бакунина. Мы ужинали и до половины второго беседовали о войнах, Испании и т. п.

Я встала в 7 часов, чтобы вымыть голову невской водой. Волосы еще не успели высохнуть, как пришел добрейший мистер Роджерсон. Он по-дружески посоветовал мне в любом случае оставаться здесь еще две-три недели и ждать, так как всякое может случиться. Я решила воспользоваться его советом. Мы долго болтали, а когда он ушел, я отправилась с визитом к миссис Браун и неожиданно на набережной заметила мистера Джона Холлидея. Он остановился, мы поговорили; итак, если я получу паспорт, то в несколько дней все будет улажено и через неделю я отправлюсь в Ригу, а оттуда в Швецию под его покровительством. Если только это случится, можно будет считать, что мне очень повезло. Мистер Холлидей знает 4 или 5 языков, он опытнейший путешественник, никогда не страдает морской болезнью, чувствует себя в Швеции *как дома*, и, словом, он самый подходящий человек в данных обстоятельствах. Если я отправлюсь с ним, это будет не менее примечательное путешествие, чем то, когда я впервые приехала в Россию с доктором Холлидеем, и последняя моя поездка с его братом.

Ходила смотреть Фуриозо и двух его сестер, которые этим вечером танцевали на канате. Это замечательно, но во второй раз я бы не пошла. Графиня Воронцова взяла в театре ложу, и вместе с нами пошла ее сестра, очаровательная княгиня Голицына, одна из моих любимиц. Когда мы вернулись, пришли несколько визитеров. Насколько могу судить, суть этих открытых вечеров, на которых разряженная в пух и прах хозяйка дома поджидает гостей, а часто случается, что являются один-два бездельника и более никто, в том, что постоянная скука изобрела утомительный, тяжелый, нудный и давно устаревший метод быть приятным и сверхэлегантным безо всякой пользы. Пойду отдыхать.

[10 октября 1808 г.]

Все утро было посвящено делам. Наконец-то князь Куракин[97] получил мою записку и, прочитав ее, передал своей жене, княгине Куракиной[98]. Забавно, что от этой моей прежней соперницы теперь до известной степени зависит, уеду ли я или останусь в России. Завтра еду к ней в 12 часов, чтобы узнать свою участь.

Что меня еще расстроило сегодня утром, это то, что благодаря усердию мистера Хоза мне наняли комнаты у мистера Ри в конце

Английской набережной. Он вообразил, что графини Воронцовой нет в городе и я буду в растерянности, не зная, где остановиться: ведь отъезд мой был внезапен и я не успела все предварительно оговорить. Когда приезжаешь в Петербург, необходимо сообщить полиции фамилию и место жительства. Я назвала как место своего пребывания дом графини Воронцовой на Большой набережной. Тем временем в газетах сообщили, что я остановилась у мистера Ри, так что теперь, когда из полиции придут за моим свидетельством, выяснится, что их сведения о моем месте пребывания расходятся с тем, что напечатано в газетах, а мистеру Ри, к тому же, придется заплатить штраф в 25 рублей за *публикацию* моего имени без моего ведома.

Чтобы уладить дело, я написала к обер-полицеймейстеру господину Балашову[99], прося его, как о любезности, зайти ко мне. Он только что исполнил мою просьбу. Господин Балашов несколько напоминает графа Биланда. Он весьма вежливо все уладил и просил, чтобы и впредь я обращалась прямо к нему, если он сможет оказаться чем-нибудь еще мне полезен.

Об этом деле мне сообщил мистер Рованд, и лицо его было вытянутым со страху. Какая разница между людьми, и до чего же я ненавижу трусов!

11 [октября 1808 г.]

Вчера вечером здесь ужинал молодой князь Меншиков[100], внук или правнук того знаменитого князя Меншикова, очень миловидный, ребячливый и, как оказалось, приятно-остроумный молодой человек. Он недавно вернулся из поездки в Англию, и у нас произошло из-за Англии полушутливое-полусерьезное столкновение. Князь заявил, что англичанки одеваются безвкусно и неэлегантно, что у них в моде сейчас *черные бархатные башмаки* и *косолапость*, а у француженок — белые кожаные туфельки и легкая походка, так что, если сравнивать тех и других, контраст получается самый печальный, и не в пользу англичанок, и тому подобные глупости. Тем не менее мы смеялись... Чай я пила с госпожой Чичаговой, очень славной женщиной, которая ужасно хочет снова вернуться в Англию.

Все утро опять было посвящено *делам*. Как договаривались, я зашла к княгине Куракиной. Она пообещала все сделать, была очень мила, сообщила, что мне следует написать военному губернатору, князю Лобанову[101], о моем намерении уехать и о том, что в газетах обо мне уже напечатали, затем то же самое написать ее мужу, князю Куракину, и послать ему газеты. Я так и сделала. Тем временем добрейший из людей, мистер Кавана, уговорил мистера Лонга, который завтра уже уезжает, взять меня под свое крыло. Мы тут же договорились, что я немедленно отправлюсь к княгине Куракиной и узнаю, нельзя ли обойтись без этой формальности: третьей публикации моего имени в газете. Княгиня была сама любезность и сказала, что если это возможно, все будет сделано, но сейчас князя нет дома. Вечером она пришлет мне записку об успехе или неуспехе этого дела. Только что я записку от нее получила, и там написано,

что это *невозможно*. Утрачена прекраснейшая возможность уехать, и притом лишь из-за того, что до пятницы в газете не сможет в третий раз появиться мое имя, имя той, которую все знают, в которой все принимают участие и которая, между прочим, никому на свете не должна ни копейки!..

13 [октября 1808 г.]

Вчера дела и мучения с самого утра. Написала обер-полицеймейстеру, чтобы он распорядился выдать мне удостоверение *личности*, справку о благонадежности и бог знает что еще [...] Игнацио только что ушел за бумагами [...]

Этим утром мне нанес визит граф Михаил Воронцов[102], сын графа Семена; мы с ним долго беседовали.

На князе Меншикове, с которым мы только что встретились, были *черные бархатные ботинки*. Снимая шляпу в знак приветствия, он *заговорщицки* мне улыбнулся, и я ответила ему такой же улыбкой. Выражение лица у него такое солнечное, радостное, что одно удовольствие — смотреть на него!

Получила письмо от капитана Гамильтона. Он в отчаянии, что я уехала, и умоляет меня вернуться. Я по-настоящему на него сердита: он поверил княгине все свои страхи, и теперь она в таком состоянии, что у меня сердце кровью обливается.

14 [октября 1808 г.]

Все еще мучаюсь со своим паспортом. Вечером ко мне заходили мистер Кавана и мистер Холлидей и сообщили, что мистер Холлидей свой паспорт получил и ждет только меня, но утром уже не сможет больше ждать и тогда получится, что я навсегда упущу обе возможности уехать наилучшим образом, которые только могли мне представиться.

15 [октября 1808 г.]

Боюсь, что они уже упущены. Все эти мучительные правила и формальности, и эта неразбериха, и я не знаю что еще — все это, похоже, опять заставит меня потерять год, а если весной мне все же удастся уехать, то нам с княгиней придется еще раз испытать всю горечь расставания. Мою фамилию трижды публиковали, я получила свидетельство из полиции, послала его в пятницу по всей форме военному губернатору князю Лобанову, а вчера вдруг получаю записку от княгини Куракиной с сообщением, что, хотя все бумаги в конторе у ее мужа, он не может выдать мне паспорт до следующего вторника (безо всякой видимой причины!). А пока уходит время, упускаются шансы. Я опять начинаю беспокоиться о княгине, все нужно начинать сначала, снова совершать путешествие и т. п., и все напрасно.

Вчерашний вечер здесь провел граф Пален[103], очаровательный молодой человек с мужественным, умным и открытым лицом. Беседа его возвышенна и разумна, он восхищается Англией, и это все, что я о нем знаю, кроме того еще, что он нигде не служит. Вечером побывали также: датский посол барон Блюм[104], молодой офицер г. Левашов, мой замечательный барон д'Огье, которому я всегда рада [...] Поначалу беседа была весьма светской и до крайности пустой: плоские сплетни, не имевшие ни грана аттической соли. Право, эти *светские* собрания с их скукой для меня совершенно невыносимы. Скажем, княгиня Голицына: когда она одна — это милая, умная, живая, изящная, с тонким вкусом женщина, истинное украшение здешнего общества, но стоит ее вовлечь в светскую болтовню, как она становится пустой и неумной для всех, кроме посвященных в суесловие этой чадной атмосферы... Италия, Франция, иногда Англия, дороги, лошади, форейторы, повара, министры, *fricassées* и *elegantées**, картины, статуи, модистки и портные, скандалы, разразившиеся за границей,— вот и вся пища для размышлений, которую я получила. О моих троицких крестьянах и то можно написать больше.

Петербург великолепен, я не устаю им восхищаться... В жизни своей не видела другого такого же чистого, свежего, совершенного города. Погода божественна. Княгиня М. Щербатова постоянно меня навещает.

Ура! Ура! Мистер Холлидей должен пройти еще какую-то формальность, и его отъезд откладывается до вторника. Они только что были здесь с мистером Ровандом.

Вечер

[...] У графини Воронцовой после обеда увидела знаменитого русского художника Егорова[105]. Это очень некрасивый низкорослый человек вульгарной наружности, но, когда он говорит, глаза его оживают, а лицо становится одухотворенным. Мы с княгиней долго беседовали о бессмертии души, и Егоров временами принимал участие в нашем разговоре. Он утверждал, будто верит, что избран богом, но относительно бессмертия души нес какой-то вздор и чепуху.

Мне все больше и больше нравится княгиня Голицына: она столь же добра, сколь и прекрасна, выражение лица ее приятно, а чувствительность нисколько не наиграна [...]

Утро, 16 [октября 1808 г.]

Сегодня я во второй раз позировала для портрета, который намереваюсь послать моей дорогой княгине. Все, что касается поездки с мистером Холлидеем, устраивается как нельзя лучше, и, покидая Россию, я испытываю те же чувства, которые ощущала, покидая мою любимую княгиню. Я так нервничаю, нахожусь в столь дурном расположении духа, что нет слов выразить. Мой портрет положения не улучшает. Фамилия художника — Гюбер[106], он швей-

---

* Зд. гурманы и модницы (*фр.*).— *Пер.*

царец, маленький, уродливый, с претензией на галантность, а в действительности смешной. Он намерен поехать в Москву и обещал мне написать в мой альбом, который придется оставить, портрет Машеньки. [...]

17 [октября 1808 г.]

[...] Я вся киплю из-за своего паспорта. Утром я за ним послала и надеялась получить, но они сделали вид, будто бы никто из них о нем никогда не слыхивал. Один уехал развлекаться на охоту, другой болен — словом, никто ничего не знает, а я продвинулась не дальше, чем в первый день. Я написала князю Куракину [...] Меня заверили, что он распорядится выдать мне то, что я прошу, завтра же, в 8 часов утра. Мистер Холлидей нашел корабль в Кронштадте; может быть, завтра вечером мы отплывем. 5 лет назад я была отважным моряком, но при прощании с отечеством моей русской матери на сердце у меня лежит тяжесть. Великий боже, какой подавленной я себя ощущаю, как далеко мне до спокойствия [...]

СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ОПИСАНИЕ МАРТОЙ ВИЛЬМОТ ЕЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ РОССИИ В АНГЛИЮ[107]

Все это время моим добрым и деятельным другом был мистер Кавана. Все было приготовлено, и 19 октября я должна была покинуть Петербург и отправиться в Кронштадт, где стояли корабли. Однако в самый последний вечер перед нашим отъездом он зашел ко мне и сказал, что я должна собрать все свое мужество, так как он собирается сообщить мне нечто странное. Его друг, занимающий официальную должность, утром трижды заходил к нему домой, когда он отсутствовал. Удивленный его настойчивостью, мистер Кавана послал ему записку, и тот джентльмен сразу же пришел.

Для начала он уточнил, правда ли, что мистер Кавана — друг мисс Вильмот, а затем сказал, что не может не предупредить его: хотя паспорт ею и получен, но у правительства имеются сведения, что мисс Вильмот вывозит из страны важные бумаги. Поэтому трем офицерам отдан приказ быть готовыми последовать за ней: одному — в порт Кронштадта, другому — в Нарву, а третьему — в Ригу с полномочиями задержать ее в том из портов, из которого она вздумает отплыть, и подвергнуть ее багаж самому тщательному обыску. Правительство с большой подозрительностью следит за ней, и как друг мистера Кавана он рекомендует ему совсем ее не провожать и не выказывать по отношению к ней никакого интереса.

У меня, конечно, были бумаги: собственноручные «Записки» княгини Дашковой, копия ее переписки с Екатериной II, еще некоторые бумаги, в их числе частные письма разных лиц к их друзьям в Англии. Мне пришлось распаковать чемодан, все это было извлечено, и мистер Кавана уложил бумаги в отдельный пакет и послал его на тот корабль, на котором я собиралась отплыть, с тем, чтобы его там спрятали в один из матросских сундучков. Письма я переложила в своей несессер с письменными принадлежностями, намереваясь отправить их назад, распечатать или уничтожить, смотря по обстановке. В завершение я бегло просмотрела немногие свои личные бумаги и решила оставить их на произвол судьбы: они показались мне совершенно безобидными. Среди прочего там были упражнения во французском языке, исправленные княгиней, а между ними одно, в котором я, за неимением лучшего сюжета, описывала, как пришлось, чтобы не наступить на мышонка, взять его за хвостик и как он меня напугал, внезапно побежав по рукаву моего платья.

В конце этой несколько более длинной, чем обычно, записки княгиня хвалила меня за успехи в письме, но добавляла, что, сохранив жизнь мыши, я поддалась ложному чувству сострадания, так как эта порода слишком быстро плодится и сделалась уже серьезным злом и т. д. Позже станет ясно, почему я отмечаю это пустячное обстоятельство. Этот пакет занял уголок моей небольшой красной рабочей шкатулки, в которой еще лежали украшения.

Вслед за этими приготовлениями мой основной багаж был отправлен по распоряжению мистера Кавана водой, а я, зная, что бояться мне нечего, вернулась на званый вечер к госпоже Воронцовой. На другой день я простилась с ней и следующую ночь провела уже в Ораниенбауме.

Рано утром, когда мы собрались переправляться в Кронштадт, пока я рассматривала дворец, моя горничная заметила какого-то господина, наблюдавшего за нашим переездом, и, когда мы входили в лодку, этот же незнакомец оказался рядом и предложил нам свои услуги. Пока мы переезжали, он умудрился обратиться ко мне по-французски, по-итальянски и по-английски и говорил, то осуждая войну, то превознося мою страну, — до тех пор, пока качка не сделала меня совершенно безразличной ко всем его рассуждениям.

На берегу в Кронштадте я сразу потеряла своего попутчика из поля зрения. Мы приехали достаточно рано, чтобы успеть позавтракать с мистером Холлидеем, прибывшим днем раньше и дожидавшимся меня. Позже приехал мистер Кавана, и мы решили, что поднятая его другом тревога оказалась ложной, так как весь мой багаж уже прошел через таможенный досмотр и его опечатали государственными печатями.

Пробыв с нами до четырех часов, мистер Кавана ушел довольный, что все так спокойно, но вечером ко мне пришел английский агент, бледный и испуганный, и затребовал от имени господина Кайсарова[108], conseiller de la Cour*, красную шкатулку, пропущенную утром вместе с другим моим багажом. Бедняга сказал, что весь город трепещет перед ним, до того огромна власть этого человека. Господин Кайсаров полностью отстранил таможенное начальство и сам распорядился снять печати со всех моих вещей. Я, конечно, отослала шкатулку и стала терпеливо дожидаться решения моей участи. Через три часа шкатулка была возвращена мне с запиской, что вечером господин Кайсаров просит снова ее прислать.

В несколько следующих дней моя одежда и весь багаж были безжалостно обысканы, а так как у меня за пять лет накопилось немало бумаг и писем, которые Кайсаров дал присягу все прочитать, да еще ноты, переводы русских песен [...], то ему предстояло дело весьма хлопотное и гораздо менее плодотворное, чем он мог бы ожидать.

Я решила не показывать виду, что обеспокоена, и пригласила этого человека к себе в гости, а потом пообедать за каким-то подобием табльдота, устроенного для англичан. Он, конечно, пришел,

---

* Канцлер (*фр.*). — *Пер.*

и я сразу же с самым непринужденным видом заговорила о том, что мне предстоит, называя его при этом chambellan de service и confident malgré moi*. Я так и не смогла понять, друг он мне или враг: вел он себя по-дружески, но говорили мне о нем совсем противоположное, и в частности, что он рекомендовал капитанам не брать меня на свои корабли.

И впрямь, я стала опасной пассажиркой: к бедняге капитану, который согласился взять нас с мистером Холлидеем на борт, в поисках моих бумаг нагрянули на корабль и нашли несколько беглых матросов, что поставило капитана в весьма трудное положение. Однако он оказался добрым и честным человеком и так близко к сердцу принял судьбу молодой дамы, находящейся под арестом, что со всей отвагой прирожденного моряка поклялся скорее пожертвовать жизнью, нежели оставить ее [...]

По какой-то счастливой случайности «Записки» княгини, которые действительно были на борту, избежали проверки, однако на корабле ждали второго обыска и для безопасности капитана нужно было их либо уничтожить, либо вернуть на берег. Я разрешила капитану поступить, как он сочтет нужным, но не скрыла, что сама, конечно, предпочту последнее. Перед рассветом капитан приплыл на судно и спрятал пакет с бумагами под своим широким плащом. В тот самый момент, когда он отдал приказ возвращаться и уже собирался покинуть корабль, появилась таможенная шлюпка, и в ней 11 человек, которые поднялись на палубу, чтобы остаться в качестве стражи вплоть до момента отплытия. Капитан на минуту задержался, приказал угостить их лондонским портером и, пока они пили, спрыгнул в лодку и вернулся на берег, где и передал мне пакет, не скрывая при этом простодушного торжества.

В тот же день у меня состоялся разговор с господином Кайсаровым. В ответ на мои расспросы он сказал, что, поскольку мои политические связи хорошо известны, правительство предполагало, что я увожу в Англию важные секреты, но он не нашел ничего такого, что вызывало бы беспокойство. Из моих бумаг он изъял ноты, поскольку не уверен, что это не шифр, от которого у меня есть ключ, и, кроме того, еще одну бумагу, которую, как он опасается, придется предоставить правительству на собственное его императорского величества рассмотрение. Пока же ему придется наложить арест на выбранный мною корабль, чтобы задержать мое отплытие в Англию; прочие же корабли смогут спокойно уйти.

Я поинтересовалась, конечно, что это за бумага и кого еще кроме меня втянули в это дело. Он ответил, что руководила мною, несомненно, княгиня Дашкова, но можно надеяться, что ничего серьезного не последует, и уж, конечно, как он убежден, мне лично в любом случае бояться нечего. Я почувствовала, что если из-за моего легкомыслия дорогая моя княгиня попадет в какую-нибудь неприятность, я не прощу себе этого до конца дней. С крайней тревогой

---

* Камергер и невольный наперсник (*фр.*). — *Пер.*

я осведомилась, что же это за таинственная бумага? И подумать только! Вылез тот самый мышонок!

Тут я расхохоталась и, ни секунды не задумываясь, сказала ему, что в наказание за то, что он так меня напугал, его следовало бы оставить в этом его заблуждении, но, если он всерьез забирает эту бумагу, чтобы показать ее Сенату, ему предстоит, несомненно, стать посмешищем всего Петербурга!

Он заметно встревожился, и тогда я сказала ему, что за те вежливость и даже добродушие, которые он проявил, выполняя свои обязанности, я раскрою ему эту тайну. Мышь — точно такая же шифровка, как и ноты, могу поклясться. И я пересказала ему то, что уже писала здесь. Господин советник сохранил бесстрастный вид, чтобы не нанести урона своей проницательности, но, несомненно, поверил, и похоже было, что перспектива быть поднятым на смех в Петербурге ему не очень понравилась. Он захлопнул дело и пообещал прочитать бумагу в четвертый раз и более тщательно ее обдумать.

Потом он сказал, что нашел еще одно письмо, очень важное, без подписи, в котором явно скрывается политический смысл. Пришлось разъяснить ему и эту тайну. Он приписал письмо вовсе не тому человеку, который был его автором в действительности, и к тому же с такой легкостью изменил его настоящий смысл, что, в самом деле, безобиднейшие слова могли показаться крамольными. Я так и заявила ему, прибавив, что оскорблена этими бесчисленными проверками, которым меня подвергают. Его самого мне жаль: ему приходится делать то, что не может не быть неприятным любому тактичному и чувствительному человеку, поэтому мой гнев не обращен на него лично. Что же касается задержки, хотя бы на час, любого капитана, то никакими доводами рассудка я объяснить этого не могу, тем более что сейчас самое подходящее время года для плавания. Конечно, сказала я, раз в это дело втянута, пусть даже в малой степени, княгиня, я не могу и думать о том, чтобы сейчас уехать из страны, и единственное, о чем я прошу,— решить: виновата я или нет.

Еще я сказала ему о соглядатае, целыми днями сидящем напротив моей комнаты. Я его видела, но не думала о нем, пока горничная не сказала, что он специально посажен следить за мной, как за пленницей, и за теми, кто входил и выходил из моей комнаты, а слуги узнали об этом от сотоварищей и очень негодуют. Если бедняга был посажен действительно для этого, то ему, наверное, снилось, что все в порядке, потому что бодрствующим я его никогда не видела.

В ответ господин Кайсаров сказал, что нашел в моих бумагах несколько писем от княгини Анны Дашковой и очень ими заинтересовался, так как хорошо знаком с этой дамой и ее чувства ко мне подтвердили сложившееся у него обо мне хорошее мнение, а также и характер мой они подчеркивают с самой выгодной стороны. Он заметил, что у меня должен быть в этой стране какой-то враг[109], и так как история с мадам Щербининой ему была известна так же, как и всем остальным, он отвлек мои подозрения в иную сторону,

обратив их на человека, которого я считала до сих пор своим другом, известного в России, пользующегося доверием княгини, читавшего ее записки с посвящением и знавшего, что они у меня.

Все это сообщил мне господин Кайсаров и еще прибавил, что не станет задавать мне вопросов, но что им дана клятва не позволить мне вывезти какие-либо бумаги, касающиеся России, и эту клятву он выполнит, в чем я могу быть совершенно уверена. Как он сказал, он хочет доказать мне свое уважение и дружеские чувства, а поэтому предупреждает, что если в моем багаже ничего не будет обнаружено, то прежде, чем покинуть Россию, я буду подвергнута личному обыску, а мои слуги будут обысканы до того, как им разрешат вернуться в Москву, так что мне следует быть осторожнее с письмами, которые я с ними отправляю.

Признаюсь, что после всего этого мое негодование достигло невероятных размеров, но предупреждение было лишь дружеским, поэтому я искренне поблагодарила его, и он ушел.

Он ушел, а я погрузилась в невеселые размышления. Главной моей целью была, конечно, безопасность княгини, и я решилась уничтожить «Записки», чтобы они не могли попасть в чужие руки и быть превратно истолкованы. Зная, что сделанная когда-то мной копия была взята с собою моею сестрой и благополучно доставлена в Англию, я их сожгла и, покончив с этим, решила вернуться в Москву в том случае, если моя любимая княгиня будет хоть в малейшей степени вовлечена в неприятности, и разделить их с нею до конца своей жизни. Я написала ей обо всем полный отчет и тайно его отослала. Считая себя более снисходительным судией, чем господин Кайсаров, я занялась тем, что распечатала письма к графу Воронцову, леди Пемброк, сестре госпожи Чичаговой и к другим. Одно письмо я отправила обратно автору, другие оставила распечатанными, и лишь одно я не осмелилась прочитать — любовное письмо от княжны Марии Щербатовой к мистеру Керу Портеру. Я решила, что наилучшей участью для этого письма будет сожжение, в присутствии нескольких свидетелей положила его на кучу дров, и на моих глазах оно исчезло в чистом пламени. Ныне они уже женаты.

Через пять дней, считая с того утра, когда я прибыла в Кронштадт, господин Кайсаров попросил еще раз о встрече и поздравил меня с полным оправданием. Музыка, мышонок — все было признано невинным! Поистине, «гора родила мышь», и, кажется, я в шутку так и сказала, когда благодарила своего судью. Сам он, казалось, хотел обелить себя в моих глазах и просил, чтобы я написала обо всем княгине Анне, что я и сделала. В тот же самый день корабль был готов к отплытию, и мы решили не терять времени даром и подняться на борт. Надо мной все еще висела угроза личного обыска. Мы пригласили господина Кайсарова с нами пообедать, а потом навестить нас на корабле, но он был занят, правда, должен был вернуться до нашего отплытия, так как не попрощался с нами. Мы пообедали и, поскольку он не пришел, как обещал, проследовали на судно, где с чувством сожаления и боли я простилась с моей

верной доброй Ариной и со слугами, которые были тронуты до слез и возмущались происшедшим.

Мы поднялись на борт корабля в замечательный осенний вечер 26 октября. Каждую минуту я ожидала появления господина Кайсарова, тем не менее мы подняли якорь и оставалось преодолеть лишь одно препятствие — сторожевое судно.

С нами шел небольшой бриг. Корабль и этот бриг были торговыми судами, груженными пенькой, однако бриг плохо укомплектовали людьми, и он должен был следовать за нами, а в случае каких-либо трудностей мы взяли бы его на буксир. На его борту служил суперкарго[110] мистер Донован, высокий важный человек с распухшими ногами в желтых туфлях, весьма раздражительный, нервный и страшно боящийся показаться смешным. Это — первое впечатление, все лучшее в нем глубоко запрятано. Когда он приехал в Россию, офицеры сторожевого судна купили у него бочонок вина и все еще оставались должны ему 50 фунтов.

Мы проплывали мимо сторожевого корабля, оттуда просигналили, чтобы мы легли в дрейф, и к нам на борт поднялось несколько офицеров, чтобы подписать бумаги и отпустить нас. Я прескверно себя чувствовала, так как была вполне уверена, что с ними поднимется на борт и господин Кайсаров, но, к моему величайшему изумлению и восторгу, его не было. Бумаги быстро подписали, и через несколько мгновений мы были уже под парусами.

Чудо тотчас объяснилось, так как, взглянув на палубу брига, мы увидели, как несчастного мистера Донована крепко сжимает в объятиях один из офицеров. Его товарищи уже садились в лодку, и, прикрывая их отступление, офицер осыпал мистера Донована поцелуями, а затем, энергично желая ему счастливого пути и немилосердно отдавив больную ногу, легко догнал своих товарищей и оставил мистера Донована зацелованным, задыхающимся от ярости и боли и не имеющим возможности потребовать назад свои деньги, о которых, в пылу нежного прощания, очевидно забыли упомянуть офицеры. Боюсь, что я слишком смеялась не только над этой сценой, но и над тем, что это случилось с человеком, который, как я говорила, настолько боялся оказаться смешным, что, скорее, решился бы потерять еще 50 фунтов, чем быть вот так по-дурацки обцелованным.

Благодаря этой истории с долгом мы решили, что могли бы пронести с собой на корабль все что угодно, так как желание сторожевого судна от нас избавиться превышало даже наше желание как можно скорее исчезнуть, и так или иначе через несколько минут мы потеряли друг друга из виду.

Столь долгое смятение чувств смягчило момент отплытия, но теперь, когда я спокойно уселась на палубе и взглянула в последний раз на солнце, садящееся во всем своем великолепии над страной, так долго бывшей моим домом, страной, с которой связано одно из самых теплых чувств моего сердца, я испытала невыразимое чувство покоя и печали и погрузилась в глубокую задумчивость, в которой царила моя «русская мать».

Никогда не забуду, как рулевой начал напевать английскую песню — мелодию, не слышанную мною целых пять лет, — и тем пробудил меня от задумчивости и вызвал в моей душе тысячи откликов. Казалось, что мелодия упрекает меня за ту печаль и сожаление, в которые я была погружена, и пробуждает во мне ожидание счастья и дорогие сердцу воспоминания о доме и друзьях, которых я скоро увижу[111]. [...]

КОММЕНТАРИИ

Е. Р. ДАШКОВА «ЗАПИСКИ»

ПОСВЯЩЕНИЕ

ЧАСТЬ I

1 *...некоторыми французскими писателями.* — Дашкова имеет в виду те книги и брошюры, в которых давались описания переворота 1762 г. и его оценка: Rulhière K. Histoire, ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1762 (Рюльер К. История, или анекдоты о революции в России 1762 г.). Paris, 1797; Laveaux J. Histoire de Pierre III, empereur de Russie (Лаво Ж. История Петра III, российского императора) 3 vls. Paris, 1799; Castéra J. Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie (Кастера Ж. История Екатерины II, российской императрицы), 1797.

2 *...иллюминаты...* — Так назывались члены тайных религиозно-политических обществ в Баварии во 2-й половине XVIII в., целью которых были борьба с невежеством, распространение просвещения и в конечном счете замена христианства деизмом. На последнем этапе деятельности сблизились с франкмасонами. Общество прекратило существование в 1785 г. Видимо, княгиня Дашкова, подобно многим другим, видела в иллюминатах тех, кто желает уничтожить религию и ввести законы, основанные на равенстве.

3 *Я родилась... в 1744 году.* — Дата указана неверно. Е. Р. Дашкова родилась 17 марта 1743 г. (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 159; ОПИ ГИМ, ф. 450, ед. 804, л. 80).

4 *...после коронации.* — Елизавета Петровна возвратилась в Петербург из Москвы 20 декабря 1742 г.

5 *...дядей вице-канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни...* — Имеется в виду Михаил Илларионович Воронцов (1714—1767) — первый крупный политический деятель в семействе Воронцовых. Принимал участие в возведении на престол Елизаветы Петровны. В 1744—1758 гг. — вице-канцлер, затем канцлер. После воцарения Екатерины II влияния на государственные дела не имел, но до 1764 г. оставался канцлером.

6 *Анна* Иоанновна (1693—1740) — русская императрица с 1730 г., племянница Петра I.

7 *Роман* Илларионович Воронцов (1707—1783) — генерал-аншеф, сенатор с 1760 г.; при Екатерине II сначала в немилости, затем наместник владимирский, пензенский и тамбовский.

8 *Александр* Романович Воронцов (1741—1805) — граф, государственный деятель и дипломат. В 1762—1764 гг. — полномочный министр в Англии, в 1764—1768 гг. — в Голландии; в 1773—1794 гг. — президент коммерц-коллегии; затем в отставке. В 1802—1804 гг. — канцлер. (Его автобиографические заметки см.: Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 1—87.)

9 *Младший брат...* — Семен Романович Воронцов (1744—1832). Участник русско-турецкой войны (1768—1774), отличился в сражениях при Ларге и Кагуле. В 1783 назначен посланником в Венецию, с 1785 по 1806 г. (с небольшим перерывом) — русский посол в Англии.

10 *...знали четыре языка...* — Дашкова подразумевает языки: французский, итальянский, немецкий и, видимо, один из древних.

11 Федор Дмитриевич *Бехтеев* (1716—1761) — русский поверенный в делах во Франции в 1756—1758 гг. Церемониймейстер двора, бригадир. Был учителем при вел. кн. Павле; ему покровительствовал М. И. Воронцов. (Сохранилось

155 писем Бехтеева к Воронцову из Парижа — см.: Архив кн. Воронцова, кн. 3.)

12 *...Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало.*— О наличии книг французских просветителей в библиотеке Воронцовых писал А. Р. Воронцов: «Мой отец выписал для нас из Голландии очень хорошо составленную библиотеку... так что в 12 лет я был знаком с сочинениями Вольтера, Расина, Корнеля, Буало и др. французскими писателями» (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 12—13. Пер. с фр.).

13 *Брат Александр уехал в Париж...* — А. Р. Воронцов в 1758 г. по желанию дяди М. И. Воронцова и с согласия Елизаветы Петровны уехал в Версаль, где поступил в аристократическую школу Шево-лежер (по разрешению Людовика XV).

14 Герман *Бургав* (1705—1753) — датский врач; с 1740 г. в России; с 1748 г.— личный врач Елизаветы.

15 *...из которых состоит государство.* — Основной труд К. А. Гельвеция «Об уме» вышел в свет в 1758 г. в Париже. Через год по приговору парламента книга была осуждена и сожжена. Говоря о мыслях, «изложенных в первом томе», Дашкова имеет в виду, скорее всего, идею о равенстве умственных способностей всех людей, из чего вытекала мысль о том, что, независимо от происхождения, государством может управлять любой человек, достаточно развивший свои природные задатки. Что касается высказывания Дашковой о «втором томе этой книги», то здесь, на наш взгляд, очевидно временное смещение. Судя по всему, подразумевается труд Гельвеция «О человеке». Книга эта вышла в Гааге лишь в 1773 г. (при содействии русского посла в Нидерландах — князя Д. А. Голицына). В этом сочинении Гельвеция резкость, характерная для трактата «Об уме», была смягчена. Автор идеализировал Екатерину II и Фридриха II, считая их защитниками либеральных идей.

16 Иван Иванович *Шувалов* (1727—1797) — государственный деятель, обер-камергер, куратор Московского университета; почетный член Академии Наук.

17 *«Энциклопедия,* или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (вышел в 35 томах в 1751—1780 гг. под ред. Д. Дидро и Д'Аламбера) — замечательный памятник науки и культуры французского Просвещения. *Словарь Морери* — первый французский биографический словарь Луи Морери (1643—1680), послуживший основой для подобных словарей в других странах Западной Европы. Впервые вышел в одном томе в 1674 г. В 1759 г. под тем же названием «Le grand dictionnaire historique» вышел словарь в 10 томах. (См. о нем: Книга. Исследования и материалы. Т. 42, М., 1981, с. 157—158.)

18 *...не было в то время женщин, занимавшихся серьезным чтением.* — Суждение слишком решительное и несправедливое. Е. Р. Дашковой могли и должны были быть известны такие русские женщины, как писательница Екатерина Александровна Княжнина (дочь А. П. Сумарокова и жена драматурга Княжнина), выступившая в печати в 1759 г. («С такою образованною девушкою охотно говорили Ломоносов и Шувалов».— Мордовцев Д. Русские женщины нового времени. Вып. 2. Спб., 1874, с. 63), поэтесса А. Ф. Ржевская, переводчицы Е. С. Меншикова, М. В. Сушкова и некоторые другие.

19 Михаил Иванович *Дашков* (1736—1764) — вице-полковник лейб-кирасирского полка; камер-юнкер.

20 *...его мать-княгиня...* — Анастасия Михайловна Дашкова, рожд. Леонтьева; была племянницей Наталии Нарышкиной, матери Петра I.

21 Александр Борисович *Бутурлин* (1694—1767) — фаворит Елизаветы Петровны, с 1756 г. генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией на последнем этапе Семилетней войны (1760—1761 гг.).

22 Дашкова говорит о «расторжении» родственных уз в связи со смертью М. И. Дашкова.

23 Село *Троицкое* (Тарусского уезда Калужской губернии) с XVII в. известно как вотчина князей Дашковых.

24 *Саше* — мешочек с лекарственными травами.

25 *...нашим Меркурием.* — Меркурий в римской мифологии — посланец богов.

26 *дворцом отмеченным... современным европейским вкусом.* — Дворец М. И. Воронцова был одним из самых роскошных в Петербурге; его построил В. В. Растрелли в 1749—1757 гг. Часть дворца была обставлена мебелью, которую Людовик XV, купив у мадам Помпадур, подарил М. И. Воронцову, надеясь склонить канцлера к союзу с Францией. Позже М. И. Воронцов продал свой дворец Екатерине II

за 217 000 рублей. С 1802 по 1917 г. там размещался Пажеский корпус (в настоящее время здание занято суворовским училищем).

[27] *...славным днем для моей родины.*— 28 июня 1762 г. произошел дворцовый переворот, приведший на престол Екатерину II.

[28] *Ораниенбаум* (усадьба с дворцом на берегу Финского залива) был пожалован Елизаветой Петровной вел. кн. Петру Федоровичу, который соорудил там крепость Петерштадт.

[29] *...его августейшая тетка...* — Петр III, Федорович (1728—1762), (Петер-Ульрих) — русский император с 1761 г., был сыном герцога голштейн-готторпского Карла-Фридриха и Анны Петровны, дочери Петра I, т. е. приходился Елизавете Петровне племянником.

[30] Смысл этого замечания Дашковой понятен в свете того, что Елизавета Романовна Воронцова была фавориткой вел. кн. Петра Федоровича.

[31] Алексей Богданович *Челищев* (ум. в 1805 г.) — подпоручик л.-гв. конного полка. Варвара Симоновна *Гендрикова* — по матери рожд. Скавронская, родная племянница Екатерины I и двоюродная сестра Елизаветы Петровны. Об их последующем венчании 24 января 1763 г. — запись в камер-фурьерском журнале за 1763 г.

[32] *...смертная казнь уже не применялась.* — В 1753—1754 гг. были изданы указы, отменявшие смертную казнь как за политические, так и за уголовные преступления. Однако сохранилась «Канцелярия тайных дел», где применялись пытки и жестокие наказания.

[33] *...прусскому королю...* — Имеется в виду Фридрих II (1712—1786) — прусский король с 1740 г.

[34] *...тучи над вашей головой.*— Слухи о том, что Петр III собирается развестись с Екатериной и либо выслать ее, либо заточить в монастырь, были широко распространены в обществе (См.: Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 2. Берлин, 1900, с. 14).

[35] *...у меня нет никакого плана...* — Екатерина готовилась к перевороту заранее, ведя переговоры с Н. И. Паниным (Бильбасов В. А. История Екатерины Второй. Т. 1. Спб., 1890, с. 403—404), обсуждая подробности заговора с братьями Орловыми (Екатерина II. Записки. Спб., 1907, с. 518, 570).

[36] *...присущей семнадцати годам...* — Е. Р. Дашковой в 1762 г. было 19 лет.

[37] *...тревогу всех истинных патриотов.* — На самом деле Р. И. Воронцов был приверженцем Петра III. В день переворота он находился в числе близких императору людей в Ораниенбауме.

[38] *...соответствует их домыслам.*— Возможно, Дашкова имела в виду книгу Салдерна «Histoire de la vie Pierre III, Empereur de toutes les Russies (История жизни Петра III, императора всероссийского) (Metz, 1802), которая является панегириком Петру III.

[39] *...не хочу повторять.*— В английском издании «Записок» М. Брэдфорд приводится содержание этого разговора. Это одно из тех дополнений, которые были либо вписаны в копию Марты рукой Дашковой, либо ею продиктованы. В «воронцовскую» копию это дополнение не попало. Из приведенного разговора явствовало, что Петр III собирался лишить трона Екатерину и возвести на ее место «Романовну», т. е. Елизавету Воронцову. Кроме того, император посоветовал Дашковой искать расположения и покровительства своей старшей сестры (Memoirs., 1840, v. 1, p. 38).

[40] Александр Александрович *Нарышкин* (1726—1795) — камергер вел. кн. Петра Федоровича; позже обер-гофмейстер; его жена — Елена Александровна, рожд. гр. Апраксина (ум. в 1767 г.); Лев Александрович *Нарышкин* (1733—1799) — обер-шталмейстер, «шут» Петра III (о нем писала Екатерина II в «Записках». — Спб., 1907, с. 320); его жена — Мария Осиповна, рожд. Закревская (ум. в 1800 г.); Михаил Львович *Измайлов* (ум. в 1799 г.) — генерал-майор; *...графиня Елизавета* — Елизавета Романовна Воронцова (1739—1792); Алексей Петрович *Мельгунов* (1722—1788) — генерал-лейтенант, любимец Петра III; после переворота некоторое время был не у дел, затем генерал-губернатор в Новороссийской губернии, в Ярославле и Вологде; Андрей Васильевич *Гудович* (1731—1808) — генерал-адъютант Петра III; Карл Карлович *Унгерн-Штернберг* (1730—1799) — барон, генерал-адъютант Петра III; Прасковья Александровна *Брюс*, рожд. гр. Румянцева (1729—1786) — статс-дама.

[41] Никита Юрьевич *Трубецкой* (1699—1767) — князь, генерал-фельдмаршал с 1756 г., в 1760—1762 гг. — президент Военной коллегии, 28 февраля 1762 г. был

пожалован в подполковники Преображенского полка, полковником которого был сам Петр III.

[42] *...поиздеваться над духовными лицами...* — Петр III, воспитанный в духе лютеранской религии (его как внука Карла XII готовили к принятию шведского престола), с пренебрежением относился к русскому духовенству. Примечательно, что незадолго до переворота он приказал архиепископу новгородскому Димитрию вынести из церквей все образа, кроме Христа и богородицы, всем «попам, бороды свои обрить» и носить «такое платье, какое носят иностранные пасторы» (Бильбасов В. А. Дидро в Петербурге. Спб., 1884, с. 3).

[43] *...за локоны, галстуки и мундиры.* — Петр III ввел в армии форму прусского образца. (См.: Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Т. 3. Спб., 1899, с. 103—104.)

[44] Роберт *Кейт* (ум. в 1774 г.) — дипломат, английский посол в Вене в 1748—1758 гг. и посланник в Петербурге в 1758—1762 гг.

[45] Флоримонд Арженто *де Мерси* (1727—1794) — граф, австрийский посол в Петербурге при Екатерине II; в 1766 г. переведен в Париж; имел большое влияние при дворе Марии-Антуанетты.

[46] *...прусскому посланнику...* — Речь идет о бароне Гольце. Бернард-Вильгельм Гольц (ум. в 1795 г.) — подполковник, прусский камергер, адъютант Фридриха II.

[47] *...королевы Венгрии и Богемии.*— Слова «богемец» и «цыган» по-немецки звучали одинаково (Böhmen).

[48] *...отделиться от австрийской армии.*— Петр III приостановил военные действия против Пруссии, 5 марта 1762 г. было заключено перемирие, и русский корпус под командованием З. Г. Чернышева был отозван.

[49] *...секретарем Совета...* — Так называемый «Совет при высочайшем дворе» был официально учрежден Петром III 18 мая 1762 г.; при Елизавете Петровне подобный орган носил название «Конференции при высочайшем дворе».

[50] Дмитрий Васильевич *Волков* (1718—1785) — сенатор, в 1755—1761 гг. — секретарь «Конференции при высочайшем дворе»; при вступлении на престол Петра III был назначен тайным секретарем Совета. Сам Волков в письме к Г. Г. Орлову от 11 июля 1762 г. отрицал слух о передаче им сведений прусскому королю (Русская Старина, 1874, XI, с. 487).

[51] Никита Иванович *Панин* (1718—1783) — государственный деятель, дипломат, русский посланник в Дании, Швеции. В 1763—1781 гг. — руководитель коллегии иностранных дел.

[52] Принц *Георгий Голштейн-Готторпский* (1719—1763) — генерал на прусской службе; был вызван в Россию, произведен в фельдмаршалы и полковники л-гв. конного полка.

[53] *Салдерн* — голштинец, конференц-советник при Петре III. Автор книги «История жизни Петра III...».

[54] Август-Фридрих, принц Голштинский (1711—1785) — дядя Петра III.

[55] *...гражданский чин.* — По «Табели о рангах» генеральскому чину соответствовал чин действительного тайного советника.

[56] Петр Иванович *Панин* (1721—1789) — граф, генерал-аншеф с 1762 г.

[57] *...войны с Пруссией.* — Речь идет о Семилетней войне.

[58] *После революции...* — Здесь и далее Дашкова употребляет термин «революция», имея в виду переворот 1762 г.

[59] *...в Константинополь.*— А. Р. Воронцов утверждал, что на это место М. И. Дашков был назначен благодаря влиянию Елизаветы Романовны Воронцовой (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 172).

[60] *...мир с прусским королем...* — Так называемый «вечный мир» между Россией и Пруссией был заключен 5 мая 1762 г.

[61] *...лица первых трех классов...* — В «Табели о рангах» обозначено: «**Чины гражданские** — 1-й класс: государственный канцлер, 2-й класс: действительный тайный советник, 3-й класс: тайный советник. **Чины военные** — 1-й класс: генерал-фельдмаршал, 2-й класс: генерал от инфантерии, генерал от кавалерии, генерал от артиллерии; 3-й класс: генерал-лейтенант. **Чины морские** — 1-й класс: генерал-адмирал, 2-й класс: адмирал, 3-й класс: вице-адмирал. **Чины придворные** — 1-й класс: нет, 2-й класс: обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-шенк, 3-й класс: гофмейстер, гофмаршал, егермейстер».

[62] *...кузена... графа Строганова...* — Речь идет о муже двоюродной сестры Дашковой, Анны Михайловны,— Александре Сергеевиче Строганове.

[63] *...ценит своих подданных.*— Идея ограниченной монархии в России имела своих приверженцев (например, в лице Н. И. Панина).

[64] Николай Андреевич *Корф* (1710—1766) — барон, майор л.-гв. конного полка, затем генерал-аншеф, петербургский генерал-полицеймейстер, главный директор полиции.

[65] *...войны с Данией.* — Петр III намеревался отобрать у Дании герцогство Шлезвиг, считая его своим наследственным владением. В русско-прусском мирном договоре имелся пункт о помощи Фридриха II Петру III в случае начала военных действий. Война была очень непопулярна, особенно в гвардии.

[66] *...отказаться от войны.* — Фридрих II, несмотря на обещанную помощь, не был заинтересован в русско-датской войне, так как не хотел отвлекать свои силы от борьбы с Австрией. (Письмо Фридриха II от 4 мая 1762 г., в котором он советовал Петру III повременить с началом войны,— см.: Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII, с. 73.)

[67] Петр Богданович *Пассек* (1736—1804) — капитан-поручик л.-гв. Преображенского полка, камергер.

Сергей Александрович *Бредихин* (1744—1781) — капитан-поручик л.-гв. Преображенского полка. Вовлечен в заговор Г. Орловым; Екатерина II знала о его активном участии за несколько месяцев до переворота. В русско-турецкой войне, в кампании 1770 г., получил чин бригадира, а по возвращении был при дворе вначале камер-юнкером, затем — камергером.

Николай Иванович *Рославлев* (1724—1785) — премьер-майор л.-гв. Измайловского полка. Позднее участвовал в заговоре Хитрово; был арестован, сослан, но через 2 года возвращен из ссылки; получил звание генерал-лейтенанта.

Александр Иванович *Рославлев*.

[68] Жан-Доминик-Жозеф *Одар* (1739—1808) — надворный советник.

[69] *...таких солдат и подданных, как русские.* — Имеется в виду резко враждебная позиция России по отношению к революционной Франции, вылившаяся уже при Павле I в прямом участии русских войск в действиях 2-й коалиции.

Александр Васильевич *Суворов* (1729/30—1800) — полководец, генералиссимус русской армии (с 1799 г.).

[70] Кирилл Григорьевич *Разумовский* (1728—1803) — фельдмаршал, последний гетман Украины (1750—1764); президент Академии Наук (1746—1798).

[71] *...удалось прекрасно.* — Честь вовлечения в заговор К. Г. Разумовского приписывал себе и Панин (Русский Архив, 1878, III, с. 363—369).

[72] Почтовые отправления посылались в определенные дни.

[73] *Красный Кабак* — постоялый двор, расположенный по Петергофской дороге в 10 верстах от Петербурга.

[74] *...по образцу шведской монархии.* — Н. И. Панин сразу после переворота представил Екатерине II проект учреждения Имперского совета и реформы сената. Во введении к проекту давалась резкая критика господствовавшего в управлении государством произвола и предлагалось учредить Совет из 6—8 министров; причем все бумаги до подписи императрицы должны были проходить через Совет. Екатерина II проект отвергла.

[75] Николай Васильевич *Репнин* (1734—1801) — князь, генерал-майор, с 1796 г. — генерал-фельдмаршал; чрезвычайный посланник в Варшаве. Был женат на родной племяннице Паниных — Наталье Александровне Куракиной (1737—1797).

[76] Летний дворец был построен в 1710—1714 гг. архитектором Д. Трезини в Летнем саду на берегу речки, названной Фонтанкой.

[77] *Резидент* — представитель государя; по рангу ниже, чем посол.

[78] Михаил Егорович *Баскаков* (1742—1814) — капитан-поручик л.-гв. Преображенского полка; после переворота 1762 г. — камер-юнкер.

Федор Сергеевич *Барятинский* (1742—1811) — князь, поручик Преображенского полка, камер-юнкер. Получил в награждение за участие в перевороте 1762 г. 24 тыс. рублей; Федор Александрович *Хитрово* — секунд-ротмистр л.-гв. конного полка, камер-юнкер.

[79] Григорий Николаевич *Теплов* (1711—1779) — советник канцелярии; статс-секретарь Екатерины II. При Петре III за непочтительный отзыв об императоре был арестован, но скоро выпущен. С 1775 г. — сенатор.

80 *...сразу же арестовали...* — Петр Иванович *Измайлов* (1724—1807). Пассек был арестован «не сразу», а 27 июня вечером по приказу Петра III после того, как капитан Измайлов сообщил о словах капрала ротному командиру Воейкову.

81 *Архиепископ Новгородский...* — Имеется в виду Димитрий (Даниил) Алексеевич Сеченов (1709—1767) — архиепископ Новгородский и Великолуцкий; с 1762 г.— митрополит Новгородский.

82 Михаил Никитич *Волконский* (1713—1788) — подполковник конной гвардии, позже генерал-майор; сенатор; прославился в Семилетнюю войну 1756—1763 гг.; в 1768 г. посланник в Польше; главнокомандующий Москвы (1771—1780).

83 *...в пользу Марии-Терезии...* — т. е. австрийской эрцгерцогини. Австрия вместе с другими союзниками выступила в Семилетней войне против Пруссии, которая потерпела сокрушительное поражение от русско-австрийских войск в битве при Кунерсдорфе в 1759 г.

84 *«Новая Сербия»* — область на Правобережной Украине; создана в 1752 г. в связи с организацией военных поселений для обороны юга Украины от нападения турок и татар. Население составляли венгры, сербы, болгары, валахи, греки. Мужское население делилось на 2 полка — гусарский и пехотный. В 1754 г. в Новую Сербию переселилось много казаков с Левобережной Украины. В 1764 г. территория Новой Сербии была преобразована в Новороссийскую губернию (административный центр — г. Кременчуг).

85 Платон Степанович *Мещерский* (1713—1799) — генерал-губернатор Украины в 1769—1775 гг.

86 О Льве Нарышкине и Мельгунове см. выше, коммент. 40.
Случай основывался на шутовстве... — Случай — в значении: фавор. Ср. в «Горе от ума» А. С. Грибоедова: «Вельможа в случае...».
Александр Иванович *Глебов* (1722—1790) — обер-прокурор Сената.

87 *Профос* — парашник, убирающий нечистоты в военных лагерях; полковой палач. Слово «профос» в тексте Дашковой написано по-русски.

88 *Григорий* Григорьевич *Орлов* (1734—1783) — граф, фаворит Екатерины II. Один из организаторов дворцового переворота 1762 г. Генерал-фельдцейхмейстер русской армии.

89 Имеется в виду Алексей Григорьевич *Орлов* (1737—1808).

90 Михаил Михайлович *Измайлов* (1719—1800) — управляющий двором и комендант Петергофа; при Петре III — генерал-майор. Отказался присягать Екатерине II и был уволен.

91 Евграф Александрович *Чертков* (ум. в 1799 г.) — поручик л.-гв. Преображенского полка; после переворота — камер-юнкер; затем камергер, тайный советник.

92 *...братом Орловых.*— Это был Федор Григорьевич Орлов (1741—1796).

93 *...исполнит мои пожелания.*— С. М. Соловьев считает, что Орлов был прислан братьями наблюдать, «что делает и думает другая Романовна» (т. е. Дашкова). (Соловьев С. М. История России.., кн. XIII, с. 92). По свидетельству Н. И. Панина, к Дашковой приезжал не четвертый брат Орловых, а Алексей Орлов — «узнать, не последовало ли какой перемены в решении...» (Русский Архив, 1879, III, с. 365).

94 Александр Федорович *Талызин* (1734—1787) — поручик л.-гв. Семеновского полка. Капитаном (и камер-юнкером) был пожалован после переворота.

95 Бурхардт-Кристоф *Миних* (1683—1767) — граф, генерал-фельдмаршал, в 1740—1741 гг.— первый министр. Был сослан в 1742 г.; возвращен из ссылки Петром III в 1762 г.

96 Иван Лукьянович *Талызин* (1700—1777).

97 *...император послал генерала Измайлова...*— Петр III с первым письмом к Екатерине (предложением примириться) послал вице-канцлера Александра Михайловича Голицына; М. Л. Измайлов привез отказ от прав на престол во втором письме.

98 *...другие речи, нежели мой дядюшка.*— Измайлов говорил: «После отречения вполне свободного я вам его (Петра III.—*Г. В.*) привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны». Императрица поручила ему устроить это дело» (Соловьев С. М. История России.., кн. XIII, с. 99).

99 *...отказался принести присягу Екатерине...* — Это неверно. В письме от 28 июня 1762 г. М. И. Воронцов просился в отставку, т. е. в этот момент находился на службе, что было бы невозможно в случае отказа от присяги.

100 *...он был еще великим князем.* — Местом заключения низложенного императора был намечен Шлиссельбург, но, поскольку не успели приготовить подобающее помещение, Петру III было предложено выбрать место пребывания. Он и предпочел Ропшу.

101 *...нескольких названных им человек...*— По просьбе Петра III к нему в Ропшу были направлены его личный врач Лидерс, обер-камердинер Тимлер и арап Нарцисс.

102 *...в ее покровительстве.*— Екатерина II действительно не преследовала Е. Р. Воронцову и разрешила ей жить в Москве, а после выхода замуж за Александра Ивановича Полянского — и в Петербурге.

103 *...с лентой на плече...* — Орденская лента ордена св. Екатерины образует большой бант, на котором вышиты слова: «За любовь и отечество».

104 *...я была причислена к этой группе.*— Награждение участникам переворота было объявлено всенародно. В первом наградном списке на 40 человек, которым императрица оказала «особливые знаки своего благоволения и милости», награжденные делились на 4 категории — Е. Р. Дашкова была отнесена в числе 17 лиц ко второй категории. (С.-Петербургские ведомости, № 64, 9 августа 1762).

105 *...от докучливого безумца.*— Иван Иванович *Бецкий* (1704—1795) — камергер; генерал-поручик. Незаконный сын фельдмаршала И. Ю. Трубецкого. В юности, живя в Париже, был представлен матери будущей Екатерины II, в связи с чем имел место слух, что Екатерина II — его дочь. При дворе у него было особое положение: за все свои действия он отвечал только перед императрицей. Во время переворота находился в числе приближенных Петра III и был с ним на галере, которая пыталась войти в Кронштадтскую гавань. Приготовление короны на самом деле Бецкому поручено не было, но как главный директор «Канцелярии от строений» он ведал присылкой в Москву для подготовки к коронации различных мастеров. В 1763—1794 гг.— президент Академии художеств и директор Кадетского корпуса. В целом Дашкова весьма субъективна в оценке И. И. Бецкого.

106 Эрнст Иоганн *Бирон* (1690—1772) — фаворит Анны Иоанновны.

107 Алексей Петрович *Бестужев-Рюмин* (1693—1766) — граф, канцлер. С 1744 по 1758 г. направлял иностранную политику России, ориентируясь на союз с Англией, Австрией и Саксонией против франко-прусского союза. При Екатерине II — генерал-фельдмаршал.

108 *...не было и 14 лет.*— Бестужев был сослан в феврале 1758 г.; в то время Дашковой было 15 лет. Замысел Бестужева-Рюмина, вмененный ему в преступное намерение, состоял в провозглашении Павла императором, а Екатерины — регентшей, в обход официально провозглашенного наследником престола Петра Федоровича.

109 Иоганн-Герман *Лесток* (1692—1767) — граф, сын французского эмигранта. В России с 1713 г.— в качестве личного врача Петра I. Принимал участие в дворцовых интригах, способствовал восшествию на престол Елизаветы Петровны. В свое время противодействовал Бестужеву в проведении его антифранцузской и антипрусской политики. В ноябре 1748 г. был арестован и после года пребывания в тюрьме выслан в Углич, затем в Великий Устюг. Возвращен из ссылки в 1762 г. Петром III.

110 *...причастна к его смерти...* — Петр III был убит в Ропше 6 июля 1762 г. Мнение о том, что Екатерина II санкционировала убийство, высказывали К. Рюльер, С. Марешаль и др. (См.: Лихотин Г. А. Сильвен Марешаль и «Завещание Екатерины II». Л., 1974, с. 44 и далее.)

111 Александр Андреевич *Безбородко* (1747—1799) — светлейший князь; с 1775 г.— секретарь Екатерины II, с 1783 г. — фактический руководитель всей внешней политики, с 1797 г.— канцлер.

112 Письмо Алексея Орлова — важный для реабилитации Екатерины II документ — хранилось ею очень тщательно. Павел I сжег письмо, но Ф. В. Ростопчин успел до того снять с него копию и переслал ее вместе со своими замечаниями в Лондон С. Р. Воронцову (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 431).

Екатерина Ивановна Нелидова (1756—1839) — с 1777 г. фрейлина Марии Федоровны, жены Павла; имела на Павла I большое влияние.

Федор Васильевич *Ростопчин* (1763—1826) — генерал от инфантерии; в 1798—1801 гг. фактический руководитель коллегии иностранных дел, доверенное лицо Павла I. В 1801 г. выслан Павлом в Москву. Некоторое время находился в оппозиции к политике Александра I. В 1812—1814 гг.— московский главнокомандующий. С 1823 г.— в отставке.

[113] Пауль *Лопиталь* — французский посол в Неаполе в 1740—1756 гг.; в Петербурге — в 1756—1761 гг.; маркиз, генерал-лейтенант.

[114] Василий Николаевич *Зиновьев* (1754—1822) — дипломат, сенатор, масон. Товарищ А. М. Кутузова и А. Н. Радищева по Лейпцигскому университету. Двоюродный брат Орловых, мать которых — рожд. Зиновьева.

[115] *...пробыл там до конца жизни.* — М. А. Пушкин был советником мануфактур-коллегии, президентом ее был Д. В. Волков. В октябре 1772 г. братья Пушкины — Михаил и Сергей — за изготовление фальшивых ассигнаций были приговорены к лишению чинов и дворянства. Михаил был приговорен к ссылке в Сибирь, Сергей — к пожизненному заключению. В документах их именовали «бывшие Пушкины» (Русский Архив, 1871, X, с. 1690—1693).

[116] *Прибыв в собор...* — Русские цари короновались в Успенском соборе в Кремле.

[117] *...скромное место...* — Дашкова не упомянула, что приглашенным указывал места ее муж, М. И. Дашков, заменивший одного из заболевших церемониймейстеров (Камер-фурьерский журнал на 1762 г., с. 42).

[118] *...орудием честолюбия Григория Орлова.* — Есть убедительные доказательства того, что Бестужев был орудием самой Екатерины II. (См.: Бильбасов, т. 2, с. 283).

[119] *...всеобщее уважение.* — Некоторые изданные депеши иностранных послов свидетельствуют, что от брака с Г. Г. Орловым Екатерину отговорил именно М. И. Воронцов (Архив кн. Воронцова, кн. 31, с. 236—237); по другим данным, с Екатериной II объяснялся по этому поводу не Воронцов, а Н. И. Панин (Бильбасов, т. 2, с. 286—287).

[120] *Хитрово был арестован...* — См. коммент. 78. О деле Хитрово и др., решивших убить Гр. Орлова, чтобы не допустить его брака с императрицей, см.: Соловьев С. М. История России.., кн. XIII, с. 209—211.

[121] Василий Иванович *Суворов* (1705—1776) — генерал-поручик, сенатор.

[122] *...в семи верстах от Москвы.* — Видимо, речь идет об имении Дашковой с. Щукине.

[123] *...дом Одара.* — В тексте «Записок», который использован как источник для нашей публикации, к этим словам сделано следующее примечание: «Кажется странным, что княгиня Дашкова не имела собственного дома и должна была нанимать дом своего протеже, который сам имел его от щедрот императрицы». Примечание не имеет подписи. Видимо, оно принадлежит издателю «Архива кн. Воронцова» П. И. Бартеневу.

[124] *Август* III Фридрих (1696—1763) — король польский, курфюрст Саксонский с 1733 г. Его правление — время политического кризиса Речи Посполитой.

[125] *...корону за собой.* — По унии с Польшей курфюрст Саксонский мог быть избран королем Польши.

[126] *...из пястов.* — Пясты — польская княжеская (ок. 960—1025 гг.) и королевская (1025—1079 гг.; 1295—1370 гг.) династия. В XVII—XVIII вв. пястами называли кандидатов на престол из поляков.

[127] *Чарторыйские* — польский княжеский род.

[128] Станислав Август *Понятовский* (1732—1798) — последний польский король (1764—1795).

[129] *Захар* Григорьевич *Чернышев* (1722—1784) — граф, генерал-фельдмаршал. С 1763 г. — вице-президент, с 1773 г.— президент Военной коллегии, с 1775 г.— наместник Полоцкой и Могилевской губернии. В 1782—1784 гг. — главнокомандующий в Москве.

Иван Григорьевич *Чернышев* (1726—1797) — граф, обер-прокурор Сената, вице-президент Адмиралтейской коллегии. В 1757 г. получил в подарок казенные медные заводы на Урале. Братья Чернышевы — представители новой знати елизаветинского царствования.

[130] *...замысла императрицы.* — Екатерина II хотела возвести на польский престол своего ставленника. 23 августа 1763 г. она писала Понятовскому: «Я немедленно отправлю гр. Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем по смерти Августа III; если же моему послу не удастся сделать вас королем, я хочу, чтобы королем был кн. Адам Чарторыйский» (Архив кн. Воронцова, кн. 25, с. 414).

[131] Борис Александрович *Куракин* (1733—1764) — генерал-поручик, князь, гофмейстер.

[132] *...заключенному... Иоанну...* — Иоанн (Иван Антонович) (1740—1764) — формально российский император в 1740—1741 гг.; за него правил Э. И. Бирон, затем мать Анна Леопольдовна. Был свергнут гвардией в пользу Елизаветы

Петровны и заключен в тюрьму; убит охраной Шлиссельбургской крепости при нападении на тюрьму отряда Мировича.

Василий Яковлевич *Мирович* (1740—1764) — подпоручик Смоленского полка; после неудавшейся попытки освободить и возвести на престол Ивана Антоновича был казнен.

133 *...письмо от Алексея Орлова...* — С. М. Соловьев, излагая по архивным документам дело Мировича, писал, что первое письмо с сообщением о попытке освободить Ивана Антоновича было получено Екатериной в Риге от Н. И. Панина 9 июля 1764 г. (См.: Соловьев С. М. История России.., кн. XIII, с. 317.)

134 Иван Порфирьевич *Елагин* (1725—1794) — сенатор, статс-секретарь Екатерины II. Директор придворного театра, писатель. Один из первых масонов в России.

135 *...связи между мной и этим несчастным...* — Австрийский посланник в Петербурге кн. Лобкович, сообщая о деле Мировича, 3. VIII 1764 г. писал Кауницу: «Кн. Дашкова находится в сильном подозрении»; Панин, «слагая вину на Мировича, выгораживает Дашкову». 7. VIII 1764 г. он сообщил, что «княгиня Дашкова находится пока в имении кн. Куракина, а затем отправится в свои подмосковные поместья». Через 3 дня — новое известие: «Кн. Дашкова возвратилась в Санкт-Петербург» (РИО, т. 109, с. 65, 68, 70, 73).

136 *...а затем предала его.* — Французский поверенный в делах Беранже и саксонский посланник И.-Г. Сакен в депешах сообщали, что дело Мировича — «не более, как комедия, разыгранная с ведома Екатерины единственно для эпилога — умерщвления ненавистного ей Ивана...» (Бильбасов, т. 2, с. 356); С. Марешаль прямо обвиняет Екатерину II в убийстве Ивана Антоновича (см.: Лихотин Г. А. Сильвен Марешаль и «Завещание» Екатерины II, с. 44). Эти версии события привлекли внимание А. И. Герцена: «...ходили слухи, что попытка Мировича освободить и возвести на престол Иоанна Антоновича была спровоцирована Екатериной, искавшей предлога уничтожить низложенного императора» (Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XII, с. 561).

137 Жак *Неккер* (1732—1804) — финансист, французский политический деятель, в 1771—1781, 1788—1790 гг.— министр финансов. Принимал участие в подготовке созыва Генеральных штатов 1789 г.

Сюзанна *Неккер* (1739—1794) — жена министра финансов, писательница; мать знаменитой писательницы Жермены де Сталь.

138 *...без огласки.*— Джулио Мазарини (1602—1661), с 1641 г.— кардинал, с 1643 г.— первый министр Франции; выдающийся дипломат и ловкий политикан, использовавший все средства для достижения цели.

139 Карл-Генрих фон *Кейзерлинг* (1727—1794) — дипломат, русский посол в Пруссии, Австрии и Польше.

140 Карл Федорович *Крузе* (1727—1799) — немецкий врач; жил в России с 1750 г.; лейб-медик Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I. Член Петербургской академии наук.

141 *...покинутая своей семьей...* — О плохих отношениях Дашковой с семьей говорят многие свидетельства (см., напр.: Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 105, 106, 145, 172).

142 *...не изменял нашей дружбе...* — Сохранилось несколько писем А. Р. Воронцова к Е. Р. Дашковой, в которых он резко упрекает ее в том, что она в трудную минуту оставила сестру Елизавету. Потом отношения Дашковой со старшим братом наладились.

143 Джон *Кельхен* (Иван Федорович) (1722—1800) начал карьеру как домашний врач З. Г. Чернышева, затем стал личным врачом Екатерины II. Секретарь Русского экономического общества.

144 *...отдала его своей внучке Глебовой...* — В архиве имеются сведения о продаже этого дома на Никитской Федору Ивановичу Глебову (ГИМ ОПИ, ф. 47, ед. 257, л. 17).

145 *...немецких колонистов...* — 14 октября 1762 г. был дан указ Сенату об иностранных поселенцах в России — принимать всех желающих; им предоставлялись льготы (ПСЗ № 12109, 12443, 12581 и др.). О манифесте, касающемся переселения иностранцев, 4 декабря (ПСЗ № 11720) Екатерина писала генерал-прокурору: «Сей манифест должно публиковать на всех языках и во всех чужестранных газетах».

146 Федор Матвеевич *Воейков* (1703—1778) — генерал-аншеф, киевский губернатор, русский посланник в Польше.

[147] *Печерский монастырь,* точнее, Киево-Печерская лавра,— мужской монастырь, основанный в 1051 г. при Ярославе Мудром. Успенский собор — его древнейшая и главная постройка — сооружен в 1073—1078 гг.

[148] *..до отделения восточной церкви.* — Речь идет о разделении на восточную (греко-православную) и западную (римско-католическую) церковь, которое подготовлялось в течение нескольких веков. Датой распада христианской церкви традиционно считается 1054 г., хотя безусловным его завершением можно считать 1204 г.— когда Константинополь был захвачен и разграблен крестоносцами.

[149] *...существовали Академия и университет...* — В это время в Киеве существовала только Академия. Образована в 1632 г. слиянием Киевской братской школы и Могилянской школы при Киево-Печерской лавре. До 1701 г. называлась Киево-братской или Киево-Могилянской коллегией. По указу Петра I в 1701 г. получила название и права академии.

[150] *...сумма была смехотворной...* — Для сравнения: И. Н. Корсакову, фавориту Екатерины II, на заграничное путешествие было пожаловано 200 тысяч рублей (см.: Энгельгардт Л. Н. Записки. М., 1860, с. 10).

[151] Амалия-Шарлотта *Кейзерлинг* (1729—1791) — известная миниатюристка, писательница.

[152] Иван Михайлович *Ребиндер* (1733—1792) — генерал-лейтенант; русский поверенный в Берлине (1762—1775); губернатор Полоцка, затем Нижнего Новгорода и Пензы.

[153] Петр Яковлевич *Штелин* — при Екатерине II секретарь русской миссии в Копенгагене, Гааге и Дрездене. Художник, переводчик.

[154] *...кузен Воронцов...* — Речь идет о незаконном сыне Романа Илларионовича Воронцова, единокровном брате Дашковой.

[155] Владимир Сергеевич *Долгоруков* (1717—1803) — русский посланник в Берлине.

[156] Карл Вильгельм Финк фон *Финкенштейн* (1714—1800) — прусский государственный деятель, кабинет-министр, дипломат, ближайший советник Фридриха II. Долгое время — руководитель внешней политики Пруссии.

[157] Сан Суси — королевский замок возле Потсдама, построенный в 1745—1747 гг. архитектором Г. Кнобельсдорфом.

[158] *...принца...* — Имеется в виду будущий Фридрих Вильгельм II (1744—1797), племянник и наследник Фридриха II, прусский король (1786—1797).

[159] *Ахен, Спа* — известные бальнеологические курорты в Пруссии и Нидерландах.

[160] Генри *Суссекс* (1728—1788) в 1757 г. женился на двоюродной сестре отца Марты Вильмот. В доме Суссексов Дашкова познакомилась с Эдвардом Вильмотом.

[161] *Экс-ан-Прованс* — курорт во Франции.

[162] *Пушкин...* — Имеется в виду Алексей Семенович Мусин-*Пушкин* (1732—1817) — русский посланник в Лондоне в 1765—1779 гг.

[163] Эта поездка описана Е. Р. Дашковой в статье «Путешествие одной российской знатной госпожи по некоторым английским провинциям» (Опыт трудов Вольного Российского собрания. Ч. II. М., 1775).

[164] *...высадились в Кале.*— В экземпляре копии «Записок», принадлежавшей М. Брэдфорд, после этих слов полстраницы вписано рукой Дашковой. Упомянув об ужасной буре, застигшей корабль, на котором они пересекали Ла-Манш, Дашкова добавила рассказ о том, как она поставила в пример своим напуганным детям мужественное поведение капитана и матросов в критических обстоятельствах (Русский Архив, 1881, I, с. 378).

[165] Мария-Терезия *Жоффрен* (1699—1777) — хозяйка знаменитого парижского салона.

[166] Переписка Екатерины II с М.-Т. Жоффрен частично была опубликована (РИО, т. I. Спб., 1867, с. 253—291).

[167] *...до двух-трех часов ночи.* — Дидро в статье о Дашковой писал: «...Мы провели с ней... четыре вечера, от пяти часов до полуночи, я имел честь у нее обедать и ужинать» (Memoirs.., 1840, v. 2, p. 234).

[168] *...опеку, состоящую из выбранных дворян.*— До 1775 г. подобной опеки из «выбранных дворян» не существовало. Опека была частной: либо родственной, либо по завещанию.

[169] Клод Карломан *Рюльер* (1735—1791) — французский историк и дипломат. В 1760—1762 гг.— секретарь французского посланника в России. Автор памфлета «История, или анекдоты о революции в России в 1762 г.» (написана в 1768 г.).

Луи Огюст *Бретейль* (1730—1807) — французский посол при русском дворе; был также посланником в Дании, Швеции, Австрии. В 1789 г. премьер-министр Франции.

170 ...*тогда еще великой княгиней*... — О том, что Станислав Понятовский, член польского посольства в Петербурге, был любовником Екатерины, знали в обществе.

171 ...*госпожи де Граммон*... — Беатриса Граммон (1730—1794); играла важную роль в политических салонах Парижа.

172 ...*называет себя так же*. — Действительно, в письмах к Понятовскому Жоффрен писала: «Мой обожаемый сын», «мой дорогой сын», а он ее называл «дорогая мама».

173 Федор Григорьевич *Орлов* (1741—1796) — участник Семилетней войны; после переворота 1762 г. назначен обер-прокурором Сената. Отличился в битве при Чесме в 1770 г. С 1775 г.— в отставке.

174 Людовик XV (1710—1774) — король Франции (1715—1774), прозванный придворными «горячо любимый».

...*дофин*...— будущий король Людовик XVI (1754—1793), внук Людовика XV; ...*его супруга*...— Мария Антуанетта (1755—1793).

Аделаида (1732—1800) и Виктория-Луиза (1733—1799) — принцессы, дочери Людовика XV и Марии Лещинской.

175 ...*вы голландка?* — До 1795 г. Голландия входила в состав буржуазной республики «Соединенные провинции», которую иногда называли «Голландская республика».

176 Этьен Франсуа *Шуазель* (1719—1785) — французский министр иностранных дел, премьер-министр Франции.

177 ...*парламент был отсюда выслан*... — Разгон парижского и провинциальных парламентов в январе 1771 г. связан с именем канцлера и хранителя печати в 1768—1774 гг. Рене Никола Мопу (1714—1792), желавшего освободить правящую дворцовую бюрократию от контроля и критики со стороны парламентов.

178 *Граф д'Артуа* (1757—1836) — будущий французский король Карл X (1824—1830), внук Людовика XV.

179 Жан *Гюбер* (1721—1786) — швейцарский художник и натуралист, друг Вольтера. Автор серии картин из частной жизни Вольтера, которые купила Екатерина II.

180 Жан-Батист *Пигаль* (1714—1785) — французский скульптор, представитель классицизма, член Парижской Академии. Известна его статуя обнаженного Вольтера.

181 Луиза *Дени* (1712—1790) — автор нескольких рассказов и пьесы. Племянница Вольтера, его друг и наследница.

182 ...*русская семья господина Веселовского*. — Авраам Павлович Веселовский (1683—1780) — русский дипломат, резидент в Амстердаме в 1715 г., затем — в Вене. В 1719 г. покинул Австрию вследствие разрыва русско-австрийских отношений. В Россию не вернулся, опасаясь быть привлеченным к суду по делу царевича Алексея.

183 ...*Крамером*...— Братья Крамеры — Габриэль (1723—1793) и Филибер (1727—1779) — владельцы типографии, где печатались многие произведения Вольтера. Тесные дружеские отношения связывали Габриэля Крамера и его жену с великим писателем. Часто они гостили у Вольтера в Фернее и принимали его у себя. Габриэль Крамер обладал актерскими дарованиями и отличался хорошим литературным вкусом. Переписка Вольтера с Г. Крамером неоднократно публиковалась.

184 *Карлсруэ* — столица Бадена. Основан в 1715 г., построен по образцу Версаля.

185 ...*в последние годы*.— Картина «Иоанн Креститель» была написана по рисунку Рафаэля кем-то из его учеников (см.: Вышеславцев А. В. Рафаэль. Спб., 1894, с. 613 и 685).

186 ... *своей учености*.— Владимир Григорьевич *Орлов* (1743—1831); получил образование в Лейпцигском университете; способствовал популяризации переводов классических авторов; сам перевел главу «Велизария» Мармонтеля; вел дневники во время заграничных путешествий, оставил записки о путешествии Екатерины II по Волге, в котором принимал участие. Директор Академии Наук в 1766—1774 гг. Был организатором экспедиций П. С. Палласа. Характеристика Дашковой необъективна.

187 В отношении к Руссо, которого Дашкова называет «опасным» писателем и стремится поставить ниже Дидро и Вольтера и даже «вне» ряда выдающихся просветителей, ярко сказывается дворянская ограниченность ее мировоззрения.

188 Сергей Герасимович *Домашнев* (1743—1795) — поэт, переводчик. В 1775—1783 гг. директор Академии Наук (см.: Веселовский К. С. Борьба академиков с директором С. Г. Домашневым. — Русская Старина, 1896, IX).

189 *Карл,* герцог Зюдерманландский (1748—1818) — в 1792—1796 гг. регент при малолетнем Густаве IV; в 1809—1818 гг. — шведский король Карл XIII; король Норвегии (1814—1818).

190 *...мать-королеву.* — Имеется в виду шведская королева Луиза-Ульрике (1720—1782), жена Густава III, дочь прусского короля Фридриха I. Пыталась руководить политикой, стремилась усилить власть монарха, чем вызвала недовольство аристократии.

...старшего брата...— т. е. Густава III (1746—1792), короля Швеции (1771—1792).

191 *...объявил нам войну...* — Имеется в виду русско-шведская война 1788—1790 гг.

192 *...ее шедеврами...* — Дрезденская картинная галерея была основана в 1560 г. как дворцовое собрание саксонских курфюрстов; значительно расширена в 1722 г.

193 *...в карантине на шесть недель.*— Эпидемия чумы 1769—1771 гг., возникшая в расположении русских войск у Фокшан, перенеслась в Россию, поразила ряд местностей, но особенно сильно проявилась в Москве, где в разгар эпидемии умирало до 1000 человек в день. Дашкова не упоминает о восстании в Москве в сентябре 1771 г.— так наз. «Чумном бунте».

194 *...влияние на мою жизнь.*— Издатель «Записок» Дашковой на английском языке (Лондон, 1958), К. Фицлион, полагает, что речь идет о Марии Травиной-Жуковой — камер-юнгфере Екатерины II (см. с. 78 наст. изд.).

195 *...чуждая всякой мелочности и чванства...* — В воспоминаниях современников (например, М. М. Щербатова) Роман Воронцов предстает жадным и бессовестным лихоимцем, заслужившим прозвище «Роман — большой карман». Попытки Е. Р. Дашковой восстановить прерванные отношения с отцом (см. коммент. 141) долгое время оставались без ответа (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 181).

196 *...не был фаворитом.*— Г. Г. Орлов был фаворитом Екатерины II с 1760 по 1772 г.; его «сменил» А. С. Васильчиков (1744—1803), бывший в фаворе до 1774 г.

197 Джон-Самуэл *Роджерсон* (1741—1843) — шотландский врач. В 1765 г. закончил Эдинбургский университет и приехал в Россию. В течение 50 лет занимал должность лейб-медика. В 1795 г. получил землю и крепостных в Минской губ. Действительный статский советник. В 1816 г. вернулся на родину. (См. о нем: Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955, с. 340).

198 *...заключить мир на предложенных условиях.* — Речь идет о переговорах о Кючук-Кайнарджийском мире. Г. А. Потемкин прибыл из армии 4 февраля 1774 г. Григорий Александрович *Потемкин* (1736—1791) — вахмистр л.-гв. конного полка, затем генерал-поручик, в 1774—1776 гг. — фаворит Екатерины II; генерал-фельдмаршал, с 1784 г.— президент Военной коллегии; в 1787—1791 гг.— командующий русской армией во второй русско-турецкой войне.

199 Анжелика *Кауфман* (1741—1807) — немецкий живописец и график. Представитель классицизма.

200 *...улучшение положения греков...* — В борьбе против турецкого господства за освобождение родины греки возлагали надежды на помощь России, с которой их сближали общность религии, торговые и культурные связи. По Кючук-Кайнарджийскому миру (21.I.1774 г.) греческие суда получили возможность плавать под русским флагом, что усилило греческую торговлю на Черном море.

201 Петр Дмитриевич *Еропкин* (1724—1805) — генерал-аншеф; усмиритель «Чумного бунта» в Москве.

202 Василий Иванович *Левашов* (1740—1804) — генерал от инфантерии, командующий л.-гв. Семеновским полком, участник первой русско-турецкой и русско-шведской войн; действительный тайный советник, обер-егермейстер.

203 Петр Александрович *Румянцев*-Задунайский (1725—1796) — с 1770 г. генерал-фельдмаршал. В первой русско-турецкой войне одержал ряд побед, в том числе при Кагуле (1770 г.).

204 *...граф Семен получил повышение...*— С. Р. Воронцов в 1774 г. получил чин бригадира.

205 *...для основанного им кадетского корпуса.* — В научной литературе основание кадетского корпуса в Гродно относят к 1795 г.

206 *...с польским королем.* — Речь идет о польском короле Станиславе Августе Понятовском. См. о нем коммент. 128.

207 Станислав *Понятовский* (1755—1833) — племянник польского короля. С 1795 г. жил в Италии; владелец коллекции античной скульптуры.

208 Вильям *Робертсон* (1721—1793) — известный шотландский ученый-историк, ректор Эдинбургского университета с 1762 г.

209 Эдвард *Вильмот* (1747—1815) — отец Кэтрин и Марты Вильмот.

210 *...королеве Марии.* — Речь идет о шотландской королеве Марии Стюарт (1542—1587). Правила с 1561 по 1567 г.; восстание шотландской кальвинистской знати вынудило ее отречься от престола и бежать в Англию, где королева Елизавета I (1533—1603) заточила ее в тюрьму. Как участница католических заговоров была предана суду и казнена.

211 *...фаворит-итальянец.* — Имеется в виду итальянский музыкант Давид Риччио (1540—1566), секретарь королевы Марии Стюарт; он был убит одним из придворных в замке Голируд в Эдинбурге.

212 *...переписала для меня.* — Дневник путешествия в Шотландские горы опубликован не был. Его оригинал остался у Морган, которая действительно сделала копию для Дашковой. В 1804 г. Марта Вильмот сняла с этой копии копию для себя; она хранится в архиве М. Брэдфорд.

213 Хью *Блэр* (1718—1800) — профессор риторики и словесности Эдинбургского университета.

Адам *Смит* (1723—1790) — шотландский экономист, видный представитель классической буржуазной политической экономии, автор труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).

Адам *Фергюсон* (1723—1816) — философ, профессор этики Эдинбургского университета в 1764—1785 гг.

214 *Скарборо* — английский порт на берегу Северного моря в графстве Йоркшир.

215 *...посетили дорогу великанов...* — Дорога, или «Мостовая гигантов», находится на северо-востоке Ирландии, в графстве Антрим. Она образована вулканическими базальтовыми породами третичного периода и кажется вымощенной гигантскими плитами, образующими три параллельно идущие «мостовые» — Малую, Среднюю и Большую. Это уникальное создание природы напоминает произведение искусства, и народная ирландская легенда связывает ее происхождение с работой гигантов.

216 *Арабелла Денни* (1708 —1792) — известная ирландская благотворительница. Почетный член Дублинского общества поощрения искусств и земледелия.

217 *...приютом Магдалины...* — Так обычно назывались приюты для исправления падших женщин.

218 *Получив ноты...* — Ноты арии на четыре голоса сохранились в музыкальном альбоме Дашковой, обнаруженном в Отделе рукописей ГБЛ (см.: Пряшникова М. П. Музыкальный альбом Е. Р. Дашковой. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1982. Л., 1984, с. 191).

219 Генри *Граттан* (1746—1820) — видный деятель оппозиции в ирландском и английском парламентах.

220 *...несколько других мест.* — *Килкенни* — столица графства Килкенни, стоит на реке Нор в 73 милях к юго-востоку от Дублина. *Килларни* — город в графстве Керри, расположен близ озера Килларни, в 191 миле к юго-западу от Дублина. *Корк* — портовый город в Ирландии, расположен при впадении реки Ли в залив Корк. *Лимерик* — порт в западной Ирландии, в устье реки Шаннон.

221 *...представили их величествам...* — т. е. королю Англии и Ирландии в 1760—1820 гг. Георгу III (1738—1820) и королеве Софии-Шарлотте.

222 *Кью* — один из пригородов Лондона; расположен на Темзе на месте древнего поселения; известен со времен Генриха VIII. Георг III приобрел эти владения и основал там резиденцию для королевских детей.

223 *Маргет* — город на юго-востоке Англии в графстве Кент на берегу Северного моря, курорт.

Остенде — порт и курорт на берегу Северного моря, в Западной Фландрии.

224 *...братьев-гернгутеров...* — Имеются в виду члены религиозной секты, возникшей в Богемии в середине XV в.; из-за преследования со стороны католической церкви часть переселилась в некатолические государства.

225 *...принцесса наследница-мать...* — Имеется в виду Вильгельмина-Каролина Нассау-Дицкая, сестра Фридриха II.

226 Принц *Оранский...* — Имеется в виду наследственный штатгальтер Нидерландов Вильгельм V (1748—1806).

[227] *...князя и княгиню Орловых...* — Имеются в виду Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783), не раз упоминаемый в этой книге, один из организаторов переворота 1762 г., фаворит Екатерины II в 1760—1772 гг., и его жена Екатерина Николаевна, которые путешествовали по Европе.

[228] *...президенту Военной коллегии князю Потемкину...*— Г. А. Потемкин в это время был вице-президентом, президентом Военной коллегии он стал в 1784 г.

[229] Симон Андре *Тиссо* (1728—1797) — известный французский врач, автор большого числа работ; практиковал в Лозанне.

[230] Иван Иванович *Мелиссино* (1718—1795) учился в Сухопутном шляхетском корпусе; в 1757—1771 гг. был директором Московского университета, а с 1771 г. — куратором его; в 1768—1771 гг.— опекун Воспитательного дома. Инициатор создания в 1771 г. «Вольного российского собрания при Московском университете».

[231] Анна Степановна *Протасова* (1745—1825) — камер-фрейлина.

[232] *...верх над фаворитом...*— В 1778—1784 гг. фаворитом Екатерины II был А. Д. Ланской (1758—1784).

[233] Христиан Гийом де *Мальзерб* (1721—1794) — французский государственный деятель; известен своими выступлениями в защиту свободы печати, против цензуры.

[234] Иван Петрович *Салтыков* (1730—1805) — генерал-аншеф при Екатерине II, фельдмаршал при Павле I.

[235] Андрей Петрович *Шувалов* (1744—1789) — сын фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова, сенатор; второстепенный писатель, сверстник и друг А. Р. Воронцова. Переписывался с Вольтером, Лагарпом, Мармонтелем и др. Отзыв о нем Дашковой, следующий далее в тексте, несправедлив.

[236] *...королева...* — Имеется в виду Мария-Антуанетта (1755—1793) — супруга Людовика XVI с 1770 г. Казнена по приговору Конвента.

[237] *...связанное с моим рангом.* — Дашкова имеет в виду то обстоятельство, что при французском дворе этикет требовал, чтобы представители высшей знати — французы имели преимущество перед иностранцами того же ранга. Дашкова в силу этих правил не могла претендовать на место «на табурете».

[238] Гийом Томас *Рейналь* (1713—1796) — французский историк и философ, автор нашумевшей книги «Histoire de deux Indes» (1770 г.). Сотрудничал в «Энциклопедии» Дидро; выступал с критикой феодально-абсолютистских порядков. 24 марта 1781 г. дал в честь Дашковой обед, на котором присутствовали многие парижские академики.

[239] Иоланда *Полиньяк* (1745—1793) — герцогиня, жена Жюля Полиньяка, близкая подруга Марии-Антуанетты.

[240] *...Гардель...*— Неясно, о ком из двух братьев говорит Дашкова: известны Максимилиан (1741—1787) («Гардель старший») — французский танцор и балетмейстер Парижской Оперы в 1773—1781 гг., в 1781—1787 — главный балетмейстер; и его брат и ученик Пьер-Габриэль (1758—1840).

[241] Жан Лерон *Д'Аламбер* (1717—1783) — французский математик и философ-просветитель.

[242] Жан-Антуан *Гудон* (1741—1828) — французский скульптор, автор галереи портретов деятелей эпохи Просвещения.

[243] *...скромной Ninette.* Ninette — героиня пьесы французского драматурга Шарля Фавара (1710—1792) «Ninette à la cour» (1755 г.), скромная крестьянка, сохранившая свою чистоту и наивность при дворе. На сюжет Фавара Гардель создал балет, показанный 18 августа 1778 г. в Королевской академии музыки.

[244] Ипполит *Гибер* (1743—1790) — граф, маршал Франции и военный писатель. Его труд «Essai de tactique generale» (1773 г.) получил широкую известность.

[245] *...является апокрифом...*— Здесь в значении: написано кем-то другим. Однако историки не сомневаются, что автор книги — Рюльер (см.: Бильбасов, т. 2, с. 479—480). «История, или анекдоты о революции в России в 1762 г.» была издана в Париже в 1797 г. В том же году появилось еще восемь изданий книги: три на французском, два — на английском, два — на немецком и одно — на датском языках. (Замечания Дашковой на книгу Рюльера опубликованы в 7-й книге «Архива кн. Воронцова».)

[246] *Сен-Сир* — школа для девушек из дворянских семей, основанная в 1686 г. мадам де Ментенон возле Версаля. Во время Французской революции была закрыта. В 1802 г. здесь была открыта специальная офицерская школа.

247 Этьенн-Морис *Фальконе* (1716—1791) — французский скульптор. В 1766—1778 гг. работал в России, автор памятника Петру I в Петербурге.
Мари Анн *Колло* (1748—1821) — французский скульптор, ученица Фальконе. В 1766—1778 гг. работала в России. Ей принадлежит модель головы Петра I для памятника.
248 Александр Николаевич *Самойлов* (1744—1814) — сенатор.
249 *Опера* — Парижский оперный театр; основан в 1671 г. под названием Королевской академии музыки и танца. В русской литературе называется также «Гранд-Опера».
«Театр Франсэ» — официальное название театра «Комеди Франсез». Основан в 1680 г. по распоряжению Людовика XIV.
250 Шарль Арман *Бирон* (1700—1788) — герцог, маршал Франции.
251 *...с их романтическими окрестностями...* — Деревни Локль и Шо-де-фон, расположенные в живописной долине Швейцарской Юры, знамениты были производством часов.
252 *...по приказу короля...*— Королем Сардинского королевства с 1773 г. был Виктор Амадей (1726—1796); Сардинское королевство существовало в 1720—1861 гг.
253 *Алессандрия* — город в провинции Сев. Италии.
254 Карл *Фирмиан* (1718—1782) — полномочный министр королевства, видный политический деятель; большой знаток искусства, основатель Школы изящных искусств в Милане.
255 *Борромейские острова* — название четырех небольших островов в озере Лаго-Маджоре. Получили название от миланского рода Борромео, один из представителей которого в 1671 г. приказал насыпать землю и разбить сады на скалистых островах.
256 *...великим Комо...*— Имеется в виду Козимо Старший Медичи (1386—1464) — с 1434 г. фактический властитель Флоренции. Покровительствовал искусствам и философии, собирал греческие рукописи и основал знаменитую библиотеку Медичи.
257 *Страбон* (64/63 г. до н. э.— 23/24 г. н. э.) — древнегреческий географ и историк; в 5-й книге 17-томного труда «География» упоминает об основании Пизы (Strabon, кн. 5, гл. II, § 5).
258 *Тантал* — в греческой мифологии царь Фригии, который, пригласив богов на пир, стал угощать их мясом убитого им сына Пелопса, за что был осужден на вечные муки.
259 *Этрурия* — область на северо-западе Апеннинского полуострова, населенная этрусскими племенами в 1-м тысячелетии до н. э.
260 *...ее ослабить.*— В результате продолжительной борьбы Пиза в 1406 г. была завоевана Флоренцией; в 1495 г. она восстала против господства флорентийцев и снова приобрела независимость, однако в 1509 г. подчинилась окончательно и входила в состав владений Флоренции (впоследствии Тосканы).
261 *...трофеями, взятыми пизанцами у сарацин.*— Пизанцы разбили сарацин в морской битве при Палермо в 1063 г.
262 Джованни да *Болонья* (или Джамболонья) (1524—1608) — скульптор; самый одаренный ученик Микеланджело; упоминаемые Дашковой бронзовые двери созданы в 1602 г.
263 Андреа дель Сарто (1486—1530) — итальянский живописец школы Высокого Возрождения.
264 Дмитрий *Моцениго* (ум. в 1801 г.) — граф, представитель знатной венецианской семьи, из которой с 1474 по 1778 г. вышло 5 дожей. Во время первой русско-турецкой войны оказал содействие русскому правительству. Арестованный в Венеции, он был освобожден по ходатайству русских властей и стал поверенным в делах при Тосканском дворе.
265 *Дамá* — шелковая узорчатая ткань.
266 *Собор в Лукке* — кафедральный собор Сан-Мартино XI—XIV вв.
Коли и *Санкасиани* — итальянские города.
267 Паоло *Гвидотти* (1569—1629) — итальянский художник, скульптор и архитектор.
Рени *Гвидо* (1575—1642) — итальянский живописец, представитель болонской школы.
268 *Гонфалоньер* (букв. знаменосец) — первоначально глава ополчения городского квартала в итальянских городах-республиках в XIII—XV вв.
269 *Порто-франко* — «свободный порт» (*ит.*) — порт, который пользуется правом беспошлинного ввоза и вывоза грузов.

[270] *Леопольд* (1747—1792) — великий герцог Тосканский (1765—1792), император Австрии с 1790 г. Сын Марии-Терезии, брат Иосифа II.

[271] *Иосиф* II (1741—1790) — австрийский эрцгерцог с 1780 г.; в 1765—1780 гг. соправитель своей матери Марии-Терезии, с 1765 г. — император Священной Римской империи. Проводил политику просвещенного абсолютизма.

[272] *...буллы Григория VIII...* — Ошибка: буллу, о которой пишет Дашкова, издал в 1536 г. Павел III, папа римский (1534—1549) (см.: Лозинский С. Г. История папства. М., 1961, с. 361).

[273] *...«уксусом четырех воров»...* — Существует рассказ о том, что в 1720 г. во время эпидемии чумы в Марселе четыре вора, которых отправили в качестве наказания на работы в зараженный город, избежали заразы, открыв дезинфицирующее средство, получившее название «уксус четырех воров».

[274] Николай Александрович *Львов* (1751—1803) — поэт, архитектор, художник, музыкант; член Российской Академии, родственник Г. Р. Державина; пользовался покровительством А. А. Безбородко; с ноября 1776 г. путешествовал по Германии, Голландии и Франции. Скорее всего, Дашкова имеет в виду именно его.

[275] *...четырехлетним ребенком.* — Точнее, П. М. Дашков был записан в военную службу и произведен в корнеты в 1772 г., т. е. в возрасте 9 лет.

[276] Франсуа Иоахим *Берни* (1715—1794) — салонный поэт, протеже г-жи Помпадур; с 1758 г. — кардинал; в 1768—1791 гг.— французский посол в Риме.

[277] Джеймс *Байерс* (1733—1817) — шотландский архитектор, археолог и антиквар, член многих научных обществ. В 1750—1790 гг. жил в Риме, собирал античную скульптуру.

[278] *...беседовала с папой...*— Имеется в виду Пий VI (1717—1799), папа римский в 1775—1799 гг.

[279] *Аппиева дорога* между Римом и Капуей была проведена в 12 г. до н. э. по распоряжению консула Аппия Клавдия. Каменная кладка дороги сохранилась до наших дней.

[280] *...музея в Ватикане...*— На самом деле основание художественным собраниям Ватикана было положено римскими папами в XVI в., в том числе Юлием II (папа в 1503—1513 гг.), покровителем Микеланджело и Рафаэля.

[281] *...писал пастелью...* Якоб-Филипп *Гаккерт* (1737—1807) — немецкий художник; во время пребывания в Риме получил от Екатерины II заказ изобразить в шести картинах морской бой при Чесме. Биографию Гаккерта написал Гёте. Георг Абрахэм *Гаккерт* (1755—1805) — гравер; вместе со старшим братом поступил на службу к Неаполитанскому королю Фердинанду IV.

Гамильтон...— Возможно, имеется в виду Гейвин Гамильтон (1723—1798) — английский художник, долго живший в Риме.

[282] Анна Сеймур *Дамер* (1748—1828) — английский скульптор.

[283] *Тиволи* — небольшой городок под Римом, известный археологическими находками доисторического периода и эпохи Древнего Рима.

...на виллу Августа.— Имеется в виду вилла римского императора Августа (63 г. до н. э.— 14 г. н. э.); император с 27 г. до н. э.

[284] *...при таких размерах.* — Максимальная высота собора св. Петра — 141,5 м; длина — 211,5 м.

[285] *...на виллу Фарнезе.*— Этот дворец, воздвигнутый в начале XVI в. в окрестностях Рима, украшен фресками Рафаэля и его учеников. Принадлежал старинной итальянской семье Фарнезе.

[286] *Серпентинный мрамор* — камень с оттенками от черного и черно-зеленого до оливкового.

[287] *...не решилась принять.* — В 1807 г. Е. Р. Дашкова подарила Александру I два «каких-то необыкновенных стола». Возможно, речь идет именно о них, судя по упоминанию М. Вильмот.

[288] Андрей Кириллович *Разумовский* (1752—1836) — князь. Принимал участие в Чесменском бою. С 1772 г. — при дворе, имел влияние на вел. кн. Павла, что испугало Екатерину II, и она отправила Разумовского послом в Неаполь (1776 г.). В 1784 г. переведен в Копенгаген, через два года — в Стокгольм. В 1790 г. — посланник в Вене. При Павле I — в немилости. При Александре I — посол в Вене. После Тильзитского мира вышел в отставку, жил в Вене, собирая картинную галерею; известен как устроитель концертов Бетховена, Моцарта, Гайдна. Был приглашен к участию в Венском конгрессе как один из руководителей русской делегации.

289 Вильям *Гамильтон* (1730—1803) — английский посол в Неаполе в 1764—1800 гг., археолог, антиквар и музыкант-любитель. Владелец всемирно известной коллекции (ныне в Британском музее). Его первая жена — Кэтрин *Гамильтон* (1738—1782) — выдающаяся пианистка. Их дом в Неаполе и вилла Ангелика близ Везувия были центром культурной жизни.

290 Фердинандо *Галиани* (1728—1787) (известен как аббат Галиани) — итальянский дипломат и экономист; был в дружеских отношениях с французскими философами.

291 *Портичи* — итальянский порт в провинции Кампаньи на юге Италии.

292 ...*и других местах.* — Раскопки в Геркулануме, Помпее и других местах велись с 1748 г.

293 ...*кольцо с астреей...*— «Астрея, или звездовик («астер» — греч. «звезда».— *Г. В.*), принадлежит к белым драгоценным камням... заключает в себе некоторый свет наподобие зрачка и переливает при наклонении, как бы оный ходил внутри камня, показываясь то в одном, то в другом месте. Когда же держат его против солнца, представляет белые лучи, от чего и получил название» (Каия Плиния Секунда естественная история ископаемых тел, переложена на российский язык в азбучном порядке и примечаниями дополненная трудами В. Севергина. Спб., 1819, с. 47). ...*описанный Плинием...*— Е. Р. Дашкова могла ознакомиться с «Естественной историей» римского ученого Плиния в переводе на немецкий язык И. Д. Дензо (Росток, 1764) либо в переводе на французский — Гардуэня (начало XVIII в.).

294 Хосе Николо *Азара* (1731—1804) — испанский дипломат, посланник при папском дворе; знаток искусства.

295 Иоганн Иоахим *Винкельман* (1717—1768) — немецкий археолог, основатель археологии античного искусства.

296 ...*Павла с супругой.*— Вел. кн. Павел Петрович и вел. кн. Мария Федоровна в 1782 г. путешествовали по Европе под именем графа и графини Северных (Русский Архив, 1873, X, с. 1971).

297 ...*почти каждый день.*— Лоретто — город в итальянской провинции Анконе, куда стекаются паломники на поклонение «Святому дому Богоматери» (Santa Casa). По преданию, мать Константина, императрица Елена, приказала построить в Назарете церковь над хижиной, где жила богородица. В 1294 г., когда церкви угрожали сарацины, она чудесным образом оказалась перенесенной в Италию, в Лоретто. Позже на этом месте был построен роскошный храм с мраморной облицовкой, скульптурным орнаментом; в оформлении его принимали участие многие видные итальянские скульпторы и художники.

298 ...*мастеров болонской школы.*— Имеется в виду итальянская живопись периода барокко; ее представители: Карраччи, Доменикино, Гверчино.

299 Джованни Антонио *Каналетто* (1697—1769) — уроженец Венеции, итальянский живописец и гравер.

300 Венцель Антон *Кауниц* (1711—1794) — граф, затем князь; австрийский государственный канцлер (1753—1792 гг.), руководитель австрийской политики при Марии-Терезии, Иосифе II и Леопольде II. Содействовал сближению Австрии с Францией и Россией в 1756 г.

301 *основы Уложения своего отца...*— Имеется в виду Соборное Уложение 1649 г. (Уложение Алексея Михайловича) — свод законов Русского государства; было принято Земским собором 1648—1649 гг.

302 ...*заключают в камели...* — Камели — пара плоскодонных судов, служащих для подводки под корабль, подъема его и проводки по мелководью.

303 ...*стоящую на страже Богемии.*— С 1526 г. по 1918 г. Богемией называлась Чехия (без Моравии), входящая в состав Габсбургской империи.

304 Иоганн-Густав *Сакен* (1730—1789) — барон, саксонский посланник в Петербурге.

305 ... *ворота города*+++...— Фридрих II ежегодно собирал и обучал свои войска в лагере под Бреслау (Русский Архив, 1873, VIII, с. 1554).

306 Георг (Юрий Юрьевич) *Броун* (1698—1792) — генерал-аншеф; на русской службе с 1730 г., на пост губернатора Риги был назначен Петром III и оставался в этой должности до своей смерти.

ЧАСТЬ II

1 *...Полянская с дочерью...*— Имеется в виду сестра Дашковой Елизавета Романовна с дочерью Анной Александровной (в замужестве баронесса д'Огье).

2 *...наместником двух губерний...*— Наместничество — в 1775—1796 гг. административная единица, состоящая из 2—3 губерний, которыми управлял наместник.

3 *Павел* Сергеевич *Потемкин* (1743—1796) — генерал; воевал под началом А. В. Суворова; генерал-губернатор Казани, Саратова и Кавказа. Автор поэм и драмы «Россы в Архипелаге» (1772 г.), посвященной победе русского флота при Морее.

4 *...звание подполковника.* — П. М. Дашков был произведен в капитан-поручики л.-гв. Семеновского полка. Звание подполковника он получил в 1783 г.

5 *...театр был невелик.*— Первоначально Эрмитажем называлось особое здание, построенное в 1764—1767 гг. Ж.-Б. Валлен-Деламотом (так называемый «Малый Эрмитаж», где Екатерина II принимала своих гостей как хозяйка салона); с 1783 г. архитектор Д. Кваренги начал строить здание Эрмитажного театра.

6 Михаил-Казимир *Огинский* (1729—1800) — с 1768 по 1793 г. великий гетман литовский. В 1764 г. приехал в Петербург и выступил претендентом на польский престол. После неудачи этого замысла стал деятельным участником Барской конфедерации, вслед за подавлением которой в 1771 г. бежал за границу.

7 *...была установлена граница.*— При первом разделе Польши между Пруссией, Австрией и Россией в 1772 г. к России отошла Восточная Белоруссия и часть Ливонии.

8 *...под правлением...* — Можно предположить, что под многоточием далее Дашкова скрыла слово «императрица».

9 Письма Екатерины II были изданы как приложение к английскому изданию «Записок» в 1840 г. и в 1859 г. — на русском языке (лондонское издание «Записок»).

10 Иван Юрьевич *Фридерикс* (1723—1779) — барон; придворный банкир с 1773 г.; протеже Орловых

11 *...по приезде графа Андрея Шувалова...*— А. П. Шувалов возвратился из-за границы (см. о нем коммент. 235 к 1-й части «Записок»).

12 *...кто исполнял эту должность...*— Должность директора Академии Наук была введена в 1766 г. Первым директором был В. Г. Орлов (до конца 1774 г.). Его сменил С. Г. Домашнев, который в 1783 г. был смещен по жалобам академиков.

13 *...к обществу Аркадии в Риме...*— Имеется в виду литературное общество, основанное в 1690 г. с целью возвращения к простоте античных образцов и для борьбы с испорченным вкусом XVII века. В него могли быть допущены поэты и любители поэзии.

14 *...в связи с жалобами профессоров... на Домашнева...*— Причина конфликта профессоров Академии с С. Г. Домашневым состояла в том, что он, не обладая достаточной компетенцией, давал им указания и контролировал их научную деятельность, сам назначал почетных членов Академии Наук, задерживал выплату жалования профессорам и пр. (см.: Веселовский К. С. Борьба академиков с директором С. Г. Домашневым.— Русская Старина, 1896, IX, с. 457—492.).

15 *...вышеупомянутой комиссии.*— После проведения генерал-прокурором Сената А. А. Вяземским расследования жалоб академиков (ЧОИДР, 1866, кн. IV, отд. V, с. 159—184) по распоряжению Екатерины II была создана комиссия в составе А. А. Вяземского, А. Р. Воронцова, П. В. Завадовского и других для разработки нового проекта устава и штата Академии.

16 *...обратилась к комиссии...*— Здесь речь идет уже о так называемой «Академической комиссии», учрежденной еще в 1766 г. для заведования хозяйственными делами Академии (при Домашневе ее составляли академики Я. Я. Штелин, С. К. Котельников и С. Я. Румовский).

17 Леонард *Эйлер* (1707—1783) — математик, физик, астроном и механик. Автор более 800 работ. Приехал в Россию в 1727 г., работал в Петербургской академии. В 1741—1766 гг.— в Берлине, затем вернулся в Петербургскую академию.

18 Николай *Фусс* (1755—1825) — швейцарский математик; долгие годы жил в России; с 1783 г. академик Петербургской академии наук; непременный секретарь Академии Наук, профессор математики.

19 *...Комментарии, которые издавала Академия.*— Научный печатный орган Академии Наук; издавался с 1728 по 1806 г. под названиями: с 1728 по 1751 г.— «Commentarii Academiae Scientiarum imp. Petropolitanae» (тт. 1—14); в 1750—1776 гг. вышли

тт. 1—20 под названием «Novi Commentarii» («Новые комментарии»); в 1778—1786 г. выходили «Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae» («Акты Академии») (тт. 1—6); в 1787—1806 гг. они стали называться «Nova Acta Academiae Scientiarum» («Новые акты Академии Наук») (тт. 1—15).

[20] *...его сына...* — Имеется в виду старший сын Л. Эйлера — Иоганн Альбрехт (1734—1800), математик, автор работ по астрономии и математике, непременный секретарь Академии Наук в 1769—1800 гг.

[21] Яков Яковлевич *Штелин* (1709—1785) — профессор элоквенции и поэзии; писал стихи на немецком языке; сочинитель аллегорий к иллюминациям и фейерверкам; член основанного в 1765 г. Вольного Экономического общества.

[22] Александр Алексеевич *Вяземский* (1727—1793) — князь, с 1764 г. генерал-прокурор Сената, доверенное лицо Екатерины II. В 1767 г. председатель Комиссии по составлению нового Уложения, с 1776 г. почетный член Петербургской академии наук.

[23] *...17 учеников гимназии и 21 мальчик, обучающийся ремеслам.*—При Петербургской академии наук были учреждены университет и гимназия. В 60-е гг. XVIII в. университет закрылся, а гимназия существовала до 1805 г. По штату 1747 г. в гимназии должно было обучаться 60 человек. Кроме того, при Академии имелись Инструментальные мастерские, или Инструментальная палата, которая имела своих учеников и подмастерьев и где создавались научные приборы и инструменты.

[24] Иван Иванович *Георги* (Иоганн Готлиб) (1729—1802) — академик Петербургской академии наук с 1783 г.; путешественник, этнограф.

[25] Отто *Штакельберг* (1736—1800) — барон, русский посланник в Испании и Польше. За содействие в установлении дружественных отношений между Россией и Австрией Иосиф II пожаловал ему титул графа Священной Римской империи.

[26] *...не стала обращаться... в Сенат.*— Сохранилось документальное свидетельство, что Дашкова просила о возмещении недостатка душ в имении Круглом (Записки княгини Дашковой. Спб., 1907, с. VI).

[27] Федот Иванович *Шубин* (1740—1805) — русский скульптор, представитель классицизма; автор выразительных психологических портретов современников (М. В. Ломоносова, П. А. Румянцева, Г. А. Потемкина и др.).

[28] *...издавался новый журнал...*— Имеется в виду журнал «Собеседник любителей российского слова», который издавался на средства Академии Наук в 1783—1784 гг. по инициативе и под руководством Е. Р. Дашковой.

[29] Гаврила Романович *Державин* (1743—1816) — поэт, автор од и лирических стихотворений. А. А. Вяземский обвинял поэта в публикации сатирических стихотворений, направленных против него и его жены. Державин писал Дашковой 25 ноября 1783 г.: «Многие от Собеседника должен был я терпеть неприятности, которые наконец так мне наскучили, что я оставил службу, ибо подал я уже о увольнении моем письмо. Вот плоды стихотворства, к которому вы меня столь часто убеждать изволили...». Комментируя это письмо Державина к Дашковой, Я. К. Грот пересказывает данный отрывок из «Записок» Дашковой (Державин Г. Р. Сочинения. Т. V. Спб., 1869, с. 377).

[30] *...нового губернского деления.*— В 1775 г. было создано «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи», и до 1780 г. проведена реформа местного управления. Новое губернское деление, по которому вместо 20 губерний было учреждено 40 и 2—3 губернии объединены в наместничества, создало сложную систему бюрократической администрации.

[31] *...с известием о завоевании Крыма.*— Крым по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. был объявлен независимым от Турции; 9 апреля 1783 г. он был присоединен к России.

[32] *...для нашей академии.*— Имеются в виду Французская Академия (основана в 1635 г.), задача которой состояла в совершенствовании французского языка и в издании словаря французского языка; с 1795 г.— одна из пяти академий, входящих в состав Института Франции; Берлинская Академия наук (основана в 1700 г., с 1744 г. носила название Берлинская Королевская академия наук), занимавшаяся разработкой вопросов языка и литературы.

[33] *...президентом новой Академии!* — Российская Академия была учреждена 30 сентября 1783 г. В ее уставе было записано: «Главный предмет Российской Академии состоять должен в обогащении и очищении языка российского и в распространении словесных наук в государстве». Указ о назначении Е. Р. Дашковой и состав-

ленное ею «Краткое начертание Российской Академии» — см.: ПСЗ, № 15839. О деятельности Российской Академии — см. также: Некрасов С. М. Российская Академия. М., 1984.

34 *...переводы классических авторов.*— Речь идет о деятельности «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг», на содержание которого Екатерина II в октябре 1768 г. назначила из своих личных средств 5 тыс. рублей ежегодно.

35 *...жетоны и медали.*— Екатерина II повелела выделывать ежегодно по 1000 серебряных жетонов для раздачи членам Российской Академии за присутствие на заседаниях. «Собраниям быть каждую неделю один раз, а по окончании каждого да дастся присутствующему члену жетон» (ПСЗ, № 15839).

36 *...к последнему отчету по академическим делам...*— Этот отчет опубликован в приложении к «Запискам» Дашковой, изд. 1907 г.

37 *Покидая Академию...*— В августе 1794 г. Дашкова испросила двухгодичный отпуск для «поправления здоровья». Более к отправлению своей должности главы Академии она не возвращалась.

38 *...опубликованный словарь.*— Дашкова имеет в виду издание «Словаря Академии Российской», выходившего в 1789—1795 гг., этого главного труда Российской Академии в XVIII в.

39 *...словарь, будучи этимологическим...*— Имеется в виду, что слова в словаре размещались по общему корню, от которого они произошли. По вопросу о характере словаря члены Российской Академии вели длительные дебаты (см.: Некрасов С. М. Российская Академия, гл. III).

40 *...восхитительный словарь.*— Имеется в виду «Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный» (Спб., 1790—1791, ч. I—IV). Это издание, затеянное Екатериной II в порядке соперничества со «Словарем Академии Российской», было составлено без участия специалистов-филологов и напечатано в количестве 500 экземпляров. «...Мысль перевести две-три сотни слов... на столько же языков... не могла иметь важного по своим результатам значения для науки» (Грот Я. К. Филологические занятия императрицы Екатерины II. М., 1877, с. 12).

Петр Симон Паллас (1741—1811) — русский естествоиспытатель, академик Петербургской академии с 1767 г.

41 *...слова на три буквы алфавита.*— Для «Словаря Академии Российской» Е. Р. Дашкова собрала более семисот слов на буквы «Ц», «Ш», «Щ».

42 *...опекуны...*— т. е. Н. И. и П. И. Панины.

43 *...образумить ее.*— После смерти отца муж дочери Дашковой А. М. Щербинин получил большое наследство. Анастасия Михайловна решила вернуться к мужу, несмотря на уговоры матери. Это решение ее осудила и тетка Е. Р. Полянская в письме к брату С. Р. Воронцову от 19 марта 1784 г. (Архив кн. Воронцова, кн. 21, с. 458).

44 *...«час пастуха»...*— Выражение, которое следует понимать как «час любовного свидания» или «пора любви».

45 *...поехала в Финляндию.*— Летом 1783 г. Екатерина II ездила в Финляндию, чтобы договориться о браке между своей внучкой вел. кн. Александрой Павловной и сыном шведского короля Густавом-Адольфом, будущим Густавом IV.

46 *...познакомиться со шведским королем...*— Имеется в виду Густав III (1746—1792), шведский король с 1771 г.

47 *Фридрихсгам* — город в Финляндии, где состоялась встреча Екатерины II с Густавом III.

48 *...Ninette à la cour...*— См. коммент. 243 к 1-й части «Записок».

49 *...орденом, который уже имею...*— Дашкова подразумевает орден св. Екатерины.

50 Лев Александрович *Нарышкин* (1733—1799).

Степан Федорович *Стрекалов* (1728—1805) — тайный советник, управляющий Кабинетом при Екатерине II в 1775—1789 гг.; один из авторов переводов из французской «Энциклопедии», изданных в Москве в 1767 г.

51 *...без той помпезности...*— Возможно, Дашкова намекает на дорогостоящую поездку Екатерины II в Крым в 1787 г., расходы по которой были разложены на губернии.

52 *Граф Армфельд, знаменитый своими несчастьями... после смерти короля...*— Шведский король Густав III был убит в 1792 г. Густав Мориц *Армфельд* (1757—1814) при Густаве III оказывал большое влияние на государственные дела. По завещанию Густава III был назначен губернатором Стокгольма и членом регентства. Герцог

Карл Зюдерманландский обвинил Армфельда в измене, приговорил к смерти, все его имения были конфискованы. Армфельд бежал в Россию. В 1799 г. Густав IV возвратил ему звание и имущество. С 1811 г.— Армфельд снова в России; президент Комитета по делам Финляндии и член Государственного совета.

53 *...для помещения в ее газете...*— С 1728 г. при Академии Наук выходила газета «Санкт-Петербургские ведомости».

54 *...у него лопнул живот.*— По официальной версии, А. Д. Ланской умер от дифтерита или грудной жабы.

55 *...война со Швецией.*— Русско-шведская война 1788—1790 гг. вспыхнула из-за стремления Швеции вернуть территории в Прибалтике, утраченные в результате Северной войны; после побед русского флота был заключен Верельский мир (1790 г.).

56 Самуил Карлович *Грейг* (1736—1788) — шотландец, на русской службе с 1764 г., адмирал — с 1782 г. В составе эскадры Г. А. Спиридонова командовал отрядом в Чесменском бою (1770 г.). Командующий Балтийским флотом в начале русско-шведской войны 1788—1790 гг.; одержал победу в Гогландском сражении (1788 г.).

57 Бенджамин *Франклин* (1706—1790) — американский государственный деятель, один из авторов Декларации независимости США (1776 г.); просветитель, ученый. С 1789 г. почетный член Петербургской академии наук. Был избран по предложению Е. Р. Дашковой единогласно.

58 *...издаваемые им труды.*— Дашкова была избрана почетным членом основанного Франклином Американского философского общества 17.IV.1789 г. (Благодарственное письмо Дашковой и текст ее диплома — см. в кн.: Россия и США. М., 1980, с. 187, 188.)

59 *...портрет этого принца... сделанный мной для вас.*— Дашкова имеет в виду свою характеристику честолюбивых замыслов принца Карла, герцога Зюдерманландского (см. с. 108 наст. издания).

60 Анна Семеновна *Алферова* (1768—1809), дочь купца, сочеталась браком с П. М. Дашковым 14 января 1788 г.

61 *...на одном из академических собраний.*— Дашкова дала определения словам: дружба, друг, задумчивость, добродетельный человек, и др.

62 *...нечто вроде революции...*— Дашкова называет так события, связанные с деятельностью Четырехлетнего сейма (1788—1792), который провел реформы государственного строя Речи Посполитой и в 1789 г. принял решение о ликвидации протектората, объявленного Екатериной II.

63 Яков Александрович *Брюс* (1732—1791) — генерал-адъютант, сенатор, подполковник Семеновского полка, командир Финляндской дивизии; в 1782 г.— генерал-губернатор Тверского наместничества, московский главнокомандующий (1784—1786 гг.); в 1787 г.— генерал-губернатор С.-Петербургской губернии.

64 *«Новая Элоиза»,* точнее, «Юлия, или Новая Элоиза»,— роман в письмах Ж.-Ж. Руссо (1761 г.).

65 *...очень опасный автор...*— Резко отрицательное отношение Екатерины II к Ж.-Ж. Руссо было вызвано его радикальными взглядами. Известно, что Руссо, например, утверждал, что народ имеет право не только сменять правителей, но и изменять форму правления государства. При разборе книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» Екатерина заметила: автор свое «умствование» взял «из разных полумудрецов сего века, как-то: Руссо, Рейналь и тому ипохондрику подобные» (подробнее см.: Кобеко М. Екатерина II и Ж.-Ж. Руссо. — Исторический вестник, июль, 1883).

66 *...а позднее напечатали.*— Пьеса «Господин Тоисиоков, или Человек бесхарактерный» была напечатана в 1786 г.

67 Александр Николаевич *Радищев* (1749—1802) — выдающийся революционный мыслитель, писатель.

68 *...очень расположен.*— А. Р. Воронцов покровительствовал А. Н. Радищеву во время службы и помогал ему в период ссылки. (Письма Радищева А. Р. Воронцову опубликованы в кн. 12 Архива кн. Воронцова.)

69 *...биографию некоего Ушакова...* — Имеется в виду сочинение А. Н. Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова» (1789 г.).

70 *...высказывания... являются опасными.* — Хотя сочинение А. Н. Радищева «Житие Федора Васильевича Ушакова» запрещено не было, в нем, по сути, содержалась критика крепостничества и самодержавного правления.

71 ...*сослан в Сибирь.*— За обличение самодержавия и крепостничества в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.) А. Н. Радищев был судим и сослан в Илимский острог в Сибири.

72 ...*фаворит...*— Фаворитом Екатерины II в это время был Платон Александрович Зубов (1767—1822).

73 ...*интриги генерал-прокурора.*— Т. е. А. А. Вяземского.

74 Яков Борисович *Княжнин* (1742 (1740?)—1791) — драматург, поэт, представитель русского классицизма, член Российской Академии (1783 г.).

75 ...*не была опубликована.*— Речь шла о трагедии «Вадим Новгородский», написанной в 1789 г.

76 Осип Петрович *Козодавлев* (1754—1819) — поэт, переводчик. Товарищ А. Н. Радищева по Лейпцигскому университету. В 1774 г. назначен в Сенат протоколистом. В 1783—1784 гг. советник при директоре Академии Наук Е. Р. Дашковой. Ведал изданием журнала «Собеседник любителей российской словесности».

77 ...*напечатать пьесу...*— В письме к брату А. Р. Воронцову Е. Р. Дашкова давала другое объяснение истории появления в свет пьесы Княжнина: «Книготорговец Глазунов спросил у меня разрешения напечатать в Академии трагедию Княжнина «Вадим Новгородский», которую он купил у наследников. Я разрешила, но забыла дать распоряжение с ней ознакомиться; впрочем, с понятием трагедия не могла связаться мысль о том, что она может быть предосудительной...» (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 216). Следует добавить, что в трагедии речь идет о победе князя Рюрика над Новгородским вече, так что в ней можно было видеть утверждение принципа монархической власти, чем и оправдывала Дашкова свое отношение к «Вадиму Новгородскому».

78 ...*в настоящее время.*— Опубликование тираноборческой трагедии Княжнина в разгар Французской революции было явно «не ко времени», как писал П. В. Завадовский А. Р. Воронцову 17 ноября 1793 г., находя, что «в ней (трагедии.— *Г. В.*) много есть стихов в опровержение самодержавию...» (Архив кн. Воронцова, кн. 12, с. 96).

79 ...*вырвав ее оттуда...* — По приказу властей из 39-го тома «Российского Феатра», где был напечатан «Вадим Новгородский», были вырваны и уничтожены с. 113—208. Считается, что сохранилось не более пяти полных экземпляров 39-го тома. (Битовт Ю. Редкие книги и летучие издания XVIII в. М., 1905, с. 423.)

80 ...*тем разговор и окончился.* — Примечательно, что вслед за этим по распоряжению Екатерины II в цензуру был направлен 3-й номер «Живописца», который Дашкова собиралась переиздать, как это было сделано с другими номерами этого журнала Н. И. Новикова. Издание в свет не вышло.

81 ...*мирный договор.*— Имеется в виду Верельский мир, завершивший русско-шведскую войну 1788—1790 гг.

82 ...*заключен такой мир...* — Ясский мир между Россией и Турцией, завершивший войну 1787—1791 гг., был заключен 9 января 1792 г. (в Яссах).

83 ...*его очаровательной супругой...* — Имеется в виду Елизавета Алексеевна (1779—1826), дочь маркграфини Баденской; русская императрица с 1801 г.

84 Николай Николаевич *Новосильцев* (1768—1838) — граф; незаконный сын сестры А. С. Строганова, воспитывался в его доме. Участник войны со Швецией в 1788—1790 гг. Позднее один из самых деятельных членов «Негласного комитета», в 1803—1804 гг.— президент Академии Наук.

85 ...*Марии Саввишны...* — Мария Саввишна Перекусихина (1739—1824) — любимая камер-юнгфрау Екатерины II; имела большое влияние при дворе.

86 Дмитрий Прокопьевич *Трощинский* (1749—1829) — правитель канцелярии «при собственных делах императрицы», «статс-секретарь у принятия прошений» (1793 г.). При Павле I — сенатор и президент Главного почтового правления. В 1814—1817 гг. — министр уделов и министр юстиции. С 1817 г. — в отставке.

87 ...*представлялся решенным.* — Существовал проект женитьбы шведского короля Густава IV на внучке Екатерины II, старшей дочери Павла Александре Павловне (1783—1801). (Подробности о сватовстве шведского короля к вел. княгине см.: Чумиков А. Густав IV и вел. кн. Александра Павловна. — Русский Архив, 1887, I, с. 59—98.)

88 Михаил Иванович *Данауров* (1758—1817) — любимец Павла I, его обер-секретарь. В 1797 г. получил 2000 душ крепостных. В 1813—1816 гг. — сенатор.

89 *...увольнении со службы.*— Поскольку Дашкова официально числилась в отпуске, ее уволили от управления Академиями.

90 Алексей Борисович *Куракин* (1759—1829) — камергер, канцлер; генерал-прокурор.

91 *...припомнить 1762 год* — Михаил Михайлович *Измайлов* (1722—1800), московский главнокомандующий с 21 марта 1795 г.
1 декабря 1796 г. Д. П. Трощинский писал А. Р. Воронцову: «...К М. М. Измайлову посылается указ, повелевающий объявить княгине Катерине Романовне, дабы она выехала из Москвы в дальние свои деревни» (Архив кн. Воронцова, кн. 12, с. 396). Приводим текст рескрипта Павла I: «Михаил Михайлович! Объяви княгине Дашковой, чтобы она, помянув событие 1762 года, немедленно из Москвы выехала и впредь бы в нее не въезжала» (цит. по кн.: Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981, с. 193).

92 Александр Матвеевич *Мамонов* (Дмитриев-Мамонов) (1758—1803) — фаворит Екатерины II в 1786—1789 гг.

93 Василий Данилович *Лаптев* (1760 —?) — впоследствии генерал-майор. Отличился в сражении при Аустерлице; в 1812 г. формировал московское ополчение; участник Бородинского сражения.

94 *...до нового распоряжения.*— В письме М. М. Измайлова от 20 декабря 1796 г. излагалось повеление Павла I Дашковой выехать в деревни, «находящиеся между Устюжиной Железнопольской и Череповецким уездом», и оставаться там «до будущего... повеления» (Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 239).

95 *...не имея возможности брать почтовых лошадей...*— Почтовые лошади выдавались по официальному документу — подорожной, которой у высланной Дашковой быть не могло.

96 Елизавета Петровна *Долгорукова* (1763—1798) — жена М. А. Долгорукова.

97 Анна Петровна *Исленьева* (1770—1847) — двоюродная племянница и воспитанница Дашковой; жила у нее более десяти лет; вела ее деловую переписку. «Желание, чтоб ты счастлива была, будет чувство живейшее сердца моего до последнего его биения»,— записала Е. Р. Дашкова в альбом Исленьевой 21 июля 1807 г. (ГИМ ОПИ, ф. 450, ед. 804, л. 93). После смерти Дашковой вышла замуж за известного историка А. Ф. Малиновского. Малиновские были дружны с семейством Н. М. Карамзина, у них часто бывал А. С. Пушкин. На свадьбе Пушкина А. П. Исленьева была посаженой матерью невесты.

98 Николай Петрович *Архаров* (1742—1814). В 1771 г. был назначен московским обер-полицеймейстером, с 1782 г. — губернатор Москвы; затем генерал-губернатор Тверского наместничества. В 1797 г. назначен генерал-губернатором Петербурга, но скоро удален в свое тамбовское имение.

99 Александр Васильевич *Поликарпов* (1753—1811) — генерал-майор, сенатор. За хорошее отношение к ссыльной Дашковой был отстранен от службы, но через семь недель возвращен.

100 Г. *Красный Холм* с 1776 г. входил в Тверское наместничество.

101 Алексей Андреевич *Аракчеев* (1769—1834) — с 1799 г. граф; пользовался доверием Павла I. С 1808 г. — военный министр.

102 *...наградил мальтийским крестом.* — В 1797—1817 гг. в России производилось награждение Мальтийским орденом св. Иоанна Иерусалимского.

103 *...для прекращения волнений.* — О волнениях крестьян в связи со слухами о вольности («...делается ныне присяга государю для того, чтобы не быть за помещиками...») см.: Крестьянское движение в России в 1796—1825 гг. Сб. документов. М., 1961, с. 56—61, 88 и др.

104 *...послал туда князя Репнина.* — Генерал-фельдмаршал Н. В. Репнин был направлен на подавление крестьянских волнений в феврале 1797 г. в Вологодскую губернию.

105 *...госпожа Воронцова...*— Имеется в виду Авдотья Андреевна Воронцова. О ее посещении Дашковой в ссылке см.: Архив кн. Воронцова, кн. 5, с. 260.

106 Екатерина Ивановна *Нелидова* (1756—1839) — с 1777 г. фрейлина вел. кн. Марии Федоровны; приближенная Павла I.

107 *...великому князю Михаилу...*— Дашкова допустила ошибку: в феврале 1797 г. Михаила Павловича еще не было на свете (он родился 28 января 1798 г.). По некоторым свидетельствам, Павлу I передали письмо Дашковой, вложив его в руки восьмимесячного вел. кн. Николая Павловича.

108 *...желающий добра Павел».*— Этих слов в письме, опубликованном в Архиве кн. Воронцова (кн. 5, с. 257), нет.

109 *...был московским губернатором.*— Военным губернатором Петербурга в 1797 г. был Н. П. Архаров. Он же был и московским губернатором в 1782 г. (см. коммент. 98 ко 2-й части «Записок»); его брат, Иван Петрович Архаров, командовал полком.

110 Иван Иванович *Лепехин* (1740—1802) — академик Петербургской Академии наук с 1771 г.; солдатский сын, он пользовался большим авторитетом в Академии и уважением кн. Дашковой. Редактор «Новых ежемесячных сочинений».

111 *...одного из моих имений...*— Возможно, речь идет о селе Щукине, расположенном на Москве-реке.

112 *...ввоз книг почти полностью запрещен...*— 17 мая 1798 г. был издан именной указ Сената «О устроении цензуры при всех портах, о непропуске без позволения оной привозимых книг...» (ПСЗ, № 18524).

113 *...клеветнические памфлеты на Екатерину II.*— Если подобные книги и брошюры иностранного происхождения и распространялись, то, безусловно, помимо распоряжений правительства: 19.XI 1797 г. был запрещен ввоз книги Рюльера на французском и в переводе на английский и немецкий языки; анонимного памфлета «Тень Екатерины II в Елисейских полях» (1797 г.); в 1799 г. запрещен ввоз английского перевода книги Ж. Кастера «Жизнь Екатерины II» и др. (см.: Сомов В. А. Французская Россика эпохи Просвещения.— В кн.: Русские книги и библиотеки в XVI — перв. пол. XIX в. Сб. научных трудов. Л., 1983).

114 Андрей Львович (Генрих-Людвиг) *Николаи* (1737—1820) — барон, секретарь императрицы Марии Федоровны; в 1798—1803 гг.— президент Академии наук, художник, писатель, переводчик Мольера.

115 *Алексей* Борисович *Куракин* (о нем см. коммент. 90 ко 2-й части «Записок») при Павле I исполнял должность генерал-прокурора.

116 *...военных планов и намечавшейся войны.* — Павел I, готовясь к войне с Францией, предполагал назначить П. М. Дашкова командующим войсками, стоявшими в Киевской губ. Указом 14.III 1798 г. Дашков был назначен военным губернатором Киева и шефом Киевского гренадерского полка.

117 Андрей Кириллович *Разумовский* (1752—1836) — русский посланник в Вене с 1790 г.

Василий Степанович *Тамара* (1746—1819) — дипломат, русский посланник в Константинополе с конца XVIII в. по 1802 г.

118 Петр Васильевич *Лопухин* (1744—1827) — при Екатерине II генерал-губернатор ярославский и вологодский, при Павле I — сенатор, генерал-прокурор Сената; его дочь Анна — фаворитка Павла I. При Александре I — министр юстиции, председатель Государственного совета.

119 Андрей Иванович *Альтести* (175(?)—184(?)) — греческий авантюрист. В 80-х гг. служил в Константинополе при русском посланнике, приехал в Петербург, стал секретарем П. А. Зубова, а затем и Екатерины II; приобрел большое влияние. По приказу Павла I был арестован; после освобождения в 1801 г. уехал в Италию.

120 В данном случае, как и в ряде других мест «Записок», проявилась идеализация Дашковой личности Екатерины II. Искаженное представление о ней отразилось также и на страницах «Писем» Вильмот.

121 Дмитрий Павлович *Татищев* (1767—1845) — обер-камергер; дипломат, посланник в Неаполе, Мадриде и Гааге, посол в Австрии; член Государственного совета. С 1841 г. — в отставке.

122 *...окружен только молодыми людьми...*— Речь, видимо, идет о «Негласном комитете», состоявшем из сподвижников Александра I: П. А. Строганова, А. Чарторыйского, В. П. Кочубея и Н. Н. Новосильцева, которые в 1801—1803 гг. подготовили ряд реформ.

123 *...Амалия* — принцесса Баденская, сестра императрицы Елизаветы Алексеевны.

124 *Дворец в Слободе...*— Слободской дворец — дом напротив так называемого Головинского сада, купленный у гр. Безбородко Павлом I за несколько месяцев до приезда в Москву на коронацию. Сгорел в 1812 г.

125 *...женщина никогда не сумеет управлять империей!*— О настроениях Дашковой в начале царствования Александра I говорится в письме Ф. В. Ростопчина к С. Р. Воронцову от 18.I.1803 г.: «Я встречался в некоторых домах с вашей сестрою, и мы не могли довольно наговориться и поспорить между собою. Она

чересчур пристрастно судит о делах и не хочет убедиться, что изменения и новизны приносятся самим временем. Ей все кажется, что она живет в 1762 году...» (Русский Архив, 1887, II, с. 175).

126 *...не возвышалась при нем.* — Об отношении Дашковой к Петру I — см. во вступительной статье.

127 Речь идет о Марте Вильмот, приехавшей в Троицкое 24 августа 1803 г.

128 *...опишу разные случаи времен царствования Екатерины...*— Насколько известно, это намерение Е. Р. Дашкова не осуществила.

ПИСЬМА М. И К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ

ЧАСТЬ I

ПИСЬМА МАРТЫ ВИЛЬМОТ (1803—1805 гг.)

1 *...русскому послу.*— Имеется в виду Семен Романович Воронцов, русский посол в Англии (с небольшим перерывом) с 1785 по 1806 г.

2 *...Харли-стрит.* — На этой улице находилось русское посольство в Лондоне.

3 Джон *Кэрисфорт* (1751—1828) — граф; дипломат и поэт.

4 *...письма к адмиралу в Кронштадт...*— Имеется в виду П. И. Ханыков; см. о нем далее, коммент. 13.

5 *...от его дочери.*— Речь идет о Екатерине Семеновне Воронцовой (1783—1856), в замужестве графине Пемброк (вышла замуж в 1808 г.).

6 Яков Иванович *Смирнов* (1754—1840) — с 1780 по 1837 г. священник православной церкви при русском посольстве в Лондоне; много сделал для развития русско-английских культурных связей (о нем см. в кн.: Русско-английские литературные связи (XVIII век — первая половина XIX века). Лит. наследство, т. 91. М., 1982; Gross. A. Jakov Smirnov. Oxford Slavonic Papers. New Ser., 1975, vol. 8).

7 *...из министерства лорда Хоксбери...* — т. е. из министерства иностранных дел, которое возглавлял Роберт Хоксбери; впоследствии граф Ливерпул (1770—1828); в 1812—1827 гг.— премьер-министр Великобритании.

8 Предыдущее письмо к Гарриет от 30.IV1803 г. и восемь кратких дневниковых заметок, которые сделала Марта Вильмот по дороге в Лондон, в настоящем издании опущены.

9 *...хозяин с дочерью...*— Поскольку жена С. Р. Воронцова Екатерина Алексеевна, рожд. Синявина, умерла в 1784 г., в роли хозяйки в доме русского посла выступала его дочь — Екатерина Семеновна.

10 *После отправки моего предыдущего письма...*— В настоящем издании опущены семь писем М. Вильмот, отправленных из разных портов по пути из Англии в Россию.

11 *Капитан Кларк...*— капитан судна «Доброе намерение», на котором М. Вильмот совершила путешествие из Англии в Россию.

12 *...господину и госпоже Полянским...*— Александр Александрович *Полянский* (1774—1818), сын Елизаветы Романовны и Александра Ивановича Полянских; тайный советник, сенатор, действительный камергер; племянник Е. Р. Дашковой. Его жена — Елизавета Ивановна *Полянская*, дочь И. С. Рибопьера и Агриппины Александровны (рожд. Бибиковой); фрейлина. Дашкова просила своих родственников оказать гостеприимство М. Вильмот. (Письма об этом — см.: ОР ГБЛ, ф. 432, Воронцовы, к. № 1, ед. 27.)

13 Петр Иванович *Ханыков* (1743—1813); некоторое время жил в Англии. С 1801 г.— комендант Кронштадтского порта.

14 *Бар* — нанос песка в устье реки, отмель.

15 *...статую Петра Великого... весьма искусно.* — Марта Вильмот имеет в виду так называемую Восковую персону, которая, как и все перечисленные экспонаты, хранилась в Кунсткамере Академии Наук.

16 *...император и императрица.*— Т. е. Александр I и Елизавета Алексеевна. В Камер-фурьерском журнале 18 июля 1803 г. записано: «После полудня в 7 часов его величество в своей карете и ее величество в своей... соизволили выезд иметь в Сухопутный кадетский корпус, где из саду оного... пущен был воздушный шар» (Камер-фурьерский церемониальный журнал. Июль-декабрь, 1803. Спб., 1903, с. 36).

17 *...круглое платье* — т. е. платье на фижмах, бывшее в моде в начале XIX в.
18 *Клок* — верхняя женская одежда начала XIX в., наподобие накидки.
19 Анре-Жак *Гарнеринг* (Гернерен) (1769—1823) — французский аэронавт. В 1803 г. посетил Россию и совершил три полета на воздушном шаре: 20 июня и 18 июля (30 июля по нов. ст.) в Петербурге и 20 сентября в Москве. Издал брошюру «Подробности трех воздушных путешествий, предпринятых г. Гарнереном в России» (Спб., 1803).
Сергей Лаврентьевич *Львов* (1742—1812) — генерал от инфантерии. Полетел на воздушном шаре, чтобы (по собственному признанию) «испытать сильные ощущения», но не почувствовал «...ничего, кроме тумана и сырости: немного продрог — вот и все» (Жихарев. Записки.., с. 508).
20 *...самую интересную особенность постамента.* — Мнение о том, что Э.-М. Фальконе, автор памятника Петру I, «испортил» Камень-гром, послуживший пьедесталом монументу, обтесав его и уменьшив размеры, существовало еще во время создания памятника и высказывалось в том числе многими иностранцами (И. Бернулли, автором записок о России, французским дипломатом М.-Д. Корбероном и др.). Фальконе, возражая своим оппонентам, говорил: «Не делают статуи для постамента, а делают постамент для статуи» (Каганович А. Л. «Медный всадник». Л., 1975, с. 127—128).
21 *...написала Китти в Женеву.* — Старшая сестра Марты — Кэтрин Вильмот — в 1801—1803 гг. путешествовала по Европе с семейством лорда Кашелс. Ее записки об этой поездке были опубликованы (Wilmot C. An Irish Peer on the continent. London, 1920).
22 *Скажите Анне...* — Имеется в виду Анна Четвуд — сестра Елизаветы, вышедшей замуж за Роберта Вильмота, брата Марты.
23 *...изумительные рустики...*— Рустик — архитектурное украшение, «подобное рядам положенных камней, бывает разных видов: с прямыми, тупыми и круглыми углами... иногда наподобие рыбной чешуи, замерзлой воды, иногда бывает оная (т. е. поверхность.— *Г. В.*) гладкая, а иногда подобна ноздреватому камню» (Новый словотолкователь. Спб, 1806, ч. III, стб. 591).
24 *Whillebolloo* — ирландский погребальный плач.
25 Василий Иванович *Левашов.* — См. коммент. 202 к 1-й части «Записок».
26 *Дамаск* — шерстяная ткань.
27 *...золотых ключах.* — Это знак отличия камергера, который носился на голубой ленте у левой фалды на пуговице; обер-камергерам полагался золотой ключ, усыпанный бриллиантами, его носили на золотых кистях сзади у правого карманного клапана.
28 *...точное определение ее характера.*— Англ. nasty — противный, отвратительный.
29 *...который впоследствии умер.* — Имеется в виду Иван Степанович Рибопьер (1750—1790), сын швейцарского дворянина; прибыл в Россию в 70-х гг. XVIII в. с рекомендательным письмом от Вольтера на имя Екатерины II. Дослужился до чина бригадира, убит при штурме Измаила. Был женат на А. А. Бибиковой, дочери генерал-аншефа А. И. Бибикова. В 1789 г. Д. Г. Левицкий написал его портрет.
30 *...определение Slamikin* («Слэмикин»)... — Имеется в виду персонаж из английской сатирической музыкальной комедии «Опера нищих» (текст Дж. Гея, музыка — Пекуш, 1727 г.) — человек, не обращающий внимания на свою одежду.
31 *...целует тебя в обе щеки...*— Мода, пришедшая из Франции. О поцелуях «в обе щеки» в высшем парижском обществе писала Кэтрин Вильмот, жившая во французской столице в декабре 1801 — январе 1802 г. (Wilmot C. An Irish Peer., p. 16).
32 *Доротея* — сестра М. Вильмот.
33 *...пощадив лишь монастырь.*— Иван IV разгромил Новгород в 1570 г. Софийский собор в Новгороде опричники Грозного не разрушили, но разграбили.
34 *...сватался к ней.*— *Елизавета* I (1538—1603) — королева Англии и Ирландии (с 1558 г.) из династии Тюдоров, младшая дочь Генриха VIII и его второй жены Анны Болейн. Сватался Иван IV не к Елизавете, а к ее племяннице, английской принцессе Марии Гастингс (об этом см.: Литературное наследство, т. 91, с. 32).
35 *...столица губернии.*— Назвать Тверь «новым» городом М. Вильмот имела основания: этот старинный русский город, известный с XII в., после большого пожара 1763 года был полностью перестроен (зодчие — П. Р. Никитин и М. Ф. Казаков). Путевой дворец, здания для губернских учреждений и другие постройки снискали Твери славу одного из самых красивых городов России.

[36] *...с браслетами из блесток...*— Блестки — маленькие металлические кружочки с отверстием посредине, служившие для украшения.
[37] Анастасия Васильевна *Мерлин* (рожд. Лачинова) — дочь Марии Ивановны Дашковой, сестры мужа Е. Р. Дашковой.
[38] Вильям *Томсон* — архидьякон в Корке. Был женат на родственнице Вильмотов.
[39] *...ее племянница.*— Имеется в виду Анна Петровна Исленьева.
[40] *...всю семью из Лоты.*— Лота — имение, где жили Вильмоты.
[41] *...слухи о восстании в Ирландии...*— Антианглийское вооруженное восстание под руководством Роберта Эммета (1778—1803) началось 23 июля 1803 г. Оно было направлено против англо-ирландской унии 1801 г. Своей целью восставшие ставили создание независимой Ирландской республики. Выступление было подавлено, а сам Эммет казнен.
[42] *Гинея* — английская золотая монета, чеканилась в 1663—1817 гг., с 1717 г. равнялась 21 шиллингу.
[43] *...французское вторжение...*— После кратковременного состояния «мира» (Амьенский мир) между Англией и Францией вновь началась война. Ирландское восстание Наполеон действительно рассматривал как момент, очень выгодный для активизации борьбы с противником и вторжения на Британские острова.
[44] *...пленницей во Флоренции.*— В связи с начавшейся в мае 1803 г. войной между Англией и Францией в Италии было отдано распоряжение взять под стражу всех граждан английского происхождения. К. Вильмот описала этот инцидент: «В Болонье нас арестовали, и на ночь поставили часового; полицейские офицеры настолько увлеклись формальностями, что мы стали сомневаться в возможности продолжать путешествие... К счастью, сеньор, к которому у нас было рекомендательное письмо и который пользуется влиянием, уладил дело — вечером нас выпустили на свободу...» (Wilmot C. An Irish Peer., p. 202).
[45] *...как от тигра.* — Многие из подобных рассказов приведены в книге: Гено А. и Томич. Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов... (Спб., 1901). См. также: Рассказы генерала Н. О. Кутлубицкого о временах императора Павла I (Русский Архив, 1866, стб. 1318). Что касается «железного ящика», то его изображение можно видеть на акварели Е. М. Корнеева «Секретный возок, доставивший двух ссыльных... в Иркутск за 6000 верст от Петербурга» (см. илл. на с. 120 в статье: Гончарова Н. Н. Сибирская ссылка и каторга начала XIX в. по акварелям Корнеева и Бомануа.— В кн.: Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало XX в.) (Новосибирск, 1975). Описание подобного возка дал Л. де Бомануар, который «был свидетелем прибытия такого возка в Иркутск» (сведения, полученные от Н. Н. Гончаровой).
[46] *...особыми условиями в стране.*— Намек на крепостное право в России.
[47] *...Мавру Романовну...*— Так называли по-русски Марту Вильмот.
[48] *...небольшой театр...*— Отсутствием до сих пор каких-либо указаний на характер театра Дашковой, видимо, объясняется то, что В. Сахновский назвал театр в Троицком в ряду таких крупных крепостных театров, как шереметевский, юсуповский и др. (см. журнал «Студия», 1911, № 4, с. 2).
[49] Томас *Гаррис* (1782—1823) — младший сын известного дипломата лорда Малмсбери.

Джеймс *Малмсбери* (1746—1820) — посол в России в 1777—1782 гг.; позднее один из руководителей английского министерства иностранных дел. Опубликованы его дневники и переписка.
[50] *Джиг,* или *жига,* — быстрый старинный народный танец кельтского происхождения, сохранившийся в Ирландии.
[51] *...графа Орлова...*— Речь идет об Алексее Григорьевиче *Орлове* (1737—1808); генерал-аншеф с 1769 г.; один из главных участников дворцового переворота 1762 г. Участник русско-турецкой войны 1768—1774 гг. За победу у Наварина и Чесмы (1770 г.) получил титул Чесменского. С 1775 г. — в отставке.
[52] *...в самом лучшем исполнении.*— По отзывам современников, дочь А. Г. Орлова, Анна Алексеевна (1785—1848), была выдающейся исполнительницей русских народных танцев (см.: Жихарев. Записки.., с. 176). Характеристику Анны Орловой см. также: Герцен А. И. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1957, с. 413—416.
[53] *...описывала раньше.*— В одном из писем, опущенных в настоящем издании, М. Вильмот весьма критически описывала внешний вид некоторых блюд русской кухни, особенно щей.

[54] ...*еще не достроен.*— Дом Е. Р. Дашковой на Никитской улице как городская усадьба середины XVIII века был одним из замечательных памятников архитектуры допожарной Москвы (о нем см. в кн.: Николаев Е. В. Классическая Москва. М., 1975, с. 62—64).

[55] ...*портрет княгини...*— Возможно, речь идет о портрете работы Д. Г. Левицкого (1784), подаренном кн. Дашковой Марте Вильмот перед ее отъездом из России. Он упоминается во вступительной статье. Эта работа замечательного русского художника долгое время считалась утраченной и была известна лишь по гравюре И. Майра, исполненной в 1780—1790-е гг. Впервые портрет Дашковой кисти Левицкого экспонировался в 1935 году на выставке русского искусства в Лондоне (№ 127 каталога указывал, что представленный портрет принадлежал некой Марте Вильмот).

Недавно выяснилось, что у этого портрета имеется двойник. На выставке, развернутой в Ленинграде и Москве в 1986 г. и приуроченной к 250-летию со дня рождения Д. Г. Левицкого, впервые экспонировался находящийся в одном из частных московских собраний портрет Е. Р. Дашковой, который является авторским повторением портрета, увезенного в Англию.

Кроме вещей, перечисленных М. Вильмот, в «Описи мебели и других предметов покойной княгини Е. Р. Дашковой... в Московском доме» значилось: «В комнате Англичанки Мавры Романовны: [...] комод красного дерева, стол шахматный ломберный красного дерева, стол красного дерева четвероугольный с мраморною доскою [...] шкаф со стеклами и под оным комод яблоневого дерева... канапе, обитое зеленым сафьяном...». О зеркалах, упоминаемых М. Вильмот, в «Описи» сказано: «Два зеркала в золотых рамах в одно стекло длиною в один аршин» (Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Ч. IX. М., 1901, с. 76—85).

[56] Александр Иванович *Маврокордато* (1745—1819) — сын молдавского господаря Иоанна, господарь Молдавии в 1785—1786 гг.— Александр II Маврокордато Фирарис.

[57] ...*удалось спастись.*— Не желая примириться с потерей Крыма и укреплением России в Причерноморье, турецкое правительство проводило антирусскую политику. В конце 1786 г. Порта, невзирая на протесты русского посла, сместила Александра II Маврокордато. Опасаясь за свою жизнь, он 27.I.1787 г. в сопровождении 30 человек бежал на санях через Кишинев к Днестру, а затем установил связь с русскими властями (Россия и освободительная борьба молдавского народа против османского ига (1769—1812). Кишинев, 1984, с. 105, 106). А. И. Маврокордато был женат на А. Л. Санти, дочери двоюродной сестры Дашковой.

[58] *Княгиня Куракина...* — Имеется в виду Наталья Ивановна Куракина (1766—1831), рожд. Головина, жена А. Б. Куракина, статс-дама. В 1822 г., встретив Марту Брэдфорд на балу в Вене, Куракина заметила в дневнике, что та в свое время пользовалась в России определенным влиянием (см. примечание английского издателя книги «The Russian Journals...», p. 389).

[59] ...*траур по сестре императора.*— Имеется в виду вел. кн. Елена Павловна, вторая дочь Павла I, умершая 24 сентября 1803 г.

[60] *Роджерс Олдворс* — кузен Марты Вильмот.

[61] Александр Михайлович *Голицын* (1723—1807) — обер-камергер, вице-канцлер и вице-президент коллегии иностранных дел; почетный член Академии художеств; дипломат.

[62] ...*в революции.* — Имеется в виду дворцовый переворот 1762 г.

[63] Иван Андреевич *Остерман* (1725—1811) — вице-канцлер с 1775 г., государственный канцлер с 1796 г. В 1797 г. вышел в отставку и поселился в Москве.

[64] Екатерина Александровна *Лицына* — внучка А. М. Голицына.

[65] *Эрин* — название Ирландии.

[66] Иван Иванович *Козлов* (1779—1840) — поэт, переводчик. Автор поэмы «Чернец» (1825 г.), стихотворения «Вечерний звон» (1828 г. — перевод стихотворения Т. Мура). В 1821 г. ослеп. О нем и о П. М. Дашкове, как о превосходных танцорах, упоминает Жихарев (Жихарев. Записки.., с. 176).

[67] ...велел всем идти по домам.— Сохранились воспоминания современников о том, что Орлов имел обыкновение, указывая гостям на дверь, громовым голосом кричать: «Heraus!» (т. е. «Вон!»).

[68] Василий Александрович *Небольсин* (1744—1803) — действительный статский советник.

[69] *...делами огромных губерний.* — Дворянское сословное самоуправление получило законодательное оформление в 1785 г., когда была принята «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства». Органами дворянского самоуправления были дворянское собрание, депутатские собрание и опека, а также выбранные в губернии и уезде губернский и уездный предводители дворянства (подробнее см.: Корф С. А. Дворянство и его сословное управление за полстолетие. Спб., 1906).

[70] *Елизавета Вильмот* — золовка Марты, жена ее брата Роберта.

[71] *...висят плоды.*— Многие городские усадьбы московской знати славились теплицами и оранжереями. Сохранилось любопытное описание оранжереи А. К. Разумовского в Горенках близ Москвы (его ботанический сад и теплицы считались лучшими в России), сделанное в начале XIX в.: «...Мы вступили в оранжерею, под комнатами первого этажа находящуюся и в длину более 200 шагов простирающуюся. Мы очутились посреди искусственного сада из померанцевых и лимонных деревьев, состоящих в трех густых рядах и составляющих длинные аллеи [...] Все дерева украшались плодами, хотя в нынешнем году снято оных более трех тысяч...» (Вестник Европы, 1810, ч. 52, № 13, с. 53).

[72] *...польские владения...*— т. е. имение Круглое в Могилевской губ., пожалованное Дашковой в 1782 г.

[73] *Передайте девочкам...* — Кроме Кэтрин у Марты было еще четыре сестры: Алисия, Гариетт, Доротея и Анна-Мария.

[74] *...прекрасная альбионка...* — На самом деле женщина, «пленившая» князя Голицына, была не англичанкой, а венгеркой.

[75] *...на берегах Ли...* — т. е. дома, так как Корк расположен при впадении Ли в Атлантический океан.

[76] *...убит митрополит...*— Имеется в виду «Чумной бунт» в Москве в сентябре 1771 г., во время которого был убит архиепископ Амвросий.

[77] *...губернатор Москвы...*— Речь идет об Иване Петровиче Салтыкове (1730—1805); генерал-губернатор Москвы в 1799—1804 гг.

[78] *...незнакомом нашим беднякам.*— В силу исторически сложившихся условий Ирландия отличалась низким развитием производительных сил. Современники свидетельствовали о нищете и забитости ирландских крестьян (см.: Черняк Е. Б. Массовые движения в Англии и Ирландии в конце XVIII—начале XIX в. М., 1962).

[79] Федор Иванович *Киселев* — генерал-лейтенант, душеприказчик Е. Р. Дашковой.

[80] Venus de Medici — «Венера Медичи» — греческая статуя конца IV в. до н. э.; была открыта в 1680 г. на вилле Адриана в Тиволи под Римом, а в 1717 г. перевезена во Флоренцию; находится в галерее Уффици.

[81] *...домашний бал у господина Салтыкова.*— Скорее всего, имеется в виду тайный советник Василий Петрович Салтыков — известный хлебосол. «Балы и театры его гремели в Москве...» (Щукинский сборник, вып. 2. М., 1903, с. 9).

[82] *...каждый вторник — собрания.* — Имеются в виду балы, которые устраивались в зале Дворянского (или Благородного) собрания.

[83] *...в книге по истории развлечений в С.-Петербурге.*— Видимо, речь идет о книге А. К. Шторха «Картина Санкт-Петербурга», изданной в Лондоне в 1801 г. («The picture of Peterburg»).

[84] *...струны у нее из кегута...* — т. е. из воловьих жил.

[85] *Гагат* — «черный янтарь» (разновидность каменного угля) — поделочный камень.

[86] *Святая неделя* — пасха, пасхальная неделя.

[87] *...«Nouveaux tableaux de famille».*— Марта Вильмот говорит о книге немецкого писателя Августа Лафонтена (1759—1831), автора 160 томов романов, написанных в духе сентиментализма. Этот роман под названием «Новые семейственные картины, или Жизнь бедного священника одной немецкой деревни и его детей» выходил в русском переводе в 1805 и 1808 гг.

[88] *Чудов монастырь* (Алексеевский Архангело-Михайловский) — мужской монастырь в Московском Кремле; был основан в 1365 г. митрополитом Алексеем. Имел богатую библиотеку (с конца XIV в.— центр книгописания). В XVII в. в монастыре находилась греко-латинская школа. В 1744—1833 гг. здесь помещалась духовная консистория.

[89] *...посетили собор...*— Имеется в виду Успенский собор в Кремле; был сооружен в 1475—1479 гг. зодчим итальянского Возрождения Аристотелем Фиораванти.

90 *...некоторые из ее долгов.*— Александр I взял на счет казны 44 тыс. рублей.

91 *Бат* — курорт в северной части графства Сомерсет в Англии. Славился целебными источниками, скачками и игорными домами.

92 *...как Пэдди...*— Пэдди — шутливое прозвище ирландца.

93 *...из ярко-красной нанки.* — Нанка — хлопчатобумажная ткань.

94 *...церкви ... очень красивой...*— Каменная церковь Пресвятой Троицы посреди села Троицкого была построена в 1767 г. «старанием и иждивением» Дашковой. Является памятником русского барокко. Сохранилась до настоящего времени.

95 *Жерков* — управляющий имением Дашковой.

96 *...переписка велась по-французски.*— Впервые часть писем Екатерины II к княгине Дашковой была напечатана в переводе на английский в «Записках» в издании 1840 г. (Memoirs.., v. 2, p. 63—103). Оригиналы некоторых из них хранятся в Библиотеке Королевской Ирландской академии.

97 Афанасий Денисович *Татищев* был денщиком Петра I; впоследствии — генерал-полицеймейстер.

98 *«...и мы будем квиты».* — О битье палкой «впрок» говорится у Я. Я. Штелина в книге «Подлинные анекдоты Петра Великого, слышанные из уст знатных особ в Москве и Санкт-Петербурге, изданные в свет Яковом фон Штелиным, а переведенные на Российский язык К. Рембовским»(М., 1787, с. 266—269).

99 *...без некоторых сокращений...*— Письмо Дашковой на обороте письма М. Вильмот: «В самом деле, дорогой сэр, я затрудняюсь отвечать на Ваше любезное письмо не только из-за слабого знания английского языка (в письме действительно встречаются орфографические ошибки.— *Г. В.*), но и потому, что совершенно убеждена в незаслуженности Ваших благодарностей. Я счастлива была узнать и полюбить Марту, восхищаться этой прелестной, очаровательной девушкой; жить с ней под одной крышей доставляет мне большое удовольствие и является приятной обязанностью. Могу Вас уверить, что нет часа, когда бы ум мой и сердце не были заняты горячим желанием доставить ей радость. Я еще не имела удовольствие получить письмо, посланное миссис Вильмот. Приношу ей самые сердечные поздравления со счастием иметь такую дочь.

Поскольку до отправки почты времени осталось очень мало, я прошу передать от меня дорогому другу миссис Гамильтон все, что только может продиктовать чувство искренней дружбы и уважения, и считать меня Вашей покорной услужницей. Кн. Дашкова».

100 *...разрешение от магистрата и паспорт от своего господина.*— По существовавшим законам любая отлучка крестьянина из вотчины требовала разрешения помещика, с согласия которого крестьянину выдавали печатный паспорт из губернского правления. В паспорте указывались приметы крестьянина и срок, на который выдан паспорт. Для отъезда в близлежащие местности достаточно было иметь письменный вид за подписью бурмистра и помещика.

101 *...купчая совершается на имя помещика.*— Покупать землю крестьяне могли только на имя помещика с его согласия (ПСЗ, № 7339). Помещику было выгодно, чтобы крестьяне увеличивали свои земельные наделы: благодаря этому укреплялось их хозяйство и повышалась платежеспособность (см.: Федоров В. А. Помещичьи крестьяне центрально-промышленного района России в конце XVIII — первой половине XIX в. М., 1974).

102 Пропущено название деревни Ершово.

103 *...деревню Гамильтон...* — Названа так в честь друга Е. Р. Дашковой англичанки Кэтрин Гамильтон. В русских документах обозначается «Гамильдоновка».

104 *...в соборе при крепости.* — Т. е. в соборе Петра и Павла при Петропавловской крепости.

105 Анна Ивановна *Нарышкина* (1750—1807) — старшая дочь дяди Дашковой, Ивана Илларионовича Воронцова; была замужем за Василием Сергеевичем Нарышкиным.

106 *...и шесть недель провел в Бленеме.* — Ф. В. Ростопчин был в Англии в 1787—1788 гг. *Бленем* — поместье и замок в графстве Оксфордшир, принадлежавшие английскому полководцу герцогу Дж. Мальборо. Получили название в честь знаменитой победы герцога при Бленхейме в Пруссии в 1704 г. во время войны за испанское наследство.

107 *...Белой России...*— т. е. Белоруссии.

108 *Ньюмаркет* — город в графстве Западный Суффолк (Англия). Знаменит скачками, известными со времен короля Якова I.

109 *...большое удовольствие.*— М. Вильмот имеет в виду письмо Дашковой.

110 *«Замок Рэкрент»* — роман ирландской писательницы Марии Эджворт (1767—1849); опубликован в 1800 г.; *«Сын фермера»* — роман Елизаветы Ганнинг (1769—1823); издан в 1802 г.

111 *...роман!* — Имеется в виду произведение с любовным содержанием.

112 Петр Александрович *Исленьев* (ум. в 1811 г.) — генерал-поручик; известны лестные отзывы о нем А. В. Суворова (Исторический вестник, 1893, IV, с. 55).

113 Варвара Ивановна *Бакунина* (1773—1840) — автор ряда сочинений. В 1796 г. сопровождала мужа в Персидском походе и описала его (публикация под названием «Персидский поход 1796 г.» в «Русской Старине», 1887, II, с. 343—374); оставила записки очевидца «Двенадцатый год» (Русская Старина, 1885, IX, с. 391—410).

114 Томас *Брэдфорд* (1772—1853) — участник войны 1808—1814 гг. в Испании. В 1812 г. М. Вильмот вышла замуж за его младшего брата Вильяма (1780—1857).

115 *«Les projets de mariage, ou les deux officiers»* — одноактная комедия популярного французского драматурга А. Дюваля (1767—1842). Впервые была представлена в театре «Комеди Франсез» 5 августа 1798 г. В русском переводе Д. Н. Баркова под названием «Страсть сватать» шла в Петербурге (впервые — 9 сентября 1819 г.) и Москве (впервые — 8 декабря 1821 г.).

116 *...коалиции в составе Германии, Швеции и Дании.* — Речь идет о подготовке переговоров России и Англии, касающихся будущей антифранцузской коалиции. Н. Н. Новосильцев выехал в Лондон в сентябре 1804 г. для составления проекта союзного договора, подписанием которого в Петербурге 11 апреля 1805 г. завершилось создание 3-й коалиции.

117 *...вместо рогатого головного убора носит платок.* — Для крестьянок Калужской губернии были характерны рогатые головные уборы; платок Пашиной матери — знак ее привилегированного положения жены дворового.

118 Евгения *Грейг* — дочь адмирала Самуила Грейга, шотландского моряка на русской службе; после его смерти в 1788 г. его жена с сыном Алексеем и дочерью осталась в России.

119 *...вавилонское столпотворение!* — Подразумевается библейский миф, объясняющий существование на земле множества языков.

120 *...пьесы Флориана... сочинения Делиля, произведения де Гриссе.*— Жан-Пьер *Флориан* (1755—1794) — французский писатель, автор сатирических и нравоучительных басен, писал также рассказы и пьесы. Жак *Делиль* (1738—1813) — французский поэт, переводчик «Георгик» римского поэта Вергилия. Жан-Батист-Луи *Гриссе* (правильно *Грессе*) (1709—1777) — французский поэт и драматург. Полное собрание его сочинений было издано в 1803 г.

121 *...на статью по сельскому хозяйству...* — Дашкова приняла участие в полемике, которая велась между Д. М. Полторацким и Ф. В. Ростопчиным по вопросу о целесообразности ведения хозяйства английским методом. Ростопчин написал статью «О плуге и сохе», в которой выступил противником нововведений в сельском хозяйстве. Встав на сторону Полторацкого, Дашкова написала статью «Мнение о плуге и сохе», которая, видимо, опубликована не была (Cross A. «By the Banks of the Thames»..., с. 90).

122 *Гюбера...* — См. коммент. 179 к 1-й части «Записок».

123 *...несчастному Ивану.*— Имеется в виду Иван Антонович (см. коммент. 132 к 1-й части «Записок»). Екатерина II виделась с заключенным Иваном в начале июля 1762 г. (см.: Соловьев. История России.., кн. XIII, с. 131—132).

124 *...приказу, данному еще Елизаветой...*— Дашкова могла не знать, что Екатерина II подтвердила этот приказ.

125 *«...подавать прошения».*— На самом деле еще в 1727 г. между Россией и Китаем был заключен Кяхтинский договор. Позднее отношения между двумя странами получили дальнейшее развитие.

126 *...травля быка...* — Популярное развлечение в Англии: травля собаками привязанного быка.

127 *...больницу князя Голицына...* — Так называемая «Голицынская больница» была построена по проекту М. Ф. Казакова и открыта в 1802 г. На ее строительство и содержание Д. М. Голицын завещал 850 000 рублей. (Ныне входит в состав 1-й городской клинической больницы).

Воспитательный дом существовал с 1764 г. как приют для незаконнорожденных детей и детей бедняков. Делами Воспитательного дома ведал Опекунский совет. Одно из самых крупных гражданских зданий второй половины XVIII в.; было построено архитектором К. И. Бланки при участии М. Ф. Казакова.

128 *...огромную пушку...* — Имеется в виду «Царь-пушка», отлитая в 1586 г. мастером Андреем Чоховым. Диаметр ствола — 890 мм; замечательный памятник литейного искусства.

129 *...исполинский соборный колокол...* — Имеется в виду «Царь-колокол»; был отлит в 1733—1735 гг. мастерами И. Ф. и М. И. Моториными; его вес свыше 200 т, высота — 6,14 м, диаметр — 6,6 м.

130 *...из дневника Кэт.* — Имеются в виду те записки, которые вела К. Вильмот во время путешествия по Европе в 1801—1803 гг.

131 *...считается как бы умершим.*— Срок службы в армии был 25 лет.

132 *...население [Москвы] насчитывает около 250 000 человек.* — По официальной ведомости население Москвы (в 1811 г.) насчитывало 270 184 человека (История Москвы, т. III. М., 1954, с. 31).

133 *...поскольку еще жив.* — История, связанная с арестом С. Понятовского при посещении им вел. кн. Екатерины, рассказывается современниками по-разному; называются и разные «спасители». По версии, переданной М. Вильмот со слов Дашковой, это Браницкий, который «еще жив», — т. е. Франц Ксаверий Браницкий (1732—1819). Бильбасов утверждает, что спас Понятовского Ян Климент Браницкий (1688—1771) — представитель другого рода Браницких (см.: Бильбасов, т. 1, с. 389).

134 *...мне поговорить с ним.* — В «Записках» Екатерины II излагается другая версия события: она сама предложила деньги Ел. Р. Воронцовой.

135 *...не получила и рубля...* — 12 февраля 1759 г. Р. И. Воронцов подписал «сговорную», по которой он за своей дочерью Екатериной Романовной Воронцовой давал приданое на 12 917 рублей и на покупку деревень 10 000 рублей (Роспись приданому для Катерины Романовны. — Архив кн. Воронцова, кн. 21, с. 380).

ЧАСТЬ II

ПИСЬМА КЭТРИН ВИЛЬМОТ

(1805—1807 гг.)

1 *...генералу Коровко...* — Имеется в виду Максим Петрович Коробка (ум. в 1836 г.) — капитан-командор; отличился в войне со Швецией (1788—1790 гг.). С апреля 1804 по август 1808 г. директор Штурманского Балтийского флота училища в Кронштадте. С 1824 г. — вице-адмирал.

2 *...жене министра морского флота, госпоже Чичаговой.* — Елизавета Чичагова (ум. в 1811 г.) — англичанка, дочь капитана Ч. Проби. В 1794 г. была помолвлена с русским моряком П. В. Чичаговым, изучавшим морское дело в Англии. Существует рассказ о том, что когда тот обратился к Павлу I за разрешением жениться, то получил ответ: «Подходящих невест хватает и в России». Чичагов позволил себе дерзость, за что его заключили в Петропавловскую крепость, но вскоре освободили, и он получил разрешение жениться. Умерла Е. Чичагова в Петербурге; на ее могиле — эпитафия на английском языке.

3 *Воксхолл* — поместье близ Лондона, где в конце XVIII—начале XIX в. устраивались развлечения для аристократии. В России получило название «вокзал» и первоначально обозначало здание при увеселительных садах, предназначенное для концертов, представлений и пр. В Москве первый «вокзал» был организован англичанином Меддоксом.

4 *Мой страдающий ревматизмом покровитель...* — Речь идет о Витлоке.

5 Михаил Илларионович *Кутузов* (1745—1813) — впоследствии светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал.

6 *Корделия* — младшая дочь короля Лира из трагедии Шекспира «Король Лир». Образ Корделии запечатлен на полотне Анжелики Кауфман.

7 *...вдовствующей императрице...*— Речь идет о Марии Федоровне (1759—1828), принцессе Вюртембергской, супруге Павла I.

[8] *...княжна Голицына собирается выйти замуж за нашего посланника лорда Гренвиля Левисона Гауэра...* — Евдоксия Ивановна Голицына (1780—1850), рожд. Измайлова, известная красавица («принцесса ноктюрн»). По приказу Павла I в 1799 г. вышла замуж за князя С. Ф. Голицына, который покинул ее сразу после венчания. Безуспешно добивалась развода, чтобы выйти замуж за английского посла лорда Гренвиля Гауэра. В пожилом возрасте занялась математикой и даже опубликовала научную работу. См. о ней в «Записках современника» С. П. Жихарева.

Гренвиль Левисон Гауэр (1773—1846) — английский политик и дипломат. В 1804 г. заменил сэра Джона Уоррена, английского посла в Петербурге. Был отозван в 1807 г. после заключения Тильзитского мира.

[9] Гертруда Элизабет *Мара Флорио* (1749—1833) — немецкая певица, дочь бедного музыканта. С триумфом выступала в Европе; в России пела в Петербурге, Москве и Ревеле.

[10] *...с изображением уличных продавцов...* — Скорее всего, имеется в виду изданная в 1799 г. в Петербурге первая русская серия «Изображения разносчиков» из «Картинной коллекции национальных изображений», издатель — Яков Баснин (см.: Комелова Г. Н. Сцены русской народной жизни конца XVIII — начала XIX в. по гравюрам из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1961, с. 6).

[11] *...придворный календарь.* — Издание, включающее данные о придворном штате, списки послов при русском дворе, сведения о высших правительственных чиновниках.

[12] *...захочу.*— В Камер-фурьерском журнале читаем только: «13 августа, в воскресенье... в фонарике (помещение в Таврическом дворце.— *Г. В.*) ее величеству супруге государя императора имели счастье быть представлены камер-фрейлиною графинею Протасовою, по случаю приезда: супруга действительного тайного советника графа Головина, супруга генерал-майора Грекова и англичанка девица Вильмонт...» (Камер-фурьерский журнал, июль—декабрь 1805 г. Спб., 1904, с. 118).

[13] *...в парке графа Строганова.*— Усадьба и дворец А. С. Строганова, построенные на Петербургской стороне, запечатлены на гравюре П. Штелина (1763 г.). Видимо, речь идет об этой даче, хотя у Строганова имелась еще одна дача на Каменном острове.

[14] *...Сибирская...* — жена или дочь генерала В. Ф. Сибирского. О нем см. коммент. 2 и 3 к 3-й части «Писем из России...»

[15] *...в мою спальню.*— Возможно, Дашкова попросила Полянских, чтобы они предоставили К. Вильмот кабинет хозяина дома.

[16] *Геркуланум* — римский город, частично разрушенный при извержении Везувия в 79 г. н. э. Там производились археологические раскопки. См. также с. 134 наст. изд.

[17] Побывавшая в Петербурге графиня Элизабет Анспах оставила в своих мемуарах запись о том, что на балу во дворце Екатерина II и «ее фаворитка княгиня Дашкова одни были в русских костюмах, которые очень красивы и на них великолепно сидят» (Memoire de la Margrave d'Anspach. V. 1. P., 1826, p. 134—135).

[18] *...первый пост в империи...* — А. Р. Воронцов официально оставался канцлером до 1804 г., но и позже продолжал получать бумаги с делами по министерству иностранных дел.

[19] *...Гаррика...* — Дейвид *Гаррик* (1717—1779) — английский актер, основоположник реализма на европейской сцене; прославился исполнением 25 ролей в пьесах Шекспира.

[20] *...Рейналя.*— См. комм. 238 к 1-й части «Записок». Письма к княгине Дашковой Вольтера, Дидро, Гаррика, Рейналя и других были опубликованы в «Записках» издания 1840 г.

[21] *Элеонора* — служанка К. Вильмот, приехавшая с ней в Россию из Англии. К письмам сестер Вильмот приложено ее письмо на родину.

[22] ...Caius Cestius.— Имеется в виду пирамида над могилой римского магистра эпохи императора Августа, Гая Цестия; расположена перед Порта Сан Паоло в Риме.

[23] *...несчастный Станислав, король Польши.* — Называя Станислава Понятовского «несчастным», Кэтрин Вильмот имеет в виду его судьбу. Посаженный против воли на польский престол, он оказался последним польским королем.

[24] *Элизиум*, Елисейские поля,— в греческой мифологии обитель блаженных.

[25] *...генерал Корсаков...* — Речь идет о Иване Николаевиче Римском-Корсакове (1754—1831); генерал-майор, генерал-адъютант, фаворит Екатерины II (1778 г.).

[26] Иван Васильевич *Несвицкий* (1740—1806) — секунд-ротмистр конного полка; камер-юнкер.

[27] *...задатки тирана.* — В этом отношении к Александру I выражалось неприятие старой знатью намерений «Негласного комитета» и александровских реформ.

[28] *...жестокости, совершаемые Константином...*— Отношение общества к вел. кн. Константину, как человеку порочному, лишенному морали, отразилось в «Записках» графини Эделинг: «Константин окружил себя людьми безнравственными и нажил себе общую ненависть и презрение» (Русский Архив, 1887, II, с. 214). О преступлениях Константина см.: Записки В. И. Штенгеля. — В кн.: Мемуары декабристов. Северное общество (М., 1981, с. 220).

[29] Артур Юнг (*Янг*) (1741—1820) — английский ученый, автор более 30 трудов по экономике и агрономии. Его сын Артур Юнг (*Янг*) (1769—?) в 1805 г. в сопровождении М. С. Кайсарова осматривал некоторые южные губернии России «по части экономической и камералистической» (Литературное наследство, т. 91, с. 532).

[30] *...не горевал о лорде Нельсоне.*— Горацио *Нельсон* (1758—1805) — вице-адмирал, английский флотоводец. В бою при Трафальгаре, закончившемся разгромом соединенного французско-испанского флота, был смертельно ранен (21 октября 1805 г.).

[31] Сальватор *Тончи* (по-русски — Николай Иванович) (1756—1844) — музыкант, поэт и художник. Станислав Понятовский обратил на него внимание в Риме и пригласил в Польшу, где тот жил до 1795 г. Когда Станислав Август отрекся от престола и приехал в Петербург, с ним приехал и Тончи. В 1796—1801 гг. жил в Петербурге, затем до конца жизни — в Москве. Пользовался большим успехом. Его характеристику см.: Грот Я. — В кн.: Сочинения Державина. Т. 2. Спб., 1865, с. 399; Александр Котельницкий написал стихи «К славному живописцу Тончи». — Новости русской литературы на 1803 год. Ч. VII. М., 1803, с. 22—23. См. также: Жихарев, с. 200.

[32] *...системы теней Беркли.*— Имеется в виду английский философ Джордж Беркли (1685—1753).

[33] *...московские бульвары...*— В это время единственным бульваром в собственном смысле слова был Тверской, соединявший Никитскую и Тверскую улицы; любимое место прогулок московского высшего общества.

[34] *Ковент Гарден* — квартал в Лондоне с известным овощным, фруктовым и цветочным рынком.

[35] *...дворец графа Разумовского...* — Построен в 1799—1802 гг. архитектором А. А. Менеласом. Образец московского классицистического деревянного зодчества. Сохранился до наших дней.

[36] *...мануфактуру князя Юсупова...* — Известная Купавинская мануфактура (в с. Купавна Богородского уезда Московской губ.) с 1804 г. находилась во владении кн. Н. Б. Юсупова (см.: Арсеньева Е. В. Художественное оформление русских текстильных изделий XVIII—начала XIX в. — В кн.: Труды ГИМ, вып. 58. М., 1984).

[37] *...праздник водосвятия.* — Церковный праздник, при котором совершается так называемое малое освящение воды.

[38] *Троицкий монастырь* — в 70 верстах на север от Москвы; был основан в середине XIV в. Сергием Радонежским. С 1744 г. стал называться Троице-Сергиевой лаврой. Выдающийся памятник русской архитектуры.

[39] *...муками Иова.*— В библейских преданиях Иов — страдающий праведник, не потерявший веру в бога, несмотря на различные мучения, посылаемые ему как испытания.

[40] *...по мудрому совету сестры Софьи, нашел здесь убежище.* — К. Вильмот ошибается. Во время стрелецкого бунта 1689 г. Петр бежал в Троице-Сергиевский монастырь, опасаясь быть захваченным в селе Преображенском стрельцами, верными царевне Софье.

[41] *...отобрав у монастыря... 70 тысяч крестьян...* — Ко времени секуляризации в 1764 г. Троице-Сергиевой лавре принадлежало более 100 тысяч крестьян, к ней было приписано 33 других монастыря. После секуляризации число приписных монастырей сократилось до 14.

[42] *...архиепископ Платон.* — Петр Левшин (1737—1812) — законоучитель Павла I, знаменитый проповедник, митрополит московский.

[43] *Гелиотроп* — зеленый с красными пятнами поделочный камень, разновидность халцедона.

[44] *...на самую высокую колокольню...* — В середине XVIII в. в Троице-Сергиевой лавре по проекту И. Мичурина, И. Шумахера и Д. Ухтомского была выстроена монастырская колокольня, высота которой достигает 88 м.

[45] *...русскому Лоретто...* — См. коммент. 297 к 1-й части «Записок».

[46] *...морские наклонности...* — На Плещеевом (Переславском) озере Петр I в 1688—1693 гг. построил учебную флотилию, в которой первым судном был ботик — «дедушка русского флота» (сохранился до настоящего времени).

[47] Анна Кирилловна *Разумовская* (1744—?) — дочь гетмана фельдмаршала К. Г. Разумовского; в замужестве Васильчикова.

[48] Имеется в виду Василий Семенович *Васильчиков*; его брат Александр Семенович был фаворитом Екатерины II в 1772—1774 гг.

[49] *Калипсо* — в греческой мифологии нимфа, которая десять лет держала в плену Одиссея.

[50] *Том Тамб* — один из рыцарей легендарного короля Артура.

[51] *...если тот лейтенант.*— В соответствии с Табелью о рангах, введенной Петром I в 1722 г., продвижение по всем трем ведомствам (военному, гражданскому и придворному) зависело исключительно от выслуги. В законодательстве Екатерины II о дворянстве подтверждалось, что «со времени царствования императора Петра Великого чины даются не по знатности рода, но месту и службе». Однако по приказанию Павла I в 1798 г. были исключены из военной службы все офицеры-недворяне; Александр I отменил распоряжение Павла.

[52] *...заложение первого камня академии...*— Имеется в виду Практическая коммерческая академия, учрежденная 1 октября 1806 г. на средства московского именитого купечества (Куманин, Просвиркин и др.). См. Московские ведомости, 1806, 10 октября, № 81, с. 1543.

Александр Андреевич *Беклешов* (1745—1808) — в 1790—1794 гг. генерал-губернатор Орловского и Курского наместничеств; в 1804—1806 гг. — военный генерал-губернатор Москвы.

[53] Тимофей Иванович *Тутолмин* (1740—1809) — губернатор Твери, Архангельска и др. В 1806—1809 гг. военный генерал-губернатор Москвы.

[54] Петр Степанович *Валуев* (1743—1814) — сенатор, главноначальствующий над Кремлевской экспедицией Оружейной палаты.

[55] *...подчиниться они не желали.* — В целях прекращения междоусобной борьбы грузинских феодалов и ослабления противников русской политики на Кавказе русское правительство предложило некоторым представителям враждующих группировок переехать в Россию. В феврале 1803 г. приехали царевичи Давид Георгиевич и Вахтанг Ираклиевич, царевна Кетеван; в апреле 1805 г.— царевичи Юлон и Парниоз. (См.: Брегвадзе А. И. Славная страница истории. Добровольное присоединение Грузии к России и его социально-экономические последствия. М., 1983, с. 110, 138 и др.).

[56] Николай Алексеевич *Дурасов* (1760—1818); по воспоминаниям современников, славился гостеприимством и хлебосольством.

[57] *...великолепной росписью...* — В Люблине, принадлежавшем Дурасову, был выстроен огромный дом, имевший в плане равноконечный крест, напоминавший орден св. Анны, кавалером которого был Дурасов. Плафон в зале был расписан известным декоратором начала XIX в. А. Скотти.

[58] *Оры* — в римской мифологии спутницы Авроры.

[59] *...на театральном представлении.* — Театр Дурасова, в труппе которого было более сотни крепостных, существовал с XVIII в. (см.: Дынник Т. С. Русский крепостной театр. М., 1934, с. 252; и др.). При Александре I многие из актеров дурасовского театра перешли на императорскую сцену.

[60] Кэтрин Вильмот довольно точно излагает содержание одной из русских свадебных песен (см.: Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни. М., 1982, с. 231 (№ 210); и др.).

В упоминавшихся воспоминаниях В. Малышева записано: «...В 1805-м году мы были облагодетельствованы от ее сиятельства... которая выдала мою сестру Софью замуж за служившего ей в должности лакеем Тимофея Ивановича Гущина» (ОР ГБЛ, ф. 178, № 7557, л. 5 об.).

[61] Татьяна Михайловна *Норова* (1766—1838) — племянница Дашковой.

[62] *...камнем преткновения для мерзкого Буонапарте.* — К. Вильмот подразумевает ход войны 1806—1807 гг.

[63] *...подарить ее Московскому университету...* — Ср.: Дашкова «...подарила университету весь свой музеум натуральной истории, замечательный по редким экземплярам животных четвероногих, птиц, пресмыкающихся, минералов и разных раковин. Это — драгоценное приобретение для университета» (Жихарев. Записки.., с. 434). «В мае 1807 г. (Дашкова. — *Г. В.*) подарила свою коллекцию, которую собирала свыше 30 лет. По описи насчитывался 15 121 предмет. Она была оценена в 50 тысяч рублей. Несколько позже Дашкова передала в дар университету еще 332 предмета — драгоценные камни, антики, физические инструменты и большую библиотеку» (Шевырев С. История имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. М., 1855, с. 372).

[64] *...с сыном своего брата (бывшего посла в Лондоне).*— Речь идет о двух племянниках Дашковой: Иване Илларионовиче Воронцове (1790—1854), который унаследовал фамилию Дашковой и стал Воронцовым-Дашковым, и Михаиле Семеновиче Воронцове (1782—1856), впоследствии светлейшем князе и наместнике на Кавказе.

[65] *...сад Орлова...*— Большая городская усадьба «Нескучное» с садом принадлежала А. Г. Орлову. «...По склону горы к берегу Москва-реки спускался сад, оранжереи, клумбы и много разных беседок...» (Родионов С. К. Нескучное. М., 1923, с. 3).

[66] *...парки в голландском стиле повсеместно исчезают.*— В парковой архитектуре «голландский стиль» регулярных парков противопоставлялся паркам в «английском стиле», которые отличались живописной композицией, подражающей естественному ландшафту.

[67] *Воскресенский монастырь (в Новом Иерусалиме)* основан в 1658 г.; один из крупнейших храмов в России. Первоначально все детали постройки были выполнены из изразцов. После двух больших пожаров в начале XVIII в. в 1748 г. началось его восстановление по проекту В. Растрелли. Замечательный памятник русского искусства.

[68] *...о мире между императором и Бонапартом.* — Тильзитский мирный договор между Россией и Францией был заключен 25 июня 1807 г. в результате переговоров Александра I и Наполеона.

[69] *«...внушающая ужас ухмылка Смерти...»* — Строка из поэмы Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай», книга 2-я (Библиотека всемирной литературы. Серия I, т. 45. М., 1976, с. 76).

[70] *...не объявят о моем отъезде.*— Сообщения об отъезде «Катерины Вильмот, Великобританской подданной со служительницею Еленою Кована» были помещены в № 54, 55, 56 «С.-Петербургских ведомостей» за июль 1807 г.

[71] *...подорожная и паспорт... лежали в коммерц-коллегии...*— Коммерц-коллегия (существовала с 1712 по 1810 г.) ведала не только вопросами развития внутренней и внешней торговли, но и наблюдала за исполнением таможенных тарифов, судами иностранных купцов и лицами, отъезжающими за границу.

[72] *Институт св. Екатерины* — институт благородных девиц для обучения дочерей потомственных дворян. Был основан в 1802 г.

[73] *...Англия и Дания находятся в состоянии войны.* — До Тильзитского мира Дания сохраняла нейтралитет, но после его подписания Англия потребовала, чтобы Дания выдала ей флот (в качестве превентивной меры против захвата его Наполеоном). Не получив согласия, англичане высадили войска в Зеландии и обстреляли Копенгаген, после чего Дания капитулировала.

[74] Джеймс *Гамбьер* (1756—1833) — английский адмирал, командующий флотом на Балтике. После успехов, достигнутых в борьбе с Данией, был назначен адмиралом всего британского флота.

[75] *...коснусь английской земли.* — Кэтрин Вильмот приехала в Корк 23 октября 1807 г.

ЧАСТЬ III

ПИСЬМА МАРТЫ ВИЛЬМОТ
(1806—1808 гг.)

[1] *...занимающегося сельским хозяйством.* — См. коммент. 29 ко 2-й части «Писем из России».

[2] Василий Федорович *Сибирский* (1761—1808) — князь, генерал от инфантерии (1799 г.); в апреле 1800 г. выслан в Сибирь «пешком»; в феврале 1801 г. Павел I распорядился вернуть сосланного, но возвратился он из Сибири уже после смерти Павла. При Александре I служил в чине действительного тайного советника (См.: Карабанов П. Ф. Исторические рассказы и анекдоты. Спб., 1872, с. 46).

[3] *...как пленников в Россию...*— Действительно, князья Сибирские вели свое происхождение от сибирского царя Кучума. До 1718 г. потомки сыновей Кучума носили титул царевичей сибирских. Но после того, как царевич Василий Алексеевич Сибирский оказался замешан в дело царевича Алексея и сослан в Сибирь, его сыновьям велено было называться не царевичами, а князьями Сибирскими. Василий Федорович был внуком В. А. Сибирского.

[4] *...смотреть на воздушный шар...*— В это время отмечается большой интерес к воздухоплаванию. Профессор Московского университета А. Х. Чеботарев создал проект управляемого аэростата. В конце 1805 г. штаб-лекарь Кашинский совершил в Москве два удачных полета на воздушном шаре; позднее, в 1808 г. московский купец Ф. И. Никитин объявил через «Московские ведомости», что совершит подъем на воздушном шаре.

[5] *...у генерала Кнорринга...*— Возможно, речь идет о Карле Федоровиче Кнорринге (1744—1820), генерал-лейтенанте и кавалере разных орденов.

[6] *...встретили князя Барятинского... Там же был и его брат...* — Имеется в виду Иван Сергеевич Барятинский (1740—1811) — флигель-адъютант Петра III, русский посол в Париже в 1773—1785 гг.; «его брат» — Федор Сергеевич Барятинский — активный участник переворота 1762 г.

[7] *...его руками совершен ужасный акт...* — М. Вильмот имеет в виду слухи о том, что Ф. С. Барятинский был причастен к убийству Петра III.

[8] *...а ведь он совсем не трус.* — По приказанию Павла I останки Петра III были перенесены из Александро-Невской лавры, где тот был похоронен, в Зимний дворец, откуда уже вместе с телом Екатерины II перенесены в Петропавловскую крепость. Регалии Петра III за его гробом несли участники ропшинской трагедии — убийцы Петра III.

[9] *...графа Орлова и его дочь.* — Речь идет об Алексее Григорьевиче Орлове и его дочери Анне Алексеевне.

[10] *...Китти переводит...* — Как известно, Дашкова писала «Записки» по-французски; Кэтрин Вильмот перевела их на английский. Рискнем сделать осторожное предположение, что основой первого издания «Записок» Дашковой (1840 г.) явился именно перевод Кэтрин Вильмот.

[11] *Вдова...* — Речь идет о Е. С. Небольсиной.

[12] Ниже дан перевод черновика этого письма с французского:

«Ее императорскому величеству вдовствующей императрице Всероссийской.

Ваше Величество! Я смиренно надеюсь, что добродетели, столь свойственные сострадательному сердцу Вашего императорского величества, позволят мне обратить к Вам мою нижайшую просьбу. Соблаговолите ниспослать успокоение душе той, которая стоит на краю могилы и чья жизнь была лишь цепью бесконечных горестей!

Поддерживая связь с семьей Вильмот в Англии и их родственниками (а это люди, пользующиеся там, равно как и в Ирландии, безграничным уважением), дражайший друг мой, покойная миссис Гамильтон, убедила свою юную кузину мисс Марту Вильмот приехать в Россию и разделить мое одиночество. Вот уже почти три года ее добродетели, таланты, скромность и дружба скрашивают мое уединение; осознавая, что мое положение не позволяет ей оставить меня (из чувства нежнейшей дружбы, верность которой она много раз доказала), мисс Вильмот решила остаться в России, а не возвращаться домой со своей старшей сестрой, которая имела честь быть представленной Вашему Величеству прошлым летом. Никто лучше

Вашего Величества не может оценить все очарование и глубину дружбы, а также те обязательства, которые она возлагает на нас. Поскольку мой долг в отношении этого очаровательного существа невозможно ничем возместить, лишь непрерывной заботой о ее благополучии, я припадаю к ногам Вашего Величества и умоляю стать ее защитницей после моей смерти. Я смогу умереть спокойно, если буду уверена в том, что, пока мисс Вильмот находится в России, она будет пользоваться Вашим покровительством. Примите мои заверения, что она достойна его во всех отношениях. Ваше Величество оценит эти достоинства, познакомившись с их обладательницей, а согласившись покровительствовать моему другу, мисс Вильмот, Вы сделаете остаток моих дней счастливым, в равной мере как и подарите мне уверенность в том, что я хотя бы частично исполнила свой долг.

К сему мне хотелось бы, полагаясь на доброту Вашего Величества, присоединить еще одну просьбу, которая, однако, требует некоторого пояснения. Девять лет назад мною было составлено завещание, одобренное не только моими родственниками, но и родственниками моего мужа, среди которых были достопочтенный Еропкин и князь Репнин. Я поместила это завещание в Архив приютов, в фонд которых сделала небольшое пожертвование, повторенное потом несколько раз. Душеприказчиками завещания были мой покойный брат и кузен моего мужа князь Иван Гагарин. Первого я, к несчастью, уже лишилась и теперь страшусь, что это может случиться и со вторым. Вследствие ...[здесь пропуск в черновике письма. — *Г. В.*] взять на себя оформление моего завещания, и чтобы доказать свою заинтересованность в этом вопросе, внесла 5 тысяч для моего друга мисс Вильмот. Припадаю к ногам Вашего Величества и умоляю сделать Ваши распоряжения относительно выполнения моей последней воли, а также обеспечения мисс Вильмот вышеуказанной суммой. Деньги эти будут внесены сразу же, как только Ваше Величество соблаговолит ответить мне, а сей акт лишь добавит чувства величайшей благодарности к тому почтению и глубочайшему уважению, с которыми имею честь быть

Покорная слуга Вашего императорского величества
княгиня Дашкова,
Троицкое, 13 июля 1806 г.»

Черновик этого письма, написанный рукой Дашковой, хранится в Британском музее.

13 ...*приютов, которым та покровительствует.*— Императрица Мария Федоровна в 1797 г. была назначена главной начальницей над воспитательными домами.

14 ...*ту клевету на меня...* — Речь идет о том, что А. М. Щербинина, у которой были очень плохие отношения с матерью, распустила в московском обществе слух, что «англичанка» хочет женить на себе сына Дашковой — Павла Михайловича.

15 ...*винокуренном заводе...* — В 1765 г. вышел указ о предоставлении дворянству монополии на производство вина, что в условиях разложения феодально-крепостнической системы являлось одним из источников увеличения доходности помещичьего хозяйства.

16 ...*Роберту...* — Имеется в виду Роберт Вильмот (1772—1815) — брат Марты.

17 Мария *де Севинье* (1626—1696) — известная французская писательница, прославившаяся своими письмами к дочери, издание которых было осуществлено в серии «Les grands écrivains de France».

18 ...*«Описания всех народностей, населяющих Россию»...*— Точное название сочинения — «Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, одежды, жилищ и прочих достопамятностей». Ч. 1—3. Спб. 1776—1777. Автор — академик И. И. Георги (1719—1802), см. о нем коммент. 24 ко 2-й части «Записок». На форзаце первого тома книги Дашкова написала: «Эта книга подарена моему дорогому чаду — Мавре Романовне Вильмот» (примечание английского издателя «The Russian Journals...»).

19 Джон *Мильтон* (1608—1674) — английский поэт и политический деятель, выдающийся публицист эпохи английской буржуазной революции. Автор поэм «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» и трагедии «Самсон-борец».

20 ...*указ об изгнании [...] всех французов.* — Речь идет об указе от 28 ноября 1806 г. «О высылке из России всех подданных французских и разных немецких областей, которые не пожелают вступить в подданство; о непропущении оных в Россию без паспортов Министерства иностранных дел; о прекращении действия торгового

договора с Франциею и об учреждении Комиссии для разбора иностранцев» (ПСЗ, № 22371).

21 *...создаются отряды ополчения...* — Об учреждении временного ополчения, или милиции, было объявлено 30 ноября 1806 г. Ополчение носило название Земского войска и в 1806 г. достигло численности около 612 тысяч ратников. В 1807 г. было расформировано.

22 *Адмирала Мордвинова выбрали [...] интрига высших властей с далеко идущими целями.* — Николай Семенович *Мордвинов* (1754—1845) — адмирал с 1799 г.; член Государственного совета. Морскому делу обучался в Англии, участник второй русско-турецкой войны. В 1790 г. из-за разногласий с Потемкиным вышел в отставку. С 1802 г. — морской министр; сотрудник М. М. Сперанского, был близок к Александру I в начале его царствования. Можно предположить, что в оценке Вильмот сказались личные мотивы. Известно, что на роль предводителя дворянского ополчения было выдвинуто два кандидата: П. М. Дашков и Н. С. Мордвинов. Московское дворянство отдало предпочтение адмиралу. (См.: Иконников В. С. Граф Н. С. Мордвинов. Спб., 1873, с. 76). Кроме того, в замечании Марты, видимо, отразилось отношение некоторых кругов дворянства (Дашкова, Ростопчин и др.) к реформам Александра I, сторонником которых был Н. С. Мордвинов. В этом аспекте интересен ответ Александра I на письмо Ростопчина от 19 декабря 1806 г: «...Что же касается до выбора адмирала Мордвинова в губернские начальники милиции, то, предоставя дворянству право назначать начальников по своему благоусмотрению, я не могу входить в сии выборы, тем более, что противу самого адмирала Мордвинова никакого неудовольствия не имею» (Письма главнейших деятелей в царствование Александра I. Спб., 1883, с. 1).

23 *...Киселев...* — Речь идет, видимо, о Федоре Ивановиче Киселеве — генерал-лейтенанте, душеприказчике Дашковой.

24 *...объявить детей незаконными.* — Речь идет о внебрачных детях П. М. Дашкова.

25 В этом месте рукопись повреждена — примечание английского издателя книги «The Russian Journals...».

26 *...граф и графиня Бутурлины...*— Дмитрий Петрович Бутурлин (1763—1829) — известный библиофил, человек энциклопедических знаний. По матери — Марии Романовне Воронцовой — родной племянник Е. Р. Дашковой. Как явствует из некоторых свидетельств, Бутурлин, его сестра Е. П. Дивова и др. были авторами сатирических рисунков с подписями, высмеивающих многих знатных лиц, в том числе и Екатерину II. Бутурлину дали отставку. Он поселился в Москве в собственном доме в Немецкой слободе и занялся садоводством и сбором библиотеки, которая стала одной из лучших в Европе. В 1794 г. Д. П. Бутурлин выпустил каталог своей библиотеки, который явился первым русским изданием подобного рода. Библиотека погибла в 1812 г.

27 *...смотреть на башкирский полк...* — Марта Вильмот могла наблюдать прохождение через Москву одного из двух башкирских полков, сформированных в 1806—1807 гг. и принимавших участие в бою против кавалерии маршала Мюрата в июне 1807 г. Башкирское войско было организовано в 1798 г. по типу казачьего; на службу посылался один человек от 3 дворов. Охранявшее в мирное время Оренбургскую линию, башкирское войско во время войны принимало участие в боевых действиях.

28 Велбор Эллис *Сомертон* (1778—1868). Любопытно, что мачехой его жены Дианы, на которой он женился в 1816 г., была дочь С. Р. Воронцова Екатерина Семеновна (в замужестве Пэмброк); Джон Лейвиз *Олдеркрон* (1782—1852).

29 *Мария* Федоровна *Щербатова* (1775—1826).

30 Филлип *Ройстон* (1784—1808).

31 Джоул *Пойнзетт* (1779—1851) — американский писатель и политический деятель.

32 *...Воронцовы...* — Имеются в виду Екатерина Артемьевна (1780—1836) и Прасковья Артемьевна (1786—1842), дочери двоюродного брата Е. Р. Дашковой графа Артемия Воронцова и его жены Прасковьи Федоровны, рожд. Квашиной-Самариной. Их сестра Анна была замужем за Д. П. Бутурлиным.

33 Александр *Дуглас* (1767—1852) — впоследствии 10-й герцог Гамильтон. После разрыва дипломатических отношений между Россией и Англией уехал в Польшу; известен как собиратель большой коллекции книг, рукописей и картин.

34 Гренвиль Левисон-*Гауэр* — английский политический деятель и дипломат.— См. о нем коммент. 8 ко 2-й части «Писем из России».

[35] Джон Хели *Хатчисон* (1757—1832) — лорд. Возглавлял британские войска в 1801 г. при взятии Александрии и изгнании французской армии из Египта. В 1806 г. был послан для переговоров к русскому двору, но его миссия была неудачной. Находился с русской армией во время кампании, закончившейся битвой под Фридландом.

[36] Роберт *Вильсон* (1777—1849); вместе с генералом Хатчисоном сражался под Александрией, затем служил под его началом. Написал несколько работ. В 1807 г. имел неосторожность привезти из Англии памфлет, осуждающий русско-французский союз, за что был выслан из России.

[37] *...всей этой братией...*— Далее названы имена трех членов так называемого «Негласного комитета» (А. Чарторыйского, Н. Н. Новосильцева, В. П. Кочубея); место четвертого члена — П. А. Строганова — в этом «списке» занял Н. П. Румянцев.

[38] *...известие о мире...* — Речь идет о Тильзитском мирном договоре, заключенном 25 июня 1807 г.

[39] Самюэль *Бентам* (1757—1831) — инженер-судостроитель. С лета 1805 по осень 1807 г. находился в России с целью ведения переговоров о строительстве морских судов для Англии.

...его брат в Лондоне... — Имеется в виду Иеремия Бентам (1748—1832) — английский философ, социолог и юрист.

[40] *...сражение у Фридланда...* Фридланд — город в Восточной Пруссии, где во время войны 1806—1807 гг. русская армия потерпела поражение от войск Наполеона, после чего был заключен Тильзитский мир.

[41] *...турки низвергли своего султана [...] чтобы проводить политику в интересах России и Англии.*— Имеется в виду Селим III (1761—1808), турецкий султан в 1789—1807 гг. Первоначально шел в русле русско-английской политики, а в 1805 г., после разгрома 3-й коалиции, Селим III переменил ориентацию и признал Наполеона «падишахом Франции» и союзником Турции. Был свергнут восставшими янычарами и вскоре убит по приказу своего преемника Мустафы IV. В оценке общей политики Турции М. Вильмот ошибается: в 1806 г. началась новая русско-турецкая война.

[42] *...за битву при Данциге...* — Речь идет о восьмидесятидневной осаде Данцига наполеоновскими войсками. Город защищали прусский гарнизон и небольшой русский отряд. 27 мая 1807 г. город был сдан.

[43] Василий Васильевич *Долгоруков* (1787—1858) — участник русско-турецкой войны 1806—1812 гг., отличился при штурме Браилова и в сражении под Силистрией (1809 г.).

[44] *...нового кодекса законов.* — Речь идет о «Наказе комиссии о составлении проекта нового уложения» (1767 г.); несколько раз издавался за границей.

[45] Ирина (Арина) Ивановна *Воронцова* (1768—1848) — жена двоюродного брата княгини Дашковой, камер-юнкера графа Иллариона Ивановича Воронцова; ее сын — Иван Илларионович (1790—1854).

[46] *...за серпуховским сенешалем...* — Сенешаль — в средневековой Франции глава судебно-административного округа. Очевидно, Марта Вильмот имеет в виду представителя судебных или полицейских властей.

[47] *...о разрыве дружеских отношений между Россией и Англией.* — Декларация о разрыве отношений между Россией и Англией была подписана Александром I 26 октября 1807 г.

[48] *...Швеция тоже стала врагом* А[нглии].— Подобное известие могло появиться в результате того, что переговоры об английской помощи Швеции, которые велись в Лондоне и Стокгольме с конца 1807 г., протекали с некоторыми трениями. Фактически Швеция и Англия до 1809 г. оставались союзниками в борьбе с Наполеоном.

[49] *...от совсем других причин...*— Надо полагать, что домашние Марты Вильмот были взволнованы враждебным отношением к ней Щербининой.

[50] *...о возвращении детей матери.* — Речь идет о том, что Щербинина силой отобрала детей брата П. М. Дашкова у его незаконной жены.

[51] Николай Петрович *Румянцев* (1754—1826) — старший сын графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского. Слушал лекции в Лейпцигском университете, путешествовал по Италии. В 1776—1795 гг.— на придворной и дипломатической службе. В 1807—1814 гг.— министр иностранных дел; до 1812 г. был сто-

ронником сближения с Францией. В 1810—1812 гг.— председатель Государственного совета. С 1814 г. в отставке. Основоположник «Румянцевского музея».

[52] Адриан Иванович *Дивов* (ум. в 1814 г.) — сенатор, тайный советник.

[53] ...*Грейгом*...— См. коммент. 56 ко 2-й части «Записок».

[54] Николай Борисович *Юсупов* (1751—1831) — действительный тайный советник; при Александре I — член Государственного совета. Почетный член Академии художеств.

[55] ...*художница умерла.* — А. Кауфман умерла в ноябре 1807 г. в Риме, где она жила последние годы.

[56] ...*я увидела моего канцлера*... — Имеется в виду И. А. Остерман — см. коммент. 63 к 1-й части «Писем из России».

[57] *Петруша Бутурлин* — Петр Дмитриевич Бутурлин — старший сын Д. П. Бутурлина.

[58] ...*графа Валериана Зубова*...— Валериан Александрович Зубов (1771—1804) — брат фаворита Екатерины II Платона Зубова.

[59] Джон *Филд* (1782—1837) — ирландский пианист, композитор, педагог. С 1802 г. более 25 лет жил в России, где пользовался большой популярностью. Выступал с концертами и в Западной Европе. Считается предшественником Шопена в создании жанра фортепианного ноктюрна.

[60] ...*через несколько месяцев выдала ее замуж за графа Романа Воронцова.*— Долгоруковы были сосланы в 1731 г., а за Р. И. Воронцова М. И. Сурмина вышла в 1736 г.

[61] ...*вернуть Долгоруковых* — Это произошло в 1742 г.

[62] ...*из «Узла Аполлона».* — Описание этой прически дано в «Записках графа М. Д. Бутурлина» (Русский Архив, 1897, II, с. 544).

[63] ...*ценит шведского посла*... — Речь идет о Курте Людвиге Стединге (1746—1837), шведском дипломате. Был послом в Петербурге в 1792—1808 и 1809—1811 гг.

[64] ...*лорд Дуглас*... — Имеется в виду Александр Гамильтон Дуглас, английский политический деятель и дипломат. См. о нем выше, коммент. 33.

[65] ...*Нарышкина, отмеченная всеми наградами и почестями двора.* — Анна Никитична Нарышкина (1730—1820), гофмейстерина.

[66] ...*портрет Петра Великого кисти Портера.*— Роберт-Керр Портер (1777—1842) — художник и путешественник. В 1804 г. работал в Петербурге; создал галерею портретов для Эрмитажа и Адмиралтейства. Автор книги «Путешествие в Россию и Швецию» (1809 г.).

[67] Иоганн-Фридрих-Август *Тишбейн* (1750—1812) — портретист из семьи немецких художников. С 1806 г. работал в Петербурге.

[68] ...*великой княжны Екатерины*... — Имеется в виду Екатерина Павловна (1788—1819), четвертая дочь Павла I, любимая сестра Александра I.

[69] Дмитрий Иванович *Лобанов*-Ростовский (1758—1838) — участник штурмов Очакова и Измаила. С 1798 по 1806 г.— в отставке. Принимал участие в переговорах в Тильзите. С 1808 г. — военный губернатор Петербурга, с 1813 г.— член Государственного совета, в 1817—1827 гг.— министр юстиции.

[70] *«Поль и Виргиния»* — роман-идиллия Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), изданный в 1788 г.

[71] Иван Григорьевич *Орлов* (1733—1791) — капитан л.-гв. Преображенского полка, был женат на Е. Ртищевой. Не принимал активного участия в государственных делах. В 1767 г. был избран депутатом в Комиссию по сочинению Нового уложения от дворян Вяземского уезда Смоленской губернии.

[72] Евдокия Ивановна *Чернышева* (1693—1747) — статс-дама при Анне Иоанновне.

[73] ...*битвы при Бойне.*— Имеется в виду битва 11 июля 1690 г., в которой Яков II, английский король в 1685—1688 гг., пытаясь отвоевать трон, отобранный у него во время так называемой «Славной революции» (1688—1689), потерпел поражение от своего преемника Вильгельма III Оранского (штатгальтер Голландии и английский король с 1689 по 1702 г.).

[74] *Вильям Джонс* (1746—1794) — перевел книгу «Надир-шах» по заказу датского короля Христиана VII и издал ее в 1770 г.

[75] *Надир-шах* (1688—1747) — шах Ирана в 1736—1747 гг. Завоевал значительные территории в Индии, Средней Азии, Закавказье. Был убит одним из своих телохранителей. После смерти Надир-шаха завоеванные им провинции отпали от Персии.

[76] *...носивших славные имена.* — Об участии представителей знатных родов в петровских потехах читаем у С. М. Соловьева, описавшего, например, свадьбу шута Якова Тургенева: «...за ним в поезду были бояре, окольничие, думные и всех чинов палатные люди, а ехали на быках, на козлах, на свиньях и собаках...». За каретой, в которой ехал жених-шут, «шли Трубецкие, Шереметевы, Голицыны...» (Соловьев С. М. История России., кн. VII. М., 1962, с. 474).

[77] *...жил инкогнито граф Армфельд.* — После гибели шведского короля Густава III граф Армфельд был обвинен в измене и приговорен к смерти; бежал в Россию и жил в Калуге. См. о нем коммент. 52 ко 2-й части «Записок».

[78] *«Замок в Отранто»* (1764 г.) — популярный роман английского писателя Уолпола Хораса (1717—1797). Марта Вильмот читала его в итальянском переводе — «Il castello di Otranto. Storia gottica». Londra, 1795.

[79] *...любят всякие ужасные истории.* — Начало XIX в. — время, когда большой популярностью пользовался жанр «готического» романа.

[80] *...претенденту на престол...* — Известно, что Е. И. Пугачев выдавал себя за спасшегося от смерти Петра III.

[81] *Кристина* Августа (1626—1689) — шведская королева в 1632—1654 гг.; отреклась от престола и приняла католичество.

[82] *...это ожерелье мне.* — Много позже в письме из столицы Австрии в Англию Марта Брэдфорд писала, что опалом княгини Дашковой восхищалась вся Вена.

[83] *...эссе [...] Борса о современном состоянии литературы в Италии.* — Матте Борса (1751—1798) писал по вопросам итальянской литературы: см. напр.: Discorso sopra lo studio dell belle lettre in Italia e sul gusto moderno di quello (Venezia, 1780); Del gusto presente in letteratura italiana (Venezia, 1784).

[84] *...Галиани...* — См. о нем коммент. 290 к 1-й части «Записок».

[85] *Хорошие новости об Испании и Португалии.* — В 1808 г. английские войска при поддержке португальских патриотов изгнали Наполеона из Португалии. 22 июня 1808 г. отряды испанских гверильясов (партизан) одержали крупную победу над французскими войсками при Байлене.

[86] *...письма от Арабеллы Денни...* — Написанные 14 июля и 23 декабря 1780 г., эти письма опубликованы в Приложении к «Запискам» Дашковой (Лондон, 1840). На русском языке впервые изданы в «Записках княгини Дашковой» в 1856 г. (с. 349—352).

[87] *...Беклешова...* — См. коммент. 52 ко 2-й части «Писем из России».

[88] *...старинную русскую песню...* — Это песня о несчастной любви.

[89] *...передала список...* — В рукописи прочерк. Английский издатель «Писем» Вильмот Х. Хайд высказывает предположение, что имеется в виду душеприказчик Е. Р. Дашковой поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий. Между тем из письма душеприказчика княгини П. Л. Санти к М. С. Воронцову видно, что Нелединский взял себе ту копию «Записок» Дашковой, которая была обнаружена после ее смерти среди бумаг (см.: Шугуров М. Ф. Княгиня Дашкова и мисс Вильмот. — Русский Архив, 1880, III, с. 196).

[90] Этьен Франсуа *Лантье* (1734—1826) — французский писатель; упоминаемое М. Вильмот «Путешествие по Швейцарии» было издано в 1803 г.

[91] Самюэль *Худ* (1762—1814) — английский адмирал.

[92] *...голос гораздо приятнее...* — Жаннет *Филис* (1780—1830) — французская актриса театра Опера-комик. Дебютировала в 1801 г. Вскоре уехала в Россию; пела на придворной сцене в Петербурге; в августе 1808 г. гастролировала в Москве.

Елизавета Семеновна *Сандунова* (1772—1826) — русская актриса, певица. Воспитанница Театральной школы в Петербурге. Дебютировала в 1790 г. на придворной сцене. Обладая прекрасным сопрано, была исполнительницей ведущих партий в операх. В 1794—1813 гг. пела на московской сцене, в 1813—1823 гг. — в Петербурге.

[93] *...канал, по которому движутся многочисленные баржи.* — Вышневолоцкая система — старейший искусственный водный путь в России. Была открыта для движения в 1709 г. и до сооружения Мариинского канала была единственной водной трассой, соединяющей Волгу с Балтийским морем. В 1800—1811 гг. по Вышневолоцкой системе прошло около 5 тысяч судов.

[94] *...пленные шведские офицеры.* — В это время шла русско-шведская война 1808—1809 гг.

[95] Семен Гаврилович *Зорич* (1745—1799) — фаворит Екатерины II в 1777—1778 гг. Основал 1-ый Московский кадетский корпус.

[96] *Театральная школа* в Петербурге — первое в России театральное учебное заведение; созданная в 1779 г. на основе существовавшей с 1738 г. Танцевальной школы, Театральная школа готовила актеров балета, драмы и оперы.

[97] Алексей Борисович *Куракин* (см. о нем коммент. 90 ко 2-й части «Записок»); при Александре I — генерал-губернатор Малороссии; в 1807—1811 гг.— министр внутренних дел, позже член Государственного совета.

[98] Наталья Ивановна *Куракина* — см. о ней коммент. 58 к 1-ой части «Писем из России».

[99] Александр Дмитриевич *Балашов* (1770—1837) — петербургский обер-полицеймейстер, военный губернатор Петербурга (1809—1810), член Государственного совета; в 1810—1816 гг. — министр полиции.

[100] Александр Сергеевич *Меншиков* (1787—1869) — впоследствии член Государственного совета, адмирал.

[101] Д. И. Лобанов-Ростовский был военным губернатором Петербурга с 1808 г.

[102] *Михаил* Семенович *Воронцов* (1782—1856) — впоследствии светлейший князь, генерал-фельдмаршал. Воспитывался отцом — С. Р. Воронцовым — в Англии. Участвовал в войнах с Наполеоном в 1806—1814 гг. Был тяжело ранен под Бородином. В 1815—1818 гг. командовал русским оккупационным корпусом во Франции. В 1844 г. был назначен наместником Кавказа с неограниченными полномочиями. Продолжал собирать библиотеку, основание которой положил С. Р. Воронцов (известная «Воронцовская библиотека»). Герой пушкинской эпиграммы «Полу-милорд...».

[103] Петр Петрович *Пален* (1778—1864) — граф, генерал-инспектор кавалерии; с 1834 г. — член Государственного совета. Сын П. А. Палена, одного из организаторов и участников убийства Павла I.

[104] Отто *Блюм* (1770—1849) — датский дипломат. С 1804 по 1841 г. (с небольшими перерывами) — посланник в Петербурге.

[105] Алексей Егорович *Егоров* (1776—1851) — живописец и гравер. В 1797 г. окончил Академию художеств, затем учился в Италии (1803—1807 гг.). С 1812 г. — профессор Академии художеств, учитель К. П. Брюллова. В 1840 г. по капризу Николая I уволен из Академии.

[106] Рудольф *Гюбер* (1770—1844) — швейцарский художник; долго работал в России.

[107] *«Собственноручное описание...»* было написано в 1813 г. для друга Марты Брэдфорд лорда Гленберви. Оно было опубликовано как Приложение к «Запискам» (издание 1840 г.) и на русском языке — в лондонском издании 1856 г. как «Дополнение к Запискам Дашковой» (с. 391—439). Английский издатель «Писем Марты и Кэтрин Вильмот» дал «Описание» в несколько сокращенном виде, поскольку примерно половина текста является кратким отчетом о пребывании М. и К. Вильмот в России, что отразилось в их письмах и дневнике Марты.

[108] Михаил Сергеевич *Кайсаров* (1780—1825). Получил образование в Московском университетском благородном пансионе. В 1803 г. сопровождал А. Юнга (Янга) и обратил на себя внимание Александра I своими донесениями. В 1808 г. уволен из иностранной коллегии и назначен в канцелярию министра внутренних дел по почтовому управлению. Известен также как переводчик (См. о нем: Литературное наследство, т. 91, с. 532).

[109] *...какой-то враг...* — Узнав из письма Марты о произведенном у нее обыске, Дашкова за два месяца до своей кончины написала ей, что не может «понять, кто этот человек, который, быв долго в опале и удалении от двора, старался подняться» за ее «счет». Дашкова также сообщила Марте, что, возмущенная обыском ее бумаг, писала Александру I: «Если дело шло о задержании моих Записок, то лишь из скромности я не решалась напечатать их при жизни». М. Ф. Шугуров весьма убедительно доказывает, что этим врагом был Ф. В. Ростопчин. (Русский Архив, 1880, III, с. 185).

[110] *Суперкарго* — помощник капитана корабля по погрузке.

[111] *...которых я скоро увижу.* — Далее следует описание приключений Марты Вильмот во время путешествия из России в Англию, которое в настоящем издании опущено.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* Указатель составлен Г. А. Веселой.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГИМ — Государственный ордена Ленина Исторический музей.
ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников ГИМа.
ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
ПСЗ — Полное собрание Законов Российской империи.
РИО — Русское историческое общество.
ЧОИДР — Чтения Общества Истории и Древностей Российских.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Екатерина Романовна Дашкова

ЗАПИСКИ

ПИСЬМА СЕСТЕР М. и К. ВИЛЬМОТ ИЗ РОССИИ

Зав. редакцией *Н. М. Сидорова*

Редактор *М. И. Шлаин*

Художественный редактор *М. В. Мухина*

Оформление художника *И. С. Клейнарда*

Технический редактор *Г. Д. Колоскова*

Корректоры *Л. А. Айдарбекова, Г. В. Зотова*

ИБ № 2354

Сдано в набор 31.03.86.
Подписано в печать 17.10.86.
Л—67459. Формат 60×90/16. Бумага офс. № 2.
Гарнитура «Таймс». Офсетная печать.
Усл. печ. л. 31,0. Уч.-изд. л. 36,79.
Тираж 130 000 экз. I завод 1—50 000. Заказ 70047
Изд. № 4270. Цена 3 р. 40 к.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета.
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.

Отпечатано с диапозитивов 12 ЦТ МО в полиграфкомбинате Государственного комитета Молдавской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
277004, Кишинев, ул. Берзарина, 35.